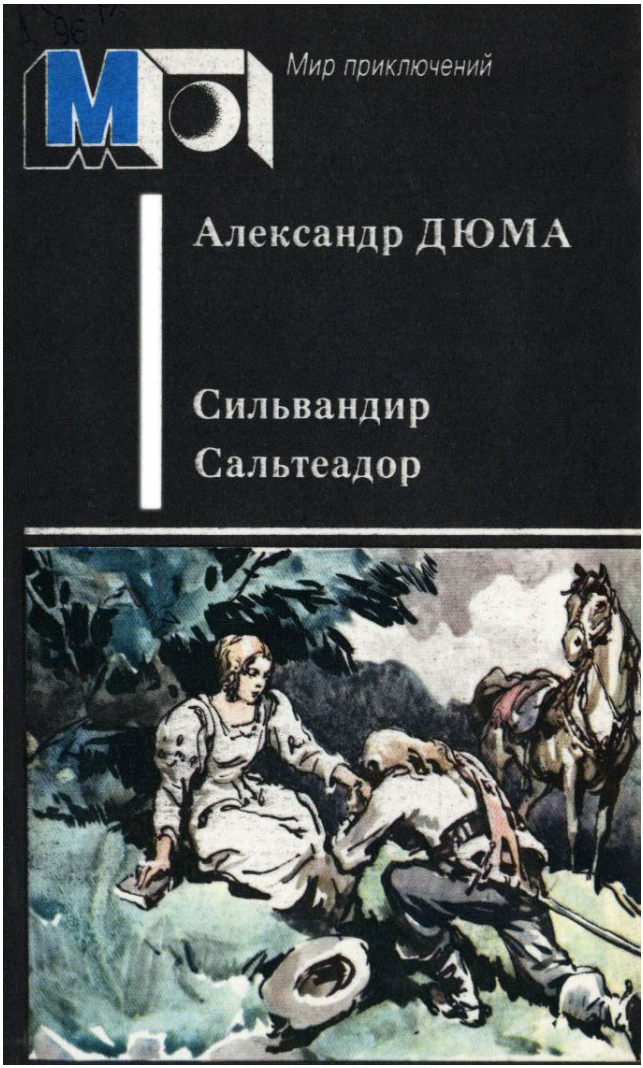


Аннотация

В книгу входят два романа известного французского писателя А. Дюма – «Сильвандир» и «Сальтеадор». Первый рассказывает о событиях во Франции первой половины XVII века и приключениях главного героя – бедного дворянина Роже, прибывшего в столицу, чтобы получить наследство своего умершего родственника, второй – об Испании XVI века и о похождениях разбойника Сальтеадора.

СИЛЬВАНДИР

I

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ ШЕВАЛЬЕ РОЖЕ ТАНКРЕД Д'АНГИЛЕМ И ЕГО СЕМЕЙСТВО В 1708 ГОДУ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

В труде гораздо более серьезном, нежели это наше сочинение, мы уже объясняли, каким образом французское дворянство было повержено в прах тремя людьми – Людовиком XI, Ришелье и Робеспьером. Людовик сокрушил своих могущественных вассалов. Ришелье обезглавил высшую знать, Робеспьер уничтожил аристократию.

Первый подготовил монархию единодержавную, второй – монархию абсолютную, третий – монархию конституционную.

Однако, поскольку события, о которых мы собираемся поведать, происходят между 1708 и 1716 годами, мы предоставим истории оценить в социальном аспекте деяния короля, рубившего головы на плахе, равно как дела и поступки трибуна, рубившего их на эшафоте, а сами кинем лишь беглый взгляд на то, какими были Париж и провинция через семьдесят лет после смерти Ришелье – иными словами, в начале восемнадцатого столетия.

Когда мы говорим «Париж», то совершаем ошибку, и нам бы следовало сказать «Версаль», ибо в ту эпоху Парижа больше не существовало. Людовик XIV так и не сумел простить столице, что она в бурные дни Фронды изгнала его из своих пределов, когда он был еще совсем ре-

бенком; а так как при всем своем могуществе монарх этот испытывал одинаковое удовольствие, мстя людям и вымещая досаду на предметах неодушевленных, то он и создал Версаль, этого фаворита без должных достоинств, как именовали в ту пору и как будут именовать во все времена сие сумасбродное творение, создал его, дабы наказать древний Лувр за давний мятеж, лишив этот дворец присутствия своей королевской особы.

Итак, Версаль с того самого дня, когда Людовик XIV перенес туда свою резиденцию, стал источником света для французского королевства, и к этому манящему факелу слетались и обжигали об него свои крылышки те золоченые мотыльки, коих именуют придворными; Версаль уподобился солнцу, что всходило над миром, сияя ослепительнее других светил, ему предстояло сиять еще сильнее и ярче по мере того, как оно будет еще выше всходить на небосводе[1].

Из-за ослепительного этого сияния, средоточием которого сделался Версаль, остальная часть королевства пребывала в тени; все, что не обращалось вокруг главного светила – солнца, как бы принадлежало к второстепенной звездной системе, к какой-то неведомой туманности, которую политическим астрономам того времени и изучать-то не стоило; а потому на протяжении семидесяти трех лет, пока длилось царствование Людовика XIV, история Версаля и была, в сущности, историей Франции.

Вот как получилось, что в той великолепной галерее, которую мемуары тогдашней поры открывают любопыт-

---

[1] Nee pluribus impar (*лат.*) – многим не равное. Vires acquirit eundo (*лат.*) – обретает силы в движении. Двойной девиз солнца, который Людовик XIV начертал на своем гербе. (*Примеч. автора.*)

ным взорам читателей, представлены лишь те, на чью долю выпал необычайный успех, или же те, кто навлек на себя высочайшую немилость: мы узнаем о возвышении Лувуа, Вилларов, Аржансонов, Кольберов и о падении Роганов, Ришелье, Лозенов и Гизов; что же касается храброго и честного провинциального дворянства, некогда составлявшего силу монархии, дворянства, которое вместе с Дюгекленом изгнало Черного Принца из Гиени, а вместе с Жанной д'Арк изгнало Генриха VI из Франции, то его больше не существовало, вернее сказать, оно было удалено от центра королевства и не подавало ни малейших признаков жизни, так что могло показаться, будто оно вообще перестало существовать.

Бесспорно одно: пребывая вдали от солнца и тем самым от света, оно прозябало в безвестности и забвении.

Если б мы сами придумывали сюжет нашего романа, нам бы следовало, ничтоже сумняшеся, выбрать своего героя из среды тех блестящих придворных, о которых повествует Сен-Симон: он рассказывает, что эти люди изо дня в день присутствовали при пробуждении короля и при его отходе ко сну, их охватывала тревога, если монарх хмурил брови, они расцветали от его улыбки и приходили в полное отчаяние от одного его гневного слова; однако мы почитаем себя прежде всего историком, а потому берем своего героя там, где его находим; впрочем, возможно, придет такой час, когда, неотступно следуя за нашим героем, мы должны будем вырвать его из провинциальной безвестности и ненадолго очутимся вместе с ним в лучах света, которые Версаль даже в ту эпоху упадка все еще отбрасывал вокруг себя.

Но пока мы попросим читателя оставить Версаль – кстати сказать, постоянное пребывание г-жи де Ментенон превратило его с некоторых пор в весьма унылое место – и отправиться с нами в иные пределы, расположенные в двухстах тридцати двух километрах от Парижа, как нас понуждает выражаться закон о новых мерах длины; а поскольку четыре километра составляют одно льё, то нашим читателям достаточно разделить двести тридцать два на четыре, ежели им хочется узнать, на каком именно расстоянии от столицы они находятся. Мы охотно избавили бы их от такого труда, но нас заставляют платить штраф в размере пятидесяти франков всякий раз, когда мы употребляем старинные меры длины, и нам приходится из соображений бережливости отсылать читателей к четвертому правилу арифметики. Как ни глупо, но это так.

Стало быть, мы находимся на левом берегу Луары, в окрестностях города Лоша, на красивой равнине, расположенной между реками Эндр и Шер, пересеченной рощами, которые здесь торжественно называют лесами, и богатой прудами, которые тут пышно именуют озерами.

Равнина эта в ту пору была поистине гнездовьем небольших дворянских усадеб, где прозябали обломки тех знатных родов, которым Людовик XI, можно сказать, укоротил ноги, а Ришелье – поотрубал головы; так что все эти славные сельские жители, чьи замки были разрушены, земли отчуждены, а права урезаны, люди, которые могли бы потягаться знатностью с самим Карлом Великим, ныне были бедны, как Готье Нищий[2]. Потомки дворян, разбой-

---

[2] *Готье Неимущий* (убит в 1097 г.) – предводитель одного из отрядов бедноты, отправившихся в первый крестовый поход до выступления армии рыцарей.

ничавших на больших дорогах во времена Филиппа Августа и Людовика XI, возглавлявших отряды своих вассалов при Филиппе Красивом и Карле V, бывших капитанами при Франциске I и Генрихе II, в войсках Генриха IV и Людовика XIII превратились уже в простых знаменщиков или сержантов; наконец, еще позднее, не находя себе больше места даже в последних рядах войска и не имея возможности пустить в ход старые шпаги своих предков, шпаги, чью позолоту постепенно разъела ржавчина, они как бы вернулись к давним временам, описанным в Библии, и стали, по примеру Нимрода, великими охотниками пред Господом. Словом, то были потомки самых знатных, самых старинных и самых богатых родов во Франции, но, увы, такие потомки, о которых потом, пожалуй, даже не вспомнят.

В самом деле, владельцы крупных поместий мало-помалу переселились поближе к Версалю, и древняя Турень, расставшись с великолепными родовыми замками, обосновалась со всем своим движимым имуществом, с чадами и домочадцами в окрестностях Шартра и Ментенона. Лош в результате всеобщего упадка перестал быть королевским городом, и здешние мелкопоместные дворяне, жившие в богатом, мирном, но затерянном крае, хотя они все еще шумно оспаривали свое право на былое величие у безвестности и забвения, сами чувствовали, что над их головами медленно, но неотвратимо нависает угроза впасть в полное ничтожество.

Такой участи поневоле покоряются, но мириться с нею не хотят. А потому по всей провинции нарастало в ту пору глухое недовольство правлением великого короля. И наши

дворяне, чье уязвленное самолюбие приводило к брожению умов, о котором мы только что упомянули, стремились восполнить то, что было ими утрачено, звучными названиями, напоминавшими о былом: так, их жилища по-прежнему именовались замками, наружные ограды – крепостными стенами, а тенистые ручьи, где барахталась дюжина уток, – глубокими рвами; единственный двор при доме нарекали парадным двором, хотя иного двора не было; имелась у них и оружейная зала: обычно ею служила кладовая для фруктов или для сыров; была, наконец, и замковая часовня, а на самом деле – церковь в ближнем селении, куда чаще всего можно было попасть, только совершив часовую прогулку по полям.

Тем не менее, если бы не ущемленная гордость и несоответствие пышных наименований истинной ценности вещей, все эти дворянские имения могли бы стать счастливыми гнездами; однако их обитатели полагали для себя унизительным признаться в том, что они счастливы. Надо сказать, что их недовольство порождалось скрытым тщеславием; слишком бедные для того, чтобы перебраться поближе к Версалю, они громогласно заявляли, что ни в грош не ставят королевский двор. Каждую минуту они упоминали о заманчивых предложениях, которые будто бы получали и от которых отказывались. А так как все повторяли приблизительно одно и то же, им приходилось делать вид, будто они верят друг другу. Нечего и говорить, что такое жалкое и никчемное фрондерство не выходило за пределы провинции, и за все пятьдесят или шестьдесят лет, пока оно продолжалось, передаваясь по наследству от отца к сыну, слух о нем ни разу не достиг ушей короля.

Надобно заметить, что в этом небольшом уголке земли, который составляет часть края, именуемого садом Франции, дворянин уже слыл богачом, если у него было две тысячи экю годового дохода, и не много встречалось людей, чьи доходы достигали столь вожделенной цифры. По большей части эти мученики тщеславия получали в среднем от двух тысяч пятисот до трех тысяч ливров ежегодных поступлений, а иным и вовсе приходилось довольствоваться ста пятьюдесятью или двумястами пистолей в год; но, несмотря на скудость такой суммы, они умудрялись вместе со своими порою весьма многочисленными чадами и домочадцами достойно принимать участие в праздничных сборищах окрестных дворян.

Помимо всего прочего, эти славные господа, а вернее, их предки, пользовались в былые времена необычайными и весьма широкими правами, мало-помалу утратившими силу, что не мешало нашим дворянам, когда они невзначай перечитывали свои жалованные грамоты и отряхали пыль с пергаментных свитков, испытывать известную гордость при мысли о том, что их прадеды могли совершать самые невероятные поступки и располагали привилегиями, коим позавидовали бы Прокруст, Герион или Фаларис. Вот почему некий арендатор, живший на землях барона Аженора Паламеда д'Ангилема, был однажды не на шутку испуган, услышав, как его господин и повелитель, приплясывая, чтобы согреться во время охоты на волка, громко объявил:

– Дворяне из рода д'Ангилемов в согласии с грамотой, пожалованной им в тринадцатом веке, имели право раз в году в часы охоты согревать ноги в животе одного из своих вассалов, который перед тем вспарывал доезжачий.

Нечего говорить, что ни сам достойный дворянин и ни один из его предков никогда не застуживали себе ноги до такой степени, чтобы их надобно было отогревать столь необычным способом.

Коль скоро имя барона д'Ангилема появилось из-под нашего пера, воспользуемся случаем и расскажем, кто он такой и каков он.

Барон Аженор Паламед д'Ангилем принадлежал к числу тех титулованных землевладельцев, о чьих правах мы только что упомянули и чье состояние достигло весьма скромных размеров: он жил в замке, расположенном на равнине, владел шестьюдесятью овцами и шестью коровами, продавал на двести ливров в год шерсти и выращивал за тот же промежуток времени на триста ливров конопли, выручая всего пятьсот ливров, каковые он великодушно отдавал баронессе д'Ангилем – на ее наряды и на воспитание их сына.

У баронессы Корнелии Атенаис д'Ангилем было только шесть платьев, хоть и не слишком элегантных, но зато необычайно красивых; одно платье она сшила к свадьбе, другое – по случаю рождения сына, которого все из любезности называли молодым бароном, хотя по дворянской иерархии он имел право только на титул шевалье; именно так, а не иначе мы и будем, не обинуясь, его именовать, ибо у нас, в отличие от тех, кто его окружал, нет никаких оснований льстить этому юноше. Остальные четыре платья баронессы были сшиты не в столь отдаленные времена и больше отвечали современной моде; однако и они, можно сказать, видали виды, что, натурально, не могло не отразиться на их внешнем виде, как говаривал, употребляя

изящный и неизбитый каламбур, некий шутник, маркиз де Шемилье, живший по соседству от них, всего в двух льё, на той же равнине.

Молодому барону – а вернее, шевалье Роже Танкреду д'Ангилему, будущему наследнику всех родовых владений, а именно: Ангилема, Пентад и Герит – иными словами, шестидесяти арпанов пашни, двадцати арпанов лесных угодий и огорода, где росла капуста, – шел пятнадцатый год. Этот рослый и красивый малый мог, даже не садясь на лошадь, догнать бегущего зайца; из ружья он стрелял, как метр Лаженес, их егерь, о котором говорили, будто он из двадцати болотных куликов убивает девятнадцать; Роже был способен без седла скакать на самом норовистом коне во всей провинции, что на десять льё в окружности создало ему славу истинного кентавра; наконец, уже в возрасте пяти лет, когда барон Аженор д'Ангилем вложил в руку мальчика небольшую узкую шпагу, Роже начал обучаться обращению с холодным оружием, ежедневно по часу, а то и по два упражняясь под руководством своего отца, принадлежавшего к числу самых опытных фехтовальщиков провинции; правда, благодаря своей громкой славе барону ни разу не представился случай обнажить шпагу для настоящего поединка. Таким образом – переходя от урока к уроку, поднимаясь с одной ступени совершенствования на другую, усваивая один ловкий прием за другим, – Роже сменил маленькую узкую шпагу на длинную рапиру, его слабые икры мало-помалу стали железными, дрожащая рука сделалась стальной, а сам он из ребенка превратился в бравого молодца и мог, не отступая ни на шаг, целый день простоять в оборонительной позиции, опираясь всем телом

на выдвинутую вперед левую ногу и держа рукоятку рапиры на уровне груди, справа: это было главным правилом в методе того времени, которая, заметим мимоходом, ничуть не хуже любой другой.

Помимо сих благоприобретенных качеств, шевалье был наделен от природы многими завидными достоинствами: у него были красивые белокурые волосы и необыкновенно изящные руки и ноги, росту в нем было пять футов пять дюймов, и следовало полагать, что он на этом не остановится, а будет еще выше; его ясные синие глаза смотрели смело и открыто, на полных румяных щеках уже начал пробиваться легкий пушок. Вот почему жены всех живших по соседству мелкопоместных дворян, пользуясь тем, что он еще не вышел из отроческого возраста, называли его, и при этом всегда с улыбкой, либо «красавец Роже», либо «красавец Танкред», в зависимости от того, на ком останавливало выбор их романтическое воображение – на герое, завоевавшем Сицилию, или же на возлюбленном Клоринды[3].

Вот что можно сказать о физических качествах Роже, а теперь перейдем к его нравственным достоинствам и образованию.

Эта столь важная сторона в воспитании человека, которому самой судьбой было предначертано поддержать и упрочить славу рода д'Ангилемов, составляла первейшую

---

[3] *...на герое, завоевавшем Сицилию, или же на возлюбленном Клоринды.* – В первом случае имеется в виду Роджер (Роже) I (ум. в 1101 г.), который в начале 70-х годов XI в. завоевал Сицилию во главе норманнского войска. Клоринда – одна из героинь поэмы «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, возлюбленная молодого рыцаря-крестоносца Танкреда.

заботу барона и баронессы с того самого дня, когда, по милости Господней, Небо даровало им сына.

Госпожа д'Ангилем сама давала Роже первые уроки грамоты, письма и счета. Священник из соседнего селения научил мальчика склонять имена существительные и спрягать глаголы, но этим исчерпывались его собственные познания, и он с прямодушием, делавшим честь скорее его порядочности, нежели учености, откровенно признался, что не берется приготовить шевалье к поступлению в следующий класс. Родители Роже оказались в большом затруднении, не зная, как продолжить образование своего отпрыска, ибо им не хотелось, чтобы он уезжал из дому в столь нежном возрасте; но тут один из друзей рассказал им о некоем аббате Дюбюкуа, который только что завершил обучение одного из самых богатых наследников в Лоше и подыскивал себе новое место и нового воспитанника. Именно такой человек и нужен был барону и баронессе д'Ангилем. Были наведены самые подробные справки, и все они говорили в пользу наставника; вот каким образом аббат Дюбюкуа поселился в замке д'Ангилемов; ему определили годовое содержание в сто пятьдесят ливров со столом и присвоили высокое звание наставника шевалье д'Ангилема.

А теперь скажем несколько слов о самом замке, где обитали четыре человека, о которых мы только что поведали; одному из них – мы не хотим этого долее скрывать от читателей – суждено сделаться главным героем нашего повествования. Нетрудно догадаться, что мы говорим именно о том, кого местные дамы, как уже упоминалось, привыкли называть «красавец Танкред» или «красавец Роже».

Замок д'Ангилемов, собственно говоря, вовсе не был замком, не был он, правда, и обычным домом. Нет, то было строение, представлявшее собою нечто среднее между тем и другим, и оно могло бы сойти за прекрасную ферму. Внизу на сей ферме – мы остановимся на этом слове, хотя и обязаны выказывать всяческое почтение ее благородным обитателям, – было восемь комнат. Среди них прежде всего назовем кладовую для сыров, каковой было присвоено громкое наименование оружейной залы, столовую и гостиную, украшенную тремя старинными портретами, на коих почти невозможно было разобрать лиц, и недавно писаным портретом, изображавшим офицера королевского флота в парадном костюме командира корабля. К этому портрету мы еще вернемся. Залу для стражи – но, увы, без стражи – украшали доспехи, принадлежавшие пяти стражам в те времена, когда они еще имелись; ныне эта зала превратилась в обычную комнату: в ней собирались вместе все члены семьи. Имелись в доме и четыре спальни. Кухня и различные хозяйственные службы находились в подвальном помещении, а еще ниже, под кухней, были устроены погреб и погребки, тянувшиеся подо всеми восемью комнатами. Наконец, в одном из четырех углов этого строения высилась двенадцатиметровая башня, которую именовали сторожевою. Сам барон Аженор д'Ангилем спал в ней, и именно она позволяла ему упорно называть свое жилище гордым словом «замок»; впрочем, название это – то ли по привычке, то ли из учтивости – охотно употребляли все окрестные жители, говоря о доме барона, и если мы оспариваем его право так считать, то поступаем единственно из духа противоречия.

Замок д'Ангилемов не принадлежал к числу наиболее

богатых в округе. Барон получал от своих арендаторов, которым он отдавал внаем земли, тысячу двести ливров в год; а поэтому, так как в провинции доходы каждого известны всем остальным, ему следовало либо безропотно смириться с репутацией дворянина средней руки, либо лгать.

И барон лгал без зазрения совести: он утверждал, будто получает сто луидоров в год из военной казны, да еще сто других из личной казны короля. Впрочем, мы не отважимся уверять, что он утверждал это самолично, просто он не мешал говорить другим и никого не разубеждал. Надо сказать, тут дело обстояло точно так же, как и со всеобщим недовольством, о котором мы уже упоминали: никто не обманывался насчет этих двухсот луидоров дополнительного дохода, и потому шевалье Роже Танкред не считался в провинции завидной партией.

Однако это обстоятельство, как, несомненно, понимают наши читатели, не слишком-то тревожило юношу. Он был высок и силен; если ему недоставало собственных лошадей, к его услугам были лошади всей округи; места для охоты у него было вполне достаточно, ибо по молчаливому уговору окрестных дворян, которым негде было бы разгуляться на собственных землях, каждый имел право охотиться и на землях соседей; Роже мог с листа читать и переводить Корнелия Непота; не имея покамест особых потребностей, он еще не успел обнаружить, что беден.

И в самом деле, чего ему не хватало? У него был воспитатель, с которым он легко мирился, хотя, по правде говоря, смотрел на него как на излишнюю роскошь. Когда Роже возвращался с охоты, то благодаря заботливой пре-

дусмотрительности баронессы его всегда ожидал сытный обед, а остатки обеда он отдавал своей собаке. Затем, после трапезы, его ждала мягкая постель, и он мог, если ему это доставляло удовольствие, спать хоть двенадцать часов кряду. По-моему, это и есть настоящая роскошь, или я глубоко ошибаюсь.

Когда Роже Танкред покидал свой замок – на коне или пешком, с ружьем за спиною или под руку с аббатом Дюбюкуа, – работавшие в поле крестьяне поднимали головы, оборачивались и кланялись ему, а жившие по соседству молодые дворяне останавливались и дружески пожимали ему руку. Вот все блага и преимущества, каких может желать человек с простым сердцем и философическим складом ума, или я ничего не смыслю в вещах такого рода.

Когда в замке ожидали гостей, Роже Танкред помогал матери ничуть не меньше, чем двое слуг, составлявших всю челядь дома. Он собственноручно начищал до блеска массивное старинное столовое серебро с фамильными гербами, он помогал баронессе готовить пироги, ибо она подобно средневековым владелицам замков не брезговала месить тесто своими руками. Больше того, так как он был столь же ловок, сколь и силен, то именно ему поручали вытирать пыль с нескольких ваз из японского фарфора: их вот уже три поколения бережно хранили как семейные реликвии. Когда гости собирались, Роже Танкред облачался в новый кафтан, сшитый, правда, уже года два, а то и три тому назад, проводил гребнем по своим пышным вьющимся волосам и предлагал руку дамам.

Барон и баронесса частенько задумывались над бу-

дущностью своего горячо любимого сына; почтенные супруги не раз обсуждали открывавшиеся перед ним возможности. Отец стоял за военную карьеру; баронесса, однако, обращала внимание мужа на то, что при этом пришлось бы похоронить имя д'Ангилемов в безвестности – в последних рядах войска, ибо питать более радужные надежды в этом случае не приходилось, поскольку наш будущий герой был недостаточно богат, чтобы на собственный счет снарядить и содержать полк. Бывали, правда, особые случаи, когда король устранял такого рода препятствия, жалуя дворянину грамоту на чин полковника и присовокупляя к ней еще и денежное пособие в сто тысяч экю; однако Людовик XIV уже столько раз делал такие дары, что, по его собственным словам, мог теперь это себе позволить только в самых редких случаях.

А у короля не было никаких оснований отказываться ради шевалье Роже Танкреда от столь мудрого решения. Вот о чем баронесса вслух напоминала мужу всякий раз, когда он заводил разговор об этом предмете. Кроме того, она уже чуть слышно прибавляла, что вовсе не желает, чтобы ее бедный мальчик сделался военным, памятуя, что наследник рода д'Ангилемов может, как последний солдат, получить удар алебардой во Фландрии или пулю из мушкета на берегах Рейна, что и случалось сплошь да рядом со многими дворянами, которых благородное происхождение не удержало в родных местах.

Тогда барон обращался мыслью к столь превосходному поприщу, как финансы. В ту эпоху должность в финансовой ведомстве уже считалась завидной карьерой и на нее можно было отважиться, не слишком поступаясь дворян-

ским достоинством. Но где было взять такую должность, ведь она бы стоила вдвое дороже, чем полк, поскольку полк приносил своему владельцу одну только славу да раны, в то время как тепленькое местечко по ведомству финансов приносило своему владельцу полновесные луидоры, приятные и для глаз и для души. Поэтому приходилось отказываться от всяких видов и на эту карьеру, доступную одним только любимчикам г-жи де Ментенон, отца Лашеза и герцога дю Мена. А посему барон д'Ангилем, как и подобало славному добропорядочному мелкопоместному дворянину, на все корки честил «старуху», иезуита и бастардов.

Так что и на финансовое ведомство особенно рассчитывать не приходилось, и сама баронесса, хотя она страстно желала, чтобы ее горячо любимый сын получил какую-нибудь должность, исправлять которую можно без опасности для жизни, была вынуждена признать, вздыхая и покачивая головой, что строить подобные планы – полнейшее безрассудство.

И тогда барон вновь возвращался к заветной мечте, которую он давно лелеял, а именно к мысли сделать сына морским офицером. Морская служба была прекрасным и благородным поприщем, со всех точек зрения достойным любого дворянина. Людовик XIV превратил Францию в морскую державу, и она мало-помалу начала успешно противостоять влиянию Англии и Голландии, двух этих повелительниц морей: французскому королю уже не раз удавалось добиваться того, что они ослабляли одна другую, а он тем временем укреплялся за счет обеих; однако именно здесь барон наталкивался на особенно сильное

сопротивление своей супруги. Если она боялась для сына жребия солдата, то с тем большим основанием должна была страшиться жребия моряка, ибо моряку каждый день приходится бороться не только против враждебных ему людей, но и против всевозможных капризов стихий.

Дело в том, что один-единственный раз, в самом начале их совместной жизни, барон и баронесса д'Ангилем побывали в морском порту. Произошло это в Бресте: во время морской прогулки на них налетел шквал, да такой неистовый, что суденышко, на котором они плыли, раз сто могло перевернуться, и только чудом, по милости Неба, оно благополучно вернулось в порт.

С той поры госпожа д'Ангилем, чьи нервы, хоть она и была деревенской жительницей, были, в сущности, не крепче, чем у парижской маркизы, теряла спокойствие при одном упоминании о море; перед глазами у нее постоянно стоял ее милый сын Роже: при свете молний, под раскаты грома бедняга дрожал и раскачивался на ветру, ему угрожали смертью морские валы, готовые поглотить и похоронить его на дне разбушевавшейся пучины, чей пророческий голос в свое время так убедительно предупредил ее об опасности; а потому, стоило барону после множества словесных ухищрений завести разговор на эту тему, и баронесса тут же начинала испускать громкие вопли и спрашивать мужа, неужели в благодарность за примерное поведение, которым она всегда отличалась, он желает чтобы она умерла с горя.

Тогда барон, человек превосходной души, в свой черед тяжко вздыхал и едва слышно произносил:

– Сударыня, сударыня, вы недостойны гордого имени Корнелии[4], которым вас нарекли!

На что баронесса отвечала:

– Сударь, мы, слава Богу, живем не во времена Гракхов, и я не римлянка.

В самом деле, славная женщина была всего лишь доброй, нежной и прекрасной матерью, что, быть может, не многого стоит в глазах философов, но, уж конечно, высоко ценится Господом Богом. И супругов вновь одолевала все та же вечная неуверенность в грядущем жребии шевалье Роже Танкреда; а покамест мальчику давали самое лучшее воспитание, какое только могли, хотя, по всей видимости, ему предстояло сделаться в будущем всего лишь мелкопоместным дворянином, получающим четыреста экю годового дохода, как и его почтенный отец. Весьма печальная участь.

Тем не менее на этом сумрачном небосводе едва заметно блестела крохотная звезда, и она время от времени освещала семейство д'Ангилемов своим неярким мерцающим сиянием. Роль такой сулившей покровительство звезды играли пока еще робкие надежды на получение наследства: речь шла о состоянии дальнего родственника – барона, кавалера королевских орденов, отставного капитана фрегата, своего рода морского волка, который плавал под командой Жана Барта; звали этого человека виконт де Бузнуа.

---

[4] *...гордого имени Корнелии...* – Корнелия – женское имя в известном римском патрицианском роду Корнелиев. Наиболее известна дочь Публия Корнелия Сципиона. Будучи умной и широко образованной женщиной, Корнелия дала прекрасное воспитание своим сыновьям, братьям Гракхам. Античные авторы упоминают ее как пример истинной римлянки.

Современный портрет, висевший в гостиной среди старинных фамильных портретов, изображал именно его.

Иногда в замке заводили речь об этой нынешней знаменитости, чей блеск сливался с блеском имен прошлых знаменитостей из рода д'Ангилемов, но говорили о ней весьма сдержанно. Дело в том, что хотя состояние виконта и вправду было весьма внушительным, однако виды на наследство были довольно шаткими, а посему связанные с ним планы справедливо почитали волшебными замками, химерами, грезами; вот почему барон и его супруга не отваживались серьезно надеяться на это наследство и были совершенно правы, но при случае они не без гордости заявляли:

– В Версале живет наш родственник виконт де Бузнуа, капитан корабля королевского флота. – Затем, указывая рукой на портрет, прибавляли: – Взгляните, вот он изображен в парадной форме.

Именно глядя на этот портрет, барон вновь обращался мыслями к морской карьере для сына, о чем мы уже поведали читателю, именно столь счастливым родством и были они внушены.

– Что ни говори, – рассуждал барон, – а виконт де Бузнуа – мой кузен; больше того, я даже единственный из оставшихся у него родственников, так что я наследую ему, если он умрет, не оставив завещания; поэтому, если бы я попросил у него рекомендации для Роже Танкреда, он не мог бы мне в том отказать, ну а рекомендация капитана фрегата открыла бы перед моим сыном морское поприще, а коль скоро шевалье сделает первые шаги на этом поприще, кто знает, как далеко он пойдет?

Мысль о морской карьере для сына крепко засела в голове барона, и тут не малую роль сыграли события таинственной жизни виконта де Бузнуа. Самые необычайные рассказы ходили насчет источников его огромного богатства, ослеплявшего взоры всего семейства д'Ангилемов. И один из этих рассказов все почитали наиболее правдоподобным. Вот к чему он сводился.

Виконт де Бузнуа шестнадцатилетним юнцом отправился в свое первое плавание на французском фрегате «Фетида». Сперва он снискал себе славу, обстреливая из орудий попеременно англичан и голландцев; затем, во время второй войны во Фландрии, он вооружил на собственный счет бриг «Касатка» и нападал на суда английской компании, возвращавшиеся из Чандернагора, и на суда голландской компании, возвращавшиеся из Батавии; помимо солидной доли в прибылях, это принесло ему чин капитана фрегата на той самой «Фетиде», на которой он в свое время уже плавал. Наконец, когда был подписан Нимвегенский договор, виконт де Бузнуа в награду за хорошую и верную службу был назначен губернатором небольшой колонии на Малабарском берегу, принадлежавшей в ту пору Франции.

Вам известен обычай женщин только что названной страны. Наш собрат Лемьер, который скончался, так и не уразумев, почему морское министерство не установило ему пенсион в шесть тысяч ливров годового дохода в знак признательности за его знаменитую стихотворную строку:

Свой трезубец Нептун точно скипетр сжимает…

– наш собрат Лемьер, говорю я, описал сей обычай в смертельно скучной своей драме. Так вот, обычай этот в

силу филантропического правления англичан начинает ныне выходить из моды, но в то время он был весьма распространен. И случилось так, что скончался один из самых богатых и могущественных малабарских князьков; следуя традиции, его жена – ей не было еще и двадцати лет, и она была хороша, как ясный день, – объявила о своем твердом намерении сжечь себя во время погребения своего усопшего супруга.

Господин де Бузнуа, в ту пору человек еще молодой – ему лишь недавно исполнилось тридцать пять, – г-н де Бузнуа, повторяем мы, узнал о решении молодой женщины. Надо сказать, что еще при жизни ее мужа отставной капитан фрегата «Фетида» не раз окидывал оценивающим взглядом ту, что ныне стала вдовой; он решил, если только это окажется возможным, помешать готовившемуся самосожжению и отправился для этого в дом покойного; придя туда, он увидел, что вдова приводит в порядок свои роскошные наряды, натирается самыми изысканными благовониями – словом, так прихорашивается перед смертью, как другая прихорашивается перед празднеством. Виконт объяснил очаровательной малабарке цель своего визита, он убеждал ее, что просто преступно так вот взять и ни с того ни с сего покинуть здешний мир, в то время как один ее взгляд может озарить радостью жизнь других людей. Он напомнил ей, что она не только вдова, но прежде всего мать и у нее существует не менее священный долг перед живым сыном, нежели перед умершим мужем. Словом, он был необыкновенно галантен, нежен, красноречив, даже трогателен; но все было тщетно. Молодая женщина призналась, что не без сожаления расстается с

жизнью, к которой только-только приобщилась; тем не менее, она была тверда в своем намерении, давая, однако, понять, что, несмотря на свой решительный отказ, она приносит себя в жертву не столько из желания умереть, сколько потому, что склоняется перед предрассудками окружающих; в конце концов она, призывая в свидетели Вишну, Шиву и Брахму[5], объявила, что будет навеки обесчещена, если проявит слабость и не последует общепринятому обычаю. Из ее слов виконт де Бузнуа заключил, что несчастная вдова не испытывает большого восторга перед ожидающим ее костром, но поступает так единственно потому, что все женщины в ее краях так поступают, что так заведено, что такова, можно сказать, мода, а во всех странах мира любая женщина во что бы то ни стало стремится следовать моде.

И тогда виконт принял твердое решение. Он не стал мешать ходу погребальной церемонии, и казалось, что церемония будет доведена до конца; однако в ту минуту, когда прелестная вдова начала прощаться с родными, он выхватил шпагу и подал знак двум десяткам солдат, которых перед тем расставил цепью вокруг ритуального костра, объявив, что это придаст еще более торжественный характер поучительному зрелищу; пока половина небольшого отряда разбрасывала солому, поленья и другие горючие материалы, сам виконт во главе второй половины своего скромного воинства похитил очаровательную вдову и увез ее в губернаторский дворец.

Мы не знаем, какие именно доводы употребил по

---

[5] *Вишну, Шива и Брахма* – главные божества индуистского Пантеона.

прибытии туда г-н де Бузнуа, чтобы отвратить свою малабарскую Венеру от ее решения.

Но одно нам доподлинно известно: на следующий день она не только отказалась от мысли взойти на костер, но, видимо, вполне утешилась и больше уже не горевала о том, что ей не удалось умереть.

Год спустя виконт де Бузнуа женился на вдовушке; и, по слухам, вступая в брак, супруги завещали свое имущество тому из них, кто переживет другого. В настоящее время в живых оставался сам виконт, и, как мы уже упоминали выше, благодаря рупиям своей покойной красавицы-жены, присоединенным к его собственным пиастрам, он обладал состоянием набоба.

И теперь, если бы г-н де Бузнуа умер, не оставив завещания, его состояние должно было целиком перейти к барону д'Ангилему как к самому близкому его родственнику, ибо сын малабарки от первого брака, по всей видимости, утратил права на наследство, когда его мамаша вступила во второй брак.

Однако вероятность получения этого наследства зависела от слишком многих обстоятельств, и семейство д'Ангилемов не могло никоим образом полагаться на такую возможность, строя планы на будущее для шевалье Роже Танкреда.

Долгими зимними вечерами, когда, собираясь вокруг большого камина, окрестные дворяне беседовали то у одного, то у другого соседа о подвигах своих предков или о военных деяниях сородичей, г-н де Шемиле, чей двоюродный дед командовал кавалерийским полком, толковал о кавалерии; г-н де Биргару, кузен одной из крестниц Вобана,

рассуждал об осадах крепостей; г-н Гантри, доводившийся зятем сборщику соляного налога, разглагольствовал о финансах; аббат Дюбюкуа говорил о церкви. Что же касается барона Аженора Паламеда д'Ангилема, то, благодаря своему родству с виконтом де Бузнуа, он в этом собрании, где каждый вид оружия имел своего представителя, представлял морской флот. Таким образом, героические поступки и любовные похождения капитана фрегата отбрасывали некий отблеск на его родичей из Лоша: слава, как всем известно, не слишком-то прибыльное достояние, но, за неимением иного, она все-таки лучше, чем ничего.

II

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ, КОТОРОГО ДАМЫ ИЗ ЛОША И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ НАЗЫВАЛИ: ОДНИ – КРАСАВЦЕМ РОЖЕ, А ДРУГИЕ – КРАСАВЦЕМ ТАНКРЕДОМ, ОБНАРУЖИЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СЕРДЦЕ

Так проходили дни – а под днями мы разумеем также и ночи – этого славного семейства, но родители все еще ни на чем не могли остановиться, размышляя о будущей карьере наследника рода, которому между тем исполнилось пятнадцать лет; он проводил время как вздумается, охотился и гарцевал на лошади в свое удовольствие, зубрил латынь, хотя и почитал это занятие никчемным, утверждал, что вольный воздух весьма полезен для развития его ума, но стоило ему оказаться на вольном воздухе, и он почти ни о чем не думал, а только насвистывал.

Шевалье Роже Танкред был грозой всех зайцев и косуль в округе, но ему еще ни разу не пришло в голову поохо-

титься за какой-нибудь смазливой пастушкой. Правда, он унаследовал от матери изрядную дозу чувствительности, однако ничто в Ангилеме и его окрестностях еще не заставило ее пустить ростки. Много телесных упражнений, мало прочитанных романов, почти полная невозможность влюбиться – вот что доселе определяло его линию в жизни.

Впрочем, один случай ему все-таки представился, и, надо сказать, шевалье Роже Танкред не преминул им тут же воспользоваться.

На Пасху барон и баронесса давали званый ужин. Праздник этот в те времена был поводом для дружеских встреч, и все окрестные дворяне, жившие на шесть льё в окружности, были приглашены в замок д'Ангилемов. Шевалье Роже Танкред усердно помогал матери, он выполнил все, что ему было поручено, – о его обязанностях мы уже подробно рассказывали выше – а затем нарядился в самое лучшее свое платье и вошел в гостиную, где уже собрались приглашенные.

Беседа велась о порубках леса, о недавнем севе, о предстоящей охоте, и, так как эти предметы разговора были весьма близки и интересны мелкопоместным дворянам, никто не обратил особого внимания на то, что один из гостей сильно запаздывает; гость этот был виконт де Безри, слывший по всей провинции столь точным человеком, что его аккуратность вошла в поговорку. Тем не менее, когда на стенных часах пробило восемь, – в приглашениях было сказано, что за стол сядут ровно в половине восьмого, – желудки собравшихся начали требовать своего, и, прислушавшись к этому властному голосу, их обладатели стали тихонько спрашивать друг у друга, что же все-таки могло задержать опаздывающего соседа.

Вопрос был вполне уместным, ибо, начиная с той минуты, когда часы пробили половину восьмого, все стали замечать, что барон с беспокойством следит глазами за бегом минутной стрелки, а баронессу уже два или три раза подзывали к дверям гостиной слуги, чтобы справиться, можно ли подавать кушанья, причем она громко отвечала:

– Повремените немного, Катрин: виконт де Безри с минуты на минуту прибудет.

Стенные часы показывали четверть девятого; стало понятно, что только несчастный случай мог так задержать г-на де Безри. И баронесса д'Ангилем начала не на шутку тревожиться за свою приятельницу-виконтессу и за ее дочь Констанс: та приехала из монастыря, чтобы провести пасхальную неделю в родной семье, и должна была сопровождать своих почтенных родителей в Ангилем.

Тогда барон приказал шевалье Роже Танкреду оседлать Кристофа и отправиться по дороге в Безри на поиски пропавших. Было решено ждать возвращения молодого человека, но тут же условились, что ежели через час он возвратится, ничего не узнав, то все сядут за стол, больше не думая о том, что именно могло произойти с виконтом де Безри.

Роже Танкред принял поручение, не заставив себя долго упрашивать: этот живой юноша был всегда готов услужить; поверх своих шелковых чулок он натянул пару длинных гетр, оседлал Кристофа, доброго коня трех или четырех лет от роду, вскочил ему на спину, натянул поводья, взмахнул прутом остролиста, заменявшим ему отсутствующие шпоры, и заставил мирное животное с ходу перейти в галоп.

Вечер был такой, о каком может только мечтать поэт: тусклая луна, скрытая большими лохматыми тучами, резкий северный ветер, свистевший в ветвях, еще лишенных листвы, зловещие крики ночных птиц – все это привело бы в восторг Рене, Вертера или Гамлета; но Роже был равнодушен к мрачному очарованию ночи, к тому же он сильно проголодался, а когда Роже бывал голоден, то в природе не существовало почти ничего – за исключением разве хорошо сервированного стола, – что могло бы привлечь его внимание. Вот почему он мчался галопом, бранясь и посылая ко всем чертям неаккуратных людей, прикидывая, что из-за этой задержки рагу слишком долго пролежит в кастрюле, а говяжье филе пережарится; и всю вину за неаккуратность соседей он возлагал на мадемуазель де Безри: скорее всего она слишком тщательно наряжалась и этим задержала родителей. Предаваясь подобным размышлениям, юный гонец нахлестывал Кристофа; тот привык к гораздо более спокойному аллюру, даже когда на нем гарцевал сам шевалье, а теперь несся галопом, причем из ноздрей у него валил дым, как у фантастического коня возлюбленного Леноры[6].

Однако, хотя Роже Танкред все мчался вперед, он по-прежнему ничего не видел, кроме теней от туч, закрывавших луну; тени эти на мгновение как бы набрасывали на дорогу траурное покрывало. Время от времени юноша придерживал коня и прислушивался, но до него доносился лишь свист ветра в верхушках деревьев. Тогда Роже со вздохом поворачивал голову в сторону родительского

---

[6] *Ленора* – героиня одноименной баллады немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера (1747-1794).

замка и сквозь ветви различал вдали светящиеся окна его. При этом он испытывал сильный соблазн повернуть назад и возвратиться домой, сказав, что на дороге ничего не заметил; однако юноша тут же вспомнил, что прошло всего десять минут с тех пор, как он выехал из замка, а отец наказал ему ехать вперед не меньше четверти часа. И он пересиливал себя, опять нахлестывал Кристофа и снова мчался галопом, к величайшему изумлению бедной лошади: обычно на ней ездил верхом барон, и поэтому она привыкла к небыстрой рыси.

Внезапно Роже показалось, будто в двухстах или в трехстах шагах впереди раздался отчаянный крик; услышав этот крик, лошадь сама остановилась, шумно втягивая воздух дымящимися ноздрями. Шевалье посмотрел по сторонам: он находился теперь в пустынной заболоченной лощине на узкой дороге, которая шла над карьером, где добывали глину; вокруг царил мрак, и потому крик прозвучал особенно зловеще; юноша невольно вздрогнул.

Однако – и это надобно сразу сказать в похвалу наследнику рода д'Ангилемов – чувство страха, охватившее шевалье, было мимолетным и тотчас же прошло, едва он подумал, что может быть полезен тем, кто издал столь жалобный вопль. Роже снова пришпорил коня и закричал во всю мочь:

– Эй-эй! Кто зовет на помощь? Где вы там?

– Здесь! Здесь! – послышался новый возглас, прозвучавший теперь уже гораздо ближе, чем раньше: он доносился как будто из недр земли.

– Где «здесь»? – спросил Роже, продолжая ехать вперед.

– Влево от дороги, в канаве. Тут-тут, внизу, прямо под вами!

Роже придержал Кристофа и устремил взгляд во тьму, которая стала еще гуще, ибо луна совсем скрылась в тучах. Ему показалось, будто в футах пятнадцати под ним что-то шевелится.

– Уж не вы ли это, господин де Безри? – осведомился юноша.

– Да, да, это я, шевалье, – отвечал невидимый собеседник, – Бога ради, вызволите нас отсюда. Мы ехали по самому краю откоса, наш экипаж накренился, сполз вниз, и мы увязли в грязи.

– На помощь, господин Роже! – послышался женский голос.

– На помощь! – вторил ему девичий голосок.

– Ах, бедный господин де Безри! – воскликнул Роже. – Обождите, обождите, я мигом!

Он соскочил наземь. И только тогда услышал сильный шум, которого до тех пор не различал за топотом копыт своего коня; теперь же, когда Кристоф стоял, шум этот отчетливо доносился до ушей юноши. В жидкой грязи глиняного карьера неистово билась какая-то лошадь: она увязла в ней по самое брюхо. Старинная карета, как уже сказал виконт де Безри, съехала с проезжей дороги в глубокую яму и упала плашмя, но, так как кузов у нее был очень крепкий, а глина мягкая, падение никому не причинило вреда.

Госпожа де Безри сперва решила, что самое лучшее – упасть в обморок, но, услышав голос Роже, она тут же пришла в себя. Ее дочь Констанс перенесла падение эки-

пажа с редкостным присутствием духа; нечего и говорить, что сам виконт де Безри, который тоже совсем не пострадал, тревожился только за жену и дочь.

Шевалье Роже Танкред, полагая, что времени терять нельзя, соскользнул по откосу и очутился на крытом верхе кареты. После этого он окликнул кучера, зовя его на помощь; однако оказалось, что тот отправился искать подмоги, и юноша тщетно звал его. Тогда Роже решил собственными силами вытащить на дорогу виконта де Безри, его жену и дочь, справедливо рассудив, что тем больше будет его заслуга. А потому он прежде всего отворил дверцу кареты, и Констанс – виконтесса, по примеру матери, поднимавшей во время потопа свое дитя над бушующими водами, уже протягивала ему дочь, – оказалась на воле. Роже подхватил мадемуазель де Безри на руки и перенес ее на сухое место с такой ловкостью, будто это была не девочка, а пташка. Затем настал черед самой виконтессы, и это уже было делом более трудным. Г-жа де Безри, как и большая часть дам в провинции, была, что называется, дебелой матроной, иначе говоря, полной и весьма аппетитной особой; рост ее достигал пяти футов и одного дюйма, на отсутствие жира она пожаловаться не могла, а потому весила от ста шестидесяти до ста семидесяти фунтов. Тем не менее Роже напряг все силы, и ему в конце концов удалось извлечь почтенную даму из кареты, виконт тем временем подталкивал жену снизу, и через несколько мгновений она – целая и невредимая – уже стояла на дороге рядом с дочерью.

Оставался еще сам г-н де Безри, но с ним не могло возникнуть таких трудностей, как с его супругой. Виконт был высокий худой старик, еще крепкий и проворный; он в

один миг выбрался из кареты, без помощи Роже вскарабкался по откосу и присоединился к остальным членам своей семьи.

Роже больше нечего было делать на рыдване г-на де Безри, он незамедлительно последовал за виконтом и обменялся с ним учтивыми поклонами, а мать и дочь рассыпались в выражениях благодарности, сопровождая их реверансами.

Между тем кучер все не возвращался. Напрасно все четверо звали его, их крики замирали в ночной тишине, и одни только совы да филины отвечали на этот призыв, как будто решили посмеяться над незадачливыми путниками.

Сильное чувство голода лишало шевалье последних остатков терпения, и он предложил больше не ждать кучера, сказав, что тот наверняка сам во всем разберется и отыщет дорогу; затем юноша принялся выпрягать лошадь, барахтавшуюся в грязи; и через минуту она в свой черед оказалась на дороге в десяти шагах от своих хозяев.

Теперь оставалось лишь добраться до замка. Дело это, на первый взгляд, было совсем легкое, однако, как увидит читатель, оно осложнялось обстоятельствами, в которых очутились наши герои. Для такого переезда в их распоряжении имелись только две лошади: на карету рассчитывать не приходилось, ибо понадобилось бы семь или восемь человек для того, чтобы поставить ее на ноги, вернее сказать, на колеса. Стало быть, как мы уже сказали, имелись две лошади, но одна из них была вся перемазана грязью; Роже сначала предложил такой план: он поведет Кристофа на поводу, а виконтесса с дочерью сядут на спину коня, сам же г-н де Безри поедет верхом на другой лошади. Однако

Кристоф, все еще разгоряченный быстрой скачкой, беспокойно ржал и бил о землю копытом; он показался матери и дочери слишком резвым, и потому от плана Роже пришлось отказаться.

Тогда шевалье сказал, что сам сядет на Кристофа вместе с виконтессой де Безри, ибо, оказавшись верхом на коне, он полностью может отвечать за его поведение, а виконт с дочерью сядет на другую лошадь. Но, как мы уже упомянули, лошадь была вся в грязи, и виконтесса негромко сказала мужу, что в этом случае Констанс перепачкает свое красивое новое платье из полосатой шелковой ткани. Так что и это предложение было отвергнуто вслед за первым.

Наконец было решено, что г-жа де Безри, меньше дорожившая собственным платьем, нежели платьем Констанс, сядет вместе с мужем на лошадь, выпряженную из кареты, после того как на спину этой лошади наденут седло, снятое с Кристофа, а шевалье Роже Танкред, слывший прекрасным наездником, поедет на Кристофе без седла и отвезет Констанс в замок на крупе своего коня.

Приступили к осуществлению этого плана, но и его пришлось подвергнуть небольшому изменению. Г-н де Безри первым взобрался на лошадь, затем Роже приподнял его супругу и торжественно усадил ее позади виконта. До сих пор все шло превосходно, но привести в исполнение остальную часть замысла оказалось не так-то просто.

Если бы шевалье Роже Танкред первый уселся верхом на коня, некому было бы помочь мадемуазель де Безри взобраться на круп Кристофа; в противном случае, если бы шевалье Роже Танкред сперва усадил Констанс, сам он мог

бы сесть на лошадь, разве только прибегнув к необыкновенному способу: ему пришлось бы вскочить на Кристофа со стороны его головы, а не со стороны хвоста. Стали искать вокруг какую-нибудь скамью, каменную тумбу, пень, чурбак, но ничего подходящего не нашли. В конце концов шевалье Роже Танкред, чью изобретательность пришпоривал голодный желудок, придумал выход: он решил, что поедет на коне позади Констанс и сам обнимет ее руками, вместо того чтобы она обнимала его. Такая поза, без сомнения, не вполне совпадала с приличиями, и потому супруги де Безри нахмурили брови; однако виконтесса нагнулась к уху мужа и тихо сказала:

– Ничего не поделаешь, друг мой! Это необходимо, да к тому же они еще дети.

– Садитесь как угодно, – буркнул виконт де Безри, – пора со всем этим кончать.

– Мадемуазель, вы позволите? – спросил Роже.

Он поднял как перышко маленькую сильфиду по имени Констанс, и через мгновение сам оказался на крупе Кристофа, позади нее.

Мадемуазель де Безри издала легкий и весьма мелодичный возглас, испуганный, но отнюдь не пугающий. Виконт тотчас же спросил: «Что такое?» – и в голосе его прозвучала отцовская тревога за целомудрие дочери.

– Пустяки, милостивый государь, пустяки, – отозвался Роже, – когда я садился на коня, ваша дочь слегка покачнулась; но теперь я крепко держу ее в объятиях, так что никакой опасности больше нет.

– В объятиях, черт побери? В объятиях?! – проворчал виконт.

– Молчите, друг мой, – остановила его жена, – вы, пожалуй, еще наведете этих детей на мысли, которых у них, разумеется, нет и в помине.

– Не будем об этом больше говорить, – пробурчал виконт.

И он с такой силой сжал бока лошади пятками, что она с места пошла рысью. Кристоф затрусил сзади.

Тем не менее поспешим сказать, что для опасений г-на де Безри, хотя и несколько преувеличенных, известные основания все же были. Как только шевалье Танкред почувствовал, что Констанс прижалась спиной к его груди, сердце у него забилось так сильно, как никогда еще не билось. Со своей стороны девочка, до тех пор воспитывавшаяся в монастыре и в жизни не ездившая верхом, вся трепетала от страха; и потому ли, что она испытывала незнакомое прежде удовольствие, либо потому, что владевший ею испуг в самом деле одержал верх над правилами приличия, эта невинная девочка безотчетно прижимала к своей груди руку, которой юноша обнимал ее, и, время от времени оборачиваясь к нему, восклицала:

– Ой, шевалье, держите меня покрепче! Ой, шевалье, я так боюсь! Ой, шевалье, я сейчас упаду!..

И всякий раз, когда она поворачивала голову, ее белокурые волосы касались лба юноши, взгляд прекрасных глаз встречался с его взглядом, свежее дыхание смешивалось с его дыханием, так что бедный шевалье забыл даже о мучительном голоде, и ему хотелось, чтобы поездка длилась вечно, ибо он ощутил незнакомое удовольствие, невыразимое блаженство, несказанную радость, овладевавшую всем его существом; это дотоле неведомое чувство распи-

рало ему грудь, каждый шорох ветвей на деревьях, каждый лунный луч нежно ласкал его и как будто шептал на ухо: «Не правда ли, Роже, ты счастлив?»

Да, шевалье был счастлив, и, сама не зная отчего, Констанс тоже была счастлива. К ее боязни примешивалась легкая доля сладостного волнения, в котором она не отдавала себе ясного отчета, и милая девочка с удивлением думала, что никогда еще дрожь не была ей так приятна и что, оказывается, страх – это чувство, полное прелести, чувство, до сих пор малоизвестное, потому-то на него и клевещут, как клевещут на все то, что плохо знают.

Так, охваченные неизвестным ощущением счастья, еще недоступным их рассудку, но уже глубоко проникавшим в их сердца, наши юные герои прибыли в замок д'Ангилемов. Гости сразу услышали стук лошадиных копыт: говорят, будто голодное брюхо ко всему глухо, но это глубокое заблуждение. Напротив, голодное брюхо вовсе не глухо, оно все слышит, да еще как! А потому все высыпали на крыльцо, и виконт, виконтесса, Констанс и Роже были встречены при свете факелов прямо как владетельные монархи: ведь когда те возвращаются в свою страну, в их честь королевскую резиденцию ярко освещают огнями.

Барон подал руку виконтессе, и, опершись на нее, она довольно ловко спустилась на землю. Виконт сошел с коня весьма торжественно – в три приема, как и подобает опытному наезднику; Роже одним прыжком соскочил с лошади, обеими руками обхватил мадемуазель Констанс за плечи, поднял ее как перышко и осторожно, так осторожно опустил на землю, что гравий даже не зашуршал, когда ножки милой девочки коснулись его. Только теперь, при

свете факелов, Роже наконец как следует разглядел Констанс, чей облик он дотоле скорее угадывал. Что сказать о ней? Прелестные голубые глаза, золотистые волосы, нежные и мягкие, как шелк, румяный, точно вишня, рот, лебединая шея, талия, как у сильфиды, – вот какова было мадемуазель де Безри! Жаркая, обжигающая как пламя пелена заволокла на миг глаза Роже, и ему показалось, что он сейчас умрет от радости.

Он шел за мадемуазель Констанс, не решаясь предложить ей руку, а она, едва сойдя на землю, зарделась и, как подобает воспитаннице монастыря, сделав изящный реверанс кавалеру, направилась к своей матери; но странное дело: сердце шевалье, еще недавно переполненное радостью, почему-то вдруг болезненно сжалось. Ему почудилось, что милая девочка разлучается с ним. И Роже, бедный Роже, юноша, чей завидный аппетит вошел в поговорку, уселся за стол, не испытывая ни малейшего желания есть.

Между тем нашему герою был уготован подлинный триумф. Нетерпение, с каким гости ожидали ужина, заставило их устремиться в столовую; но уже после первой перемены разговоры, на время приглушенные голодом, возобновились: посыпались вопросы, все стали осведомляться о причинах, заставивших г-на де Безри так опоздать, и удивлялись, почему сей достопочтенный дворянин, который должен был приехать в карете, вместо этого прибыл верхом.

И тогда виконт де Безри во всех подробностях рассказал о случившемся, он назвал шевалье Роже Танкреда своим спасителем, с похвалой упомянул о самоотверженности и о ловкости, которые тот выказал, несмотря на

юный возраст. Г-жа де Безри вторила мужу, приумножая его похвалы. Одна только Констанс ничего не сказала, зато густо покраснела и украдкой взглянула на Роже. Юноша, не спускавший глаз с девочки, заметил, что она покраснела, и перехватил ее взгляд; сам не понимая почему, он почувствовал, что и взгляд этот, и румянец, выступивший на щеках у Констанс, доставили ему несказанное удовольствие. Словом, за ужином только и говорили что о шевалье Роже Танкреде, а за десертом гости уже смотрели на него как на избавителя всей семьи де Безри вообще, и как на спасителя мадемуазель де Безри в частности.

Таким образом, мадемуазель Констанс и шевалье Роже Танкреда чествовали, точно двух истинных героев вечера, их чествовали, как это было принято в те счастливые времена, когда всюду еще царила учтивость и доброжелательность; и впрямь в ту эпоху каждый, казалось, старался быть особенно любезным и ласковым с юными существами, делавшими свои первые шаги в обществе. Женщины приветливо встречали школяра, которого еще опекал наставник. Мужчины стремились понравиться наследницам дворянских родов, еще жившим взаперти – за решетками монастыря. Молодые люди, едва выйдя из коллежа, уже говорили о любви, а юные девицы, едва выпорхнув из приемной залы обители, уже охотно слушали такие разговоры.

То было счастливое время, когда мальчики, пуская волчок, еще не рассуждали о политике, а девочки, одевая и раздевая своих кукол, еще не рассуждали о нравственности.

Господин д'Ангилем в глубине души был весьма

польщен, что неожиданное приключение на болоте придало некую значительность его сыну. Строя планы на будущее, барон всякий раз думал и о грядущей женитьбе Роже Танкреда. А ведь Констанс после смерти родителей могла стать обладательницей годового дохода в шесть тысяч ливров, она была не просто хорошей, но даже завидной партией для шевалье. В случае их брака можно было бы объединить владения де Безри и д'Ангилемов, купив три или четыре льё заболоченных земель, превосходных для охоты, но более ни на что не пригодных; их удалось бы приобрести за бесценок, а вместе с двумя или тремя рощами, разбросанными там и сям вдоль дороги и принадлежавшими небогатым владельцам, которые тоже уступили бы их почти даром, земли эти составили бы одно из самых великолепных поместий, когда-либо принадлежавших баронам в Турени. Дети, родившиеся от этого брака, владели бы, таким образом, и долиной и горой, как ими владели их предки во времена своего наибольшего могущества. Это было бы хорошо, это было бы прекрасно, это было бы великолепно! И достойный барон был за ужином необыкновенно весел, а за десертом даже что-то напевал.

В полную противоположность барону, виконт де Безри, словно бы проникший в тщеславные планы г-на д'Ангилема, уже сел за стол с подчеркнутым достоинством, а по мере того как трапеза подвигалась к концу, он держался все более чопорно и делал знаки своей жене, призывая ее к тому, чтобы и она, со своей стороны, была начеку; надо сказать, что благородная супруга выполнила свой маневр с умением, заслуживающим всякой похвалы.

Случилось так, что молодых людей усадили за стол рядом, и они, вместо того чтобы есть с аппетитом, как положено детям от двенадцати до пятнадцати лет, все время тихонько переговаривались, как поступают влюбленные. Виконт и виконтесса де Безри испепеляли дочь разгневанными взглядами, но Констанс, поглощенная совсем другим, долго вообще не замечала этих суровых взглядов; однако под конец она обратила на них внимание, и это повергло девочку в тревогу тем более ужасную, что она никак не могла понять, за что, собственно, гневаются на нее родители.

Вот почему, как только встали из-за стола, г-жа де Безри взяла дочь за руку и усадила рядом с собой, а г-н де Безри объявил, что хочет вернуться домой в тот же вечер, и вышел узнать, не прибыла ли его карета.

Он возвратился в полном расстройстве: оказалось, что его кучер явился мертвецки пьяный, а карета по-прежнему мирно покоится в болоте; и тогда, как того требовала учтивость, барон и баронесса, естественно, предложили соседям комнату для ночлега в своем замке. Однако, выслушав такое предложение, в котором, кстати, не было ничего необычного, виконт де Безри так и подскочил на месте, а потому барон был вынужден сделать другое предложение. Он сказал, что можно запрячь лошадь виконта в его, барона, двуколку: тогда супруги де Безри, коль скоро они так настаивают, в ту же ночь уедут вместе с дочерью к себе в замок, а утром, прибавил г-н д'Ангилем, его слуги вытащат экипаж из болота, впрягут в него Кристофа, означенный Кристоф отвезет карету в Безри и доставит оттуда двуколку.

Это новое предложение было с восторгом встречено виконтом и виконтессой, к величайшему огорчению мадемуазель Констанс и шевалье Роже Танкреда: они украдкой обменялись беглым и горестным взглядом, в глазах у них даже мелькнули слезы, и оба сопроводили свой взгляд подавленным вздохом, что, по счастью, не было замечено непреклонными родителями девочки. Четверть часа спустя слуга доложил, что лошадь уже впрягли в двуколку барона.

Надо было расставаться; бедные дети впервые увидели друг друга всего два часа тому назад, но им казалось, будто они знакомы с самого детства. Барон и виконт обменялись рукопожатием; г-жа д'Ангилем и г-жа де Безри расцеловались; Констанс сделала собравшимся изящный реверанс и бросила весьма грустный взгляд на шевалье Роже Танкреда; затем трое отъезжающих поднялись в двуколку, лошадь тронулась с места, и все услышали постепенно стихавший вдали стук колес и звон колокольцев, потом и эти звуки стихли.

Роже не вернулся в гостиную вместе с другими. Сперва он стоял на крыльце возле самых дверей, затем сбежал с крыльца во двор, к воротам, и застыл там, печальный, неподвижный, провожая глазами медленно удалявшуюся двуколку; даже когда она совсем скрылась из виду, он все еще продолжал смотреть ей вслед. Без сомнения, юношу застали бы на том же самом месте и следующим утром, если бы он не почувствовал, что кто-то легонько ударил его по плечу. Это был наставник шевалье аббат Дюбюкуа: он пришел сказать своему воспитаннику, что его затянувшееся отсутствие будет расценено приглашенными, еще

сидевшими в гостиной, как проявление неучтивости. Роже незаметно вытер две крупные слезы, катившиеся у него по щекам, и последовал за воспитателем.

III

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ, ОБНАРУЖИВ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СЕРДЦЕ, ПОЖЕЛАЛ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО У МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ ОНО ТОЖЕ ЕСТЬ

К счастью для шевалье Танкреда, в те времена по праздникам, даже на Пасху, люди не засиживались допоздна, и в полночь все гости уже распрощались: жившие поблизости отправились по домам – кто на лошади, кто пешком; жившие подальше разошлись по комнатам, которые барон и баронесса, свято соблюдавшие правила старинного гостеприимства, охотно предоставили в их распоряжение.

Перед тем как подняться к себе, Роже, как всегда, поцеловал отца и мать, и те с улыбкой переглянулись. Потом он отвесил поклон аббату и удалился, но не для того, чтобы лечь, – спать ему совсем не хотелось, ибо сон у него пропал так же, как и аппетит, – а для того, чтобы без помехи помечтать о мадемуазель де Безри.

Впервые в жизни шевалье думал не об охоте, не о верховой езде, не об умелом выпаде во время фехтования, не о хитроумной уловке, которая избавила бы его от необходимости разбирать отрывок из Саллюстия или Вергилия, а о чем-то совсем ином.

Юношей овладела глубокая грусть; он понял, что по-

спешный отъезд семейства де Безри имел единственную цель – похитить у него Констанс, но он прочел в глазах милой девочки, что ей хотелось остаться не меньше, чем того хотелось ему, и это его несколько утешило. К тому же в первых огорчениях первой любви есть нечто такое, от чего сладостно сжимается сердце, а потому мы миримся с этими ощущениями гораздо спокойнее, нежели с тем безразличием, на смену которому они пришли, ведь влюбленный прежде всего алчет даже не счастья, ибо он еще толком не знает, что такое счастье, сильнее всего он жаждет права не возвращаться в ту бесплодную пустыню, откуда ему удалось уйти; ему так хочется и дальше оставаться под сенью красивых зеленых деревьев, греться в лучах ласкового солнца, бродить среди чудесных цветов с одуряющим ароматом, и, хотя их шипы уже поранили его пальцы, он во что бы то ни стало стремится сорвать эти цветы и вопреки всему вдыхать их аромат. Отныне он предпочитает затишью все что угодно, даже бурю, и если радость пока еще не дается ему, он согласен даже на страдание.

Роже заснул поздно, и сон его был беспокоен, однако это не помешало ему подняться с первыми лучами солнца; проснулся он свежим, в хорошем расположении духа, глаза у него блестели. Дело в том, что у него созрел небольшой план: он надумал самолично отвезти в Безри карету виконта, в которую должны были впрячь Кристофа, и собрался он сделать это, сославшись на то, будто отец и мать поручили ему осведомиться о самочувствии соседей: принимая во внимание, что те покинули замок д'Ангилемов в столь поздний час, барон и баронесса, разумеется, тре-

вожились, как бы по пути с ними не случилось какого-либо досадного происшествия. Надобно заметить, что Роже перед тем пришла в голову еще одна мысль – она-то и сделала вполне естественным и осуществимым его план: он решил дать экю кучеру виконта, с тем чтобы тот сказался больным и объявил, что покамест не в силах добраться до Безри.

Шевалье хорошо помнил место, где увязла карета, и он направился туда в сопровождении егеря и младшего конюха; призвав на помощь садовника, арендатора и трех или четырех батраков, они после долгих усилий умудрились на веревках вытащить экипаж на дорогу. К счастью, старинный рыдван был так прочен, что нигде даже не треснул, и, как только карету вновь поставили на колеса, оказалось, что ее можно без особого труда доставить в Безри. Кристоф, которого его юный хозяин все время подгонял ударами хлыста, с ходу перешел на крупную рысь; правда, он брыкался и обиженно ржал, давая этим понять, что никак не возьмет в толк, почему со вчерашнего дня с ним начали так дурно обходиться.

Однако по мере того как Роже приближался к Безри, его обращение с Кристофом становилось все мягче, и умное животное, заметив, что удары хлыста сыплются на него реже, перешло сперва с крупной рыси на мелкую, а затем – с мелкой рыси на шаг. В самом деле, если молодому человеку сначала казалось таким простым делом самому отвезти виконту его карету и забрать отцовскую двуколку, то теперь это представлялось ему чудовищной дерзостью. Вспоминая суровое чело г-на де Безри, его нахмуренные брови, отрывистый голос, а особенно поспешный отъезд, юноша спрашивал себя, испытает ли человек, поторопив-

шийся уехать из замка д'Ангилемов, большое удовольствие, увидя наследника этого семейства у себя в замке. Все эти соображения были малоутешительны для шевалье Роже Танкреда, который при всех превосходных качествах, коими его наградило Небо, не обладал той счастливой дерзостью, какая почти наверняка ведет к успеху; вот почему он совсем перестал подгонять Кристофа; больше того, если бы его лошадь вдруг остановилась, молодой человек, пожалуй, не нашел бы в себе мужества заставить ее продолжать путь, а если бы она вдруг пошла назад, к дому, он бы не решился повернуть ее вспять и принудить ехать в Безри. Но, к счастью, всего этого не произошло: Кристоф был честный и порядочный конь, не способный на такой поступок, он не любил, чтобы его подгоняли, и только; когда же ему доверяли, он выказывал истинно провинциальную добросовестность, и на него вполне можно было положиться. А потому Кристоф спокойно трусил по дороге в Безри, и Роже вскоре заметил две крытые черепицей башенки небольшого замка, чьи скрипучие флюгера виднелись над деревьями старинного парка.

Шевалье Роже Танкред все еще продолжал продвигаться вперед; но надобно прямо сказать, что теперь уже не он управлял Кристофом, а скорее Кристоф управлял им. Итак, шевалье продвигался вперед, он был во власти сильной тревоги, размышляя о приеме, который будет ему оказан, как вдруг в оконце одной из башенок появилась прелестная золотистая головка Констанс, смотревшей в его сторону широко раскрытыми красивыми голубыми глазами, а рука, подчинявшаяся воле очаровательной головки, махала платочком в знак того, что вновь прибывшего уз-

нали. При виде этого Роже остановил Кристофа, и двое милых детей стали обмениваться знаками простодушной нежности, которая переполняла их сердца, стремившиеся одно к другому.

Так продолжалось минут десять и, вероятно, продолжалось бы до самого вечера, если бы Роже не заметил, что позади Констанс выросла другая фигура. Столь некстати появившаяся особа была виконтессой де Безри; она проходила по коридору, увидела, что ее дочь, по неосторожности не притворившая дверь своей комнаты, подает в окно какие-то странные сигналы, и пожелала узнать, к кому же эти сигналы обращены. Г-жа де Безри, еще накануне упрекавшая мужа за то, что он слишком легко поддался тревоге и заставил их так рано уехать из замка д'Ангилемов, теперь, узнав Роже, начала думать, что опасения виконта были не столь неосновательны, как ей сначала показалось.

Застигнутый на месте преступления, Роже понял, что отступать поздно; он ударил хлыстом Кристофа, злополучный конь, не ожидавший такого обращения, перешел в галоп, и шевалье, не замедляя хода, въехал во двор замка де Безри.

Первым, кого увидел наш герой, был виконт, возвращавшийся к себе после утренней прогулки по парку. Шевалье подумал, что теперь самое время проявить отвагу; он спрыгнул на землю, приблизился к г-ну де Безри и довольно развязно для человека, делающего еще только первые шаги на стезе лжи, сообщил, что кучер виконта совсем расклеился и он, Роже, решил сам доставить карету в Безри, полагая, что она может понадобиться виконту, а также для того, чтобы осведомиться по поручению барона

и баронессы д'Ангилем, не произошло ли с их добрыми соседями какого-либо досадного происшествия, когда они ночью возвращались домой.

Такое объяснение выглядело вполне правдоподобным, и виконту пришлось удовольствоваться им, хотя он прекрасно понимал истинную причину, вызвавшую визит юноши; он сделал вид, будто верит всему сказанному, и, в свою очередь, осведомился у Роже о здоровье его родителей; а так как время уже близилось к обеду и виконт направлялся в замок, чтобы сесть за стол, он выказал себя настолько учтивым, что даже пригласил своего услужливого соседа разделить с ним трапезу. Нетрудно догадаться, что Роже с признательностью принял это приглашение.

То было второе испытание, которому виконт решил подвергнуть Роже и Констанс: ведь что ни говори, а он мог накануне ошибиться и потому хотел сызнова понаблюдать за обоими детьми. Увы! Их бедные юные сердца еще не умели притворяться! Войдя в гостиную, Констанс покраснела, словно ей было уже пятнадцать лет, а Роже побледнел при этом, как будто ему исполнилось восемнадцать. Г-н де Безри заметил, какое различное действие произвела на молодых людей их встреча, однако действие это было вызвано одной и той же причиной, а потому его смутные подозрения превратились в твердую уверенность.

За обедом Констанс и Роже совершали одну оплошность за другой; но на сей раз виконт де Безри не хмурил брови, как накануне, он не мешал обоим вести себя как им заблагорассудится и только довольствовался тем, что делал своей жене знаки. Знаки эти говорили: «Ну что? Такой ли уж я фантазер, как вы вчера утверждали? Теперь-то вам ясно? Ясно?»

И в самом деле, все было настолько ясно, что к концу обеда виконт, без сомнения, для того, чтобы отбить у Роже всякую охоту вновь появляться в замке де Безри, небрежным тоном сообщил, что его дочь в тот же вечер возвращается в монастырь. При этом известии Констанс испустила горестный возглас, а Роже, заметив, как сильно она побледнела, и думая, что бедняжке дурно, бросился было к ней, однако виконт мягко удержал его, присовокупив, что г-жа де Безри тут и если дочка будет нуждаться в помощи, то помощь ей окажет мать.

Констанс еще не достигла того возраста, когда падают в обморок. Бедная девочка была чересчур наивна для этого, а потому она только залилась слезами; при виде ее слез Роже пришлось собрать все силы, чтобы самому не расплакаться. Тем не менее столь неуместные слезы привели к последствиям, печальным для обоих детей: Констанс велели подняться к себе в комнату. Продолжая всхлипывать, она, слегка присев, попрощалась с Роже, а он в ответ поклонился ей с самым несчастным видом, после чего, поняв, что ему больше незачем оставаться в замке, он объявил виконту, что имеет честь откланяться. Можно было подумать, будто хозяин дома предвидел возможность столь поспешного отъезда гостя, ибо, выйдя на крыльцо, Роже увидел, что во дворе уже стоит запряженный в двуколку Кристоф. Юноша поклонился виконту, тот с самым дружеским видом пожал ему руку, в свой черед попросил передать наилучшие пожелания барону и баронессе и закончил сие учтивое прощание, пожелав шевалье доброго пути.

Читатель, разумеется, догадался, что, проезжая мимо башенки, Роже не преминул взглянуть на оконце. Благо-

склонной судьбе было угодно, чтобы как раз в эту минуту виконтесса, полагавшая, что молодой человек еще в гостиной, ненадолго вышла из комнаты дочери; Констанс, на мгновение освободившись от опеки, подбежала к окну и сразу же заметила шевалье. К его величайшему удивлению, лицо девочки сияло. Он уже хотел спросить у прелестного создания, чем объясняется столь неожиданная ее радость, но тут она показала ему карандаш и клочок бумаги. Юноша понял, что Констанс собирается что-то написать ему, и остановился. Действительно, через минуту листок бумаги и карандаш упали к его ногам.

На листке было всего несколько строк:

«Мама, которая очень любит меня, сейчас призналась, что лишь для того, чтобы Вы снова не пожаловали к нам в замок, в Вашем присутствии сказали, будто я уезжаю в монастырь нынче вечером. На самом деле я уеду только в следующее воскресенье.

Констанс».

Роже понял, что ему бросили карандаш, чтобы он мог послать ответ; он оторвал от листка полоску бумаги и в свой черед написал:

«Прогуливайтесь завтра утром в парке возле ледника; я перелезу через стену, и мы вместе подумаем, как нам вновь свидеться. Не знаю, будете ли Вы горевать так же, как я, но одно я знаю твердо: если меня разлучат с Вами, я умру.

Роже».

Он завернул в это послание камень, подобранный с земли, – читатель, конечно, согласится, что такое письмо было несколько преждевременно для влюбленного мальчугана, которому не исполнилось и пятнадцати лет, – потом с ловкостью школяра кинул камень в комнату Констанс. Она бросилась поднимать письмо и вскоре опять показалась в окне, приплясывая от радости и весело кивая головой в знак того, что она придет на свидание. Медлить больше было неосторожно, и потому Роже, чье сердце ширилось от счастья, прервал размышления Кристофа, снова огрев его хлыстом.

Через три часа юноша возвратился в Ангилем. Барон и баронесса переглянулись и обменялись улыбкой: они видели, что радость буквально переполняет сердце их сына и разливается вокруг, выражаясь в каждом его взгляде, слове и жесте. Никогда еще Роже не был так предупредителен и услужлив: он смахнул пыль со всех фарфоровых ваз, натер до блеска столовое серебро, почистил ружье барона и старательно пересказал аббату Дюбюкуа эпизод, повествующий о любви Энея и Дидоны.

День тянулся для Роже очень медленно; ему казалось, что, будучи в движении, он ускорит бег времени, и он ходил взад и вперед, поднимался наверх, спускался вниз; поглядывая поочередно на все стенные и каминные часы в замке, юноша торопил мать с ужином, как будто испытывал сильный голод. Однако, усевшись за стол, он не мог проглотить ни куска; спать ему совсем не хотелось, но он поспешно ушел в свою комнату, сказав, что просто валится с ног от усталости.

Читатель хорошо понимает, что Роже поднялся к себе

вовсе не для того, чтобы лечь в постель: ему надо было поведать о своей любви луне, ветру, деревьям, звездам и облакам. Он растворил окно, и его безмолвный монолог начался.

Шевалье провел поистине счастливую ночь.

Едва забрезжил день, Роже спустился вниз. В замке еще никто не вставал; он сказал служанке, что хочет совершить прогулку верхом и поедет в Сент-Ипполит. Место это находилось в противоположной стороне от Безри. Бедный юноша полагал, что должен лгать даже слугам. Прибегнув к этой предосторожности, говорившей, во всяком случае, о том, что болтливостью он не страдает, Роже оседлал Кристофа и с места пустил его в галоп.

На сей раз злосчастный конь даже не пытался взбунтоваться; впрочем, шевалье для верности надел шпоры и прихватил хлыст. Кристоф, почувствовав шпоры и увидя хлыст, с присущей ему сообразительностью тут же уразумел, что, если он вздумает противиться, сила окажется не на его стороне.

Поднявшись, барон узнал от служанки, что его сын отправился верхом на прогулку в Сент-Ипполит; он, разумеется, не поверил ни единому слову, не поверила и баронесса.

В одиннадцать часов аббат Дюбюкуа, который с раннего утра расспрашивал всех и каждого, куда девался его ученик, обратился с тем же вопросом к родителям Роже. В ответ они только лукаво улыбнулись, потом г-н д'Ангилем с насмешливым видом покачал головой и, положив руку на плечо наставнику сына, сказал:

– Ах, аббат, аббат! Вы воспитали Роже ужасным сорванцом!

Барон не переставал лелеять в душе заветный план: он мечтал породниться с семейством де Безри. А баронесса только прошептала:

– Констанс и в самом деле прелестная девочка, я была бы счастлива назвать ее своей дочерью.

– Во всяком случае, – изрек аббат Дюбюкуа, – надеюсь, свадьба состоится не раньше, чем мой воспитанник закончит курс обучения.

Барон и баронесса рассмеялись; смеялись они и над собой, но главное – над аббатом. Действительно, строить такого рода планы, когда мальчику еще не исполнилось пятнадцати лет, а девочке минуло всего двенадцать, было сущим безрассудством, это противоречило здравому смыслу. Поэтому барон первый переменил разговор, заметив:

– Время – великий учитель; предоставим же ему решать, а сами потолкуем о чем-нибудь другом.

И они заговорили о виконте де Бузнуа.

Утро давно прошло, а Роже все не показывался. Наконец часа в два пополудни, когда все уже готовились сесть за стол, чтобы пообедать, он вошел в гостиную сконфуженный, повесив нос и с покрасневшими глазами. Барон и баронесса обменялись быстрым взглядом, который, казалось, говорил: «Черт побери! Вот досада! Похоже, дело-то не клеится».

Шевалье сел за стол, но к еде не прикасался, что красноречиво говорило о его крайней озабоченности. После обеда он сперва устроился возле матери и начал приводить в порядок свою личную библиотеку, состоявшую из трех десятков томов, взятых в библиотеке замка; затем он вы-

шел вслед за бароном из дома и стал прохаживаться возле огорода; после этого Роже, по-прежнему не произнося ни слова, вернулся в гостиную и прервал молчание лишь для того, чтобы пожаловаться на сильную головную боль и попросить разрешения уйти спать пораньше, что, как нетрудно догадаться, ему было позволено без всяких возражений.

Однако, войдя к себе, шевалье совсем позабыл, что его комната расположена прямо над спальней баронессы и скрипучий пол выдает каждое его движение. Всю ночь он мерил шагами комнату: по примеру «мнимого больного», он ходил то вдоль, то поперек. Барон и баронесса прислушивались к каждому его шагу.

– Вот и еще одна надежда полетела ко всем чертям! – в сердцах сказал барон д'Ангилем. – Мы потерпели поражение от господ де Безри.

На следующее утро г-н д'Ангилем первым делом отправился на конюшню и увидел там Кристофа, который с важностью жевал овес. Затем барон пошел на кухню и, подняв голову, убедился, что все три охотничьих ружья висят над очагом. Стало быть, Роже еще не выходил из дому. Да, Роже спал. В его возрасте, как бы человек ни тревожился, натура властно берет свое: ему надо спать, ему надо есть.

Итак, шевалье проспал до девяти часов утра; в девять он спустился к завтраку, глаза у него опухли, лицо побледнело.

И тем не менее он спал на два часа больше, чем накануне. Дело в том, что существует огромная разница между бессонницей, вызванной радостью, и бессонницей, порожденной горем.

Роже принялся за еду; в это время дверь в столовую отворилась и неожиданно появился Контуа, камердинер виконта де Безри, с письмом в руке. Шевалье узнал его и сначала покраснел, затем побледнел; наконец, видя, что лакей направляется к барону, юноша встал из-за стола и поспешно ушел в свою комнату.

Несмотря на то что барон д'Ангилем почитал себя философом, он с трепетом распечатал письмо, о содержании которого догадывался. К тому же Контуа напустил на себя весьма важный и торжественный вид. А ни то ни другое не предвещало ничего хорошего: всегда можно догадаться о характере послания по физиономии вручившего его посла. Затем барон перевел глаза с лица Контуа на письмо виконта и прочел нижеследующее:

«Милостивый государь и любезный сосед!

Я пишу настоящее письмо, дабы пожелать Вам того, чего Вы сами себе желаете, и передать нижайший поклон от г-жи де Безри и от меня самого Вам и баронессе. Мы с величайшим огорчением вынуждены сказать несколько малоприятных слов по поводу поведения Вашего сына шевалье Роже Танкреда: вчера я застал его в самом укромном уголке нашего парка на коленях перед нашей дочерью мадемуазель Констанс де Безри, он целовал ей руки слишком уж пылко для пятнадцатилетнего школяра. Вы сами понимаете, милостивый государь и любезный сосед, как нам прискорбно делать такой, пусть даже вполне заслуженный, упрек Вашему сыну, чьих родителей мы столь почитаем; помимо всего прочего, мы опасаемся, что он станет преследовать нашу дочь, и хотя это, вне всякого

сомнения, для нас весьма лестно, однако, как нам кажется, не только преждевременно, поскольку ей еще не исполнилось тринадцати лет, но также и весьма опрометчиво, ибо происходит, разумеется, без Вашего согласия. К нашему глубокому сожалению, мы были вынуждены сказать шевалье Роже Танкреду, что нам будет весьма неприятно, если он вновь пожалует в Безри, и мы рассчитываем на Вашу дружбу и на Ваши добрые советы, ибо они, конечно, образумят его; ко всему еще наша дочь заболела, что, несомненно, произошло от испуга. Несмотря на это, она нынче же вечером уедет в монастырь: мы решили спешно отослать ее туда.

Прощайте, милостивый государь и любезный друг, поверьте, мы искренне желаем всегда оставаться для Вас приятными соседями и глубоко сожалеем, что нам пришлось обратиться к Вам с такого рода жалобой.

Де Безри.

Семнадцатого апреля 1708 года».

Письмо едва не выпало из рук барона, однако это не помешало ему позвонить служанке, и он приказал ей проводить Контуа в буфетную, принять его там должным образом и угостить на славу; затем г-н д'Ангилем написав ответ виконту, пообещав приехать, чтобы принести от имени шевалье извинения г-ну де Безри и его супруге.

Контуа не надеялся на радушный прием в замке д'Ангилемов; вот почему после любезных слов барона лицо его просияло, и он, распивая бутылку орлеанского вина, принялся рассказывать кухарке, что мадемуазель Констанс очень опечалена и все время плачет. Из этих слов стало

ясно, что если в Ангилеме грустят, то и в Безри настроение немногим лучше. Роже Танкреда, единственного сына и наследника, боготворили не только барон и баронесса, но и вся прислуга, и если бы дело происходило во времена, когда такого рода недоразумения решали копьем и мечом, то барон без труда вооружил бы десяток своих вассалов, чтобы с их помощью завоевать юную владелицу замка, которую прятали от его сына.

Когда Контуа уехал, шевалье попросили сойти вниз. Барон по-отечески слегка пожурил его за столь ранние любовные поползновения; он сказал сыну, что необходимо сперва хотя бы закончить образование, а уж потом думать о женитьбе. К этому баронесса прибавила, что, когда такая пора наступит, будет хорошо, если шевалье не станет заглядываться на слишком богатых наследниц, ибо подобная самонадеянность может повести к отказу, уничижительному для его родителей.

Задетый за живое, Роже отвечал, что родители заблуждаются, что он вовсе не любит Констанс, что он даже и не помышлял о женитьбе и теперь у него только одно желание – всячески угождать своему наставнику, аббату Дюбюкуа; что же касается высказанного матушкой опасения, будто он может избрать предметом своей любви особу слишком знатного происхождения, то страхи эти совершенно напрасны: он твердо решил навсегда остаться холостяком. Бедный мальчик и не подозревал тогда, что самая большая опасность, с какой он столкнется в жизни, будет, возможно, связана с многоженством, а оно грозит смертью через повешение!

В запирательстве шевалье было столько печальной

гордости, что родители с уважением отнеслись к его лжи. В конце концов отец пожал сыну руку, а мать обняла его, и – в согласии с выраженным им желанием – юношу отправили к его наставнику, который заставил беднягу читать и переводить вместо книги о любви Энея и Дидоны главу о презрении к богатству. Злополучный Роже был вдвойне несчастен – и как влюбленный и как школяр. Как влюбленному ему пришлось иметь дело не с Констанс, а с ее отцом, а как школяру – не с Вергилием, а с Сенекой.

Как только шевалье ушел к себе, барон облачился в парадное платье и отправился в Безри с визитом, о котором он письмом предварил своих соседей. Виконт и виконтесса держали себя весьма натянуто, они объясняли свою озабоченность тем, что готовят дочь к отъезду в монастырь. Барон попросил разрешения повидать мадемуазель де Безри, и отказать ему в этом было невозможно. Констанс вошла с такими распухшими и покрасневшими глазами, что г-н д'Ангилем понял: на сей раз это не просто досужие разговоры, девочка и в самом деле уезжает. Он весьма учтиво заговорил о непростительном сумасбродстве своего сына, объясняя неприличное его поведение неопытностью и легкомыслием, присущими молодости; под конец он прибавил, что бедный малый горько раскаивается и просит своих соседей, а главное, юную свою соседку забыть обо всем, что произошло за последние три дня; при этих словах Констанс побледнела как полотно и, чувствуя, что к горлу у нее подступают рыдания, поспешно вышла из гостиной.

Теперь барону были совершенно ясны чувства девочки: она всей душой полюбила его сына. Взор его проник в самую глубину девического сердца наследницы рода де

Безри; но оставалось еще понять настроение ее родителей. Это оказалось делом нетрудным: сам виконт завел разговор о некоем графе де Круазе, жившем со своими родителями в Лоше и располагавшем тремястами луидоров годового дохода. Оказывается, уже давно существовал некий план, выработанный обоими семействами, и виконт де Безри даже прибавил, что он придает столь большое значение всему происшедшему именно потому, что все происшедшее может стать препятствием для осуществления прежних планов этого дворянина.

Барон сразу же почувствовал нанесенный ему исподтишка удар; как мы уже говорили, он был опытный фехтовальщик и ответил прямым ударом, заявив, что единственная цель его визита – оправдать сына, но что визит этот, само собой разумеется, будет последним. Напрасно его просили не проявлять излишней обидчивости, он упорствовал; попытались было принести ему извинения, но он поднялся с места, сказав, что наследник рода д'Ангилемов стоит наследника рода де Круазе и что если не считать небольшой разницы в имущественном состоянии, то, по его разумению, представитель рода д'Ангилемов стоит также всех представителей рода де Безри на земле.

Столь преувеличенное мнение о значимости рода д'Ангилемов наверняка привело бы к серьезной стычке между двумя достопочтенными дворянами, так как оба они были весьма щепетильны в вопросах чести, но тут г-жа де Безри, подобно новой сабинянке, бросилась между ними. Барон и виконт удовольствовались тем, что весьма холодно и с достоинством поклонились друг другу и расстались, вконец рассорившись. В тот же вечер, как и было сказано, Констанс уехала в монастырь, расположенный в Шиноне.

Шевалье Роже Танкред с большим нетерпением ожидал возвращения барона; он глубоко почитал отца и очень надеялся, что тот сумеет вновь скрепить нить старинной дружбы, которая связывала оба семейства, а теперь грозила оборваться. Однако шевалье уповал на это совершенно напрасно: по возвращении у барона было еще более суровое выражение лица, чем при отъезде; юноша понял, что дело обстоит из рук вон плохо; он сослался на то, будто ему надо зубрить латынь, и заперся у себя в комнате, сказав, что намерен прилежно заниматься, а на самом деле для того, чтобы без помехи вздыхать и сетовать на судьбу.

Все мы в свое время пережили первые волнения первой любви; всем нам знакома вдруг возникающая боль, неотделимая от той поры, когда мы учимся быть мужчинами. Все мы старились на несколько лет за какой-нибудь час. И с бедным шевалье происходило теперь то же самое, что и со всеми нами.

Роже снова провел всю ночь, меря шагами комнату; едва рассвело, он, желая заглушить душевную боль телесной усталостью, взял ружье, забросил его за спину, отвязал Кастора и отправился на охоту.

Однако охота была всего лишь предлогом, который придумал для себя бедный юноша. Отнюдь не погоня за быстрым зайцем увлекала его так далеко, не полет стаи куропаток заставлял преодолевать горы и долы – словом, безо всякой видимой причины; сам не заметив, как это произошло, наш охотник прошел пешком четыре или пять льё и оказался в заказнике для кроликов, расположенном в пятистах шагах от Безри; заказник находился возле проселочной дороги, что вела из замка в Лош. И вот по воле

судьбы – впрочем, в том не было ничего необычайного – случилось так, что виконт де Безри, который, видимо, тоже решил, в свою очередь, развлечься, ибо его терзали отцовские тревоги, подобно тому как Роже терзали любовные заботы, – повторяю, случилось так, что виконт де Безри вышел из замка, намереваясь подстрелить кролика, и на повороте тропинки оба охотника столкнулись нос к носу.

Заметив друг друга, они невольно попятились. Роже ужасно захотелось повернуться и удрать; но он инстинктивно почувствовал, что совершит величайшую глупость, и решил, что коль скоро его захватили врасплох, то уж лучше идти напролом; к тому же он находился посреди кроличьего заказника и мог с таким же успехом подстерегать кролика, как и преследовать мадемуазель Констанс де Безри.

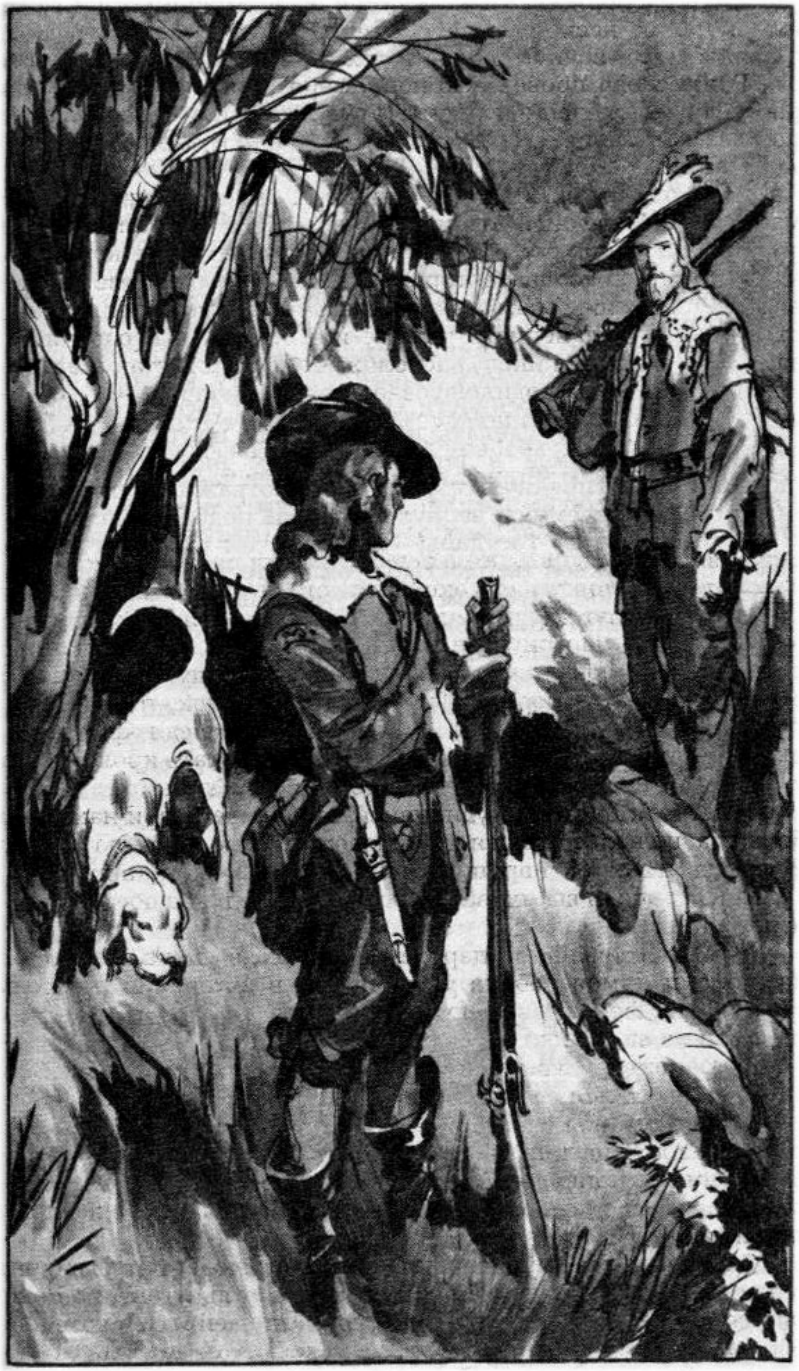
Итак, оба охотника удивились, виконт де Безри нахмурил брови, а шевалье уперся прикладом ружья в землю и снял каскетку. Первым нарушил молчание отец Констанс.

– Это опять вы, шевалье Роже Танкред! – с досадой произнес он.

– Господин виконт, я попал сюда случайно, – отвечал юноша, – моя собака устремилась в погоню за раненым зайцем, я последовал за нею и, сам не знаю как, очутился в этом кроличьем заказнике.

– А почему ваша собака оказалась в окрестностях Безри? – осведомился виконт.

– Почему моя собака оказалась в окрестностях Безри? Да я ведь раз двадцать встречал ваших собак в Пентаде, а Пентад, смею думать, принадлежит д'Ангилемам; кстати,



сдается мне, уже давно было условлено, что все мы имеем право охотиться на землях соседей.

Слова эти были произнесены с твердостью, которую виконт не ожидал встретить в пятнадцатилетнем мальчугане; но Роже был сильно раздосадован неприятной встречей, и ему хотелось хоть на ком-нибудь выместить свою досаду. А так как тут не было никого, кроме отца Констанс, то он и вымещал ее на нем. Окажись на месте виконта простой егерь, Роже бы его поколотил.

– Без сомнения, – продолжал виконт, несколько удивленный этим доводом, показывавшим, что шевалье не так-то легко привести в замешательство, – без сомнения, давно уже было условлено, что охотничьи угодья у всех у нас будут общие. Однако после того, что произошло между нами, многое переменилось, не так ли, молодой человек?

– Многое переменилось, сударь, с вашей стороны, но не с нашей, – возразил Роже, – вы господин в своих владениях и можете запретить охотиться здесь всякому, если вам заблагорассудится; я же полагаю, милостивый государь, что могу сказать от имени моего отца: вы всегда будете желанным гостем на наших землях… Сюда, Кастор, сюда!

И шевалье повернулся спиной к виконту, который просто оторопел от самоуверенности своего юного соседа; однако не успел г-н де Безри сделать и нескольких шагов, как Роже, вспомнив о разнице в возрасте между ним и виконтом, спохватился и упрекнул себя за то, что отважился преподать ему урок; вот почему он вернулся и вновь подошел к старику.

– Сударь, – произнес он самым учтивым тоном, но с прежней твердостью, – окажите мне честь принять уверения в самом глубоком к вам уважении.

И Роже почтительно поклонился виконту, который невольно отдал ему поклон.

– Черт побери! Черт побери! – пробормотал г-н де Безри, глядя вслед удалявшемуся юноше. – Либо я сильно ошибаюсь, либо этот молодой человек еще доставит нам немало хлопот. Как хорошо, что Констанс уже на пути в Шинон.

Виконт совсем позабыл, что настоятельница монастыря августинок в Шиноне по воле случая доводилась теткой шевалье д'Ангилему.

IV

ГЛАВА, ГДЕ АВТОР ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РОДИТЕЛИ, ЧЬИ ДОЧЕРИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В МОНАСТЫРЕ, МОГУТ СПАТЬ СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО

Однако Роже вспомнил об этом и именно потому не поддавался слишком уж сильному отчаянию. Ему даже пришло на память – если только детские воспоминания не обманывали его, – что славная и добрая тетушка очень его любила; в свое время он дважды навещал ее вместе с матерью, а сама тетушка также два раза приезжала к ним в Ангилем; надо сказать, что Роже теперь испытывал смутные угрызения совести: дело в том, что в прошлом, в тех случаях, когда они виделись, он был не так внимателен к тетушке, как она того заслуживала.

Действительно, ему приходили теперь на память многочисленные проявления привязанности, говорившие о трогательной заботе и внимании с ее стороны, но тогда они казались ему утомительными и докучными, хотя должны

были бы, напротив, переполнить его сердце признательностью. В монастыре не много развлечений; Роже до сих пор не забыл еще, с какой неохотой он в дни своего пребывания в Шиноне по необходимости присутствовал на обедне и на вечерне, и это несмотря на ангельское пение монашек, послушниц и пансионерок, которым сопровождалось торжественное богослужение. Так вот, обратите внимание, до чего изменчивы вкусы и непостоянны склонности человеческие! Сейчас шевалье просто мечтал о том, чтобы присутствовать на столь благолепных церемониях, он мечтал также о том, как будет узнавать и различать в хоре ангельских голосов мелодичный голосок Констанс, возносящийся к небесам; ему хотелось поскорее увидеть, как среди одетой в белоснежные одежды паствы Господней мелькает ее воздушная фигурка, такая невесомая, такая чистая, как будто она принадлежала к иному, неведомому миру, о котором можно только грезить и который лишь на несколько мгновений отпустил ее на грешную землю и в любую минуту может снова забрать к себе.

Роже смутно припоминал и окошко в покоях тетушки: оно выходило в сад, где монашенки прогуливались в часы рекреаций; на это окно Роже – он не мог теперь понять былой своей слепоты – в то время почти не обратил внимания. Вот какие мысли кипели в голове юноши с той самой минуты, когда он узнал, что мадемуазель де Безри воспитывается именно в том монастыре, где настоятельницей была его тетушка. Нежность этой славной, этой превосходной тетушки ожила в памяти юноши, и он понял, что должен, просто обязан вознаградить достойную жен-

щину за то, что в свое время недостаточно ценил ее доброе отношение. Таким скромным вознаграждением мог бы стать его визит в монастырь, причем теперь он поведет себя так, как положено доброму христианину и послушному племяннику: будет неукоснительно присутствовать на всех церковных службах, охотно составит компанию тетушке, особенно в те часы, что она будет проводить в чудесной комнатке, выходящей окнами в сад. И поэтому Роже твердо решил нанести визит тетушке; но как, разумеется, уже догадался читатель, решил шевалье это in petto[7] и ни с кем не посоветовался, будет ли уместен подобный визит.

Вот почему однажды утром, на рассвете, Роже тихонько спустился вниз, оседлал Кристофа и, понимая, что его внезапный отъезд может вызвать сильное беспокойство, предупредил младшего конюха, что пробудет в отсутствии дня четыре или пять.

От Ангилема до Шинона около двадцати четырех льё. Даже если не слишком гнать Кристофа, дорога туда должна была занять два дня. И действительно, в тот же вечер Роже остановился на ночлег в Сен-Море, небольшом городке, расположенном как раз на полпути, а назавтра, часа в четыре пополудни, он уже был в Шиноне.

Хотя шевалье не навещал тетушку, по крайней мере, лет шесть, а то и все восемь, он не забыл, по какой дороге можно проехать в монастырь: юноша направился прямо туда, ни разу даже не обратившись с вопросом к прохожим, и вскоре уже постучался в ворота святой обители. Порядки в монастыре августинок были весьма строгие, и приврат-

---

[7] Втайне (*ит.*)

ница, отворившая ему, нахмурила было брови с весьма недовольным видом, узрев перед собой рослого и красивого юношу, желавшего войти в святое убежище; однако, назвав себя и сославшись на свое близкое родство с настоятельницей, Роже увидел, что лицо почтенной привратницы внезапно смягчилось, а двери распахнулись как бы сами собой. Пять минут спустя шевалье Роже Танкред уже приник губами к пухлой руке своей славной тетушки и запечатлел на ней почтительный поцелуй.

Добрая его тетушка принадлежала к числу тех очаровательных аббатис, чьи портреты сохранила для нас аристократическая традиция прошлого века: не слишком высокие, но и не слишком низенькие, полные, кругленькие, как бы сотканные из сладких речей и благочестивых улыбок, аббатисы эти, строго следуя уставу своего ордена, умудрялись одеваться с известным изяществом и едва уловимой кокетливостью, однако делали они это так ловко, что и придраться было не к чему. Прибавим, что настоятельница монастыря в Шиноне доводилась младшей сестрой баронессе д'Ангилем и принадлежала к семейству де ла Рош-Берто – иными словами, к одному из самых старинных и самых знатных родов в Турени.

Добрая настоятельница никогда не ведала иных помыслов, кроме самых благочестивых, и потому была весьма далека от того, чтобы заподозрить истинную причину, побудившую ее племянника приехать в Шинон. Она приказала отвести Кристофа на конюшню и хорошенько позаботиться об этом замечательном животном, чья жизнь с некоторых пор стала весьма беспокойной. А Роже Танкреда в тот же миг препроводили в собственные покои

настоятельницы, которые она сама запирала на ключ; состояли они из просторной комнаты и другой, чуть поменьше. Эта-то маленькая комната и была той самой, куда так стремился Роже: окна ее выходили в монастырский сад.

Встреча шевалье с тетушкой была как нельзя более нежной и трогательной; славная дама уже три года не видела ни барона, ни баронессы; за это время Роже так вырос и настолько переменился, что достопочтенная настоятельница даже с трудом узнала его, она едва не отдернула руку, которую юноша, обрадованный тем, что ему удалось проникнуть в обитель, где пребывал предмет его любви, сжимал слишком уж восторженно. Однако, как только Роже заговорил о своих родителях, как только он объявил, что прибыл от их имени, ибо они сильно тревожились, не получая вестей от своей сестры и свояченицы, и поручили ему справиться о ее здоровье, добрая аббатиса не выдержала: несмотря на то, что племянник превратился уже в рослого юношу, она заключила его в свои объятия и, после того как он облобызал у нее руку, запечатлела поистине материнский поцелуй на его лбу.

Это было все, чего только пока мог желать шевалье: он был допущен в монастырь.

Надеяться на что-нибудь большее в первый вечер не приходилось. К тому же бедный малый, проделав двадцать четыре льё верхом, так устал, что до завтрашнего утра все равно не мог бы двинуться с места. В комнате тетушки ему подали чудесный ужин – заливного цыпленка, сладкие пирожки, варенье; потом Роже проводили в его комнату, наказав тут же лечь спать и не просыпаться до самого утра, вплоть до обедни.

Юноша всему безропотно подчинился: он не хотел давать ни малейшего повода для подозрений; войдя в свою комнату, он весьма философически отнесся к тому, что дверь за ним заперли, дважды повернув ключ в замке. Правда, в его распоряжении оставалось окно. Он тотчас же подбежал к нему, ибо как раз был час рекреации; однако по воле безжалостного рока сильная гроза, которая, конечно, не ведала, что творила, разразилась в эти самые минуты над Шиноном; а так как в монастырском саду негде было укрыться, то он был теперь совершенно пуст: все монашенки, послушницы и пансионерки попрятались в помещении.

Роже понял, что, до тех пор пока не прекратится ливень, он лишь даром потеряет время, ожидая, что кто-либо появится в саду. Разумеется, если бы Констанс только знала, что возле окна стоит красивый юноша, что сердце у него колотится и он не сводит глаз с цветника, вблизи которого она каждый день гуляет и резвится, проливной дождь не остановил бы ее, и, каким бы сырым и вредным для здоровья ни был бы в тот час воздух, она бы непременно выбежала в сад, не думая о том, что может испортить свои атласные башмачки и красивое белое платье. Но бедная девочка была твердо уверена, что она надолго разлучена с бедным юношей – во всяком случае, до вакаций, а вероятно, и на еще более длительный срок, быть может, даже навсегда, – и потому теперь она, бледная, с печальным видом, прогуливалась в монастырской зале рука об руку с одной из своих подруг, уронив свою красивую головку на грудь.

Незаметно опустился вечер; он привел с собою на небосклон красивые гряды позлащенных облаков: они ясно

предвещали, что завтра будет чудесный день. Роже был мастер угадывать погоду. Накануне больших облав, которые до знакомства с Констанс одни только и служили источником сильных волнений, заставлявших быстрее биться его сердце, он не раз вопрошал сей небесный барометр, в котором столь безошибочно разбираются жители наших сел и деревень. Поэтому он был совершенно спокоен насчет ожидавшей его завтра погоды.

Такая уверенность принесла ему одну из самых мирных ночей за последнюю неделю. Он заснул со сладостной верой в грядущее. Ибо что такое грядущее для пятнадцатилетнего юноши? Завтрашний день, еще три или четыре следующих дня, самое большое неделя.

Утром шевалье проснулся вместе с птицами; как только он зашевелился, в комнату к нему постучала пожилая монахиня. Роже поспешил отворить дверь: навстречу ему шествовал первый завтрак; он состоял из чашки дымящихся сливок, совсем еще теплых пирожков и засахаренных фруктов.

Юноша нашел, что эта трапеза по-монашески умеренна, что она весьма изысканна, но недостаточно обильна. Однако он тут же понял, что еда эта, так сказать, не в счет, и спросил, в каком часу подают настоящий завтрак. Ему ответили, что после мессы. Тогда он осведомился, в каком часу служат мессу, и узнал, что она начинается в девять утра и заканчивается в одиннадцать. Затем Роже выпил сливки, не оставив ни капли, и съел пирожки, не оставив ни крошки. Он уже заканчивал завтрак, когда услышал, как в соседней комнате зашуршало платье и дверь в его комнату отворилась. Это пришла милая тетушка, она сама явилась

узнать, как провел ночь племянник, удобна ли его постель, крепко ли он спал, не тревожили ли его дурные сны и так далее и тому подобное.

Роже весело отвечал на все вопросы; к тому же у него был такой довольный вид и он так хорошо выглядел, что всякому, кто бы не столь беспокоился о нем, как его добрая родственница, ответы на все эти вопросы были бы ясны заранее. Ко всему еще он тщательно причесался, его волосы вились, он был миловиден, как юный аббат. И славная тетушка невольно подумала: до чего аппетитный, хоть ешь его!

Надо сказать, что почтенная настоятельница еще не забыла, как лет пять или шесть назад на лице его дорогого племянника появлялась недовольная гримаса всякий раз, едва речь заходила о том, что уже пора идти в церковь к обедне. Вот почему, следуя велениям своей души и совести и полагая это своим непременным долгом, благочестивая дама осторожно завела разговор на эту тему. Однако, к ее великому удивлению, шевалье отвечал, что с той поры, о которой вспоминает тетушка, его отношение к религии сильно переменилось, что он долго размышлял на сей счет и теперь не только почитает своим долгом всякий раз присутствовать на обедне и вечерне, но даже испытывает при этом большое удовольствие. Слова Роже переполнили радостью сердце настоятельницы; она посмотрела на племянника с благоговейным умилением и объявила: с этой минуты она станет уповать на то, что в один прекрасный день в роду д'Ангилемов появится свой собственный великий святой, подобно тому как в их роду уже были великие законники и великие полководцы, ибо благородный

род д'Ангилемов принадлежал одновременно к дворянству шпаги и к дворянству мантии.

Между тем зазвонили к обедне. Роже пришлось на деле подтвердить только что высказанное им убеждение, и он галантно предложил руку тетушке, чтобы сопровождать ее в церковь. Но тут шевалье ждало разочарование: настоятельница объяснила ему, что за шесть лет, прошедших со дня их последней встречи, он из мальчика превратился в юношу, больше того, в очень красивого молодого дворянина, а потому теперь уже не может приблизиться вместе с нею к алтарю и устроиться возле деревянного кресла, в котором восседала она; теперь ему надо будет тихо и скромно занять место рядом с постоянными посетителями храма, ибо места вблизи алтаря предназначены исключительно для монахинь, послушниц и пансионерок.

Шевалье пришлось беспрекословно подчиниться монастырскому уставу; к тому же, упорствуя, он, без сомнения, выдал бы истинные причины, внезапно превратившие его в такого святошу; вот почему он молча поклонился в знак послушания и попросил указать, куда именно он должен направиться, чтобы неукоснительно выполнить то, что ему было велено.

Монастырская церковь была уже открыта для прихожан. Монахини обители августинок в Шиноне по праву считались обладательницами самых красивых голосов в провинции, и божественная литургия в монастыре постоянно собирала много народу. Роже проскользнул в первый ряд богомольцев и остановился у самой решетки, отделявшей неф от хоров.

Он не обманулся в своих надеждах. В хоре девичьих

голосов, устремлявшихся к небесам, он различил такой нежный, такой звонкий, такой вдохновенный голосок, что ни на мгновение не усомнился: это поет Констанс! И Роже с неослабным вниманием начал следить за всеми модуляциями этого голоса, ни на один миг не теряя его в хоре голосов ее подруг. Шевалье превратился в слух, он мысленно следовал за звуками прелестного голоса, и у него было такое чувство, будто душа его уносится вместе с голосом Констанс в горние пределы, туда, где голос ее пел славу праведникам; а затем Роже снова медленно опускался на землю, куда ее голос вновь возвращался, дабы оплакивать грехи и горести людские; дивный голос Констанс, казалось, все время парил над всеми земными звуками, подобно тем ночным напевам, которые ветер извлекает из эоловых арф, чьи струны, мнится, перебирают духи воздуха.

Все время, пока продолжалась месса, Роже был в состоянии, близком к экстазу. Никогда еще он не слышал, а вернее сказать, никогда еще не прислушивался к священной церковной музыке, самой прекрасной из всех музыкальных творений. Он обнаружил в самом себе такие струны трепетной веры, о которых даже не подозревал, и теперь они звучали в нем, звучали вплоть до самых глубин его существа, ибо были пробуждены совместным воздействием любви и благочестия.

Служба уже давно закончилась, а Роже все еще стоял на коленях у решетки хоров. В продолжение божественной литургии добрая настоятельница не спускала глаз с племянника и видела, какой глубокий восторг выражался на его лице всякий раз, когда возобновлялось пение. Поэтому

она ожидала Роже у выхода из церкви, дабы похвалить за ту благотворную перемену, что совершилась в нем за последние годы, в чем она больше уже не сомневалась, ибо убедилась в ней собственными глазами. Вот почему она нисколько не была удивлена, когда Роже попросил разрешения ненадолго удалиться в свою комнату, чтобы немного прийти в себя после религиозных восторгов, которые он только что пережил. Достойная настоятельница не только дала свое согласие, но, движимая чувством восхищения перед столь глубоким благочестием, чуть было не попросила юного неофита благословить ее. Шевалье оставил тетушку под впечатлением этого чувства и медленно удалился к себе; но едва он запер дверь, дважды повернув ключ в замке, как тотчас же подбежал к окну и отворил его.

В саду было полным-полно юных девушек; они, подобно пчелам, перебегали от одного цветка к другому и при этом сразу же обнаруживали свою скромность или же гордый нрав: одни сплетали гирлянды из ромашек, барвинков и фиалок, другие плели венки из роз, тюльпанов и лилий.

Вдали от юных девиц, рассыпавшихся по всему саду и походивших на искусственные цветы среди настоящих, прогуливались две пансионерки; они о чем-то беседовали тихими голосами и время от времени тревожно оглядывались по сторонам, как будто хотели убедиться в том, что их никто не подслушивает. Одна из них была Констанс. Вскоре они оказались спиной к окну, у которого стоял Роже, и шли теперь по аллее, упиравшейся в монастырскую стену; было очевидно, что, дойдя до конца этой аллеи, они вернутся по ней же назад. Именно так и случилось. Обе

девушки разом обернулись, Констанс машинально подняла глаза к окну и тотчас узнала Роже. Она не могла сдержать своего изумления, и у нее вырвался возглас, в котором прозвучали удивление и радость.

Шевалье увидели – это было все, чего он хотел; он отпрянул от окна и отошел в глубь комнаты.

Констанс так пронзительно вскрикнула, что все подруги сбежались, окружили ее и стали расспрашивать, отчего она так громко закричала. Девочка, опустив головку, поникла, точно цветок на стебле, и ответила, что споткнулась о камень, лежащий на дорожке, и ушибла ногу, а в первый миг ей даже показалось, будто она ее вывихнула.

Еще немного – и бедная Констанс испытала бы неприятные последствия своей выдумки: ей угрожала опасность подвергнуться осмотру монастырского врача, потому что два десятка услужливых подруг вызвались тут же сбегать за ним. Однако она искренне уверяла их, что больше не испытывает ни малейшей боли, и собравшиеся вокруг юные девицы стали одна за другой отходить от нее, подобно пташкам, которые поочередно улетают, и уже через несколько мгновений они снова рассыпались по саду. Констанс осталась вдвоем со своей подружкой.

Тотчас же взоры обеих девочек медленно поднялись к окну, и Роже ясно понял, что между этими двумя невинными созданиями в белоснежных платьях нет тайн. Тогда он снова подошел к окошку, озаботившись остаться в тени, чтобы его могли разглядеть только те, кто знал, что он тут. Констанс оперлась на руку своей задушевной подруги и мило покраснела. Потом она выпрямилась, тотчас же нагнулась и стала собирать анютины глазки; составив не-

большой букет, она прицепила его себе на грудь, и теперь темно-фиолетовое пятно резко выделялось на ее белом платье. Затем, немного погуляв, обе девочки направились в монастырь. А еще через минуту Роже услышал легкие шаги в коридоре; он подбежал к двери, быстро распахнул ее, но было уже поздно: юноша успел лишь увидеть, как две сильфиды, две тени, два призрачных существа исчезли в конце галереи. Однако возле его двери – как единственное доказательство того, что здесь побывали обе пансионерки, – лежал букетик анютиных глазок, тот самый, который несколько секунд назад он видел на груди Констанс.

Роже бросился к букетику, покрыл его множеством поцелуев, и тотчас же он услышал шаги: полагая, что племянник уже оправился после благочестивых волнений, тетушка пришла звать его к завтраку. Шевалье быстро сунул букетик за пазуху и поспешил навстречу достойной настоятельнице.

Ничего не придает нам столько отваги, сколько сообщает удача. Роже уже видел, правда, издали, Констанс, и она узнала его. Он прижимал к своему сердцу букетик, который она носила на груди; это было больше того, на что он сперва надеялся, и тем не менее теперь этого ему было уже мало. Юноша хотел оказаться возле Констанс, ему не терпелось поговорить с нею, а потому он ожидал первого же подходящего случая, твердо решив не упустить его, если только он представится. И добрая аббатиса сама дала ему такую возможность.

Как понимает читатель, разговор между Роже и его тетушкой состоялся из ее непрестанных вопросов и его ответов. Сперва вопросы настоятельницы касались барона

и баронессы, затем их арендаторов, затем их земель; потом начались вопросы о ближайших соседях, неких Сенектерах, от Сенектеров перешли к Шемиле, наконец, после Шемиле добрались и до семейства де Безри.

– Ах, Боже правый! – воскликнул Роже, услышав эту фамилию. – Как хорошо, любезная тетушка, что вы напомнили мне о поручении, я было о нем совсем позабыл… Дня за три или за четыре до моего отъезда в Шинон я повстречал на охоте виконта де Безри; узнав, что я собираюсь навестить вас, он попросил меня захватить письмо для его дочери… И, клянусь честью, я теперь даже не помню, куда подевал это письмо, а ведь он прислал его за день до моего отъезда.

– О Господи! – воскликнула добрая настоятельница. – Только бы ты не потерял его. Бедная девочка после возвращения из дому все время грустит, и письмо от родных послужило бы для нее утешением.

– Не тревожьтесь, тетушка, – отвечал Роже, – я найду его, должно быть, оно в моей сумке. Но вообще-то, если мадемуазель де Безри грустит, надобно дать ей куклу, ведь она, мне кажется, совсем еще дитя.

– Видите ли, господин разумник, – возразила настоятельница, – на сей счет вы как раз и заблуждаетесь: мадемуазель де Безри за последний месяц превратилась в юную девушку. Не знаю, что именно произошло с нею во время пребывания в родительском доме, но одно я твердо знаю: она за это время сильно переменилась!

– Да я ведь сидел с нею рядом за ужином у нас в замке всего каких-нибудь восемь или десять дней назад, – возразил Роже, – и уверяю вас, тетушка, не заметил ничего такого, о чем вы толкуете.

– Ладно, ладно, – отвечала добрая настоятельница, – ступай-ка лучше к себе и поищи письмо; я приглашу сюда Констанс, и ты сам все увидишь.

– С превеликим удовольствием, – сказал Роже, поспешно наклоняясь за упавшей на пол салфеткой, ибо он почувствовал, как вся кровь прихлынула к его лицу, и понял, что если тетушка ненароком бросит на него взгляд, то краска на лице сразу же выдаст его, – с превеликим удовольствием, тетушка. Но только, если позволите, после завтрака, – прибавил он, сделав усилие над собой.

– Да, да, завтракай, милый, завтракай спокойно. В твоем возрасте это дело важное, я знаю; но только очень прошу тебя, постарайся непременно разыскать письмо, поверь мне, если оно затеряется, бедная девочка будет в отчаянии.

– Ну, письмо непременно отыщется, дорогая тетя! Будьте покойны, я, кажется, даже вспомнил, где оно у меня спрятано.

– Рада это слышать, – сказала аббатиса. – Милые мои девочки, я так их люблю!

– Ну что ж, тетушка, – продолжал шевалье, – я не хочу больше оттягивать удовольствие, которое, как вы полагаете, доставит мадемуазель де Безри письмо от родных. Пошлите за нею, а я тем временем пойду и разыщу это послание.

И Роже вышел из комнаты с таким безразличным видом, что, если бы у настоятельницы и были какие-либо подозрения, она бы отбросила их, столкнувшись с подобным апломбом племянника; однако она была далека от всяких подозрений. Так что шевалье удалось ловко провести ее.

Роже не спешил возвращаться по двум причинам: во-первых, ему нужно было время, чтобы написать письмо, якобы присланное виконтом; во-вторых, он хотел, чтобы Констанс успела немного приготовиться. Что касается содержания этого письма, то читатель заранее о нем догадывается: там беспрестанно спрягался глагол «любить» в прошедшем, настоящем и будущем времени. Кроме того, Роже рассказывал Констанс о своей последней встрече с виконтом и слово в слово передавал свой разговор с ним в кроличьем заказнике возле Безри. Ему было важно, чтобы Констанс знала, как ей следует держаться и чего ей надо ожидать, и не позволила бы обмануть себя каким-либо притворством со стороны родителей.

Вернувшись в комнату тетушки, Роже застал там мадемуазель де Безри. Увидев его, Констанс покраснела, потом побледнела; по счастью, она стояла спиной к окну и лицо ее было в тени, так что добрая настоятельница ничего не заметила. Шевалье подошел к девочке с самым непринужденным видом и протянул ей письмо.

– Мадемуазель, – заговорил он, – простите меня за то, что, приехав еще вчера вечером, я только сейчас, с таким запозданием, вручаю вам это письмо. Но господин де Безри настоятельно просил меня передать его вам в собственные руки, с тем чтобы я мог сообщить ему надежные сведения о вашем здоровье, ибо, мне кажется, он сильно тревожится, а потому я попросил мою добрую тетушку причинить вам небольшое беспокойство и пригласить вас сюда. Надеюсь, вы простите мне это, не правда ли?

Констанс пролепетала несколько слов в знак благодарности; однако, едва бросив взгляд на письмо, она уви-

дела, что адрес написан вовсе не рукою ее отца, сразу все поняла и, не распечатывая конверта, сунула его в карманчик своего передника.

– Ну что? – спросила настоятельница, взяв девочку за руки и привлекая к себе. – Ну что? Надеюсь, это письмо немного утешит вас, маленькая капризница. Ведь я все про вас знаю: мне говорили, что после возвращения из дому вы только и делаете, что плачете да тяжко вздыхаете.

– Ей-Богу, милая тетя, – вмешался Роже, видя, как терзается бедная девочка, – когда расстаешься с родителями, конечно, хочется немного поплакать; а потом, в монастыре жить не так уж весело, не правда ли, мадемуазель? Ведь тут у вас мало развлечений.

– Кстати, небольшое развлечение я вам, пожалуй, доставлю, дитя мое, – сказала аббатиса. – Нынче вы не будете обедать в трапезной со всеми остальными, а пообедаете здесь, вместе со мной и моим племянником.

– О, как чудесно! – воскликнула Констанс, не будучи в силах скрыть свою радость.

– Мадемуазель, – снова вмешался Роже, поняв, что нельзя позволить настоятельнице задуматься над тем, какое чувство заставило Констанс издать радостный возглас, – мадемуазель, буду ли я иметь честь стать вашим посланцем, как я уже имел честь стать посланцем вашего батюшки? Не соблаговолите ли вы передать со мною ответ на письмо, которое я вам привез?

– Разве вы скоро уезжаете, сударь? – спросила Констанс, опять зардевшись.

– Боюсь, что должен буду покинуть Шинон с минуты на минуту, – отвечал Роже. – Увы! Ведь я нахожусь во власти

своего наставника и признаюсь, что при каждом звуке, доносящемся сюда, при каждом стуке отворяемой двери я ожидаю увидеть перед собой строгую физиономию любезного моего аббата Дюбюкуа. А потому, прошу вас, не терять времени, если хотите воспользоваться случаем, который я предоставляю вам, и передать через меня ответ: не сомневаюсь, его ожидают с большим нетерпением.

– В таком случае, сударь, – сказала Констанс, – если наша добрая матушка позволит, я пойду к себе, прочту привезенное вами письмо и напишу ответ.

– Ступайте, дитя мое, ступайте, – сказала настоятельница, целуя девочку в лоб, – и не забудьте, что в два часа мы ждем вас к обеду; впрочем, я сама за вами пришлю.

– О, этого не понадобится, матушка! – отвечала Констанс. – Мне так приятно быть в вашем обществе и в обществе вашего племянника, нашего близкого соседа! Я с удовольствием воспользуюсь столь любезным приглашением и буду точна.

И мадемуазель де Безри, ужу полностью справившись со своим волнением, сделала скромный, но весьма кокетливый реверанс и вышла, опустив руки в карман, чтобы придержать письмо. Роже смотрел ей вслед, нащупывая рукой букетик, лежавший у него за пазухой, и прижимая его к сердцу.

Констанс сдержала слово; она оказалась необыкновенно аккуратной: без четверти два опять пришла в комнату настоятельницы, где ее ожидал Роже; как только Констанс появилась на пороге, он спросил, не забыла ли она ответить на письмо. Сильно покраснев, девочка вытащила из-за корсажа изящный маленький конверт с

письмом, адресованным виконту де Безри, и молча протянула его юноше: бедняжка была не в силах произнести ни единого слова. Сославшись на то, что он боится потерять письмо, шевалье тотчас же вышел, сказав, что он сразу положит его в бумажник, а на самом деле для того, чтобы жадно пробежать глазами это послание.

То было очаровательное полудетское письмо, очень наивное, очень нежное, очень искреннее, полное уверений в вечной любви, которая родилась только вчера и которую клянутся сохранить до самой смерти. Все эти признания и клятвы заняли четыре страницы, хотя их можно было свести к трем словам: «Я люблю вас». Роже сперва поцеловал конверт, затем все четыре страницы письма с обеих сторон, потом он поцеловал каждую строку на всех четырех страницах и наконец каждое слово в каждой строке. Он был вне себя от счастья.

Когда шевалье вернулся в комнату тетушки, Констанс ждала его, красная, словно кумач. Милые дети обменялись взглядами, в них сияло невыразимое блаженство. В эту минуту дверь внезапно отворилась и настоятельница издала радостный возглас; Роже и Констанс обернулись, и глаза их, в которых недавно светилась радость, заволокло слезами.

Особа, чей неожиданный приезд вызвал такую радость настоятельницы, была баронесса д'Ангилем.

Сестры обнялись, а бедные дети между тем глядели друг на друга, горестно покачивая головами; вид их, казалось, говорил: «Все кончено». Роже поспешил навстречу матери, но она не обняла сына, как только что обняла его тетушку, а лишь протянула ему руку для поцелуя. Маде-

муазель де Безри встретила баронессу почтительным реверансом, а та в ответ лишь холодно и едва заметно кивнула головой.

Двое детей дрожали всем телом. Однако баронесса ничего не сказала; обменявшись первыми приветствиями с сестрой, она по ее приглашению заняла место за столом.

Констанс очень хотелось попросить разрешения удалиться, но она не решилась. Ее прибор стоял между приборами баронессы и настоятельницы, так что все время, пока длился обед, девочка не отваживалась поднять глаза от тарелки; Роже не раз замечал, как непрошеная слеза скатывалась по щеке ее и Констанс поспешно вытирала ее салфеткой.

Сам Роже раз десять в минуту то краснел, то бледнел. Он пытался есть, но на душе у него было так тяжело, что кусок не лез в горло.

Баронесса между тем рассказывала, что ей тоже пришла в голову мысль сделать сюрприз своей милой сестре, однако барон, к сожалению, не мог сопровождать ее, потому что он занят приготовлениями к поездке, которую намерен совершить вместе с сыном, как только тот возвратится в Ангилем. Когда Констанс услышала, что шевалье должен будет куда-то уехать, слезы еще быстрее побежали по ее лицу, а сам Роже почувствовал, как у него болезненно сжалось сердце. Бедная девочка уже давно с трудом сдерживалась, но под конец силы оставили ее, она откинулась на спинку стула и разрыдалась. Только тут, при этом внезапном взрыве отчаяния, добрая настоятельница обратила внимание на горе Констанс и с истинно материнской тревогой – надо отдать ей в этом справедливость – принялась расспрашивать бедняжку.

Однако та ответила только, что она и сама не знает, отчего плачет, что у нее, должно быть, как выражаются в свете, просто истерика и она просит разрешения уйти к себе.

Такое разрешение ей было дано тем охотнее, что баронесса д'Ангилем не пыталась ее удержать. Констанс ушла, так и не услышав ни словечка в утешение, ибо Роже, точно завороженный присутствием матери, не посмел даже проститься с девочкой.

Когда мадемуазель де Безри удалилась и баронесса сочла, что та, должно быть, уже дошла до своей комнаты, она предложила сыну тоже пойти к себе и без промедления уложить свои вещи в сумку, так как барон велел, чтобы шевалье в тот же вечер отправился в Ангилем. Юноша безропотно подчинился. В те времена сыновняя покорность еще входила в число тех драгоценных семейных добродетелей, что свято соблюдались, особенно среди провинциальной знати, этом оплоте дворянства. Вот почему шевалье почтительно поклонился матери и ушел к себе в комнату.

Сестры остались вдвоем.

V

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ УБЕЖАЛ ИЗ КОЛЛЕЖА ИЕЗУИТОВ В АМБУАЗЕ, НАМЕРЕВАЯСЬ ПОХИТИТЬ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ, И КАКУЮ НОВОСТЬ ОН УЗНАЛ ПО ПРИБЫТИИ В МОНАСТЫРЬ В ШИНОНЕ

Излишне говорить читателю, о чем именно беседовали обе дамы; скажем только, что час спустя шевалье снова

пригласили к тетушке; он явился с небольшой сумкой под мышкой, вконец сконфуженный своей неудачей.

Теперь настоятельница уже все знала; она потребовала, чтобы Констанс возвратила письмо, якобы написанное виконтом и врученное ей шевалье д'Ангилемом, но девочка, встретив в коридоре подругу, быстро сунула ей в руки заветное письмо, единственное свое сокровище. А так как об этом никто не знал, то мадемуазель де Безри, когда ее попросили вернуть письмо, смело ответила, что она его сожгла, если же в этом сомневаются, прибавила она, то пусть ищут письмо где угодно; так и поступили, однако поиски успеха не принесли.

Госпожа д'Ангилем прибыла в монастырь в двухколесной повозке, в сопровождении арендатора, ехавшего верхом. Теперь Кристофа впрягли в повозку рядом с другой лошадью, и тронулись в обратный путь после короткого прощания, во время которого добрая аббатиса держала себя с племянником сурово и неприступно, как того требовала ее оскорбленная гордость.

Едва баронесса и ее сын оказались вдвоем в двуколке, она, заметив, как печален Роже, перестала сердиться на несчастного мальчугана. Женщины безотчетно сочувствуют горестям любви, и самая строгая мать становится снисходительной, едва речь заходит об ошибке, совершенной под влиянием сердечного порыва. Вот почему вместо горьких упреков, к которым приготовился шевалье, ему пришлось выслушать множество самых резонных доводов сперва касательно его возраста, ибо ему едва исполнилось пятнадцать лет, затем касательно разницы между состояниями семейств де Безри и д'Ангилемов и, на-

конец, касательно договоренности, оказывается уже давно существовавшей между отцом Констанс и отцом графа де Круазе. Однако на все эти доводы Роже отвечал одним-единственным аргументом, не менее убедительным и могущественным, чем все резоны на свете:

– Матушка, я люблю Констанс, а Констанс любит меня, и мы твердо решили умереть, если нас вздумают разлучить.

Оба дня, пока длилась поездка, баронесса настойчиво уговаривала сына, но, исчерпав всю силу логики не сумела добиться от него иного ответа, кроме того, о котором мы только что упомянули.

Когда в Ангилеме обнаружили, что шевалье внезапно исчез, там собрался большой семейный совет: он состоял из самого барона, баронессы и аббата Дюбюкуа; и вот, поскольку сразу же после отъезда Роже удалось установить, по какой именно дороге он поехал, то, зная это, уже нетрудно было догадаться, куда эта дорога ведет; и потому на семейном совете обсуждался прежде всего вопрос о том, какие средства надо употребить, дабы помешать тому, чтобы любовь, чьи грозные признаки уже проявились столь явно, не стала еще сильнее, а если это все-таки произойдет, то как сделать, чтобы последствия любви Роже и Констанс не привели к серьезному столкновению между семействами де Безри и д'Ангилемов, которые до сих пор неизменно жили в добром соседстве; барон и баронесса хотели и впредь поддерживать столь же приязненные отношения, во всяком случае в той мере, в какой это зависело от них.

Сей «триумфеминавират» принял такое решение: как только шевалье возвратится в Ангилем, ему тотчас же придется вновь отправиться в путь, ибо его надумали оп-

ределить в коллеж иезуитов в Амбуазе, где ему предстояло посещать класс философии; именно после того как это решение было принято, баронесса и поехала в монастырь, чтобы поскорее привести оттуда сына, а барон между тем, как она уже сообщила его Роже, готовился сам сопровождать его в главный город провинции из боязни, как бы шевалье по дороге не выкинул какую-нибудь новую штуку и не удрал от своего наставника.

Баронесса и Роже возвратились в Ангилем на второй день после того, как они покинули Шинон; шевалье обнаружил, что все уже готово к отъезду и через сутки ему надо будет тронуться в путь. Нечего и говорить, что бедняге даже в голову не приходило воспротивиться воле родителей. Ведь если, думая о своей любви к Констанс, он уже ощущал себя юношей, то, думая об отце с матерью, сразу же понимал, что, в сущности, он еще ребенок.

Новое путешествие протекало очень грустно: Роже было не по себе в обществе аббата Дюбюкуа, к которому он не испытывал настоящей привязанности, и отца, чей суровый вид не располагал к сердечным излияниям. К тому же мысль, что сам он, дитя лесов, равнин и вольных просторов, должен будет целый год провести в своего рода темнице, что вокруг него постоянно будут множество людей, одетых во все черное, и они станут подчинять его жизнь уставу своего ордена, – мысль эта, говорю я, нависала над ним как непомерно суровая кара за совершенное прегрешение. Кроме того, год в разлуке с Констанс казался юноше целым веком.

Правда, время от времени некий план, точно молния, озарял ум шевалье; вначале план этот даже испугал его, но

постепенно он привык к нему и все упорнее о нем думал: Роже решил прибавить к небольшой сумме, полученной от баронессы перед отъездом из дому, и к той сумме, какую ему, надо думать, вручит при прощании отец, все деньги, которые удастся скопить в коллеже; а потом, когда у него наберется двести или триста ливров, что в глазах юноши было уже целым состоянием, он сможет удрать из Амбуаза, приехать в Шинон, перебраться через монастырскую стену, похитить Констанс, бежать с нею вдвоем и затем обвенчаться у первого же священника.

В числе двадцати пяти или тридцати томов, составлявших библиотеку Роже в Ангилеме, был роман под названием «Астрея»; сей роман доставил много удовольствия баронессе в ее юные годы, в нем действовало немало королей, похищавших пастушек, и королев, выходивших замуж за пастушков. И Роже полагал, что, как ни велико неравенство состояний, разделявшее его и Констанс, оно не идет ни в какое сравнение с сословным неравенством, разделявшим могущественного короля и бедную пастушку или величественную королеву и скромного пастушка. К тому же в определенном возрасте люди верят, будто в жизни все улаживается столь же легко, как в романе, а Роже был именно в таком возрасте; одного только он не знал: если в его возрасте уже можно похитить девушку, то обвенчаться с нею еще нельзя.

Просто непостижимо, что в самых крайних обстоятельствах, в ту самую минуту, когда человек впадает в глубокое отчаяние, повторяю, просто непостижимо, как внезапное решение, которое не выдерживает критики с точки зрения здравого смысла, но зато сулит хотя бы один

шанс на успех, возвращает спокойствие уму и умиротворяет душу. Роже прекрасно понимал, что если даже все и сложится для него как нельзя лучше, в чем он отнюдь не был уверен, если даже обстоятельства помогут осуществлению его плана, то произойти это может лишь в отдаленном будущем. Но он верил, что, как бы далека ни была такая минута, пусть даже до нее пройдут, нанизываясь друг на дружку не только дни, но и месяцы, она все же непременно наступит. Покажите заплутавшемуся в ночи и блуждающему по лесу путнику, у которого от усталости подкашиваются ноги и который готов повалиться на землю от изнеможения, – покажите ему на горящий вдали огонек, и, хотя до заветного места надо пройти еще два или три льё, сбившийся с пути бедняга воспрянет духом и зашагает вперед таким же бодрым шагом, каким он шел утром, только еще отправляясь в дорогу.

Так что, когда шевалье прибыл в Амбуаз, он уже немного приободрился; вот почему он переступил порог коллежа, внешне смирившись гораздо более, нежели того ожидал его отец. Подобная покорность растрогала достойного дворянина, надо сказать, нежно любившего своего единственного сына и наследника. А потому его родительское сердце смягчилось, и следствием такой взволнованности была сумма в семьдесят два ливра, иначе говоря, в три луидора, которую барон при расставании вложил в руку юноши.

Три луидора вместе с двумя другими, которые баронесса вручила сыну перед его отъездом из дому, составили в итоге пять луидоров, или сто двадцать ливров, что уже могло послужить недурным началом для будущих сбережений шевалье.

Роже понял: для того чтобы ни у кого не оставалось никаких подозрений на его счет, ему следует с образцовым прилежанием приняться за работу. Как известно, занятия у иезуитов были поставлены превосходно, и, хотя аббат Дюбюкуа как наставник стоял на голову выше большинства наставников, почтенные отцы иезуиты, подвергнув шевалье экзамену, решили, что ему необходимо вторично пройти курс в классе риторики. Правда, обстоятельство это удлиняло срок пребывания в коллеже с одного года до двух, но Роже принял известие с таким спокойствием, какого аббат от него не ожидал. Тем не менее, аббата Дюбюкуа провести было не так легко, как барона, ибо он постоянно подозревал, что, прикрываясь наружной покорностью, его воспитанник, возможно, затевает какую-нибудь новую проделку, а потому он решил не спускать глаз со своего ученика.

Однако, несмотря на всю свою бдительность и прозорливость, достойный воспитатель был обманут. Шевалье принадлежал к тем даровитым натурам, в которые достаточно заронить семя слова, чтобы оно тут же дало всходы. У Роже не было иного способа отвлечься от любви, помимо усердных занятий, – к тому же под предлогом занятий он часто запирался у себя, чтобы мысленно беседовать с Констанс, – и он делал быстрые успехи. Чувствительные души легко поддаются увлечению. Наш школяр не на шутку увлекся творениями греческой и римской поэзии, тем более что в буколиках Вергилия и в идиллиях Феокрита постоянно встречаются диалоги между пастушком и пастушкой, они напоминали шевалье о том положении, в каком находился он сам. Разумеется, то было слабое уте-

шение, но и это слабое утешение все же помогало влюбленному юноше терпеливо ждать.

Роже прежде всего позаботился разузнать, нет ли среди школяров, обучавшихся вместе с ним в коллеже, таких, что были родом из Шинона. Счастливый случай пришел ему на помощь: три его товарища оказались уроженцами этого города, а их родные до сих пор жили там. Новичок подружился с ними и с хорошо понятной радостью узнал, что сестра одного из учеников, некоего Анри де Нарсе, воспитывается в монастыре августинок. А так как она пробыла в монастыре уже три года, то, по всей вероятности, принадлежала к числу подруг мадемуазель де Безри или, по крайней мере, знала ее. Это обстоятельство позволяло вступить в переписку с Констанс.

Подошло время вакаций. Роже приехал в коллеж в июне, а вакации начинались уже в конце августа; вскоре опасения, не раз посещавшие юношу, подтвердились. В день Успения Богородицы он получил от барона д'Ангилема письмо; в нем сей достойный дворянин, опираясь на всю силу логики, стремился убедить своего сына, что гораздо лучше употребить шесть недель каникул на занятия и таким образом возместить потерянное время, нежели провести каникулы в Ангилеме. Но истинная причина этого решения была совсем иная: барон и баронесса решили отказаться от удовольствия видеть сына из страха, как бы близость замка де Безри снова не разожгла в сердце шевалье любовь, которая, как они полагали, постепенно угасала, ибо Роже совсем не упоминал о ней в своих письмах. А для того чтобы несколько смягчить горечь, которую такое решение могло вызвать у бедного

юноши, аббату Дюбюкуа поручили совершить со своим учеником несколько экскурсий по окрестностям Тура; кроме того, поскольку родители не подозревали, с какой бережливостью шевалье распоряжается своим маленьким состоянием, аббата попросили вручить воспитаннику из находившихся в его распоряжении средств два луидора от имени барона и один луидор от имени баронессы. За последние три месяца Роже потратил всего двадцать четыре ливра, и потому с получением этих денег у него оказалось теперь семь луидоров.

Мы уже говорили, что шевалье подружился с тремя молодыми людьми, уроженцами Шинона; особенно близко он сошелся с юношей по имени Анри де Нарсе. И вот, когда тот собрался ехать к себе домой, Роже без колебаний во всем ему открылся; он рассказал приятелю, что любит мадемуазель де Безри и любим ею, объяснил, что его определили в коллеж в Амбуазе по одной причине: родители не одобряют этой любви, ибо она не по душе родителям Констанс; под конец он сообщил, что его оставили на вакации в Амбуазе из страха, как бы он во время своего пребывания в Ангилеме, находясь поблизости от Безри, не совершил какого-нибудь отчаянного поступка.

Анри де Нарсе все отлично понял и объявил, что он и его сестра всегда к услугам товарища. Как выяснилось, сестра не раз говорила Анри, что мадемуазель де Безри – ее закадычная подруга, и это облегчало дело. И в самом деле, Констанс де Безри и Эрмини де Нарсе почти не расставались; Анри описал внешность Эрмини, и Роже тотчас узнал по этому словесному портрету девочку, с которой Констанс ходила под руку в тот день, когда он видел Констанс

в монастырском саду и когда она, в свой черед, увидев шевалье, не могла сдержать возглас изумления и выдала его за крик, вызванный болью.

Роже вручил Анри записку (по возвращении в монастырь Эрмини должна была передать ее подруге); было условлено, что позднее Констанс вложит свой ответ в письмо, которое Эрмини напишет брату. Роже во всех подробностях сообщил девочке о своем плане, о том, что он убежит из коллежа, похитит ее из монастыря и священник в первом же селении, что встретится им на пути, обвенчает их; а когда они станут мужем и женой, то родителям, хоть они и против этого брака, придется дать новобрачным свое благословение. Помимо того, в послании шевалье было множество клятв в верности до гроба и в вечной любви.

Начались вакации, и друзья попрощались; Роже вручил Анри заботу о своих насущных интересах, Анри поклялся ему, что интересы эти в самых надежных руках. Прошел сентябрь, а шевалье не выказывал никаких признаков нетерпения. Только он один и остался на каникулах в Амбуазе, и он трудился так, что даже самому требовательному человеку не к чему было бы придраться; аббат Дюбюкуа терялся в догадках, но ничего не понимал.

В начале октября школяры начали возвращаться; Роже с наибольшим нетерпением ожидал приезда Анри, однако именно Анри-то и приехал последним. Зато, пожимая руку приятелю, он сунул ему письмецо.

Это коротенькое послание состояло всего лишь из трех строчек; однако три эти строчки говорили больше, чем иные тома. Вот они:

«Я люблю Вас не меньше, чем Вы меня. Вы предлагаете мне свою жизнь, я вручаю Вам мою. Берите же и делайте с нею все, что хотите.

Констанс».

Должно быть, в библиотеке замка де Безри тоже имелся какой-нибудь превосходный, славный роман, предназначенный, подобно «Астрее», для воспитания ума и чувств юных девиц.

Все получилось как нельзя лучше благодаря изобретательности Анри. Письма, отправлявшиеся из монастыря, разумеется, подвергались предварительному просмотру, а потому незадолго до своего возвращения в Тур юноша прикинулся больным; за время его мнимой болезни пансионерки успели вернуться в монастырь августинок. Таким образом, Эрмини и Констанс свиделись; Анри перед отъездом нанес прощальный визит сестре, и она, обнимая брата перед расставанием, сунула ему в руку письмецо от Констанс.

Так что отныне Роже был спокоен: любое его действие встретит поддержку со стороны Констанс; за любовь ему платили не меньшей любовью, не говоря уже о той нежности и преданности, благодаря которым любовь женщины всегда будет сильнее любви мужчин.

Дни проходили за днями, и шевалье, строго следуя собственной системе бережливости, увеличил свой маленький капиталец за счет отцовских и материнских щедрот. Желая скрасить жизнь сына в изгнании, которое он, кстати сказать, сносил с героической покорностью, барон и баронесса дважды приезжали в Тур. И оба раза имя Кон-

станс даже не упоминалось. Поэтому родители шевалье после второй поездки возвратились к себе в Ангилем в полной уверенности, что их сын стал как нельзя более благоразумным.

Месяцев через шесть или восемь Роже окончательно усыпил все подозрения; тем временем ему исполнилось шестнадцать лет, он успешно закончил класс риторики, и родители дали понять шевалье, что если он пообещает впредь не совершать сумасбродных поступков, то больше не вернется в Амбуаз. Роже пообещал все, чего от него хотели.

На самом же деле он долго, во всех подробностях обдумывал множество планов побега, и все они были один другого безрассуднее. Бежать из коллежа было бы нелегко любому пансионеру, но Роже было еще труднее, чем всякому иному, ибо за ним, в отличие от других воспитанников, надзирали не только почтенные отцы иезуиты, но еще и его наставник, аббат Дюбюкуа. Наконец юноша остановился на самом простом плане: он пришел ему в голову последним именно потому, что был очень прост.

Как и все остальные воспитанники, которым уже исполнилось шестнадцать лет и которые обучались в классах риторики или философии, шевалье жил в отдельной комнате, но для большей надежности вместе с ним спал и аббат Дюбюкуа; правда, почтенный воспитатель спал как убитый, и существовал даже некий громогласный звук, по коему можно было судить о крепости сна достойного мужа; короче, скажем прямо, аббат Дюбюкуа страдал небольшим недостатком: он храпел.

Вот как после долгих раздумий решил действовать Роже.

В намеченный для побега вечер он пойдет спать в обычный час и даст улечься аббату, хорошенько заметив, куда тот положит свою одежду (надо сказать, что воспитатель и его ученик были приблизительно одного роста); затем, когда они погасят свечу и по мерному храпу наставника Роже убедится, что тот спит, сам он осторожно встанет с постели и облачится в короткие черные штаны и в черную сутану своего наставника, застегнет воротник, торжественно надвинет на голову треугольную шляпу и как можно тише выйдет из комнаты. Аббат, по всей вероятности, проснется в шесть утра, и, таким образом, у беглеца будет шесть или восемь часов в запасе, если за ним вздумают пуститься в погоню.

Роже заранее придумал благовидный предлог, чтобы объяснить, почему он в столь поздний час выходит за пределы коллежа. Намеченный побег должен был состояться в ночь со среды на четверг. Шевалье прикинул, что ему придется совершить три больших перехода, дабы попасть из Амбуаза в Шинон, а следовательно, он окажется там в воскресенье. О том, как он будет действовать, очутившись в Шиноне, юноша толком еще не знал, он рассчитывал поступить сообразно обстоятельствам; одно лишь ему было ясно: он предстанет перед привратницей монастыря в одеянии аббата и вручит письмо от Анри к его сестре; Констанс по условному знаку, не понятному никому, кроме нее самой, сразу же догадается, что Роже в Шиноне.

Весь этот день, всю эту знаменательную среду Роже провел в сильной тревоге, однако он слишком долго вынашивал свой план, чтобы отступить тогда, когда его уже

следовало выполнять. Вот почему он внимательно следил за своим лицом и голосом; у него достало присутствия духа усердно заниматься, и он перевел один отрывок с французского на латынь, а другой – с латыни на французский; вечером он поужинал с обычным аппетитом и был весел, как всегда. Шевалье был просто создан для романических приключений, природа наделила его всеми качествами, необходимыми для успеха. В девять часов вечера аббат и его воспитанник легли спать. Аббат сложил свою одежду на стул, стоявший возле его постели, и задул свечу. Четверть часа спустя он уже спал глубоким сном.

Роже выждал еще четверть часа, потом тихонько соскользнул наземь, останавливаясь и замирая при каждом скрипе кровати. Наконец его ноги коснулись пола; он прислонился к стене и немного постоял в ожидании. Могучий равномерный храп аббата продолжался. Пока все шло хорошо. Тогда юноша, вытянув руки, осторожно двинулся в темноте, нашарил стул, на который в ночную пору его воспитатель клал свою одежду, перенес ее со стула к себе на постель и начал одеваться; это ему удалось без каких-либо досадных случайностей. Закончив свой туалет, Роже, ставший с ног до головы вылитым аббатом, осторожно отворил дверь, затем неслышно притворил ее, вытянул шею, дабы убедиться, что сборы не потревожили сон его опекуна, вышел на лестницу, спустился во двор и, постучав в комнату привратника, громко сказал:

– Я аббат Дюбюкуа, наставник шевалье д'Ангилема. Мой воспитанник сильно занемог, и я иду искать врача.

Полусонный привратник увидел в форточку одеяние аббата и отпер калитку, проворчав несколько слов, которые

юноша не разобрал. Роже очутился на свободе; его первым побуждением было бежать вперед, но минут через десять он разом остановился: еще немного, и он свалился бы с крутого берега в Луару.

Дойдя до реки, Роже наконец разобрался, где находится: он знал, что Шинон отстоит приблизительно на двадцать пять льё от Амбуаза и попасть туда можно, если неуклонно идти вниз по течению Луары. Однако к цели вели две дороги: одна шла вдоль левого берега реки, другая – вдоль правого. Роже решил отдать предпочтение правому берегу; хотя путь этот был длиннее на три или даже на четыре льё, но зато он сулил беглецу большую безопасность. А потому шевалье перешел по мосту на другой берег и, шагая без остановки, оказался к шести часам утра в Вувре. Тут усталость заставила его сделать привал: ведь он чуть не бегом проделал восемь льё! Роже остановился на постоялом дворе; здесь он сразу же бросился на кровать и велел разбудить себя в десять утра: он намеревался отправиться дальше тотчас после завтрака.

Раздевшись, шевалье обнаружил, что, кроме собственного кошелька, который он опустил в один из карманов своей новой одежды, он располагал теперь еще и кошельком аббата, оставшимся в другом кармане. Поскольку деньги, лежавшие в этом кошельке, принадлежали барону, Роже не только не испытал никаких угрызений совести, но даже очень обрадовался этому обстоятельству, ибо оно увеличивало его капитал на четыре луидора и одно экю – иными словами, на девяносто девять ливров. Теперь у него было достаточно денег, чтобы отправиться хоть на край света.

Пока Роже завтракал, хозяин постоялого двора вошел в комнату и сообщил ему, что некий владелец судна, плывущего вниз по Луаре, набирает по дороге новых пассажиров и просит узнать у шевалье, не предпочтет ли тот продолжать путь на судне. Мысль эта показалась юноше весьма заманчивой, поскольку след его легче потерялся бы на воде, нежели на суше, ибо след судна на реке обнаружить почти так же трудно, как те следы, о которых упоминает царь Соломон, чья мудрость и образная речь вошли в поговорку.

Вот почему Роже ответил, что если при новом способе передвижения он не проиграет в скорости, то с большим удовольствием согласится на такое предложение; хозяин постоялого двора заверил его, что он не только не проиграет, но даже выиграет, ибо по реке он будет плыть вперед и днем и ночью. Эти заверения прельстили Роже настолько, что он поручил хозяину тотчас же заказать для него место на судне, хотя оно должно было отправиться лишь через два часа: ведь возможность ехать и ночью перекрывала потерю двух часов.

Однако, когда владелец постоялого двора выходил из комнаты, шевалье спохватился, что он даже не спросил у него, кто же такие пассажиры, с которыми ему предстоит вместе пуститься в дорогу. И тогда он узнал, что это по большей части купцы, направляющиеся по торговым делам в Нант, офицеры, возвращающиеся в свои гарнизоны, которые расположены в Рене или Бресте, и, наконец, парижане, путешествующие для собственного удовольствия. Среди них не было никого подозрительного, и потому ничто не заставило юношу переменить свои первоначальные

намерения; он опять попросил хозяина постоялого двора передать владельцу судна, что тот может рассчитывать еще на одного пассажира, то есть на него, Роже.

И действительно, в полдень снялись с якоря; судно, а вернее, плавучий дилижанс, тянули четыре сильные лошади; они шли берегом так ходко, как только можно было желать, и наш герой весь день поздравлял себя с тем, что выбрал именно такой способ передвижения, ибо способ этот позволял ему ехать при свете луны не менее быстро, чем при свете солнца. В три часа пополудни остановились в Туре на обед, но уже в пять тронулись дальше и до самой ночи плыли с почти одинаковой скоростью. Владелец судна, когда его спросили о том, много ли проедут за ночь, ответил, что на следующий день поутру они к завтраку будут в Ланже; поверив его обещанию, Роже завернулся в плащ, лег на скамью и заснул.

Однако, несмотря на принятые им меры предосторожности, шевалье все же не был спокоен, и, видимо, поэтому тревожное сновидение нарушило его покой. Ему привиделось, будто на горизонте возникли два всадника, в одном из них он узнал отца, а в другом – аббата Дюбюкуа; заметив судно, они пришпорили своих коней, судно же, напротив, вопреки мольбам, с которыми юноша обращался к владельцу, все больше замедляло ход. Между тем скорость всадников возрастала, преследователи оказались наконец совсем рядом, и Роже – все еще во сне – решил, что у него нет иного выхода, и надумал спрятаться в трюме. Он поспешно спустился туда, спрятался между двумя бочками и стал ждать. Через несколько мгновений ему показалось, что ход судна не просто замедлился, что оно вообще не

движется. Затем Роже услышал приближающиеся шаги, и ему померещилось, будто чья-то рука схватила его за ворот: он снова стал пленником! Юноша испустил крик и проснулся.

Первым его ощущением было чувство радости, ибо, открыв глаза, он увидел, что пока еще совершенно свободен; тем не менее сон его был не совсем лжив: судно остановилось и теперь неподвижно стояло посреди реки. Шевалье направился к рулевому, чтобы узнать о причинах неожиданной остановки, и увидел, что тот спит; спали, кстати сказать, и все пассажиры. Сперва Роже не решался разбудить кормчего, однако положение было слишком серьезным, и потому колебания его продолжались недолго. Он дернул почтенного навигатора за руку, и тот, проворчав, что ему мешают отдыхать, ответил: «Мы сели на мель». Причем сообщил он об этом как о событии совершенно естественном, которое не должно вызывать ни удивления, ни недовольства, поскольку случается оно раза три, а то и четыре за каждую поездку. Дав такого рода объяснение случившемуся, кормчий снова уронил голову на руль и опять погрузился в сон.

В самом деле, Луара в те времена была точно такой же, какова она теперь, то есть одной из самых капризных рек во Франции: вы никогда не могли быть уверены в том, что найдете ее на том же месте, где оставили, ибо, подобно пресловутому тирану древности, у которого было двенадцать спальных комнат, она никогда не покоилась две ночи кряду на одном и том же ложе. Итак, плавучий дилижанс прочно сидел на мели, иными словами, возникла угроза, что он так и останется на месте до тех пор, пока проливной

дождь не поднимет уровень воды в реке или же пока не удвоят либо не утроят число лошадей в упряжке: только тогда, быть может, удастся сдвинуть этот дилижанс с препятствия, остановившего его движение.

Поставив себя на минуту на место Роже, легко догадаться о том, какое впечатление произвела на него эта новость. Прошло уже двадцать четыре часа с тех пор, как он покинул Амбуаз, а проделал он за это время всего пятнадцать или восемнадцать льё, то есть немногим более половины пути; однако, хотя положение шевалье было весьма критическим, иного выбора у него не было, оставалось только одно: терпеливо ждать. Роже решил, что, если к утру следующего дня вода не поднимется и лошади не смогут сдвинуть посудину с места, он доберется вплавь до левого или правого – безразлично, до какого именно – берега и продолжит свой путь пешком.

Приняв такое решение, он попытался снова задремать, но это ему не удалось. И потому он тихо лежал без сна, мечтая о Констанс и размышляя о том, как же ему все-таки соединиться с нею.

Впрочем, это казалось юноше делом довольно простым: ведь как только Констанс узнает из письма, которое Анри де Нарсе послал сестре, о прибытии Роже, она, без сомнения, будет готова последовать за ним. С помощью приставной лестницы он перелезет через монастырскую стену, выходящую на совершенно пустынную улицу, потом, так как комната девушки выходит в сад, она по той же лестнице спустится из окна, оба опять вскарабкаются на монастырскую стену, а затем доберутся до первого же селения, где священник и обвенчает их.

Роже во всех подробностях обдумывал свой план, пока не рассвело. Наступил день, а положение ни в чем не изменилось: за ночь уровень воды в Луаре не поднялся даже на дюйм. Между тем возница, видя, что четыре его лошади не могут справиться со своей задачей, отправился за подмогой в соседнее село и привел оттуда еще восемь лошадей: вместе с четырьмя его собственными лошадьми они составили уже целую дюжину. Однако, несмотря на совместные усилия несчастных животных, несмотря на удары бича, которыми их без зазрения совести награждал возница, сей дилижанс не трогался с места: могло показаться, будто он пустил корни в дно Луары. Два или три часа прошли в тщетных усилиях сняться с мели.

Роже кусал себе локти от досады, он никак не мог уразуметь, почему так спокойны и равнодушны остальные пассажиры: все важно и степенно рассуждали о случившемся, но отнюдь не приходили в отчаяние и даже предлагали множество мер, правда самых неосуществимых, чтобы выйти из затруднения; впрочем, судя по всему, они решили покорно оставаться тут до тех пор, пока какое-нибудь чудо не вызволит их. Видимо, этим людям уже не раз доводилось плыть вниз по течению Луары, и потому подобные происшествия были им хорошо знакомы.

Шевалье отправился на поиски владельца судна и объявил ему, что, если через полчаса его ковчег не тронется в путь, он, Роже, бросится за борт и будет вплавь добираться до берега. Владелец плавучего дилижанса преспокойно завтракал, с аппетитом уплетая котлеты и запивая их орлеанским вином; он невозмутимо выслушал речь юноши, ни разу не перебив его, и только спросил, уплатил ли

тот за проезд; Роже молча показал квитанцию, и тогда владелец судна сказал своему пассажиру, что он волен поступать как ему заблагорассудится, после чего снова принялся приканчивать котлеты и допивать вино.

Роже ощутил неистовое желание задушить наглеца, однако он тут же сообразил, что убийство еще больше осложнит его положение, взял себя в руки и снова поднялся на палубу.

Юноша надеялся, что застанет пассажиров в нетерпении, он рассчитывал воспользоваться этим и подстрекнуть их к бунту; он подходил то к одной, то к другой группе людей, но, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что никто из них по-настоящему не озабочен задержкой и каждый преспокойно говорит о своих делах: любители политики обсуждали конференцию в Гертрёйденберге, офицеры рассказывали о битве при Мальплаке, а купцы толковали о десятинном налоге. Роже понял, что ждать от них помощи нечего, и принялся размышлять о том, как лучше привести в исполнение свою угрозу, то есть как добраться вплавь до берега; вдруг он увидел, что оттуда отвалили пять или шесть лодок и отправились к судну. Это были местные жители, они везли севшим на мель путешественникам свежий провиант, пироги и фрукты, как делают дикари южных морей, подплывая к кораблям, заблудившимся на просторах Тихого океана.

Роже скупил у одного из лодочников всю провизию с условием, что тот немедленно доставит его на берег.

Внезапный отъезд юного аббата заставил пассажиров ненадолго отвлечься от разговоров, которые они вели между собой. Несколько человек повернули головы, чтобы

поглядеть, как он будет садиться в лодку, и с минуту провожали его глазами, пока он удалялся от судна; но вскоре каждый вернулся к прерванной беседе, и никто, видимо, больше не интересовался беглецом.

Роже высадился на берег возле Люина. Ему не терпелось сразу отправиться в город, расположенный приблизительно в четверти льё от реки, и попытаться достать там лошадь. Но затем он подумал, что это только задержит его; к тому же, нанимая лошадь, он был бы вынужден нанять и человека и тем самым посвятить постороннего в свою тайну. А посему он решил продолжать путь пешком и тотчас же пошел по дороге в Ланже, куда добрался к семи часам вечера.

Хотя шевалье очень хотелось идти дальше, ему пришлось остановиться здесь на ночлег. Все равно необходима была передышка хотя бы на час, чтобы поужинать и немного отдохнуть. Однако, если бы он отправился дальше пешком, да еще в восемь часов вечера, это могло навлечь на него ненужные подозрения; к тому же наш герой оказался в том месте своего пути, где ему предстояло перебраться на противоположный берег Луары и дальше двигаться полями; попасть из Ланже в Шинон можно было только по проселочным дорогам, а потому было десять шансов против одного, что в темноте он заблудится. И Роже волей-неволей согласился провести ночь на постоялом дворе; чтобы не терять времени даром, он начал подробно расспрашивать хозяина о дороге, по которой предстояло идти на следующий день.

Как только рассвело, шевалье тронулся в путь. Он шел очень быстро и надеялся попасть в Шинон к двум часам

пополудни; в самом деле, в девять утра он уже завтракал в Армантьере, в полдень сделал привал в Сен-Бенуа, а около двух часов дня различил наконец башни и колокольни города, куда так стремился. Однако вид этого города не только не прибавил мужества юноше, но, казалось, испугал его; он ненадолго остановился, ноги у него подкашивались, и рука, которую он прижал к груди словно для того, чтобы унять сильное биение сердца, дрожала; но вот мужество возвратилось к Роже, и, устыдившись собственной слабости, он опять пустился в дорогу, еще больше ускорив шаг; через четверть часа он уже входил в Шинон.

Как это бывает со всеми решительными людьми, близкая опасность удвоила силы шевалье; он без колебания направился прямо к монастырю, позвонил у входа и с величайшим спокойствием выдержал испытующий взгляд привратницы.

– Сестра моя, – сказал он, – насколько мне известно, в вашей обители воспитывается мадемуазель Эрмини де Нарсе.

– Да, брат мой, – ответила привратница. – А что вам от нее угодно?

– Господин Анри де Нарсе поручил мне передать ей сие послание. Не будете ли вы так любезны вручить письмо по назначению, разумеется, после того как, в согласии с монастырским уставом, покажете его вашей достойной настоятельнице.

– Сейчас отнесу, – отвечала привратница. – Увы! Милая наша барышня! Это письмо, конечно, доставит ей большую радость, особенно сейчас, когда бедняжка так сильно убивается.

– Убивается? А почему? – с тревогой спросил Роже.

– Да потому, что она потеряла лучшую свою подругу.

– Лучшую подругу? – повторил Роже со все возрастающим страхом. – Вы говорите, она потеряла свою лучшую подругу?

– О Господи! – воскликнула привратница, возводя очи горе. – Да, Бог нам дал ее, и Бог взял ее к себе, и он правильно поступил, ведь она была сущий ангел во плоти.

– Но… но… ведь лучшей ее подругой, – вскричал Роже, вытирая пот, стекавший со лба, – ведь лучшей ее подругой была, если не ошибаюсь…

– Мадемуазель Констанс де Безри, – подхватила привратница. – Вы, часом, не знали ее, любезный брат мой?

– Констанс! Констанс! – вскричал шевалье. – Ради самого неба, продолжайте, продолжайте же! Что с ней произошло?

– Она скончалась три дня тому назад, – ответила монахиня. – Вчера ее похоронили.

Роже испустил душераздирающий крик, зашатался, как человек, сраженный молнией, и со всего размаха упал бы на мостовую, если б подошедший в это мгновение к воротам монастыря барон д'Ангилем не подхватил его на руки.

VI

ГЛАВА, ГДЕ РАССКАЗАНО О ТОМ, КАК, УЗНАВ О СМЕРТИ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ, ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ ОЩУТИЛ ТАКОЕ ГОРЕ, ЧТО РЕШИЛ СДЕЛАТЬСЯ ИЕЗУИТОМ

Когда шевалье пришел в себя, он увидел, что лежит в комнате на постоялом дворе, а барон д'Ангилем сидит у изголовья его постели.

Открыв глаза, Роже огляделся вокруг: так поступает человек, который внезапно пробуждается и, проснувшись, силится понять, что же с ним случилось. И тут воспоминания ожили в его памяти: он припомнил все, что произошло у входа в монастырь, вспомнил, как он услышал из уст привратницы весть о кончине Констанс и, сраженный этим внезапным ударом, упал на руки человека, который, как ему показалось, походил на его отца.

На мгновение шевалье попытался было усомниться в постигшем его горе; однако слабость, которую он испытывал, брошенная на стул одежда его наставника, сидевший возле него плачущий отец – все это были слишком очевидные доказательства несчастья, и они не оставляли даже проблеска надежды; поэтому Роже вновь повернулся к барону, протянул к нему руки и простонал:

– Ах, батюшка, до чего же я несчастен!

Барон боготворил сына, он всячески старался утешить его, говоря все то, что обычно говорят в подобных случаях: он напомнил Роже, что тот – мужчина, а мужчина рожден для страданий, именно для этой цели Господь Бог и даровал ему силу. То были превосходные умозаключения, каким учат на уроках философии; однако, хотя доводы эти были неопровержимы, Роже лишь горестно качал головой и шептал:

– Если б только матушка была здесь! Если б только матушка была здесь!

– Скажи, а что бы она сделала такого, чего не могу сделать я? – спросил барон.

– Она бы плакала вместе со мной! – воскликнул Роже. И, разразившись рыданиями, он опять упал на подушки.

Барон д'Ангилем решил, что самое лучшее в таких обстоятельствах – дать сыну выплакаться, не мешая ему.

И в самом деле, после слез Роже немного полегчало, и он мог теперь заговорить о Констанс. Как читатель догадывается, юноша засыпал отца вопросами о болезни девочки и о ее смерти. Барон весьма сдержанно отвечал, что он и сам знает о ее недуге и смерти лишь то, что известно всем: Констанс заразилась оспой и, несмотря на все усилия докторов, умерла после шести дней жестоких страданий.

Тогда шевалье объявил, что желает отправиться в монастырь и своими глазами увидеть комнату, где прежде жила бедная девочка, и могилу, где она ныне покоится: он хочет поплакать в ее комнате и помолиться на ее могиле.

Барон сообщил сыну, что на следующий день в монастыре состоится заупокойная служба по Констанс; если Роже обещает вести себя так, как положено мужчине, и в тот же вечер уехать в Ангилем, то ему разрешат присутствовать на этой службе, а по выходе из церкви отец и аббатиса сами отведут его сперва в келью Констанс, а затем на ее могилу.

Шевалье пообещал сохранять присутствие духа. Что же касается требования уехать из Шинона, то в глубине души он и сам этого желал, ибо чувствовал, что при сложившихся обстоятельствах очень нуждается в материнской нежности и любви.

Остаток дня прошел довольно спокойно, хотя и был отмечен все той же скорбью. Роже по-прежнему лежал в постели, время от времени закрывая глаза и притворяясь спящим. Тогда барон, думая, что сын и вправду заснул, выходил на цыпочках из комнаты, а юноша, оставшись в одиночестве, плакал сколько ему хотелось.

Наступила ночь, и, как ни горевал шевалье, он все же ненадолго забылся; ему снилась Констанс, но – странное дело! – ни разу он не видел ее бледной и умирающей в постели или бледной и бездыханной в гробу, нет, всякий раз в его сновидениях Констанс была полна жизни, на губах у нее играла улыбка, а глаза светились любовью; она казалась ему такой же, какой была прежде в Ангилеме, в Безри или в монастыре. И тогда Роже пробуждался, его сердце готово было выскочить из груди; несколько мгновений он сомневался в своем несчастье, но затем унылая комната постоялого двора, висевшая на стуле одежда аббата, шаги отца, который занимал соседнюю комнату и при каждом движении сына подходил к его двери, вновь возвращали юношу к ужасной уверенности в том, что смерть Констанс вовсе не сон.

На рассвете Роже услышал, что звонит монастырский колокол: медленными и глухими ударами он возвещал о приближении заупокойной службы, которая должна была происходить в тот день, и этот погребальный звон болью отдавался в душе юноши.

Еще одно обстоятельство сильно тревожило его: у него не было иной одежды, помимо той, в какой он убежал из Амбуаза, но ведь не мог же он присутствовать на панихиде по Констанс в одеянии аббата – он понимал, что такой маскарадный наряд таит в себе нечто комическое и никак не соответствует его глубокой скорби. Идти по полям и дорогам, похищать Констанс в подобном одеянии было вполне уместно, но слушать в нем заупокойную службу и плакать на могиле девочки было бы настоящим кощунством.

Сердцу свойственно безотчетное стремление к деликатности, оно никогда не обманывается на сей счет.

Тем временем в комнату к сыну вошел барон в сопровождении слуги, несшего полный мужской костюм. Роже поблагодарил отца и спросил, как ему удалось раздобыть эту одежду. Барон отвечал, что аббат Дюбюкуа, приехав в Ангилем, рассказал баронессе, в каком наряде убежал шевалье, и она вполне резонно решила, что Роже покинул Амбуаз для того, чтобы вновь свидеться с Констанс, а потому тотчас же послала сюда слугу с его одеждой, понимая, в каком затруднении окажется ее сын, приехав в Шинон. Одно только удивило Роже: почему матушка сама не привезла ему костюм.

Шевалье поспешно оделся: заупокойная служба начиналась в восемь утра; к величайшему удивлению барона, Роже ни разу даже не упомянул о Констанс. Дело в том, что бедный малый ощущал во всех ответах отца холодок и какую-то натянутость, а так как его душа была полна глубокой скорби, то ему это было неприятно; барон со своей стороны, видимо, боялся растравить горе сына и старательно избегал касаться в разговоре единственного предмета, только и занимавшего юношу: достойный дворянин не понимал, что во время тяжких испытаний, подобных тому, какое выпало на долю его сына, лучшее утешение – слезы, а исторгнуть их легче всего, когда говоришь с человеком, которому нужно выплакаться о понесенной им утрате.

Барон полагал, что Роже теперь меньше убивается, потому что он больше не плачет. Увы! Юноша молча проливал слезы, и они – одна за другой – падали ему прямо в душу.

Шевалье вышел вместе с отцом; шагая бок о бок, они направились в монастырь. Однако, когда юноша приблизился к воротам обители, к которой он раньше дважды подходил во власти столь сладостных надежд, ему вдруг почудилось, будто земля колеблется под ним, а дома, монастырские стены, деревья кружатся у него перед глазами. Роже пришлось опереться на руку отца. Надо сказать, что и сам барон был сильно взволнован; заметив это, юноша постарался справиться со своим волнением.

Подойдя к воротам, шевалье вновь увидел привратницу, сообщившую ему ужасную весть. Хотя славная женщина и привыкла к виду человеческого горя, она, казалось, была не на шутку встревожена, заметив, как бледен и печален юноша. А когда он, проходя мимо, незаметно сунул ей в руку луидор, почтенная монахиня не сумела сдержать слезы.

Роже вошел в ту самую церковь, куда год тому назад он входил с радостью в сердце, уповая на то, что ему удастся различить в многоголосом хоре голос Констанс. Минул всего лишь год, а ее голосок – такой чистый, такой нежный и звонкий – навеки умолк; теперь шевалье предстояло вновь услышать тот же хор, но тщетно стал бы он пытаться различить в нем голос Констанс, чья душа ныне возносила на небесах хвалу Всевышнему.

Шевалье опустился на колени на том же самом месте, где год тому назад уже стоял на коленях, и вдруг впервые в жизни он ощутил ту возвышенную и властную потребность в молитве, какую ощущает человек в часы глубокой скорби. Впервые в жизни душа его вступила в общение с иным миром, который приоткрывается человеку только сквозь

дымку радости или отчаяния, миром, который доступен нам только в минуты высочайшего восторга или сильнейшего горя.

Во время заупокойной службы по щекам Роже безостановочно текли слезы, но рыдание ни разу не вырвалось из его груди: молитва делает наши слезы сладостными и умиротворяющими.

Когда служба окончилась, барон проводил сына к настоятельнице; возможно, достойная монахиня еще хранила известную обиду на своего племянника за комедию, какую он в свое время разыграл перед нею и какую пытался повторить совсем недавно. Быть может, она даже собиралась сделать ему хотя и доброжелательное, но строгое внушение, ибо она встретила его с холодным достоинством; но, когда шевалье душераздирающим голосом воскликнул: «Ах, тетя! Тетя! Как же вы допустили ее гибель?!», она не могла дольше оставаться равнодушной к столь искреннему горю, написанному на лице юноши и прозвучавшему в его голосе. Добрая настоятельница расплакалась.

Шевалье воспользовался этим и напомнил отцу о его обещании; барон взялся испросить у аббатисы разрешение на то, чтобы Роже мог побывать в келье Констанс. Сперва настоятельница заколебалась, но потом уступила, позвала какую-то монахиню и шепотом отдала ей несколько распоряжений: должно быть, велела убрать подальше предметы, которые могли бы еще больше усилить горе юноши, попадись они ему на глаза.

Через несколько минут они все трое вышли из покоев аббатисы; в коридорах никого не было, и могло показаться, будто смерть разом опустошила все кельи; юные воспитанницы монастыря гуляли в саду.

Аббатиса отперла дверь в комнатку Констанс и уже приготовилась вместе с бароном войти туда вслед за Роже; однако шевалье попросил обоих разрешить ему хотя бы немного побыть одному в святилище его любви. Отец и тетка переглянулись; затем, без сомнения не усмотрев в этой просьбе ничего неподобающего, они знаком дали понять Роже, что он может войти.

Он вошел в комнату, притворил за собою дверь, чтобы остаться одному, и, молитвенно сложив руки, благоговейно приблизился к кровати, на которой Констанс испустила последний вздох; ничто не указывало на то, что здесь побывала смерть. Шевалье склонился к девичьей подушке и запечатлел на ней поцелуй. Она все еще благоухала, издавая тот нежный и свежий запах, какой исходит от юного и здорового существа; могло показаться, что та, что покинула это ложе три дня тому назад и теперь покоится в могиле, встала с постели только нынче утром и сейчас резвится, распустив волосы по ветру, на усеянном цветами лугу, где во множестве летают пчелы и бабочки.

Этот контраст между мирной комнатой и грозным событием, которое в ней произошло и о котором тут, казалось, ничто не напоминало, заставил мучительно сжаться сердце Роже. Ему внезапно открылась великая истина, гласящая, что всем нам предназначено пройти по земле, не оставив на ней никакого следа, помимо одного лишь воспоминания, живущего в душах любивших нас людей; и кто еще знает, сколько времени сохраняют такие воспоминания о нас даже те, что глубоко потрясены потерей!

И Роже молча поклялся в том, что воспоминание о Констанс будет вечно жить в его сердце.

Наконец он справился с волнением и внимательно оглядел один за другим все предметы, составлявшие обстановку комнаты, облик которой ему хотелось сохранить в своей душе. Слева от входа на стене висело распятие, под ним стояла скамеечка для молитвы, а на ней лежал маленький молитвенник Констанс. Роже опустился на колени перед скамеечкой, поцеловал молитвенник, открыл его в том месте, где, судя по закладке, усопшая открывала его в последний раз, и прочел молитву, которую, без сомнения, читала Констанс: то была молитва во славу Богородицы – «Ave, Maria»[8], благостный и поэтический обет ангела – девственнице, Неба – земле, Бога – людям.

Прямо перед дверью высился камин. На нем в двух фарфоровых вазах стояли букеты цветов; благодаря воде, поившей стебли, они пережили ту, что их собирала; между вазами блестело зеркальце, как бы знаменуя собой вторжение мирской жизни в монастырские стены: настоятельница разрешила иметь зеркало тем пансионеркам, кому в будущем предстояло жить в миру. Роже сорвал по одному цветку – то были анютины глазки – с каждого уже чуть увядшего букета и прикоснулся губами к поверхности зеркала; неверное и забывчивое, как все на свете, оно уже готово было отражать новые лица тех, кто станет смотреться в него, но оно, увы, не сохранило ни малейшего следа ангельского личика, которое столько раз в нем отражалось.

От камина Роже перешел к окну. Мы уже говорили, что оно выходило в сад. В свое время он уже видел этот сад;

---

[8] «Богородица, дева, радуйся» (*лат.*)

гулявшие там сейчас девушки были те же, что и тогда. Но какая огромная разница! Тогда все они были оживленны и веселы, а теперь – печальны и молчаливы. Сейчас они не резвились, а только медленно прогуливались – группами или парами. И в одиночестве, в полном одиночестве, прохаживалась Эрмини де Нарсе, задушевная подруга бедной Констанс.

Видеть этих девочек ему было особенно мучительно; именно здесь – в их юных сердцах, в их девственных душах, на едва приоткрытых чистых страницах книги жизни – и отпечатался подлинный след смерти, который Роже тщетно искал вокруг; именно здесь был как бы виден путь, оставленный в воздухе голубкой, улетевшей на небеса…

В эту минуту дверь отворилась: шевалье уже более получаса оставался в келье Констанс, и, заметив, что он не выходит оттуда, отец и тетушка испугались, как бы у него не начался новый приступ горя, вызванный слишком сильным волнением.

Роже вышел к ним с совершенно разбитым сердцем, он чувствовал, что воспоминания, которые он уносит из этой комнатки, будут жить в его душе всю жизнь; однако внешне он сохранял спокойствие, и потому, когда он попросил у своей тетушки, чтобы его, согласно обещаниям отца, проводили на могилу Констанс, ни сам барон, ни настоятельница не только не воспротивились этому, но даже предложили юноше сопровождать его туда.

Кладбище было расположено в монастырских стенах. И Роже пришлось пройти всего сотню шагов, чтобы из комнаты, где Констанс после своей кончины покоилась лишь один день, попасть к тому месту, где ей предстояло поко-

иться вечно. У входа на кладбище, как прежде у дверей комнаты усопшей, Роже попросил, чтобы его оставили одного: горе имеет свои права, и ничто не может быть целомудреннее слез. Так что он один вошел на маленькое кладбище.

Как и все монастырские кладбища, оно представляло собой четырехугольную площадку, окруженную арками, покоившимися на колоннах: они замыкали поросший травою участок земли, покрытый могильными холмиками; одни могилы возвышались над землею больше, другие – меньше, ибо в зависимости от того, сколько прошло времени, одни осели больше, другие – меньше. Здесь особенно ясно ощущался ход времени, которое все безжалостно уравнивает, чья поступь мало-помалу стирает с лица земли и дворцы живых, и гробницы мертвых. Роже медленно приблизился к недавно выросшей могиле, где лежал камень: на нем еще даже не успели высечь имя покойной. Однако ошибки быть не могло, очевидно, могила эта появилась в тот самый день, когда, как сказали шевалье, тело Констанс было предано земле. Он опустился на колени перед надгробным камнем и стал молиться.

Началось его последнее и самое трудное испытание, и продолжалось оно до тех пор, пока барон и настоятельница не пришли за юношей. Он уже попрощался с церковью, где молилась Констанс, с комнатой, где она жила, с могилой, где ей предстояло вечно покоиться, и больше ничто не удерживало его в Шиноне; вот почему Роже, как ребенок, позволил увести себя, он машинально попрощался с тетушкой и сел в двуколку, в которой приехал его отец, не только не оказав никакого сопротивления, но даже не

произнеся ни слова. На этот раз ехали гораздо быстрее, чем в прошлый: барон, направляясь в монастырь, трижды менял в пути лошадей – в Лоше, Сент-Море и на острове Бушар, а посему им нигде не пришлось ожидать; на каждой подставе в повозку впрягали свежую лошадь, так что назавтра в полдень они уже были в Ангилеме.

Всю дорогу Роже пребывал в глубокой апатии – он не плакал, не вздыхал, никак не выражал своих чувств; только при виде матери бедный юноша дал волю слезам; однако встряска была слишком сильна: в тот же вечер у него открылась горячка, и он тяжело занемог.

Вот тогда-то со всей силой и проявилась та самоотверженная материнская любовь баронессы, какую она уже и прежде не раз выказывала. За время болезни сына она ни на минуту не отходила от его изголовья, днем оберегала его покой, ночью бодрствовала возле него и все время говорила с ним о Констанс; баронесса молилась и плакала вместе с сыном, ее душа как бы сливалась с его душою, мать разделяла все его чувства, угадывала все желания, она совсем отказалась от собственной воли и всецело жила жизнью Роже. Порою, думая, что он спит, она глядела на него с невыразимой нежностью, и, когда юноша замечал это, ему казалось, что к ее нежности примешивались печаль и угрызения совести. Раз двадцать он порывался спросить у матери, чем объясняется странное выражение, которое он читал в ее глазах, но у него не достало сил проявить столь понятное любопытство. Да и все происходившее вокруг теперь не занимало его: Констанс уже не было на свете!

Болезнь шевалье затянулась; она незаметно перешла в

глубокую меланхолию, еще более опасную, нежели самый недуг, коему она пришла на смену, ибо Роже находил смутную радость в самой этой меланхолии; он покорно выполнял все, что предписывали врачи, чтобы исцелить его от телесного недуга, но ничего не хотел делать для того, чтобы исцелиться от недуга душевного. Напрасно отец предлагал ему прокатиться верхом, пойти на охоту, немного пофехтовать. Все физические упражнения, к которым Роже прежде выказывал страстный интерес, теперь только утомляли его, внушали ему почти отвращение. Одно только не претило ему – умственные занятия, и в один прекрасный день – к величайшему изумлению отца и матери – юноша объявил о своем желании вернуться в Амбуаз, в коллеж отцов иезуитов.

Как ни грустно было барону и баронессе расставаться с сыном, ибо они хорошо знали, в каком настроении он пребывает, все же его просьба порадовала их. Ведь она свидетельствовала о том, что Роже понемногу возвращается к жизни; уже целых три месяца он не выражал ни малейшего желания хоть чем-нибудь заняться, поэтому просьба его была выполнена без возражений.

Итак, шевалье возвратился в Амбуаз, где ему предстояло по-прежнему жить под наблюдением своего наставника; на сей раз его сопровождали и отец и мать: баронесса решилась на столь далекое путешествие, потому что хотела лично поручить сына заботам достопочтенных отцов иезуитов.

В коллеже Роже ожидало сильное разочарование. Он возвратился туда во время вакаций и очень надеялся, что с началом классных занятий вновь свидится со своим при-

ятелем Анри де Нарсе, однако он тщетно ждал приезда Анри: тот закончил обучение в классе риторики, и родители, готовившие его к судейской карьере, посчитали излишним, чтобы он посещал класс философии; таким образом, Роже остался один на один со своим горем.

И тогда в нем внезапно родились и окрепли религиозные чувства, хотя до всего случившегося он был равнодушен к вопросам веры: видимо, чувства эти дремали в глубине его души, и горе всколыхнуло их; теперь Роже проводил долгие часы в церкви, он молился так горячо, что в конце концов впадал в состояние, близкое к экстазу, и почти всегда оно завершалось обильными слезами; Роже не был набожным в обычном значении этого слова, он не всегда исполнял церковные обряды и даже забывал порою часы церковной службы, так что ему приходилось постоянно о них напоминать, но зато он был склонен к благочестивым размышлениям, и это вскоре заметили достопочтенные отцы иезуиты; они поняли, что человек с такой экзальтированной душой, как у их юного воспитанника, и с изобретательным умом, который, по всей вероятности, должен будет позднее вернуть себе силу, ныне временно утраченную, станет великолепным приобретением для их ордена; поэтому они окружали шевалье различными знаками внимания, были к нему необыкновенно предупредительны, всячески улещали его. Религия подобна бездне, ее головокружительная глубина притягивает к себе чувствительные души. Констанс превратилась теперь для Роже в небесного ангела, и юноша устремил все свои помыслы и желания к небесам. Ректор иезуитского коллежа был человек гибкий, обходительный и красноречивый, одержи-

мый духом прозелитизма, который нигде так сильно не сказывается, как в ордене, основанном Игнатием Лойолой. Он пригласил Роже к себе, подробно расспросил о его настроениях, укрепил юношу в его чувствах – словом, действовал весьма тонко и умело; прошло всего полгода, и в одно прекрасное утро шевалье объявил своему воспитателю, что он принял твердое решение стать иезуитом.

Аббат Дюбюкуа и сам принадлежал к этому религиозному братству, именно по его совету Роже отправили в коллеж иезуитов, а потому у него родилось опасение, как бы родители шевалье не подумали, что это он внушил их сыну столь необычное желание распрощаться с мирской жизнью и уйти в монастырь. Вот почему аббат тотчас же написал барону обо всем, что произошло, и умолял его, не теряя ни минуты, приехать в Амбуаз, если он хочет попасть туда до того, как достопочтенные отцы иезуиты окончательно завладеют душой его сына.

Барон сразу оценил опасность, угрожавшую Роже; он велел запрячь Кристофа в уже знакомую нам двуколку и на следующий день к вечеру был в Амбуазе.

VII

КАК МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕД ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМОМ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТИТЬ ЕМУ УЙТИ В МОНАСТЫРЬ

Барон д'Ангилем нашел сына совершенно спокойным и исполненным твердой решимости. Если бы намерения шевалье были плодом экзальтации, барон сохранил бы еще некоторую надежду на то, что, когда экзальтация эта

пройдет, исчезнут и рожденные ею намерения; но дело обстояло не так, и оно принимало серьезный оборот, тем более серьезный, что происходило это в ту пору правления Людовика XIV, а вернее, г-жи де Ментенон, когда все обращались к религии, когда самую могущественную поддержку получали люди, стоявшие во главе различных конгрегаций и настоятели монастырей, так что нередко юноши и девушки из самых знатных родов Франции становились монахами и монашенками вопреки противодействию своих родных. Поэтому барон видел только одно средство переубедить шевалье, а именно – уговоры.

Вот почему он и попытался прибегнуть к этому средству; однако на все мольбы отца Роже отвечал, что он следует внутреннему голосу, что голос этот – его совесть, и начиная с того дня, когда он потерял единственное свое сокровище, которое могло бы привязать его к мирской жизни, неодолимое стремление побуждает его уйти в монастырь.

Тогда барон обратился к ректору коллежа и попросил помочь ему отговорить шевалье от его намерения; однако ректор ответил, что он посчитал бы оскорблением Господа Бога попытку отвратить от небес душу, алчущую спасения, что единственное, чего могут от него требовать, – это чтобы он, ректор, сам не побуждал своего воспитанника идти по стезе, на которую тот добровольно ступил, и что, кстати сказать, именно такова та линия поведения, какую он уже избрал и какой впредь будет придерживаться. Барон и в самом деле не мог требовать большего.

Три или четыре дня прошли в бесплодных переговорах; наконец к вечеру пятого дня было получено письмо от

баронессы, которую муж известил о положении дел. Достойная дама писала сыну, что умоляет его до принятия окончательного решения приехать, по крайней мере, недели на две в Ангилем; она обещала неофиту, что, если по истечении этого срока его решение не изменится, он волен будет поступить как ему заблагорассудится. Эта материнская просьба была настолько разумной, что Роже тотчас же согласился ее выполнить.

На следующий день, получив благословение ректора, будущий иезуит отправился в Ангилем в сопровождении барона и аббата Дюбюкуа; оба его спутника в глубине души проклинали тот роковой день, когда мадемуазель де Безри появилась в Ангилеме. В самом деле, именно начиная с этого злополучного дня, как читатель и сам мог убедиться, все перевернулось вверх дном в до тех пор столь мирном замке, и теперь его обитатели, некогда самые завзятые домоседы провинции, проводили свою жизнь в скитаниях по большим дорогам и в погоне друг за другом.

Баронесса, в свой черед, возобновила те же попытки воздействовать на сына, какие уже испробовал барон; но все настояния любящей матери не могли поколебать упорства шевалье. Со своей стороны отец безуспешно заговаривал с ним об охоте, о верховой езде и о фехтовании. Роже отвечал, что все это мирские занятия, упражнения суетные, и они вовсе не приличествуют человеку, который вознамерился посвятить себя Господу Богу. Так что в конце концов и баронесса отчаялась вернуть сына к тем взглядам на предназначение дворянина, какие ему были прежде свойственны: роковое происшествие, о коем мы уже рассказывали, казалось, стерло их из памяти шевалье.

Прошло двенадцать дней, и все это время баронесса возобновляла, но всякий раз безуспешно, свои настойчивые попытки уговорить Роже. Наконец она, видимо, отказалось от всякой надежды, и шевалье был избавлен от докучных просьб матери; впрочем, он отвечал на них с неизменной твердостью, сохраняя при этом всю почтительность и глубокое уважение к своей родительнице. Весь тринадцатый день прошел поэтому в печали и в почти полном молчании: поскольку решение Роже неизменно служило после его приезда в Ангилем главным предметом бесед, то с той минуты когда о его намерении больше не заговаривали, никто не знал, о чем же еще говорить.

Вечер прошел еще более молчаливо и печально, чем день, и все рано разошлись по своим комнатам. Роже, как обычно, помолился перед большой картиной, изображавшей Христа на Голгофе; в последний свой приезд, когда им уже овладели религиозные настроения, он велел перенести ее к себе в спальню из старинной часовни замка, превращенной в кладовую. Потом, охваченный восторгом, порою посещавшим его после молитвы, он лег в постель и вскоре впал в дремотное состояние, которое не назовешь ни сном, ни бодрствованием.

Задув свечу, Роже обратил внимание на то, что свет луны проник сквозь большое круглое отверстие в верхней части ставня, закрывавшего окно, и осветил изображение, висевшее прямо перед ним, у изножья кровати; видимо, то была случайность, но юноша усмотрел в этом проявление особой благодати, какую, как он полагал, ему иногда ниспосылало Небо. Вперив пристальный взгляд в картину, шевалье мало-помалу впал в тот религиозный восторг, о

котором мы упомянули и который уже начал понемногу уступать место дремоте, как вдруг ему показалось, будто картина медленно повернулась вокруг своей оси и юная девушка в длинном белом платье с вуалью на лице тихим, едва заметным движением заняла место святого образа; потом, когда картина совсем исчезла и луч ночного светила, перед тем озарявший ее, озарил теперь девушку своим мягким светом, ночное видение осторожно приподняло свою вуаль, и шевалье, задрожав одновременно от радости и от страха, узнал Констанс.

Да, то была она, то была прелестная девочка, прежде жившая на земле, а ныне превратившаяся в ангела небесного; Роже тотчас же приподнялся в постели и протянул к ней руки, однако бесплотная тень жестом дала понять, что ему надлежит оставаться на месте, и голос, каждый звук которого отзывался в самой глубине души влюбленного юноши, проговорил:

– Роже, Господь Бог позволил мне выйти из могилы, дабы сказать тебе: жертва, которую ты готовишься принести в память обо мне, непомерна; твой удел вовсе не в том, чтобы заживо похоронить себя в монастыре, нет, ты должен продолжить на земле свой род, иначе он исчезнет вместе с тобой; откажись от овладевшей тобою мысли удалиться от мира. Я прошу тебя об этом, а если надо, то и приказываю тебе. Прощай, Роже, и помни о том, что я тебе сказала, ибо то, что я говорю тебе, – воля Всевышнего.

Едва отзвучали эти слова, как белоснежное видение, внезапно представшее глазам шевалье, начало медленно уходить в стену, а картина, изображавшая Христа, стала на место, которое она за минуту до того покинула, и, в свою очередь, засияла в лунном свете.

Роже замер, с трудом переводя дыхание, на лбу у него выступил холодный пот, глаза блуждали; так продолжалось все то время, пока он созерцал призрачное видение; но едва оно исчезло, он, боясь, что зрение и слух обманули его, соскочил с кровати, чтобы, прикоснувшись к картине, удостовериться в том, что она на своем месте. Ничто не изменилось, руки его пробежали по холсту, по раме, по деревянной обшивке стены, и он убедился, что никто не мог ни войти в его комнату, ни выйти из нее, тем более что дверь была заперта изнутри. Стало быть, призрак Констанс и в самом деле являлся ему.

Легко догадаться, как провел Роже остальную часть ночи. Пока в комнате было темно, он нисколько не сомневался в достоверности того, что видел: милая тень была еще тут, она стояла перед его глазами; он вновь и вновь видел бледное и прекрасное лицо своей юной подруги, слышал ее нежный голос, он, можно сказать, ощущал, как к нему тянулась ее рука, чей повелительный жест предписывал ему молчание и неподвижность, рука, ласковым мановением которой Констанс простилась с ним. Но как ни велики были вера и убежденность юноши, когда краски утра прогнали из его комнаты таинственную и торжественную ночную тьму, он почувствовал, что один за другим рушатся камни волшебного замка, возведенного им в грезах, и бедный Роже перешел от самой глубокой уверенности к самому тягостному сомнению.

Весь день он испытывал тревогу, был задумчив и озабочен; мать настойчиво спрашивала его, отчего со вчерашнего дня в нем произошла столь явная перемена, но всякий раз, когда баронесса задавала сыну этот вопрос, она

встречала в ответ лишь грустную улыбку, исполненную глубокой печали. Что касается барона, то у него был вид человека, примирившегося с решением сына и полностью утратившего надежду заставить его отказаться от своих намерений.

Прошел еще один день; он был наполнен событиями несколько больше, чем предыдущий. Роже вышел из замка, чтобы прогуляться в близлежащей роще; время от времени лицо его внезапно покрывалось краской, как будто кровь вдруг отливала от сердца и подступала к челу; он то и дело вздрагивал, и глаза его, казалось, пытались разглядеть сквозь листву деревьев убегавшую тень, которая была видна только ему одному; потом тяжкий вздох непроизвольно вырывался из его груди, и две большие слезы выкатывались из глаз. Это было удивительно для Роже: ведь уже больше полугода никто не видел его плачущим.

Шевалье дожидался ночи с тревогой, смешанной с боязнью. Несколько раз за ужином баронесса, не сводившая с него глаз, замечала, что он украдкой вытирает пот, капельками выступавший на лбу у самых волос. В тот же час, что и накануне, юноша попросил разрешения удалиться к себе, вышел из столовой и направился в свою комнату.

Мы уже говорили, что с наступлением дня сомнение, затем недоверие, наконец, уверенность в том, что ночное видение было всего лишь химерой, поочередно сменялось в душе Роже; но, странное дело, по мере того как наступала ночь, он снова проникался верой в то, что все видел наяву; итак, он остался в одиночестве в своей комнате и, задув свечу, в темноте лежал в постели; едва лунный луч вновь осветил висевшую на стене картину, прежняя уверенность

овладела Роже, и он почувствовал, что мнимый сон опять становится явью.

Прошел час или около того, стояла полная тишина, ничто не шевелилось, ничто не нарушало этой тишины, и Роже слышал только стук собственного сердца. Целый час он не сводил горящего взора с неподвижной картины, но все было напрасно; потом ему вдруг почудилось, будто рама медленно уходит в деревянную обшивку стены и картина, как накануне, поворачивается вокруг своей оси. А еще через миг у шевалье уже не осталось больше сомнений, ибо он начал различать белое платье Констанс, затем юная девушка предстала перед ним во весь рост: вчерашнее чудо повторялось.

– Роже, – заговорила Констанс, – ты не поверил моим словам, и Господь Бог позволил мне вторично прийти и повторить тебе уже сказанное ранее. Роже, откажись от своего пагубного решения, оно повергает в отчаяние твоих близких; знай, я не приемлю той жертвы, какую ты хочешь мне принести; ты рожден для мирской жизни, а не для монастыря, живи же в миру и будь счастлив.

И тут, как будто на сей раз тень юной девушки опасалась, что недоверие может разрушить то впечатление, какое производит на юношу ее приход, Констанс сняла со своего пояса букетик анютиных глазок, похожий на тот, какой она, будучи еще в живых, оставила в коридоре монастыря в Шиноне, и, протянув руку, чтобы издали проститься с Роже, уронила этот букетик на пол.

Шевалье вскочил с постели, однако картина уже вернулась на прежнее место. Не осталось никакого следа от появления юной девушки, кроме букетика анютиных гла-

зок, который движением, исполненным одновременно радости и страха, движением, надо прямо в этом признаться, гораздо более светским, нежели духовным, шевалье поднес к губам.

На сей раз больше не было места для сомнений: вещественное доказательство появления прелестного призрака, доказательство, которое можно осмотреть и потрогать, было в руках у Роже. Юноша снова лег в постель, прижимая букетик к сердцу и все время ожидая нового появления Констанс. Но ждал он тщетно.

Он проснулся, когда уже рассвело. На этот раз, как и накануне, он сперва решил, что все виденное им ночью лишь сон; однако букетик был тут, в его руке, правда, он увял, но был тут. О, на сей раз все было по-иному: призрак Констанс, вызванный из могилы чудом любви, являлся ему на самом деле!

Роже должен был на следующий день ехать обратно в Амбуаз. Но что ждало его там, в Амбуазе, среди мрачного скопища людей, одетых в черное? Отважится ли прелестное видение последовать за ним туда? И потом, уехать – ведь это значило ослушаться приказа, произнесенного устами, которые он так любил!

Но как было отказаться от своего решения? Ведь он же столько раз высказывал его вслух. Ведь он устоял против настойчивых просьб отца и матери и вдруг теперь сам объявит, что готов продлить свое пребывание в Ангилеме? Это было немыслимо, хуже того – это было смешно; а у Роже, скажем прямо, ибо мы вовсе не намерены вечно расточать ему похвалы, у Роже самолюбия было не меньше, чем любви.

И потому на следующий день все обитатели замка вели себя друг с другом несколько скованно. Барон, как всегда, был, казалось, готов к разлуке; но бедная мать не сводила глаз с сына: очевидно, только боязнь нового отказа удерживала ее от новых просьб. Роже со своей стороны желал теперь только одного – чтобы его удержали; а поэтому необходим был лишь подходящий случай, дабы мать и сын пришли к согласию. И такой случай представился по милости аббата Дюбюкуа: он явился спросить у своего воспитанника, в каком часу тот предполагает завтра выехать из замка. Роже собрался было ответить и что-то пролепетал. Тогда баронесса, не раздумывая, бросилась на шею сыну и спросила, правда ли, что он по-прежнему собирается ее покинуть…. Тут шевалье не сумел сдержать слез, слез вместе горестных и радостных, и с самым покорным видом, который нам, знающим об истинных побудительных причинах его решения, не может не показаться лицемерным, произнес:

– Сударыня! Разве вы не моя мать и разве не должен я во всем слушаться вас? Приказывайте, и я покорюсь.

Баронесса радостно вскрикнула и, перебегая из комнаты в комнату, возвещала каждому, кто попадался ей на пути, что Роже уедет лишь позднее, а быть может, и вовсе не уедет.

Вечером шевалье простился с родителями в тот же час, что и накануне; он торопился к себе в комнату, но только на этот раз он вошел туда во власти еще более тягостного, еще более ужасного сомнения. Тень Констанс, казалось, читала в его мыслях, ибо накануне она явилась, дабы рассеять его нерешительность. Ну а теперь, когда все колебания были

отброшены, теперь, когда он твердо решил следовать приказам этого очаровательного призрака, теперь, когда он пообещал матери не уезжать, не решит ли милый призрак, что его миссия окончена, и не сочтет ли он излишним появиться вновь? Это сильно тревожило шевалье. Ведь он уже начал привыкать к присутствию прелестной тени, ибо она, хоть и была бесплотна, приносила ему душевную отраду.

Вот почему, заперев дверь своей комнаты, Роже не мешкая лег в постель и задул свечу; между тем луна уже начала убывать, так что освещавший картину луч, который и накануне появился позднее, в тот вечер запоздал еще больше. Наконец он осветил сперва угол комнаты, затем – раму и потом остановился на самой картине; этой минуты с великим нетерпением ожидал Роже. Никогда еще мольба не исходила с таким жаром из уст заклинателя в миг ворожбы, как та мольба, что вырвалась из уст бедного юноши, призывавшего Констанс явиться ему хотя бы еще один раз, последний раз! И мольба его была услышана.

Как и накануне, как и два дня назад, картина снова повернулась вокруг своей оси, и белоснежное видение показалось опять. Шевалье испустил радостный крик.

– Да, это я, – произнесла тень Констанс, – и я пришла проститься с тобою. Прощай же! Ты покорился воле Всевышнего, и, надеюсь, Господь Бог вознаградит тебя. Прощай, прощай!

Произнеся эти слова, призрак исчез, и Роже почудилось, будто он различил с трудом подавленное рыдание, оно свидетельствовало, что усопшая сожалела о новой разлуке не меньше, чем тот, кто остался жить на земле.

– О нет, нет! – вскричал Роже, соскочив с кровати. – О нет, только не говори «прощай», только не говори «прощай»! Констанс, Констанс, если я наверняка буду знать, что никогда тебя больше не увижу, я сойду с ума!

И шевалье упал на колени перед картиной, протягивая руки к Христу и умоляя того, кто так страдал, пожалеть его, кто так страдает.

Однако Роже умолял только бесчувственный образ, немое полотно: юноша был теперь один, последние звуки голоса Констанс затихли, ее тень исчезла.

Тогда он с трудом дотащился до постели и лег совершенно разбитый горем: он услышал последнее «прости» Констанс; случилось то, чего он так боялся: ее появление было последним, тяжелый надгробный камень вновь опустился на ее могилу, и больше этот камень уже не сдвинется с места.

Шевалье показалось, что он во второй раз теряет Констанс. Прошло больше часа, а он все еще пребывал в лихорадочном волнении, отчаяние охватывало его. Возглас «Прощай!», повторенный трижды, причем два последних раза он сопровождался рыданиями, возглас этот отдавался у него в ушах слезным призывом, и он, сам того не замечая, непроизвольно произнес вслух:

– Прощай! Прощай!

И вдруг Роже почудилось, что из-за деревянной обшивки стены донесся звук легких шагов, едва уловимый шум, напоминавший звук шагов сильфиды, чуть слышно ступающей по ковру из цветов. Юноша растерянно приподнялся на своем ложе, он тяжело и прерывисто дышал; надеясь и трепеща всем телом, он не сводил глаз с картины,

теперь уже окутанной мраком; однако, несмотря на темноту, ему померещилось, будто рама, которую одну только и можно было еще различить в ночном мраке, снова пришла в движение; вскоре у него уже не оставалось сомнений: картина медленно поворачивалась вокруг своей оси.

Констанс появилась вторично; на сей раз призрак отделился от деревянной обшивки стены и, осторожно спрыгнув на пол, устремился к юноше, восклицая:

– Роже! Роже! Я не умерла! Роже! Я вовсе не тень Констанс! Я сама Констанс!

И в ту же самую минуту шевалье, почти обезумев от счастья, в самом деле почувствовал, что он сжимает в своих объятиях не тень, а живое существо из плоти и крови.

VIII

КАК В АНГИЛЕМЕ И В БЕЗРИ УЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО ВИКОНТ ДЕ БУЗНУА, ОТСТАВНОЙ КАПИТАН ФРЕГАТА «ФЕТИДА», УМЕР, НЕ ОСТАВИВ ЗАВЕЩАНИЯ, И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЛА ЭТА НОВОСТЬ В ПЛАНЫ ОБОИХ СЕМЕЙСТВ

В нескольких словах Констанс объяснила Роже все, что произошло.

Пока наш беглец с трудом добирался из Амбуаза в Шинон, аббат Дюбюкуа успел примчаться в Ангилем, где он рассказал барону и баронессе о новой выходке своего воспитанника; и тогда с полным основанием решив, что Роже направился в Шинон, они стали обдумывать, каким образом положить конец его упорной любви, грозившей совершенно лишить покоя родителей обоих молодых людей. И тут аббату пришла в голову счастливая мысль: он

посоветовал барону распустить слух о смерти Констанс. Баронесса, чье материнское сердце говорило, что эта неожиданная новость причинит ее сыну много горя, долго противилась столь хитроумной уловке; однако в конце концов ей пришлось уступить убедительным доводам мужа, и барон отправился в путь, дабы вовлечь в заговор настоятельницу монастыря.

Случилось так, что одна из монашенок скончалась как раз днем раньше, и это обстоятельство помогло осуществить намеченный план.

Мы уже видели, как именно он был приведен в исполнение. Не подумали, увы, только об одном – о том, каким сильным и упорным окажется горе юноши, когда он узнает о случившемся, и, главное, никто не мог предвидеть, к какому крайнему решению он придет под влиянием своего горя.

И вот когда благодаря аббату Дюбюкуа в Ангилеме стало известно, что Роже решил стать иезуитом, новость эта повергла барона и баронессу в полное отчаяние. Как мы уже знаем, барон тотчас же отправился в Амбуаз, уповая на то, что его отцовское влияние образумит шевалье и заставит его стать более рассудительным; однако после первого же разговора с сыном достопочтенный дворянин убедился, что мысль удалиться от мира крепко засела в голове шевалье и ее оттуда никакими силами не выбьешь.

Он тотчас же написал жене и сообщил ей о печальной уверенности, которой проникся.

И тогда баронесса в свою очередь придумала план, подсказанный ей материнским сердцем: она решила призвать на помощь Констанс, которую шевалье считал

умершей, с тем чтобы та побудила несчастного юношу отказаться от его безрассудного намерения. Баронесса лично отправилась в Безри и так настойчиво просила виконтессу, так умоляла виконта, что те не могли устоять перед ее слезами и согласились на то, чтобы их дочь сыграла роль посланца потустороннего мира, дабы сохранить шевалье Роже Танкреда для мира земного.

После этого баронесса и написала мужу, просила его уговорить сына возвратиться хотя бы на одну или на две недели в Ангилем до того, как он примет окончательное решение; отказать отцу в такой просьбе Роже не мог. Мы уже видели, как протекли первые двенадцать дней пребывания шевалье в отчем доме и как его упорство сделало неизбежным вмешательство Констанс.

Таким образом, все произошло именно так, как хотели родители юноши; механизм, сооруженный самым искусным столяром из Лоша, легко вращался вокруг своей оси; барон и баронесса заметили, какое сильное впечатление произвело на их сына первое, а затем и второе появление Констанс; третье ее появление должно было окончательно закрепить достигнутое. Констанс, которую вместе с виконтессой де Безри поместили в одной из самых отдаленных комнат замка, со слезами на глазах и с отчаянием в душе окончательно распрощалась с Роже, но тут горе взяло в ней верх над всеми прочими соображениями, и девочка в свой черед приняла отчаянное решение: воспользовавшись тем, что мать спит, она встала, оделась и на цыпочках вышла из комнаты; освободившись от бдительного ока тех, кто дотоле наблюдал за нею, диктовал, что говорить, принуждал ее сдерживать свои чувства, Констанс, переходя из

одного коридора в другой, осторожно добралась до деревянной обшивки стены, за которой она обычно занимала место, привела в действие пружину и снова предстала перед шевалье, но теперь уже не как бесплотная тень, а как существо из плоти и крови, способное свести его с ума.

Роже умел принимать быстрые и внезапные решения; правда, в первую минуту юноша оторопел – он был похож на заживо погребенного человека, которого вдруг извлекли из могилы, и тот, открыв глаза, опять увидел небо и возродился к жизни и к счастью, и у него достало сил лишь на то, чтобы не рухнуть на пол под бременем радости, но, как только эта минута прошла, шевалье понял, что случай, что он так долго искал, сам плывет ему в руки, – случай единственный, неповторимый, мимолетный, и Роже тотчас же решил, что ни за что его не упустит.

В мгновение ока шевалье был готов; Констанс в свое время уже писала ему, что ее собственная жизнь принадлежит не ей, а возлюбленному и он может распоряжаться этой жизнью по своему усмотрению, поэтому, когда Роже предложил ей немедленно бежать и добраться до первого же селения, где они обвенчаются, она не только ничего не возразила в ответ, но пылко заверила юношу, что готова следовать за ним хотя бы на край света. И шевалье больше не сомневался, что счастливая развязка их романа близка.

Оба тут же вышли из комнаты; бесшумно, точно тени, скользя по коридорам и по лестницам, они очутились наконец во дворе. Роже бегом кинулся на конюшню и оседлал Кристофа, с некоторых пор отдыхавшего от былых изнурительных поездок; будучи от природы животным добрым и послушным, Кристоф не мешал своему хозяину делать

то, что тому было угодно. Затем шевалье осторожно приоткрыл створы широких ворот и вскочил верхом на Кристофа; перед тем как сесть на коня, он поставил Констанс на тумбу и подъехал теперь к этой тумбе; девочка взобралась на круп лошади, и, как только она надежно уселась позади него, Роже пустил коня вскачь.

Часа два они мчались во весь опор, и так как дело происходило в июле, когда дни в году самые длинные, а ночи самые короткие, то уже начало светать. Роже подумал, что им следует немедленно остановиться, ибо всякому, кто их увидит, непременно покажется странным, почему это юноша и девушка скачут галопом на одной лошади. В ту же минуту он заметил по правую руку от себя селение и узнал Шапель-Сент-Ипполит; он направился прямо туда.

Все свои представления о брачных делах Роже почерпнул из романов того времени. Ну а в романах того времени если родители препятствовали заключению брака, то его без их ведома совершал какой-нибудь славный сельский священник, который буквально понимал слова Господа Бога, советовавшего нашим праотцам плодиться и размножаться, и полагал, что он выполнит предписания Библии, если обвенчает как можно больше супружеских пар. Вот почему Роже с полным доверием приближался к дому пастыря; юноша постучался; дверь ему отперла дородная и добродушная с виду домоправительница лет тридцати пяти или сорока, и он сказал, что хотел бы побеседовать с господином кюре.

Кюре в это время собирался идти служить раннюю мессу, и шевалье счел это добрым предзнаменованием. Как

можно короче он объяснил священнику, что именно привело его сюда, и спросил, не может ли святой отец незамедлительно обвенчать его и Констанс. Добрый пастырь улыбнулся нетерпению юноши, но тут же разъяснил, что прежде необходимо выполнить некоторые формальности: молодым людям, к примеру, надобно исповедаться, назвать свои имена и фамилии и подтвердить под присягой, что они не близкие родственники, брак между коими запрещен церковью, и так далее и тому подобное; он присовокупил, что на совершение всех этих формальностей уйдет целый день, а то и полтора, и поэтому, несмотря на всю свою добрую волю, он не может совершить брачную церемонию раньше завтрашнего или даже послезавтрашнего дня; покамест, прибавил он, молодые люди останутся у него в доме: Роже – под надзором его самого, а Констанс – под наблюдением домоправительницы. Такая задержка очень не понравилась юноше, и он из всех сил настаивал на своем; однако кюре был непреклонен, а так как он заявил, что всякий священник будет не более сговорчив, чем он, то Роже предпочел остаться в Шапель-Сент-Ипполит и не ехать в другое село, ибо такая поездка не сулила ему более скорого венчания, но могла привести к тому, что по дороге их узнают или, во всяком случае, приметят.

Итак, священник отправился служить мессу; он, видимо, разделял опасения Роже, а потому посоветовал юноше и девушке не показываться ни в дверях, ни в окнах дома; возвратившись из церкви, он задал им обычные в таких случаях вопросы. Молодой человек ответил, что он шевалье Роже Танкред д'Ангилем, а девочка сказала, что ее зовут Констанс де Безри; тут же выяснилось, что ему сем-

надцать лет и пять месяцев, а ей через неделю исполнится пятнадцать. Оба подтвердили под присягой, что они не кумовья, не кузены да и вообще не состоят ни в родстве, ни в свойстве.

Затем священник сказал, что ему надобно отлучиться по спешному делу, и велел молодым людям приготовиться тем временем к исповеди, очистив свою совесть от грехов.

По возвращении он выслушал исповедь Роже и Констанс. Нечего и говорить, что то была исповедь двух чистых душою и целомудренных детей: оба признались в своей любви, побуждавшей их до сих пор совершать весьма безрассудные поступки, но ни он, ни она даже в мыслях не держали ничего такого, из-за чего им пришлось бы краснеть.

Эта двойная исповедь, должно быть, совсем успокоила славного пастыря, который до тех пор, казалось, не был свободен от известной тревоги; наконец, сославшись на то, что молодые люди не должны согрешить ни действием, ни помыслом, ни умолчанием в промежуток времени, отделяющий отпущение грехов от совершения таинства брака, достопочтенный кюре запер Роже у себя в кабинете, служившим одновременно библиотекой для богословских книг, а Констанс – в комнате домоправительницы.

Молодые люди снова встретились лишь за обедом. Роже спросил у священника, собирается ли тот обвенчать их на следующий день, на что этот достойный человек ответствовал, что покамест не видит к тому никаких препятствий, если только вдруг не возникнет какая-либо неожиданная помеха. Столь обнадеживающий ответ несколько умерил тревогу шевалье, и потому он после обеда

довольно спокойно удалился в библиотеку. Там он увидел походную кровать: ее расставили для него, пока он сидел за столом.

Подошло время ужина. Так же как утром и днем, влюбленные вновь сидели друг против друга. Роже сиял от счастья: после чудесного воскресения Констанс, которое произошло так неожиданно, он больше не верил в возможность разлуки. Констанс держалась робко, то и дело краснела, но радость светлыми лучами струилась из-под ее полуприкрытых век, но счастье вырывалось наружу с каждым словом, слетавшим с ее уст.

После трапезы священник прочел благодарственную молитву от лица присутствующих, затем все разошлись по своим комнатам.

Роже попытался читать; но пробовали ли вы читать, когда мысль ваша трепещет в самой глубине души, мысль более сладостная, более нежная, более гармоничная, чем все другие мысли на свете? А между тем он читал чудесную поэтичную повесть, которую обычно именуют историей любви Иакова и Рахили; однако он нашел, что Рахиль не идет ни в какое сравнение с Констанс, а про себя решил: дабы стать достойным Констанс, он пошел бы и не на такие испытания, какие выпали на долю Иакова. Впрочем, за чтением время идет быстрее, чем тогда, когда человек просто предается мечтам. Пробило одиннадцать часов, и при каждом медленном и торжественном ударе колокола юноша трепетал, думая о том, что всего через восемь часов он станет мужем Констанс.

Эта сладостная мысль ни на миг не оставляла его, она владела им до тех пор, пока он не уснул. Ему привиделось,

будто уже наступил день и в комнату кто-то вошел, дабы предупредить, что священник готов и ждет только его, Роже. В эту минуту шевалье и в самом деле показалось, что сквозь полузакрытые веки он различает дневной свет и какие-то люди громко разговаривают возле его постели. Это ощущение было столь явственным, что юноша пробудился и, открыв глаза, увидел своего отца.

При этом на лице шевалье отразилось такое отчаяние, что, хотя барон уже приготовился сурово пробрать вечного беглеца, у него недостало на это сил: угадав в страданиях полудетского сердца сына страдания мужчины, он ограничился тем, что протянул Роже руку и произнес только одно слово:

– Мужайся!

Если бы Роже услышал упреки, он, пожалуй, возмутился бы, но против такой снисходительности он был бессилен; он молча кинулся в объятия барона и спросил, неужели его снова разлучат с Констанс. Тот пристально посмотрел на сына и, увидев, что каждая черта Роже выражает тревогу, проговорил:

– Слушай, первым моим словом было: «Мужайся!» Моим вторым словом будет: «Надейся!»

– О батюшка, батюшка! – воскликнул шевалье. – Ведь меня уже однажды столь жестоко обманули, что, по правде говоря, я не смею больше надеяться.

– Но в ту пору, когда мы обманули тебя, Роже, – отвечал барон, – мы были бедны, между тем как теперь…

– Разве мы теперь богаты, отец?

– Быть может, – ответил барон.

– Быть может! – вырвалось у Роже. – Быть может! Что

вы хотите этим сказать, батюшка? И каким образом наше благосостояние могло измениться за один день?

– Наш родственник, виконт де Бузнуа, скончался; мы, твоя матушка и я, нынче утром получили известие об этом.

– Стало быть, он перед смертью объявил нас своими наследниками? – вскричал Роже.

– Если бы дело обстояло так, я бы не сказал тебе, что мы, быть может, богаты. Я бы сказал, что мы богаты наверняка. Виконт умер, не оставив завещания.

– Как вы сказали, батюшка? Не оставив завещания?

– Да, шевалье, не оставив завещания.

Барон так медленно и так торжественно произнес эти слова, что шевалье понял: они необычайно важны.

– Что же из этого следует? – робко спросил юноша, все еще не понимая, каким образом кончина виконта де Бузнуа может приблизить его к Констанс.

– Из этого следует, сударь, – продолжал барон, – что теперь путь к наследству открыт и наследство это может оспорить у нас только один человек, – сын жены виконта от первого брака: он утверждает, будто его мать составила дарственную на свое имущество в пользу господина де Бузнуа с тем условием, что после смерти обоих супругов все их состояние перейдет к ее сыну.

– Ну и что же, батюшка?

– А то, что все бумаги находятся в суде и нам предстоит тяжба; однако мой поверенный Кокнар написал мне, что тяжбу можно выиграть, если только взяться за дело с умом и рвением; ну а ежели мы эту тяжбу выиграем…

– Ежели мы эту тяжбу выиграем?..

– У нас будет семьдесят пять тысяч ливров годового

дохода, только и всего, и тогда господин де Безри станет нас обхаживать, а мы, мы будем поглядывать на него с высоты своего величия, и тогда уже мы окажем ему честь, породнившись с ним.

– Ах, батюшка, батюшка! Какую сладостную надежду вы мне подаете! – вскричал Роже. – Как! Вы полагаете, вы думаете?..

– Я не просто полагаю, я не просто думаю, – отвечал барон. – Славный кюре, которому ты доверился, послал человека одновременно в Безри и в Ангилем, потому-то я встретил виконта в трех льё отсюда, он спешил отыскать свою дочь, как я спешил отыскать тебя; он был прямо в бешенстве из-за всего, что произошло; но, едва я упомянул о письме метра Кокнара, он заметно смягчился и даже дал мне понять, что из-за шума, который, без сомнения, наделает в наших местах твой побег с его дочерью, он уже заранее понимает, что его прежние прожекты насчет ее замужества с графом де Круазе обречены на неудачу.

– Батюшка, батюшка! Что вы такое говорите?

– Вы сами понимаете, сударь, – продолжал барон, – эти его слова звучали как призыв к моей порядочности.

– И что же вы ответили, отец?

– Я ответил, что для нас, потомственных дворян, титул всего лишь титул, а древнее имя – гораздо важнее. Я ответил: во всей провинции известно, что, хотя д'Ангилемы всего лишь бароны, род наш был славен уже во времена первых крестовых походов, а ведь в начале царствования нашего великого короля деду графа де Круазе пришлось с превеликим трудом собирать доказательства своего знатного происхождения, когда он пожелал сделаться коню-

шим его величества. А это означает, что, если баронесса д'Ангилем будет представлена ко двору, она там наверняка будет в большей чести, нежели маркиза де Круазе.

– А что же он ответил?

– Он протянул мне руку и сказал: «Превосходно, барон, мы еще об этом потолкуем».

– Ах, батюшка! Дорогой батюшка! – воскликнул Роже. – Какую радость вы мне доставили! Но Констанс, где Констанс?

– Констанс теперь со своим отцом, как и ты со мной; она вместе с ним возвратится в Безри, как и мы возвратимся в Ангилем. Завтра я нанесу визит виконту, чтобы принести ему наши извинения, во время этого визита мы обо всем с ним потолкуем.

– Дорогой отец, – проговорил Роже, – постарайтесь, чтобы он сумел по достоинству оценить мою любовь, скажите, что я боготворю Констанс, что я жить без нее не могу; скажите, что, если меня разлучат с нею, я умру, скажите…

– Я скажу, что, по всей вероятности, у вас в один прекрасный день будет семьдесят пять тысяч ливров годового дохода, и, поверьте, сударь, этот довод окажется не менее красноречивым, чем все ваши доводы.

– Говорите что найдете нужным, любезный батюшка, но только добейтесь согласия от виконта.

– В таком случае позвольте мне действовать по моему разумению, – сказал барон, – поверьте, я лучше вас знаю, как взяться за дело.

– А?.. А?.. – пролепетал Роже.

– О чем вы? – осведомился барон.

– А Констанс?

– Что Констанс?

– Увижу ли я ее?

– Это совершенно невозможно; теперь, сударь, вы сможете вновь увидеть мадемуазель де Безри только в ее родительском доме и только с согласия виконта и виконтессы.

– А как вы полагаете, отец, – робко спросил Роже, – можно ли надеяться на их согласие?

– Уповаю, что оно будет дано дня через три или четыре.

– Дня через три или четыре! – вырвалось у Роже. – Увы! Так долго!

– А ведь одно время вы думали, что вообще ее больше никогда не увидите. Мне кажется, «никогда» – это куда хуже, чем «долго».

– Потому-то я и решил тогда стать иезуитом, – отвечал Роже.

– Да, да, сударь, – подхватил барон, – да, теперь-то я хорошо знаю, что у вас в голове рождается множество мыслей, и одна хитроумнее другой. О, вы человек весьма находчивый, весьма предприимчивый. А потому мы и воспользуемся этими вашими качествами.

– Что вы хотите сказать, батюшка?

– Мы сообщим вам об этом в Ангилеме.

Шевалье так и не удалось ничего узнать о плане, главным исполнителем которого ему предстояло сделаться; отец и сын сели верхом на лошадей и направились в обратный путь в свой родной замок.

Нечего и говорить, что барон один пошел проститься с добрым священником, Роже не стал добиваться чести засвидетельствовать почтение этому славному человеку.

IX

КАК И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ РОДИТЕЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ И ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА ПРИШЛИ К ПОЧТИ ПОЛНОМУ СОГЛАСИЮ КАСАТЕЛЬНО БРАКА СВОИХ ДЕТЕЙ

Вот уже в третий раз Роже возвращался в Ангилем после полного крушения своих планов; однако на этот раз он возвращался туда, питая некоторые виды на будущее. Хотя шевалье очень плохо разбирался в житейских делах, он отлично понял, что смерть виконта де Бузнуа может решительно изменить положение, несмотря на то что, по словам его отца, барона д'Ангилема, еще предстояла тяжба за наследство бывшего капитана фрегата.

По возвращении в замок надежды Роже еще больше укрепились, так как баронесса, ожидавшая мужа и сына у окна башни, откуда были видны окрестности, заметив их, спустилась вниз и вышла им навстречу с сияющим лицом. Роже направил лошадь прямо к ней, спрыгнул наземь и кинулся в объятия матери.

– Скажите, матушка, вы тоже уповаете на лучшее? – чуть слышно прошептал он. – Но только не обманывайте, только не обманывайте меня!

– Да дитя мое, да, мой мальчик, – отвечала баронесса, – успокойся, все будет хорошо.

И в самом деле, баронесса, как и ее супруг, в свою очередь отметила некую метаморфозу в поведении соседей. Когда рано утром виконтесса де Безри, сопровождавшая Констанс в Ангилем, обнаружила исчезновение дочери, она пришла в ярость. И вот в самый разгар взрыва

ее материнского негодования прибыло письмо от метра Кокнара, извещавшее д'Ангилемов о смерти г-на де Бузнуа. И письмо это как по мановению волшебной палочки успокоило виконтессу: она как будто на время забыла о своем огорчении, чтобы разделить радость от неожиданного известия, только что полученного ее соседями. А когда посланец священника из Шапель-Сент-Ипполит, запыхавшись, появился в замке и сообщил, что беглецы находятся в доме кюре, почтенная дама ощутила почти сожаление, узнав, что из-за щепетильности славного пастыря молодые люди не стали мужем и женой. Еще не зная о том, что такое же сообщение было спешно направлено священником одновременно и барону, и ее мужу, виконтесса пожелала сама сообщить своему супругу о бегстве молодых людей, а заодно и о событии, которое превращало это бегство чуть ли не в счастливое стечение обстоятельств, поэтому она приказала заложить лошадь в свою карету, которую оставили у одного из арендаторов, чтобы Роже ненароком ее не увидел, и отправилась в Безри; однако, прощаясь с баронессой, она уронила несколько слов, недвусмысленно означавших, что визит барона д'Ангилема в Безри будет не только благосклонно встречен, но что при создавшихся обстоятельствах такой визит, по ее мнению, просто необходим.

Таким образом, в поведении как виконтессы, так и виконта можно было усмотреть благоприятные предзнаменования. Что же касается Констанс, то у шевалье были свои причины не сомневаться в том, чего именно следовало ожидать от нее.

На семейном совете с участием аббата Дюбюкуа, чьи обязанности мало-помалу превращались в синекуру, было

решено, что барон на следующий день отправится с визитом в Безри и, смотря по обстоятельствам, заведет там речь о свадьбе или же промолчит; однако все присутствующие и даже осторожный аббат полагали, что барону непременно придется завести речь о свадьбе.

Великий день, прихода которого с таким нетерпением ожидал Роже, наконец наступил. Уже в шесть часов утра юноша был на ногах и разбудил отца. Однако барон всегда неукоснительно соблюдал правила приличия и не пожелал появиться в Безри раньше полудня. Поэтому Роже пришлось набраться терпения, что он и сделал, беседуя с матерью о Констанс.

В девять утра барон уехал верхом на Кристофе. Роже настойчиво упрашивал отца пробыть в Безри лишь столько времени, сколько потребуется, чтобы обсудить различные условия, связанные с будущей свадьбой. Барон обещал возвратиться в четыре часа пополудни.

Уже с двух часов Роже не мог найти себе места от нетерпения; в конце концов он закинул свой ягдташ за спину, взял ружье, отвязал Кастора, который, в отличие от Кристофа, уже больше года пребывал в постоянном покое, и направился по дороге в Безри. Пройдя около трети пути, шевалье заметил отца: тот ехал крупной рысью. Это уже было добрым предзнаменованием.

В два прыжка Роже очутился у самой шеи Кристофа.

Новости и в самом деле были хорошие: все устроилось если и не совсем так, как хотелось юноше, то, во всяком случае, так, как хотелось отцу.

Чувства Роже встретили молчаливое одобрение виконта и виконтессы; на следующий день всему семейству

д'Ангилемов предстояло на правах добрых соседей отправиться с визитом в Безри; визит этот должен был иметь характер обычного посещения, никаких серьезных разговоров вести не собирались, ибо виконт, человек весьма осторожный, не хотел, чтобы раньше времени догадались о его новых намерениях; было решено, что на другой день или через два дня после этого визита шевалье уедет в Париж, где самолично станет следить за разбирательством тяжбы, от успешного исхода которой и будет зависеть окончательное согласие виконта на брак Роже и Констанс. Такой план заключал в себе двойное преимущество: ведение тяжбы поручали человеку, больше всех заинтересованному в ее скорейшем завершении, кроме того, это должно было удержать шевалье по меньшей мере на год вдали от Констанс, ибо в те времена даже самые короткие тяжбы тянулись подолгу. Констанс между тем предстояло возвратиться в монастырь и дожидаться там дня, когда ей исполнится шестнадцать лет, а Роже – девятнадцать. В ту эпоху молодые люди в провинции именно в таком возрасте обычно вступали в брак.

Для юноши в принятом решении были и хорошие и дурные стороны. Он предпочел бы сперва обвенчаться, а уж потом уехать: это казалось ему куда более правильным и гораздо более разумным, и потому барону лишь с величайшим трудом удалось втолковать сыну, что осуществить его желание никак невозможно, ибо женитьба Роже зависит от того, выиграют д'Ангилемы тяжбу или нет. Этот довод был столь ясен и столь убедителен, что шевалье пришлось смириться и отступить. Он скрепя сердце признал, что надо подчиниться неизбежности.

Уже неподалеку от Ангилема отец и сын увидели баронессу: она в сопровождении аббата в свою очередь направилась им навстречу. Барон снова изложил план, выработанный у виконта, и, к величайшему отчаянию Роже, план этот получил общее одобрение. Бедному юноше пришлось окончательно покориться. Было решено, что на следующий день все семейство д'Ангилемов отправится с визитом к Безри и, так как времени терять было нельзя, шевалье через три дня отбудет в Париж.

Надо прямо сказать, что Роже был несправедлив, жалуясь на Провидение: ведь после того, как ему пришлось полностью отказаться от всех чаяний на брак с Констанс, после того, как он, поверив в ее смерть, решил уйти в монастырь и стать иезуитом, он вновь обрел свою возлюбленную, она сохранила ему верность, и, судя по всему, его ожидало впереди не только крупное состояние, но и счастье; надо было лишь немного повременить, зато уж потом он станет богатым вельможей и счастливым мужем. Мысль эта служила для юноши источником утешения; Роже все взвесил на весах разума, и теперь будущее представлялось ему в более радужном свете, чем при первых словах барона, а потому он отныне думал не столько о своем отъезде из дома, сколько о грядущем возвращении туда.

Кроме того, надо заметить, что Париж во все времена, точно магнит, притягивал к себе любого провинциала. Ведь Париж – это заветная цель, к которой стремится каждый, кто молод и полон сил. Для вольнодумца Париж – источник наслаждений, для честолюбца – источник славы, для спекулятора – источник наживы. Слово «Париж» часто произносили в присутствии шевалье, но прежде он никогда не

уделял ему должного внимания, ибо никогда не думал, что в его жизни могут возникнуть такие обстоятельства, когда ему представится случай совершить поездку в столицу. Однако внезапно такой случай представился. И теперь при одном упоминании о Париже ему слышался звон экю, а такая музыка всегда приятна даже для слуха самого бескорыстного человека. Короче говоря, в тот вечер, ложась в постель, Роже молча признался самому себе, что коль скоро ему необходимо на некоторое время расстаться с Констанс, то лучше уж провести это время в Париже, чем в каком-либо ином месте.

На следующий день барон и шевалье надели самые красивые свои одеяния, а баронесса облачилась в самое красивое из шести своих платьев; в девять часов утра все трое уселись в двуколку и направились в Безри.

Все произошло так, как было заранее условлено между бароном и виконтом, иначе говоря, в полном согласии со строгими правилами почти придворного этикета. О том, что недавно произошло между молодыми людьми, не было сказано ни слова. Роже и Констанс поздоровались с таким видом, как будто их впервые представили друг другу. Барон торжественно сообщил г-ну и г-же де Безри о кончине де Бузнуа, кавалера нескольких орденов и капитана одного из фрегатов королевского флота; выслушав слова соболезнования от виконта и виконтессы, он прибавил, что для получения наследства д'Ангилемам предстоит вести нелегкую тяжбу, а потому его сын, шевалье д'Ангилем, отправляется в Париж, чтобы самому участвовать в судебном разбирательстве. Виконт и виконтесса пожелали шевалье полного успеха, недвусмысленно намекнув, что успех этот

доставит им особое удовольствие; затем они в свою очередь как бы мимоходом упомянули, что их дочь, которая еще слишком молода, чтобы думать о браке, возвратится в монастырь в Шиноне, где и останется до тех пор, пока не придет время помышлять о ее замужестве.

После того как гости и хозяева торжественно обменялись этими официальными заявлениями, барон, баронесса и шевалье встали, чопорно поклонились и попрощались с виконтом и виконтессой, потом они вновь уселись в двуколку и покатили по дороге в Ангилем.

Вечер и весь следующий день прошли в приготовлениях к отъезду шевалье. На второй день после обеда барон торжественно попросил сына подняться к нему в комнату. Роже понял, что ему предстоит выслушать отеческие наставления, и почтительно предстал перед бароном; тот встретил его стоя, баронесса сидела тут же; нетрудно было заметить, что она перед тем долго плакала и теперь вынуждена собрать все свои силы, чтобы не расплакаться вновь.

Шевалье медленно приблизился и, остановившись в двух шагах от барона, низко наклонил голову.

– Сын мой, – сказал барон, – вам предстоит вступить в новый и совершенно незнакомый мир; прежде всего и пуще всего берегите свою честь, ибо честь дворянина подобна доброму имени женщины: единожды запятнав, ее вовек не отмоешь. Повторяю, прежде всего храните свою честь.

Вы познакомитесь в столице с молодыми людьми, не скажу более знатными, нежели вы, ибо всякий дворянин, который может подтвердить грамотами свое знатное происхождение, ничем не уступает любому другому дворянину, но с молодыми людьми, более вас осыпанными ми-

лостями фортуны. Вы обнаружите, что в их кругу весьма распространена карточная игра; никогда не играйте, кроме тех случаев, когда вы не сможете уклониться от этого: вы недостаточно богаты, чтобы проигрывать, и недостаточно бедны, чтобы стремиться к выигрышу; во всяком случае, если вы сядете за карты и, по несчастью, проиграете, продайте все вплоть до последней рубахи, но уплатите долг, ибо всякий долг священ, но карточный долг священ вдвойне: это долг чести.

Я и баронесса подсчитали, что ста луидоров вам вполне хватит на расходы в течение года; вот первая половина означенной суммы; как видите, все монеты старые, ибо это наши сбережения за пятнадцать лет. Вы человек молодой и деятельный, вам предстоит побывать во Дворце правосудия, вам придется познакомиться с судьями, вам надо будет искать влиятельных покровителей, надеюсь вы преуспеете во всем этом: фортуна любит молодых.

Каждую неделю вы станете получать от нас подробное письмо, и каждую неделю вы станете отвечать на него столь же подробно; если мы выиграем тяжбу, вы будете обязаны самому себе собственным состоянием. Выиграв эту тяжбу, вы, без сомнения, женитесь на Констанс, и брак этот составит ваше счастье, стало быть, собственным счастьем вы также будете обязаны только самому себе, а в нашем мире это уже немало.

В Париж вы отправитесь верхом на Кристофе: это добрый конь, сильный и выносливый, прекрасных статей; он был бы еще лучше, если бы в свое время вы обращались с ним бережнее. Вчера его заново подковали; проезжая через Сент-Эньян, прикажите подстричь ему гриву и хвост по

нынешней моде. Его сбруя в полном порядке, седло на нем превосходное, а в кобурах вы найдете мои пистолеты.

Теперь, сын мой, вот еще что: в прошлом вы причиняли нам кое-какие огорчения, мы, ваша матушка и я, прощаем вас; в свою очередь я также принес вам немало горя: я говорю о мнимой смерти Констанс; не знаю, имел ли я право так поступить, полагаю, что нет, ибо мне пришлось прибегнуть ко лжи, а ложь, если даже это ложь во спасение, все равно остается ложью, и я прошу у Бога прощения за нее.

– Ах, батюшка! Батюшка! – воскликнул Роже, тщетно пытаясь сдержать слезы.

– Я сказал вам об этом не для того, чтобы лишний раз попрекнуть вас, Роже, – продолжал барон, неверно истолковав чувство, исторгнувшее у сына громкий возглас. – У вас доброе и мужественное сердце, вот только голова дурная; а потому остерегайтесь самого себя еще больше, чем других людей. Это – последний совет вашего любящего отца. А теперь, – проговорил барон, который и сам был растроган до глубины души, – подойдите под мое благословение.

Роже упал на колени, а барон движением, исполненным достоинства и отцовской нежности, простер над ним руки и, возведя очи горе, на мгновение возложил ладони на голову сына. Поднявшись, шевалье кинулся в объятия матери.

– Милый мальчик, – сказала баронесса, – поднимись к себе в комнату, я сама все время плачу, а потому понимаю, что и тебе надо выплакаться, Да, вот еще что: будь спокоен, я всякий раз стану прибавлять несколько слов к письмам, которые станет посылать тебе отец.

Роже снова с благодарностью обнял мать: ей не нужно было дожидаться, пока он заговорит, она и так проникла в его самые затаенные мысли. Потом он поцеловал руку, протянутую ему отцом, ушел к себе в комнату и в самом деле проплакал там большую часть ночи.

С наступлением дня шевалье облачился в дорожное платье. Барон поднялся еще раньше и успел обо всем позаботиться, Кристоф был уже оседлан и взнуздан, на его крупе укрепили сумку со всем необходимым. Шевалье с глубоким волнением отметил, что глаза у отца были почти такие же красные, как и у него самого.

Подали легкий завтрак, но никто даже не притронулся к еде. Каждый плакал или глотал слезы. Барон понял, что, чем скорее будет покончено с этой тягостной сценой, тем лучше будет для всех. Встав из-за стола, Роже подошел к своему воспитателю и попросил у него прощения за все те неприятности, какие он ему причинил. Славный аббат, хотя в обыденной жизни и был изрядным себялюбцем, отвечал растроганным голосом, что от души прощает своему воспитаннику множество мелких прегрешений, которые тот совершил, возможно не думая, что тем огорчает его.

Роже вышел из комнаты, взяв под руку мать и протянув другую руку отцу; возле дверей он увидел всех слуг замка: они плакали горькими слезами, ибо в Ангилеме все боготворили шевалье. Он обнял каждого, как обнял бы своих друзей, и слуги заплакали пуще прежнего.

Кастор громко лаял и метался на своей длинной цепи; бедный пес как будто понимал, что его молодой хозяин надолго покидает отчий дом; шевалье подошел к нему, Кастор положил передние лапы на грудь юноши и на свой манер облобызал его.

Провожая сына, барон и баронесса прошли вместе с ним пешком около четверти льё; однако где-то все же надо было остановиться, и барон остановился там, где они находились; на сей раз Роже, которого теперь уже не сковывал торжественный ритуал родительского благословения, кинулся в объятия к отцу.

Затем наступил черед его бедной матушки: баронесса судорожно прижимала к груди своего любимого мальчика, ее истерзанное сердце разрывалось от рыданий, в глубине души она проклинала злосчастное наследство, надолго разлучавшее ее с сыном. Аббат взирал на эту горестную сцену из окошка башни, махая носовым платком.

Наконец барон взял Роже за руку и подвел его к лошади.

– Мужайтесь, сын мой, – сказал он. – Вспомните, что вам скоро восемнадцать и, стало быть, вы уже мужчина.

Шевалье сел верхом на Кристофа, конь стоял понурив голову и опустив хвост, казалось разделяя общую печаль; тут мать снова бросилась к Роже, она протянула ему обе руки, и он покрыл их поцелуями. Барон буквально оторвал жену от сына, с которым она никак не могла расстаться, и, собрав все силы, крикнул юноше:

– Пришпорьте своего коня, сударь, я вам приказываю!

Роже послушался и поскакал. Однако, отъехав на сотню шагов, он оглянулся, чтобы еще раз увидеть мать. Заметив, что она приникла к мужу и плачет в его объятиях, он вернулся, снова обнял и поцеловал баронессу, еще раз пожал отцу руку, а затем пустил лошадь галопом и минут через пять скрылся за ближней рощей.

И тут тоскующее сердце Роже подсказало ему, что он

должен проститься еще кое с кем: он не хотел, он не мог уехать, не повидав Констанс. В присутствии юной девушки упомянули, в какой именно день он должен покинуть Ангилем, и шевалье надеялся, что она поймет: хотя такой крюк несколько удлинит его путь, он все равно проедет неподалеку от Безри. Вот почему он ускорил бег Кристофа и через короткое время увидел выступавшие над кроличьим заказником башни замка.

Продолжая ехать вперед, шевалье все время оглядывался по сторонам, при этом он испытывал известную робость, она шевелилась в глубине его души из-за былых запретов виконта и виконтессы. На повороте лесной тропы он различил сквозь листву белое платье и подъехал ближе: то была Констанс; держа в руке книгу, она сидела на пригорке, поросшем мхом, и делала вид, будто читает.

В мгновение ока Роже очутился возле девочки; он спрыгнул наземь и упал к ее ногам.

– Ах, вот и вы, наконец, Роже! – воскликнула она. – Я вас ждала.

– Я тоже был уверен, что встречу вас, Констанс, – отвечал юноша.

– Стало быть, вы уезжаете?

– Это необходимо; вы же знаете, что от этого зависит наше счастье.

– Да, Роже, знаю, – отвечала девушка, – мама мне все рассказала: наша свадьба состоится после вашего возвращения. Вы, должно быть, станете очень богатым… О, я так счастлива! Я всем буду вам обязана.

– Вы просто ангел, Констанс, – сказал Роже. – Признаюсь, я никак не могу поверить в свое грядущее счастье, все время боюсь, что вы опять ускользнете от меня.

– Скорее это я вас больше никогда не увижу, вы ведь едете в Париж и там, в столице, пожалуй, забудете меня.

– Мне забыть вас, Констанс! О, никогда, никогда! Если б я мог быть уверен в вас так же, как вы можете быть уверены во мне, я бы был счастлив.

– А почему, собственно, вы не уверены во мне?

– Почему, Констанс? Да потому, что я могу проиграть тяжбу, а тогда виконт возьмет назад свое слово и обвенчает вас с графом де Круазе.

– Я никогда не буду принадлежать другому, Роже, – отвечала Констанс, – и если я не смогу стать вашей женой, то не буду ничьей.

– Поклянитесь же, что вы не выйдете замуж до тех пор, пока я сам не освобожу вас от обещания.

– Клянусь вам в этом.

– Поклянитесь, что не станете верить ничему, что бы вам обо мне ни говорили, что вы станете верить только тому, что я вам скажу сам, или тому, что напишу своей рукою.

– Клянусь вам в этом, – повторила Констанс.

– А я, – начал Роже, – я в свой черед клянусь вам…

Но шевалье не успел закончить своей клятвы: шагах в десяти от молодых людей внезапно раздался ружейный выстрел, и они услышали голос виконта, подзывавшего собак.

– Это отец! – испуганно воскликнула Констанс. – Бегите же, бегите!

Роже прикоснулся губами к губам бледной и трепещущей девочки, прошептал: «Прощайте!» – и, вскочив на Кристофа, поднял лошадь в галоп. Проскочив сотню шагов, он обернулся: Констанс исчезла.

Только тут шевалье пришло в голову, что Констанс дала торжественный обет, а он в ответ на двукратную клятву девочки не успел ничего ей пообещать; но Роже был человек чести, и поэтому он про себя произнес клятву, которую собирался произнести вслух.

Бедный Роже! Бедная Констанс!..

Быть может, из-за этого неосторожного возгласа, вырвавшегося у нас, читатели уже строят догадки о том, какие зловещие обстоятельства угрожают будущему влюбленных друг в друга наших юных героев; однако, хотя нам и придется, быть может, задеть самолюбие проницательных читателей, мы утверждаем, что какие хитроумные догадки они бы ни строили, они все равно не составят себе даже отдаленного представления о тех необычайных событиях, о которых нам еще предстоит им поведать.

X

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ ПОЯВИЛСЯ В СВЕТЕ

Роже потратил одиннадцать дней на то, чтобы добраться из Ангилема в Париж; проезжая через Сент-Эньян, он по совету отца попросил лучшего ветеринара в городе навести красоту на Кристофа, после чего конь буквально на глазах помолодел; в Орлеане юноша купил себе широкий дорожный плащ, там же ему пришили новый галун на шляпу; в Версале он хотел было задержаться, чтобы поближе посмотреть на придворных, однако, сравнив свой костюм с нарядами вельмож, попадавшихся ему навстречу, раздумал, поняв, что такое сравнение будет не в его пользу,

и решил продолжать путь в Париж, останавливаясь только для того, чтобы поесть, выспаться и дать отдых Кристофу. Роже, как мы уже упомянули, тем не менее затратил на дорогу целых одиннадцать дней.

В Париж шевалье въехал через Шайо. В те времена эти ворота в столицу были далеко не так роскошны, как ныне, и потому Роже не слишком восхитился тем, что предстало его глазам, а с довольно спесивым видом взирал на великий город; правда, он все-таки остановился, чтобы полюбоваться внушительным зданием тюрьмы, возвышавшейся у подножия монастыря Дев Пресвятой Богородицы, он даже принял ее сначала за дворец; потом он проехал по набережной Савонри и очутился в Кур-ла-Рен. Здесь, надо признаться, юноша в первый раз почувствовал удивление. Прямо перед ним высился Лувр, а по правую руку был виден великолепный купол Дома инвалидов; стоял прекрасный летний день, и коляски, где восседали знатные вельможи и самые элегантные дамы той поры, одна за другой катили по аллее, тянувшейся по левую руку от него. Вскоре шевалье оказался посреди огромной мастерской, устроенной прямо под открытым небом. Тут по приказу Людовика XIV тесали мрамор и ваяли статуи, которыми король разукрасил всю Францию; расположенная вдоль улицы Бон-Морю, мастерская эта занимала все то пространство, какое ныне занимает площадь Согласия. Да ниспошлет Господь Бог мир тем, кто заменил позднее простым камнем и чугуном мрамор и бронзу, что украшали эту площадь в описываемое нами время!

Попав на сей гигантский склад мрамора, мешавший ему продвигаться вперед, шевалье оказался в большом за-

труднении, не зная, куда ехать дальше – направо или налево. Он спросил об этом у какого-то работника.

– Сударь, – отвечал ему тот, – хотя ваш конь с виду силен и вынослив, мне все-таки сдается, что он изрядно устал. А потому направьтесь не по набережной, мостовая там очень плохая, а лучше через ворота Сент-Оноре. По левую руку у вас останется монастырь Дев Непорочного Зачатия и Люксембургский дворец; а там вы попадете на площадь Людовика Великого, вы ее признаете без труда: это очень большая площадь, а посреди нее сидит король на коне. Там хорошее место и можно выбрать себе гостиницу по вкусу.

Шевалье последовал этому совету и поехал по указанной дороге. Он отыскал площадь Людовика Великого, но, не рискуя углубиться в столь красивый квартал, проехал чуть дальше и вскоре заметил довольно скромную на вид гостиницу, где комната, судя по всему, могла оказаться ему по карману. Роже остановился перед гостиницей, она называлась «Золотая решетка».

Юноша вошел в широкую дверь с весьма решительным для провинциала видом; он был так утомлен, что поручил Кристофа заботам какого-то конюха, а сам поднялся в маленькую комнату на шестом этаже, которую ему отвели, взглянув на его платье, лег в постель, мгновенно заснул и проснулся только на следующее утро.

Едва наступил новый день, Роже решил первым делом отнести некоему маркизу де Кретте рекомендательное письмо; барон д'Ангилем получил его у своего соседа, г-на д'Оркинона. Однако, немного постояв у окна, шевалье обнаружил столь разительный контраст между нарядами

парижан, проезжавших мимо верхом или в карете, и своим собственным нарядом, что невольно покраснел, поняв, как дурно он одет, хотя у себя в провинции Роже, как ему до сих пор казалось, имел весьма щегольской вид; поэтому он осведомился о том, где живет ближайший торговец подержанным платьем, и не мешкая отправился к нему; там он купил себе почти совершенно новое платье: еще вполне приличный кафтан, чулки со стрелками и шпагу. Преображенный таким образом, юноша благодаря приятному лицу и стройной фигуре выглядел бы теперь вполне сносно даже для Парижа, если б только его небесно-голубой кафтан не был украшен на плече светло-зеленым бантом: такое сочетание цветов могло показаться весьма рискованным и, без сомнения, говорило о капризной фантазии предыдущего владельца кафтана. Облачившись в свой новый костюм, Роже решил, что, пожалуй, ему следовало бы сначала понять, какое впечатление произведет его элегантный наряд на менее высокородных ценителей, нежели маркиз де Кретте и дворяне, которых он, Роже, возможно, у него встретит; чтобы проделать этот опыт «in anima vili[9]», шевалье направился к поверенному своего отца метру Кокнару, жившему на Бараньей улице, возле Гревской площади.

Роже, как мы уже говорили, был красивый малый, и, хотя прибыл он из провинции, в нем сразу же чувствовался дворянин. Без сомнения, всякий тотчас бы заметил, что его круглое лицо и сильные руки покрыты деревенским загаром; однако ноги у него были прямые и стройные, а глаза,

---

[9] «На натуре низменной» (*лат.*)

несмотря на некоторую робость взгляда, ярко блестели. К досаде юноши, ему сильно мешала новая шпага, она пребольно колотила его по икрам, ибо в Ангилеме он не привык носить шпагу, и этот чертов клинок все время причинял ему беспокойство. Он еще не научился также заставлять зевак уступать ему дорогу, как и сам не научился уступать дорогу тем, кто был старше его по возрасту или положению в обществе, поэтому случалось, что он уступал путь простолюдину с носилками на плечах и задевал локтем человека благородного звания; однако простодушный и удивленный вид избавлял юношу от неудовольствия одних, а крепкие мышцы ограждали от насмешек других. В самом деле, как мы уже упоминали, рост шевалье достигал пяти футов и семи или восьми дюймов, да и сложен он был на славу, что во всех странах мира внушает прохожим известное почтение.

Метр Кокнар встретил Роже весьма любезно. Со своей стороны шевалье, лишенный обременительных предрассудков, тут же принял приглашение отведать аппетитное на вид рагу из зайца и еще теплый паштет, пахнувший весьма соблазнительно. Хозяин и гость уселись за стол и без дальнейших церемоний принялись с удовольствием уплетать лакомые блюда; только потом они перешли к делам. И тогда метр Кокнар с осторожностью, стараясь, насколько возможно, смягчить удар, который ему предстояло нанести Роже, сообщил, что вступить в права наследования – а ведь именно эта цель и привела шевалье в Париж – будет куда как трудно и нет полной уверенности в успехе этого предприятия; кроме того, оказалось, что, соглашаясь принять наследство, барон д'Ангилем тем самым заранее

принимал на себя обязательство уплатить долги покойного, достигавшие двадцати тысяч ливров. Шевалье был крайне испуган таким сообщением.

Но это было еще не все: метр Кокнар в довершение прибавил, что лишь за одну неделю расходы по начатой тяжбе уже достигли девятисот ливров.

При этом известии Роже побледнел и лишился аппетита, ибо для него речь шла не просто о приобретении или потере денег, а еще и о возможности жениться на Констанс или об утрате всякой надежды на это; и мы должны сказать в похвалу нашему герою, что, хотя прошло уже целых двенадцать дней с тех пор, как он расстался с мадемуазель де Безри и повидал за это время немало городов и деревень, а накануне начал вкушать и очарование столицы, образ юной девушки был так же свеж в его памяти, как в ту минуту, когда он прощался с нею.

Поскольку мы упомянули о том, какое действие произвела на аппетит шевалье сообщенная ему новость, следует добавить, что обед к этому времени уже подходил к концу.

Когда наш герой под бременем столь мрачных новостей возвращался в гостиницу «Золотая решетка», его походка, надо признать, была гораздо менее уверенной, нежели тогда, когда он из этой гостиницы выходил.

Стремясь в точности выполнить свое обещание, Роже прежде всего написал письмо отцу и сообщил о своем благополучном прибытии в Париж, о встрече с метром Кокнаром и о печальных новостях, которые ему поведал достойный поверенный в делах; он закончил это описание, известив барона, что собирается немедля отправиться к

маркизу де Кретте с рекомендательным письмом г-на д'Оркинона.

В самом деле, закончив письмо и отослав его на почту, шевалье еще раз придирчиво оглядел свой наряд, переменил шейный платок, вытащил из рукавов кафтана манжеты сорочки и с сильно бьющимся сердцем направился к дому маркиза де Кретте, расположенному в Сен-Жерменском предместье, на улице Фур, в сотне туазов от особняка Монморанси.

Волнение шевалье еще больше усиливалось при мысли, что маркиз, должно быть, важный, суровый и чопорный старик, наподобие виконта де Безри, то есть человек весьма неприятный; к тому же, кроме этого важного, сурового и чопорного старика, он боялся встретить в особняке сварливую экономку с тусклым взглядом и визгливым голосом, а в придачу к ним – состоящую под началом этой милой четы дюжину наглых лакеев. Лишь одно соображение немного утешало шевалье д'Ангилема: известно, что старики, даже если они живут в столице, всегда несколько провинциальны.

Однако, войдя во двор особняка, Роже против ожиданий увидел там полдюжины чистокровных лошадей, разубранных по последней моде; их стерегли пять или шесть лакеев в ярких ливреях самых веселых тонов, а потому сразу же становилось понятно, что и слуги и животные принадлежат молодым вельможам, превосходно разбирающимся в том, что ныне почитается элегантным; это обстоятельство, надо сказать, встревожило Роже еще больше, нежели те два старинных фамильных портрета, которые прежде рисовало ему воображение.

У дверей особняка высился швейцар в треугольной шляпе с широкой перевязью через плечо и тростью в руке, он вельможным жестом отгонял бродячих псов и зевак, которые останавливались перед входом в особняк и разевали одни – пасть, а другие – рот; заметив Роже, он почтительно поднес руку к шляпе, подчиняясь тому инстинкту, который безошибочно подсказывает слуге, что он имеет дело с дворянином, и спросил у шевалье, чем он может ему служить. Юноша отвечал, что хотел бы поговорить с маркизом де Кретте; тогда швейцар подозвал одного из слуг, державших под уздцы лошадей, слуга, в свою очередь, сделал знак здоровенному верзиле в пышно расшитой ливрее, и тот проводил Роже в красивую гостиную, расположенную в первом этаже: одна из ее дверей выходила во двор, другая – в сад.

Минуту спустя шестеро молодых дворян, блестящих, шумных и нарядных, быстро спустились по широкой лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Один из них направился в гостиную, остальные рассыпались по двору, и каждый поспешил к ожидавшей его лошади.

– Кто меня спрашивает? – еще издали крикнул лакею молодой дворянин, направлявшийся в гостиную.

– Господин шевалье д'Ангилем, – ответил слуга.

– Шевалье д'Ангилем?.. – переспросил молодой человек, словно роясь в воспоминаниях. – Я такого не знаю.

– Вы совершенно правы, милостивый государь! – воскликнул Роже, собственноручно открывая дверь гостиной. – Я приношу вам тысячу извинений за то, что столь неудачно выбрал время и пришел в ту минуту, когда вы

собрались уезжать из дому; прошу назначить удобный для вас час, и я буду иметь честь прийти снова.

Роже произнес все это с некоторой неловкостью, но в то же время и с известным достоинством, что не ускользнуло от маркиза де Кретте.

– Нет, нет, сударь, – отвечал он, – я весь к вашим услугам сейчас, как и всегда. Соблаговолите сказать, чему я обязан честью видеть вас у себя.

Маркиз сопроводил свои слова поклоном, исполненным самой изысканной учтивости.

– Любезный маркиз, – продолжал шевалье, – я пришел сюда по рекомендации господина д'Оркиньона, если не ошибаюсь, вашего друга, и хотел бы вручить вам письмо от него.

– Сам я не имею чести знать господина д'Оркиньона, – отвечал маркиз, – но, насколько помню, он принадлежал к числу самых близких друзей моего бедного отца, и батюшка много раз говорил мне о нем.

– Так, так, – едва слышно прошептал Роже, – маркиз любит своего отца, значит, он не станет слишком насмешничать.

Пока де Кретте распечатывал и читал письмо, Роже внимательно смотрел на маркиза.

Это был красивый и элегантный молодой человек лет двадцати двух или двадцати четырех, скорее небольшого роста, но великолепно сложенный, его платье и манера держать себя могли бы служить образцом изящества, а речь, жесты, вся осанка – образцом хорошего тона; одним словом, то был потомок древнего аристократического рода, в котором уже угадывался дух, присущий той новой знати,

какой еще только предстояло расцвести пышным цветом в годы регентства.

Прочитав письмо, маркиз поднял глаза на шевалье.

– Увы, сударь, – сказал он, – послание это адресовано моему отцу, маркизу де Кретте, которого мы, по несчастью, потеряли в минувшем году; но я понимаю, что вы не могли этого знать у себя в провинции.

Роже покраснел: при слове «провинция» вся кровь прихлынула к его лицу.

– А между тем, сударь, – продолжал маркиз, – мне кажется, мы посылали извещение о смерти моего отца господину д'Оркиньону; однако письмо, которое я имел честь только что получить из ваших рук, свидетельствует о том, что о смерти маркиза де Кретте у вас там ничего не знали.

Роже покраснел еще сильнее, чем прежде: слова «у вас там» прозвучали так, будто маркиз хотел сказать – «у антиподов».

– Но это не имеет значения, – прибавил де Кретте, должно быть, заметив замешательство юноши, – это не имеет никакого значения, господин д'Ангилем. Для друзей нашей семьи я всегда готов заменить отца, и поскольку вы соблаговолили приехать нас повидать, я говорю вам: добро пожаловать. Прошу вас, располагайте мною безо всякого стеснения.

– Любезный маркиз, – сказал шевалье, – право же, вы слишком добры ко мне; ведь я всего лишь безвестный провинциал, я понимаю, что весьма смешон и, быть может, весьма докучлив, ибо я еще ни разу в жизни никуда не выезжал из Ангилема. Но клянусь, что сумею по достоинству оценить оказанный мне вами любезный прием.

– А теперь вы, в свою очередь, слишком добры ко мне, сударь, – отвечал маркиз, поклонившись с такой сердечностью, что Роже был тронут до глубины души.

Затем, повернувшись к своим друзьям, которые беседовали, стоя на крыльце, маркиз крикнул им:

– Господа, подойдите ближе, с вашего соизволения я представлю вам шевалье д'Ангилема: его рекомендует мне один из самых преданных друзей покойного моего отца.

Молодые люди приблизились, и Роже встретил их поклоном, не лишенным достоинства.

– Мы собирались ехать в Сен-Жермен, шевалье, – снова заговорил маркиз. – Свободны ли вы сегодня от дел? Ежели свободны и наше общество вам не слишком неприятно, мы будем рады, коли вы окажете нам честь и присоединитесь к нашей компании.

– Если не ошибаюсь, господа, – спросил Роже, – вы собирались ехать верхом?

– Да, да, понимаю, – сказал маркиз, – а вы прибыли в почтовой карете или в коляске, так что у вас нет верховой лошади.

– Моя лошадь в конюшне гостиницы, – с улыбкой ответил Роже, – но я должен смиренно признаться, что она являла бы собой весьма жалкое зрелище рядом с вашими скакунами, а потому я не решусь навязать им общество бедного моего Кристофа.

«Как! Эдакая откровенность на собственный счет! – подумал маркиз. – Да этот юноша вовсе не так уж провинциален, как мне сперва показалось».

– Ну что ж, – проговорил он вслух, – все это нетрудно уладить: в моей конюшне есть еще одна верховая лошадь,

сперва мы решили не брать ее нынче, потому что управиться с нею куда как не легко; так вот вы возьмете моего коня, а сам я поеду на Мальбруке. К тому же вы знаете, господа, – со смехом прибавил маркиз, обращаясь к своим приятелям, – мне ведь надобно взять реванш: на днях Мальбрук обошелся со мною, точь-в-точь как человек, в чью честь его нарекли, имел привычку обходиться с господином де Вилларом, – он так тряхнул меня, что я вылетел из седла вверх тормашками, как любит выражаться наш общий друг ла Гериньер.

– Прошу вас, маркиз, – робко сказал Роже, – не беспокойтесь, пожалуйста, я не хочу причинять вам столько хлопот.

Маркиз неверно понял смысл этих слов и, подойдя к юноше, тихо спросил:

– Но вы же ездите верхом, не правда ли?

– Немного езжу, маркиз, вы меня не так поняли. Я имел честь просить вас отправиться на прогулку верхом на привычной для вас лошади, я же, если вам будет угодно позволить мне это, поеду на Мальбруке.

– Ах, вот оно что! – воскликнул маркиз, с некоторым удивлением взглянув на Роже.

– Что ж тут такого, – спокойно продолжал шевалье, – ведь я, господа, сельский житель; мне много приходилось ездить верхом, и уж не скажу почему, то ли потому, что я знаю лошадей, или потому, что они меня знают, но только я довольно крепко сижу в седле; так что не тревожьтесь за меня, и коли мое общество для вас все еще приемлемо, как вы об этом недавно сказали, и коли вы, как и прежде, согласны принять меня в свою компанию, ну что ж, тогда прикажите оседлать Мальбрука.

– Извольте, любезный шевалье, – сказал маркиз, – не хочу лишать вас чести испробовать свои силы. Буажоли! – крикнул он одному из своих лакеев. – Оседлайте-ка Мальбрука!

Слуга направился к конюшне, подмигнув своим товарищам и показав им язык, что, несомненно, должно было означать: «Ладно! Сейчас мы вволю посмеемся».

– Однако, любезный шевалье, вы в башмаках и шелковых чулках, – продолжал между тем маркиз, – а вам непременно понадобятся сапоги и, главное, шпоры.

– Я могу дойти до гостиницы и взять там все, что нужно, – ответил Роже.

– А где вы остановились?

– На улице Сент-Оноре.

– Ну нет, это займет слишком много времени. Рамодор! – крикнул маркиз, обращаясь к другому лакею. – Ступайте и отыщите моего сапожника, скажите, пусть он придет сюда с пятью или шестью парами сапог для верховой езды. Ступайте же!

Лакей ушел.

– А теперь, любезный шевалье, – продолжал де Кретте, – вам следует, по крайней мере, знать, куда я вас приглашаю. Мы решили прокатиться в Сен-Жермен и развлечься там в мужской компании. Как видите, вы пожаловали сюда весьма кстати, ибо, полагаю, что, попав в Париж, вы не прочь получше узнать, как тут проводят время; позднее, набравшись опыта на сей счет, вы покинете столицу, прихватив с собой свои миллионы. Да будет вам известно, господа, – продолжал маркиз, поворачиваясь к своим друзьям, – шевалье д'Ангилем, как мне пишут,

прибыл в Париж, дабы получить небольшое наследство в полтора миллиона ливров.

– Черт побери! – в один голос воскликнули молодые люди. – Примите наши самые искренние поздравления, сударь.

– Поверьте моему доброму совету, шевалье, – сказал один из молодых аристократов с той фамильярностью, какая так легко устанавливается между людьми благородного происхождения, – вам следует малость распотрошить свою кубышку, прежде чем вы увезете ее в провинцию. И мы вас научим, как лучше за это взяться.

– Ах, право же, шевалье! – вмешался маркиз де Кретте. – Можете смело положиться на д'Эрбиньи, он у нас на такие дела мастер: уже промотал наследство двух дядюшек, а затем и тетушки.

– Кстати, а кто этот блаженной памяти родич, что, умирая, оставил вам полтора миллиона? – спросил у Роже другой дворянин.

– Мой кузен виконт де Бузнуа, – отвечал юноша.

– В таком случае, любезный шевалье, – подхватил стоявший рядом молодой человек, – давайте-ка вашу руку, потому как мы с вами вроде бы тоже родичи, хотя и с левой стороны: ведь это я отбил у дражайшего виконта его последнюю любовницу.

– И ваше наследство стоит моего? – невозмутимо осведомился Роже, пожимая протянутую руку.

– Ей-ей, недурно сказано! – вскричал маркиз де Кретте. – Что ты на это ответишь, Тревиль?

– Я отвечу, – отозвался Тревиль, – что шевалье д'Ангилем, без сомнения, заставит признать ложной пого-

ворку: «Глуп, как миллионер». Он будет и богат, и остроумен. Gaudeant bene nati[10].

– Аминь! – провозгласил Кретте. – А вот и ваши сапоги, шевалье.

Роже удалился с сапожником в небольшую туалетную комнату.

– Ну что ж, господа, – проговорил маркиз, проводив взглядом юношу, – признайтесь, что этот молодой человек недурно держится для провинциала, пожалуй, он будет не так скучен, как мы сперва предполагали.

Пять минут спустя шевалье вышел из туалетной в сапогах со шпорами, которые могли бы нагнать страху на любого другого скакуна, кроме Мальбрука. Когда юноша появился на крыльце, конюх подал ему хлыст.

Молодые люди вскочили на своих коней, а Буажоли вывел из конюшни Мальбрука. Это был великолепный жеребец караковой масти, с волнистой гривою, дымящимися ноздрями и налитыми кровью глазами, жилы на его стройных ногах перекрещивались, как нити рыбацкой сети. Роже с видом знатока взглянул на него и понял, что встретит в этом коне достойного противника; вот почему он не пренебрег ни одной из тех предосторожностей, каких требовали обстоятельства: старательно расправил уздечку, стиснул в руке поводья, укрепил ноги в стременах и, только убедившись, что прочно сидит в седле, дал знак Буажоли отпустить коня.

Мальбрук только того и ждал. Едва почувствовав себя на свободе, он принялся брыкаться, вставать на дыбы, ме-

---

[10] Да возрадуются благородные (*лат.*).

таться из стороны в сторону, словом, проделывать все свои излюбленные штуки, с помощью которых он привык сбрасывать наземь седока; однако на сей раз конь имел дело с умелым наездником. Роже с минуту не мешал жеребцу проделывать все его фокусы, довольствуясь тем, что следовал каждому движению Мальбрука, так что лошадь и всадник казались единым существом; затем, когда шевалье счел, что пришло время положить конец капризам лошади, он начал так ловко и сильно сдавливать бока жеребца коленями, что Мальбрук понял: дело принимает для него дурной оборот. Тогда конь удвоил усилия; но на этот раз шпоры и хлыст всадника заработали столь дружно, что несчастное животное заржало от боли и пена хлопьями начала стекать с его губ на землю. Наконец, после отчаянной борьбы, длившейся минут десять, Мальбрук признал себя побежденным. Тогда Роже потехи ради заставил жеребца пройти пять или шесть кругов, как в манеже, потом принудил его несколько раз переменить ногу, затем проделать с полдюжины курбетов и в заключение – выполнить все то, что заставлял обычно выполнять хорошо выдрессированных лошадей знаменитый ла Гериньер, Франкони той эпохи[11].

Молодые дворяне сперва с величайшим любопытством, а затем и с величайшим удовольствием наблюдали за этими упражнениями, особенно гордился триумфом шевалье маркиз де Кретте. Когда достопочтенный Мальбрук был

---

[11] *...знаменитый ла Гериньер, Франкони той эпохи.* – Ла Гериньер де Франсуа-Робишон (ум. в 1751 г.) – знаменитый французский наездник и дрессировщик лошадей. Франкони Антуан (1738-1836) – наездник, пользовавшийся в свое время европейской известностью.

наконец укрощен, маркиз подъехал к Роже и поздравил его, остальные хором присоединили к его поздравлениям и свои похвалы.

Затем все направились в Сен-Жермен. По дороге говорили только о том, что педантичный ригоризм г-жи де Ментенон и строгости Людовика XIV нагоняют тоску и скуку на всю Францию. Эти сумасбродные юнцы на все лады честили вдову Скаррона, которую они упорно называли «старухой».

В то время в столице уже появилась большая группа дворян, открыто насмехавшихся над отцом Лашезом и его августейшими покровителями; дворяне эти объединились вокруг герцога Орлеанского и старались противиться всякому «старью»; однако партия эта была еще очень слаба, и так как на нее весьма косо смотрели в Версале, было несколько рискованно признаваться во всеуслышание в том, что ты к ней принадлежишь.

Роже вырос в среде провинциального дворянства, пребывавшего, как мы уже сказали, в постоянной оппозиции к королю, а потому он чувствовал себя в новой компании как рыба в воде и довольно умело вел свою партию в хоре дворян, осыпавших проклятиями всемогущую фаворитку короля; он даже обогатил беседу несколькими туренскими ноэлями: их сочинили досужие остряки из окрестностей Лоша, потешаясь над отцом Лашезом и высокопоставленной попечительницей пансиона благородных девиц в Сен-Сире. Словом, шевалье полагал, что был весьма дерзок, на самом же деле он был всего лишь забавен.

Во время прогулки Роже не переставал восхищаться

тем, с какой бездумной небрежностью ехавшие с ним рядом молодые щеголи мяли свои накрахмаленные жабо и кружевные манжеты; юношу поразил изысканный покрой их платья и тонко обдуманный подбор тканей, цвета которых столь изящно гармонировали между собой, что гармония эта приводила его в священный трепет; прежде он не поверил бы, что можно с такой непринужденностью носить камзол и кафтан, хотя они очень узки и плотно облегают талию. Роже даже не старался скрыть свой простодушный восторг, но, к своему удивлению, он ни разу не услышал язвительной насмешки по поводу его собственного костюма; он был за это так признателен своим спутникам, что еще больше робел и при каждом удобном случае норовил принизить самого себя; но как только он открывал рот, чтобы слегка пройтись насчет своих провинциальных манер и сомнительного наряда, кто-либо из его молодых спутников тут же мягко останавливал его. И поэтому благодарность переполняла сердце шевалье.

По прибытии в Сен-Жермен молодые аристократы прежде всего ознакомились с картой кушаний; должно было пройти не меньше часа, пока заказанный ими обед будет готов, и маркиз де Кретте предложил сыграть партию в брелан. При этих словах Роже вздрогнул.

«Увы! – сказал он себе. – Если я сяду с ними играть, то мигом лишусь трех, а то и четырех пистолей. Плохо мое дело!»

Он робко взглянул на маркиза, и тот сразу же догадался, что его новый знакомый в затруднении.

– Господа, – сказал маркиз, – шевалье д'Ангилем, должно быть, не слишком хорошо знаком с правилами

игры в брелан; давайте ограничим ставку двадцатью луидорами, чтобы он успел подучиться, не разоряясь при этом.

Услыхав столь любезное предложение, Роже почувствовал, что на лбу у него выступил холодный пот.

«Ведь такая ставка – половина всего, чем я располагаю, – пронеслось у него в голове, – я погиб!»

И тут он мгновенно понял, что подразумевают люди, говоря о превратности судьбы: родовой замок д'Ангилемов, прилегавшие к нему земли, полувековые сбережения, хранившиеся в несгораемом ящике отца, – все это могло пойти прахом за какой-нибудь час игры в карты, а ведь с ним еще решили играть по маленькой!.. Да, такие мысли, надо признаться, не могли прибавить человеку мужества.

Маркиз де Кретте понял, что Роже горит желанием побеседовать с ним наедине, поэтому он поднялся и, пока расставляли стол для карточной игры, незаметно вышел в соседнюю комнату. Шевалье последовал за ним.

– Право же, маркиз, – сказал Роже с той обезоруживающей откровенностью, какая сразу же расположила к нему его новых приятелей, – вы человек благородный, и я не хочу вам лгать; отец мой небогат, он дал мне с собой в дорогу мало денег, и я боюсь…

– Проиграть?

– Нет, не просто проиграть, а проиграть слишком много.

– Вздор! Бросьте об этом думать. Каждый дворянин обязан быть хорошим игроком.

– Так-то оно так, но ведь хороший игрок не должен проигрывать больше того, чем он располагает.

– А, собственно, почему?

– Но деньги…

– Деньги? Они всегда найдутся, если не в твоих карманах, то, уж во всяком случае, в карманах друзей.

– Простите меня, маркиз, но я не привык входить в долги.

– Да вы сущий ребенок, шевалье! Кто же берет в долг, просто играют на мелок, так, по крайней мере, заведено в нашей компании. Как вы думаете, сколько с собою денег у всех нас вместе? Хорошо, коли наберется сотня луидоров. Но ведь на дне кошелька есть еще и слово дворянина, а оно стоит золотых россыпей. К тому же, когда играют люди порядочные, вроде нас с вами, шевалье, везение и невезение, так сказать, уравновешиваются. Мы круглый год играем друг с другом, выигрываем и проигрываем баснословные суммы, но тридцать первого декабря всякий раз оказывается, что самый неудачливый среди нас проиграл не больше ста пистолей. Так что играйте без страха, проигрывайте весело, с улыбкой, не то, предупреждаю, я переменю о вас мнение.

– Сделаю все, что в моих силах, лишь бы сохранить ваше расположение, маркиз, – ответил Роже, улыбнувшись.

– Ну, коли так, поспешим к нашим друзьям: я слышу, как звенят золотые.

Маркиз и шевалье вернулись в залу; карточный стол был уже расставлен, колоды приготовлены. За три круга Роже проиграл двадцать луидоров.

В эти полчаса самые мучительные ощущения, сопутствующие страху, сжимали сердце шевалье. Однако хотя

жилки на его висках бились чуть сильнее обычного, улыбка ни на минуту не сходила с его губ.

Маркиз снова пригласил его сделать ставку. Роже вытащил из кармана последние двадцать луидоров.

Еще через пять кругов он не только отыграл свои двадцать луидоров, но и выиграл еще сорок. Тогда он начал играть осторожнее.

– Этот милый д'Ангилем настоящий приобретатель, – заметил маркиз де Кретте, придвигая шевалье пятнадцать луидоров, которые юноша только что у него выиграл. – Он пожаловал к нам в Париж за полутора миллионами ливров, а хочет заодно увезти с собою и наши деньги.

Роже понял урок, поблагодарил своего нового друга открытой улыбкой и опять начал играть столь же свободно, как тогда, когда проигрывал.

Но удача улыбалась ему: через десять минут перед ним уже лежали триста луидоров.

Надо сказать, что если перед тем шевалье порядком струхнул, то теперь его радость не знала границ.

Доложили, что обед подан. Шевалье д'Ангилем мысленно поблагодарил небо, пославшее ему удобный повод совершить то, что актеры в своей среде именуют: «вовремя уйти со сцены». Кретте уловил едва заметное выражение радости, промелькнувшее на лице д'Ангилема.

– Шевалье, – сказал он, – можно, пожалуй, подумать, что это выигрыш делает вас столь остроумным и веселым, но не скромничайте: я-то вас уже хорошо узнал и держу пари, что вы не прочь поставить выигранные вами триста луидоров на карту против д'Эрбиньи, проигравшего четыреста; думается, играть надо до тех пор, пока у кого-либо из вас двоих не выпадет двадцать одно очко.

Проговорив это, маркиз выразительно посмотрел на Роже.

Шевалье понял, что он должен повести себя, как положено настоящему дворянину, и добровольно пожертвовать своим неожиданным богатством; он закашлялся, чтобы скрыть вздох, и ответил:

– Вы совершенно правы, маркиз. Но так как двадцать одно выпадает довольно редко, я предлагаю господину д'Эрбиньи поставить триста луидоров против моих трехсот, и мы сыграем только один круг, не заглядывая предварительно в свои карты. А там – будь что будет!

– Идет! – отвечал д'Эрбиньи.

Сдали карты; ставок больше никто не сделал. Затем оба партнера открыли свои карты; у д'Ангилема было двадцать девять очков, у д'Эрбиньи – тридцать.

Роже слегка покраснел, и только.

– Вот ваши триста луидоров, виконт, – сказал он с улыбкой.

– Вы настоящий игрок, господин д'Ангилем, – ответил д'Эрбиньи, поклонившись.

– Примите мои поздравления, шевалье! – воскликнул граф де Шастлю. – Вы играете, как истинный дворянин.

– Я вас тоже поздравляю, – сказал барон де Тревиль.

– И мы поздравляем, – подхватили остальные.

Кретте взял Роже за руку и пожал ее; потом, наклонясь к самому его уху, тихо проговорил:

– Превосходно, шевалье, ведь человека узнают в игре и в огне; ведите себя так, как вели себя нынче, и через три месяца вы станете рыцарем без страха и упрека.

«Сколько шумных похвал! – прошептал про себя Роже, вставая. – Можно подумать, что я совершил подвиг».

Однако, переходя от карточного стола к обеденному, он испустил тяжкий вздох и лишь потом вздохнул полной грудью.

Обед прошел очень весело; маркиз де Кретте и его приятели всегда кичились тем, что умеют пить; оказалось, однако, что в этом отношении они просто малые дети рядом со своим сотрапезником из провинции. Роже совершенно искренне считал, что бокалы слишком малы, а вино – слабое.

– Черт побери! – воскликнул д'Эрбиньи. – Да вы такой же прекрасный игрок, как наездник, и такой же отменный питух, как игрок! Видно, у вас в Ангилеме все делают на славу.

Роже был в восторге от того, что нашли, будто он не только равен изысканным аристократам, но в чем-то даже превосходит их.

За обедом молодые люди говорили об охоте, о любви, о битвах и поединках; пока речь шла об охоте и о любви, шевалье было что порассказать, хотя его любовные похождения были совсем не того рода, что у его новых приятелей. Но когда речь зашла о битвах и поединках, он уже ничем не мог похвастаться – ни доблестью, ни одержанными победами: ему никогда еще не доводилось видеть поле сражения, он даже ни разу не участвовал в самой пустячной дуэли; это обстоятельство безмерно унижало юношу, попавшего теперь в незавидное положение безмолвного слушателя.

На стол уже подали десерт, когда к гостинице подъехала еще одна веселая компания. Составлявшие ее дворяне уже при своем появлении шумели, пожалуй, не меньше, чем маркиз де Кретте и его сотрапезники к концу обеда.

– Ну вот, кажется, мы будем иметь удовольствие лицезреть господ Коллинских, – промолвил маркиз де Кретте с мрачным видом, не ускользнувшим от Роже.

Шевалье высунулся из окна и увидел четырех дворян; двое из них были одеты особенно франтовато, хотя и несколько причудливо: небрежно остановившись у входа в гостиницу, они громко переговаривались и балагурили.

То были венгерские дворяне, их богатый наряд выглядел чересчур экстравагантным. Такая роскошь казалась слишком вызывающей даже в ту эпоху, когда роскошью трудно было удивить.

За столом, где сидела компания маркиза де Кретте, тотчас же воцарилось глубокое молчание, словно молодые люди хотели этим подчеркнуть неуместность развязного поведения вновь прибывших.

Роже наклонился к уху маркиза:

– А кто они такие, эти господа Коллинские? – спросил он.

– Знатные венгерские магнаты, – отвечал маркиз, – и ведут они себя здесь, во Франции, как привыкли вести себя дома: избивают содержателей постоялых дворов и гостиниц, дурно обращаются со слугами, преграждают дорогу прохожим. На все их выходки можно было бы смотреть, как на милые шалости, если бы дуэль не запрещали и не преследовали так строго. Впрочем, люди они храбрые, этого у них не отнимешь.

Роже внимательно слушал маркиза. Между тем братья Коллинские вошли в большую залу гостиницы, и дворяне из обеих компаний весьма учтиво раскланялись друг с другом. Но едва только все обменялись приветствиями, де

Кретте встал из-за стола, вслед за ним поднялись и его сотрапезники, он расплатился с хозяином и вышел в сопровождении Роже и остальных своих друзей.

Уже спустившись до самого низа лестницы, шевалье услышал громкий смех Коллинских, и слова «светло-зеленый бант» несколько раз резанули его ухо. Ведь на плече у Роже, как мы уже упоминали, был пришит светло-зеленый бант – украшение весьма дурного вкуса, особенно на небесно-голубом кафтане; утром шевалье не обратил на это внимания, но уже к вечеру все хорошо понял, вот почему его вывели из себя насмешки зубоскалов и он сразу же возненавидел их: юноша не мог им простить, что они нашли его наряд смешным.

Маркиз де Кретте со своей стороны не пропустил ни единого слова из этих насмешливых замечаний; садясь на коня, он пробормотал:

– Господи! До чего же нагло и вызывающе ведут себя эти Коллинские!

Роже догадался, что шуточки венгров были услышаны всеми его спутниками, и жестоко страдал из-за этого; однако в первую минуту он не нашелся, что сказать, и вынужден был молча проглотить обиду.

Когда компания возвратилась в Париж, шевалье сердечно поблагодарил маркиза за любезность, которую тот выказал к нему; затем он попросил у молодых дворян позволения нанести каждому из них визит и принял приглашение участвовать на следующий день в игре в мяч.

– Отпорите, пожалуйста, ваш светло-зеленый бант, – чуть слышно произнес маркиз, прощаясь с Роже, – и нашейте взамен пунцовый: сейчас это самый модный цвет.

Шевалье предпочел бы получить удар кинжалом, нежели услышать сей деликатный совет своего нового друга.

«Что ни говори, а ведь в Сен-Жермене мне нанесли оскорбление, – подумал он, – а я не потребовал сатисфакции. Неужели у меня недостало мужества?»

XI

КАК ШЕВАЛЬЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ ПРИМЕНИЛ УРОКИ ФЕХТОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПРЕПОДАЛ ЕГО ОТЕЦ, БАРОН Д'АНГИЛЕМ

Мысль о давешней обиде всю ночь не давала Роже уснуть; он на все лады обдумывал случившееся и подыскивал множество доводов в свое оправдание; но одно оставалось бесспорным: его высмеяли, а он стерпел обиду. Это обстоятельство отравляло радость, которую принес ему вчерашний день, когда все так славно для него складывалось. Досада и озабоченность, вызванные разъяснениями мэтра Кокнара о трудностях предстоящей тяжбы, отнюдь не способствовали тому, чтобы юноша провел спокойную ночь: Роже спал всего час или два и пробудился в самом дурном расположении духа.

Накануне шевалье хорошо понял, как важно для дворянина элегантное платье, и потому, перед тем как выпить чашку шоколада, он послал за портным и велел принести к десяти часам утра самый лучший костюм, какой тот сумеет только достать, и при этом безукоризненного вкуса. Ровно в десять часов портной явился с кафтаном из переливчатой тафты, обшлага которого были расшиты серебром, с вы-

шитым камзолом из светло-серого шелка и короткими панталонами из той же материи, что и кафтан; наряд этот дополняли шейный платок, отделанный антверпенским кружевом, чулки со стрелками и башмаки с блестящими пряжками; облачившись в новое платье, Роже небрежно привесил слева остро наточенную шпагу, гораздо более дорогую и красивую, чем та, какую он носил накануне.

И тут шевалье откровенно поделился с портным своими опасениями, признавшись, что ему еще никогда не приходилось щеголять в столь элегантном наряде; портной, знавший толк в своем деле, дал юноше много ценных советов. Роже пожелал тут же применить их на практике: он стал ходить взад и вперед, поворачивался и кружил перед своим наставником, и тот в конце концов объявил, что совершенно удовлетворен тем, как небрежно шевалье поглаживает свой подбородок и быстро, одним ловким движением засовывает шляпу под мышку: по его словам, это было самое главное. Роже расплатился с портным и отпустил его. Он уже почти позабыл о неприятных мыслях, одолевавших его всю ночь, и потому, выйдя из гостиницы, весело зашагал на улицу Вожирар, где было расположено помещение для игры в мяч.

Тщеславие юноши было удовлетворено, одного только ему не хватало – хотелось, чтобы его могла увидеть в новом наряде Констанс; особенно сожалел он об этом потому, что явно производил сильное впечатление на прохожих, ибо все они оборачивались и провожали его глазами: в самом деле, никто не мог уразуметь, куда направляется в десять часов утра, вырядившись, как на свадьбу, красивый молодой человек, судя по всему, весьма довольный собою.

Шевалье первый пришел в помещение для игры; маркеры приветствовали его низкими поклонами, и это показалось ему хорошим предзнаменованием. Роже еще никогда не доводилось участвовать в такой игре, он думал, что окажется в каком-нибудь дворце, наподобие Лувра, а очутился чуть ли не в сарае.

Однако уже и в те времена мода столь самовластно господствовала в столице просвещенного мира, что, несмотря на все неудобства, игра в мяч получила там широкое распространение.

Благодаря своей слишком уж большой аккуратности Роже пребывал пока что в одиночестве; он воспользовался этим, чтобы расспросить маркеров о правилах игры и взять у них несколько уроков; человек он был сообразительный и потому быстро усвоил главные правила, а так как взгляд у него был верный и рука крепкая, то бросал он мячи довольно метко для начинающего.

Тем временем появились его новые друзья; изумлению Роже не было границ: все они пришли в широких панталонах и в халатах. Увы! Бедному нашему шевалье предстояло еще многому научиться, прежде чем стать настоящим парижанином.

Маркиз де Кретте заметил удивление юноши.

– Мы живем по соседству, – пояснил он, – и потому приходим сюда запросто, в домашнем платье.

– А я, расставшись с вами, должен буду сделать несколько визитов, – отвечал Роже, – так что решил одеться заранее.

– Вам стоило бы лучше прийти сюда в более удобной одежде, – заметил маркиз, – позднее вы бы заехали к себе и переоделись; такой костюм будет вам сильно мешать.

– Я не собирался участвовать в игре, – отвечал шевалье, кусая губы. – Ведь я даже незнаком с правилами и…

– Беда невелика, – прервал его маркиз, – мы сперва побросаемся мячами, чтобы малость поразмяться, вы составите себе понятие об игре, а уж потом начнем партию.

В эту минуту у входа раздался шум, не предвещавший ничего хорошего. Послышались громкие голоса, и Роже показалось, что он узнал среди них голос человека, накануне потешавшегося над его светло-зеленым бантом.

Предчувствие не обмануло шевалье. В залу для игры и в самом деле почти тотчас же вошли братья Коллинские вместе со своими вчерашними спутниками; холодный пот выступил на лбу у Роже.

– Поспешим занять площадку, – сказал маркиз, – не то нам придется оспаривать у этих фанфаронов право играть первыми.

Он сбросил халат, друзья последовали его примеру; Роже со своей стороны снял кафтан, камзол и поверх одежды положил шпагу.

Игра началась.

Сперва Роже совершил несколько промахов, неизбежных для всякого, кто еще только учится столь трудной игре; ошибки юноши, были встречены смехом сидевших на скамейках для зрителей. Но мало-помалу игра его выровнялась. Надо сказать, что все телесные упражнения имеют много общего. Роже, обладавший от природы способностью ко всему, что требует силы и ловкости, делал успехи прямо на глазах; крепость его руки вызывала восторг у партнеров: пущенные им мячи свистели, как пушечные ядра, и нужно было немалое мужество, чтобы играть против него.

Молодые дворяне с удовольствием наблюдали, как постепенно раскрывались самые неожиданные возможности этого сильного и ловкого юноши. Стараясь поймать мяч, летевший над его головой, Роже подпрыгивал так высоко, что казалось, будто у него под ногами трамплин; для того чтобы вовремя поспеть к мячу, он кидался вперед или отбегал назад, столь стремительно и точно рассчитывая расстояние, что это было просто удивительно для начинающего игрока. Его партнеры не скупились на похвалы, и шевалье был в восторге.

Теперь на скамейках для зрителей веселились уже меньше: Коллинские тоже пришли для игры в мяч и находили, что партия маркиза де Кретте и его друзей чересчур затянулась. И пока младший из братьев зубоскалил с присущей ему наглостью, Коллинский-старший принялся со скуки швырять мячи в лузы играющих.

Он сидел с той стороны площадки, где играл де Кретте, и шутки венгра казались маркизу особенно неуместными.

Маркиз все больше выходил из себя, и чем сильнее он раздражался, тем меньше внимания уделял игре, так что в конце концов стал проигрывать.

Кретте умел проигрывать с достоинством, когда происходило это по его собственной вине или же по вине людей, к которым он благоволил; но он легко выходил из себя, когда проигрывал по милости других, особенно по милости тех, кого он не жаловал. Вот почему, когда Коллинский в очередной раз забросил мяч в его лузу, маркиз окончательно потерял терпение.

– Черт побери, сударь, – крикнул он, поворачиваясь к наглецу, – вы швыряете мячи ко мне в лузы и портите мне игру! Вас это, видимо, забавляет, но меня нисколько.

– В таком случае, маркиз, я буду бросать мячи в лузы вот того господина, – сказал венгр, переходя на ту сторону площадки, где играл Роже.

Шевалье вопросительно взглянул на маркиза, тот ответил ему красноречивым взглядом.

– Вы поступите вполне резонно, боюсь только, что это не понравится шевалье, – заметил маркиз де Кретте Коллинскому.

– Вот именно! Совсем не понравится! – крикнул Роже, делая несколько шагов к венгру и чувствуя, как громко застучало сердце у него в груди.

– Глядите-ка, – проговорил Коллинский, – да ведь это же тот самый господин со светло-зеленым бантом. Что-то я больше не вижу вашего красивого банта, мой милый?

Кровь бросилась в лицо Роже, он замер на месте. Ему хотелось сказать что-нибудь резкое венгру, но язык у него будто прилип к гортани.

– У шевалье д'Ангилема нет больше светло-зеленого банта, это вы верно изволили заметить, – вмешался маркиз, – зато у него появилась новая шпага.

Слова эти сыграли роль искры, от которой загорается бочка с порохом.

Роже подошел вплотную к Коллинскому, чопорно поклонился ему и сказал:

– Да, сударь, у меня появилась новая шпага, и я буду иметь честь проткнуть вас ею насквозь, если это доставит вам удовольствие.

Все так и покатились со смеху, услышав столь необычный вызов. Коллинский уже хотел было, по своей привычке, ответить какой-нибудь грубостью, но тут виконт

д'Эрбиньи, в свою очередь, подошел к нему и поднес палец к губам.

– Господа, – сказал он, – в зале посторонние, прошу вас, больше ни слова. Встретимся позднее.

Венгры поклонились, отошли в глубь зала и принялись отпускать колкие шуточки.

– Что с вами, шевалье? – вполголоса спросил маркиз у Роже, который сперва густо покраснел, а теперь был очень бледен. – Уж не дурно ли вам?

– Нет, маркиз, я просто слегка взволнован.

– Не помешает ли вам волнение драться на дуэли, коли нам понадобится четвертый?

– Помешает ли оно мне драться? – переспросил Роже, мгновенно вспомнив о наставлениях своего отца. – Да я, если понадобится, буду драться десять раз подряд и, если вы сочтете необходимым, против десяти противников сразу. Но только со мною происходит что-то непонятное, это сильнее меня, и потому я дрожу, думаю, от гнева.

Маркиз улыбнулся тому, с каким простодушием шевалье объяснил свои ощущения.

– Умеете ли вы, по крайней мере, фехтовать? – спросил он.

– Немного умею.

– Кто же был вашим учителем?

– Меня учил фехтовать отец.

– Черт побери! В таком случае вы, должно быть, мало что умеете.

– Надеюсь, что постоять за себя смогу!

– Вот если б вы умели владеть шпагой так же ловко, как ездите верхом!

– Полагаю, что выкажу в этом не меньше умения.

– В самом деле?

– Конечно. Правда, до сих пор мне приходилось драться лишь на рапирах.

– Стало быть, вы не знаете, как будете сражаться на настоящем поединке?

– Знаю только, что буду сражаться, вот и все. И обещаю вам, что не отступлю ни на шаг.

– Ну, коли вы обещаете, тогда я совершенно спокоен, – сказал маркиз.

– Я вам твердо обещаю.

– Превосходно.

Маркиз снова облачился в халат, поправил воротник и подошел к братьям Коллинским: они вместе с двумя своими друзьями сидели на скамьях для зрителей и при его приближении встали. Все обменялись учтивыми приветствиями; теперь Коллинские были отменно вежливы, и это понятно – ведь предстояло драться на дуэли.

Встречу назначили на четыре часа, условились сойтись за монастырем Дев Святого Причастия.

Четверо наших молодых дворян отправились в особняк маркиза де Кретте.

– Право же, господа, чертовски досадное происшествие, – сказал маркиз, входя в гостиную.

Он опустился на диван и жестом пригласил остальных последовать его примеру.

– А, собственно, почему? – спросил д'Эрбиньи.

– Да потому, любезный виконт, что эти господа Коллинские настаивают на том, чтобы драться четверым против четверых.

– Ну и что ж, разве нас не четверо? – удивился Тревиль.

– Без сомнения, барон. Но ведь шевалье всего второй день в нашей компании, и мне хотелось бы избавить его от участия в сегодняшней схватке.

– Почему вы хотите избавить от этого именно меня, а не кого-либо другого? – осведомился Роже.

– Потому что, любезный мой шевалье, первая дуэль – это, что ни говори, первая…

– Ах, вот оно что! Скажите, у вас в Париже, часом, не придумали способ сразу же начинать со второй дуэли? – спросил Роже.

– Нет, по правде говоря, пока еще не придумали, – со смехом отвечал Кретте.

– В таком случае, милостивый государь, прошу вас, располагайте мною, – твердо сказал шевалье. – И если дело только в том, чтобы получить удар шпагой, я, черт побери, стою всякого другого!

– Браво! Вот, по-моему, славный ответ! – воскликнул д'Эрбиньи.

– Я ручаюсь за шевалье, – подхватил Тревиль.

– Шевалье, если вы целым и невредимым вернетесь с этого поединка, то станете моим близким другом, – проговорил Кретте. – Но не заблуждайтесь: братья Коллинские известные бретёры; там, у них на родине, до сих пор еще дерутся на рапирах времен Карла Девятого.

– Что ж делать, маркиз! Как они ни грозны, попробуем дать им отпор.

– Так и порешим, но я вас предупредил, шевалье. У вас есть еще время с честью выйти из игры: если вы отступитесь, мы прибегнем к помощи Кло-Рено, а уж он-то владеет шпагой!

– Вы меня несказанно огорчите, маркиз, если еще раз повторите эти слова. Я весь к вашим услугам, равно как и к услугам милейших наших венгров.

– Ну что ж, господа, стало быть, нынче, в четыре часа, – сказал Кретте. – И советую всем составить завещание, потому что схватка, судя по всему, будет жаркая. Пойдемте со мной, Роже, я подберу вам добрую шпагу, ведь на вашей хорош разве только эфес.

Маркиз попрощался со своими друзьями и повел шевалье в оружейную, где висели шпаги на любой вкус с эфесами, удобными для разных рук.

Роже выбирал оружие как знаток; он взял себе шпагу не слишком длинную и не слишком короткую, не слишком тяжелую и не слишком легкую, ее острый, как бритва, клинок в четырнадцати или пятнадцати дюймах от рукояти расширялся, и это было очень важно для успешного отражения ударов противника.

Маркиз с глубоким вниманием следил за тем, как шевалье выбирает оружие.

– Прекрасно, – сказал он, – вижу, что вкус у вас отменный. Забросьте-ка в угол свою старую шпагу, она никуда не годится, и возьмите эту. Вот и хорошо! Итак, до вечера, позади монастыря Дев Святого Причастия. Вы знаете, где это?

– Знаю.

– Впрочем, лучше дождитесь меня в гостинице, я заеду за вами по пути. А еще лучше, приходите-ка сюда к двум часам дня, вместе и перекусим.

– Вы слишком добры ко мне, маркиз.

– Полно, полно, перестаньте употреблять эти слова,

между друзьями они неуместны, и к тому же от них отдает провинцией.

Вернувшись в гостиницу, Роже заперся у себя в комнате и погрузился в самые мрачные мысли. Совет составить завещание, мимоходом высказанный маркизом, не шел у него из головы.

«Черт побери! – думал шевалье. – Будет чертовски глупо, если окажется, что я приехал из Лоша в Париж лишь для того, чтобы меня здесь укокошили».

Затем он облокотился на стол, подпер голову рукою и принялся думать о Констанс, о матери, об отце, об очаровании родного края, о том очаровании, какое человек начинает ценить, только покинув родные места, ибо в полной мере постигает его, лишь очутившись вдали от дома; наконец шевалье решил приняться за письма и сочинил длинные послания Констанс, отцу и матери; пока он писал их, сердце его сжималось и слезы капали на бумагу.

Роже плакал так долго, что у него иссякли слезы; к тому же погода стояла прекрасная, небо было безоблачно, яркий луч солнца проникал в окно, и в этом широком луче плясали миллионы пылинок; в хорошую погоду смерть кажется нам менее ужасной: уже давно замечено, что в августе встречаешь гораздо больше храбрецов, нежели в декабре.

Шевалье тряхнул головой, поднялся с места, взялся за эфес шпаги и вытащил ее из ножен; рука у него была крепкая, и шпага показалась ему не тяжелее обычной рапиры. Он остановился посреди комнаты и сделал резкий выпад, затем стал в третью позицию, потом – в четвертую и сделал еще несколько быстрых и коротких выпадов; в об-

щем он остался весьма доволен собою, убедившись, что не утратил ни навыков, ни силы, хотя уже почти полтора года не брал в руки рапиру.

В два часа дня он вышел из гостиницы и направился в особняк маркиза. Кретте ожидал его в оружейной в обществе д'Эрбиньи и Тревиля.

Там же был накрыт стол: на нем стояли отбивные, паштет и две бутылки выдержанного вина.

При виде всех этих вкусных вещей, шевалье объявил, что он просто умирает с голоду, так как еще ничего не ел, а только выпил в девять утра чашку шоколаду.

Остальные хором поддержали его.

Трапеза прошла так весело, как будто они, встав из-за стола, собирались ехать в Оперу. Правда, шевалье время от времени ощущал нервическое покалывание в сердце, но ощущение это было мгновенным и не могло согнать улыбку с его губ.

За столом просидели около часа, однако, сверх двух бутылок не было выпито ни одного бокала вина. За десертом четверо друзей обнялись.

– Вот что, шевалье, – сказал д'Эрбиньи, который считался лучшим фехтовальщиком среди молодых дворян, составлявших общество маркиза де Кретте, – вчера, когда вы объезжали Мальбрука, и нынче, когда мы играли в мяч, я сразу заметил, что у вас железные икры и стальная рука; не давайте же спуску этому черномазому Коллинскому, ибо, полагаю, он непременно захочет иметь дело с вами, что вполне естественно, так как вы весьма галантно, обещали насквозь проткнуть его шпагой. Помните, он мастер на обманные движения и ложные выпады. А потому от-

ступайте, уклоняйтесь, пусть он как следует натрудит себе руку, а уж там вы с ним легко справитесь.

– Когда у меня будет второй поединок, – отвечал шевалье, – я, быть может, и стану отступать, ибо, как говорит мой отец, отступать – не значит бежать; но в первом поединке я, черт побери, не отступлю ни на шаг; скажу вам заранее: коли на месте дуэли окажется стена, я, чтобы не было соблазна отойти прислонюсь спиною к этой стене.

– А противник тут же пригвоздит вас к ней, как бабочку к доске! Давайте-ка без фанфаронства, мой милый: помните, что, расправившись с вами, Коллинский тут же набросится на нас.

– Постараюсь задать ему жару, чтобы он не вздумал мешать вам заниматься своими делами, – сказал Роже.

– Аминь! – возгласил д'Эрбиньи.

– Аминь! – подхватили Кретте и Тревиль.

Все трое взяли шпаги, шевалье свою так и не снял; потом они уселись в карету.

Когда подъехали к монастырю Дев Святого Причастия, Кретте дернул за шнурок, кучер остановил лошадей; сидевший с ним рядом на козлах юный жокей быстро соскочил и распахнул дверцу.

– Подождешь нас тут, Баск, – сказал маркиз. – Внимательно следи за происходящим, полагаю, что на обратном пути экипаж будет нам нужен еще больше, чем теперь.

Молодые люди спрыгнули на землю.

– Ну, как вы сейчас себя чувствуете, Роже? – осведомился маркиз.

– Я? Превосходно! И чтобы оказать честь обществу, в котором нахожусь, готов драться с самим дьяволом во плоти.

Подъехала вторая карета. Противники наших молодых героев вышли из нее. То были братья Коллинские, некий граф из Саксонии – фон Горкаюн и кавалерийский офицер по имени Бардан.

Подойдя к маркизу де Кретте и его спутникам, они поклонились.

Противником Роже, как и предполагал д'Эрбиньи, оказался Коллинский-старший, непременно пожелавший драться именно с шевалье, а так как и шевалье со своей стороны жаждал сразиться с венгром, то спора не воспоследовало.

В остальных поединках сошлись: маркиз де Кретте с Коллинским-младшим, д'Эрбиньи – с Барданом, а Тревиль – с графом Горкаюном.

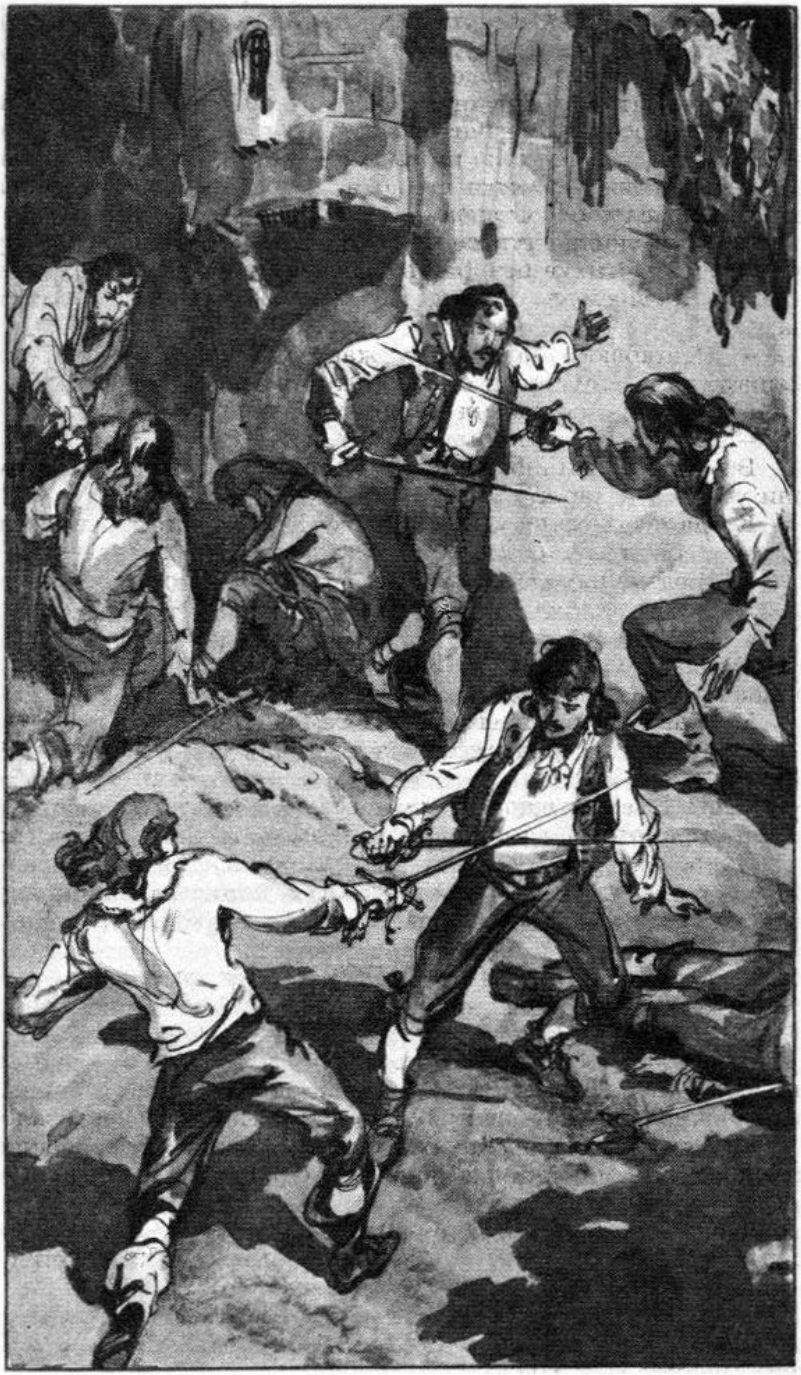
Дуэлянты стали в исходную позицию; в любую минуту им могли помешать, и потому они, не теряя времени, скрестили клинки.

Маркиз де Кретте получил удар шпагой, она рассекла ему запястье; д'Эрбиньи уложил на месте Бардана, а Тревиль был убит графом Горкаюном.

Шевалье сразу понял, что имеет дело с очень сильным противником; несмотря на это, Роже сдержал свое слово и не отступил ни на шаг. В ходе поединка он сумел трижды ранить Коллинского: в первый раз проткнул ему щеку, во второй – встречным ударом вонзил ему шпагу в горло, в третий раз, быстро уклонившись от выпада грозного противника, рассек ему грудь.

Коллинский-старший упал.

– Черт побери! – воскликнул сидевший на траве маркиз. – Ну и удар у этого малого! Да он может протаранить стену.



Увидя, что его брат упал, Коллинский-младший хотел наброситься на Роже. Однако д'Эрбиньи преградил ему путь.

– Минуту, сударь! – крикнул он венгру. – Я, с вашего соизволения, буду иметь честь расправиться с вами тем же манером, каким мой друг д'Ангилем расправился с вашим братом.

С этими словами д'Эрбиньи отстранил шевалье, заявившего сперва, что раз уж он с самого начала занялся семейством Коллинских, то ему и надлежит довести дело до конца. Однако долго спорить Роже не пришлось: к нему уже приближался граф Горкаюн.

– Бростите, люпезный мой сутарь, – сказал саксонец, – но я не шелаю, чтоб мы сидели слоша руки.

– В таком случае пустим их в ход, – ответил Роже, вновь становясь в позицию.

– Тревога, господа, тревога! – крикнул Кретте. – Баск подает нам знаки: сюда кто-то идет.

– Погодите, погодите, – сказал Роже, – я мигом.

Он сделал выпад и проткнул плечо графу фон Горкаюну.

– Сутарь, я вас благотарю, – торжественно произнес граф, – ешели вы когда-нибудь пошалуете в Дрезден, я буду рат фидеть вас у себя.

– Милостивый государь, – отвечал Роже, не оставшись равнодушным к комплименту, – можете быть уверены, первый свой визит я нанесу именно вам.

И противники учтиво поклонились друг другу.

Между тем Коллинский-младший и д'Эрбиньи обменялись ударами: виконт проткнул венгру бедро, а тот поцарапал ему ляжку.

По знаку маркиза де Кретте быстро подъехали кареты; Баск и кучер Коллинского уложили тела де Бардана и барона де Тревиля так, чтобы можно было подумать, будто они убили друг друга; Коллинский-старший был еще жив, его перенесли в экипаж, младший брат венгра и саксонец сели рядом, и экипаж поспешно укатил. Со своей стороны Кретте, д'Эрбиньи и Роже быстро устроились в карете маркиза, и лошади помчались во весь опор.

– Любезный мой шевалье, – сказал Кретте, – я прошу вашей дружбы и искренне предлагаю вам свою.

– Я тоже, – подхватил д'Эрбиньи.

– Вы слишком добры ко мне, – пробормотал Роже.

– Роже, Роже! – воскликнул маркиз. – Мы же условились не говорить таких вещей. Черт побери! До чего ж болит рука!

– Бедняга Тревиль, – проговорил д'Эрбиньи, – я ведь остался ему должен двести пистолей!

– Ничего не поделаешь, мой милый, – заметил маркиз, – тебе никогда не удастся вернуть этот долг.

Все трое возвратились в особняк маркиза де Кретте, откуда д'Эрбиньи и Роже ушли только поздно вечером.

XII

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ ПОЗНАКОМИЛСЯ С СЫНОМ ИНДИАНКИ И КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТОТ НА НЕГО ПРОИЗВЕЛ

Все случившееся промелькнуло как сон. Если Роже еще успевал жить, то времени осмыслить происходящее у него уже не оставалось. Он поделился своими ощущениями с маркизом де Кретте, и тот сказал в ответ:

– Мой милый, именно так и живут в Париже; нынче еще мы потеряем целый вечер, во всяком случае я, потому что это окаянное запястье не позволит мне выйти из дому. Вы – другое дело, у вас обе руки целы и невредимы, Париж велик, времени до полуночи еще много, и вы вполне успеете с толком провести его.

– Нет уж, благодарю покорно, – отвечал шевалье, – я не прочь возвратиться к себе в гостиницу; но если так пойдет и дальше, то, следуя вашему примеру, я, надо полагать, через неделю стану вполне светским человеком.

– Черт побери, я в том не сомневаюсь! Вас уже и за первые два дня узнать нельзя. Однако существует нечто гораздо более важное, чем обеды в Сен-Жермене, игра в мяч на улице Вожирар и прогулки позади монастыря Дев Святого Причастия: это ваша тяжба, и я советую вам ею заняться.

– Таково и мое намерение, – отозвался шевалье д'Ангилем, – с завтрашнего дня я примусь за дело.

– Знайте, мой друг, в вашем распоряжении всегда либо моя карета, либо верховая лошадь, вы только ставьте меня в известность с утра о своих планах и намерениях, и экипаж либо конь, по вашему выбору, тотчас же будут готовы.

– А как вы думаете, маркиз, выиграю я свою тяжбу? – спросил Роже.

– Ну, знаете, мой милый, вы меня ставите в тупик, на такой вопрос я ответить не берусь; коли вы спросите меня, сумеете ли вы укротить Буцефала, я отвечу: «Да». Коли вы меня спросите, сумеете ли вы продырявить шкуру Бертоле и Буароберу, лучшим нашим учителям фехтования, я отвечу: «Вполне возможно». Но, черт побери, дружище!

Укротить лошадь или убить на дуэли человека гораздо проще, чем умаслить судью; а ведь существуют еще ходатаи по делам, судебные приставы, советники и председатели судов, словом, крючкотворы всех видов и мастей, целый мир господ в бархатных шапочках, целый ад, населенный пройдохами в черных одеждах; прежде всего разузнайте имена этих молодчиков, сообщите их мне, и уж тогда мы попытаемся одних обольстить сладкими речами, а других – деньгами.

– За сладкими речами остановки не будет, – отвечал Роже, – говорить красно я умею: недаром же я штудировал риторику с аббатом Дюбюкуа, человеком весьма сведущим, и обучался в классе философии у иезуитов в Амбуазе; но что касается денег, тут дело обстоит хуже: отец дал мне всего пятьдесят луидоров, с тем чтобы я прожил на них в Париже полгода, а я за первые два дня уже промотал двадцать пистолей.

– Любезный мой шевалье, я же говорил вам, что настоящим дворянам не следует тревожиться из-за такого рода вещей. Хорошенько пошарьте в моем кошельке, у меня ведь около шестидесяти тысяч ливров годового дохода, их было бы не так-то легко потратить, не будь у меня управляющего. А потому берите, друг мой, берите, вы мне все вернете, когда станете миллионером.

– А вдруг я проиграю тяжбу? – спросил Роже.

– Ну что на это сказать, шевалье?! Не казнить же вас в случае неудачи. Соберем тогда те деньги, что у вас останутся, отправимся в игорный дом и поставим их на карту. Не может же человек вечно проигрывать: фортуна должна будет вас вознаградить, и она это сделает.

– Ну, это еще вилами по воде писано, любезный маркиз. Должен признаться, что будущее представляется мне не в столь уж розовом свете.

– Вот-вот, сетуйте на судьбу, это куда как справедливо! Ежели вы недовольны жизнью, что ж тогда говорить Бардану и Тревилю? Кстати, мой милый, если вас спросят о них, не забудьте ответить, что они поссорились во время игры в мяч и потом проткнули друг друга шпагами. А ежели кто-либо проявит чрезмерное любопытство и станет добиваться, откуда вам это известно, скажите, что обо всем вам рассказал я.

– Хорошо, – ответил Роже, направляясь к дверям.

– И еще одно напоследок: завтра утром пошлите осведомиться, умер ли господин Коллинский или еще жив. Уж это-то вы обязаны сделать. Коли он умер, в добрый час, и делу конец. Коли нет, справляйтесь о нем каждый день, пока он не отдаст богу душу либо не поправится. Да, если не ошибаюсь, вы малость поцарапали и саксонца?

– Кажется, я проткнул ему шпагой плечо.

– Ах, вам только кажется! Ну что ж, в таком случае убейте двух зайцев разом: пусть ваш человек осведомляется заодно и о его здоровье.

– Но как узнать их адреса?

– Петипа сообщит их вам завтра утром.

– А кто такой Петипа?

– Мой слуга.

– Отлично. Доброй ночи, маркиз.

– Благодарю за пожелание, но только я в этом сильно сомневаюсь. У меня чертовски ноет запястье. Скотина Коллинский! Не мог ткнуть меня шпагой куда-нибудь еще!

Какие все же грубияны эти венгры… Ну, ладно… Доброй ночи, друг мой! Помните, с нынешнего дня мы с вами друзья до гробовой доски.

Возвращаясь к себе в гостиницу, шевалье думал о том, что в тот день он если и не убил, то, во всяком случае, сильно покалечил человека; и Роже удивлялся, что, несмотря на заповеди господа бога и церкви, предписывающие нам любить ближнего своего, как самого себя, повторяю, Роже удивлялся, что не испытывает особых угрызений совести.

Больше того, когда шевалье увидел, что Коллинский упал, он не только не ощутил ни малейшего сожаления, но, напротив, ощутил живейшую радость: справедливо замечено, что чувство самосохранения неизменно одерживает верх над всеми прочими нашими чувствами.

Одно только немного успокаивало нашего героя, уже невольно начинавшего дурно думать о самом себе: ведь оба его новых приятеля сразу же позабыли о несчастном Тревиле, который был убит на дуэли; правда, д'Эрбиньи, – мы уже говорили об этом, – вспомнил, что он остался должен Тревилю сотню луидоров, но это обстоятельство, пожалуй, не всплыло бы так быстро в его памяти, если бы злополучный Тревиль остался в живых.

А между тем Кретте и д'Эрбиньи были уже лет десять или двенадцать связаны узами дружбы с погибшим.

Но ведь у Тревиля, без сомнения, были отец, мать, возлюбленная, и его смерть, должно быть, повергла их в сильное горе. Роже вздрогнул, подумав, что у него тоже есть отец, мать и невеста, и вполне могло случиться, что сейчас он лежал бы бездыханный на земле, как Тревиль, а не предавался бы философским размышлениям.

Мысль эта заставила шевалье ускорить шаг: ему захотелось немедля написать в Ангилем и излить на тех, кого он любил, чувства, переполнявшие его сердце.

Роже и в самом деле написал письма отцу и матери; он был так счастлив, что радость его буквально переливалась через край. До чего прекрасной кажется жизнь человеку, чудом избежавшему смерти, особенно если к сознанию, что он уцелел, присоединяется еще и гордость из-за одержанной победы! Еще одно соображение успокаивало Роже: ведь отныне он больше не будет ощущать колотье в сердце, которое свидетельствует о нерешительности, свойственной порою и храброму человеку; теперь не только он сам сознавал свою силу, отныне о ней знали и другие.

В письме к матери шевалье умолял ее не забывать, что, помимо любви к ней и к отцу, единственным и неповторимым его чувством остается привязанность к мадемуазель де Безри; затем он просил баронессу сделать так, чтобы в их родных краях узнали, что он, Роже, вхож в дом маркиза де Кретте и уже начал жить так, как и должно дворянину в Париже. Потом он в подробностях описал свой новый наряд, мельком упомянул, что его появление в обществе не осталось незамеченным, и осведомился, может ли он надеяться на скорое получение следующих пятидесяти луидоров. В конце письма был постскриптум для Констанс, занимавший целых полторы страницы.

В своем письме к барону, – шевалье посчитал бы кощунством смешивать сердечные чувства с денежными делами, – в своем письме к барону Роже излагал все опасения мэтра Кокнара; он подробно обрисовал те опасности, какими тяжба угрожала скромному состоянию д'Ангилемов:

в глубине души наш самонадеянный герой был уверен, что отныне перед ним ничто не устоит и он непременно выиграет тяжбу, а потому ему хотелось даже слегка преувеличить подлинные трудности, дабы его победа показалась еще более блистательной.

Постскриптум второго письма был посвящен Кристофу: славный конь отдыхал и досыта ел овес в конюшне гостиницы «Золотая решетка».

Между тем дело, которое привело шевалье в Париж, мало-помалу прояснялось; виконт де Бузнуа умер от апоплексического удара, не озаботившись ни устно, ни письменно выразить свою последнюю, волю, ибо сей достойный дворянин полагал, что проживет на свете еще лет десять, а то и двенадцать. Его особняк, стоявший на площади Людовика Великого, внезапно опустел; сын индианки, – так все еще называли жену, которую виконт де Бузнуа некогда привез из-за моря, – повторяю, сын индианки прибыл в столицу, чтобы вступить в права наследства; однако у него не оказалось никаких бумаг, подтверждающих эти его права, и потому особняк опечатали, а на все имущество покойного наложили секвестр.

Роже твердо решил, как только у него выпадет свободная минута, пойти и осмотреть особняк; ему надо было занести свою визитную карточку к г-ну Коллинскому, живущему на улице Капуцинок, и к графу Горкаюну, жившему возле Ферм-де-Матюрен, шевалье воспользовался этим и по пути остановился перед своим будущим владением.

Он узнал особняк, потому что все двери и окна там были наглухо закрыты: этот большой и красивый дом мог

стоить триста тысяч ливров – сумма для того времени огромная. Роже сразу же обратил внимание на украшавший ворота небольшой каменный щит, на коем был выбит герб усопшего, и решил, что, как только успешный исход тяжбы позволит ему это сделать, он выбьет там собственный герб и ублажит тем самым свое тщеславие. Юноша то подходил к особняку вплотную, то немного отступал, дабы получше разглядеть его с разных сторон; и вдруг он заметил какого-то человека: тот пришел почти одновременно с ним, проделывал такие же самые маневры, да и вид у незнакомца был столь же сосредоточенный, как у самого Роже; по этой причине шевалье более внимательно оглядел его.

Точный возраст этого человека угадать было нелегко, хотя можно было сказать наверняка, что ему не меньше двадцати пяти и не больше сорока лет; лицо у него было желто-оранжевого цвета, почти такого же оттенка были даже белки глаз; у него были острые ослепительно белые зубы и черные как смоль волосы; его необычайно яркий наряд был богато расшит, по животу были пущены две цепочки для часов, все пальцы унизаны алмазными перстнями; на противоположной стороне улицы его ожидала золоченая карета, на ее козлах восседал кучер, еще более желтый, нежели его хозяин, а возле дверцы стоял похожий на матроса слуга, еще более желтый, чем кучер.

В ту самую минуту, когда шевалье заметил странного незнакомца, тот, в свою очередь, должно быть, заметил его; оба несколько раз подряд переводили взгляды с особняка друг на друга, а затем снова на особняк; внезапно парадная дверь приотворилась, чтобы пропустить одетого в черное платье мужчину, походившего на судебного пристава, оба

наших любителя недвижимости разом кинулись к заветной двери и просунули головы в щель, причем проделали они это столь поспешно, что стукнулись лбами.

Роже, как человек весьма учтивый, принес незнакомцу свои извинения, а тот лишь что-то проворчал в ответ. Ворчание его можно было, видимо, передать такими словами: «Вот дьявол! У этого молодца голова, как медный котел».

Потом оба одновременно воскликнули:

– Право же, до чего великолепный особняк!

– Не правда ли, сударь? – спросил Роже.

– Да, я тоже так думаю, – ответил незнакомец.

– А когда выполют траву, которой порос двор…

– Когда заново покрасят двери и ставни…

– Когда днем вид тут будут оживлять красивые экипажи и чистокровные лошади…

– А ночью все будет освещено множеством огней…

– Тогда, ей-богу, у меня будет один из самых великолепных особняков в Париже, – закончил Роже.

– Виноват, сударь, – возразил незнакомец, – вы хотели сказать, что у меня будет один из самых великолепных особняков в Париже.

– Нет, я сказал не «у вас», а «у меня».

– Но кто вы, собственно, такой?

– Я кузен виконта де Бузнуа.

– А я, милостивый государь, его пасынок.

– Как? Стало быть, вы индус?

– А вы провинциал?

– Милостивый государь, – резко сказал Роже, – вы выражаетесь неучтиво; я и в самом деле приехал из провин-

ции, но это вовсе не означает, что я провинциал: я друг маркиза де Кретте, виконта д'Эрбиньи, шевалье де Кло-Рено и не далее, как вчера, трижды ранил шпагой некоего венгерского магната, который не вам чета.

– Что вы хотите этим сказать, сударь?

– Я хочу этим сказать, сударь, – продолжал Роже, – что коль скоро мы по счастливой случайности встретились, я имею честь сделать вам небольшое предложение.

– Речь идет о полюбовной сделке?

– Вот именно, сударь.

– Что же вы предлагаете? Говорите.

– Видите ли, суд человеческий – вещь всегда сомнительная, а потому я и предлагаю поручить судьбу нашей тяжбы божьему суду, как поступали в старину рыцари; давайте встретимся вдвоем позади монастыря Дев Святого Причастия.

– Стало быть, дуэль?! – воскликнул индус, становясь из оранжево-желтого бледно-желтым.

– Коли вы меня убьете, – отвечал Роже, – особняк ваш, и никто этого оспаривать не станет. Если же я убью вас, не нужна будет никакая тяжба.

– Благодарю покорно, сударь, – ответил индус, отступая к своему экипажу. – Я уверен, что выиграю тяжбу, но отнюдь не уверен, что смогу первый нанести вам удар шпагой, а посему, с вашего соизволения, давайте-ка лучше положимся на суд человеческий.

Индус уселся в карету, захлопнул все дверцы и опустил стекла, после чего лошади помчались во весь опор.

– Черт побери! – вырвалось у Роже. – Да он, видать, оригинал.

И шевалье пошел дальше, чтобы оставить свою визитную карточку в приемной г-на Коллинского, который еще не умер, и в приемной графа Горкаюна, который для человека в его положении чувствовал себя вполне сносно.

Затем Роже поспешил в особняк де Кретте, чтобы узнать, нет ли каких новостей; он подробно рассказал своему другу о встрече и о разговоре с индусом.

Маркиз все еще жестоко страдал от боли в запястье, что не помешало ему уже с утра сделать два или три визита, дабы ввести в заблуждение досужих людей, прослышавших о том, будто он дрался на поединке и был ранен. Такая предосторожность была отнюдь не лишней, ибо происходившая накануне дуэль наделала много шуму; но так как никого из ее участников не удалось задержать на месте, а оба мертвеца хранили самое глубокое молчание, то неприятностей ни для кого не воспоследовало.

Поэтому ничто не мешало маркизу заняться тяжбой шевалье и нанести вместе с ним несколько деловых визитов.

Разбирать тяжбу поручили трем судьям и судебному советнику, составлявшему подробный доклад по делу.

Маркиз и шевалье решили прежде всего посетить судей.

То были превеликие оригиналы, и у каждого из них имелся свой любимец: один судья обожал кошку, другой – обезьяну, третий – попугая. Шевалье выказал необычайную любезность ко всем трем служителям Фемиды, а маркиз – не меньшее внимание к милым их сердцу тварям; однако как только посетители пытались завести речь о деле, хозяева тут же давали им понять, что предпочитают беседовать о чем-либо другом.

А советник, готовивший доклад по делу, оказался столь суровым пуританином, что и вообще не захотел принять посетителей.

– Черт побери! – воскликнул маркиз. – Мне кажется это весьма дурным предзнаменованием, шевалье.

Между тем в один прекрасный день стало известно, что дело наконец затребовано в суд. Прошло уже два месяца, да, ровно два месяца понадобилось для того, чтобы должным образом составить все нужные бумаги, пополнить опись имущества, изучить претензии и права тяжущихся сторон. Все это время Роже обдумывал, не лучше ли ему пойти на мировую с сыном индианки. Однако маркиз де Кретте воспротивился любым попыткам такого рода, поскольку индус всюду громогласно заявлял, что дело его верное и что он представит суду бесспорные доказательства своих прав на наследство, познакомившись с коими господа д'Ангилемы, и отец и сын, будут вынуждены с позором отказаться от всех своих притязаний.

А пока что разбирательство тяжбы происходило с обычной медлительностью: ведь богиня правосудия не только слепа, но и колченога. Всякий раз, отправляясь во Дворец правосудия, шевалье испытывал тягостное чувство. И все же каждую неделю можно было увидеть его карету, вернее, карету маркиза де Кретте, вблизи главного здания суда или возле одного из его флигелей. Обычно это происходило на другой день после получения очередного послания от барона, который исправно писал сыну каждые семь дней.

Не будь Роже близким приятелем маркиза де Кретте, в чьем лице он обрел сразу друга, банкира и советчика, ему

бы, возможно, пришлось просить пощады у сына индианки, ибо тот вел борьбу, не стесняясь в деньгах.

Надо сказать, что сильнее всего терзала шевалье мысль о злосчастной бумаге, будто бы подтверждавшей бесспорные права индуса. А барон д'Ангилем в каждом новом письме сына находил новый повод для тревоги и вовсе лишился сна.

«Постарайся во что бы то ни стало дознаться, – постоянно писал он Роже, – что представляет собою эта пресловутая бумага: обычное завещание, субституцию или же дарственную».

Роже изо всех сил старался это узнать, но тщетно.

Он собрал военный совет, состоявший из маркиза де Кретте, д'Эрбиньи, де Кло-Рено и де Шастлю, дабы решить, что же делать дальше. Кто-то указал ему на некоего Вельера, тот брался за всякого рода трудные и щекотливые дела: добывал сведения о тщательно запрятанных бумагах, обследовал прочно запертые несгораемые ящики и даже похищал нужные акты и документы. Легко понять, что речь шла не о том, чтобы выкрасть бумагу у противной стороны, а лишь о том, чтобы снять с нее копию, дабы стряпчим Роже легче было ее оспорить. Однако совет, состоявший из дворян, единодушно отверг такую попытку, как бесчестную.

Однажды виконт д'Эрбиньи, казалось, нашел способ все уладить. Проходя вблизи ворот Конферанс, он увидел в экипаже мужчину и по описаниям Роже сразу же узнал в нем индуса: тот ехал с женщиной, которая некогда была любовницей самого д'Эрбиньи, а ныне, видимо, находилась в близких отношениях с противником шевалье. На правах

преданного друга д'Эрбиньи решил, что теперь самое подходящее время покончить с тяжбой, поглощавшей состояние д'Ангилемов и лишавшей покоя все это почтенное семейство.

Вот почему виконт сделал знак кучеру остановиться, весьма дерзко подошел к дверцам кареты и пристально поглядел на даму: то была актриса театра Французской Комедии, некая мадемуазель Пуссет. Она тотчас узнала виконта, которого в свое время очень любила, и нежно улыбнулась ему.

– Милостивый государь и вы, сударыня, – начал д'Эрбиньи, – как вы оба смотрите на то, чтобы поужинать втроем? Черт побери! Думается, мы славно провели бы время…

– Я вас не знаю, сударь, – с раздражением отозвался индус, и белки его глаз приобрели темно-желтый оттенок, – а я не привык садиться за стол с незнакомыми людьми.

– Но ваша дама хорошо меня знает и может подтвердить, что я человек из общества. Пуссет, дружочек, – продолжал д'Эрбиньи, – прошу вас, окажите любезность и представьте меня своему спутнику…

– Представляю вам виконта д'Эрбиньи, – со смехом сказала Пуссет, которую позабавила дерзость ее прежнего любовника.

– Так, так, превосходно… д'Эрбиньи… д'Эрбиньи… – пробормотал индус, – кажется, я припоминаю это имя… Ведь вы друг юного д'Ангилема и умышленно ищете со мною ссоры, с тем чтобы наследство господина де Бузнуа досталось ему… Поищите, поищите других простаков,

любезный виконт! Мой поверенный предупреждал меня о возможностях такого рода.

– Я и в самом деле имею честь принадлежать к числу друзей шевалье д'Ангилема, он, кстати сказать, не чета не только вам, но даже мне. Однако вы нанесли мне смертельную обиду, приписав намерение, о коем только что упомянули. Так что, сударь, я вижу, что вы просто неотесанный дикарь. А посему прошу сказать, когда и где мои секунданты могут встретиться и переговорить с вашими?

– Вот, вот! Решили действовать обходным путем, чтобы добиться своей цели: вы снова предлагаете мне дуэль! Ну нет, дайте мне сперва выиграть тяжбу, а там уж мы поглядим.

Неожиданный конец фразы показался виконту настолько смешным, что он громко расхохотался.

– Черт побери, – обратился он к уроженцу Малабара, – вижу, нрав у вас просто очаровательный, и буду счастлив поужинать вместе с вами ради одного удовольствия познакомиться поближе. Ежели вы так милы, еще будучи трезвым, то, должно быть, просто неотразимы, когда малость захмелеете.

– Еще один способ завладеть наследством, – буркнул индус, – вы хотите меня отравить. Слуга покорный!

– Ах, да вы просто болван, – воскликнула мадемуазель Пуссет, – и я не желаю больше ни минуты оставаться в вашей карете! Отворите дверцу, виконт, я ужинаю с вами.

Д'Эрбиньи распахнул дверцу кареты, и мадемуазель Пуссет спрыгнула на мостовую; потом оба попрощались с набобом – виконт слегка кивнул ему головой, актриса сделала реверанс – и ушли рука об руку.

И тут мадемуазель Пуссет объявила виконту, что индус – самый нелепый из всех мужчин, каких она когда-либо встречала: он говорит только о своем наследстве, в каждом человеке видит лазутчика шевалье д'Ангилема, не далее как в тот самый день он обращался в уголовную полицию с просьбой дать ему охрану и чуть было не добился этого.

Д'Эрбиньи счел эти сведения весьма серьезными и на следующее утро, расставшись с мадемуазель Пуссет, поспешил к маркизу де Кретте и все ему рассказал. Маркиз заключил из его рассказа, что индус уже потратил кучу денег на ведение тяжбы, а кроме того, видимо, нашел себе поддержку в морском ведомстве, где хорошо знали виконта де Бузнуа.

В своем очередном письме Роже поставил барона в известность обо всех этих досадных обстоятельствах.

С каждым днем появлялись новые и весьма тревожные признаки; вскоре распространился слух, будто сын индианки предъявил трем судьям бумагу, на которой зиждились его притязания, и все трое якобы заверили его в том, что он выиграет тяжбу. Новость эта как удар грома поразила сторонников д'Ангилема. И в маленьком содружестве дворян начали смотреть на тяжбу как на дело безнадежное: подумывали уже о том, где изыскать деньги для покрытия огромных расходов, связанных с судебным разбирательством, и сумм, кои будут присуждены в пользу пасынка виконта де Бузнуа, ибо гражданский иск первым вчинил барон д'Ангилем. Расходы эти могли достигнуть шестнадцати тысяч ливров; сверх того, мэтр Кокнар требовал в уплату за свои труды четыре тысячи ливров; пребывание шевалье в столице с учетом денег, которыми его ссужали

друзья, обошлось приблизительно в пять тысяч ливров; таким образом, после проигрыша тяжбы от скромного состояния барона ничего бы не осталось, и близился день, когда горестная правда должна была предстать перед ним безо всяких покровов.

В этих обстоятельствах маркиз де Кретте вел себя по отношению к шевалье безупречно: он предложил ему десять тысяч экю, сказав, что Роже возвратит их, когда ему заблагорассудится; однако шевалье ответил, что ни он, ни его отец не возьмут в долг такую сумму, ибо им заранее известно, что они не смогут ее вернуть; Роже заявил, что перенесет удар, рассчитывая лишь на собственные возможности, и в случае неудачи вступит в один из полков, направляющихся во Фландрию.

Д'Эрбиньи со своей стороны делал все что мог. Пользуясь своим влиянием на мадемуазель Пуссет, он уговорил ее вернуться к индийцу, с тем чтобы она попыталась удостовериться, существует ли на самом деле пресловутая бумага, а если ее не существует, то постаралась бы выведать, на что же рассчитывает противник Роже.

Тем временем сам шевалье отправился к своим стряпчим – метру Бранило и метру Вернике; он попросил их ни перед чем не останавливаться и ничем не пренебрегать в своих хлопотах по тяжбе. Однако, несмотря на присущее всем судейским самомнение, они в ответ только горестно покачивали головами и сетовали на то, что их, мол, вовлекли в столь гиблое дело. Роже стал допытываться, что именно они имеют в виду, и стряпчие признались, что трое судей, с которыми они беседовали по поводу тяжбы, не оставили им почти никакой надежды. Они посоветовали

шевалье еще раз посетить судей и как можно ласковее обойтись с кошкой, обезьяной и попугаем, ибо те – единственная отрада этих служителей правосудия. Но этот совет стряпчих походил на совет врачей, которые посылают больного на воды только для того, чтобы их не упрекнули в небрежении, так сказать, для очистки совести. Когда бы они только знали, прибавили в заключение стряпчие, что противная сторона располагает столь бесспорной бумагой, как та, какую она, по слухам, собирается представить суду, они ни за что на свете не взялись бы за столь безнадежное дело. Шевалье не решался, да и не мог посулить им золотые горы, а потому только понурил голову, услышав их удручающие речи; памятуя, что он всего лишь доверенное лицо своего отца, Роже в точности пересказал в письме все жалобы стряпчих, жалобы, надо признаться, малоприятные.

Однако с особой силой отчаяние Роже сказалось в его письме к баронессе. Он оплакивал в нем не только проигрыш тяжбы и как следствие этого потерю состояния, но также и самую страшную из всех возможных утрат – утрату Констанс; надо заметить в похвалу нашему герою, что нежный образ Констанс постоянно был с ним – и на званых обедах, и в ходе поединка, и в часы прогулок верхом, и во время деловых визитов.

Шевалье рассказал маркизу де Кретте о том, что стряпчие посоветовали еще раз переговорить с судьями. Роже набил карманы пирожками для кошки, миндалем для обезьяны и печеньем для попугая, однако все эти знаки внимания не тронули избалованных тварей: кошка поцарапала его, обезьяна – укусила, а попугай обозвал прощелыгой.

– Вы разорены, – сказал маркиз, когда они выходили из дома третьего судьи, – вы не только проиграете тяжбу, но еще и заплатите все судебные издержки.

В тот же вечер мадемуазель Пуссет объяснила Роже и его друзьям поведение служителей Фемиды. Сами судьи были людьми в высшей степени честными и потому ничего не принимали от просителей. Однако индиец подарил кошке перстень, стоивший две тысячи пистолей, составил дарственную в размере десяти тысяч экю на имя обезьяны и учредил пожизненную ренту в три тысячи ливров для попугая.

Что касается судебного советника, составлявшего доклад по делу, то и по отношению к нему были испробованы все способы обольщения; однако двери его дома остались заперты как для индийца, так и для шевалье, к тому же у этого почтенного человека не нашлось любимого животного – ни дикого, ни домашнего, – и некому было даже преподнести перстень, не для кого было составить дарственную запись или учредить пожизненную ренту.

Роже и маркиз сделали последнюю попытку проникнуть в его дом, но и она не увенчалась успехом.

Да, судебный советник Буто оказался поистине человеком неподкупным! Читатель легко поймет, что, несмотря на веселый нрав шевалье, все эти следовавшие одно за другим разочарования в конце концов повергли его в самую черную меланхолию. И в самом деле, что ожидало его впереди? Полное разорение семьи, утрата Констанс, которую он только недавно вновь обрел лишь для того, чтобы потерять вторично, и на сей раз самым жестоким образом, необходимость вступить простым волонтером в королев-

ские войска, расквартированные в Пикардии или в Ниверне. Все это вполне могло привести человека в отчаяние. А потому Роже и отчаивался, он не желал слушать никаких утешительных слов, наотрез отказывался от развлечений, которые придумывали его друзья, чтобы хоть немного рассеять его, и все время проводил у себя в комнате в гостинице «Золотая решетка»: тут он писал письма матери или слагал элегии для Констанс; прибавим, что в довершение всех бед в нем вместе с меланхолией родилась неодолимая склонность к сочинению стихов.

XIII

О ТОМ, КАК В ТУ МИНУТУ, КОГДА ШЕВАЛЬЕ СТАЛ ДОБЫЧЕЙ БЕСПРОСВЕТНОГО ОТЧАЯНИЯ, К НЕМУ ЯВИЛСЯ НЕЗНАКОМЕЦ И СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ ОЖИДАЛ НИ САМ РОЖЕ, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ЧИТАТЕЛЬ

Однажды утром Роже гляделся в зеркальце, чтобы понять, идет ли ему оскорбленное выражение лица; одновременно он пытался дописать весьма слабое, но необычайно нежное четверостишие, посвященное мадемуазель Констанс де Безри; и вот в ту самую минуту, когда он, казалось, нашел довольно богатую рифму для четвертой строки куплета, в дверь его комнаты трижды постучали.

– Войдите! – крикнул шевалье д'Ангилем.

Дверь медленно отворилась, и тот, кто стучался, вошел.

Незнакомец, чья физиономия сильно смахивала на лисью мордочку, был, несомненно, завсегдатай Дворца правосудия, видимо судейский писец, канцелярская крыса из Сент-Шапель. В последние четыре месяца Роже часто бы-

вал в Зале потерянных шагов и по скрюченным пальцам и крючковатому носу научился сразу же распознавать любого, даже самого незаметного из приспешников Фемиды.

У посетителя были прилипшие ко лбу огненно-рыжие волосы, на обеих щеках красовались большие лиловые бородавки, глаза, подобно опалу, переливались всеми цветами радуги, у него был щербатый рот и острый подбородок, кончик которого не выдавался вперед, а почти сходился с кадыком.

«Так-так, – пробормотал Роже, – снова какое-то судебное уведомление! Если опять надо платить издержки, мне придется распроститься с последним пистолем. Ну ладно, не будем терять присутствия духа».

И он с твердостью стал ожидать, пока человек с бородавками подойдет к столу.

Пришелец отвесил низкий поклон и осведомился:

– Имею ли я честь разговаривать с шевалье Роже Танкредом д'Ангилемом, владельцем Ангилема, Герит, Пентад и прочих угодий?

Роже невольно подумал, что если он сейчас еще владеет этими землями, то в скором времени его от них освободят. Он был несколько удивлен столь торжественным вступлением, но ответил весьма решительно и твердо:

– Да, сударь, с ним самим.

– Не спрятан ли кто-нибудь в кабинете, расположенном, как я успел заметить, позади вашего алькова? – снова спросил человек с бородавками.

– Там, сударь, никого нет, – отвечал Роже. – Однако, признаюсь, вопрос ваш кажется мне весьма странным.

– А между тем дело объясняется очень просто, мило-

стивый государь, ведь могли же вы находиться вдвоем с возлюбленной либо с приятелем. Вы достаточно хороши собой и достаточно общительны, а потому вполне уместно предположить и то и другое. Повторяю, вы могли находиться с возлюбленной или с приятелем и спрятать ее или его в своем кабинете, чтобы вам удобнее было принять посетителя.

– Я был один, сударь, – холодно сказал шевалье, – и в кабинете никого нет.

– Не соблаговолите ли вы позволить мне самому в том удостовериться? – осведомился человек с бородавками.

– Черт побери, сударь! Странно, что вы не верите мне на слово.

– О, разумеется, я вам верю, господин д'Ангилем, – отвечал незнакомец, приближаясь маленькими шажками к кабинету, – разумеется, я вам верю, ибо знаю, что вы человек чести; однако без вашего соизволения или без вашего ведома туда мог проскользнуть какой-либо нескромный человек…

С этими словами странный посетитель приоткрыл дверь кабинета и просунул в щель свою кунью голову.

– Превосходно, – проговорил он, – там и в самом деле никого нет.

«Чего хочет от меня этот чудак?» – пробормотал сквозь зубы Роже.

– А что, стены у вас тут достаточно толстые? – спросил человек с бородавками.

– Разбирайтесь в этом сами, сударь! – взорвался шевалье. – Но только знайте: вы, кажется, выведете меня из терпения.

– Не гневайтесь, милостивый государь, не гневайтесь. Я самым смиренным образом прошу простить меня за все эти предосторожности, но сейчас вы сами поймете, что они совершенно необходимы.

– Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь! Загляните в шкафы, за драпировки, пошарьте под кроватью… А если вам угодно получить ключи от комода и от секретера, требуйте их безо всякого стеснения.

Незнакомец немедленно воспользовался полученным разрешением: он открыл дверцы всех шкафов, заглянул под кровать, пошарил за драпировками и даже испытующе поглядел на комод и секретер, точно хотел убедиться, может ли туда влезть человек, но два эти предмета обстановки, должно быть, показались ему слишком тесными даже для самого любопытного субъекта, и, учтиво поклонившись, он отказался взять ключи, которые шевалье уже вытащил из кармана, а после этого молчаливого отказа вновь опустил туда.

– А теперь господин д'Ангилем, – торжественно начал незнакомец, – теперь, когда я полностью удостоверился в том, что мы с вами одни, имею честь просить вас выслушать меня как можно внимательнее, ибо я собираюсь говорить с вами о деле весьма важном.

– А дело это приятное или нет? – осведомился шевалье.

– Это уж будет зависеть от вас, – отвечал человек с бородавками, – вернее, от того, как вы сами к нему отнесетесь.

Он подошел к двери, запер ее сперва на ключ, а потом и на обе задвижки.

Роже украдкой бросил взгляд на кресло, где лежала его

шпага: по примеру индийца он подумал, что к нему, чего доброго, подослали наемного убийцу, чтобы учинить расправу.

Человек с бородавками перехватил этот взгляд и поспешил успокоить шевалье улыбкой и жестом, потом он придвинул стул к креслу, в котором сидел Роже.

Юноша непроизвольно отодвинулся вместе с креслом.

Незнакомец заметил это, как прежде заметил беспокойный взгляд шевалье, и чуть заметно улыбнулся; его гаденькая усмешка как будто говорила: «Да, да, вижу, вы не слишком-то мне доверяете, но погодите немного…»

Роже молча ждал. Человек с бородавками снова огляделся вокруг, как будто уверенность, что они в комнате только вдвоем, еще не до конца успокоила его, затем, наклонившись к самому уху юноши, он прошептал:

– Сударь, как вы смотрите на женитьбу?

Шевалье бросил пристальный взгляд на собеседника. Тот решив, что Роже малость глуховат, повторил свой вопрос.

– На женитьбу? – растерянно переспросил наш герой.

– На женитьбу, – повторил незнакомец и как можно любезнее покачал головою, а на губах его опять появилась все та же гаденькая усмешка, видимо привычная для него.

– Но о какой женитьбе вы толкуете? – спросил Роже.

– О какой женитьбе? Да о самой настоящей.

– Ничего не понимаю! – воскликнул шевалье. – Ну ладно, говорите дальше!

– В таком случае, – сказал неизвестный, – я поставлю вопрос иначе.

– Извольте, сударь.

– Хотите ли вы выиграть свою тяжбу?

– Черт побери! Еще бы! – вскричал Роже. – Даже очень хочу.

– Превосходно, превосходно, – произнес человек с бородавками, все так же улыбаясь, – тогда мы столкуемся.

– Столкуемся? – повторил Роже, заерзав в кресле.

– Так вот, милостивый государь, – продолжал незнакомец, – я могу помочь вам выиграть тяжбу…

Шевалье в полном восторге непроизвольно придвинулся к своему собеседнику: он и думать забыл о его гаденькой усмешке и готов был броситься ему на шею.

Сколь жалка человеческая натура: мы-то думаем, что существуют симпатии и антипатии, а ведь на самом деле все определяет корыстный интерес!

– А что для этого нужно сделать? – спросил Роже.

– Бог мой! Да почти ничего, – ответил незнакомец.

– Но все же?

– Вам надо будет жениться.

Шевалье снова пристально посмотрел на своего странного посетителя, посмотрел еще более испытующе, чем в первый раз: ему вдруг пришло в голову, что перед ним помешанный.

– Только бы он не впал в буйство, – прошептал Роже, – ведь тогда это уже не будет столь забавно.

Молчание затянулось: шевалье произнес эти слова так тихо, что человек с бородавками их не расслышал и все еще ждал ответа.

– Что же вы молчите? – спросил незнакомец.

– Итак, вы сказали… – начал шевалье.

– Я сказал, господин д'Ангилем, что вам надо будет жениться.

– Жениться? Мне?

– Именно вам, собственной персоной, потому что, коли женится кто-нибудь другой, это вашему делу не поможет.

– Полно, да вы, я вижу, шутите! – воскликнул Роже.

– Если бы я имел честь принадлежать к числу ваших близких знакомых, – возразил новоявленный сват, – вы бы, сударь, знали, что я никогда не шучу.

– В таком случае дело принимает серьезный оборот.

– Весьма серьезный, милостивый государь, – и я прошу вас так и отнестись к нему.

– Стало быть, мне придется жениться?

– Боже правый, ну, конечно.

– А на ком? – спросил шевалье, делая над собой заметное усилие.

– На ком? – повторил человек с бородавками, и на губах его опять появилась гаденькая усмешка. – На ком? Вот теперь вы коснулись самого главного.

– Вот именно, на ком? – снова спросил Роже. – Вы, конечно, понимаете, сударь, не могу ведь я жениться очертя голову: кота в мешке не покупают!

– И все же именно так вам и предстоит жениться, господин д'Ангилем.

– Скажите, а вы в здравом рассудке? Вы в этом твердо уверены? – осведомился шевалье.

– То есть как это надо понимать: уверен ли я?

– Вот-вот, уверены? Ибо в противном случае я должен вам прямо сказать, что очень спешу, что меня ждут, что мне некогда шутки шутить и что я хотел бы как можно скорее покончить с игрою, в которую мы играем.

– Но это вовсе не игра, сударь, – отвечал незнакомец

самым торжественным тоном, – а уж если игра, то, во всяком случае, такая, где ставка – ваше будущее, ибо вы можете выиграть полтора миллиона ливров.

– Тогда, ради всего святого, объясните, как вас надобно понимать?

– Влюблены ли вы в кого-нибудь? – осведомился человек с бородавками, вперяя в Роже пронзительный взгляд.

Шевалье почудилось, будто переливчатые глаза посетителя буквально буравят его и взор незнакомца проникает в самую глубину его души.

– Избавьте меня, сударь, от необходимости отвечать вам, – сказал юноша, сильно покраснев.

– Коль скоро, милостивый государь, вы требуете, чтобы уважали вашу тайну, – продолжал незнакомец, – я тоже вправе настаивать на том, чтобы уважали и мою.

– Ну, это совсем другое дело! – вырвалось у Роже.

– Почему другое дело?

– Вы должны все мне открыть…

– Напротив, господин д'Ангилем, вы последний, кому я должен что-либо открыть; но я не запрещаю вам догадываться…

– Спасибо и на том! Благодарю вас за разрешение, сударь, но, по несчастью, я не мастер разгадывать загадки.

– В таком случае попробуйте сами что-нибудь разузнать, ибо я, со своей стороны, могу лишь повторить то, что уже сказал.

– Сударь, – проговорил шевалье, вставая, – вы понимаете…

– Да, милостивый государь, я понимаю, что вы человек в высшей степени бескорыстный, – ответил незнакомец, в

свою очередь поднимаясь с места, – и вам безразлично, проиграете вы или выиграете свою тяжбу. В конечном счете для такого вельможи, как вы, не имеет особого значения, будет у него на полтора миллиона ливров больше или меньше.

– Черт побери! – вырвалось у Роже. – Не имеет особого значения! Ну нет, сударь, я иначе смотрю на вещи, чем вы. Но поймите сами: не могу ведь я жениться вот так… столь нелепым образом…

– Сударь, сударь, – заговорил незнакомец с видом глубочайшего сочувствия, – хорошенько запомните мои слова: вы сами не понимаете, от чего отказываетесь.

– Но скажите наконец, сударь, если я соглашусь вступить в переговоры, что я должен буду сделать?

– Коли уж переговоры такого рода начинают, их надобно доводить до конца.

– Стало быть, вы требуете от меня решительного согласия?

– Вот именно.

– И мне придется жениться?..

– Не зная даже имени невесты.

– Но это же противно здравому смыслу.

– И все-таки позвольте мне…

– Никогда, сударь, никогда!

– Это ваше последнее слово?

– Последнее, окончательное!

– Подумайте еще немного.

– Я уже думал, вернее, не стану и думать, раз речь идет о такой нелепице… Мне, мне жениться, не зная на ком, даже не видя своей невесты, не перемолвившись с нею ни

единым словом, не ведая, молода она или стара, хороша собой или уродлива, глупа или умна?! Ну, знаете, любезнейший, вы, видно, совсем теряете голову!

– А вы – проигрываете ваш процесс, сударь!

И незнакомец взялся за шляпу.

В этом окаянном человеке было столько уверенности, что шевалье пришел в замешательство. Он принялся мерить комнату большими шагами: сначала шел от кровати к окну, затем от двери к комоду и в конце концов опять тяжело опустился в кресло, наблюдая украдкой за посетителем, а тот между тем с самым непринужденным видом скреб обе свои бородавки и подбородок.

– Неужели, сударь, – заговорил Роже, первым прерывая молчание, – неужели вы положительно отказываетесь дать мне хоть какие-нибудь разъяснения?

– Клянусь честью, сударь, я бы со всей охотой, – отвечал незнакомец, – но именно это мне строго-настрого запрещено.

– Скажите мне только, а молодая особа… Тьфу!.. – вырвалось у Роже, который сам прервал себя этим восклицанием. – Молода ли она, по крайней мере?

Незнакомец продолжал скрести свои бородавки.

– Ну тогда ответьте: хороша она собой или безобразна?

Посетитель перешел от бородавок к подбородку.

– Могу ли я, наконец, хотя бы осведомиться: невеста… девица она… или вдова?

Незнакомец остался совершенно невозмутим.

– Ах, да с вами и сойти с ума недолго! – вскричал Роже, ударяя себя кулаком по лбу.

– Сударь, я прощаюсь с вами до завтра, – сказал незнакомец, – хорошенько подумайте над моими словами.

– А что будет завтра? – спросил шевалье.

– Завтра в это же самое время я опять приду.

– Вы придете один?

– Нет, я принесу с собой обязательство о вступлении в брак.

– Обязательство о вступлении в брак?! – воскликнул Роже, бледнея.

– О, пусть это вас не тревожит, – отвечал незнакомец, – вы подпишите его только в том случае, если сами того пожелаете. Будьте спокойны, дорогой господин д'Ангилем, – прибавил он с обычной своей ухмылкой, – силком вас к венцу не поведут.

С этими словами таинственный посетитель, пятясь, вышел из комнаты, отвешивая еще более низкие поклоны, чем тогда, когда появился; он был уже далеко, а шевалье в полном изнеможении судорожно сжатыми и дрожащими пальцами все еще стискивал свой влажный от пота лоб.

XIV

О ТОМ, КАК ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ ПОЯВИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ И КАК В ХОДЕ ВТОРОГО СВИДАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА НЕСКОЛЬКО ПРОЯСНИЛИСЬ

Роже довольно долго не мог опомниться от удара, который так неожиданно на него обрушился; наконец, собравшись с силами, он поднялся с кресла, взял шляпу и поспешил к маркизу де Кретте, своему постоянному советчику, главной своей опоре.

По счастью, маркиз был дома.

– Что с вами?! – воскликнул он при виде шевалье. – Неужели вы проиграли тяжбу?

Кретте задал этот вопрос потому, что на его друге, как говорится, лица не было.

– Слава Богу, пока еще нет, – отвечал Роже, – ведь, как вам известно, дело будет разбираться в суде только через три дня. И даже…

– И даже?.. – повторил маркиз.

– И у меня даже появилась некоторая надежда выиграть эту тяжбу, – со вздохом закончил шевалье.

– Тогда мне кажется, у вас нет причины столь тяжко вздыхать.

– Разумеется, вам так кажется, ибо вы не знаете, на каких условиях это возможно.

– Ах! Стало быть, вам поставили условия?

– Увы! – пробормотал Роже.

И он бросился в объятия к своему другу.

– Да говорите же! – воскликнул маркиз. – Вы заставляете меня не на шутку тревожиться.

И тогда шевалье поведал маркизу о человеке с опаловыми глазами и о своем разговоре с ним. Кретте выслушал рассказ с величайшим вниманием; когда Роже закончил, он сказал:

– Все это весьма странно. Быть может, у виконта де Бузнуа осталась побочная дочь, и ее хотят пристроить. Или, быть может, мой бедный друг…

– Или, быть может… – повторил шевалье, бледнея от догадки маркиза.

– Или, быть может, сама старая индианка задумала снова вступить в брак.

Роже содрогнулся, но одно соображение тут же успокоило его.

– Это невозможно, ведь она умерла.

– Тогда с ее стороны вам, видимо, ничего не угрожает.

– Правда, бывает всякое, – спохватился Роже, – я видел людей, которых считали умершими, а они вдруг появлялись среди живых.

– Упаси Господи! – воскликнул маркиз.

– Однако не думаю, что такое может произойти и на сей раз, – прибавил д'Ангилем.

– Тогда поищем другое объяснение. А ну как тут ловушка, расставленная вашим противником? Что вы на это скажете?

– Я уже и сам подумывал; да только какая корысть господину Афгано женить меня?

Мы забыли упомянуть, что именно так звали индийца.

– Как знать! Но, так или иначе, будьте настороже.

– Да, разумеется, я все время настороже, но это, увы, не дает мне ни единого дня отсрочки: завтра от меня ждут ответа.

– Посоветуйтесь со своим отцом.

– Но ведь отец находится в пятидесяти пяти льё отсюда; а потом я должен вам прямо сказать, маркиз, что не могу так вот взять и жениться: я люблю, просто боготворю одну юную девушку из наших краев, она сама прелесть, сущий ангел во плоти и питает ко мне такую же привязанность, какую я сам питаю к ней; если я женюсь на другой, она умрет.

– Вы так полагаете? – спросил Кретте, и на лице его отразилось сомнение.

– Я в том уверен, она дала мне слово.

– Умереть?

– Нет, жить только для меня одного.

И Роже рассказал маркизу обо всех своих приключениях, связанных с Констанс, но имени ее не назвал.

– Ничего не поделаешь, друг мой! В таком случае вам думать не о чем. Однако, что вам дороже: девица… Не будет нескромностью, если я спрошу у вас, как зовут эту барышню?

– О нет! Ее зовут Констанс де Безри.

– Черт побери! Констанс, иными словами, постоянство! Да, такое имя многое сулит.

– Вы о чем-то хотели спросить меня?

– Я хотел спросить, что вам дороже: мадемуазель Констанс де Безри или семьдесят пять тысяч ливров годового дохода?

– Будь я один, я пожертвовал бы ради нее состоянием, жизнью, всем на свете! Но, увы, у меня есть отец и мать, они боготворят меня, и мой отказ разорит их.

– Да, вы совершенно правы, шевалье, – сказал маркиз, – вы им всем обязаны. Понимаете, друг мой, это дело вашей совести, только вы один и можете принять решение.

Роже тяжело вздохнул.

Маркиз де Кретте между тем впал в задумчивость и долго о чем-то размышлял; внезапно он схватил шевалье за руку и так крепко сжал ее, что тот оторопел.

– Вы трижды обреченный человек, – проговорил маркиз, – я догадался, из какого источника идут сделанные вам предложения.

– Боже правый! – в испуге воскликнул Роже.

– Ваш человек с бородавками – какой-нибудь судья, заседатель или судебный пристав, у него дочь-горбунья, и он горит желанием выгодно пристроить ее.

– Прошу вас, маркиз, не говорите мне подобных вещей, у меня мурашки по спине бегают.

– Любезный шевалье, надо уметь говорить друзьям правду в глаза.

– Увы! – простонал Роже.

– Повторяю, – продолжал маркиз, – напишите вашему почтенному отцу и попросите у него совета; но, на мой взгляд, здесь нет места сомнению.

– Тут может скрываться и другое!.. – заговорил, жалобно растягивая слова, злополучный юноша. – Быть может, у одного из тех господ, о коих вы только что упоминали, есть дочь, и она…

– Я уже об этом подумал, – отвечал Кретте, – да только не хотел вам говорить… Какой порок вы предпочли бы?.. Я, признаюсь, предпочел бы врожденный…

– Да я попал в ужасную западню! – в бешенстве закричал Роже.

– И тем не менее надо выбирать, – сказал маркиз, – третьего не дано. Либо вы проиграете тяжбу, либо вам придется, закрыв глаза, прыгнуть в пропасть.

– Увы, горе мне! – пробормотал Роже.

– Бедный мой друг, вы попали в ловушку, – снова заговорил Кретте, глубоко тронутый отчаянным положением шевалье. – Однако не стоит уж так убиваться до второго визита вашего таинственного гостя; улучите минуту, когда этот окаянный человек запрется с вами в комнате, потрясите его хорошенько и потребуйте, чтобы он объяснился

начистоту, если нужно – даже пригрозите ему. Ну а коли он откажется, вы тоже откажитесь; я же спрячусь за дверью, а потом последую за этим исчадием ада, если понадобится, до самой преисподней. И мы вознаградим себя, по крайней мере, тем, что отомстим ему, уж в этом я вам ручаюсь.

– Так-то оно так, но тяжбу я проиграю.

– Ах, черт побери, ничего не поделаешь, мой милый! Чем-то надо поступиться.

Поскольку все, что могли сказать друг другу шевалье и маркиз, никак не двигало дело вперед, Роже попрощался и пошел к себе в гостиницу «Золотая решетка».

Он было совсем собрался написать отцу, но потом рассудил, что письмо четыре дня пойдет до Лота, и если даже предположить, что барон отправит ответ с той же почтой, то отцовское послание будет идти в столицу еще четыре дня, что вместе составит уже целую неделю. Между тем судебное решение ожидалось через три дня, так что ответ из Ангилема никак не мог прийти вовремя, а бедный юноша так нуждался в поддержке отца, дабы принять какое-либо решение!

Время шло, а шевалье все сидел в одиночестве, проливал горькие слезы и рвал на себе волосы, с отчаянием думая о будущем; он громко призывал Констанс и мысленно прощался с родными местами, с Гаренским лесом, с лучшими воспоминаниями отрочества; он упрекал себя в глупости, в том, что он такой простофиля, и с болью соглашался со справедливыми словами маркиза, который, выслушав рассказ о пасторальной любви Роже и мадемуазель де Безри, о появлении Констанс в комнате шевалье, о бегстве молодых людей и о их пребывании у священника в

селении Шапель-Сент-Ипполит, воскликнул: «До чего же вы были простодушны, д'Ангилем! До чего же вы были наивны, распрекрасный мой Роже! До чего же вы были глупы, мой бедный друг!»

И теперь Роже повторял вслух:

– О да, до чего я был глуп! До чего наивен! До чего простодушен!

Читатель видит, что пребывание в Париже уже начало оказывать заметное влияние на нашего героя.

Однако неумолимая судьба была тут как тут и протягивала к нему свою медную руку с железными шипами. Каждая минута стоила дня, а каждый день стоил года. На следующее утро человек с бородавками, точный, как само время, и неотвратимый, как смерть, должен был появиться снова.

Роже провел всю ночь в поисках выхода из создавшегося положения; нечего говорить, что он так ничего толком и не придумал.

Наступило утро. Шевалье ожидал человека с бородавками, вооружившись множеством встречных предложений и подготовив целый арсенал каверзных вопросов.

Посетитель не заставил себя ждать. В назначенный час, минута в минуту, Роже, который весь обратился в слух, различил шум шагов на лестнице; шаги эти затихли у его двери, затем в нее трижды постучали и наконец после слова «Входите!» – его дрожащим голосом произнес шевалье – дверь отворилась и вошел роковой посланец, еще более угодливый, смиренный и медоточивый, чем накануне.

Он медленно обвел глазами комнату, затем еще раз внимательно огляделся вокруг.

– Вы и нынче один? – спросил он.

– Убедитесь сами, – отвечал шевалье. Незнакомец с той же тщательностью, что и в прошлый раз, вновь осмотрел комнату и стоявшую в ней мебель, после чего вплотную подошел к Роже; юноша был так бледен, словно ему предстояло взойти на эшафот.

– Ну как, господин д'Ангилем, обдумали вы мое предложение? – спросил таинственный посетитель.

– Больше того, я не только все хорошенько обдумал, но я вас разгадал, сударь, – ответил Роже, – а потому давайте говорить без обиняков и покончим с этим делом.

– Таково и мое заветное желание, милостивый государь, – отвечал человек с бородавками, низко поклонившись.

– Вас послал ко мне некто, желающий избавиться от своей дочери.

– Избавиться? О милостивый государь, какое грубое слово!

– Не станем препираться из-за слова. Впрочем, я, к сожалению, уверен, что оно тут самое уместное.

– И все же я хотел бы разубедить вас…

– Дальше. Отец этой особы – один из тех судей, что разбирают мою тяжбу, не так ли? – спросил Роже, пристально глядя прямо в опаловые глаза человека с бородавками.

Тот в свою очередь уставился на юношу с удивленным видом, и во взгляде его можно было прочесть почти что восхищение.

– Да, верно, милостивый государь, вы угадали.

– Ну, я в том и не сомневался! – торжествующе воскликнул шевалье.

– Но что из этого следует? К чему послужит ваша догадка?

– К чему послужит? Теперь я твердо уверен, что если не женюсь, то проиграю тяжбу.

– И столь же твердо можете быть уверены, что выиграете ее, коли женитесь.

– Все это весьма грустно, – со вздохом сказал Роже.

– Сударь, – продолжал незнакомец, – напрасно вы жалуетесь, ведь вы на верном пути к богатству. Действуйте же, господин д'Ангилем, действуйте. Вот вам мой совет.

– Стало быть, по-вашему, я, дворянин, чья честь ничем не запятнана, должен жениться на дочери человека, торгующего правосудием!

– Остается только пожалеть, господин д'Ангилем, что вы так смотрите на вещи, – ответил посетитель, – но ведь этак смотреть на жизнь просто нелепо, уж простите меня за резкость! Человек пользуется влиянием, он оказывает услугу своим друзьям и этим обязывает их к признательности, а поскольку признательность – закон возвышенных душ, то и друзья в свой черед оказывают ответную услугу.

– Да, я все понимаю, но только девица…

– Что девица?

– Девица эта… и в самом деле девица?

Незнакомец хихикнул.

– Или вдова? – продолжал шевалье. Незнакомец хихикнул чуть громче.

– Черт побери, сударь! – в бешенстве вскричал шевалье. – Да вы, кажется, смеетесь надо мной!

– Боже упаси, господин д'Ангилем! Я смеюсь лишь над вашими страхами.

– Возможно, они и неосновательны, – продолжал Роже, – но ведь вы сами принуждаете меня покупать кота в мешке!

– Тем приятнее будет ожидающий вас сюрприз, господин д'Ангилем.

– Ах!.. Не могу же я удовольствоваться вашими словами, сударь. Дайте мне хоть одним глазком взглянуть на девицу… на юную особу… на особу, на которой я должен жениться… словом, на ту даму, о ком идет речь…

– Невозможно, милостивый государь, невозможно.

– Но послушайте… ее отец… позвольте мне взглянуть хотя бы на отца… Ведь это такая малость!

– Напротив, милостивый государь, вы даже сами не понимаете, о чем просите: коли вы увидите отца, то уже через сутки узнаете, кто его дочь и какова она.

– Вы меня с ума сведете, – пробормотал шевалье.

– Послушайте, господин д'Ангилем, – продолжал человек с бородавками, стараясь говорить как можно мягче, – да не отчаивайтесь вы так: поверьте мне, дело-то стоящее, вы потом сами станете раскаиваться, что были так неуступчивы, ибо, поддаваясь всем этим мелким соображениям, которые, как я замечаю, увы, оказывают на вас столь сильное влияние, вы рискуете потерять полтора миллиона ливров и проиграть тяжбу. Да вам еще придется заплатить тридцать, а то и все сорок тысяч ливров судебных издержек. Между тем, женившись, вы получите свои полтора миллиона, получите сверх того мебели и иных предметов обстановки на шестьдесят тысяч экю, драгоценных камней и украшений больше чем на полтораста тысяч ливров, не считая наличных денег в шкатулке, а шкатулка-то тяже-

лехонькая, уж за это я ручаюсь, сам присутствовал, когда ее опечатывали.

– Ах так! Тогда позвольте еще один вопрос.

– Спрашивайте, милостивый государь, спрашивайте, и, коли я только смогу на него ответить, непременно отвечу.

– Почему мой будущий тесть, – спросил Роже, – не предложил свою дочь моему противнику, господину Афгано?

– Да потому, что он решил отдать предпочтение вам.

– Весьма обязан!

– Ведь индиец уродлив, а вы красивый юноша; креме того, ваш противник, быть может, и важная персона в своей стране, но у нас его знатность никем не признана; короче говоря, имя д'Ангилем гораздо приятнее звучит для французского уха, чем какое-то дикое имя Афгано. Госпожа Афгано! Сами посудите: как возгласить подобное имя при дворе?! И тем не менее, несмотря на все это, коли вы нынче откажетесь…

– Что будет, если я нынче откажусь?

– Я завтра же отправлюсь к господину Афгано.

– Стало быть, отцу не терпится пристроить свою дочку?

– Да, она уже девица на выданье.

– Охотно верю. Словом, выбор остановили на мне, чтобы меня погубить.

– Повторяю, милостивый государь, вы просто неразумны, такие речи приличествуют разве что зеленому юнцу. Вам предлагают полтора миллиона ливров, они сами плывут вам в руки, для этого вас отыскивают в самой жалкой комнате самой жалкой гостиницы, а вы при этом утверждаете, будто вас хотят погубить! Ах, поистине, вы меня приводите в отчаяние.

– А может быть, мы столкуемся полюбовно, сударь? – спросил шевалье. – Не возьмет ли тот, кто прислал вас ко мне, сто, двести, ну пусть даже триста тысяч ливров? Я их уступаю, я их предлагаю, я их дарю ему!

– То, что вы мне предлагаете, господин д'Ангилем, противно здравому смыслу: сто тысяч экю, каковые вы готовы отдать, уже и так не ваши, они составят приданое вашей будущей жены.

– Как? Приданое моей будущей жены?

– Разумеется! Беря в жены юную особу, вы признаете что за ней дают приданое в сто тысяч экю; по-моему это вполне естественно, коль скоро ее отец дает вам возможность получить полтора миллиона ливров.

– Вы сказали «юная особа», сударь! – воскликнул шевалье. – Да, вы именно так сказали. Стало быть, невеста молода?

– Вы счастливец, господин д'Ангилем, редкостный счастливец! Соглашайтесь, говорю вам, соглашайтесь.

– Послушайте, вы ведь меня знаете, я живу не таясь, у меня нет никаких тайн, я не прячу карт, а играю в открытую…

– Вот и будьте хорошим игроком до самого конца.

– Я и сам того хочу; но мне нужно доказательство ваших возможностей, свидетельство вашего влияния.

– Какое вам угодно доказательство?

– Судебное решение ожидается послезавтра, пусть его отложат на неделю, и в обмен на это я дам свое согласие; правда, ставлю еще два условия.

– Какие именно?

– Невеста не должна быть уродлива, и она не должна быть, тьфу, вернее, должна быть…

– Я вас понимаю, господин д'Ангилем.

– Ну и как?

– Я согласен.

– Как вас надо понимать? Вы ручаетесь, что…

– Да, именно.

– В таком случае вот вам мое слово.

– Стало быть, через десять дней?

– Через десять дней.

– Я приду к вам утром того дня, когда будут выносить судебное решение.

– Я вас жду.

– В добрый час, господин д'Ангилем, в добрый час! Ах, милостивый государь, вы родились под счастливой звездою!

Человек с бородавками взял шляпу и вышел, пятясь и отвешивая самые почтительные поклоны.

Однако минут через пять он возвратился возмущенный.

– Сударь, – заговорил он. – Как видно, вы добиваетесь огласки, полагая, что вас это спасет, и потому ваш друг, маркиз де Кретте, устроил засаду: он сидит в своей карете в двадцати шагах от гостиницы и ждет, пока я выйду; не отпирайтесь, я узнал ливрею его слуги и гербы на карете. Да только зря вы так поступили, поймите хорошенько: отсрочка, о которой мы условились, накладывает обязательства не только на нас, но и на вас. Ежели за эти дни наши планы получат огласку, ежели что-либо каким-нибудь образом станет известно, ежели какой-либо шаг с вашей стороны покажется нам подозрительным, то я – единственный свидетель, понимаете, единственный свидетель – буду все отрицать, и вы с позором проиграете тяжбу.

Шевалье был ошеломлен этой неожиданной угрозой, она заранее обрекала на неудачу его тайные замыслы: мы уже говорили, что маркиз и он задумали узнать имена корыстолюбивых интриганов и заставить этих мучителей Роже пережить столь же неприятные минуты, как те, какие по их милости выпали на его долю.

Видя, что он изобличен, юноша потерял присутствие духа.

– Что мне надобно сделать, сударь, – спросил он у незнакомца, – чтобы успокоить вас?

– Вы первый выйдете на улицу, милостивый государь, – ответил тот, – и лишь когда я увижу, что вы уехали вместе с маркизом, я сам покину гостиницу.

Роже взял шляпу и уныло поплелся к выходу; позади, на некотором расстоянии от него, шел таинственный посетитель.

Сидевший в карете Кретте давно уже потерял всякое терпение. Шевалье объяснил ему, что их план разгадали, и друзья отправились в Люксембургский сад, где долго беседовали вдвоем.

Человек с бородавками тем временем удалился в свою таинственную резиденцию.

– Делать нечего, шевалье, – сказал маркиз, – нам остается только одно: потихоньку собирать нужные сведения, вас это немного развлечет, и удар, который невозможно избежать, покажется вам, быть может, не столь ужасным. В конечном счете, друг мой, чему быть – того не миновать, примиритесь с тем, что брак ваш будет не из самых удачных. Впрочем, вы легко утешитесь, внимательно оглядевшись по сторонам и поняв, что вокруг не так уж мало весьма странных супружеских союзов.

– Все это верно, да только, вступая в брак, люди обычно знают, на что они идут, я же понятия не имею, что меня ожидает, легко могу попасть впросак, и меня же еще поднимут на смех. Господи, что скажут наши друзья?!

– А они ничего не узнают; не собираетесь же вы им об этом рассказывать, не правда ли?

– Боже избави!

– Ну а ваш тесть со своей стороны вряд ли станет хвастаться тем новым способом, при помощи коего он зажег свадебный светильник для своей дочери.

– Увы! Ведь вы сами не раз говорили мне, что в Париже все становится известно.

– Да, почти все; но когда сильно желают что-либо скрыть, то это удается; к тому же вам приставили нож к горлу, и тут уж, как говорится, ничего не попишешь! Припомните-ка те уроки, какие вам преподали иезуиты в Амбуазе, и коль скоро вы усердно изучали философию, друг мой, принимайте жизнь как философ.

– Ах, маркиз! Вам-то легко говорить. Но скажите откровенно: сами-то вы вступили бы в такой брак? Только откровенно.

– Я, маркиз де Кретте, чей годовой доход достигает шестидесяти тысяч ливров, не считая наследства матери, признаюсь, не женился бы на особе, которую в глаза не видел; Но если бы меня звали Роже Танкред д'Ангилем и мне в случае отказа предстояло умереть с голоду, то я женился бы на ком угодно, даже на самой Алекто, а уж потом разделался бы с нею при первом удобном случае, разбив ее прялку о ее же собственную спину.

– Вы говорите искренне?

– Слово дворянина!

– Но подумайте, я же влюблен в другую!

– Влюблены? Это вообще-то глупо, а при создавшихся обстоятельствах и того хуже: просто беда!

– Но подумайте, ведь я потеряю Констанс!

– Ба! Как известно, только гора с горою не сходится! В один прекрасный день вы и мадемуазель Констанс де Безри снова встретитесь.

– Да, но она разуверится в моей порядочности.

– А вы ей все объясните.

– Она проклянет меня.

– Ну, в таком случае она поступит неразумно, и вся вина падет на нее самое.

– Но как ей понять, почему я пошел на такую измену?

– Вы скажете ей, что за вас все решил ваш отец, и она подумает, будто барон д' Ангилем поступил так в отместку виконту де Безри.

– А вдруг она сама выйдет замуж?

– Тем лучше для вас, мой друг, тем лучше! Прежде всего, не хотите же вы испытывать угрызения совести из-за того, что Констанс по вашей вине осталась сидеть в девицах? А потом, коли она тоже вступит в брак, как вступили в него вы, все скоро позабудут о том, что когда-то между вами был роман; в один прекрасный день вы отправитесь в родные края, встретитесь на охоте с ее мужем и пригласите его к обеду; он станет волочиться за вашей женою, а вы – за его супругой. И как бы прыток он ни был, у вас все равно будет преимущество перед ним, ибо вы начнете с того места, где когда-то остановились.

– Ах, если б вас услышала госпожа де Ментенон, мой милый Кретте!

– Она бы почувствовала себя моложе лет на сорок, только и всего.

На этом разговор друзей закончился, и они поспешили домой, чтобы поскорее приняться за разгадку тайны.

XV

О ТОМ, КАК БЫЛО ВЫНЕСЕНО СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

Целых три дня шевалье и маркиз провели в беготне и хлопотах; друзья пустили в ход множество тонких маневров и хитроумных уловок, стараясь узнать то, что им так хотелось узнать, – и вот заговорили слуги, развязали языки привратники, даже судейские писцы и те разжали челюсти.

Наведя какие только можно было справки, д'Ангилем и де Кретте установили, что, по крайней мере, у двенадцати судей и у шестидесяти судебных советников есть дочери на выданье: таким образом, после всех своих разысканий молодые люди были почти столь далеки от разгадки, как и прежде.

Надобно сказать, что некоторые из этих молодых особ внушали несчастному юноше особые опасения, ибо никто не отважился бы назвать их скромницами.

Одну из них как-то обнаружили ночью в полуразрушенном монастыре, за улицей Сен-Бенуа.

Другая незадолго до того совершила поездку в Пикардию, причем ни отец, ни мать не сопровождали ее, и злые языки утверждали, будто обратно в Париж эту девицу привез двоюродный брат, мушкетер.

Наконец, третью, по слухам, видели в фиакре в окре-

стностях Марли около часу ночи: она выходила из пресловутой гостиницы «Золотой телец».

Правда, ничто не указывало на то, что предполагаемая невеста Роже была одной из этих особ, но ничто также не указывало и на то, что она не могла быть одной из них. А потому шевалье все время пребывал в мучительной тревоге.

Тем временем он узнал, что в полном согласии с пожеланием, которое он выразил своему таинственному посетителю, судебное разбирательство было отложено ровно на неделю. Это недвусмысленно говорило как о доброй воле преследователей Роже, так и об их влиянии в судебном ведомстве.

На восьмой день после того, как шевалье отправил письмо домой, иначе говоря, за два дня до принятия судебного решения, он получил ответ из Ангилема.

Барон на сей раз не поскупился на бумагу и чернила: его послание занимало восемь страниц большого формата. Он сообщал Роже, что лично сам приехал бы в Париж, если бы полное отсутствие денег не удерживало его в родовом замке. Далее он сетовал на судьбу, поставившую его любимого сына перед необходимостью сделать роковой выбор, и прибавлял, что при сложившихся обстоятельствах тот волен поступить, сообразуясь с доводами рассудка или повинуясь голосу сердца; шевалье усмотрел в этих словах проявление высшей деликатности со стороны отца и потому, обливаясь горькими слезами, принял жестокое решение отказаться от Констанс и тем самым обеспечить покой и благосостояние родителей.

«Думайте прежде всего о себе, а не о нас, – писал барон в своем послании, которое могло бы послужить образцом бескорыстия. – *Вы молоды, Роже, и Вам предстоит еще жить очень долго; не губите же свое будущее ради того, чтобы усладить последние годы нашей жизни. Ежели мы проиграем тяжбу, Ваша матушка и я будем разорены. Но какое это имеет значение! Мы привыкли к скромному существованию. К тому же у Вас достаточно сил и доброй воли, у Вас есть влиятельные друзья, Вы, конечно, получите какую-нибудь должность, и это позволит Вам облегчить наше положение и поддерживать нас до смерти, которая, увы, уже не за горами».*

Роже не мог читать дальше; он вытер глаза и молча в знак уважения склонил голову.

Когда в назначенный день человек с бородавками вошел к нему в комнату, шевалье сказал:

– Сударь, я готов. Что должен я подписать?

– Вот эту бумагу, – отвечал таинственный посланник. Он достал из кармана исписанный лист и расправил его.

– Превосходно, – сказал Роже.

И, не читая, подписал протянутую бумагу.

– Ей-Богу, милостивый государь, вы настоящий дворянин! – воскликнул человек с бородавками. – Вы долго колебались, прежде чем решиться, но зато теперь, когда решение принято, ведете себя как истинный вельможа. И вам не придется раскаиваться в своей царственной небрежности. Читайте!

Охваченный ужасной тревогой, шевалье начал читать, с трепетом ожидая, что он вот-вот увидит имя одной из трех

ужасных девиц; но, по счастью, имя невесты было ему совсем незнакомо.

Бумага заключала в себе брачное обязательство; в согласии с ним высокоблагородный и высокочтимый шевалье Роже Танкред д'Ангилем после того, как он выиграет тяжбу против пасынка покойного виконта де Бузнуа, некоего Афгано, должен был жениться на мадемуазель Кристине Сильвандир Буто, единственной дочери метра Жана Амадея Буто, советника и докладчика Большой палаты королевского суда; к бумаге была приложена расписка в том, что шевалье д'Ангилем получил сто тысяч экю в качестве приданого вышеозначенной Кристины Сильвандир Буто.

Метр Жан Амадей Буто был тем самым суровым советником и докладчиком суда, который не пожелал принять ни д'Ангилема, ни Афгано; у него не оказалось ни кошки, которой можно преподнести дорогое кольцо, ни обезьяны, на чье имя можно было составить дарственную, ни попугая, для которого можно было учредить пожизненную ренту. Зато у него нашлась дочь на выданье.

– А что, она очень уродлива, сударь? – с тревогой спросил Роже.

– Мне запрещено отвечать на любые ваши вопросы, господин д'Ангилем. Займитесь-ка лучше своим нарядом, и мы вместе отправимся во Дворец правосудия, дабы присутствовать на судебном заседании: решение должно быть вынесено через два часа; а затем я буду иметь честь проводить вас к господину Буто, вашему будущему тестю.

– Это еще зачем? – испуганно воскликнул Роже, даже не замечая неуместности такого вопроса.

– Прежде всего, чтобы вы могли выразить ему свою признательность, ибо отныне вы будете располагать таким пустяком, как полтора миллиона ливров, а затем для того, чтобы вы могли приветствовать свою нареченную.

У шевалье подкосились ноги.

«Зато отец мой будет спасен, а матушка спокойно проживет до самой смерти в Ангилеме», – прошептал он, без сил опускаясь в кресло.

– Полноте, полноте, – посоветовал человек с бородавками, – вижу, вам надобно побыть в одиночестве и немного прийти в себя. Я, пожалуй, сам отправлюсь во Дворец правосудия, а вы приедете туда позднее.

И человек с бородавками вышел из комнаты, на сей раз с весьма непринужденным видом. От Роже не укрылась перемена в его поведении.

«Оно и понятно, – проговорил он вполголоса. – Теперь-то он уверен в успехе своего дела, ведь я собственноручно подписал себе приговор».

Потом, как ему посоветовал посланец метра Буто, шевалье занялся своим туалетом.

На душе у д'Ангилема скребли кошки; он заранее ненавидел женщину, которую ему предстояло вскоре увидеть, и все же в угоду мужскому самолюбию хотел, чтобы после первой встречи у нее не осталось дурного впечатления от его наряда и наружности.

Шевалье надел богато расшитый камзол из белого атласа, а поверх него украшенный золотыми шнурами черный бархатный кафтан; затем он послал слугу за маркизом де Крете, и тот вскоре появился в своем самом великолепном экипаже.

За его каретой следовали кареты д'Эрбиньи, де Шастелю и де Кло-Рено. Мадемуазель Пуссет ехала за этим кортежем в наемном экипаже.

Маркиз де Кретте поднялся в комнату шевалье д'Ангилема.

Едва завидев своего друга, Роже протянул к нему руки и горестно воскликнул:

– Увы! Увы! Увы!

– Как видно, жертвоприношение совершено? – спросил маркиз.

– Совершенно и безвозвратно, – отвечал Роже. – Я подписал эту окаянную бумагу. Бедная Констанс!

– А есть ли… какие-либо новые сведения о невесте? – спросил Кретте, немного помедлив.

– Ее зовут Сильвандир.

– Ах, черт побери! Прелестное имя! Это уже нечто. Но имя именем, а как фамилия сей особы?

– Мадемуазель Буто.

– Дочь нашего советника – докладчика в суде! – воскликнул маркиз.

– Она самая, – ответил Роже. – Увы, должно быть чучело какое-нибудь! Он долго скрывал дочку от посторонних глаз и наконец решил расстаться с нею ради меня.

– Вернее, ради вашего баронского титула. Кстати, я несколько раз встречался с метром Буто.

– И что он за человек, мой будущий тесть?

– Помесь еврея и араба! Впрочем, как утверждают, он несметно богат.

– И, несмотря на свое богатство, – простонал шевалье, – он вынужден прибегать к такому способу, чтобы при-

строить дочь! Ах, друг мой, друг мой, одна только сыновняя любовь и преданность…

– Да, разумеется, Клеобис и Битон[12] – ничто в сравнении с нами, шевалье! Но сейчас не время сетовать, пора ехать во Дворец правосудия. Ну а если окажется, что ваша супруга уж слишком… причудлива… вы поселите ее в самых дальних комнатах своего особняка, приставите к ней слуг и дадите ей на жизнь сто тысяч ливров. Нечего говорить, досадно, что она будет носить ваше имя, да тут уж ничего не поделаешь. Зато у вас сохранится еще миллион четыреста тысяч ливров, и вы станете искать развлечений на стороне. Вы внимательно прочитали подписанное вами обязательство? Там ничего не сказано о том, что вы должны?..

– Нет.

– Вот видите, мой друг, а вы еще жалуетесь! Скорее, скорее, карета ждет нас внизу.

И Кретте увлек за собою д'Ангилема; тот поклонился поочередно д'Эрбиньи, Кло-Рено, Шастелю и мадемуазель Пуссет, проходя мимо их экипажей, а затем сел в карету маркиза.

Вскоре они уже были во Дворце правосудия; там собралось много народу. Сын индианки также пожелал присутствовать при развязке этой затянувшейся тяжбы. Говорили, будто он истратил пятьдесят тысяч ливров или около того, чтобы заручиться расположением судей. Вид у него был такой сияющий, что Роже едва не лишился чувств, даже Кретте сильно побледнел.

---

[12] *Клеобис и Битон.* – Сыновья Кидиппы, жрицы Геры, прославившиеся сыновней любовью.

Жрецы Фемиды еще находились в соседней комнате: они совещались.

После часового совещания суд в полном составе вернулся в зал заседаний. Шевалье узнал трех судей и вздрогнул: позади них скромно шел советник, готовивший доклад по тяжбе.

– Как зовут советника, составлявшего доклад по этому делу? – робко осведомился Роже у своего соседа.

– Метр Буто, – ответил тот. – В высшей степени достойный человек!

Шевалье попытался хоть что-нибудь прочесть на лице метра Буто, но тщетно.

Судьи заняли свои места с тем важным и торжественным видом, какой присущ служителям Фемиды, обвели залу инквизиторским взглядом, который никогда ни на ком не останавливается; затем метр Буто развернул какую-то бумагу.

– Мужайтесь, – шепнул маркиз, пригибаясь к самому уху шевалье, – ведь это же наш тестюшка.

– Знаю, знаю, – ответил Роже.

Метр Буто откашлялся, плюнул в платок и прочел нижеследующее:

«Принимая во внимание, что истец, господин Афгано, иначе именуемый „Индиец“, не сумел представить бумаги, каковые ему надлежало представить суду, и что не имеется никаких доказательств его прав на наследство, и принимая во внимание, что второй истец, барон Аженор Паламед д'Ангилем, чьи интересы представляет его сын шевалье Роже Танкред д'Ангилем, и есть самый близкий

родственник покойного и что он представил суду нужные бумаги, кои подтверждают это родство…

Судебная палата постановляет, что истец, барон Аженор Паламед д'Ангилем, без отлагательства вступит во владение наследством покойного виконта де Бузнуа, включая движимое и недвижимое имущество, – словом, во владение всем, что принадлежало покойному, как сие предусматривается законом.

Судебная палата приговаривает истца, господина Афгано, иначе именуемого «Индиец», к уплате всех судебных издержек и расходов без какого-либо изъятия».

Метр Буто прочитал все это, ни разу даже не взглянув на шевалье, который вцепился в скамью и с трудом удерживал равновесие.

Маркиз де Кретте обнял своего друга и шепнул ему на ухо:

– Д'Ангилем, твой тесть – великий человек.

– Разумеется. Но не торопитесь, – отвечал Роже, – сейчас индиец предъявит свою бумагу.

– Он бы не стал ждать последней минуты, – возразил Кретте. – Будьте спокойны: если уж он ее до сих пор не представил, стало быть, у него ее нет.

В самом деле, индиец не предъявил никакой бумаги. Сперва он опустил голову, как будто его сразил неожиданный удар, но тут же выпрямился с торжествующим видом.

– Ну что ж, – сказал он достаточно громко, чтобы его услышали не только судьи, но и публика, заполнившая зал, – моя матушка поступила осмотрительно, не отдав

всего, что имела, этому презренному Бузнуа. Вот доказательство того, как неосторожно поступает женщина, обогащая своего любовника.

Роже почувствовал, как от гнева кровь бросилась ему в голову, он резко повернулся в сторону индийца, готовый немедля вступиться за честь человека, чьим наследником только что был объявлен.

– Да вы сошли с ума! – воскликнул Кретте, хватая его за руку. – Не мешайте бедняге, которого ободрали как липку, поплакаться в свое удовольствие. Ведь ваша фамилия не Бузнуа, а д'Ангилем. Черт побери, ваши стряпчие еще и не такое говорили!

В эту минуту индиец направился к месту, где сидели наши молодые дворяне. Роже решил, что тот идет к нему, и приготовился достойно встретить противника, однако индиец проследовал мимо. Проходя, он сказал достаточно громко, чтобы слова его можно было разобрать:

– Напрасно вы меня оставили, мадемуазель Пуссет, у меня еще и теперь сто тысяч ливров годового дохода.

– С чем вас и поздравляю, сударь, – вмешался шевалье, – этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли достойным образом носить свое имя.

– Полно, полно, не затевайте ссоры, – остановил своего друга маркиз, – лучше поедем ко мне, поужинаем и повеселимся.

– Увы, любезный маркиз, – отвечал д'Ангилем, – вы забываете, что мне надо ехать к невесте.

Мы должны признаться, что шевалье произнес эти слова с гораздо менее удрученным видом, чем можно было ожидать. В ту минуту он думал о том, как будет гордиться

его отец и радоваться его матушка, когда они вдруг окажутся столь баснословно богаты. И бедный юноша был настолько хорошим сыном, что старался побыстрее забыть о том, как будет горевать Констанс.

Кроме того, к благоденствию быстро привыкают: Роже вышел из судебной палаты столь горделивой походкой и до того напыжившись, как будто он был миллионером с самого своего рождения.

Кретте предоставил в распоряжение друга свою карету, чтобы тот мог отправиться с визитом к метру Буто; затем маркиз распрощался с Роже, напомнив, что в восемь вечера он ждет его к ужину.

Только тут шевалье заметил позади себя человека с бородавками. Опаловые глаза таинственного посредника метали молнии.

– Метр Буто только что покинул Дворец правосудия и поехал к себе домой. Не соблаговолите ли вы, господин барон, не мешкая, нанести ему визит?

– Разумеется, любезнейший, – отвечал шевалье, – я и сам этого очень хочу.

– Ну как, вы довольны, господин д'Ангилем?

– Да, сударь, вы в точности сдержали свое слово; но осталось выполнить еще два моих условия.

– И они будут выполнены, милостивый государь, также неукоснительно, как было выполнено первое, по крайней мере, я уповаю на это.

– Сударь, доставьте мне удовольствие, поднимитесь ко мне в карету и едем.

Человек с бородавками принял приглашение, однако, несмотря на все настояния Роже, он согласился ехать только на переднем откидном сиденье.

Они остановились на улице Планш-Мибре и поднялись на четвертый этаж. Метр Буто принял шевалье у себя в кабинете; это был человек очень маленького роста, с огромным лбом, крошечными глазками, почти совсем скрытыми за очками, с густыми седеющими бровями и тонкогубым ртом, затерявшимся среди морщин и складок, – словом, будущий тесть шевалье оказался человеком весьма уродливым, правда, ведь жениться-то юноше предстояло, к счастью, не на нем. Роже учтиво поклонился и открыл было рот, чтобы выразить свою признательность.

– Не благодарите меня, милостивый государь, – сказал метр Буто, – ваши права были совершенно бесспорны; к тому же я только следовал велениям своей совести, и судьям, хотя они были предубеждены против вас, пришлось согласиться с моими скромными доводами и вынести справедливое решение, как и подобает служителям правосудия.

Роже снова поклонился метру Буто; тот, казалось, почти не глядел на него, но на самом деле, отвечая на поклон юноши, буравил его своими глазками поверх очков. Внимательно оглядев будущего зятя, он повернулся к стоявшей позади ширме, обтянутой узорчатым шелком, и сказал самым натуральным голосом:

– Дочь моя, выйдите к нам и поздоровайтесь с моим гостем, шевалье Роже Танкредом д'Ангилемом.

Юноше показалось, что земля уходит у него из-под ног, на его лбу выступил холодный пот, сердце сжалось, он с трудом дышал и не мог отвести испуганных глаз от ширмы.

И тут его взору вдруг предстало очаровательное создание.

Из-за ширмы вышла высокая, тоненькая, гибкая, великолепно сложенная девушка, ее длинные черные волосы крупными локонами ниспадали на белоснежные плечи, черные глаза были прикрыты бархатистыми ресницами; Сильвандир Буто не исполнилось еще восемнадцати лет, и ее смело можно было назвать чудом красоты.

Ошеломленный Роже до такой степени оторопел, что даже забыл поклониться; он стоял как вкопанный, окаменев от восторга, разинув рот и не сводя глаз с Сильвандир: он походил на статую Аполлона, готовую вот-вот заговорить.

– Дитя мое, – сказал судебный советник, беря дочь за руку, – представляю тебе шевалье Роже Танкреда д'Ангилема, он делает нам честь и просит твоей руки.

Сильвандир подняла на юношу огромные черные глаза и бросила на него взгляд, проникший в самую глубину души.

«Я погиб! – подумал Роже. – У такой красивой девушки, без сомнения, уже был возлюбленный, разве только ее держали в запертом шкафу».

– Надеюсь, ты разрешишь шевалье д'Ангилему немного побеседовать с тобой? – продолжал судебный советник.

Сильвандир вновь посмотрела на Роже, и в ее взгляде можно было прочесть удивление, смутную боязнь и томную нежность; однако она и на этот раз не произнесла ни слова.

– Молчание, как известно, знак согласия, милостивый государь, – провозгласил метр Буто. – Кстати, вам надлежит знать, что Сильвандир – моя единственная дочь, и она принесет своему мужу триста тысяч ливров в приданое.

Сильвандир в знак признательности нежно сжала руку отца.

«Черт побери, – подумал Роже. – Он мог бы смело дать за ней и шестьсот тысяч ливров, ведь деньги ему легко достались. Ну ладно! Следует еще поблагодарить его за скромность».

– А когда же сыграем свадьбу, господин д'Ангилем? – спросил метр Буто.

– Пусть мадемуазель Буто сама назначит день, – проговорил Роже, – и как только она выразит…

Девушка снова поклонилась, но опять ничего не сказала.

– Да она немая! – вырвалось у шевалье.

Бедняга решил, что он разгадал наконец скрытый порок своей невесты, и он не мог совладеть со страхом, охватившим его.

Сильвандир звонко расхохоталась и сказала:

– Нет, милостивый государь, слава Богу, я не лишена дара речи.

«Должно быть, она просто дурочка, – пронеслось в голове у Роже. – Но нет, не может быть, чтобы женщина с такими глазами была глупа».

Заметив, что первая встреча явно тягостна для всех, советник выразительно посмотрел на дочь: она сделала реверанс и уже собралась удалиться.

– Как! – воскликнул Роже. – Вы уходите, мадемуазель, так и не сказав мне, когда соблаговолите…

– Я оставляю вас с моим отцом, милостивый государь, – отвечала Сильвандир, – хотя он и служитель правосудия, но не любит, чтобы дело чересчур затягивалось. Пусть он и решает, а его решения всегда хороши.

«Видно, я опять ошибся на ее счет, – подумал шевалье, – дурочкой ее никак не назовешь».

Счастливый Роже переходил от одной приятной неожиданности к другой.

Девушка ушла, и шевалье остался наедине со своим будущим тестем.

Свадьбу решили сыграть через две недели.

Подробно условившись обо всем, Роже распрощался с метром Буто и стал спускаться по лестнице; теперь походка его была гораздо более уверенной, нежели тогда, когда он поднимался наверх.

На улице возле дома он увидел человека с бородавками.

– Ну так как, милостивый государь, – спросил таинственный незнакомец, – надеюсь, вы довольны?

– О да! – ответил шевалье. – Так доволен, что если и последнее мое условие будет выполнено столь же точно, как оба предыдущих, вы получите тысячу луидоров, милейший.

– Тогда я считаю, что они уже у меня в кармане, – сказал незнакомец, кланяясь чуть не до земли.

Роже молча выслушал эту фразу и вскочил в карету, даже не коснувшись подножки.

– К маркизу! – крикнул он Баску, и в голосе его не осталось даже следа былых опасений.

Спустя десять минут экипаж остановился во дворе перед особняком маркиза де Кретте.

XVI

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ, ПОДОБНО ИСТИННОМУ ФИЛОСОФУ, ПРИМИРИЛСЯ СО СВОЕЙ УЧАСТЬЮ МУЖА ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ, ВЛАДЕЛЬЦА ВЕЛИКОЛЕПНОГО ОСОБНЯКА И ОБЛАДАТЕЛЯ СЕМИДЕСЯТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЛИВРОВ ГОДОВОГО ДОХОДА

В гостиной маркиза уже собралось многолюдное общество.

Роже вошел с сияющим лицом. Друзья поочередно подходили к юноше и поздравляли его.

Выждав, пока иссякнет поток поздравлений, Кретте, взял шевалье под руку и увлек в соседнюю комнату.

– Ну, какова нареченная? – спросил он.

– Она прелестна, – отвечал Роже жалобным голосом.

– Так же хороша, как Констанс?

– Увы! Еще красивее.

– Тогда какого дьявола вы огорчаетесь?

– Ах, друг мой, – пробормотал шевалье с тяжким вздохом, – я был так уверен, что Констанс…

– Да, да, понимаю, – прервал его маркиз, – но ничего не поделаешь, мой дорогой! Вам и так чертовски повезло. Однако вы, кажется, становитесь чересчур требовательным, а ведь вы должны быть довольны, дружище, что так легко отделались. Я просто диву даюсь: все, что с вами происходит, до того необыкновенно!

– Нет, нет, друг мой, вам не убедить меня, что под всеми этими розами не таится ядовитая змея! Но что делать, маркиз! Жребий брошен! Поразмыслив, я понял, что даже самый благородный человек на свете, попав в такое

положение, в каком оказался я, может совершить ложный шаг. Я не в силах ничего изменить в прошлом моей жены, стану, по крайней мере, внимательно следить за ее будущим.

– В добрый час! Вот таким вы мне нравитесь! А теперь возвратимся к нашим друзьям. Только не теряйте самообладания и позвольте мне самому обо всем объявить за ужином, счастливый миллионер.

Гости уселись за стол. Золото, хрусталь, зажженные свечи – все сверкало. И Роже вдруг подумал, что лишь два часа назад он был безвестным дворянином, не имел состояния, а завтра он, если только пожелает, будет устраивать приемы в еще более роскошном особняке и с таким же великолепием, с каким устроил в его честь этот ужин маркиз, ставший его другом только потому, что он, Роже, вовремя и столь удачно нанес удар шпагой; и, думая обо всем этом, шевалье с благодарностью вспомнил отца – своего учителя фехтования, такого доброго и такого бескорыстного: ведь барон, сам того не ведая, упрочил благосостояние семьи, научив сына ловко владеть оружием.

– Любезные друзья, – провозгласил маркиз, – все вы знаете, что мы собрались нынче вечером, чтобы отпраздновать успешный исход пресловутой тяжбы: выиграв ее, наш друг д'Ангилем стал обладателем семидесяти пяти тысяч ливров годового дохода.

– Это вы принесли мне счастье, – сказал Роже, поклонившись маркизу.

– За здоровье д'Ангилема и за семьдесят пять тысяч его годового дохода! – хором закричали гости.

– Не торопитесь, – продолжал Кретте, – и у вас будет

повод провозгласить два поздравительных тоста сразу, если только вы не предпочтете выпить во второй раз.

– А что еще произошло? – спросили д'Эрбиньи и Кло-Рено в один голос.

– Произошло вот что: наш друг д'Ангилем здесь, в Париже, по уши влюбился, – продолжал маркиз, – и вам вовек не догадаться, какой лакомый кусочек достался этому негоднику!

– Он женится на воспитаннице пансиона в Сен-Сире, и она получила приданое от госпожи де Ментенон? – предположил Шастелю.

– На принцессе Пфальцской? – спросил Кло-Рено.

– На принцессе из королевского дома? – высказал догадку д'Эрбиньи.

– Как бы не так! Д'Ангилем и без того знатного происхождения, а потому думает о вещах более существенных. Он женится на дочери служителя Фемиды, милостивые государи.

– Нашли чем удивить! – послышались голоса.

– Ах, шевалье, вы на ложном пути и нарушаете добрый обычай, – сказал д'Эрбиньи. – Лучше бы вам жениться на актрисе из «Комеди Франсез» или на диве из Оперы: это больше пристало вельможе.

– Да погодите, господа, – вмешался маркиз, – ведь девица хороша, как Венера, а вдобавок у нее шестьсот тысяч ливров приданого.

– Черт побери! Примите наши поздравления, шевалье! – закричали в один голос молодые люди.

– И посему д'Ангилем решил обосноваться в столице, он поселится в особняке виконта де Бузнуа и станет зада-

вать нам такие пиры, по сравнению с которыми наша сегодняшняя пирушка покажется обедом в дешевой харчевне.

– В таком случае да здравствует шевалье и его супруга! – завопил д'Эрбиньи, поднимая бокал.

Гости дружно поддержали этот тост.

– А теперь, – продолжал виконт д'Эрбиньи, ставя свой бокал на стол, – раз уж вы, любезный мой д'Ангилем, обзавелись знакомством в судейском сословии, подыщите и для меня смазливую девицу, дочь какого-нибудь сотоварища вашего достойного тестя, наследницу судейского крючкотвора, но только на приданое меньше пятисот тысяч ливров я не согласен.

– В таком случае, за будущую женитьбу виконта д'Эрбиньи! – в свою очередь воскликнул шевалье д'Ангилем, поднимая бокал.

Пока все пили, он быстро повернулся к маркизу де Кретте, пожал ему руку и негромко сказал:

– Благодарю, маркиз, благодарю, вы, как всегда, добры и великодушны.

И в самом деле, Кретте избавил своего друга от насмешек, которые могла бы вызвать его женитьба. Правда и то, что шестьсот тысяч ливров мадемуазель Буто также произвели на собравшихся магическое впечатление.

Словом, ужин прошел так весело, что даже д'Ангилем, как ни сильно он был озабочен, за десертом развеселился.

Роже уехал от маркиза в два часа пополуночи, условившись вновь встретиться с ним в одиннадцать утра: шевалье непременно хотел войти в особняк виконта де Бузнуа в сопровождении своего друга.

В назначенный час маркиз был у д'Ангилема; оба отправились на площадь Людовика Великого, и на этот раз парадные двери особняка широко распахнулись перед шевалье. Уже целый час посланцы богини правосудия ожидали нового владельца, чтобы снять печати.

Все, что сказал человек с бородавками, оказалось чистой правдой, несгораемый ящик был полон до краев, ларцы были доверху набиты драгоценностями, собрание граненых алмазов и золотых медалей было великолепно.

Шевалье был просто ослеплен при виде всех этих богатств: ему, приехавшему в Париж с пятьюдесятью луидорами в кармане, трудно было даже вообразить, что на свете существует столько золота; он хотел тут же вернуть Кретте восемь или десять тысяч ливров, которые оставался ему должен, но маркиз дал понять своему другу, что незачем так торопиться, и сказал, что как-нибудь утром пришлет к нему Баска за этой пустяковой суммой.

Роже, не мешкая, отобрал самые красивые бриллианты и другие драгоценности, чтобы отослать их матери. Быть может, занимаясь этим, он втайне думал о Констанс: хотя шевалье ни разу не произнес ее имени вслух, Кретте по невольным вздохам юноши понимал, что тот не совсем еще забыл мадемуазель де Безри.

Роскошный особняк нуждался в том, чтобы чей-либо изысканный вкус преобразил его, и маркиз взял эту заботу на себя. Он послал за своим обойщиком, отдал все нужные распоряжения и приказал сделать все за одну неделю. Обойщик заявил, что в такой короткий срок управиться невозможно. Кретте в ответ обронил:

– Деньги вам уплатят в тот же день, когда работа будет закончена.

На седьмой день особняк был как новенький; тщеславие шевалье было удовлетворено: родовой герб д'Ангилемов заменил на каменном щите прежний герб виконта де Бузнуа.

Между тем Роже послал за баронессой самый лучший экипаж, который только удалось сыскать в каретных сараях. Отвезти экипаж на почту велели Рамодору, сам он должен был позднее вернуться в Париж верхом. Маркиз де Кретте по-прежнему всячески опекал своего друга: он вовремя давал ему советы, охотно ссужал деньгами, предоставлял в его распоряжение своих слуг.

Рамодор был человек надежный, его предупредили, что в одном из сундуков кареты лежит тысяча луидоров, вручили ему ключ и велели внимательно приглядывать за этим сундуком.

В своем письме Роже просил родителей приехать в столицу, чтобы вступить во владение полученным состоянием, он приложил и тщательно составленный счет, где были подробно перечислены его траты. В конце письма шевалье прибавил, что, по счастливому стечению обстоятельств, его невеста не только красива, но прекрасно воспитана и, судя по всему, необычайно умна.

Когда барон и баронесса узнали, что их будущая невестка обладает такими достоинствами, их радости не было границ. Барон тотчас же объявил, что из полученного наследства он выделит сыну капитал, приносящий пятьдесят тысяч ливров годового дохода, а остальные деньги оставит себе, дабы жить с блеском в Ангилеме.

– Вот только, – прибавил он, – надо будет, пожалуй, приобрести дом в Лоше, чтобы зимою устраивать там приемы.

Слухи о том, что д'Ангилемы выиграли тяжбу и что вскоре ожидается свадьба шевалье, докатились и до Безри. Виконт и виконтесса, согласившись на брак своей дочери и Роже, все-таки продолжали сохранять прежнее недоброжелательство к своим соседям, а потому они поспешили сообщить эту новость Констанс; но девушка только покачала головой и улыбнулась: она не поверила ни единому слову из того, что ей сказали.

– Роже сам написал об этом? – спросила она.

– Нет.

– Он просил меня верить только тому, что я услышу из его собственных уст, или тому, что будет написано его рукою.

– Стало быть?..

– Я по-прежнему, верю только одному: его любви.

Виконт и виконтесса всячески уговаривали дочь; однако Констанс, подобно Фоме неверному, хотела прежде увидеть и лишь потом соглашалась поверить.

Перед отъездом барон счел необходимым нанести визит своим соседям и объяснить им, почему его сын был вынужден нарушить свое обещание. Виконт спокойно и бесстрастно выслушал речь соседа от начала и до конца, потом попросил жену позвать Констанс. Когда девушка вошла, г-н де Безри попросил барона повторить его дочери все, что тот рассказал о женитьбе Роже. Барон слово в слово повторил свою короткую речь, затверженную им по дороге; пока он говорил, Констанс все время лишь покачивала головой, и по ее светлой улыбке было понятно, что она, как и прежде, верит одному Роже; когда барон умолк, она спросила:

– Прислал ли вам Роже письмо для меня?

– Нет, – отвечал барон, – должно быть, он испытывает неловкость из-за того, как повернулось дело, и не решился признаться вам, что против собственной воли нарушил данное им слово.

– В таком случае я вижу, что меня хотят обмануть, – объявила Констанс. – Роже сказал мне, чтобы я верила только тому, что услышу из его собственных уст, или тому, что будет написано его рукою.

– Стало быть?.. – повторил виконт де Безри.

– Стало быть, я по-прежнему верю только его любви, – ответила Констанс.

Ничего другого так и не удалось добиться от юной девушки: судя по всему, ее не слишком беспокоили слухи, уже вскоре распространившиеся по всей провинции.

Отъезд барона и баронессы в карете, запряженной четверкой лошадей, впереди которой ехал верховой, стал событием, о коем толковали целую неделю на десять льё вокруг. Люди говорили, будто Роже обнаружил в особняке виконта де Бузнуа сундуки, полные алмазов, а в подвале – золотую жилу…

Все это время шевалье усиленно ухаживал за своей невестой, хотя она постоянно находилась под самым строгим наблюдением и охраной. Метр Буто ни на минуту не расставался с дочерью, и эта отцовская настойчивость продолжала питать тревогу Роже. Тем не менее он всякий день проводил по часу с Сильвандир, и, к величайшему изумлению юноши, она все сильнее поражала его своими разносторонними познаниями и все больше выказывала ума и тонкости в обращении. Роже не уставал любоваться девушкой и слушать ее речи.

Приготовления к свадьбе были уже закончены, все формальности выполнены, и теперь ожидали лишь прибытия родителей жениха, чтобы приступить к брачной церемонии.

Их приезд был зрелищем столь торжественным и пышным, что мы даже не станем пытаться дать читателю хотя бы отдаленное представление о нем. У барона и баронессы д'Ангилем хватило здравого смысла, чтобы заказать себе платье у столичных портных; поэтому они явились разодетыми по последней моде, принятой при дворе, а так как оба принадлежали к старинному роду, то у них был тот величественный вид, какого не смогли лишить истинных дворян даже две революции, совершившиеся позднее; словом, они выглядели так, как приличествует людям знатным и богатым; зато их многочисленные племянники и кузены, жившие по соседству с ними, а также дальние родственники из Сентонжа и Перигора произвели на всех ошеломляющее впечатление: они приехали в коротких широких панталонах, в плащах, накидках и фетровых шляпах, какие носили еще во времена Людовика XIII. А потому их можно было принять за собрание фамильных портретов, на время чудом покинувших свои рамы.

Шевалье больше всего на свете боялся показаться смешным, вот почему венчание происходило поздно вечером в церкви святого Рока, а свадебный пир начался только тогда, когда все дальние родственники, получив богатые подарки, уехали восвояси в тех же рыдванах, в которых прибыли в Париж. Барон и баронесса осыпали ласками дочь судебного советника, а она нежно улыбалась мужу и была очаровательно любезна с его родителями.

Шевалье от души поблагодарил маркиза де Кретте за все те услуги, какие тот ему оказал, и вообще за все то, что тот для него сделал. Он не преминул заверить своего друга, что обязательно сообщит ему, как разрешились сомнения, которые, чем дальше, тем сильнее тревожили новобрачного; затем Роже отбыл с молодою женой в Шампиньи: там было расположено небольшое поместье, где долгое время жил покойный виконт де Бузнуа.

Барон и баронесса отправились к себе в Ангилем; они торопились, не считаясь с затратами, придать новый блеск своему родовому замку, украшенному уже сильно обветшавшим каменным щитом с фамильным гербом.

На следующий день после того, как шевалье уехал в Шампиньи, маркиз де Кретте получил от него письмо, посланное с нарочным; оно содержало следующие строки:

«Я самый счастливый из людей!

Дорогой маркиз, доставьте мне удовольствие: узнайте у моего тестя адрес человека с бородавками и вручите ему от моего имени тысячу луидоров.

Ваш истинный друг шевалье д' Ангилем».

XVII

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НАСТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫМ, ЧТО УЖЕ ГОТОВ БЫЛ, ПО ПРИМЕРУ САМОССКОГО ТИРАНА, БРОСИТЬ В МОРЕ ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕРСТЕНЬ

Вот каким образом Роже д'Ангилем избавился от угрызений совести, мучивших его из-за того, что он нарушил слово, которое дал мадемуазель Констанс де Безри.

Ничто так не притупляет любовь, как обладание, и ничто так не поддерживает ее, как надежда; но если надежда безвозвратно утрачена, то и самая сильная любовь слабеет или даже вовсе угасает, столкнувшись с неумолимым роком. Поэтому, когда Роже окончательно понял, что ему следует забыть о своих былых, увы, несбыточных мечтах, а действительность оказалась к тому же такой прельстительной, он немного поплакал, повздыхал, но в конце концов покорился своей участи, и даже довольно спокойно.

Он воспользовался тем, что баронесса возвращалась в Ангилем, и написал Констанс весьма трогательное послание; Роже сообщил в нем, что очутился в тисках жестоких обстоятельств, в какие жизнь порою ставит дворян словно для того, чтобы испытать их мужество, и был вынужден принести себя в жертву ради счастья семьи, отказавшись от надежды добиться счастья для самого себя. Он умолял Констанс простить его и забыть о нем. Однако в конце письма шевалье клятвенно уверял свою возлюбленную, что, хотя он и вынужден подчиниться безжалостному велению долга (слог Корнеля был еще весьма моден в ту эпоху!), он до самой смерти будет любить ее.

Этим письмом шевалье освобождал девушку от данного ею слова, она вновь обретала свободу и могла в свой черед вступить в брак.

В тот день, когда Роже писал Констанс послание, которое мы только что изложили, у него еще не было возможности написать маркизу де Кретте письмо, приведенное нами в конце предыдущей главы; поэтому он все еще не доверял жене и тешил себя мыслью, что коли она уже, так сказать, заранее обманула его, то впоследствии он бу-

дет отомщен, если случай когда-нибудь сведет обеих женщин и Констанс вздумает показать Сильвандир полученное от него письмо.

Шевалье и сам был глубоко растроган, когда сочинял элегические строки, о коих мы рассказали выше; вот почему, когда он поднял голову, оторвался от листка, где были начертаны эти строки, и посмотрел на баронессу д'Ангилем, в глазах у него стояли слезы; достойная дама, все еще верившая в любовь до гробовой доски, даже если на пути такой любви возникают непреодолимые препятствия, поспешила поведать мужу о волнении их сына; рассказала она ему и о том, что Роже просил ее передать письмо мадемуазель де Безри и проследить, чтобы оно было непременно вручено ей в собственные руки.

Барон д'Ангилем был весьма этим озабочен. Не выполнить просьбу сына означало, по его представлениям, нарушить свой долг; кроме того, за последние четыре месяца шевалье столь блистательно вел себя в столице, что сильно вырос в глазах и во мнении отца, и теперь барон почти так же глубоко уважал его, как и любил. С другой стороны, если бы Констанс получила письмо, содержавшее, надо полагать, немало клятв в вечной любви, это могло с новою силой разжечь в ее сердце огонь, которому лучше было бы дать постепенно угаснуть, могло подвигнуть девушку на нежелательные поступки, могло, наконец, посеять семена бунта в семье де Безри.

Барон, разумеется, не читал письма сына, он бы скорее взошел на костер, нежели позволил бы себе сделать это, – до такой степени он был щепетилен в подобных вещах; баронесса со своей стороны ничего не могла ему толком

объяснить, но, зная, как сильно Роже любил Констанс, она полагала, что в его письме непременно должны быть горькие жалобы на злую судьбу. Вот почему барон долго вертел в руках запечатанное послание своего сына, долго ломал над ним голову и наконец, по зрелом размышлении, решил, что всего лучше вообще не отдавать его мадемуазель де Безри, а чтобы не передумать ненароком, он спрятал сие любовное послание к себе в ларец и запер его, дважды повернув ключ в замке.

Принятое решение довольно долго мучило барона д'Ангилема, но мало-помалу он успокоился, рассудив, что на земле судьба людей нередко зависит от случайного стечения обстоятельств и это часто оборачивается для них благом.

Вот как получилось, что мадемуазель де Безри не передали письмо Роже, освобождавшее ее от обета верности, и она не желала верить, когда ей говорили, будто шевалье женился; на все самые убедительные доводы родителей она отвечала:

– Ведь в свое время Роже заставили поверить, будто я умерла!..

А шевалье, полагая, что Констанс возвращена свобода, был совершенно спокоен, и, если бы мы не опасались, что читатели составят слишком уж дурное представление о нашем герое, мы бы даже прибавили: он был совершенно счастлив.

Я думаю, не существует такого брачного союза – если даже речь идет о союзе тигра и пантеры, – в котором, по крайней мере, первые две недели после свадьбы супруги не наслаждались бы безмятежным покоем.

К тому же, помимо бесспорной красоты, которую Роже особенно ценил в Сильвандир, жена его была просто неотразима благодаря своей наивности, прелести и добродетельности. Молодой супруг подробно расспрашивал ее обо всем: опираясь на логику и на здравый смысл, он старался обнаружить хоть какое-нибудь противоречие в ее ответах на его многочисленные вопросы; однако ему ни разу не удалось уличить Сильвандир во лжи, и он все время спрашивал себя, почему метр Буто прибегал к таким предосторожностям, прилагал столько забот и усилий, чтобы выдать замуж свою дочь, хотя ее смело можно было назвать настоящим сокровищем.

– Скажите, дорогая, как вы проводили время в доме своего отца? – спрашивал иногда Роже.

– Я скучала, – говорила в ответ Сильвандир.

– Но разве он вовсе не принимал гостей?

– О, разумеется, принимал! Да только к нам приходили одни старики – советники, стряпчие, судьи, и унылые их разговоры нагоняли на меня тоску.

– И больше у вас никто не бывал?

– Боже мой, конечно, никто.

Роже, прежде опасавшийся, что его невеста безобразна, увечна, либо еще того хуже, теперь, избавившись от былых страхов, подозревал, что у его жены все же имеется какой-нибудь тайный порок.

«Быть может, она лакомка и сладкоежка?» – спрашивал он себя.

Это был самый распространенный в те времена порок: читайте мемуары герцога Сен-Симона.

И он пытался возбудить ее аппетит при помощи изы-

сканных вин, которые виконт де Бузнуа лет двадцать хранил в своем погребе; однако, отведав лучшего токайского вина самого тонкого вкуса, Сильвандир с гримасой отвращения отодвигала бокал и просила подать ей чистой и свежей воды – только этот простой напиток и был ей по вкусу.

Однажды, когда она выпила немного сиракузского вина, кровь ударила ей в голову, и весь вечер она чувствовала себя больной. После этого досадного случая молодая женщина объявила, что впредь не станет даже пробовать какое бы то ни было вино.

«Моя жена равнодушна к яствам и винам, – сказал себе Роже, – поищем в ней какого-либо другого порока, ведь должен же быть хотя бы один».

«Ах, кажется, я догадался! – воскликнул он в одно прекрасное утро. – Она, верно, картежница».

В тот же вечер он усадил свою супругу за стол, поставил перед ней и перед собою по столбику золотых монет и сдал карты; однако оказалось, что Сильвандир совсем не умеет играть в карты; она бурно радовалась, когда выигрывала, и не менее бурно горевала, проигрывая каких-нибудь двенадцать су.

«Нет, моя жена не игрок, – пробормотал Роже, – это ясно как день. Но, быть может, она скупа?»

Он посадил Сильвандир в карету, наполнил ее карманы золотом и повез к самым лучшим модисткам и самым искусным портнихам столицы. Молодая женщина накупила на триста луидоров кружев, чепцов и платьев и при этом ни разу не торговалась.

«Черт побери, – прошептал Роже. – Стало быть, она мотовка».

Но однажды, когда он мягко упрекнул жену за то, что она, покупая красивую английскую шемизетку, переплатила за нее десять луидоров, она поблагодарила его за поучение и попросила впредь самому следить за ее тратами.

«Тем хуже, тем хуже! – подумал шевалье. – Должно быть, у нее есть более серьезные недостатки».

С тех пор он все время был начеку, пытаясь обнаружить, не бродят ли днем или ночью вокруг их дома непрошеные гости, которых обычно именуют кузенами: паразиты эти опасны и надоедливы, как комары, и от них можно избавиться, только убивая их на месте.

Но ни одного воздыхателя в шляпе с павлиньим пером, как сказала бы мадемуазель де Скюдери, но ни одной влюбленной образины, как сказал бы Мольер, ни разу не было обнаружено в окрестностях Шампиньи.

«Положительно, я обладаю истинным сокровищем, – с каким-то испугом думал Роже, – видно, я родился под счастливой звездою, еще не открытой астрологами наших дней».

И это была правда или, во всяком случае, походило на правду.

Мы не решились бы утверждать, что Сильвандир питала безграничную любовь к своему мужу. Скорее всего она просто никого не любила, но в глазах злополучного супруга даже это было добродетелью. Однако, как известно, в тихом омуте черти водятся, и люди, с виду совершенно бесстрастные, могут разом воспламениться: когда солнце прячется в тучах, того и гляди, начнется град, дождь или буря.

Метр Буто приехал в Шампиньи повидать своих детей.

Роже, который боготворил родителей и писал им по два раза в неделю, нашел, что Сильвандир весьма холодна со своим славным отцом, хотя тот столько для нее сделал. Шевалье целых три дня размышлял о причинах подобной холодности, а так как он был в ту пору склонен находить всему приятное для себя объяснение, то в конце концов он убедил себя, что пылкая любовь, которую Сильвандир питает к нему, вытеснила из ее сердца все прочие привязанности. Мы видим, что шевалье д'Ангилем уже вполне освоился с ролью супруга: теперь он все видел не в черном, а в розовом цвете.

Сам Роже высказывал множество знаков дружеского внимания метру Буто, и метр Буто платил ему тем же; правда, у одного из них были на то особые причины, а у другого – никаких. Шевалье хотел ублажить тестя, настроить его на благодушный лад, а уж затем досконально обо всем расспросить. После обильного и вкусного обеда, длившегося, как это бывает в деревне, до позднего вечера, он счел, что наступила подходящая минута.

– Скажите, метр Буто, – заговорил Роже, увлекая тестя к окну, – скажите откровенно, ибо теперь вам уже нечего бояться, что я от вас ускользну, а вернее, теперь я и сам не захотел бы от вас ускользнуть, так вот, признайтесь по совести – ведь я до сих пор, говоря честно, так этого и не постиг, – признайтесь, какой же все-таки скрытый недостаток есть у Сильвандир: ведь были же у вас причины для того, чтобы столь странным способом выдать ее замуж.

– Я буду говорить с вами совершенно открыто, любезный мой зять, – отвечал почтенный советник, которому мускатное вино развязало язык. – Прежде всего, как вы

знаете, я сберег приданое Сильвандир, иначе говоря, сто тысяч экю.

– Я эту сумму хорошо помню, – отвечал Роже.

– Впрочем, деньги эти достанутся вам после моей смерти, – продолжал метр Буто, – они будут не только сохранены, но и приумножены. Затем, я был уверен, что моя дочь не выскочит замуж за какого-нибудь мелкопоместного дворянина из провинции, у коего только и есть что плащ да шпага, или за какого-нибудь торгаша, у коего за душой одни долги, так что он на долгах едет и долгами погоняет, иными словами, вконец разорен и уповает лишь на приданое будущей жены.

– Стало быть, вам были известны размеры состояния виконта де Бузнуа.

– До последнего ливра, су и денье, любезны мой зять: я все самолично проверил, оценил и посчитал.

– Но разве не могли вы отыскать какого-нибудь дворянина, придворного, который ни в чем бы не уступил мне?

– Разумеется, мог, да только он не вел бы тяжбы, то есть не был бы связан по рукам и ногам и не находился бы целиком в моей власти; ну а к тому же состояние в полтора миллиона ливров – редкость даже при дворе. Не говорю уж о том, что я давно решил при первом крупном деле сколотить приданое для дочки, и вот в мои руки попало ваше дело. Принимать деньги от тяжущегося, как это делали трое наших судей, – значит красть одновременно у правосудия и у истца; напротив того, дать этому самому истцу, который обязан мне своим состоянием, дать ему в придачу еще прелестную девицу в жены – это, на мой взгляд, означает не только выполнить свой долг, но и оказать человеку услугу.

«Опять то же самое, – подумал с досадой Роже, – объяснение и впрямь весьма правдоподобное, и ему на худой конец можно поверить».

– Итак, – сказал он вслух, – итак, дражайший мой тесть, Сильвандир вас нисколько не отягощала?

– О, Бог мой, нисколько! Правда, она сильно скучала дома, и поскольку нрав у нее весьма решительный…

– Вот как?! Стало быть, у моей жены решительный нрав?

– Да, девочка очень упряма. И поскольку, как я уже вам сказал, нрав у нее весьма решительный, я всякую минуту опасался, как бы она не совершила какого-нибудь сумасбродного поступка. Запросы у моей дочери весьма широкие, и больше всего она хочет, чтобы ее постоянно развлекали.

– Какие же удовольствия она предпочитает? – спросил Роже.

– Ничего не могу вам сказать на сей счет, ибо я ей никогда никаких удовольствий не доставлял, и все же, изучив ее характер, я думаю, что ей особенно по вкусу различные увеселения…

– Дорогой тесть, надеюсь, вы не сомневаетесь, что я хочу сделать Сильвандир счастливой? Не так ли?

– Вы делаете для этого все что можете.

– Так вот, чтобы легче достичь этой цели, я должен знать ее пристрастия, лучше понимать ее характер. Что бы вы мне сказали, если бы я попросил у вас совета?

– Я сказал бы: доверяйте ей…

– Вот как? Прекрасно, – прервал его шевалье.

– Постойте-ка, не торопитесь, – продолжал метр Буто, –

я сказал бы вам: доверяйте ей, но ни на минуту не спускайте с нее глаз…

– Дьявольщина! – вырвалось у Роже, который остался весьма недоволен концом фразы.

На следующий день метр Буто уехал обратно в Париж; шевалье, оставшийся с женой в Шампиньи, был сильно встревожен разговором, происшедшим накануне.

В самом деле, Роже чувствовал себя настолько счастливым, что для него было очевидно: столь безоблачное счастье долго продолжаться не может, и он терзался, боясь его утратить.

Странное оно, это сердце мужчины; мы не говорим о сердце женщины, ибо знаем его гораздо хуже и только по аналогии с мужским. Повторяем, странное оно, это сердце мужчины: трудно даже поверить, но оно способно любить сразу нескольких женщин, и при этом по-разному. Роже в свое время очень любил Констанс, он и теперь еще любил ее так сильно, что пришел бы в отчаяние, если бы узнал о замужестве Констанс. И при этом он любил Сильвандир, правда, совсем иной любовью; Констанс он любил, как любят прекрасную лилию, восхищаясь ее чистотой, опьяняясь ее ароматом и храня ее в заповедном уголке своей души, вдали от нескромных глаз, вдали от любопытных взглядов. А Сильвандир Роже любил так, как любят красивый алмаз, стремясь, чтобы он переливался всеми своими гранями, желая, чтобы его видели другие, чтобы он вызывал зависть у всех тщеславных и честолюбивых людей.

Любовь, которую Роже прежде испытывал к Констанс, была самым чистым пламенем его души; любовь, которую

он теперь испытывал к Сильвандир, была пламенем более бурным: разгоревшись в глубине сердца, оно мало-помалу охватывало все его существо. Он охотно провел бы всю жизнь, любуясь Констанс, и был бы счастлив уже только тем, что может любоваться ею. Он умер бы от любви, как Нарцисс, если бы ему пришлось ограничиться одним лишь созерцанием Сильвандир.

А теперь, когда я описал обе формы любви, которым отдал дань шевалье, пусть сами женщины скажут, что они предпочитают: будить в мужчинах возвышенную любовь или пылкую страсть?

Что же касается Роже, то он, как уже сказано, испытывал одновременно оба эти чувства: одно жило в его душе, другое сжигало сердце, и он, возможно, был так счастлив и так страшился, как бы положение не изменилось, именно потому, что одно чувство дополняло другое.

XVIII

О ТОМ, КАК НА ГОРИЗОНТЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА МАЛО-ПОМАЛУ СТАЛИ СГУЩАТЬСЯ ТУЧИ

Безоблачное счастье в Шампиньи длилось еще несколько дней; и вдруг Роже, у которого не выходили из головы слова тестя о нраве Сильвандир, решил подвергнуть свою жену испытанию: он надумал вывести ее из того безмятежного покоя, в котором она пребывала, ибо покой этот казался ему притворным.

Мы должны признаться, что Роже был не прав. Уметь довольствоваться счастьем сегодняшним и уповать на Бога, помышляя о счастье грядущем, – вот важнейшее правило

человеческой мудрости; кстати сказать, люди меньше всего следуют этому правилу. Порасспросите-ка тех, кто чувствует себя несчастным, и три четверти из них сознаются вам, что они сами шли навстречу первой своей беде, будто искали ее, подобно тому, как Диоген с фонарем искал человека.

Словом, однажды утром Роже зажег свой фонарь и отправился к Сильвандир.

– Мой ангел, – обратился он к жене, – хочу сообщить вам новость, которая вас, конечно, обрадует. Я безмерно счастлив, не сомневаюсь, что вы тоже счастливы.

– Разумеется, – отвечала Сильвандир, посмотрев на мужа, и в ее взгляде можно было прочесть известное беспокойство.

– Источник этого счастья – наша любовь, милая Сильвандир, и вы, как и я, надеюсь, понимаете, что уединение – залог этой любви.

Сильвандир ничего не ответила.

– Итак, – продолжал Роже, – раз нам обоим нравится, – он подчеркнул слово «обоим», – жить вдвоем, вдали от света…

Сильвандир насторожилась, как кобылица, заслышавшая свист хлыста.

– …то мы вскоре продадим особняк, унаследованный мною от виконта де Бузнуа, упакуем вещи и, если вы не будете против, поселимся в Ангилеме, куда метр Буто, ко всеобщему удовольствию, будет приезжать на отдых.

– А ради чего должны мы прозябать в провинции? – довольно решительно спросила Сильвандир.

– Ради того, чтобы жить там в тесном семейном кругу.

– Но ваша семья не моя семья, – возразила молодая женщина, – и если мой отец будет гостить у нас месяц в году, то ведь все остальное время он станет жить в Париже.

– Конечно, моя дорогая, вы совершенно правы, но, между нами говоря, милая Сильвандир, мне кажется, вы не так уж стремитесь жить вместе с метром Буто.

– Вы ошибаетесь, сударь, я очень люблю отца, к тому же я вовсе не собираюсь отправляться в изгнание.

– Вы именуете изгнанием жизнь вдвоем со мною? О, это не слишком-то любезно, Сильвандир.

– Однако, друг мой, – продолжала молодая женщина, уже гораздо более мирным тоном, ибо во время первого столкновения она не решалась заходить слишком далеко, – разве мы не достаточно богаты, чтобы жить в Париже, и даже с роскошью?

– Вы правы, – отвечал Роже. – Просто я хотел понять, чем вы больше дорожите: Парижем или мной, и вы мне сразу это объяснили. Благодарю!

– Вовсе нет, вы ошибаетесь! – с жаром воскликнула Сильвандир, ибо шевалье неосторожно дал ей понять, что его предложение было всего лишь игрою. – Вы ошибаетесь, я готова жить там, где вам будет угодно, друг мой, я только одного хочу – быть вместе с вами.

Говоря это, она нисколько не сомневалась, что они скоро возвратятся в Париж.

– Однако вы предпочитаете, – продолжал Роже, – вернуться в столицу и немного развлечься там этой зимою? Не правда ли?

– Если вы так думаете, друг мой, вы заблуждаетесь: мне безразлично, где жить – в столице или в провинции, я хочу того, чего хотите вы.

Ну что можно ответить столь послушной жене? Надобно лишь предупреждать все ее желания.

Вот почему шевалье тут же распорядился подготовить все необходимое для отъезда, и супруги возвратились в Париж.

Кроме уже известных нам друзей Роже, у него почти не было знакомых; у Сильвандир их и вовсе не было: ведь не назовешь знакомыми нескольких стариков – судей, советников и ходатаев по делам, которые иногда бывали у метра Буто. А потому Роже написал Кретте, д'Эрбиньи, Кло-Рено и Шастелю о своем возвращении в Париж и о том, что они с женою всякий день обедают в два часа, а по вечерам принимают с восьми.

Молодая госпожа д'Ангилем радушно принимала гостей в бывшем особняке виконта де Бузнуа, и все в один голос находили, что она очаровательна.

В первый же вечер маркиз де Кретте взял Роже под руку, отвел его к окну и сказал:

– Любезный шевалье, я не хочу, чтобы мне у вас когда-либо отказали от дома…

– Как это «отказали от дома»?! – прервал его Роже. – Да что вы такое говорите?

– Друг мой, вы еще очень молоды и чистосердечны, – отвечал Кретте, – у вас неискушенный ум, так вот запомните: если друзья жены почти всегда становятся друзьями мужа, то друзья мужа никогда почти не становятся друзьями жены.

– Почему это?

– Вы спрашиваете, почему?.. Было бы слишком долго вам это объяснять, быть может, я когда-нибудь напишу на

сей счет два, а то и три тома, разумеется, когда хорошенько усвою правила правописания. А пока скажу только одно: верьте всему, что вам расскажут обо мне, но если кто-либо сообщит вам, будто я волочусь за госпожой д'Ангилем, этому вы не верьте. Вы меня знаете, Роже. Даю вам слово дворянина, что ваша жена всегда будет для меня священна, как если бы она была моей сестрою.

– В моем доме вас всегда будут принимать как брата, – отвечал Роже, – вам никогда не откажут от дома, разве только вы сами не захотите бывать у нас. Пусть уж лучше пропадут пропадом и моя жена, и все мое состояние, но наша дружба никогда не прекратится!

– Да будет так! – подхватил Кретте.

Маркиз стал часто бывать в доме шевалье, но из деликатности он никогда не появлялся один и неизменно приезжал в такие часы, когда там бывали гости. Уходя, он почти всегда уводил с собою и друзей, приезжавших вместе с ним. Словом, верный своему обещанию, Кретте выказывал знаки внимания одному только Роже, и это привело к тому, что г-жа д'Ангилем сперва начала его презирать за безразличие к ней, а затем возненавидела как своего личного врага.

Надо заметить, что особняк виконта де Бузнуа, ставший домом шевалье д'Ангилема, довольно скоро сделался местом, где собиралось хорошее общество. Красивая и неизменно любезная Сильвандир привлекала к себе воздыхателей подобно тому, как мед привлекает мух. Однако Кретте вместе с д'Эрбиньи и Кло-Рено постоянно были начеку. Своим победительным видом и остроумными шутками он разгонял этих мух, что, разумеется, встречало

полное одобрение Роже. Посему прошло почти полгода, а г-жа д'Ангилем все еще не могла добиться того, чтобы о ней заговорили в свете, хотя в глубине души ей этого, быть может, и хотелось.

Но одного ей безусловно хотелось – приблизиться ко двору, и она решила прибегнуть для этого к показной набожности; однако маркиз и его приятели открыто заявляли, что они терпеть не могут «старуху», как в их кругу именовали г-жу де Ментенон, что они против «иезуита», как они именовали отца Летелье, против «ископаемых», как они именовали придворных, и против «старой марионетки», как они именовали самого Людовика XIV.

В этом, как и во всем остальном, шевалье был заодно со своими друзьями; когда Сильвандир стала настойчиво говорить о том, что она хочет видеть у себя людей более набожных и преданных церкви, он тут же объявил, что не намерен превращать свой особняк в монастырь и что, ежели в доме появятся аббаты, он в пику этим священнослужителям в черных сутанах пригласит сюда мушкетеров всех мастей.

Как видит читатель, Роже парижский уже далеко ушел от Роже амбуазского, муж Сильвандир ничем не походил на юношу, влюбленного в Констанс, вольнодумец и враг святош не имел уже ничего общего со школяром, собиравшимся стать иезуитом.

Уразумев, что сила не на ее стороне, Сильвандир была вынуждена уступить.

Как раз в это время метр Буто стал добиваться кресла президента. Шевалье рассказал о вожделениях своего тестя маркизу де Кретте, и тот с присущей ему обязательностью

принялся вместе со своими друзьями за хлопоты; однако, хотя они пустили в ход всю свою любезность и обходительность, на какую только были способны, их настойчивые попытки ни к чему не привели, и они вскоре поняли, что, полагаясь только на собственные силы, ничего не добьются.

Кто-то рассказал отцу Сильвандир, что некий маркиз де Руаянкур, усердный посетитель месс и молебнов, в большой фаворе у г-жи де Ментенон. Метр Буто вспомнил, что года три или четыре назад в суде разбиралась тяжба маркиза и он готовил доклад по этому делу; тяжбу выиграл г-н де Руаянкур.

Метр Буто отправился с визитом к маркизу, решив напомнить ему об обстоятельствах, судебного разбирательства; тот очень любезно принял его и сказал, что ничего не забыл.

Судебный советник подумал, что рекомендация красивой женщины ему не повредит, и попросил у своего зятя разрешения представить молодоженам маркиза де Руаянкура; шевалье, недолго думая, согласился.

Итак, маркиз де Руаянкур был представлен Роже, которому он наговорил множество самых учтивых слов, и Сильвандир, которая при этом скромно опускала глаза.

Шевалье, надо сказать, был весьма учтив с маркизом, отчасти повинуясь законам вежливости, отчасти потому, что с таким человеком лучше было оставаться в хороших отношениях, нежели в дурных: маркиз слыл всемогущим фаворитом сильных мира сего, он был допущен к скромным трапезам г-жи де Ментенон и полновластно царил в приемной отца Летелье.

Через две недели после первого визита г-на де Руаянкура метр Буто был назначен президентом.

Вполне понятно, что теперь в особняке д'Ангилемов весьма любезно принимали человека, которому были стольким обязаны. И потому во время второго своего визита маркиз был встречен с еще большим почетом, чем во время первого. Беседуя с Роже, он сказал, что достойно удивления, почему шевалье д'Ангилем, человек молодой, богатый и родовитый, не добивается никакой должности при дворе или в армии, и маркиз тут же любезно предложил шевалье свои услуги. Роже всегда был не чужд известного тщеславия, и он поспешил поблагодарить маркиза. Позднее, рассказывая об этом разговоре де Кретте, испытывавшему явную неприязнь к новому гостю, Роже признался ему, что маркиз де Руаянкур кажется ему человеком весьма приятным и весьма обязательным.

Однако, как мы уже сказали, между друзьями существовало некоторое расхождение на сей счет. Кретте смотрел на маркиза де Руаянкура крайне недоброжелательно; он знал, как извилисты пути всех этих придворных с ханжескими манерами и повадками: их стараниями и были погашены все те очаги веселья и радости, коими были отмечены первые две трети правления великого монарха. Если бы «Тартюф» был написан в эпоху, когда маркиз де Руаянкур пользовался влиянием, пьеса эта никогда бы не увидела сцены.

Сильвандир изо всех сил убеждала мужа не отказываться от покровительства любимца г-жи де Ментенон.

– Мы будем приняты при дворе, – говорила она, – быть может, у нас там появятся даже собственные апартаменты.

– А зачем вам это? – удивлялся Кретте, – Разве не лучше быть господином в своем собственном доме, как Роже, нежели подчиняться унылым прихотям старого короля, который вечно пребывает в дурном расположении духа: ведь его никто уже не может развеселить, даже сама госпожа де Ментенон! А что до апартаментов в Версале, то, поверьте, в вашем особняке найдется десяток куда более уютных и удобных покоев. Если бы еще д'Ангилему дали полк… Но, черт побери, хоть он и храбр, как Александр, Ганнибал и Цезарь, вместе взятые, мне сдается, что он вовсе не расположен воевать. У меня у самого был полк, так вот я уступил его. Быть может, я еще вернусь в армию, но только тогда, когда госпожа де Ментенон больше не будет у нас военным министром.

– Вы, милостивый государь, – язвительно отвечала Сильвандир, – уже устали от удовольствий и почестей, а потому понятно, что вы так рассуждаете. Но нам, господину д'Ангилему и мне, они еще в новинку, и мы их жаждем.

Кретте устремлял на своего друга вопрошающий взгляд, и Роже в ответ отрицательно покачивал головой. Потерпев поражение, Сильвандир отправлялась за поддержкой к отцу и посылала в наступление метра Буто, а тот прибегал к помощи маркиза де Руаянкура.

Однажды за обильной трапезой, которая происходила, если не ошибаюсь, в какую-то среду, маркиз де Руаянкур, постившийся четыре раза в неделю, подчеркнуто отказывался от всех кушаний, кроме рыбы; весьма учтиво, но тем не менее довольно строго он упрекнул шевалье в том, что тот придет так мало значения предписаниям церкви.

Кретте и его друзья ожидали, что д'Ангилем даст заслуженную отповедь непрошеному советчику; наступила долгая пауза, потом шевалье ответил, но гораздо более мягко, чем того заслуживало неуместное замечание маркиза.

– Ну, кажется, мы отступаем, – чуть слышно сказал Кретте своему другу, – а Руаянкур продвигается вперед; берегись, д'Ангилем, берегись, тобою уже помыкают.

И в самом деле, маркиз де Руаянкур сделался завсегдатаем особняка д'Ангилема; он приезжал туда с помпой, на великолепных лошадях, в сопровождении наглых лакеев. Сильвандир узнавала от него последние новости высшего света, куда она страстно желала проникнуть; однако этот вожделенный мир был закрыт для нее, подобно одному из тех заколдованных садов из «Тысячи и одной ночи», которые сторожит дракон.

В роли такого дракона, преграждавшего ей вход в волшебный сад, выступал маркиз де Кретте, а потому она ненавидела его всей душой.

Между тем шевалье начал понемногу разбираться в ухищрениях своего нового гостя, и тот с каждым днем все сильнее раздражал его.

– Этот Руаянкур мне чертовски надоел, – сказал он однажды утром маркизу де Кретте. – Вчера он возил мою жену и тестя к этому иезуиту, к Летелье; скажу тебе откровенно: все эти пустобрехи мне не по нутру.

– Знаешь что, прекрати-ка ты все это, – отвечал Кретте, который был теперь с д'Ангилемом в самых сердечных и близких отношениях. – Увези Сильвандир в Турень, оставь меня тут за полновластного хозяина и будь спокоен: пока тебя не будет, я всю эту нечисть отважу от дома.

– Черт побери, прекрасная мысль! – воскликнул Роже.

Приняв такое решение, шевалье, никому ничего не говоря, стал готовиться к отъезду; лишь за два часа до того, как надо было садиться в карету, он сообщил Сильвандир, что они уезжают из Парижа.

Молодая женщина была просто сражена: до сих пор ей казалось, что муж не способен на решительные действия; она попыталась было воспротивиться, но Роже твердо стоял на своем; тогда она расплакалась, но Роже остался нечувствителен к ее слезам; наконец наступила минута отъезда, и надо было отправляться в дорогу, даже не простившись ни с метром Буто, ни с маркизом де Руаянкуром.

– О, это просто чудовищно! – воскликнула Сильвандир, садясь в карету.

– Позвольте, милый друг, – отвечал шевалье, усаживаясь рядом с женою, – вы же сами уверяли меня, что вам хорошо везде и всюду, если я рядом с вами. На что вы в таком случае жалуетесь? Объясните.

– Вы могли бы, сударь, по крайней мере, предупредить меня об отъезде, чтобы я успела попрощаться с отцом и с друзьями.

– Это было невозможно, мой ангел, мысль об отъезде пришла мне в голову за несколько минут перед тем, как я вам о нем сообщил.

– Долго ли мы пробудем в ваших владениях? Я вас заранее предупреждаю, что терпеть не могу провинцию.

– Но ведь ничто не принуждает нас оставаться там навсегда. Мы пробудем столько, сколько нам обоим захочется.

При этих его словах почтальон хлестнул кнутом лошадей, и они понеслись во весь опор.

На четвертой подставе решили поужинать; Сильвандир сказала мужу, что хочет написать отцу, и шевалье не возражал против этого.

Сильвандир тут же написала письмо, а Роже из деликатности даже не стал спрашивать о его содержании; однако он с удивлением заметил, что, закончив первое письмо, его жена принялась за другие, и это пробудило в нем смутные подозрения. Но шевалье больше всего боялся первой более или менее бурной семейной сцены, ибо знал, что единожды взбаламученное озеро супружеской жизни никогда уже не станет вновь таким спокойным, как прежде.

Он, разумеется, не стал ни о чем расспрашивать горничную, относившую письма на почту: ему казалось недостойным делиться своими подозрениями с особами такого рода; к тому же он, видимо, рассчитывал на то, что его счастливая звезда и впредь не померкнет.

В Шартре Сильвандир попросила разрешения задержаться на несколько часов, сказав, что она хочет помолиться в соборе. После того как в доме д'Ангилемов стал бывать маркиз де Руаянкур, молодая женщина, как мы уже говорили, начала выказывать необыкновенное благочестие, и поэтому такая просьба отнюдь не удивила шевалье; не зная, чем занять себя в эти три или четыре часа, он сказал жене, что, пожалуй, возьмет лошадь и поедет повидаться с д'Эрбиньи, у которого в окрестностях Шартра был загородный дом. Сильвандир направилась к собору, а Роже – к жилищу виконта. Он пробыл там часа три; шевалье не был так близок с д'Эрбиньи, как с Кретте, и поэтому сообщил ему только о том, что они с супругой решили совершить увеселительную поездку в Турень.

Возвратившись в гостиницу «Золотой крест», Роже узнал, что Сильвандир еще не приходила. Он прождал около часу, потом, видя, что жены все нет, отправился в собор. Сильвандир не было и в соборе; шевалье вернулся в гостиницу, позвал хозяина и начал его расспрашивать. Тот сообщил ему, что г-жа д'Ангилем уехала в почтовой карете вместе со своей горничной; это известие ошеломило молодого человек, однако он сохранил присутствие духа и только спросил:

– Надеюсь, она ни в чем не испытывала нужды?

– Нет, милостивый сударь, – ответил хозяин, – ваша супруга была весела и довольна.

– Тем лучше, – сказал Роже, стараясь ничем не выдать владевшую им ярость.

Он вошел в комнату, отведенную его жене, и увидел на туалетном столике среди разбросанных в беспорядке мелочей адресованное ему письмо; мелкий почерк на конверте говорил о твердости и решительности Сильвандир.

Вот что содержалось в этом письме:

«Сударь, Вы сочли возможным увезти меня из Парижа, предупредив об отъезде всего лишь за два часа. Я женщина и потому полагаю, что у меня есть некоторые преимущества перед Вами; я возвращаюсь в столицу и сообщаю Вам об этом спустя два часа после отъезда.

Сильвандир.

Продолжайте свое путешествие либо возвращайтесь. И, пожалуйста, не чувствуйте себя связанным. Вы ведь знаете, что в Париже у меня есть отец и дом».

– Она смеется надо мною, – пробормотал Роже, – но она мне за это заплатит. Ах, Кретте! Ты был совершенно прав: я уже больше не хозяин положения. Но пусть они немного обождут, а там мы еще поглядим.

XIX

О ТОМ, КАК НА ГОРИЗОНТЕ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА ПОДНЯЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ БУРЯ

Как мы уже сказали, удар, нанесенный шевалье, был жесток, тем более жесток, что поразил он человека в самом начале его жизненного пути, когда тот еще полон иллюзий; ведь наш герой прежде уже достаточно страдал, а счастье, выпавшее на его долю, длилось очень недолго, и он еще не успел им пресытиться.

Шевалье терзался одновременно гневом, стыдом и ревностью.

Он приказал своему камердинеру Бретону заказать на почтовом дворе трех лошадей; как только их подвели к воротам гостиницы, Роже вскочил на одного из них, Бретон – на другую, почтальон уселся верхом на третью, и они помчались во весь опор.

Люди, чье сердце терзает боль, испытывают неодолимую потребность в движении; стремительный галоп лошади, уносящий всадника, быть может, навстречу еще худшей беде, к пониманию непоправимости того, что случилось, а иной раз к возможности отомстить, подобен некоему бальзаму для душевных ран. Человек видит, как из-под ног коня уходит дорога, как бегут назад деревья, и

чувствует, что он мчится вперед, приближается к цели, вот-вот достигнет ее; лихорадочные видения вихрем проносятся у него перед глазами, планы, один другого сумасброднее, возникают и тут же рушатся в его мозгу. Чем быстрее мчится конь, тем больше торопит его всадник. Словно какой-то демон кричит ему в ухо: «Скорей! Скорей! Скорей!»

Обратный путь в столицу занял у Роже всего пять часов: он отдыхал только в те минуты, когда меняли лошадей, и все же догнать Сильвандир ему так и не удалось. Бретон вконец обессилел, но сам шевалье даже не ощущал усталости.

Въехав во двор своего особняка, д'Ангилем узнал, что его жена возвратилась домой часа полтора назад. Он вошел в гостиную весь в пыли, с хлыстом в руке, даже не сняв сапог. Сильвандир, уже в вечернем платье, сидела на диване, грациозно опираясь о подлокотник. Она беседовала с маркизом де Руаянкуром и несколькими его друзьями, которых тот в свое время ввел в дом д'Ангилемов.

Дерзость жены ошеломила Роже, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, и прислонился к дверному косяку; он был бледен как смерть.

«Совсем как в басне Лафонтена „Гончая и ее подружка[13]“, – пробормотал шевалье сквозь зубы. – Их четверо… Ну что ж, превосходно, я приглашу Кретте и двух наших друзей, а потом мы все вместе совершим прогулку за монастырь Дев Святого Причастия».

---

[13] *Совсем как в басне Лафонтена «Гончая и ее подружка»*...– Сюжет этой басни таков: бездомная собака, собиравшаяся принести щенят, просит разрешения у своей подружки занять на время ее конуру, а получив разрешение, присваивает жилище соседки.

При появлении шевалье все встали и поспешили к нему навстречу, словом, вновь прибывшего встретили столь учтиво, что только мужлан не сдержался бы до более подходящего случая и дал бы волю своему гневу.

К тому же д'Ангилем был почти уверен, что такой случай непременно предоставится, и, должно быть, в скором времени.

Сильвандир только приветливо помахала мужу рукой, потом слегка пожала плечами и кокетливо надула губки.

– Как! Вы появляетесь в гостиной в таком виде, – сказала она. – Зачем вы притворяетесь дурным мужем? Думается, я вполне заслуживаю того, чтобы вы хоть слегка приодевались прежде чем входить ко мне. Может быть, вы все же немного приведете себя в порядок, друг мой?

Роже был потрясен самоуверенностью жены; ему очень хотелось, не откладывая, выгнать из дому непрошеных гостей ударами хлыста, который он все еще сжимал в руке, но страх перед скандалом удержал его.

– Разумеется, вы правы, сударыня, – ответил он, – но вы же знали, что я должен вот-вот вернуться, и я уповал, что не застану у вас столь многочисленное общество.

При этих словах шевалье пристально взглянул на г-на де Руаянкура, дабы тот почувствовал, что отчитали в первую очередь именно его.

Трое друзей маркиза, будучи людьми благовоспитанными, поняли, что им следует уйти. И тотчас же удалились. Сам маркиз пробыл еще несколько минут, затем в свою очередь встал, попрощался с Сильвандир и Роже и вышел: он, без сомнения, задержался в гостиной для того, чтобы выразить молчаливый протест против поведения шевалье.

– Что это значит, сударь?! – воскликнула Сильвандир, когда дверь за маркизом де Руаянкуром закрылась. – Вы уже просто гоните из моего дома гостей?

– Что вы называете своим домом, сударыня? – спросил Роже. – Прежде всего, мне кажется, следовало бы сказать: «Из нашего дома».

– Из нашего, из вашего или из моего дома – это как вам будет угодно, не стану я препираться из-за слов. Но одно запомните раз и навсегда: я буду принимать у себя кого мне вздумается.

– А я буду гнать отсюда всякого, кто мне не по душе.

– Хоть вы и дворянин, но…

– Продолжайте, договаривайте!

– … но весьма дурно воспитаны.

– А вы, вы дочь судейского крючкотвора, и ко всему еще весьма развязная.

– Сударь, уж не думаете ли вы меня запугать?

– Запугаю я вас или нет, не знаю, но вы тотчас же уедете вместе со мной в Ангилем; только на сей раз вы уж не вернетесь в Париж так быстро, как в прошлый раз.

– Вы говорите со мной таким тоном, ибо полагаете, что я одна, что я беззащитна! – крикнула Сильвандир, не помня себя от ярости. – Но только предупреждаю вас: вы заблуждаетесь! Клянусь, найдутся люди, которые заставят вас раскаяться в том, что вы так обращаетесь со мною.

– Ах, это, конечно, маркиз де Руаянкур! – крикнул в бешенстве Роже. – Вы говорите о вашем маркизе, сударыня? Так вот он уже через час получит от меня весточку, и, клянусь, если он, как я только что заметил, не понимает ни взглядов, ни слов, то, надеюсь, язык моей шпаги будет ему понятнее.

Сильвандир знала, чем закончилась дуэль между д'Ангилемом и Коллински, об этом много толковали в Париже; к тому же Кретте и д'Эрбиньи не раз восторгались при ней храбростью ее мужа и тем, как ловко он владеет оружием; вот почему молодая женщина сильно испугалась того, что может произойти; она бросилась за шевалье и догнала его, когда он уже ступил на лестницу, чтобы подняться к себе и переменить платье. Надо сказать, что Роже принадлежал к числу людей, которые прекрасно понимают: если оказываешь честь своему врагу и собираешься перерезать ему глотку, то при этом на тебе должен быть бархатный кафтан и кружевные манжеты.

Сильвандир не только страшилась скандала, у нее еще были свои виды на маркиза де Руаянкура.

Вот почему, как мы уже сказали, она догнала мужа, схватила его за руки и, пустив в ход слезы, попыталась умерить владевший им неистовый гнев. Роже впервые видел жену в слезах. Сердце у него было не каменное, и в этом неравном поединке он не только не удержал поле боя, но и потерял все. В тот же вечер маркиз де Руаянкур играл в гостиной в триктрак с метром Буто, а Сильвандир мило улыбалась.

Узнав о возвращении своего друга, Кретте вечером приехал в особняк д'Ангилема; однако, повинуясь приказанию Сильвандир, слуги сказали ему, что господин и госпожа д'Ангилем действительно возвратились, но еще не принимают.

На следующий день маркиз прислал письмо Роже: он уведомлял шевалье, что больше никогда не переступит порог дома д'Ангилемов, ибо накануне его не впустили в

особняк, хотя во дворе, у подъезда, стояла карета Руаянкура.

В заключение он прибавил, что отныне их дружбе конец.

В полном отчаянии шевалье тут же помчался к маркизу де Кретте. Он увидел, что тот оскорблен до глубины души.

Правда, шевалье без труда убедил маркиза в том, что он, Роже, понятия не имел о том, что произошло накануне. Сильвандир уверила мужа, что все случившееся просто недоразумение, и он не сомневался, что сумеет уверить в этом и своего друга. Однако Кретте прекрасно понимал, в чем здесь дело, он с большой неохотой согласился по-прежнему бывать у д'Ангилемов, но при одном непременном условии.

– Пойми, шевалье, – сказал маркиз, – мне нанесено оскорбление, и сделали это твои слуги, стало быть, в глазах света оскорбление исходит от тебя. Поэтому я требую сатисфакции. Пусть как-нибудь, когда моя карета будет стоять у ваших дверей, господину де Руаянкуру ответят так же, как ответили мне. На этом условии я готов забыть о том, что произошло вчера, и никогда больше не вспоминать о случившемся.

Роже пообещал маркизу выполнить все, чего тот потребовал.

Приехав домой, шевалье сообщил жене о том, какое обещание он дал своему другу.

Сильвандир в ответ расхохоталась.

Однако Роже был вовсе не склонен шутить, он упрямо стоял на своем и впервые произнес те грозные слова, которые жена никогда не забывает и о которых муж потом вечно сожалеет:

– Я так хочу.

Вспыхнула ужасная ссора; Сильвандир впервые показала, какова она на самом деле; стало понятно, что она сущий деспот, и супруги долго швыряли друг другу в лицо фразы: «Я этого хочу!» и «А я не хочу!»

– Ну, раз вы этого не хотите, – сказал в конце концов Роже, надеясь восторжествовать, употребив страшные для всякой порядочной женщины слова, – ну, раз вы этого не хотите, мне остается думать, сударыня, что вы питаете к господину де Руаянкуру недозволенные чувства.

– Думайте все, что вам заблагорассудится, – отчеканила Сильвандир.

– Если господин де Руаянкур не покинет моего дома, – объявил Роже, – тогда покину его я! Но берегитесь, сударыня, если уж я уйду, то никогда больше сюда не возвращусь.

– Как вам будет угодно, сударь! Мир велик, вы еще молоды, и путешествие пойдет вам на пользу.

– Знайте, сударыня, я уеду немедленно.

– В добрый час! Я вас не удерживаю, сударь, – ответила Сильвандир. Роже совершил ложный шаг, он и сам это заметил, но слишком поздно; ему надо было не спорить с женой, а просто отдать нужные распоряжения швейцару, и дело с концом.

А он вместо этого вступил в спор, и дьявольская женская хитрость оказалась сильнее его слепого гнева.

– Как, вы еще здесь? – осведомилась Сильвандир, видя, что муж остановился, обескураженный ее дерзостью.

Роже грозно шагнул к этой потерявшей стыд женщине, но чувство собственного достоинства удержало его.

– Бретон! – крикнул он камердинеру. – Через час мои дорожные сундуки должны быть в карете!

Он вышел из гостиной и поднялся к себе. Сильвандир не произнесла ни слова, она даже не попыталась удержать мужа.

Прошел час; то был, должно быть, самый тревожный и самый горестный час в жизни шевалье. При каждом звуке он вздрагивал и обращался в слух, он все еще надеялся, что жена одумается и войдет к нему с мольбою на устах и с полными слез глазами. Он отдал бы десять лет жизни, лишь бы Сильвандир поступила так! Однако он скорее согласился бы умереть, чем первым сделать шаг к примирению; после того, что произошло, ему оставалось только одно: твердость. Ему надобно было, по крайней мере, выказать силу воли, коль скоро не удалось выказать силу духа.

Целый час Роже не мог побороть тревогу, сердце у него бешено колотилось; наконец он взял шляпу и спустился в гостиную.

Сильвандир была одна, она вышивала на круглых пяльцах.

– Стало быть, вы твердо решили ехать? – небрежно спросила она, как будто речь шла о прогулке в лес Сатори. – Вы нас все же покидаете?

– Да, я еду, сударыня, – отвечал Роже, сраженный ее равнодушием, – честь имею откланяться.

– Когда же мы снова свидимся?

– Я буду иметь честь поставить вас об этом в известность.

– Прощайте, шевалье.

– Прощайте, сударыня.

И, не пожав руки, которую ему протянула Сильвандир, Роже стремительно вышел, сбежал по лестнице на крыльцо, сел в карету и громко крикнул:

– В особняк Кретте, да побыстрее!

При этом он не без удовольствия услышал, как Сильвандир в ярости захлопнуло приоткрытое окно гостиной: стоя у этого окна, молодая женщина, видимо, следила за тем, что происходит внизу…

Кретте от души посочувствовал д'Ангилему.

Шевалье хотел отправиться к маркизу де Руаянкуру и вызвать его на дуэль, но Кретте удержал друга.

– Пойми, мой милый, – сказал он ему, – ты в ложном положении и винить в этом должен лишь самого себя: тебе следовало проявить терпение, внимательно наблюдать за женой и маркизом, получить какие-нибудь доказательства и только тогда, опираясь на них, вызвать господина де Руаянкура на поединок. Но ты ведь ничего толком не видел, ничего толком не знаешь; еще вчера ты принимал этого человека в своем доме. Что же изменилось со вчерашнего дня? Можешь ли ты утверждать, будто он за это время совершил что-либо предосудительное? Нет, нынче он даже не был у тебя. Маркиз де Руаянкур ответит, что он не понимает, о чем ты говоришь, что ты просто бредишь, и все признают, что ты не прав, я сам первый это скажу.

– Что ж ты мне посоветуешь?

– Черт побери! Коль скоро ты объявил, что отправляешься путешествовать, так и сделай. Поезжай в Италию, в Германию, в Англию, возьми на содержание танцовщицу, займись чем-нибудь, что тебя развлечет, наконец.

– Я ненавижу женщин!

– Ну это уже дело известное. Однако ничто не излечивает нас от любовных неудач лучше, чем какая-нибудь прихоть. Знаешь, если б не крошка Пуссет, я неделю назад, чего доброго, пустил бы себе пулю в лоб или сделался траппистом[14]. Попробуй-ка и ты утешиться по моему примеру.

– Нет! Но я уеду, я покину Париж! Если я тут останусь, то сойду с ума.

– Почему бы тебе не отправиться в Ангилем?

– А как я объясню, что приехал без жены?

– Ба! Мадемуазель Констанс тебя об этом не спросит.

– Констанс меня давно забыла и хорошо сделала. Она, должно быть, уже замужем… Ах, Констанс, Констанс! Какая разница между нею и Сильвандир!

– Друг мой, ты совершенно прав: ничто не походит на женщину меньше, чем другая женщина. Ну ладно, тогда поезжай-ка в Англию, там ты узнаешь много полезного о том, как приводить слабый пол к послушанию, наши соседи по ту сторону Ла-Манша весьма понаторели в такого рода вещах.

– Право, кажется, я последую твоему совету. Ах, Кретте, Кретте! Мое сердце истекает кровью…

Маркиз обнял своего друга; он даже не пытался утешать его, ибо прекрасно знал, что для подобных ран есть только один надежный бальзам – время.

Шевалье отправился в Англию; он пробыл там три месяца и встретил двух англичан, не нашедших счастья в

---

[14] *Трапписты* – члены монашеского ордена, основанного в 1664 г. Устав траппистов отличался особой строгостью.

супружеской жизни: они вели своих жен на рынок с веревкой на шее.

Один продал супругу за десять гиней, другой – за семь.

– Черт побери! – воскликнул Роже. – Я бы охотно уступил свою даром, даже еще приплатил бы.

По несчастью, Роже не родился англичанином.

Через три месяца ему захотелось вернуться во Францию; он был совершенно свободен, и ничто не мешало ему исполнить свое желание, поэтому он тотчас же выехал в Дувр и сел там на корабль.

Двенадцать часов спустя он прибыл в Кале, но чувствовал себя очень дурно после переезда через пролив, ибо море было очень бурное. Едва ступив на твердую землю, шевалье увидел на набережной лакея маркиза де Кретте: тот ждал часа, когда можно будет подняться на корабль; Роже сразу же узнал его.

– Да это ты, Баск! – окликнул он слугу. – Какого черта ты тут делаешь?

– Господи, да никак это вы, господин д'Ангилем? – воскликнул удивленный Баск. – Само Небо пожелало, чтобы я вас повстречал: ведь вас-то я и ищу.

– А для чего я тебе понадобился?

– Я должен вручить вам письмо от моего хозяина. Но прошу вас, говорите тише, господин д'Ангнилем, потому как нас могут услышать.

– Скажи на милость! А кто это может нас услышать?

– Да кто угодно, сударь, кто угодно. Вы, стало быть, еще не знаете, что у нас там стряслось?

– Где это «там»?

– Да в Париже.

– Я уже три месяца не получал оттуда никаких вестей.

– Так вот, хозяина моего позавчера допрашивали и грозили ему Бастилией.

– Вот как! Маркизу де Кретте угрожали Бастилией?

– Да, господин д'Ангилем, я это вам верно говорю.

– А почему ему угрожали Бастилией?

– Потому что он вызвал на дуэль господина де Руаянкура, да только тот не пожелал драться.

– Ты сказал, что привез письмо для меня?

– Да, сударь.

– И там обо всем подробно написано?

– По всей видимости.

– Ну тогда давай скорее письмо.

– Видите ли, сударь, это не так-то просто, ведь оно зашито в подкладку моей куртки. Но коли вы, господин д'Ангилем, соблаговолите пойти со мной в гостиницу «Дельфин»…

– К чему такие предосторожности?

– Сударь, вы, верно, все узнаете, как только прочтете письмо моего хозяина. Когда господин маркиз увидел, что к нам в особняк пожаловали полицейские, он сразу почуял что-то неладное, тут же написал вам это письмо, господин д'Ангилем, велел мне его получше спрятать и сказал: «В путь, Баск, и не возвращайся до тех пор, пока не встретишь шевалье д'Ангилема». Я тотчас же отправился в дорогу, и вот я здесь.

– В таком случае не станем мешкать и пойдем в гостиницу, дружок. Мне надо поскорее прочесть письмо.

Они быстро зашагали к гостинице «Дельфин», вошли в комнату, где остановился Баск, и заперли изнутри дверь.

– Вы уж простите меня, господин д'Ангилем, что мне придется при вас снять куртку, – сказал слуга, – да только другого выхода нет.

– Не стесняйся, мой милый. Скорей!

Баск подпорол подкладку своей куртки, вытащил оттуда небольшой конверт и подал его шевалье.

Роже нетерпеливо распечатал письмо и прочел нижеследующие строки:

«Любезный шевалье!

Пишу тебе уже четвертое письмо: три предыдущих, должно быть, перехватили. Твоя жена исчезла, и, несмотря на все мои попытки, я не мог узнать, где она. В Кур-ла-Рен я повстречал маркиза де Руаянкура. Так как я нисколько не сомневаюсь, что он причастен к исчезновению Сильвандир, я громко сказал ему, что он негодяй. Полагая, что он поведет себя как подобает дворянину, я тут же вытащил шпагу из ножен. Но я ошибся: к величайшему моему изумлению, г-н де Руаянкур сделал вид, будто ничего не слышал. В ту же минуту я заметил, что ко мне приближаются полицейские, и д'Эрбиньи помог мне скрыться. Вчера вечером я послал к маркизу Кло-Рено и Шастелю, чтобы условиться о дне дуэли; однако он их не принял. Нынче утром ко мне пришли, видно, собираются взять меня под стражу. Посылаю к тебе Баска; если ему посчастливится разыскать тебя, не теряй ни минуты и поскорее возвращайся в Париж, тут ты сам во всем разберешься».

– Да, да! – воскликнул Роже. – Я еду в Париж!

Он потребовал, чтобы ему побыстрее привели с почтового двора лошадь, шевалье не сомневался, что неслыханное поведение жены дает ему полное право убить всякого, кто к этому причастен, убить маркиза де Руаянкура и всех его друзей-приятелей, хотя бы их оказалась сотня или даже тысяча. Быстрая езда, как догадывается читатель, только разожгла кровь д'Ангилема. Однако когда шевалье оказался в Кур-ла-Рен и уже собирался въехать в Париж, его карету остановил полицейский офицер, поклонившись ему при этом чуть ли не до земли. Роже сперва было хотел насквозь проткнуть его шпагой и начать таким образом резню, к которой он мысленно готовился, однако офицер отступил на три шага, вытащил из кармана бумагу и громко объявил:

– Именем короля, предлагаю вам, шевалье д'Ангилем, отдать мне свою шпагу.

Убить полицейского офицера было делом нешуточным; поэтому Роже только гневно взглянул на него, потом взглянул еще раз и вложил шпагу в ножны.

Час спустя шевалье уже доставили в Фор-л'Евек.

XX

О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ, ВИДЯ, ЧТО ЕМУ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ, ВОЗНАМЕРИЛСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО БЕЗО ВСЯКОГО НА ТО СОИЗВОЛЕНИЯ

Человек, пораженный молнией, никогда не рыдает и не стонет; напротив, он лишается чувств, и всякому понятно, что он оглушен, разбит и не в силах пошевелиться; однако,

хоть он и совершенно неподвижен, жизнь в нем продолжается, связь между его органами чувств и мозгом, на мгновение прервавшаяся, постепенно восстанавливается, сознание и силы медленно возвращаются к нему, и он старается постичь свое новое состояние и приноровиться к нему.

Шевалье д'Ангилем, доставленный в Фор-л'Евек, походил на человека, пораженного молнией.

Мы не сказали, что он не предупредил Баска о своем намерении немедленно ехать в столицу; он велел слуге лечь и немного отдохнуть, и Баск с благодарностью последовал его совету; а пока бедный малый крепко спал, Роже вскочил на коня и во весь опор помчался в Париж.

Роже не хотел, чтобы Баск сопровождал его, прежде всего потому, что тот был совершенно без сил, а также из опасения, что это может повредить Кретте. Он сразу сжег письмо, полученное от маркиза, чтобы никто не мог сказать, будто тот имел хоть какое-либо касательство к его решению возвратиться в столицу. То, о чем рассказал Баск, не выходило у шевалье из головы, и он не сомневался, что ищейки метра Вуайе д'Аржансона уже пущены по его следу.

В десяти льё от Парижа Роже пересел в карету: за пятнадцать часов он проделал пятьдесят льё и был совсем разбит. В экипаже он стал понемногу приходить в себя, но пока еще не догадывался о грозившей ему опасности. И только когда его взяли под стражу, он начал лучше понимать свое положение. Словом, как мы уже говорили, шевалье был угнетен и подавлен.

– Итак, я арестован! – то и дело горестно восклицал он. – Итак, я арестован!

И при каждом возгласе д'Ангилема полицейский офицер весьма учтиво кланялся ему, но не произносил ни слова.

Карета въехала во двор замка. Роже вышел из нее. Какой-то человек в кафтане из алого бархата с золотыми пуговицами направился к нему и громко сказал одному из стражников, куда надлежит отвести узника; потом он вполголоса прочитал протокол о взятии под стражу шевалье д'Ангилема: его нацарапал в карете по пути в замок полицейский офицер так, что задержанный этого даже не заметил.

Человек в бархатном кафтане пробормотал:

– Превосходно.

И знаком показал, что узника можно вести в предназначенное для него помещение.

Шевалье последовал за стражником, не проронив ни слова и ни о чем не спросив.

Казалось, укажи ему кто-нибудь в ту минуту на затянутый черным сукном помост, где были бы плаха и топор, дай ему знак, чтобы он опустился на колени и положил голову на эту плаху под смертоносный удар, и он подчинился бы безо всяких колебаний. События, следовавшие одно за другим, были, думалось ему, тесно связаны между собою, он испытывал на себе их последствия, не понимая причин, и покорно шел им навстречу, шел безотчетно, опустив голову, безропотно подчиняясь нелепой и жестокой судьбе; так человек во сне, не колеблясь и ничему не удивляясь, совершает самые сумасбродные поступки.

Шевалье, почти ничего не замечая, безучастно поднялся по мрачной лестнице, вошел в довольно красивую

галерею, миновал ее, а потом долго взбирался по винтовой лестнице Бог весть на какой этаж, попал наконец в еще один коридор, из этого коридора – на какой-то чердак, а уж из чердака – в маленькую, темную, но довольно чистую камеру. Дверь за ним захлопнулась, заскрипели засовы, и только тут, от этого скрежещущего звука, Роже как бы очнулся.

Он сидел на низкой скамеечке; вскинув голову, он огляделся по сторонам, встал и обошел камеру – на это ушло немного времени.

Затем, подчиняясь инстинкту, оказавшемуся сильнее всех прочих побуждений, он подошел к узкому оконцу, забранному двойной решеткой; сквозь ее перекрещенные прутья в камеру скупо просачивался свет и воздух… Свет! Воздух! Жизнь!.. Злосчастный Роже, этот крепкий и сильный молодой человек, большую часть жизни провел в деревне, привык там дышать полной грудью, вбирая в себя живительный воздух, особенно когда охотился на равнине и в лесах вокруг Ангилема, и вот теперь он был вынужден вдыхать сквозь узкую щель в стене слабое дуновение ветерка и ловить тонкий луч солнца!

Мы сказали «вдыхать», ибо оконце оказалось столь узким, что в него нельзя было даже просунуть голову; оно было прорублено в стене огромной толщины, две решетки, отстоявшие на фут одна от другой, как мы уже сказали, уходили в толщу камня, и только сквозь верхнюю часть этого отверстия узник мог различить лоскут неба и ничего больше – ни кроны дерева, ни флюгера.

В ясные дни Роже предстояло отыскивать на нем хотя бы облачко, в дождливые – хотя бы клочок лазури.

Положение узника было весьма печальным, тем более печальным, что, хотя шевалье прежде частенько размышлял о различных бедах, которые могли выпасть на его долю, дабы заранее к ним приготовиться, ему никогда и в голову не приходило, что он может угодить за решетку, и потому он совершенно не был подготовлен к такому несчастью.

Он снова опустился на скамеечку, чтобы обдумать свое положение, потом бросил взгляд на источенный червями стол, покрытый куском какой-то дешевой ткани, встал и ощупал свое ложе, оказавшееся весьма жестким; затем опять сел на скамеечку и погрузился в размышления. Он в темнице, это бесспорно. Но кто приказал бросить его в темницу, по какой причине он очутился в ней? Вот что надо было понять прежде всего.

Трудно представить себе, как далеко может унестись мысль человека, если ему нечем занять себя и остается только одно – размышлять. Роже упорно искал ключ к разгадке, обдумывая и отбрасывая одно возможное объяснение за другим. Прежде всего он решил, что стал жертвой ошибки.

«Быть может, – подумал он, – мой отец принял участие в каком-нибудь заговоре у себя в провинции, а меня посчитали его доверенным лицом».

Хотя барон д'Ангилем с тех пор, как он унаследовал деньги и имущество виконта де Бузнуа, был гораздо более доволен правлением Людовика XIV, чем прежде, его сын в свое время часто слыхал, что в их доме жаловались и нападали на г-жу де Ментенон и на отца Летелье, потому ему казалось вполне возможным, что барон д'Ангилем замешан

в какой-нибудь крамоле. И он вначале утвердился в этой мысли.

– Я докажу, – сказал он вслух, – что последние три месяца провел в Англии и возвращался прямо оттуда, что уже полтора года я не был в Ангилеме и больше года не виделся с отцом. Когда я приведу все эти доводы, моя невиновность станет очевидной и меня с почетом выпустят на свободу.

Целых полчаса Роже был довольно спокоен.

– Черт побери! – воскликнул он вдруг. – А ну, как они подумают, что я ездил в Англию, чтобы тайно вступить в соглашение с принцем Оранским, который питает смертельную вражду к Людовику Четырнадцатому? А ну, как они решат, будто мое путешествие имело целью посеять семена недовольства? Тогда я погиб!..

И следующие полчаса Роже пребывал в полном отчаянии.

– А не может ли так случиться, – прошептал он полчаса спустя, – что мое дело связано с делом Кретте?

Однако трудно было допустить, что маркиза де Кретте преследуют из-за ссоры с г-ном де Руаянкуром, или, вернее, трудно было допустить, что их ссора была тому единственной причиной.

«Кретте слывет врагом „старухи“, – думал шевалье, – он и в самом деле ее враг и, должно быть, навлек на себя ее немилость. Руаянкур его терпеть не может. Король весьма суров в отношении дуэлянтов; власти, должно быть, закрыли глаза на наш поединок с Коллински, и нас тогда пощадили только из-за недостатка бесспорных улик. А теперь, когда Кретте вызвал Роаянкура на поединок, в этом

усмотрели уже попытку второй дуэли. Да, но ведь я тут совершенно ни при чем, когда Кретте собирался драться с Руаянкуром в Париже, я-то был в Лондоне».

Потом Роже вспомнил о своей жене.

– Она исчезла, – сказал он вполголоса. – Уж не думают ли они, чего доброго, что я ее убил?

И он принялся размышлять о том, как странно вела себя Сильвандир по отношению к нему; при этой мысли шевалье пришел в бешенство, ибо, как читатель, должно быть, уже заметил, герой наш был ревнив, точно тигр, а жена, надо признаться, бесспорно давала ему известные основания для ревности.

Наступил час прогулки, и за шевалье д'Ангилемом пришли.

Каждому узнику ежедневно разрешалась двухчасовая прогулка.

Для нее была отведена особая площадка.

Роже встретил на этой площадки восьмерых заключенных, восьмерых товарищей по несчастью; каждый из них был одет на собственный лад, и все они мало походили друг на друга.

По лицу и по одежде узника легко было догадаться, давно ли он попал в узилище.

– О чем сейчас говорят в Париже, милостивый государь? – воскликнули они хором.

– Я полагаю, господа, – ответил шевалье, – там говорят о том, что нынче утром меня взяли под стражу; впрочем, после этого события прошло уже часов пять или шесть, возможно, о нем больше не говорят и начинают проявлять интерес к чему-либо еще.

– Ах так! Стало быть, вас взяли под стражу?

– Черт побери! Да вы это и сами видите! Ведь и вы тут не ради собственного удовольствия находитесь, не правда ли?

– Разумеется, нет.

– Вот и я тоже.

– Но почему вас взяли под стражу?

– Почему? С самого утра я доискиваюсь причины моего ареста, и если вы соблаговолите мне ее назвать, то выведете меня из большого затруднения.

– Как? Вы не знаете, почему вас арестовали?

– Нет, а вы?

– И я не знаю.

– А вы, сударь?

– Не знаю и я.

– Но а вы-то хоть знаете?

– Тоже нет.

На один и тот же вопрос, обращенный поочередно к восьмерым узникам, восемь раз последовал один и тот же ответ.

Никто из заключенных не знал причины своего заточения, а между тем один из них находился в Фор-л'Евеке уже целых десять лет.

Однако держался он спокойнее всех и меньше других роптал на судьбу.

Роже содрогнулся. Ведь человек этот провел в темнице большее число лет, чем сам он, Роже, провел в ней часов.

А между тем шевалье уже успел здесь затосковать.

«Да, видно, я пропал», – подумал он.

Однако мы всегда уповаем на то, что печальный жре-

бий, ставший уделом других, не станет нашим уделом. И потому Роже начал расспрашивать других узников, нельзя ли ему побеседовать с кем-либо из тех, кто осуществляет власть в замке.

– Вы можете, когда вам будет угодно, попросить, чтобы вас посетил комендант, – ответили ему.

– Вот как? Стало быть, я могу попросить коменданта прийти ко мне?

– Вот именно.

– И для этого достаточно обычной просьбы?

– Вполне достаточно.

– Тогда я сделаю это нынче же вечером! Господа, я прощаюсь с вами.

– Прощаетесь? А почему?

– Да потому, что завтра я, вероятно, уже не буду иметь чести с вами встретиться.

– Почему вы так думаете?

– Да потому, что если нынче вечером я увижу коменданта, то, без всякого сомнения, буду завтра же на свободе.

– Бедный юноша! – прошептали узники, покачивая головами.

Этот сочувственный возглас не помешал Роже возвратиться к себе в камеру в самом радужном расположении духа.

Ему принесли обед, и он с аппетитом съел хлеб и овощи, отпущенные для него королевской казною.

Покончив с трапезой, он попросил тюремщика передать коменданту замка, что новый узник очень хочет с ним переговорить.

– Нынче уже слишком поздно, – отвечал тюремщик, – но завтра комендант непременно к вам придет.

– Вы в этом уверены, друг мой?

– Конечно, уверен.

– В таком случае до завтра, – сказал шевалье, решив набраться терпения и утешая себя мыслью, что ночь пройдет быстро.

Он вновь уселся на скамеечку и стал следить сквозь прутья решетки за последними бликами уходящего дня…

Роже все еще сидел на скамейке, глядя в небо и погрузившись в раздумье, как вдруг ему показалось, будто рядом слышан какой-то шорох.

Он взглянул на пол и увидел мышь: она грызла крошки хлеба, валявшиеся на полу.

Шевалье ненавидел мышей; он схватил свою шляпу и с размаху швырнул ее в крошечного зверька; тот, перепугавшись, обратился в бегство и проскользнул под дверью в соседнюю, гораздо более просторную комнату, которую он, судя по всему, облюбовал себе для жилья.

Роже довольно долго сильно тревожила мысль, что непрошеные гости могут, чего доброго, нанести ему ночью визит. Вот почему он продолжал сидеть на скамеечке, не сводя глаз с небольшой щели под дверью. Он сидел до тех самых пор, пока луч света еще проникал в оконце его камеры, а когда ночной мрак совсем сгустился, Роже взял валявшуюся на столе пробку от бутылки и воткнул ее в щель под дверью, обезопасив себя таким способом от вторичного визита непрошеных гостей.

Теперь он мог быть спокоен.

И все же ночью шевалье раза три или четыре внезапно просыпался как от толчка: ему чудилось будто маленькие лапки царапают его лицо и руки; однако всякий раз он

убеждался, что, кроме него самого, в камере нет ни единого живого существа.

Этого нельзя было сказать о соседнем помещении, ибо оно, видимо, служило местом для встреч всех мышей, всех крыс и всех кошек, обитавших в замке.

И все же узник довольно спокойно провел ночь: он был полон надежд.

На следующий день, часов около двенадцати, когда терпение шевалье было уже на исходе, в коридоре послышался необычный шум: видимо, солдаты взяли на караул. Потом у самой двери послышались шаги, в замочной скважине повернулся ключ, дверь отворилась, и в камеру вошел комендант замка.

Это был высокий сухопарый человек; когда он говорил, губы его едва шевелились, а глаза ничего не выражали. Он держал свою шляпу в руке, без сомнения, потому, что не хотел снимать ее, входя к узнику.

– Господин комендант, – воскликнул Роже, бросаясь ему навстречу, – я шевалье Роже д'Ангилем!

– Мне это уже известно, сударь, – ответил комендант, почти не шевеля губами.

– Вам это уже известно? – с удивлением спросил шевалье.

Комендант молча поклонился.

– Ну что ж, коль скоро вам известно, кто я такой, я хотел бы, господин комендант…

– Есть ли у вас какие-нибудь жалобы на наши порядки, господин д'Ангилем?

– Нет, пока что нет, сударь, впрочем, я еще не успел как следует ознакомиться с этими порядками; но мне хотелось бы знать…

– Не испытываете ли вы в чем-нибудь недостатка, господин д'Ангилем?

– До сих пор еще ни в чем; но не могу ли я узнать?..

– Не выказал ли кто-либо из служителей замка неуважения к вам, господин д'Ангилем?

– Нет, сударь, я даже обратил внимание на отменную вежливость человека, который меня обслуживает.

– В таком случае, господин д'Ангилем, поскольку вы ни на что не жалуетесь, позвольте мне удалиться.

– Простите, сударь, простите! Я жалуюсь на то, что меня заключили в темницу.

– Ну, это уж меня не касается, – ответил комендант.

– Но почему я все-таки здесь?

– Вам сие должно быть известно лучше, чем мне, господин д'Ангилем.

– Лучше, чем вам? А почему?

– Потому что это касается вас, между тем, как я уже имел честь вам сообщить, меня это не касается, а я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается…

– Но, наконец, должны же вы знать…

– Сударь, я ничего не знаю.

– Но, наконец, должны же вы догадываться…

– Сударь, я ни о чем не догадываюсь; король присылает сюда человека, взятого под стражу, я принимаю его, помещаю у себя в замке и слежу, чтобы он ни в чем не нуждался, пока находится на моем попечении. Вот в чем состоит мой долг, и я его неукоснительно выполняю.

– Но ведь король может ошибаться.

– Король никогда не ошибается.

– Но ведь король может быть не прав.

– Король всегда прав.

– И тем не менее клянусь вам, что я не совершил ничего…

– Сударь, избавьте меня от необходимости выслушивать вас дальше.

– Сударь, заявляю вам, что я ни в чем не виновен.

– Сударь, позвольте мне удалиться.

– Но скажите, по крайней мере, долго ли я тут пробуду? Ответьте, сударь, умоляю вас!

– Сударь, вы пробудете здесь ровно столько, сколько будет угодно королю.

– Послушайте, да вы меня сведете с ума! – крикнул Роже.

– Ваш покорный слуга, сударь.

Комендант поклонился шевалье и, по-прежнему держа шляпу в руке, вышел в сопровождении своей охраны.

На этот раз Роже показалось, что дверь за комендантом захлопнулась со зловещим стуком. У него было такое чувство, будто именно с этой минуты он по-настоящему стал узником; он тяжело опустился на низенькую скамью, вперил безнадежный взгляд в дверь, и глаза его наполнились слезами.

Шевалье думал теперь о своих родителях, о друзьях, о Боге.

И тут в его памяти стали всплывать ужасные рассказы об узниках, каких немало было в ту пору: Бассомпьер провел в Бастилии десять лет, Лозен был заточен в Пиньероле целых тринадцать, там же долго томился и Фуке, о котором даже толком не было известно, жив он еще или уже давно умер. Перед мысленным взором Роже проходили

один за другим лица всех этих дворян, схваченных ночью и исчезнувших без следа. Он вспомнил и о Маттиоли, и о человеке в железной маске, и, наконец, о том узнике, которого он встретил накануне на прогулке и который провел тут, в замке, уже десять лет. Правда, все эти люди были в чем-то виноваты: Бассомпьер пытался бороться против кардинала Ришелье, Лозен бросил тень на репутацию внучки Генриха IV, Фуке дерзнул состязаться в роскоши с самим Людовиком XIV, Маттиоли выдал государственную тайну, трагедия человека в железной маске осталась загадкой, но она тоже была связана с политикой… Однако сам-то он ведь ни в чем не виноват! Сколько ни рылся Роже в памяти, перебирая день за днем всю свою жизнь, он не находил ни одного преступления, ни одного проступка, ни одного неосмотрительного шага, в коем его могли бы упрекнуть, между тем как предосудительные деяния и проступки тех, о ком он вспоминал, были широко известны.

Но, с другой стороны, ведь никто не знает, что вменяли в вину человеку, с которым он разговаривал накануне – шевалье даже не было известно его имя, – а между тем тот провел в заточении уже десять лет.

Десять лет! Стало быть, у этого несчастного нет ни родных, которые добивались бы его помилования, ни друзей, которые хлопотали бы за него перед властями?! Стало быть, этот человек никому не известен? Но если он и в самом деле никому не известен, почему его держат в заточении десять лет?

Такие мысли терзали шевалье целый час или даже два; затем он снова начал припоминать самые веские доказательства своей невиновности, и мало-помалу уверенность в

том, что ему нетрудно будет оправдаться, взяла верх над опасениями, и все его мрачные мысли развеялись.

Наступил час прогулки. Шевалье, как и накануне, вышел из камеры, как и накануне, его проводили на площадку, там он, как и накануне, встретил восьмерых своих товарищей по несчастью. Он подошел к тому, кто пробыл здесь десять лет, и осведомился о его имени.

– Граф д'Олибарюс, – ответил тот.

Роже порылся в памяти: имя это было ему совершенно незнакомо.

– А по какой причине вас держат здесь? Послушайте, граф, скажите мне откровенно, это останется между нами.

– Я могу лишь повторить то, что уже сказал вам вчера: я и сам об этом не имею понятия.

– Вы и сами не знаете?

– Не знаю, сударь.

– Но неужели за те десять лет, что вы пробыли в заключении, – спросил шевалье, понижая голос, – вы даже не попытались совершить побег?

Граф д'Олибарюс пристально посмотрел на Роже, ничего не ответил и повернулся к нему спиной. Он принял шевалье за доносчика.

«Черт побери! – подумал Роже. – Если бы я пробыл тут десять лет, я бы уже раз десять попытался убежать».

Потом он прошептал:

– Так-так! Хоть я и не сижу тут десяти лет, почему бы мне не попробовать бежать?

Затем Роже подошел к остальным узникам, но все попятились от него как от зачумленного.

Граф д'Олибарюс уже поделился с ними собственными подозрениями, и это, видимо, принесло свои плоды.

Шевалье так и не удалось перекинуться хотя бы словечком с другими заключенными, это привело его в самое дурное расположение духа и утвердило в решимости покинуть Фор-л'Евек как можно скорее.

Все же он решил дать королю неделю сроку для того, чтобы тот исправил допущенную несправедливость; если же за неделю несправедливость эта не будет исправлена, решил Роже, тогда ему придется сосредоточить все свои помыслы на одном: на своем побеге!

XXI

О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ПОЗАБЫЛ ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОПУЩЕННУЮ В ОТНОШЕНИИ ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Мы уже однажды наблюдали, как смело действовал Роже, правда, в гораздо менее трудных обстоятельствах. Приняв какое-нибудь решение, он, как уже знает читатель, выказывал редкостное упорство в достижении цели.

Прошла неделя; шевалье д'Ангилем счел бы, что он недостаточно доверяет его величеству королю, если бы на протяжении этой недели хотя бы изредка думал над планом своего побега: такой план можно было начать обдумывать лишь в том случае, если бы король забыл его освободить. Множество мыслей проносилось в голове шевалье, и все они были связаны с возможным побегом, но он усилием воли отгонял их. Все эти дни он не слишком страдал от одиночества, хотя остальные узники в часы прогулок по-прежнему сторонились его. Надежда ни на минуту не

оставляла Роже, и, каждый раз, когда дверь в его камеру отворялась, он думал, что, должно быть, мучимый раскаянием, король решил наконец исправить допущенную ошибку.

Но у короля, видимо, были иные дела и заботы; во всяком случае, он ни в чем не раскаивался: неделя прошла, а ошибка, допущенная по отношению к шевалье д'Ангилему, так и не была исправлена.

И потому, когда истекла последняя минута последнего часа последнего дня недели, Роже стал всерьез обдумывать план побега.

Прежде всего он внимательно осмотрел свое узилище. И вот что он установил:

дубовая дверь – толщиною в три дюйма;

окно – забранное двойной решеткой;

стены – толщиною в четыре фута.

Все это не вселяло особых надежд.

Шевалье нажал плечом на дверь: два замка и два засова говорили о том, что она заперта прочно.

Затем он потряс оконные решетки: они были надежно укреплены в толще стены.

Роже во многих местах стучал по стенам: они всюду рождали глухой звук, и это указывало на то, что никаких пустот в них нет.

Чтобы высадить дверь, нужен был лом.

Чтобы распилить оконные решетки, нужен был напильник.

Чтобы продолбить стены камеры, нужна была кирка.

Ничего этого у шевалье не было.

Зато у него была смекалка человека, выросшего в де-

ревне и привыкшего собственными силами справляться со множеством самых различных трудностей, которые ставит перед ним жизнь; зато у него было терпение узника, который долгие часы, долгие дни, долгие годы способен вынашивать одну-единственную мысль всякого узника: мысль о свободе!

Он обследовал свою темницу изнутри; теперь надо было обследовать ее снаружи.

Как обычно, за ним пришли, чтобы отвести на прогулку. Выйдя из камеры, он прошел через просторное помещение, расположенное перед нею, где по ночам по-прежнему собирались и резвились кошки и крысы, обитавшие по соседству.

Помещение это представляло собою нечто вроде склада, тут на окне не было решетки; шевалье не знал, куда выходит окно, потому что ему не позволяли приближаться к окну, а сам он остерегался просить такого позволения. Склад был битком набит старыми тюфяками, одеялами, рваными занавесками из саржи, вдоль стен стояли какие-то лари; можно было подумать, что это лавка торговца, скупающего обивку и мебель.

Легко понять, что кошки, крысы и мыши чувствовали себя тут весьма привольно.

Затем шевалье попал в длинный коридор, в котором имелись две двери: одна вела в комнату, расположенную перед его камерой, вторая – на винтовую лестницу, откуда и можно было попасть на площадку для прогулок. Обе двери были тщательно заперты на засовы, а по коридору прохаживался часовой.

На сей раз Роже даже не пытался вступить в разговор с

другими заключенными. Его всецело занимала мысль о побеге, и он, точно с собеседником, вел с этой мыслью безмолвный разговор. Во время прогулки шевалье с нетерпением ждал минуты, когда он вернется к себе в камеру.

Рассчитывать на то, что удастся бежать с площадки для прогулок, было нельзя, ибо для этого пришлось бы высадить две двери и неожиданно напасть на часового.

Поэтому все надежды шевалье были связаны с помещением, служившим складом. И на обратном пути он осмотрел эту комнату с гораздо большим вниманием, чем прежде. Доносившийся через окно шум указывал на то, что оно выходит на улицу. На складе было достаточно чехлов и занавесок, из которых можно было сплести веревку.

Таким образом, все сводилось к тому, чтобы проникнуть туда.

Роже вновь вошел в камеру, и дверь за ним заперли на ключ и на оба засова. Узником владела теперь одна мысль: если он решится на побег, то воспользоваться для этого надо будет складом.

Шевалье отделяла от свободы лишь одна дверь. Но что это была за дверь! Трехдюймовая дубовая стена, вделанная в каменную стену!

И со стороны камеры на ней ни единого винта, ни единого гвоздя: все было закреплено снаружи, а потому не было никакой возможности отвинтить дверные замки и засовы, если бы даже у заключенного оказался нужный для этого инструмент.

Однако инструмента у него тоже не было.

Узнику принесли ужин; Роже бросил внимательный взгляд сквозь приоткрывшуюся дверь и прислушался: до

него донеслись выкрики уличных торговцев, проходивших внизу.

Шевалье поел; покончив со скудной трапезой, он лег на кровать.

И тут до него вдруг донесся легкий шум; он вытянул шею и увидел маленькую мышку: ободренная тишиной, она вновь осмелилась пробраться в камеру, чтобы полакомиться крошками с его стола.

Роже удивился тому, что на сей раз он не испытал привычной гадливости, увидев гонца из мышиного царства: крохотный зверек, пришедший проведать узника и попросить его поделиться излишками еды, теперь уже внушал ему скорее сочувствие, а не отвращение. Кроме того, шевалье уже начал тосковать, и маленькая гостья сулила ему хотя бы некоторое развлечение.

Вот почему он решил снизойти до зверька и обратиться к нему с несколькими ободряющими словами, полагая, что мышка только ждет этих слов, дабы подойти ближе и тем выразить признательность за оказанную ей честь; однако трусливая мышка, напротив, и отважилась-то проникнуть в камеру лишь потому, что была уверена: ее врага там нет. Услышав голос узника, она исчезла с быстротой молнии.

Шевалье, прежде пробормотавший что-то в осуждение несправедливости рода людского, теперь пробормотал что-то насчет неблагодарности мышиного племени.

Наступила ночь; Роже разделся и лег. Правилами, установленными в замке, запрещалось давать узникам лампы или свечи, и приходилось укладываться спать сразу же после захода солнца.

К несчастью, уехав из Ангилема и обосновавшись в

Париже, шевалье отвык ложиться вместе с солнцем. Напротив, за время своего пребывания в столице он приобрел привычку бодрствовать допоздна. В ту эпоху было принято подолгу засиживаться за ужином, и Роже никогда не ложился в постель раньше двух часов ночи. Впрочем, в Ангилеме он отправлялся спать в восемь вечера потому, что этому предшествовал нелегкий день: он охотился, скакал верхом или фехтовал; его уставшее тело требовало отдыха, и крепкий сон наступал сразу же. Но в тюрьме все было иначе. Жизненная сила, бившая ключом в Роже, теперь не находила себе никакого выхода. Кровь приливала к его голове и так неистово стучала в висках, как будто у него начиналась горячка. Он закрывал глаза, забывался, впадал в дремоту: это было нечто среднее между бодрствованием и сном. И тогда самые странные видения проносились у него перед глазами. Большую часть ночи он ворочался с боку на бок и только часам к двум засыпал тяжелым сном; а через некоторое время его начинали терзать обрывочные сновидения. То ему чудилось, будто у него, как у птицы, выросли крылья и он вылетает через окно, то он неожиданно превращался в мышь и проскальзывал в щель под дверью; но потом, когда он убегал по водосточным трубам либо парил в небесном просторе, лапы или крылья внезапно отказывались ему служить, он низвергался в глубокую пропасть, долго падал, а когда, так и не достигнув дна, пробуждался, то сердце у него бешено колотилось, грудь судорожно вздымалась, по лбу струился пот.

После этого узнику больше уже не удавалось заснуть.

При первых лучах солнца он вскакивал со своего ложа и тотчас же начинал кружить по камере, словно медведь в

клетке, опять старательно выстукивал стены и пробовал расшатать оконную решетку, а под конец непременно останавливался перед дверью.

Этой окаянной двери не хватало только пресловутой надписи, отнимавшей всякую надежду, а то бы она в точности походила на дверь, ведущую в ад.

А между тем именно через нее лежал путь к свободе…

Утром шевалье принесли завтрак; он торопливо поел, накрошил побольше хлеба и набросал на пол крошек до самой двери; затем отнес свою скамеечку в самый дальний угол и опустился на нее.

Все эти меры предосторожности оказали должное действие: уже через минуту Роже увидел, как из-под двери высунулась острая мордочка его крохотной соседки.

Несмотря на то что накануне мышка совершенно безнаказанно бегала по комнате и Роже обращался к ней с ободряющими словами, теперь она долго колебалась, прежде чем двинуться вперед. Сперва она спрятала свою мордочку, затем снова высунула ее, потом опять спрятала; наконец маленький зверек, соблазненный крошками, рассыпанными на полу, и успокоенный неподвижностью узника, быстро проскользнул в камеру и тут же остановился, точно напуганный собственной дерзостью; но вскоре, убедившись в том, что ей никто не грозит, мышка принялась с аппетитом хрустеть крошками, забавно морща мордочку, подпрыгивая на месте, то опуская, то поднимая лапки; эти смешные ужимки сильно забавляли Роже, он никогда не предполагал, что мышь может оказаться столь уморительным зверьком.

К несчастью, шевалье, сидевший неподвижно как ста-

туя, вдруг ощутил судорогу в левой ноге. Он непроизвольно сделал резкое движение, и мышка поспешно юркнула под дверь.

И тут Роже подумал, что только в двух случаях он мог бы последовать ее примеру: если бы он сам был такого размера, как щель, или если бы щель была такого размера, как он.

Понятно, что лишь одна из двух этих возможностей лежала в пределах досягаемости. Уразуметь это было нетрудно.

Шевалье, как мы уже говорили, отличался в высшей степени аналитическим умом, поэтому он задал себе следующий вопрос: «Каким способом можно сокрушить деревянную дверь?» И сам себе ответил: «Двумя способами: с помощью железа и с помощью огня».

Раздобыть инструмент из железа было невозможно.

Раздобыть огонь было очень трудно, но все-таки возможно.

И Роже остановился на втором способе.

– Я должен раздобыть огонь, – проговорил он вслух.

К сожалению, пожаловаться на холод он при всем желании не мог, ибо лето было в самом разгаре. И шевалье прекрасно понимал, что у него не хватит терпения дожидаться зимы; к тому же до тех пор коменданту могла прийти в голову мысль перевести узника в другую камеру.

Вот почему Роже принялся размышлять над тем, как ему раздобыть огонь.

В тот же вечер план его созрел.

Часов в девять солдату, который прохаживался по коридору, показалось, будто он слышит стоны; он прошел из

конца в конец галереи и удостоверился, что стоны доносятся из камеры, где был заключен шевалье д'Ангилем.

В десять часов вечера, во время первого обхода часовых, солдат доложил о своих наблюдениях караульному офицеру; тот подошел к двери и убедился, что часовой прав. Жалобы и стоны доносились с той стороны, где помещалась камера Роже, а так как никакой другой камеры там не было, то и сомнений быть не могло: стонал и жаловался именно шевалье д'Ангилем.

Позвали тюремщика.

Он пришел, отпер дверь камеры и увидел, что узник лежит на кровати и корчится от жестоких болей в животе. Послали за тюремным врачом, тот осмотрел больного и прописал липовый отвар: чай в ту эпоху еще не вошел в употребление.

На следующий день Роже не вставал с постели и по-прежнему жаловался на боли в животе, по его словам, внутри у него все горело. Тем не менее в два часа дня он поел овощного супа, который ему принесли из кухни самого коменданта. Но, едва проглотив этот суп, шевалье снова принялся стонать; когда врач опять вошел в его камеру, узник объявил, что уверен в том, будто его хотят отравить.

Врач тотчас же дал Роже противоядие, но, как и предполагал достойный эскулап, никакой отравы в пище, которую давали заключенному, обнаружено не было.

Тем не менее Роже продолжал настаивать на том, что он жертва отравления, и заявил, что лучше умрет с голоду, но впредь не станет принимать никакой пищи, кроме той, какую сам себе приготовит.

Шевалье сдержал свое слово и даже не притронулся к ужину; когда надзиратель на следующее утро принес заключенному завтрак, он увидел, что вчерашний ужин так и стоит на столе.

Наступил час прогулки, и Роже сказал, что хочет пройтись; однако ему ответили, что теперь прогулка происходит в другое время. Тюремные власти опасались, как бы шевалье, встретившись на площадке с другими заключенными, не вздумал пожаловаться им на то, будто его хотели отравить, а они, чего доброго, могли бы поверить этой клевете.

Вот почему за ним пришли только в пять часов вечера. Уже больше суток Роже ничего не ел, он был очень бледен и, видимо, сильно ослабел: на площадке он едва держался на ногах, так что пришлось принести для него стул. Так он и просидел на стуле все время прогулки.

Возвращаясь в свою камеру и проходя через склад, расположенный перед нею, шевалье вдруг почувствовал себя дурно, хотя и не лишился чувств; слабым голосом он пожаловался на то, что ему не хватает воздуха, и его подвели к окну.

Просунув голову в узкое оконце, он увидел, что оно выходит на набережную Валле-де-Мизер. До земли было, по крайней мере, футов шестьдесят, а так как все окна в нижних этажах были забраны железными решетками, взгляду узника предстал лес остроконечных прутьев, устремленных вверх. При виде сих железных копий Роже задрожал, а сопровождавший его стражник, естественно, приписал эту дрожь недомоганию заключенного. И все же шевалье не отказался от своего намерения бежать через окно склада.

Возвратившись в камеру, он продолжал упорно отказываться от пищи, утверждая, что, как и прежде, уверен в том, будто его задумали отравить, и заявляя, что лучше уж он умрет от голода, чем от яда.

Такое обвинение было слишком серьезным, и оно встревожило коменданта. Вот почему на следующий день, в час завтрака, он сам пожаловал к узнику и убедился, что ужин, который принесли в камеру накануне вечером, стоит нетронутым. Роже ничего не ел уже более двух суток.

Он заметно ослабел и осунулся. Комендант всячески пытался успокоить заключенного и даже сказал, что сам готов первым пробовать еду, которую будут приносить узнику; но Роже наотрез отказался, прибавив, что это ничего не докажет, ибо комендант может перед едой или сразу же после еды принять противоядие и тем самым помешать действию отравы.

Комендант оказался в затруднительном положении. Его ведь не осведомили, по какой причине шевалье д'Ангилем брошен в темницу. Причина эта могла быть пустяковой, а могла быть и весьма серьезной, в том и другом случае король, если бы ему это заблагорассудилось, мог каждую минуту потребовать, чтобы узника доставили во дворец живым и невредимым – либо для того, чтобы вернуть ему свободу, либо для того, чтобы подвергнуть еще более суровому наказанию. Поэтому комендант спросил у Роже, чего тот, собственно, хочет, пообещав сделать все, что в его силах, и выполнить пожелания узника, если только это окажется возможным.

Шевалье вновь повторил свое прежнее требование: он хочет сам готовить себе пищу; он так мучился, прибавил

Роже, когда были совершены две попытки отравить его, что предпочитает умереть с голоду.

По размышлении комендант решил, что не будет особой беды, если он удовлетворит просьбу заключенного. Но так как Роже очень ослаб, то ему покамест принесли два только что снесенных и совсем еще теплых яйца и бутылку бордоского вина.

На яйцах не было ни единой трещинки, а бутылка вина была, судя по всему, закупорена очень давно, и воск нигде не был поврежден; поэтому Роже без страха и сомнения проглотил яйца и выпил стакан вина.

Нечего и говорить, что после этого легкого завтрака он не почувствовал ни малейшего недомогания.

И все же, как ни скромен был завтрак, он вернул узнику силы. Роже не привык поститься, а потому жестоко страдал от принятого решения голодать, и если бы комендант столь любезно не помог ему выйти из затруднения, у шевалье, пожалуй, не хватило бы мужества продолжать задуманную им комедию.

Наконец он добился своей цели. В камеру принесли жаровню, поддувальные мехи, уголь, несколько сковород и несколько глиняных горшков, яйца, овощи, масло.

А в дополнение ко всему – полное ведро воды.

Роже был охотник, и во время травли зверей на родовых землях д'Ангилемов или на землях соседей ему не раз приходилось готовить себе обед. Поэтому он знал, как обращаться с кухонной утварью и посудой, которую принесли в камеру; и то ли оттого, что голод обострил его аппетит, то ли оттого, что он и впрямь приобрел навыки поварского искусства или же обладал ими от природы

(иными словами, как говаривал достопамятный гастроном Брийа-Саварен, герой наш сделался поваром либо родился пирожником), но шевалье воздал должное обеду, который собственноручно приготовил для себя.

В ночь, последовавшую за этой трапезой, стоны больше не тревожили часового, хотя ему, надо сказать, велели быть начеку и внимательно прислушиваться. А потому в ту ночь Роже, подозревавший, что за ним будет установлен особо тщательный надзор, удовольствовался тем, что рано лег спать, и спал он так крепко, как, должно быть, ни разу еще не спал в темнице.

На следующее утро комендант лично явился справиться о самочувствии узника. Он увидел, что тот уже на ногах и занят приготовлением завтрака. Это успокоило достойного офицера, он не стал задавать лишних вопросов, а ограничился лишь тем, что спросил у шевалье, как его здоровье, и выслушал благодарность заключенного; затем комендант попрощался с ним, глядя, как обычно, не на своего собеседника, а куда-то в сторону и почти не шевеля губами: Роже обратил внимание на эту особенность коменданта еще во время его первого визита.

В пять часов за шевалье пришли, чтобы, как всегда, отвести его на прогулку. Меры, принятые комендантом для того, чтобы д'Ангилем не встречался с другими заключенными, все еще не были отменены. Поэтому Роже прогуливался в одиночестве и обдумывал свой план: он решил осуществить его назавтра, в ночь.

Остальная часть вечера и весь следующий день прошли без всяких событий: ничто пока не мешало задуманному плану. Не было никаких предзнаменований – ни хороших,

ни дурных. Не появилась комета, не началось затмение солнца. Так что узник ни одной минуты не испытывал нерешительности.

Как мы уже говорили, шевалье д'Ангилем и вообще-то был человек твердый и решительный, а когда речь шла о выполнении задуманного, он становился непоколебим.

И все-таки с приближением ночи сердце у Роже стучало все громче; однако поспешим сказать, что его волнение было вызвано не опасностями, подстерегавшими его впереди, а лишь боязнью, как бы непредвиденные обстоятельства не помешали побегу; тем не менее, он поужинал в обычный час и с обычным аппетитом, а когда, как обычно, около восьми вечера в камеру к нему вошел надзиратель, он застал узника уже в постели полусонным.

Прежде чем приступить к исполнению задуманного плана, надо было ждать еще около двух часов: первый обход караула происходил в десять вечера, второй – в три часа утра; и случалось, правда, очень редко, хотя так уже бывало дважды за то время, пока Роже находился в Фор-л'Евеке, – и случалось, что дежурный офицер приказывал отворять двери камер и сам проверял состояние стен и оконных решеток, желая удостовериться, что заключенные не готовят побег. Таким образом, до десяти часов вечера Роже ничего не мог предпринять.

И хорошо, что он решил выждать: в обычный час послышались шаги караульного патруля, потом они прозвучали ближе, затем дверь склада отворилась, и наконец отворилась дверь в камеру Роже. Сперва узник испугался, как бы все не раскрылось, но тут же сообразил, что это невозможно, ибо он еще не начал никаких приготовлений к по-

бегу, которые могли бы его выдать, и никто не мог на него донести, а потому он сделал вид, будто крепко спал и его разбудили. Как и предположил Роже, то была лишь очередная проверка: офицер постучал по стенам, потряс решетки на окне и внимательно осмотрел дверь; затем он вышел из камеры, пробормотав:

– Все в порядке!

Роже приподнялся на своем ложе и прислушался к удалявшимся шагам; а когда шум и шорохи затихли в глубине тюрьмы, когда заглохло даже эхо, он осторожно сполз с кровати и, ступая по полу босыми ногами, подошел к двери и снова прислушался. Все было тихо и спокойно. Он перевел дух.

Через минуту Роже был уже одет.

Шевалье д'Ангилема взяли под стражу прямо на улице, из Кале он уехал верхом и потому не мог захватить с собою свои дорожные сундуки, их должен был позднее привести в Париж Баск. Поэтому, оказавшись в крепости, Роже попросил, чтобы ему сшили несколько сорочек и купили побольше носовых платков. И теперь он прежде всего вытащил из ларя, где лежало его белье, все, из чего можно было свить веревку, сплести самодельный канат, словом, смастерить лестницу. Сложив эти вещи на кровать, он, чтобы не терять времени, подтащил к двери кучу угля и поджег его, затем принялся мастерить веревочную лестницу.

Первыми в дело пошли простыни и одеяла, снятые с кровати: порвав их на длинные полосы, Роже свернул жгутом свои сорочки и связал друг с дружкой все носовые платки. Тем временем уголь разгорелся и узник, чтобы не

задохнуться, вынужден был каждые пять минут подходить к окну и глубоко вдыхать воздух, проникавший сквозь решетки. Ночь была очень темная, именно такая ночь и нужна была для осуществления рискованного плана, задуманного шевалье.

Уголь между тем разгорался все сильнее и делал свое дело. Камера наполнилась густым дымом; по счастью, ветер дул из окна склада, выходившего на набережную, и мешал дыму проникнуть на склад; но шевалье непременно задохнулся бы, если бы, как мы уже сказали, то и дело не подходил к своему оконцу и не прижимался лицом к самой решетке.

Часы на башне пробили одиннадцать, затем – половину двенадцатого.

К полуночи дыра в двери, напоминавшая по форме устье печи, достигла таких размеров, что узник решил: теперь он сквозь нее пролезет. Он залил горящий уголь водой, отгреб его в сторону, еще немного расширил отверстие, обломав куски обгоревшего дерева, затем лег на спину и, взяв в руки конец приготовленной им веревки, скользнул как змея в дыру и через мгновение очутился на складе. Тут дышать было легче; подойдя к двери, ведущей в коридор, шевалье прислушался, и до него донеслись медленные и размеренные шаги часового.

Пока все складывалось удачно.

Роже ощупью добрался до того места, где лежали сваленные в кучу одеяла, и стал добавлять к уже готовой веревке новые полосы, которые он бесшумно отрывал: он рассчитывал придать таким образом своей шаткой веревочной лестнице нужную длину, достаточную для того, чтобы добраться до земли.

Когда веревка была совсем готова, он стал думать, к чему бы ее привязать; оказалось, что на окне нет ни одной надежной скобы или крюка, которому можно было бы доверить свою жизнь. И тут шевалье вспомнил, что на его кровати есть четыре железных столбика для балдахина, хотя балдахина над ней нет. Он возвратился в камеру тем же путем, каким выбрался из нее, отвинтив с кровати один из столбиков, снова вернулся на склад, привязал веревку к середине этого толстого железного прута, а самый прут приладил поперек окна так, чтобы тот прочно держался; затем, поручив свою душу Господу Богу, прошептав имена отца и матери, мысленно простившись с Констанс, Роже, осторожно пятясь, вылез из окна и, цепляясь руками и коленями за веревку, начал свой медленный и опасный спуск в бездну, куда два дня назад с дрожью заглянул.

Как мы уже говорили, от окна до земли было свыше шестидесяти футов. Чтобы осуществить задуманный узником план побега, требовалось, кроме мужества, необычайная сила и ловкость. Роже был и силен и ловок; он старался не спешить и тщательно рассчитывал все свои движения; на каждом узле веревки он на мгновение приостанавливался, чтобы передохнуть; во время спуска он отталкивался ногами от стены, чтобы избежать острых прутьев на оконных решетках. Роже спустился уже на три этажа и вдруг почувствовал, что его колени больше не нащупывают веревки, тщетно он пытался это сделать – веревка кончилась. Шевалье вытянул ногу в поисках какой-нибудь опоры, но ничего не нащупал; он огляделся вокруг, однако тьма была такая густая, что нельзя было ничего различить. Ему показалось, будто под ним бездон-

ная пропасть. На миг ему пришло в голову снова взобраться наверх и прибавить новые полосы к веревочной лестнице, но он почувствовал, что силы его на исходе и ему не одолеть даже половины обратного пути. И тогда на лбу у него выступил холодный пот. Сколько еще оставалось до земли? Два фута? Или двадцать? Роже понял, что все теперь зависит от везения, что жизнь его в руках случая. Он сполз до самого конца веревки, пробормотал какую-то короткую молитву, доверился судьбе и выпустил веревку из рук.

Почти тотчас же до ушей часового донесся приглушенный крик; солдат поднял тревогу, отовсюду сбежались люди с факелами, и они увидели, что шевалье д'Ангилем, лишившись чувств, висит на железной решетке: ее остроконечные прутья вонзились ему в бедро.

XXII

О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ВСПОМНИЛ, НАКОНЕЦ, О ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМЕ, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Придя в себя, Роже увидел, что он находится в незнакомой комнате. Возле него хлопотал врач; кровать, на которой лежал шевалье, была чище и мягче, чем его тюремная койка, и он на мгновение подумал, что очутился на свободе; однако, к несчастью для него, это было не так. Просто комендант на время велел перенести узника в свои покои.

Рана шевалье была серьезна, но не опасна для жизни; он испытывал сильную слабость, ибо потерял очень много

крови. Как только он очнулся, ему сразу же пришла в голову мысль воспользоваться тем, что он сейчас в комнатах коменданта, и попытаться вторично бежать. Пожаловавшись на то, будто ему не хватает воздуха, он попросил врача отворить окно; однако, как и все окна в Фор-л'Евек, оно также было снаружи забрано решеткой.

Когда хирург вышел из комнаты, посоветовав заключенному постараться уснуть, тот услышал, как дверь за ним заперли на два замка. Стало быть, он по-прежнему был в тюрьме, несколько более удобной, несколько более комфортабельной, но все равно в тюрьме!

На следующий день узнику нанес визит сам комендант; он осведомился, по каким причинам шевалье д'Ангилем решил предпринять столь опасную попытку побега: почтенный служака, по его словам, хотел убедиться, что не строгие порядки и не суровые правила, установленные в замке, толкнули узника на столь отчаянный шаг. Роже отвечал коменданту, что, по его мнению, в Фор-л'Евеке человек чувствует себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно в темнице, а единственная причина принятого им крайнего решения – стремление вновь очутиться на свободе, которую он незаслуженно потерял. Комендант попросил его подтвердить это в письменной форме, пояснив, что такое свидетельство послужит оправданием для тех, кто несет охрану замка, в глазах властей предержащих; Роже тут же выполнил его просьбу.

Надо сказать, что шевалье связывал большие надежды со своим письменным заявлением. Бедняга в простоте душевной все еще полагал себя жертвой ошибки, которая раньше или позже должна непременно обнаружиться, и

надеялся, что, подписывая по требованию коменданта бумагу, он тем самым напомнит о себе властям и привлечет их внимание к своей особе.

Таким образом это незначительное обстоятельство прибавило мужества шевалье. Как немного нужно для того, чтобы вернуть надежду человеку, казалось бы уже впавшему в полное отчаяние!

Вот почему узник ждал теперь грядущего избавления гораздо более терпеливо, чем прежде, и это благотворно влияло на его выздоровление. Через неделю Роже поднялся с постели, а через две недели уже мог без посторонней помощи передвигаться по комнате. За это время комендант трижды навещал заключенного, и всякий раз шевалье спрашивал коменданта, уверен ли тот, что отправленная бумага попадет на глаза министру полиции. В первые два раза комендант отвечал, что он уповает на это, а в третий раз с уверенностью сказал узнику, что бумаге, несомненно, дан ход, ибо сам он удостоен звания кавалера ордена Людовика Святого за то, что выказал похвальную бдительность и помешал заключенному бежать из крепости.

Шевалье от души поздравил коменданта с королевской милостью; теперь он не сомневался, что после разбирательства, которое должно было начаться из-за всего случившегося, он вскоре будет выпущен на свободу. Бывали даже минуты, когда Роже думал, что его освобождение непременно будет сопровождаться какой-либо милостью со стороны его величества: король, по мнению шевалье, настолько справедлив, что, разумеется, пожелает достойным образом исправить допущенную несправедливость. Следует, однако, сказать, что Роже уповал на это высшее

правосудие лишь в те редкие минуты, когда ему все представлялось в розовом свете, когда же настроение его духа менялось, он и сам понимал, что тешит себя слишком радужными надеждами.

Прошло уже больше двух недель после неудачной попытки бегства, о которой мы только что рассказали, и шевалье с каждым днем чувствовал себя бодрее и крепче; однажды вечером в комнату к нему вошел комендант.

– Господин д'Ангилем, – сказал он, как обычно почти не разжимая губ и не глядя на своего собеседника, – вставайте и одевайтесь.

– Для чего я должен встать и одеться? – спросил Роже.

– Мы с вами расстаемся, сударь.

– Ах, вот оно что! – воскликнул шевалье. – Я знал, я был уверен, что раньше или позже моя невиновность будет установлена.

Комендант ничего не ответил.

– Господин комендант, – продолжал Роже, торопливо одеваясь, – поверьте, если меня будут спрашивать о вас, я поспешу, как это уже сделал однажды, воздать должное вашему хорошему обращению со мной.

Комендант молча поклонился.

– А если только я сам и мои друзья можем быть вам чем-нибудь полезны, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы выразить вам свою признательность.

Комендант в ответ невнятно пробормотал несколько слов.

– Однако я еще слишком слаб, чтобы идти пешком, – сказал шевалье, – не будете ли вы так добры, господин комендант, распорядиться, чтобы мне на время предоставили карету?

– Карета уже у ворот, милостивый государь.

– Ну тогда благодарю вас, сердечно благодарю, господин комендант! Надеюсь, что буду иметь удовольствие вновь свидеться с вами, только уж лучше не здесь, а у меня, в бывшем особняке виконта де Бузнуа, что на площади Людовика Великого.

Комендант снова поклонился, но не проронил ни звука; шевалье был уже совсем готов, и он, не обратив на это должного внимания, простился с комендантом и вышел из комнаты, опираясь на руку солдата.

Шевалье шел к воротам посреди двойной шеренги стражников; у ворот он и в самом деле увидел экипаж, ожидавший его; он в последний раз обернулся, чтобы раскланяться с комендантом, однако того поблизости не оказалось.

Довольно легко для раненого Роже поднялся в карету и, когда затворяли дверцу, крикнул веселым голосом:

– Площадь Людовика Великого, особняк виконта де Бузнуа.

Ему показалось, будто слова его были встречены взрывом хохота, но он решил, что ему это почудилось, положил больную ногу на переднее сиденье, а сам откинулся в вглубь кареты.

И тут он вдруг заметил, что по обе стороны экипажа скачут верхом два мушкетера: столь необычные почести, какие его величество король оказывал ему, отправляя домой под эскортом, слегка встревожили шевалье.

Затем ему показалось, что карета, вместо того чтобы ехать по набережной, направилась через Сите, то есть по дороге, которая отнюдь не вела к площади Людовика Великого.

Шевалье наклонился к дверце и задал вопрос одному из мушкетеров; но, должно быть, стук колес экипажа и цоканье лошадиных копыт по мостовой помешали тому услышать его; тщетно шевалье повторял свои вопросы, он не получил ответа ни на один из них.

Поездка продолжалась уже четверть часа, когда Роже заметил стоящее особняком огромное здание; он высунул голову в оконце кареты, вперил взгляд в черную громаду, которая едва вырисовывалась в темноте, и, к своему величайшему ужасу, узнал Бастилию.

То, что шевалье принял за освобождение, было всего лишь переводом в другую тюрьму, и милость, оказанная ему королем, свелась к тому, что из Фор-л'Евека его перевезли в Бастилию.

Как только шевалье вступил под своды крепости, его тотчас же обыскали, как это обычно делают с узниками, доставленными в Бастилию, затем его провели по мосту и распахнули перед ним дверь в кордегардию. Здесь ему предстояло ожидать, пока будет готова предназначенная для него камера.

Роже был настолько подавлен, что не сделал ни единого протестующего жеста, не проронил ни слова. Спустя четверть часа за ним пришли. Один из мушкетеров, сопровождавших его карету, подставил руку, чтобы узник мог опереться на нее. Роже безвольно двигался вперед, точно осужденный, которого ведут на эшафот. Но когда они проходили особенно темным коридором, он вдруг почувствовал, что мушкетер сунул ему в руку какой-то листок бумаги. Шевалье вздрогнул.

– От маркиза де Кретте, – чуть слышно произнес мушкетер.

Роже хотел было о чем-то спросить, но в это самое мгновение мушкетер уступил место другому стражнику и ушел.

Узника только что уже обыскали, и потому он мог больше не опасаться обыска. Он сунул в карман руку с зажатой запиской, потом вытащил руку и опустил ее на плечо своего нового конвоира. Вскоре они подошли к какой-то лестнице. Власти, как видно, приняли во внимание рану узника, потому что его заставили подняться только на третий этаж. Тут стражники отперли сперва одну дверь, потом вторую, потом третью, и Роже очутился в камере; при свете факела, который нес один из конвоиров, шевалье увидел нечто вроде ложа. Почти тотчас же дверь камеры захлопнулась и он услышал, как заскрежетали засовы на двух других дверях. Он снова был в темнице.

Роже очень устал, к тому же у него сильно болела нога, поэтому он решил лечь и ощупью направился в ту сторону, где, как ему казалось, должна была находиться кровать. Он и в самом деле нашарил ее, но когда он опустился на постель, вдруг раздался чей-то голос:

– Сударь, могу я узнать, что вам угодно?

– Простите, сударь! – воскликнул шевалье, поспешно вставая. – Я не знал, что кровать занята.

– Да, как видите, она занята, сударь, – послышался тот же голос, – и так как я попал сюда первый, то уж позвольте мне сохранить ее для себя.

– Разумеется, сударь, это будет только справедливо, – ответил Роже, – но коль скоро вы здесь старожил, то камера, без сомнения, знакома вам лучше, нежели мне, а потому будьте добры сказать, нет ли здесь кресла, стула,

скамейки – словом, чего-нибудь, на что я мог бы присесть. Я ранен в бедро и чувствую, что если еще немного постою на ногах, то упаду в обморок.

– Поищите, сударь, – снова раздался голос, – тут стоит какое-то кресло.

Роже вытянул перед собой руки, как человек, играющий в жмурки, и наконец нашарил кресло, о котором упомянул его невидимый собеседник.

Он опустился в кресло и погрузился в раздумье.

Ему казалось, что он уже где-то слышал этот голос, но он не мог бы сказать, где именно. Тщетно Роже пытался вспомнить, кому из его знакомых мог он принадлежать, ему ничего не приходило в голову. И тогда он решил оставить бесплодные попытки и прямо спросить у своего товарища по камере, кто он такой.

– Сударь, – сказал шевалье, – боюсь, что нам с вами суждено пробыть некоторое время вместе в одной камере, а потому, полагаю, нам следовало бы познакомиться, дабы знать, с кем каждый из нас имеет честь беседовать.

– Но вы-то сами, кто вы такой? – раздался голос в темноте.

– Я Роже Танкред д'Ангилем… по ошибке взятый под стражу, – ответил шевалье. – Вы совершенно правы, я должен был первый назвать себя. Но а кто же вы?

– Я, сударь? Я номер сто пятьдесят восьмой.

– Что значит «номер сто пятьдесят восьмой»?

– Этот номер заменяет мне имя и титул. Завтра вы тоже больше не будете именоваться «шевалье д'Ангилем», а станете номером сто пятьдесят девятым, сто шестидесятым, сто шестьдесят первым.

Роже вздрогнул при мысли, что, утратив свободу, он вдобавок утратит и свое имя, перестанет быть человеком и сделается всего лишь номером.

– Стало быть, вы здесь так давно, что уже успели позабыть свое настоящее имя?

– Нет, я его не забыл, но меня, пожалуй, накажут, если я его вспомню, – снова послышалось из темноты.

– Черт побери! До чего же вы осторожны, сударь! – воскликнул шевалье.

– Если бы вы, как я, просидели за решеткой десять лет, три месяца и пять дней, – отвечал невидимый собеседник, – ручаюсь, вы тоже стали бы проявлять осторожность.

– Десять лет! – вырвалось у Роже. – Десять лет, три месяца и пять дней! Да я бы лучше десять раз разбил себе голову о стену.

– Сударь, – послышалось из темноты, – разрешите мне не отвечать вам.

– А собственно, почему?

– Потому что великий наш король Людовик Четырнадцатый, да сохранит его Господь, волен называть нас по имени или, если ему заблагорассудится, присваивать нам номер и держать нас у себя в замке столько времени, сколько ему будет угодно.

– О, я узнал вас по этому ответу! – воскликнул Роже. – Чрезмерная осторожность выдала вас: вы граф д'Олибарюс!

– Никакой я не граф д'Олибарюс! – крикнул невидимый собеседник. – Я заключенный номер сто пятьдесят восьмой.

В эту минуту в коридоре послышались шаги.

– Ах, вы меня погубили! – вскричал злополучный граф. – И губите уже вторично; в первый раз вы заговорили со мною в Фор-л'Евеке; когда комендант обнаружил, что вы пытались бежать, он, видимо, подумал, что я ваш сообщник, и меня перевели сюда. А теперь вы вторично заговорили со мной, и меня, конечно, отправят в одиночную камеру, откуда я уже никогда больше не выйду.

Стало слышно, как отпирают первую дверь.

– Однако, граф… – начал Роже.

– Замолчите, сударь, ради Бога, замолчите! Тише, ни слова больше! Я вас не знаю, я с вами никогда не разговаривал, я вас в жизни не видел.

И, завернувшись в одеяло, граф д'Олибарюс, уткнулся носом в стену.

Но злосчастный узник ошибся в своих мрачных предположениях: в камеру к ним пришли просто для того, чтобы поставить походную кровать для его товарища по заключению.

Такая забота доставила большое удовольствие д'Ангилему, он был бы и вовсе доволен своим положением, если бы мог прочесть письмо от Кретте, которое все время нащупывал в своем кармане; однако, пока расставляли кровать, стражники не отходили от него; впрочем, это продолжалось недолго, но когда они вышли из камеры, то унесли с собою свечу.

Шевалье уже решил, что избавился наконец от их присутствия, как вдруг один из надзирателей вернулся, притворил дверь и сказал:

– Кстати, вновь прибывший именуется отныне «заключенный номер сто шестьдесят девять».

– Черт побери! – пробормотал Роже. – Кажется, после графа д'Олибарюса в замок его величества прибыло уже десять новых жильцов.

И он улегся, утешая себя мыслью, что если Бастилия заполняется с такой быстротой, то ее старожилов вскоре начнут выставлять за дверь или же заведут общие камеры на восемь, а то и на десять человек; в первом случае это должно было привести к исполнению самого заветного желания Роже, а во втором – доставить ему, по крайней мере, хотя бы некоторое развлечение.

С этой приятной мыслью шевалье и уснул, сжимая в руке письмо маркиза де Кретте: он решил прочесть его, как только в его темницу проникнет первый солнечный луч.

Но человек – в несчастье, как и в счастье, – не может ничего заранее предугадать. Роже спал так крепко, как спят люди совершенно счастливые и всем довольные, и проснулся лишь поздно утром. Он только с трудом вспомнил, где находится. Вид графа д'Олибарюса, который, сидя на своем ложе, собственноручно пришивал кисточку к своему ночному колпаку, и вовсе сбил шевалье с толку; но, оглядевшись вокруг и порывшись в памяти, Роже сообразил наконец, что он в Бастилии.

Затем все подробности вчерашнего вечера всплыли у него в голове, и он припомнил, что сопровождавший его мушкетер незаметно сунул ему в руку письмо от Кретте, которое он до сих пор так и не сумел прочесть; вспомнил он, что заснул с этим письмом в руке, решив прочитать его на рассвете.

Роже вздрогнул при мысли, что мог потерять письмо; он поспешно принялся искать его и, к счастью, нашел у себя под подушкой.

Письмо от Кретте состояло из нескольких строк:

«Я знаю, что тебя переводят из Фор-л'Евека в Бастилию, и при помощи Кло-Рено (он, как ты знаешь, лейтенант серых мушкетеров) пересылаю тебе эту записку. Твоя жена пока еще не отыскалась; хоть я и боюсь привести тебя в отчаяние, все же не скрою: по-моему, она имеет прямое касательство к тому, что тебя заключили под стражу. Руаянкур в милости еще больше, чем когда-либо прежде, и по тому, как со мной разговаривали, когда я хлопотал о твоем освобождении, я убедился, что удар тебе нанесен именно оттуда. Утверждают, будто в твоих бумагах нашли написанную твоей рукой песенку, где высмеивалась госпожа де Ментенон; должно быть, это одна из тех песенок, которые ты нам пел в Сен-Жермене. Так что, сам понимаешь, только твоя жена могла совершить это мелкое предательство.

Вот почему мы ничего не в силах сделать для твоего освобождения. Постарайся бежать и мчись прямо ко мне. Для тебя уже приготовлены два или три костюма, они изменят твой облик; ты будешь скакать днем и ночью и уже через сутки очутишься за границей».

Письмо это как громом поразило Роже. Он и раньше предполагал, что его жена виновна перед ним, подозревал, что она ему неверна, но то, что она могла дойти до подобной низости и упрятать его в тюрьму, просто не умещалась у него в голове. И все же приходилось этому верить: ведь его арест, конечно, наделал много шуму. Трудно было предположить, что Сильвандир ничего не знала об

аресте мужа, а если допустить, что она о нем знала, но не имела к этому отношения, то как можно объяснить, что она не поспешила в Париж и не начала хлопотать о его освобождении? Почему она до сих пор не прибегла к помощи друзей метра Буто и маркиза де Руаянкура? Почему не добивалась и не добилась свидания с мужем, хотя бы свидания при свидетелях, в чем женам редко отказывали? Нет, приходилось верить тому, о чем писал Кретте. Ведь не ошибся же он, когда предсказывал, что ждет шевалье в будущем, и он тем более мог оказаться прав теперь, когда речь шла о прошлом.

Роже порвал в мелкие клочья записку Кретте и бросил их в камин: надо сказать, что в Бастилии, начиная с третьего этажа, в камерах были устроены камины. Затем он встал с постели и принялся думать, как лучше и страшнее отомстить маркизу де Руаянкуру и Сильвандир.

Однако для того, чтобы отомстить, надо было прежде выйти на свободу, а Кретте, убедившись в том, что все его попытки освободить своего друга обречены на неудачу, написал Роже, чтобы тот рассчитывал только на самого себя. И шевалье понял, что должен придумать новый способ побега. Ведь ему чуть было не удалось бежать из Фор-л'Евека, и он не видел никаких причин, почему бы не попытаться бежать из Бастилии.

Правда, серьезной помехой для любой попытки бегства было присутствие в камере графа д'Олибарюса.

Роже несколько дней размышлял обо всем этом, но, сколько он ни думал, ему ничего не приходило в голову. Все это время его сосед держал себя крайне осторожно, никогда первым не вступал в разговор и отвечал

д'Ангилему, лишь когда тот, обращаясь к нему, называл его не по имени, а номером сто пятьдесят восьмым.

Прошло три недели; шевалье все дни напролет ломал себе голову, изыскивая способ побега и проклиная трусость своего соседа по камере, который, едва только Роже заговаривал с ним на эту тему, грозил позвать часового. Несколько раз д'Ангилема охватывало свирепое желание задушить графа, а потом сказать, что тот умер от апоплексического удара; к счастью, он вовремя сдерживался, приберегая это последнее средство на крайний случай.

Мы уже говорили, что шевалье, несмотря на то что он был сильно озабочен, спал очень крепко; ему только недавно исполнился двадцать один год, а в таком возрасте на сон не жалуются. Тем не менее иногда ему по ночам казалось, будто он слышит какие-то неясные звуки, но он думал, что ему это только чудится.

А граф д'Олибарюс спал, видимо, еще крепче, чем Роже, ибо, когда шевалье пробуждался, граф почти всегда еще спал.

И вот однажды ночью, когда Роже никак не мог уснуть, потому что обдумывал зародившийся у него в голове план побега, и неподвижно лежал в постели, натянув одеяло на голову, мысленно взвешивая шансы на успех своего нового прожекта, ему почудилось, будто странный звук, который он уже не раз слышал, но думал, что это происходит не наяву, а во сне, возобновился; шевалье весь обратился в слух и вскоре понял, что этот неясный скрежещущий звук производит напильник, и доносится он с той стороны, где возле зарешеченного окна стояла кровать графа д'Олибарюса. Тогда, продолжая дышать ровно и даже

стараясь делать это еще более размеренно и спокойно – так обычно дышит спящий человек, – шевалье приоткрыл один глаз и посмотрел туда, где было окно: несмотря на темную ночь, в окно все же проникало немного света, и поэтому оно казалось белесым пятном. Сначала Роже не мог ничего толком различить; но мало-помалу глаза его привыкли к мраку, и он увидел, что граф д'Олибарюс стоит на коленях в своей постели и перепиливает напильником прутья оконной решетки.

Вряд ли кто-нибудь удивился бы больше, чем удивился Роже. Он просто застыл от изумления, невольно притаив дыхание. Граф, больше не слыша дыхания соседа, тоже замер. Шевалье понял, что за ним следят, он пошевелился в постели, зевнул, потянулся, пробормотал несколько бессвязных слов, как человек, говоривший во сне, потом притих, притворяясь, будто снова заснул. Граф еще с минуту прислушивался; затем, когда Роже задышал ровно и мерно, опять принялся за работу.

Сомнений быть не могло: граф д'Олибарюс, этот столь робкий, столь боязливый, столь осторожный человек, в свою очередь готовил побег.

Роже твердо решил извлечь для себя пользу из этого неожиданного открытия.

Пробило четыре часа утра. Так как, судя по всему, побег не мог состояться в ту ночь, шевалье снова заснул.

Пробудившись, он увидел, что граф спокоен как всегда; Роже попытался вызвать его на разговор, но ему это не удалось, как не удавалось и прежде; д'Олибарюс даже громко пожаловался на свою горькую участь, сказав, что ему все время приходится сталкиваться с таким человеком,

как д'Ангилем, который может бросить тень на любого и втянуть его в беду.

Жалобы графа звучали так натурально, что шевалье, переводя взгляд с оконной решетки на лицо своего соседа, почти поверил, что ему все привиделось во сне.

Прошел еще один день; хотя Роже не спускал глаз с графа, тот ни звуком, ни словом, ни жестом не выдал своей тайны; шевалье с нетерпением ждал ночи, наконец она наступила.

На сей раз Роже даже не сомкнул глаз, но старательно притворялся спящим. Граф тоже не шевелился, целых два часа он лежал, укрывшись с головою, стараясь дышать размеренно и ровно. Наконец, решив, что его сосед спит, граф сбросил одеяло, встал на колени и возобновил работу, которой занимался накануне ночью и, должно быть, в предыдущие ночи. Шевалье не мешал ему спокойно заниматься своим делом.

Часа в два ночи граф прервал работу, сполз с кровати и босиком подошел к камину. Потом придвинул скамеечку, влез на нее и что-то негромко сказал; однако, хотя говорил он очень тихо, Роже все же услышал слова:

– Завтра все будет готово.

Кто-то произнес в ответ две или три короткие фразы, однако они не достигли ушей Роже, он уловил лишь неясный шум и только. Д'Олибарюс ответил:

– Хорошо, до завтра.

Потом он опять прислушался. Из камина вновь донеслись какие-то жужжащие звуки, и граф сказал:

– Решено, в два часа.

Он осторожно поставил скамеечку на место, подошел к своей постели, лег и притворился спящим.

Шевалье, узнавший все, что ему надо было узнать, заснул на самом деле.

Следующий день прошел так же, как и предыдущий, граф и виду не показал, что побег намечен на ближайшую ночь, голос его ни разу не дрогнул, на лице ни разу не выступила краска, он ничем не выдавал своего нетерпения и вел себя как обычно: был молчалив, робок и осторожен. Роже, как мы видели, тоже недурно умел владеть собою, но теперь он испытывал истинное восхищение перед притворством этого человека, с которым его свел случай и который намного превосходил скрытностью его самого.

Наступил вечер. Оба узника улеглись. Однако шевалье лишь сделал вид, будто раздевается, а на самом деле одежды не снял. Граф со своей стороны, без сомнения, поступил так же. Вскоре оба уже громко храпели, и храпели они тем более старательно, что ни тот, ни другой не думал спать.

Около полуночи граф сел в постели, затем стал на колени и принялся перепиливать последний прут решетки. Это заняло у него около часа. Затем он сполз с кровати, подошел к камину, влез на скамеечку и сказал:

– Все готово.

Ему что-то ответили, но что именно, Роже и на сей раз не разобрал; ответ, видимо, вполне удовлетворил графа, потому что он сказал только:

– Хорошо! Очень хорошо!

Затем он слез со скамеечки и лег в постель.

Прошло еще полчаса.

Тогда граф поднялся, осторожно подошел к двери, прислушался и, убедившись, что вокруг царит полная ти-

шина, с минуту простоял неподвижно, как будто о чем-то задумался, потом на цыпочках подошел к кровати Роже: двигался он так бесшумно, что шевалье даже не различал звука его шагов.

Роже вдруг пришло в голову, что д'Олибарюс задумал его убить и таким способом избавиться от нежелательного свидетеля, и поэтому он весь напрягся, хотя был уверен, что и безоружный без труда справится со стариком, который мог быть вооружен разве что ножом, стилетом или кинжалом; он приготовился схватить соседа за руку, когда тот замахнется. Но граф не замахнулся, он только протянул руку и тронул шевалье за плечо. В тот же миг Роже вскочил на ноги и остановился перед ним. Д'Олибарюс невольно попятился.

– Тише! – негромко произнес он.

– Извольте, любезный граф, тем более что мне все известно, – ответил Роже.

– Что именно вам известно?

– Вот уже три ночи я не сплю и глаз с вас не спускаю, вернее, прислушиваюсь к каждому вашему движению.

– Стало быть, вы догадались, в чем дело?

– Еще бы! И я готов.

– Тогда одевайтесь.

– А я уже одет.

– Тем лучше!

– Теперь вы сами видите, что напрасно обижали меня, боясь мне довериться.

– Вы еще так молоды!

– Да, но решимости и мужества мне не занимать.

– Я это знаю и потому решил предупредить вас именно

тогда, когда вы будете нуждаться только в двух этих своих качествах. Час настал, готовьтесь.

– Я готов! Что нужно делать?

– Как вы уже заметили, мне удалось войти в сношения с двумя узниками из той камеры, что над нами: один из них мой друг, мы собирались вместе бежать из Фор-л'Евека, но после вашего неудачного побега нас обоих перевели в Бастилию; по счастью, нас тут разделяет только потолок, и нам удалось установить друг с другом связь через каминную трубу. У нас был всего один напильник на двоих, и каждый перепилил прутья решетки на окне своей камеры. Соседи спустят нам сверху веревку – они смастерили ее из простыней и одеял, – мы прибавим к ней полосы из своих простыней и одеял, потом они втянут веревку к себе и привяжут ее к пруту решетки, который они намеренно не перепилили; окна в наших камерах расположены одно над другим, и мы все четверо спустимся по этой веревке: они – из своего окна, а мы – из нашего.

– Превосходно.

– Стало быть, план вам нравится?

– Конечно. А теперь, любезный граф, раз уж нам предстоит бежать вместе, скажите мне откровенно, почему вы очутились в Бастилии?

– Вам это непременно хочется знать?

– Да, и мною движет не просто любопытство, – ответил Роже. – По тяжести вашего проступка я смогу судить о тяжести моего собственного; вы провели в темнице десять лет, и я буду приблизительно знать, сколько лет король собирался продержать меня на своем иждивении.

– Хорошо, я отвечу вам: я имел неосторожность сказать…

– Вы имели неосторожность сказать?.. – повторил шевалье.

– Что король… – продолжал граф, понижая голос.

– Что король?..

– Стал настолько слеп…

– Настолько слеп…

– Настолько слеп, что смотрит теперь на все сквозь очки госпожи де Ментенон.

– Как! – вырвалось у Роже. – И только из-за этого вы уже целых десять лет…

– Тише, тише!

– Вы уже целых десять лет томитесь в заключении из-за нескольких этих слов?

– Десять лет, три месяца и пять дней.

– Господи Боже! Но в таком случае мне пришлось бы пробыть за решеткой всю жизнь.

– А что вы такое натворили?

– Я? Я сочинил одну или две песенки, высмеивающие госпожу де Ментенон.

– И это стало известно властям?

– Видимо, моя жена передала им листки…

– Написанное вашей рукой?

– Вот именно.

– Тогда, любезный друг, радуйтесь, что вам представился случай бежать, ибо, как вы только что сами изволили заметить, вас могут держать в заточении до конца вашей жизни.

– Или до конца их жизни.

– Ну а это может тянуться еще очень долго, – подхватил граф, – ведь себялюбцы живут до ста пятидесяти лет, как попугаи. Но внимание: вот и наша веревка ползет вниз!

С этими словами граф подошел к камину: из его трубы свисал конец простыни. Оба узника принялись рвать на длинные полосы свои одеяла и простыни, а затем привязывать их одну за другой к спущенной сверху простыне; когда с этим было покончено, заключенные с верхнего этажа подтянули к себе самодельную веревку.

После этого граф направился к окну и с помощью Роже вытащил из решетки два железных прута; они едва держались, и когда их вынули, образовалось отверстие, достаточно широкое для того, чтобы в него мог пролезть человек.

Было решено, что граф начнет спускаться первый, а шевалье – за ним.

В ожидании они уселись на свои кровати: оба были наготове.

Слышно было, как шуршит ползущая вниз веревка.

Потом они увидели какую-то неясную тень: это спускался один из заключенных с верхнего этажа. Он благополучно достиг земли и теперь ждал своих товарищей.

За ним спустился его сосед по камере, он также благополучно достиг земли и присоединился к первому беглецу.

Наступил черед графа, ему тоже удалось без помех достичь земли. Последним спускался шевалье, он также вскоре присоединился к остальным.

Шагах в двадцати от того места, где очутились беглецы, взад и вперед прохаживался часовой: он то поворачивался к ним спиною, то шел навстречу. Беглецам, чтобы спастись, надо было незаметно проскользнуть шагах в десяти от него, спрыгнуть с крепостной стены в ров, преодолеть его вплавь и взобраться на противоположный откос, со-

скользнуть оттуда на какой-нибудь невысокий дом в Сент-Антуанском предместье, а затем убегать по крышам и водосточным трубам. Таким образом, у них была полная возможность раз двадцать свернуть себе шею.

Тем не менее все дружно решили, что, как только часовой повернется к ним спиною, все четверо бросятся вперед, полагаясь на судьбу, а затем уже кинутся врассыпную. Так они и поступили. Солдат проделал свой обычный путь, потом повернулся спиной к беглецам. И в тот же миг они устремились прямо ко рву.

Роже услышал возглас часового: «Кто идет?» – и увидел короткую ослепительную вспышку огня, раздался оглушительный выстрел, и к ногам шевалье рухнул кто-то из товарищей; в ту же секунду его что-то обожгло, у него было такое ощущение, как будто его огрели по боку кнутом, и он понял, что ранен; несмотря на это, он кинулся в ров и поплыл к противоположному берегу.

Между тем в Бастилии поднялась тревога. В окнах появился свет, заметались тени с факелами в руках, солдаты кричали: «К оружию! К оружию!»

Роже все еще плыл, из-за холодной воды он почти не чувствовал боли и достиг берега, думая, что ранен легко; но, едва ступив на откос, он почувствовал, что силы оставляют его. Собрав всю свою волю, он стал карабкаться вверх, хватаясь руками за дерн: ему казалось, что небо внезапно приобрело кроваво-красный цвет, в ушах у него звенело, как будто рядом били в колокола. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но крик застрял у него в горле. Тогда он приподнялся, судорожно взмахнул руками в воздухе, сделал еще одно отчаянное усилие продвинуться

вперед, на которое ушли его последние силы, и лишился чувств.

Два других беглеца продолжали свой путь; как мы уже говорили, они заранее условились, что каждый будет думать только о себе.

XXIII

О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ БАСТИЛИИ В ЗАМОК В ШАЛОН-СЮР-СОН, И О ТОМ, КАК ОН СОВЕРШИЛ ЭТОТ ПЕРЕЕЗД В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОФИЦЕРА С ВЕСЬМА ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ

Граф д'Олибарюс был убит, а шевалье д'Ангилем опасно ранен. Графа похоронили под именем заключенного номер сто пятьдесят восемь, а Роже доставили обратно в Бастилию.

Шевалье отличался богатырским здоровьем: уже через три недели он снова был на ногах и хотя еще испытывал слабость, но уже находился вне опасности. Надо сказать, что две неудачные попытки побега сильно охладили его пыл на сей счет, и он, во всяком случае на время, излечился от своего навязчивого стремления бежать, походившего на манию.

Но от одного он не излечился и даже поклялся самому себе в том, что никогда не излечится: от ненависти к Сильвандир. Ведь именно ей он, по утверждению Кретте, был обязан своим заключением; а теперь был обязан и двумя ранами, полученными при попытках к бегству. Правда, избавляясь от мужа при помощи Фор-л'Евек и Бастилии, а такой способ был весьма принят в те времена,

Сильвандир не могла предугадать, что он выкажет столь дурной вкус и дважды попытается совершить побег, и уж тем более не могла предвидеть, к каким печальным последствиям для него эти попытки приведут; и тем не менее первопричиной всех бед и несчастий Роже была Сильвандир.

Вот почему шевалье поклялся себе, что, как только окажется на свободе, он жестоко отомстит жене. Какой именно будет эта месть, Роже пока еще не знал, но одно знал твердо: рано или поздно он ей отомстит.

Однажды вечером, когда шевалье, как обычно, предавался сладостным мечтам о возмездии, он вдруг услышал звук шагов в коридоре. После четырех или пяти месяцев, проведенных в Бастилии, Роже начал хорошо разбираться в порядках заведений такого рода и сразу понял, что, если к нему в камеру направляются в столь неурочный час, значит, в его судьбе произойдет какая-нибудь перемена. Действительно, в камеру вошли два солдата и стали по обе стороны двери, за ними появился комендант; поклонившись узнику, он предложил ему взять свои личные вещи и следовать за ним. На сборы не понадобилось много времени; один из тюремщиков взял в руку небольшой узелок, и Роже покорно последовал за комендантом.

Они прошли по коридору, который вел во внутренний двор крепости, затем – по двору, потом по сводчатой галерее, и все это время заключенный двигался между двумя шеренгами стражников; наконец Роже увидел у ворот карету: речь шла о переводе в другую тюрьму.

У шевалье д'Ангилема уже давно возникли сомнения насчет того, хорошая ли память у его величества короля, и

на сей раз он не питал пустых надежд, к тому же в глубине кареты он разглядел полицейского офицера, а по бокам ее сидели на конях два мушкетера; узник поклонился коменданту и поблагодарил его за все те заботы, которыми он был окружен после ранения, затем он сел рядом с офицером. Дверцу кареты старательно заперли на ключ, и лошади помчались во весь опор.

Карета уже проехала большую часть Парижа, а шевалье так и не мог понять, куда же его везут; ночь была темная – именно такие ночи обычно выбирают для перевозки арестованных. Однако вскоре Роже почувствовал, что воздух вокруг стал свежее и чище, и понял: они покинули пределы столицы; он прильнул к оконцу, увидел деревья, поля и весь обратился в зрение, но тут полицейский офицер сказал ему:

– Сударь, предупреждаю вас: дверцы экипажа заперты на ключ, два мушкетера скачут по обеим сторонам кареты, в каждом кармане у меня по пистолету, и мне приказано стрелять при первой же вашей попытке к бегству. Видите ли, – продолжал офицер, – я говорю вам все это потому, что я старый солдат и мне не хотелось бы убить дворянина, не объяснив ему прежде, почему придется это сделать. Теперь вы предупреждены, а там – как вам будет угодно.

Роже со вздохом откинулся в глубь кареты. Надо заметить, он мало-помалу проникался все большим уважением к вооруженным людям, хотя прежде считал, что с ними надо, не рассуждая, вступать в бой и, разумеется, побеждать их.

– Скажите, по крайней мере, куда меня везут? – спросил шевалье.

– Мне запрещено сообщать вам об этом, – ответил офицер. – Меня предупредили, что с вами надо быть начеку, что вы не упустите случая и воспользуетесь первой же оплошностью охраны.

Роже в ответ только горестно вздохнул.

– Полноте, полноте! – воскликнул полицейский офицер. – Будьте рассудительны, стоит ли приходить в отчаяние по такому поводу! Мне приходилось отвозить в тюрьму женщин, и даже они не теряли самообладания.

– Стало быть, вы везете меня в другую тюрьму? – осведомился шевалье.

– Ну, коли я вам отвечу: «Нет», – вы ведь мне не поверите? А посему скажу откровенно: «Да».

– А куда именно? В Пиньероль или на остров Сент-Маргерит? – едва слышно спросил Роже. – Ах, Фуке! Ах, Лозен!

– Тсс! – произнес офицер. – Тсс! Не отягощайте своей вины, упоминая при мне имена этих знатных господ. Давайте-ка лучше поедем с вами тихо, спокойно, не вдаваясь в политику. Видите ли, я ведь человек добрый, ваше счастье, что вы не попали в руки некоторых моих собратьев, людей угрюмых и нелюбезных: они за всю дорогу не перемолвились бы с вами ни единым словечком, я же, напротив, люблю людей воспитанных и благородных, я не прочь поболтать с ними и нахожу, что пусть уж лучше злосчастные узники посмеются немного, вместо того чтобы плакать; правда, если они окажутся неблагодарными, если не оценят по достоинству мое обращение с ними, тогда и я покажу им зубы да когти, но, должен признаться, мне еще ни разу не приходилось прибегать к этому; коли

вы будете столь же разумны, как другие, я обещаю, что дорога не покажется вам слишком длинной.

– Ах, я понял! – с дрожью воскликнул шевалье. – Вы везете меня на другой конец Франции. Ах, Маттиоли!.. Ах, страдалец в железной маске!..

– Опять вы за свое! – с досадой сказал офицер. – Право же, милостивый государь, вы, видно, решили отравить нам весь путь, я-то хотел, чтоб мы в дороге не скучали. Послушайте, ну постарайтесь быть приветливее, веселее. Правда, сейчас темно, и я вас не вижу, но угадываю, что вы на меня дуетесь. Да перестаньте сердиться, и тогда я, куда ни шло, немного побеседую с вами, хоть мне это строго-настрого запрещено.

– А о чем нам говорить? – спросил шевалье.

– Да о чем угодно, о том, о сем, о дожде и о солнце. Все лучше, чем ехать и молчать как рыбы.

– Но меня занимает лишь одно: я хотел бы, чтоб вы ответили только на один вопрос.

– На какой именно? Спрашивайте, не стесняйтесь.

– Куда мы едем?

– Именно об этом-то мне и запрещено вам сообщать.

– Вот видите!

– Ничего не поделаешь! Но зато мне не запрещено говорить, куда мы не едем.

– Ах так! Тогда отвечайте…

– Прежде кое о чем условимся. Обещайте, что вы не сделаете попытки бежать и перестанете хмуриться. Поверьте, когда рядом со мной хмурятся, для меня это – нож острый!

– Ну, тогда и вы со своей стороны, – сказал шевалье, –

должны дать мне слово старого солдата, что вручите по назначению письмо, которое я вам передам.

– Кто? Я?

– Конечно, вы.

– Да посулите вы мне сто тысяч экю, милостивый государь, я и тогда вам этого не пообещаю. Сами только подумайте: ведь то, о чем вы просите, совершенно немыслимо. Эхе-хе! Уж коли король повелел не спускать с вас глаз, то сделал он это как раз для того, чтобы вы не могли никому дать о себе весточку. Будьте же рассудительны!

Роже подумал, что он ничего не выиграет, приведя своего конвоира в дурное расположение духа, и даже, напротив, может при этом только проиграть. Любая попытка бегства представлялась ему невозможной. К тому же, как мы говорили, он на время излечился от этой навязчивой мысли. А потому после недолгого молчания он сказал офицеру:

– Хорошо, сударь, даю вам слово дворянина, что не буду пытаться бежать и постараюсь хоть немного развеселиться, если только смогу.

– В добрый час! Кажется, мы становимся разумными, и, надеюсь, что мы совершим с вами вдвоем приятное путешествие. А теперь спрашивайте, и вам ответят.

– Направляемся ли мы на остров Сент-Маргерит?

– Нет.

– Направляемся ли мы в Пиньероль?

– Нет.

– Тогда, может быть, в замок Сен-Жан?

– Нет.

– Мы едем в Пьер-ан-Сиз?

– Горячо!

– В крепость Дижона?

– Горячо, горячо!

– Значит, мы направляемся в замок в Шалоне?

Полицейский офицер промолчал.

– Мы направляемся в замок в Шалоне?

Офицер молчал как каменный.

– Да ответьте же мне! – нетерпеливо воскликнул Роже.

– Это нарушает наше условие, милостивый государь, – ответил полицейский офицер. – Я обещал, что буду говорить вам, куда мы не едем, но твердо решил не говорить, куда мы едем. Представьте себе: вдруг из-за моей доброты к вам меня возьмут под подозрение и заставят под присягой подтвердить, что я вам не сказал о том, что вас переводят в замок в Шалоне; тогда я подниму руку и с чистой совестью присягну, что ничего вам об этом не говорил.

– Ну хорошо… Стало быть, меня везут в Шалон, – пробормотал Роже, тяжело вздыхая.

Он умолк, забился в угол кареты и погрузился в раздумье.

– Так-так! – воскликнул офицер. – Вот мы и снова впали в уныние. Да, вижу, что нам предстоит веселенькая поездка, а ведь нам ехать-то целых два дня! Нет, я вас прямо предупреждаю: я этого не потерплю.

– Как?! – воскликнул Роже. – И вы еще требуете, чтобы я был весел?

– Милостивый государь, вы дали мне слово, и уповаю, что вы, как человек чести, сжалитесь над ни в чем не повинным офицером и сдержите свое обещание. К тому же

сами подумайте: ведь я вовсе не был рожден для роли конвоира, я был рожден для того, чтобы распевать сатирические песенки у Тюрлюпена[15]. Ха-ха-ха! Кстати, об этих водевилях… Очень рад, что вспомнил о них, быть может, вас это развеселит. Да, вы, надо сказать, сочиняете весьма забавные куплеты, милостивый государь!

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Роже.

– Полно, полно! Не станете же вы отрицать! Ведь их нашли в ваших бумагах, и написаны они вашей рукой.

– Не понимаю, о чем вы толкуете.

– Согласен, согласен. Я ведь не добиваюсь от вас признания! Но ум у вас, милостивый государь, весьма язвительный.

И полицейский офицер начал напевать на широко известный в те времена мотив:

Говорят, что Ментенон,
Эта старая мартышка.
Сильно расшатала трон,
Денег нет, нам скоро крышка.
Но король твердит, что он
Всемогущ, как фараон.
Правит Францией Луи,
Как Алжиром правят деи,
И для нас, друзья мои.
Жизнь – подобье лотереи.

– Я в жизни не сочинял этих стихов! – вскричал Роже. –

---

[15] *Тюрлюпен* (Анри-Легран Бельвилль, ум. в 1634 г.) – известный французский комический актер. Некоторое время содержал свою труппу.

Я имел несчастье лишь переписать их, и только.

– А что вы на это скажете?

И офицер запел на другой мотив:

Все, что Ментенон творит,
Франции бедой грозит.
Эта дряхлая Диана
Вновь втянула нас в войну,
И шутам из балагана
Завтра отдадут казну!

– Уверяю вас, что не имею никакого касательства и к этому ноэлю! – в испуге воскликнул шевалье.

– Пусть так! Ну а это?

И конвоир затянул уже на новый мотив:

Ты, старуха, просто шлюха! –
Вышел из себя король. –
Образумиться изволь!
Вот накликаешь беду:
Будем мы с тобой в аду
Век лизать сковороду!

– И как только вы не боитесь распевать подобные куплеты? – спросил Роже. – Ведь вы можете угодить в тюрьму!

– Так я же пою их только вам, милостивый государь, только вам. Черт побери! Никогда не отважусь я петь их в обществе или переписывать своей рукой. И не в том дело, что они не кажутся мне забавными, напротив, как видите, я

не выпустил ни единого слова! Разве я что-нибудь не так спел?.. А? Коли я в чем ошибся, то вы, как автор, прямо об этом скажите…

– Клянусь честью! Уверяю вас… – воскликнул шевалье.

– Тсс!.. Молчок! Согласен, сделаю вид, будто я вам верю. Хорошо, не вы их сочинили… Ладно, ладно, не будем больше об этом говорить.

– Господи, до чего же я несчастен! – горестно вскричал Роже. – Как я был неосторожен, зачем только я распевал эти куплеты?!

– Напротив, их можно распевать, в этом нет ничего дурного. Да только петь их надо в тесной компании, скажем, вдвоем с другом, как мы с вами, к примеру… Но хранить их у себя дома, а уж тем более переписывать своей рукой я бы не стал. В этом случае подвергаешь себя опасности: коли ваша супруга вздумает от вас избавиться… Ах, черт побери! Ведь так легко ввести женщину во искушение!..

– Как?! – вырвалось у Роже. – Вы знаете о том, что со мной приключилось?

– А что с вами приключилось?

– Да именно то, о чем вы только что говорили.

– Я? Нет, я ничего о вас не знаю, – ответил офицер. – Я это просто к слову сказал…

И он вновь принялся напевать:

Говорят, что Ментенон
Эта старая мартышка…

Роже совершенно оторопел, оказавшись в столь

странном положении: голова у него шла кругом, самые противоречивые мысли осаждали его, и он боялся, что лишится рассудка; закрыв глаза, он прижался лбом к оконцу кареты и старался хоть немного прийти в себя, а полицейский офицер тем временем переходил от одной песенки к другой и продолжал напевать крамольные куплеты, видимо приводившие его в полный восторг.

Шевалье не спал уже третью ночь подряд, и в конце концов его одолел сон; он пробудился только на следующее утро и увидел, что полицейский офицер по-прежнему сидит рядом – свежий, приветливый и улыбающийся; заметив, что его подопечный проснулся, конвоир любезно осведомился, как тот провел ночь. Сам же он, сказал офицер, полагаясь на слово своего узника, спокойно проспал до утра.

Они остановились, чтобы перекусить, и офицер спросил у Роже, есть ли у него деньги. У шевалье не оказалось ни гроша. В крепости у него отобрали все, что было при нем, вплоть до драгоценностей, из опасения, как бы он не воспользовался ими для подкупа стражи, поэтому узник смиренно признался в своем бедственном положении.

В душе офицера, видимо, происходила борьба между добрыми и дурными побуждениями, и добрые чувства одержали верх.

– Признаться, я мог бы сохранить для себя пятнадцать су из тех двух ливров, которые королевская казна отпускает вам на завтрак, – доверительно сказал он, – но вы всю дорогу были со мной любезны и в точности сдержали свое слово. А потому я не стану вымогать у вас деньги, как это сделал бы кое-кто из моих собратьев, я даже немного до-

бавлю из своих, и, с вашего позволения, коли мое общество не слишком вам в тягость, мы позавтракаем вместе.

– С превеликим удовольствием, – отвечал Роже, который всегда был чужд аристократических предрассудков на сей счет и к тому же не хотел обижать своего конвоира.

Они уселись за стол. Как обещал полицейский офицер, завтрак и впрямь оказался хорошим. Шевалье не заставил себя просить, он ел так, как и должен есть двадцатилетний юноша, выздоравливающий после болезни.

– Завидный у вас возраст! – то и дело приговаривал офицер, с улыбкой поглядывая на Роже, хотя он и сам совсем недурно управился с едою. – Ну и аппетит же у вас! Вот таким когда-то был и я, разве только малость повеселее: я постоянно пел, пел во все горло, пел во всю мочь, пел с утра до вечера, как зяблик, как щегол, как соловей, но при этом всегда помнил о том, что распевать надо песенки, сочиненные другими, а отнюдь не свои собственные, разве только если напеваешь их другу, скажем, такому, как вы, и то когда остаешься с ним наедине. Да, да, я тоже сочинял куплеты, может, они и уступают вашим, но все же по-своему хороши. Вот послушайте-ка одну из моих песенок.

И офицер затянул на мотив «Колоколов»:

Кокетка жалкая! Пора
Тебе понять, что безвозвратно
Весны твоей прошла пора
И не вернуть ее обратно!
Да, ты теперь уже стара,
И голос твой осиплый

Средь королевского двора,
Как звук шарманки хриплой,
Терзая уши, дребезжит…
Тот, кто его услышит.
Скорее спрятаться спешит
И, притаясь, не дышит;
При виде сморщенных ланит
Он шепчет: «Нет! Нет! Нет!»
Но все ж одно к тебе манит –
Звон золотых монет!

– Ну как? Что вы на это скажете, любезный кавалер? – спросил офицер, закончив песенку и немного помолчав, чтобы дать шевалье время оценить его творение.

– Что я скажу? – переспросил Роже. – Скажу, что вы весьма неосторожны, если распеваете подобные куплеты.

– Это почему?

– А ну как я возьму да и донесу на вас?

– Ба! А кто вам поверит? Я скажу, что вы хотите отомстить мне за строгое обращение, и вам же это выйдет боком.

Ночью они прибыли в замок – в Шалон-сюр-Сон.

Шевалье тут же препроводили в предназначенную для него камеру; он так устал в дороге и так ослабел от последствий раны, которая не совсем еще зажила, что бросился на кровать, даже не посмотрев, что представляет собою его камера.

Он только успел заметить, что она освещена лампой, свисающей с потолка, и такое внимание обрадовало его.

XXIV

О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ СДЕЛАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ ОСТОРОЖНЫМ И СКРЫТНЫМ, КАКИМ БЫЛ ПОКОЙНЫЙ ГРАФ Д'ОЛИБАРЮС

Когда шевалье проснулся в первый раз, он увидел, что в камере по-прежнему горит лампа. Решив, что день еще не наступил, он повернулся лицом к стене и снова заснул.

Однако, проснувшись во второй раз, он удивился, что солнце все еще не встало, и внимательно огляделся вокруг. И только тогда ужасная истина открылась ему: в его темнице не было окна. Лампа, чей свет он посчитал сперва за благодеяние, оказывается, должна была отныне стать для него единственным светилом. На вращающемся деревянном круге, на котором узнику подавали в камеру пищу, уже стоял его завтрак: то был верный знак, что день давно наступил.

И тогда, несмотря на все свое мужество, шевалье почувствовал такое отчаяние, что сердце его болезненно сжалось в груди; сидя на своей койке и бессильно уронив руки, он мысленно вопрошал себя, в чем же его вина перед Богом и перед людьми, за что Господь покинул его, а люди столь дурно с ним обращаются.

Он не мог бы точно сказать, как долго пребывал он в таком унынии. Внезапно вращающийся круг повернулся на своей оси и вновь появился в камере: теперь на нем стоял тюремный обед, сменивший завтрак, к которому узник даже не притронулся.

Хотя Роже был всецело поглощен горестными мысля-

ми, всегда требовательная натура предъявляла свои права. Его мучил голод! Его мучила жажда! Он машинально подошел к вертящемуся кругу, поел и напился, как это делает терзаемое жаждой и голодом животное, затем он принялся кружить по камере, медленно и размеренно, как кружит запертый в клетке хищный зверь.

Проходил час за часом, однако смена тьмы и света не отмечала хода времени; один день следовал за другим, а до слуха узника не доносилось ни малейшего шороха. У него было только одно развлечение: следить за вращающимся кругом – он скрипел, когда заключенному доставляли пищу, да за лампой – она покачивалась, когда ее поднимали через отверстие в потолке, чтобы налить в нее масла и заменить догоревший фитиль новым.

Однако рука, заставлявшая круг скрипеть, а лампу ползти вверх, оставалась невидимой. Раза два или три узник обращался к неведомому существу, приводившему их в движение, и спрашивал, какой нынче день или который час, но делал он это не потому, что и в самом деле хотел знать, какой был день недели или который был час, а для того, чтобы услышать звук человеческого голоса; но он так ни разу не получил никакого ответа на свои вопросы и довольно скоро прекратил все попытки, поняв, что они ни к чему не ведут.

На первых порах им овладело отчаяние, потом на смену отчаянию пришло полное безразличие; порою он спал теперь по двенадцати часов кряду. Он то катался по кровати, как дикарь, то часами сидел неподвижно, как слабоумный.

Одно время шевалье даже надеялся, что лишится рассудка, и, думая об этом, он разражался взрывами дикого хохота.

Но ему не было суждено это счастье. Подобно тому, как камень, брошенный в пруд, на короткое время взбаламучивает воду и на поверхность поднимается тина, так и удар, поразивший Роже в самое сердце, привел к тому, что гнев и отчаяние поднялись из недр его души и помрачили ум; но, как и вода в пруде постепенно успокаивается, становится чистой и прозрачной, так и ум узника постепенно успокоился, и уже через месяц после нового заточения шевалье, взглянув на него, можно было подумать, что он вновь стал спокоен, почти безмятежен.

Дело в том, что желчь, сперва помутившая рассудок Роже, теперь мало-помалу проникала в сердце, ожесточая его.

Тогда-то к нему и возвратилось внешнее спокойствие. У него был такой вид, словно он живет обычной жизнью; тело его пребывало в неподвижности, зато ум работал безотказно и четко, мысли обрели ясность. Вдумываясь в нынешнее свое положение, он постигал теперь множество скрытых обстоятельств, которых не замечал прежде, когда жил на свободе, на вольном воздухе, когда вращался в обществе: в ту пору, отвлекаемый внешними впечатлениями, он даже не подозревал о существовании этих обстоятельств.

Он перебирал в памяти день за днем, час за часом, чуть ли не минуту за минутой; он мысленно обозревал всю свою жизнь начиная с того самого дня, когда сделался мужем Сильвандир, и вплоть до того дня, когда его взяли под стражу прямо на улице в Кур-ла-Рен. Он пытался разобраться в той мимолетной любви, которую, по-видимому, все же питала к нему жена: то было всего лишь физическое

влечение молодой женщины к тому, кто первый заставил ее испытать неведомые дотоле ощущения. Он припоминал теперь, как эта мнимая любовь мало-помалу исчезала, уступая место безразличию; припомнил он также, как зародились первые признаки той враждебности, какую Сильвандир постепенно начала выказывать по отношению к нему, и возникли они сразу же после появления в особняке д'Ангилема маркиза де Руаянкура. Враждебность эта еще больше усиливалась оттого, что Сильвандир терпеть не могла друзей своего мужа. Именно с той поры и началась жестокая борьба между шевалье и его женою – двумя людьми, чьи натуры были столь несхожи. Каждый призвал к себе на помощь настоящих своих союзников. Роже призвал Кретте, д'Эрбиньи, Кло-Рено и других столь же прямодушных дворян: они-то и посоветовали ему вести войну с открытым забралом, они же потом надоумили его благоразумно отступить. А Сильвандир призвала маркиза де Руаянкура, метра Буто и, разумеется, иезуита Летелье: они, должно быть, прибегли к хитроумным маневрам, к тайным уловкам, к недостойным приемам и в конце концов добились своего. И теперь он, Роже, полностью оказался в их власти, над ним тяготело обвинение, не имевшее никакого отношения к истинной причине его ареста. Его могут продержать в темнице до тех пор, пока будет длиться страсть, любовь или просто прихоть, которая влечет маркиза де Руаянкура к Сильвандир, а может быть, и того дольше, ибо если сейчас маркиз должен опасаться гнева оскорбленного мужа, то впоследствии он станет бояться мести узника, освобожденного после стольких мук; да, он, Роже, может пробыть в темнице бесконечно – либо потому,

что привязанность маркиза к Сильвандир устоит перед временем, либо потому, что страх Руаянкура перед шевалье д'Ангилемом окажется сильнее угрызений совести.

Затем Роже принимался разбирать свое собственное поведение так же тщательно, как он разбирал поведение других, и теперь он находил множество способов избежать тех бед, которые на него обрушились.

«Да, да, я вел себя как глупец, – рассуждал он сам с собою. – Мне следовало поступать так, как поступают многие известные мне мужья, они счастливы и пользуются общим уважением, они сейчас на свободе и спокойно прогуливаются по Парижу. Я должен был на многое закрыть глаза, взять себе в любовницы мадемуазель Пуссет, как весьма разумно советовал Кретте. Право же, все эти мужья – люди умные, один только я вел себя как болван.

Веди я себя по-другому, я бы не оказался в заточении, я не был бы теперь жалким узником, а командовал каким-нибудь полком. Правда, мне пришлось бы соблюдать пост три раза в неделю, но зато в остальные дни я преспокойно ел бы жирную пищу в обществе своей любовницы и друзей, для этого мне бы следовало только купить в Сент-Антуанском предместье хорошо обставленный, уютный, но не привлекающий к себе посторонних взглядов небольшой дом. Сам король благосклонно улыбался бы мне, раз в неделю я бы прикладывался к высохшей руке госпожи де Ментенон, я бы усиленно обхаживал отца Летелье, но зато мне, быть может, пожаловали бы титул герцога, я, возможно, стал бы пэром Франции.

Поистине, какой же я глупец!

Нет! Все-таки нет! Тысячу раз нет! Я поступил именно

так, как должен был поступить, и если бы все повторилось сызнова, я все равно поступил бы так же! Ибо на этом свете существует только одно понятие о чести и только одна возможность сохранить ее. К тому же я любил эту женщину, правда, сердце мое навсегда принадлежит бедной Констанс, но я любил и Сильвандир, любил ее из тщеславия, любил потому, что она хороша собой, а также, быть может, и потому, что я так много для нее сделал, потому, что она всем мне обязана – словом, как бы то ни было, а я любил ее; вот почему я не должен был, я не мог допустить, чтобы ее у меня похитили. Значит, я поступил так, как должен был поступить, и не в том дело, что я будто бы глуп, а в том, что они негодяи.

Когда я в один прекрасный день выйду на свободу, я отомщу за себя!.. Но когда я выйду на свободу?..»

Все в конце концов сводилось к этому.

В Фор-л'Евеке шевалье решил, что, если ему вернут свободу, он все и всем простит. В Бастилии он уже мысленно делал кое-какие оговорки на сей счет. А в Шалоне он беспрестанно повторял себе: «Мне двадцать два года, а королю семьдесят пять. Если королю будет отпущено еще десять лет жизни, он проживет до восьмидесяти пяти, прожить дольше не может рассчитывать ни одна коронованная особа, как бы она ни была требовательна к судьбе. А после смерти короля двери темниц распахнутся, и, стало быть, если даже предположить самое худшее, мне, когда я выйду на свободу, будет всего тридцать два года».

Шевалье не раз спрашивал себя, что он предпочел бы: выйти из тюрьмы тотчас же, но при этом отказаться от мщения или же выйти из нее через десять лет, но зато всласть насладиться местью.

И он всякий раз отвечал себе, что предпочитает выйти из темницы через десять лет, но зато отомстить, причем отомстить так, как это делают люди осмотрительные и умные.

Таким образом, пробыв три месяца в одиночном заключении, шевалье превратился в глубокого мыслителя, в тонкого политика, в сущего Макиавелли.

Если бы кто-нибудь вдруг поглядел на Роже, то увидел бы, что он подолгу сидит на скамеечке, закинув ногу на ногу, упершись локтем в колено, подпирая подбородок рукою, пристально смотрит прямо перед собой и чему-то улыбается; и тогда этот нечаянный наблюдатель, верно, решил бы, что д'Ангилем думает о своем отце, о своей матери, о мадемуазель де Безри, о сладостных днях своей юности – словом, вспоминает о чем-то весьма приятном.

Нет, Роже думал о мщении.

Так прошло одиннадцать месяцев, и ни разу в сердце узника не закрадывалось отчаяние, ни разу мужество не изменило ему. Пожалуй, его загоревшее на солнце лицо несколько побледнело за время этой долгой ночи, а его богатырское тело немного исхудало из-за вынужденного поста, но зато бледность придала шевалье ту одухотворенность, какой ему прежде недоставало, но зато худоба придала ему ту элегантность, которую прежде тщетно пытались в нем отыскать. Роже был по-прежнему красив и силен, только теперь он стал лицемером.

Каждый вечер он громким голосом молил Бога даровать долгие дни королю и г-же де Ментенон, ибо он подозревал, что за ним подглядывают, чтобы знать, что он делает, и подслушивают, чтобы знать, что он говорит;

правда, при этом он в глубине души посылал и короля и даму его сердца ко всем чертям, но делал это молча, и никто, кроме него самого да Господа Бога, об этом не ведал.

Однажды утром, когда шевалье с аппетитом грыз ломоть черствого хлеба, служивший ему завтраком, дверь в его камеру отворилась и знакомый голос донесся до слуха узника. Глаза его привыкли к темноте, ибо нередко он долгие часы и даже целые дни оставался без света, когда тюремщики забывали зажечь погасшую лампу, и поэтому он без труда разглядел пышно одетого дворянина; тот сделал два или три шага вперед и окликнул шевалье по имени.

Это был маркиз де Руаянкур; он с распростертыми объятиями приближался к д'Ангилему.

Шевалье схватил скамейку и поднял ее, намереваясь раскроить голову маркизу: ведь перед ним стоял враг. Надо было только опустить с силой массивное оружие, и он убил бы наглеца; Роже секунду помедлил, потом бросил скамеечку на кровать и тоже с распростертыми объятиями поспешил навстречу г-ну де Руаянкуру.

В камере было совершенно темно, и посетитель не заметил угрожающего движения, которое сделал Роже.

Два эти человека, смертельно ненавидевшие друг друга, обнялись как друзья, как братья.

– Так вот вы, оказывается, где, дорогой д'Ангилем! – воскликнул маркиз, схватив шевалье за руку и выводя его из камеры. – Нам долго пришлось вас разыскивать, и мы с таким трудом вас нашли!

Несмотря на все свое присутствие духа, Роже растерялся от такой наглости, однако он скрыл это под при-

творной улыбкой, принял руку, которую маркиз протянул ему, чтобы вывести из камеры, и, шагая вслед за своим врагом, сам горячо жал ему руку; так, рука об руку, они вошли в покои коменданта.

Подойдя к зеркалу, шевалье с трудом узнал себя. Теперь у него была длинная борода, всклокоченные волосы, а его одежда превратилась в лохмотья.

Он улыбался своему отражению такой же улыбкой, какой улыбался перед тем маркизу де Руаянкуру.

– Вы свободны, дорогой д'Ангилем, – сказал маркиз. – Но, Боже правый, как могло случиться, что вы целых пятнадцать месяцев не подавали о себе вестей? Впрочем, мы побеседуем об этом позднее. А теперь займемся более неотложными делами.

– Я полагаю, любезный мой освободитель, мой друг, мой брат, – сказал Роже, – я полагаю, что прежде всего надо бы спросить у коменданта замка, вправду ли я освобожден. Я пока еще не могу в это поверить.

– Вы свободны, дорогой шевалье, и свободны благодаря нашим настойчивым хлопотам, – перебил его маркиз.

– Поверьте, я вам бесконечно признателен. В таком случае самое неотложное – попросить у коменданта, чтобы он предоставил в мое распоряжение комнату, распорядился принести туда ванну и пригласил ко мне портного и цирюльника.

– Разумеется, дорогой шевалье, и все это сейчас будет к вашим услугам, за исключением портного, ибо он вам ни к чему. Я предвидел, что вам понадобится новая одежда, и у меня в карете ваше платье, я приказал слугам взять его у вас дома; сейчас платье принесут, а тем временем, если вы позволите, мой камердинер займется вашим туалетом.

– Вы так добры ко мне, любезный маркиз! Но я охотно принимаю ваши заботы: мне так приятно думать, что я вам всем обязан.

Роже проводили в какую-то комнату, туда принесли ванну, и камердинер маркиза де Руаянкура постриг и побрил его.

Приняв ванну, шевалье облачился в чистое платье.

И только тут он сам впервые по-настоящему понял, какая огромная перемена произошла в нем. Прежде Роже недоставало только одного: изящества и утонченности, этих непременных признаков породы; теперь такую утонченность придали ему страдания, вынужденный пост и, должно быть, глубокие размышления о жизни. Ныне шевалье д'Ангилем стал подлинно светским человеком.

Увидев его таким, маркиз де Руаянкур был поражен. Теперь в д'Ангилеме угадывалась уверенная сила, которой раньше в нем никто не замечал, в его глазах светилась решимость, и маркиз внутренне содрогнулся. Он впервые подумал, что человеку, чьим врагом станет шевалье, придется круто.

Комендант пригласил обоих дворян позавтракать вместе с ним, но д'Ангилем с улыбкой ответил, что комендант, должно быть забыл о том, что ему уже приносили завтрак в камеру перед тем, как пожаловал маркиз де Руаянкур. Комендант пролепетал невнятные извинения, сославшись на то, что установленные в замке строгие правила не позволяют ему оказывать своим постояльцам все те знаки внимания, к каким они привыкли. На это Роже со своей неизменной улыбкой ответил, что был бы не прав, если б вздумал жаловаться, ибо с ним здесь обращались превосходно.

Карета уже ожидала у ворот, в нее были запряжены почтовые лошади; маркиз и шевалье сели в экипаж, и лошади понеслись во весь опор.

Долгие одиннадцать месяцев Роже дышал спертым и зловонным воздухом одиночной камеры, и теперь он с восторгом, с наслаждением вдыхал чистый, напоенный ароматами майский воздух. Долгие одиннадцать месяцев он постоянно видел перед глазами мрачные стены тесной камеры, а теперь его взору открылся необозримый простор с широкими равнинами и синеющими вдали горами; однако шевалье ничем не выдавал своего восторга и своей радости, по его непроницаемому лицу нельзя было угадать, чем переполнено его сердце, любовью или ненавистью: он с одинаковой улыбкой любовался милыми его душе картинами природы и смотрел на ненавистного врага.

Время от времени он отвечал на вопросы маркиза дружелюбным кивком или ласковыми словами и непрестанно повторял, что глубоко признателен и всегда будет глубоко предан ему.

Постепенно беседа, несколько натянутая оттого, что маркиз не мог до конца справиться с легким замешательством, а Роже не в силах был полностью побороть свое волнение, приняла более спокойный характер и потекла более плавно.

Шевалье призвал на помощь все свое мужество и недрогнувшим голосом осведомился о здоровье Сильвандир.

– Увы! Бедняжка! – воскликнул маркиз. – Вы причинили ей много горя, вы перед ней очень виноваты и должны подумать, как лучше загладить свою вину.

– Да, да, – пробормотал шевалье. – Вы совершенно правы.

– Конечно, прав, – подхватил маркиз. – Сначала, когда вы пригрозили жене, что покинете ее, она не поверила, что вы можете уехать, и решила, будто это шутка; но, когда она увидела, что прошел день, второй, третий, а вы все не возвращаетесь, ей пришлось взглянуть правде в лицо. И тогда бедняжка едва не лишилась рассудка, целую неделю она плакала да жаловалась на судьбу; наконец она собралась с силами и поехала к господину д'Аржансону, чтобы узнать, где вы находитесь. Однако он знал только, что вас больше нет во Франции. Сами понимаете, при этом известии она впала в еще более глубокое отчаяние; в один прекрасный день господин Буто, придя в ваш особняк, узнал, что Сильвандир утром уехала, дабы попытаться отыскать вас и остаться с вами. Целых три месяца мы не знали, что с нею сталось. Бедная женщина! Но вот король, которому ведомо все, что происходит в его королевстве, узнал и о вашей истории, он заявил, что вы дурной муж, что вы подаете опасный пример, и отдал приказ взять вас под стражу.

– О, наш добрый король! О, наш всемилостивейший монарх! – воскликнул шевалье самым проникновенным тоном.

– Вот тогда-то в вашем доме произвели обыск и нашли эти злополучные водевили, от них-то и произошли все беды.

– Как я сожалею, что хранил у себя подобные песенки! Надеюсь, вы не подумали, будто я их автор, не могли же вы допустить, что я способен на такую черную неблагодарность?

– О, я никогда так не думал, это-то и позволило мне

столь решительно защищать вас, доказывая вашу невиновность.

– Вы мой спаситель! – вскричал д'Ангилем, завладевая обеими руками маркиза де Руаянкура. – Но, прошу вас, вернемся к Сильвандир.

– Так вот, дорогой друг, Сильвандир прибыла в Лондон в надежде отыскать вас; она узнала, что незадолго перед тем вы уехали обратно во Францию, и она тут же поспешила вслед за вами. В Дувр она приехала через день после вас; в Кале она оказалась спустя два часа после вашего отъезда оттуда.

– Милая Сильвандир! – тихо произнес Роже тоном самого любящего супруга.

– В Кале она узнала, что вы отправились в Париж, и, не теряя ни минуты, не пожелав даже отдохнуть с дороги, хотя она в этом очень нуждалась, в свою очередь, поспешила в столицу, надеясь догнать вас по дороге; но надежда ее не осуществилась. Тогда она решила, что вы уже дома, а вас и там не было; бедняжка просидела всю ночь напролет, даже не прилегла ни на минуту: она все ждала, что вы вот-вот вернетесь, однако вы так и не появились. Судите ж сами о ее горе!

– Ах, маркиз, маркиз! Сердце мое разрывается! – вскричал Роже, вытирая глаза носовым платком. – Что ж было дальше? Продолжайте же… И я смел подозревать такую женщину! Ах, вы правы, маркиз, я очень виноват перед нею! Но дальше, что было дальше?

– Что было дальше? – переспросил маркиз, обманутый тем, как натурально держал себя шевалье. – Ну что я вам могу сказать? День за днем она проводила в слезах, пре-

даваясь своему горю, а вас все не было, и мы не могли понять, что с вами произошло.

– Стало быть, вы не знали, что я в тюрьме? Клянусь честью, я так и думал.

– О Господи, конечно, не знали! Господин д'Аржансон боялся, что ваша супруга будет осаждать его просьбами, что я буду на него наседать, а ему ведь известно, что я пользуюсь кое-каким влиянием, и потому он сообщил нам о том, что вы в заточении, лишь две недели назад. И тогда, сами понимаете, Сильвандир со своей стороны начала хлопоты, господин Буто и я со своей стороны повели атаку, и мы так просили, так умоляли госпожу де Ментенон, так донимали просьбами короля, что в конце концов нам удалось добиться вашего освобождения. Ах, мой дорогой д'Ангилем, – прибавил маркиз прочувствованным голосом, – право же, нам пришлось немало помучиться!

– А я тем временем обвинял всех вас в равнодушии. Ах, несчастный! Ах, неблагодарный! Вы-то меня простили, но как вы полагаете, маркиз, простит ли она меня когда-нибудь?

– Сердце женщины – кладезь снисходительности, – напыщенно ответил маркиз де Руаянкур. – Так что надейтесь, надейтесь, любезный шевалье.

– А теперь, когда вы меня немного успокоили на сей счет, скажите, что вам известно о моих родителях, любезный маркиз. Вы сами видите, что супружеская любовь заставила меня забыть о сыновней любви. Уповаю, что барон и баронесса д'Ангилем в добром здравии?

– Да, благодарение Богу! И госпожа д'Ангилем позаботилась сообщить вашим родителям, что вы должны

вот-вот возвратиться после долгого путешествия: ведь они, как и все мы, ничего не знали о вашем заточении.

– Славная Сильвандир!.. Ну а как поживают остальные наши знакомые – д'Эрбиньи, Кло-Рено, Кретте?

Последнее имя Роже не столько произнес, сколько чуть слышно обронил.

Маркиз попался на удочку: он поверил этому небрежному тону.

– Как вы знаете, – ответил он, – я редко вижусь с вашими друзьями, ведь они при дворе слывут вольнодумцами, завсегдатаями Пале-Рояля. Однако они, кажется, здоровы и благополучны, в частности господин де Кретте, с которым у меня, к сожалению, произошла небольшая стычка, но, слава Богу, все обошлось.

– Да, правда! У вас там что-то вышло из-за госпожи де Ментенон? Разумеется, Кретте не прав, напрасно он не жалует эту достойную, эту святую особу, но, как вы сами изволили заметить, он ведь вольнодумец, должно быть, он из компании де Брольи, Лафара и Канильяка.

– Эти несчастные люди губят свою душу! – воскликнул маркиз де Руаянкур с притворным сочувствием, молитвенно складывая руки.

– Если у них вообще есть душа, – подхватил шевалье. Маркиз де Руаянкур с сомнением только передернул плечами, и разговор на время оборвался.

Роже был весьма доволен собою: он действовал в полном согласии с теми правилами поведения, какие обдумывал целых пятнадцать месяцев, проведенных за решеткой. Он увидел, что маркиз попался на его удочку, и теперь надеялся, что сумеет обмануть и свою жену, как только что обманул Руаянкура.

За этими и подобными разговорами прошел весь путь. Они ехали днем и ночью, лишь ненадолго остановились в Осере и буквально на одну минуту задержались в Фонтенбло.

Наконец они прибыли в Париж.

Шевалье издали увидел Фор-л'Евек и проехал под самыми стенами Бастилии.

Десять минут спустя экипаж остановился у ворот особняка д'Ангилема. Роже тут явно ждали: все в доме были предупреждены, все было готово к его приезду. Войдя во двор, он увидел, что в дверях стоят слуги, а у открытого окна сидит его жена.

Шевалье выскочил из кареты и бегом кинулся в гостиную; Сильвандир в сопровождении метра Буто вышла навстречу мужу и уже стояла в дверях.

И в эту минуту, отведя взгляд от слащаво улыбающейся жены, Роже увидел позади нее висевшие на стене портреты своих родителей: отец и мать улыбались ему из рам. И хотя за время пятнадцатимесячного заключения сердце шевалье окаменело, слезы брызнули у него из глаз при виде этих самых преданных друзей, на которых только и может всегда рассчитывать человек.

Охватившее Роже волнение было таким сильным, что он лишился чувств. Сильвандир могла подумать, будто силы оставили шевалье из-за любви к ней и от радости, что он вновь с нею свиделся; так она, без сомнения, и подумала.

XXV

КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ УСТРОИЛ В СВОЕМ ОСОБНЯКЕ ПОЖАР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОН СТАЛ ТЕМ, КЕМ ОПАСАЛСЯ СТАТЬ

Дня через три после описанной нами сцены особняк д'Ангилема являл собою воистину патриархальное зрелище, и причиной тому была необыкновенная сердечность метра Буто, подчеркнутая нежность Сильвандир к мужу, дружеская предупредительность маркиза де Руаянкура к шевалье и ловкое притворство самого Роже.

Все они делали вид, будто любят друг друга так, как учит нас любить Евангелие.

А поскольку в нашем мире все показное, то каждый охотно позволял себя обманывать, даже те, кому непременно надо было проникнуть как можно глубже в подлинные чувства своих ближних. Даже сам Роже, ощущая, что, достаточно ему протянуть руку, достаточно ему бросить взгляд, и его тут же окутывают волны нежной привязанности, порою забывал о своих ужасных подозрениях.

По несчастью, Кретте не было в Париже, он уехал на целую неделю; шевалье тайно побывал у него дома и попросил Баска сразу же предупредить его, как только маркиз вернется.

Все это время Сильвандир выказывала самую глубокую нежность к мужу: она расспрашивала, как он проводил время в темнице и думал ли хотя бы изредка о ней.

Роже отвечал, что его пребывание в темнице было весьма приятным, ибо тюремщики вели себя столь же учтиво, как хорошо вышколенные слуги, что всякий день он

обедал за столом у коменданта, а под вечер ежедневно выезжал вместе с ним на прогулку, по вечерам же они играли в ломбер или в шахматы, после чего его с почетом препровождали в камеру, прекрасную комнату, где был только один небольшой недостаток: дверь там была постоянно заперта на два засова, а единственное окно забрано железными решетками. Шевалье опасался, что если он расскажет Сильвандир о том, как он жил на самом деле, то она, пожалуй, поймет: человек, столько выстрадавший, должен испытывать властную потребность отомстить.

Отвечая на вопрос, вспоминал ли он о ней, Роже нежно уверял жену, будто он только и делал, что думал о ней, думал с утра до ночи, а затем – с ночи до утра. И читатель знает, что Роже говорил сущую правду.

Затем Сильвандир в свою очередь клятвенно уверяла мужа, что тюрьма, если можно так выразиться, пошла ему на пользу и он стал теперь еще красивее, чем прежде.

Однажды утром к шевалье явился Баск и сообщил, что полчаса назад в столицу возвратился маркиз де Кретте.

Роже вышел из дому, нанял на углу соседней улицы экипаж и велел отвезти себя в особняк маркиза. Тот ожидал его; друзья крепко обнялись.

Кретте уже слышал о многом из того, что за время их разлуки случилось с Роже, слышал он о двух побегах и о ранах, полученных шевалье во время неудачных попыток к бегству, но самого главного он не знал: он не знал о том, что шевалье так долго пробыл в одиночном заключении в камере, куда не проникал солнечный свет, где нельзя было даже заметить смену дня и ночи, из-за чего время тянулось мучительно медленно, че знал он, наконец, и о том, что

д'Ангилем твердо решил отомстить жене, если подтвердится, что она, как он предполагал, имела хотя бы малейшее касательство к его заточению.

Кретте еще раз повторил своему другу то, о чем он ему уже писал: он рассказал, что Сильвандир внезапно исчезла из дому, рассказал о своей ссоре с маркизом де Руаянкуром и о том, что он, Кретте, твердо уверен, хотя у него и нет к тому убедительных доказательств, что именно Сильвандир передала в руки властей злосчастные ноэли, послужившие если не причиной, то, во всяком случае, поводом для взятия д'Ангилема под стражу.

Как и предполагал Роже, он был обязан своим освобождением настойчивым хлопотам Кретте, д'Эрбиньи и главным образом Шастелю: тот по женской линии состоял в дальнем родстве с г-ном д'Аржансоном; прежде Шастелю стыдился этого, но, сообразив, что оно может пойти на пользу его другу д'Ангилему, вспомнил об этом родстве. И тогда маркиз де Руаянкур, видя, что хлопоты друзей д'Ангилема оказывают свое действие и что держать шевалье за решеткой дольше не удастся, из недруга Роже, каким он был прежде, вдруг превратился в его защитника, а так как Руаянкур был лицом влиятельным, то он и в самом деле ускорил освобождение узника.

Остальное читателю уже известно.

Все, о чем Кретте поведал своему другу, полностью совпадало с тем, о чем Роже и сам не раз думал; поэтому оба они ни минуты не сомневались, что правильно понимают и причины происшедшего, и то, почему с таким трудом удалось вызволить шевалье из заточения.

Друзья расстались, вновь поклявшись в вечной дружбе,

уже выдержавшей столько испытаний; они знали, что всегда могут рассчитывать друг на друга, но рассудили, что пока им следует видеться лишь в случаях крайней необходимости.

Однако хотя Роже был почти убежден в виновности жены, он, дабы избавить себя в будущем от угрызений совести, решил получить вещественные доказательства, которые положили бы конец последним сомнениям, порою все еще возникавшим в глубине его души.

Сидя в одиночной камере, он научился размышлять и хранить молчание. До сих пор он успешно пользовался этим выстраданным умением, и никто даже не подозревал о том, что на самом деле творится в недрах его существа.

Итак, он начал действовать.

Прежде всего он позвал к себе Бретона: то был верный слуга, на него вполне можно было положиться.

Шевалье стал расспрашивать его о маркизе де Руаянкуре, и Бретон ответил, что в отсутствие хозяина маркиз всякий день бывал у них в особняке и эти визиты прекратились только тогда, когда госпожа д'Ангилем исчезла.

И тогда Роже сказал себе, что, если бы его дражайшая супруга в самом деле пришла к похвальному намерению отправиться на его розыски, она бы не преминула рассказать об этом своим близким, а между тем маркиз де Руаянкур говорил ему, что, уезжая, Сильвандир ни словом не обмолвилась о своих планах.

От Бретона шевалье узнал, что г-жа д'Ангилем за месяц до своего отъезда рассчитала горничную, прослужившую у нее лет десять; это показалось Роже весьма подозрительным, ибо мадемуазель Кларисса была особа чрезвычайно

ловкая и весьма преданная своей госпоже, так что без особых причин Сильвандир не стала бы избавляться от нее, особенно перед отъездом в далекое и утомительное путешествие.

Шевалье надеялся кое-что выпытать у самой Сильвандир; однако когда он, прибегавший теперь к лицемерию даже в любви, пытался в свою очередь узнать у жены, как она проводила время в его отсутствие, та лишь кокетливо улыбалась, жеманилась и увиливала от ответа, так что не было никакой возможности установить, куда именно она уезжала и где останавливалась. Сильвандир только сказала мужу, будто она пробыла два месяца в обители Дев Господних, которая, надо сказать, славилась строгостью своего устава; однако Роже понимал, что маркиз де Руаянкур, друг г-жи де Ментенон, мог приезжать туда и уезжать оттуда, когда ему было угодно, ибо его сестра была настоятельницей, а кузина – казначеем вышеупомянутой обители.

Отправиться в монастырь и начать наводить там справки было равносильно тому, чтобы открыто объявить о своем недоверии к жене; поэтому Роже решил сделать вид, будто он верит всему, что ему рассказывают, и со своей стороны сказал Сильвандир, что она очень похорошела в монастыре. А вообще-то он по-прежнему вел себя как образцовый муж, обожающий свою жену, еще чаще, чем прежде, называл метра Буто милым тестем и был не просто предупредителен, но даже ласков с маркизом де Руаянкуром.

Друзья шевалье, в отличие от маркиза де Кретте, не знали, что вся эта показная нежность всего лишь маска и под ней кроется нечто пока еще неведомое, таинственное и,

видимо, грозное, а потому они слегка посмеивались, когда речь при них заходила о нежной любви, воцарившейся в дома д'Ангилемов; и легко понять, что в некоторых светских гостиных немало веселились при упоминании о г-же д'Ангилем, сей добродетельной Пенелопе, которая не стала дожидаться своего Улисса дома, а отправилась искать его Бог знает где, но только не там, где можно было найти.

Роже предоставил Бретону полную свободу действий и поручил ему подкупить кого-либо из слуг маркиза де Руаянкура. Однажды утром, одевая своего хозяина, Бретон сообщил, что кучер маркиза, с которым накануне дурно обошлись, готов за сто луидоров развязать язык. И посоветовал шевалье воспользоваться обидой кучера.

Д'Ангилем последовал этому совету; он послал кучеру сто луидоров и в тот же день услышал из уст этого плута следующее.

Каждый вечер, начиная с того самого дня, когда Сильвандир уехала из дому, маркиз де Руаянкур после ужина отправлялся в небольшую деревушку Люзарш – иногда верхом, иногда в карете; он проводил там четыре или пять часов, а в два часа ночи неизменно отправлялся обратно в Париж, куда и приезжал к четырем часам утра. Затем он укладывался в постель. Для того, чтобы все думали, будто он вовремя возвращается домой, его экипаж всегда подъезжал к особняку не позднее полуночи, и слуги – за исключением кучера, знавшего, что он везет пустую карету, и камердинера, ждавшего возвращения маркиза до четырех часов утра, – считали, что это приехал домой их хозяин.

Шевалье напал на первый след. Он твердо решил добраться до другого конца нити, которую теперь держал в руках, и потому самолично отправился в Люзарш.

Там он принялся наводить справки и узнал, что года полтора назад некая молодая дама сняла дом и жила там в полном одиночестве. Ей прислуживала монахиня. Каждый вечер какой-то мужчина, с виду аристократ, приезжал повидать эту даму. Шевалье описал наружность молодой женщины и у него не осталось никаких сомнений в том, что то была Сильвандир; ему нарисовали портрет мужчины, и он тотчас же узнал маркиза де Руаянкура.

Окажись на месте Роже другой человек, он бы пришел в ярость и вызвал маркиза на дуэль или подослал бы наемных убийц, чтобы те напали на него из-за угла. Но шевалье понимал, что если он даст волю гневу, то может снова попасть в Фол-л'Евек, а если он затеет дуэль, то, чего доброго, опять угодит в Бастилию, а уж за попытку убить человека – впрочем, шевалье даже в голову не пришло мстить таким низким способом – ему попросту грозила бы позорная казнь.

Вот почему шевалье решил, что все это никуда не годится: он хотел отомстить так, чтобы при этом не навлечь на себя кару, остаться на свободе и по-прежнему вкушать все радости жизни.

К тому же он ненавидел прежде всего и больше всего Сильвандир: ведь это она предала его, это ее он в свое время любил, это она сделала его, пусть ненадолго, счастливым; потому-то он сейчас так сильно ее ненавидел, хотя и опасался в то же время, что все еще продолжает ее любить.

С той самой минуты, когда Роже поклялся отомстить, он твердо знал, какой именно будет его месть. И теперь он вновь обратился к своему плану, медленно зревшему в

глубине его души в ожидании того дня, когда план этот можно будет привести в исполнение. Надо сказать, что с тех пор, как шевалье вышел на свободу, душа его походила на бурное море, где постоянно вздымаются и падают грозные валы, в голове у Роже зарождались гневные мысли, опасные, как шквал на море, и лишь изредка доброе чувство вспыхивало, точно молния, и гасло столь же быстро, как угасает молния.

Однажды уверившись в своем несчастье, однажды убедившись в том, что его обманывают, шевалье почувствовал неожиданный прилив сил и увидел в этом залог спасения.

Но прежде всего ему надо было убедиться в том, что он больше не любит эту окаянную женщину и что в минуту мести его не остановит жалость и душевная слабость, которую люди обычно принимают за угрызения совести. А мы уже сказали и повторим снова, что, хотя Роже страстно ненавидел Сильвандир, он все еще не был уверен, окончательно ли умерла в его сердце любовь к ней.

Поэтому он решил сперва хорошенько разобраться в своих чувствах к жене.

Стоило ей внезапно войти в комнату, и он ощущал колющий удар в сердце и такую острую боль, как будто в него вонзили холодное лезвие или прикоснулись к нему ланцетом, дабы вскрыть вену. И тогда, несмотря на все свое самообладание, он становился бледен как полотно, ибо вся кровь его отливала к сердцу; но уже через мгновение набухшее сердце отгоняло кровь к голове с такой силой, что ему делалось дурно и он едва не лишался чувств. А между тем, невзирая на все эти столь различные, порою прямо

противоположные ощущения, от которых его кидало то в жар, то в холод, Роже должен был жить обычной жизнью, спокойно разговаривать, любезно улыбаться, и порою это было для него не менее мучительно, чем пребывание в одиночной камере замка в Шалоне-сюр-Сон.

Случалось, что среди ночи он вдруг просыпался от страшного кошмара – ему мерещилось будто он все еще узник и томится в зловонной камере на жестком ложе, – и тогда он чувствовал себя совершенно разбитым, сердце у него бешено колотилось, грудь судорожно вздымалась, волосы вставали дыбом; затем он вдруг обнаруживал, что он у себя в спальне, где мягко светит лампа под алебастровым абажуром, что он покоится в мягкой постели под шелковым балдахином, а рядом спит сном праведницы Сильвандир, эта пылкая сирена, любострастная чаровница, красавица с черной душою. Роже приподнимался на локте и неотрывно смотрел на нее, смотрел долго и грозно, при этом он думал о сказке, которую не так давно опубликовал Галлан и которая наделала много шума; в ней говорилось о человеке, чья жена оказалась вампиром: однажды ночью человек этот увидел, как она крадется на супружеское ложе, вернувшись после своей чудовищной трапезы на погосте…

А Сильвандир тем временем, должно быть, видела какой-то чудесный сон: она издавала сладострастные стоны и приоткрывала в улыбке свои коралловые уста, обнажая жемчужные зубы.

И тогда Роже охватывало яростное желание сжать эту женщину в любовном объятии, прижаться губами к ее губам, задушить и упиться ее последним вздохом; при этом

он говорил себе, что если в жизни она принадлежала не только ему, то уж в смерти по крайней мере будет принадлежать ему одному. Однако шевалье выполнял только первую часть своего порыва: в последний миг решимость оставляла его.

Что до Сильвандир, то она была совершенно уверена в своей полной власти над мужем, и потому дни ее были радостны, а ночи безмятежны. Она так ни разу и не заметила, как свирепо он подчас глядит на нее, будто хочет заворожить своим пронизывающим взглядом; правда, следует сказать, что шевалье ни разу не выдал себя ни словом, ни жестом.

Маркиз де Руаянкур по-прежнему бывал у них в доме; но становилось заметно, что страсть его изрядно поостыла.

«Так оно и должно было произойти, – думал Роже, наблюдая за тем, как маркиз все больше охладевает, подобно тому как прежде он наблюдал за тем, как любовь Руаянкура все разгоралась, – так оно и должно было произойти: обладание привело к пресыщению».

И шевалье выказывал все большее внимание своей супруге, а она, памятуя о своей вине, тоже отвечала нежностью на нежность мужа. Так что, если бы Роже не терзала яростная жажда мести, он бы мог чувствовать себя по-настоящему счастливым!

Сильвандир вела себя очень осторожно, и все же наступил такой день, когда она, тщетно прождав целую неделю маркиза де Руаянкура, который не только не появлялся, но даже не соблаговолил подать о себе весточку, потеряла терпение и написала ему письмо, полное упреков; она позвонила, дабы вручить это письмо верному человеку.

Однако в доме не оказалось никого из преданных ей слуг и на ее звонок явился Бретон. Сильвандир держала письмо в руке, отступать было уже поздно; к тому же Бретон сказал, что он сейчас совершенно свободен и готов незамедлительно выполнить поручение г-жи д'Ангилем. Если бы она не дала письмо Бретону, это, без сомнения вызвало бы у него подозрение. Сильвандир собралась с духом, протянула конверт слуге и сказала с небрежным видом:

– Отнесите это письмо маркизу де Руаянкуру.

Бретон направился к себе, чтобы переодеться, и повстречал на лестнице своего хозяина; он молча показал конверт, который ему велели отнести, и взглядом спросил, следует ли доставить послание адресату.

Шевалье чуть было не уступил соблазну выхватить письмо, но тут он услышал, как за дверью зашелестело атласное платье, и догадался, что Сильвандир шпионит за ним.

– Письмо от госпожи д'Ангилем маркизу де Руаянкуру, – произнес слуга вслух.

– Прекрасно! Тотчас же отнесите его, – громко сказал Роже, – а на словах передайте маркизу от моего имени, что он поступает нехорошо, пренебрегая нами. Передайте, что я не видел его уже целую неделю, что я очень обижен и прощу ему такое невнимание только в том случае, если он нынче же приедет отобедать с нами.

– Однако, сударь… – пробормотал Бретон.

– Хорошо, хорошо, ступайте, любезный, ступайте, – оборвал его шевалье, – вы мне сейчас не нужны.

Потом, спустившись на десять или двенадцать ступе-

нек, Роже вошел к Сильвандир и, к величайшему изумлению Бретона, воскликнул:

– Вы прекрасно поступили, милый друг! – И после короткой паузы шевалье прибавил, вытаскивая из рукавов кафтана манжеты и расправляя складки на своем жабо: – Вы очень разумно поступили, велев разыскать нашего друга Руаянкура, я хочу, чтобы он отведал косули, которую нам прислал из Ангилема отец.

Сильвандир сперва покраснела, потом побелела, затем пожелтела, так что на лице ее в одно мгновение заиграли чуть ли не все цвета радуги; немного придя в себя, она вновь заулыбалась, по своему обыкновению.

«Какой у меня все же славный муж!» – подумала она, целуя шевалье в обе щеки.

«Какой, прости Господи, слабый человек мой хозяин! – подумал Бретон. – Ну кто поверит, что он тот самый дворянин, который в первом же поединке проткнул шпагой господина Коллински? Да, славный он нанес тогда удар!»

Перед самым обедом доложили о приезде маркиза де Руаянкура; приглашение, полученное им сразу и от жены и от мужа, видимо, растрогало его, ибо он был необычайно любезен.

Сильвандир торжествовала, а Роже преспокойно поглядывал на жену и на гостя; за столом шевалье был остроумен, но отнюдь не язвителен, очень весел и держал себя весьма непринужденно.

За десертом он заметил, что его жена и гость обменялись весьма красноречивыми взглядами.

А когда все встали из-за стола и направились в гостиную, чтобы выпить там кофе, он увидел, как маркиз, про-

вожая Сильвандир из одной комнаты в другую, сунул ей в руку записочку. Она быстро спрятала ее на груди.

– Бесстыжая женщина! Наглый негодяй! – пробормотал шевалье. – Надо бы их обоих уложить на месте!

Но он сдержался, и пострадали только его манжеты: он разорвал их в мелкие клочья.

Нужно было во что бы то ни стало завладеть запиской; сделать это было трудно, но необходимо. Шевалье весь вечер ломал себе голову и наконец нашел способ.

Теперь оставалось угадать, когда именно Сильвандир соберется прочесть записку.

«Это произойдет, без сомнения, нынче вечером, перед тем как она станет переодеваться на ночь», – решил шевалье.

Весь вечер он не спускал глаз с Сильвандир и убедился, что она еще не успела прочесть злополучную записку; когда маркиз де Руаянкур ушел, Роже спрятался в маленькой гостиной, расположенной рядом с туалетной комнатой жены; он напряг слух и наконец услышал, что она вошла к себе, а когда, по его расчетам, молодая женщина начала читать записку, шевалье поджег портьеру на одном из окон; пламя стремительно побежало к потолку, и стекла с треском полопались.

– Пожар! Горим! – закричал д'Ангилем. И бросился в будуар.

Сильвандир еще держала в руке записку маркиза де Руаянкура; быстрым движением она попыталась спрятать ее, но, увидев языки пламени и клубы дыма, наполнявшего гостиную, попятилась, испустила испуганный вопль и лишилась чувств.

Роже, не обращая внимания на то, что в комнате уже бушует пламя, разжал пальцы жены, взял записку и быстро прочел ее:

«Не станем больше говорить о прошлом, Сильвандир; я часто испытываю угрызения совести из-за того, что мы совершили. Ваше предложение бежать вдвоем и покинуть Францию сумасбродно, и я отвергаю его; к тому же я начинаю испытывать чувство стыда оттого, что мы обманываем порядочного человека, а он, ни о чем не подозревая, осыпает меня знаками дружеского внимания. Послушайтесь меня, Сильвандир: прекратим нашу связь. Вы пишете, будто умираете от любви ко мне; живите лучше ради Вашего несчастного мужа, который Вас просто боготворит, – это гораздо более достойно истинной христианки».

– Ну что, болван несчастный?! – пробормотал Роже. – Ну что, ты и впредь еще будешь сомневаться?

Он снова вложил записку в руку жены, по-прежнему холодную и безжизненную; затем, притворив дверь в будуар, позвонил Бретону.

Пламя сожгло портьеры, опалило консоль и закоптило деревянную обшивку на стене; не находя себе больше пищи, которую можно легко поглотить, оно лизало теперь уже заметно опавшими красными языками оконные рамы и деревянные балясины.

В одно мгновение все в особняке были на ногах, и уже через десять минут не осталось ни огня, ни дыма.

Когда Сильвандир пришла в себя, возле нее никого не

было; она увидела, что все еще держит в руке смятую записку, решила, что муж ничего не заметил, и, радуясь тому, что она осталась цела и невредима во время пожара и спаслась от беды, вышла в гостиную, где было полно слуг.

Заметив жену, шевалье бросился к ней навстречу.

– О Господи! Милая Сильвандир, какое несчастье! Ваши покои испорчены! А ведь тут все только недавно привели в порядок, все блестело! Чтобы все здесь обновить, понадобится, по крайней мере, месяц, и мы покамест не сможем принимать гостей.

– Беда невелика, друг мой, – отвечала Сильвандир самым нежным голосом, – поедемте в Шампиньи.

– В Шампиньи? – переспросил Роже.

– Да. Надеюсь, вам не слишком неприятны воспоминания, связанные с этим местом?

Роже открыл было рот, чтобы сказать: «А почему бы нам не поехать в Люзарш?» – но сдержался.

– Разумеется, нет, – произнес он вслух, – вы знаете, как милы моему сердцу воспоминания, которые вновь оживут в моей памяти в этом загородном доме: благодаря вам он стал для меня так дорог! Но я подумал, что если бы вы были не просто очаровательной женщиной, но и женщиной, любящей перемену мест, то мы бы взяли с собой тысячу пистолей и отправились вдвоем, как и подобает нежным супругам, в поездку по прекрасному Провансу, чьи песни вы так чудесно поете под звуки клавесина.

– О друг мой, – отвечала Сильвандир с очаровательной гримаской, – а не кажется ли вам, что такое путешествие продлится слишком долго?

– Хорошо, хорошо, моя дорогая! Не надо больше об этом говорить, пусть все будет так, как вам угодно.

Однако Сильвандир была необычайно довольна, что ее не уличили, и потому не стала упорствовать в отказе; к тому же она подумала, что, отправившись вместе с мужем в далекое путешествие, она, пожалуй, заденет этим тщеславие маркиза де Руаянкура, только что сильно задевшего ее чувство к нему, и, так как ей очень хотелось отомстить неверному любовнику, она сказала шевалье:

– Нет, друг мой, нет, я не стану лишать вас, да и себя такого удовольствия; кроме того, я дала себе слово неизменно стараться угождать вам. Приказывайте же, и я охотно подчинюсь.

Шевалье с трудом сдержал радость, распиравшую его грудь. Он занялся приготовлениями к отъезду, однако, как он ни торопился, маркиз де Руаянкур и Сильвандир успели за это время помириться.

В одно прекрасное утро маркиз сказал д'Ангилему и его жене, что готов поехать вместе с ними в Прованс.

Роже это никак не устраивало; тем не менее он сделал вид, будто с восторгом принимает предложение Руаянкура, но, ссылаясь на различные дела, стал оттягивать день отъезда.

Он надеялся, что не сегодня-завтра между любовниками произойдет новая ссора, и она приведет к новой распре между ними.

И он не ошибся.

Вскоре шевалье перехватил второе письмо маркиза де Руаянкура: тот сообщал Сильвандир, что немедленно уезжает в Утрехт, чтобы их разрыв не мог на сей раз закончиться, как прежде, примирением.

Сильвандир тщетно пыталась скрыть свою досаду;

Роже без труда замечал следы раздражения на лице жены и догадывался о том, что творится у нее на душе.

В тот самый день, когда маркиз де Руаянкур отбыл в Голландию, она первая заговорила с мужем о поездке в Прованс.

«Клянусь честью, – сказал себе Роже, – до сих пор мне приходилось играть самую смехотворную и самую унизительную роль на свете. Но, слава Богу, час расплаты близок!» И он поспешно ухватился за слова жены, а так как все приготовления к отъезду были давно закончены, то уже на следующий день, первого июня 1713 года наши супруги, казалось влюбленные друг в друга, точно два голубка, покинули Париж.

XXVI

О ТОМ, КАК РОЖЕ И СИЛЬВАНДИР СОВЕРШИЛИ ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОВАНС, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Роже столь мастерски играл свою рольку, как говаривал достопамятный король-католик Карл IX, что ко дню отъезда шевалье из Парижа все только и говорили о его любви к жене. Все принимали эту любовь всерьез, даже д'Эрбиньи, даже Кло-Рено, даже Шастелю: они везде и всюду повторяли, что если королю с помощью Бастилии так и не удалось превратить герцога Ришелье в примерного супруга, то замок в Шалоне-сюр-Сон куда более споспешествовал желанию великого монарха внести мир и покой в супружескую жизнь шевалье д'Ангилема.

Кретте и тот был обманут поведением своего друга и поверил всеобщей молве; маркиз понимал, на что способна красивая женщина, решившая настоять на своем, и всякий раз, когда он виделся с мадемуазель Пуссет, он советовал актрисе учиться у Сильвандир, которую именовал величайшей кокеткой столицы.

– Чего стоили все эти громкие разговоры о мести! – говорил маркиз. – Они, увы, только сотрясали воздух. Бедный Роже! Он грозился истребить всех вокруг, а теперь впал в другую крайность. Впрочем, он, пожалуй, поступил очень умно, и все же, клянусь, пример шевалье д'Ангилема еще больше укрепляет меня в решимости не отказываться от свободы и оставаться холостяком!

Так или приблизительно так рассуждали в парижских салонах.

Между тем шевалье и его супруга были уже на пути в Прованс; через два дня после отъезда из столицы они прибыли в Шалон. Роже хотел посмотреть, какое впечатление произведет на его жену вид тюрьмы, где он был заточен. И потому он повез ее прямо к замку.

– Зачем, – спросила Сильвандир, два или три раза взглянув на крепостные стены, – зачем вы показываете мне это отвратительное сооружение?

– Именно здесь, душа моя, я пробыл целых одиннадцать месяцев, покамест вы искали меня по всему свету, – отвечал шевалье.

Сильвандир состроила прелестную гримаску, словно желая сказать:

«Черт побери! Как бы ни был любезен комендант, сидеть в этом каменном мешке, должно быть, не слишком весело».

– О да, – продолжал Роже, словно угадывая мысли жены, – о да, я тут очень страдал, и не столько оттого, что был в заточении, сколько оттого, что был вдали от вас.

– А мы-то и не подозревали, что вы томитесь здесь! – воскликнула Сильвандир.

Это «мы» показалось шевалье просто очаровательным.

На следующий день супруги д'Ангилем прибыли в Лион, где задержались дня на два или на три. Шевалье, неизменно внимательный к жене, не мог допустить, чтобы она чересчур уставала в дороге.

За эти дни Роже и Сильвандир побывали в церкви Богоматери Фурвьерской, куда они ездили на поклонение к одной из самых прославленных французских мадонн, чье предназначение – поддерживать любовь и согласие между супругами, ежели таковые царят между ними, и возрождать согласие и любовь, ежели их больше нет.

Читатель, разумеется, понимает, что то была ненужная предосторожность, поскольку дело касалось Роже и Сильвандир: ведь они страстно любили друг друга и могли не опасаться, что их взаимная привязанность внезапно ослабеет.

После своего пребывания в Лионе, которое ничем не отличалось от их пребывания в Шалоне, супруги покинули вторую столицу Франции; они продолжали свое путешествие и ненадолго останавливались в Балансе, Оранже, а затем в Авиньоне.

Как было не заехать в Авиньон?! Как было, попав туда, не посетить источник в Воклюзе?! Да это было бы кощунственным преступлением против поэзии!

А ведь в те времена любовь была как нельзя более по-

этичной и весьма пасторальной, влюбленные той поры восторженно любовались холмами, долинами, источниками… Читайте «Астрею» и «Клеопатру»!

Итак, наши супруги совершили паломничество к источнику в Воклюзе, подобно тому как незадолго до того они совершили паломничество к Богоматери Фурвьерской в местный собор; после этого Роже всю дорогу называл Сильвандир своей дорогой Лаурой, а она называла его своим прекрасным Петраркой.

Нищие, которым они подавали милостыню, умилялись при виде этой образцовой супружеской четы.

Продолжая свое путешествие, Сильвандир и Роже прибыли в Арль. Им хотелось осмотреть знаменитые развалины – главную достопримечательность города, который одно время оспаривал у Византии титул владыки мира. Если бы не мистраль, то, по мнению ученых мужей, Арль ни в чем не уступал бы Константинополю.

Однако в это время жителей города куда меньше занимало то, что происходило в древности, нежели то, что случилось всего две недели назад.

Некий почтенный буржуа из Арля, на беду, сочетался в свое время браком с женщиной, чей нрав, судя по всему, сильно отличался от его собственного; он уже не мог долее сносить тяготы, омрачавшие из-за такого несходства темпераментов его семейную жизнь, и надумал сделаться вдовцом. Сделаться вдовцом – дело нехитрое, главная трудность заключалась в том, как придумать для этого такой способ, который уберег бы новоиспеченного вдовца от строгости законов.

И вот какой способ придумал сей достойный житель Арля, чтобы достичь своей цели.

У него был на берегу Роны загородный дом, который очень нравился его супруге, и она имела обыкновение ездить туда каждое воскресенье. Обычно эта дама отправлялась туда не в карете, а верхом на прелестном маленьком муле, украшенном необыкновенно красивой сбруей: о нем, как говорили в округе, все заботились почти так же, как о муле самого папы Римского. Что же сделал убийца? Целых три дня перед воскресной поездкой жены он не давал несчастному животному воды; в воскресенье утром дама пустилась в дорогу в сопровождении мужа, на сей раз также пожелавшего прокатиться за город; она, как всегда, ехала верхом на муле; измученный жестокой жаждой, мул, едва завидев Рону, пустился галопом к воде: он мчался так стремительно, что его невозможно было удержать, и бросился в реку очертя голову – так бросается в озеро загнанный олень, которого преследует свора собак. К несчастью или к счастью – в зависимости от того, на чью сторону станет читатель или читательница: на сторону мужа или жены, – Рона в этом месте течет очень быстро, поэтому мул и сидевшая на нем дама были подхвачены и унесены течением, а так как река здесь – опять же к счастью или несчастью – не только стремительна, но и глубока, то оба почти тотчас же исчезли в волнах, а безутешный муж – горе, видимо, приковало его к берегу – испускал громкие вопли, отчаянно размахивал руками и звал на помощь, втайне надеясь, что никто не придет на его зов.

Его надежда исполнилась. И дама и мул утонули. Муж сильно убивался из-за потери мула, однако в особых обстоятельствах надобно идти на жертвы.

Происшествие это наделало столько шуму, что правосудие заинтересовалось случившимся, и мужа вызвали в суд; однако он, казалось, был так убит горем, проливал столько слез, оплакивая смерть безвременно погибшей жены, что за полным отсутствием улик его отпустили.

Сильвандир очень скорбела об участи несчастной женщины, а Роже пришел в негодование и объявил, что, если бы муж погибшей не был простолюдином, он бы заставил его заплатить за столь гнусный поступок.

Супруги д'Ангилем поспешили покинуть этот город, сулящий несчастье, и уже на следующий день прибыли в Марсель.

Марсель был конечным пунктом их путешествия; Роже и Сильвандир, решившие провести тут некоторое время, остановились в гостинице. С первого же дня по приезде они стали прогуливаться по улице Каннебьер и по Мельянским аллеям; ходили они нежно обнявшись, и прохожие принимали их за новобрачных, которые проводят тут свой медовый месяц, и восхищались тем, как страстно эти молодые люди любят друг друга.

В гостинице, где они жили, в обществе, где они бывали, – словом, везде образцовую чету осыпали похвалами.

– До чего он красив, этот юный дворянин, и как его боготворит жена! – восторгались дамы.

В городе только и говорили что о Роже и о Сильвандир.

Однажды шевалье – он утром уходил куда-то без жены, – возвратившись в гостиницу, сказал Сильвандир, что днем они нанесут визит некоему негоцианту из Сардинии, у которого он, Роже, только что поместил, и весьма выгодно, ненужные ему пока деньги.

Сильвандир спросила у мужа, какое он посоветует ей надеть платье, и шевалье ответил:

– Самое красивое из всех, моя дорогая. Я хочу, чтобы этот чужестранец рассказывал потом у себя дома, что за время своего путешествия не встречал женщины красивее вас.

Таким советам Сильвандир следовала неукоснительно, и это делало честь ее супружеской покорности. Надо сказать, что ее красота в обрамлении тонких кружев и сверкающих бриллиантов была просто ослепительна, и, когда молодая женщина села в портшез, даже носильщики были поражены.

Негоциант из Сардинии жил на Райской улице. Это был высокий старик с седой остроконечною бородкой, которую обычно носили во времена кардинала Ришелье; он походил скорее не на жителя Сардинии, а на еврея, грека или араба и свободно изъяснялся на нескольких языках. Видимо, он с нетерпением ожидал своих гостей, ибо вышел к ним навстречу с лучезарною улыбкой на лице. Отблеск красоты Сильвандир, казалось, падал на всех, кто к ней приближался.

Ничто так не переполняет человека уверенностью в себе, как успех; Сильвандир заметила, какое она произвела впечатление, и была восхитительно мила и любезна.

Шевалье, как и положено галантному мужу, старался как можно лучше оттенить ум своей жены и переводил для него разговор с предметов пустяковых на предметы весьма серьезные.

Молодая женщина с честью выдержала испытание, о котором говорил Буало: она с неизменным успехом пере-

ходила от глубокомысленных суждений к остроумным замечаниям, от забавного к серьезному.

Шевалье просто сиял от гордости; время от времени он кивал головой негоцианту, и это движение можно было передать такими словами: «Сами видите, я говорил вам правду».

А сардинец в ответ только подмигивал, словно желая сказать: «Да, таких женщин не часто встретишь!»

Роже попросил жену перейти на итальянский язык, и она не менее получаса вела разговор на тосканском наречии с чисто римским произношением.

Затем шевалье попросил Сильвандир сыграть что-нибудь на клавесине, и она спела арию из оперы «Орфей», аккомпанируя сама себе.

Когда она кончила, мужчины захлопали в ладоши и снова обменялись красноречивыми взглядами и улыбками.

Купец из Сардинии шепнул несколько слов на ухо д'Ангилему.

– О нет, это невозможно, – отвечал шевалье. – Боюсь, что, несмотря на все мои просьбы, госпожа д'Ангилем никогда на это не согласится.

– Друг мой, что вам сказал наш хозяин? – спросила Сильвандир.

– Пустое, – ответил шевалье.

– А все-таки?

– Он просит о невозможном.

– О чем же именно?

– Он говорит, что видел, как танцуют цыганки в Испании, алмеи в Египте, баядерки в Индии…

– Ну и что же?

– И он утверждает…

– Что именно?

– Он убежден, что вы превосходите грацией всех этих женщин, и уверен, что если бы вы только захотели станцевать менуэт или гавот…

– О! – воскликнула Сильвандир.

– Я же говорил вам, моя дорогая, – сказал Роже, – что это невозможно.

– Однако, мой друг, – вдруг объявила Сильвандир, не желавшая покидать стезю кокетства и обольщения, – однако, окажись у меня хоть какой-нибудь партнер, я бы охотно станцевала менуэт.

– А я-то? Я готов! – воскликнул старик-сардинец.

И он принялся напевать мелодию менуэта Эксоде, а Сильвандир со своим комичным партнером старательно исполняла танцевальные па с восхитительной точностью и грацией.

Успех Сильвандир превзошел все ожидания.

– Скажите, сколько лет вашей супруге? – осведомился сардинский купец, и в голосе его прозвучало неприкрытое восхищение.

– Девятнадцать лет, семь месяцев и пятнадцать дней, – ответил Роже, – ей еще не исполнилось и двадцати, любезный сударь мой, еще не исполнилось и двадцати!

– Рассказывая мне о своей супруге, вы ничего не приукрасили, любезный мой дворянин, – в свою очередь, сказал сардинец, – и похвалы, которые вы ей расточали, нисколько не преувеличены.

– Вы очень любезны, сударь! – воскликнула Сильвандир, обращаясь к купцу и бросая при этом на мужа взгляд, полный признательности.

– Нет, клянусь честью, – продолжал сардинец с недобрым смешком, – вы самая очаровательная дама из всех, каких я до сих пор встречал; у вас прямо восточная красота, вы настоящая жемчужина сераля, истинная гурия, женщина, которой нет цены.

– Мне кажется, за мной весьма галантно ухаживают, правда, в вашем присутствии, мой милый Роже, – кокетливо сказала Сильвандир.

– Нет, моя дорогая, – отвечал шевалье, – вас наконец-то оценили по достоинству, и только.

Гости откланялись; но, провожая супругов до дверей, сардинец пригласил их позавтракать с ним на следующий день на борту тартаны, которая стояла на якоре в открытом море. После завтрака они смогут посмотреть рыбную ловлю: в эту пору косяками шла сардина.

Новое для нее развлечение привело в восторг Сильвандир, и она охотно приняла приглашение; заметив, что муж молчит, молодая женщина с легкой тревогой повернулась к нему.

– А почему вы молчите? – спросила она у шевалье. – Вы отказываетесь?

– Нет, моя дорогая, но я боюсь.

– Боитесь?! Чего?

– Боюсь, что вам может повредить морская прогулка.

– Напрасно боитесь.

– Вам так хочется посмотреть, как ловят рыбу?

– До смерти хочется.

– Я готов сделать все, что вам угодно.

– Вы самый чудесный муж на свете!

– Стало быть, любезный хозяин, до завтра, – сказал шевалье.

– До завтра, – повторила Сильвандир.

– До завтра, – откликнулся негоциант.

На следующий день точно в условленный час, они были у сардинского купца. Небольшая изящная лодка, блестевшая чистотой, уже ждала их в порту, чуть повыше здания таможни. Все трое вошли в лодку, и та направилась к тартане, стоявшей на якоре неподалеку от замка Иф.

Это было чудесное судно, казалось предназначенное для гонок, оно летело по волнам, точно морская птица. Командовал тартаной ее владелец, мужчина лет тридцати или тридцати пяти, привлекавший к себе внимание своим восточным обликом и необычным нарядом. Он говорил только по-итальянски, и это дало Сильвандир новую возможность блеснуть своим языковыми познаниями. У него были красивые глаза, греческий нос, а зубы сверкали как жемчуг.

Все с аппетитом позавтракали; потом гости смотрели, как матросы тянут сети, которые едва не лопались от богатого улова, и тут же условились, что завтра вечером супруги д'Ангилем снова приедут полюбоваться рыбной ловлей при огнях.

Возвратившись в гостиницу, Сильвандир не уставала восторгаться владельцем судна: он, мол, и хорош собой, и силен, и храбр, и прекрасно говорит! А как радушно он принимал гостей, и как послушен ему экипаж: все понимают его с первого слова, знака, жеста!

– Глядя на этого человека, никак не скажешь, что он простой моряк, – твердила Сильвандир с той самой минуты, как вернулась на сушу.

– Никак не скажешь, – согласился шевалье.

На следующее утро Роже вновь посетил сардинского купца; вернувшись, он увидел, что его жена кружится по комнате и чему-то радостно смеется.

– Отлично, – пробормотал шевалье, – она уже влюбилась во владельца судна.

Они должны были отправиться на прогулку только в шесть вечера; но Сильвандир каждые десять минут поглядывала на часы: казалось, она готова передвинуть стрелки вперед. Роже горестно улыбался и покачивал головой, но молодая женщина ничего вокруг не замечала.

Перед самым отъездом было получено разрешение на морскую прогулку от инспектора порта. Роже спросил у сардинского негоцианта, хорошая ли ожидается погода.

– Превосходная! – воскликнула Сильвандир.

А сардинец только выразительно подмигнул шевалье, словно хотел сказать: «Не беспокойтесь, погода будет именно такая, какая нам нужна».

Они втроем уселись в лодку, но так как ветер дул им в лицо, то плыли очень медленно. Уже совсем стемнело, а они только-только миновали остров Помег.

Тем временем на горизонте появились тяжелые тучи, они неумолимо надвигались, как надвигается прилив; сперва тучи окутали луну, затерявшуюся среди этих клубящихся небесных волн, точно огненный остров, но мало-помалу они так плотно заволокли ее своим густым покровом, что свет луны померк.

Море между тем стало совсем зловещим, валы шумно бились о скалы и о берег.

В темноте видны были только огромные полосы поблескивавшей пены: они, как языки пламени, бежали по поверхности воды.

– Господи Боже! – воскликнула Сильвандир. – Кажется, вот-вот разразится буря.

– А что вы скажете о погоде, любезный хозяин? – спросил шевалье у сардинского купца.

– Отличная погода для рыбной ловли! – ответил тот, насмешливо ухмыляясь. – Отличная погода для рыбной ловли!

Сильвандир с удивлением перехватила его злорадный взгляд и не на шутку испугалась.

– Друг мой, что он хочет этим сказать? – спросила она, наклоняясь к мужу.

Роже вздрогнул, ощутив прикосновение этой женщины: ведь прежде он так ее любил и, быть может, все еще продолжал любить.

Он непроизвольно отодвинулся от жены.

– Мне страшно, – прошептала Сильвандир. Шевалье ничего не ответил и только закрыл лицо обеими руками.

Сардинский купец зажег факел, поднялся со скамьи и стоя стал размахивать им в воздухе, потом он погасил факел.

Ветер дул, жалобно воя; могло показаться, что стонут люди. В эту минуту молния прорезала небосвод, и при свете молнии они увидели тартану, она неслась по ветру примерно в пятистах шагах от них.

Вскоре они различили в темноте приближавшийся к ним баркас; в нем было пять человек.

Двое сидели на веслах, двое стояли на носу, а пятый устроился на корме.

В человеке на корме Сильвандир узнала владельца тартаны.

На его лице, которое накануне показалось ей таким красивым, сейчас было какое-то мрачное и зловещее выражение.

– Причаливайте! – крикнул он по-итальянски. Через минуту борт лодки ударился о борт баркаса.

– Господи Боже! – воскликнула Сильвандир, поняв по виду вновь прибывших, что, вопреки ее ожиданиям, речь идет отнюдь не о морской прогулке. – Господи Боже! Что происходит? Что нас ждет?

Не успела она произнести эти слова, как оба гребца и два человека, стоявшие на носу баркаса, пригнули в лодку; и пока гребцы крепко держали шевалье или делали вид, будто крепко его держат, двое других схватили Сильвандир поперек туловища и потащили за собой.

– Роже! – закричала молодая женщина, – Роже! На помощь! Ко мне! Роже, спаси меня, спаси меня, спаси свою Сильвандир!

Шевалье непроизвольно, не отдавая себе в этом отчета, попытался вырваться, но двое мужчин удержали его: правда, если бы он очень захотел, то справился бы с каждым одной рукой и оба полетели бы в море.

Однако он, без сомнения, не считал, что настало время применить всю свою силу, и опять сел, испустив тяжкий вздох и проведя ладонью по лбу.

Бледную от ужаса Сильвандир между тем перенесли из лодки на баркас.

– Роже! Роже! – крикнула она в последний раз. – Роже, ко мне! Я умираю!

И она лишилась чувств.

Услышав отчаянный вопль жены, шевалье чуть было не бросился к ней на помощь, чтобы вырвать ее из рук похитителей, но он тут же вспомнил о всех страданиях, которые вытерпел по вине этой женщины, о всех оскорблениях, которым подвергался, и о той чаше позора, которую испил до дна…

Он только на миг поднял голову и тотчас же опять закрыл лицо руками.

– Плывите в открытое море! – крикнул сардинский купец.

Владелец тартаны принял Сильвандир из рук похитивших ее людей, гребцы взялись за весла, и баркас быстро понесся по волнам.

– Addio, padrone[16]! – крикнул владелец тартаны сардинскому купцу.

– Addio! – отозвался тот со своей обычной усмешкой. Шевалье бросил последний взгляд на баркас; он еще успел увидеть ее белое платье, выделявшееся в ночи; но, так как баркас с сидевшими в нем людьми почти совсем уже скрылся во мраке, ему показалось, будто это лишь бледное пятно, скользящее по поверхности моря.

А через несколько мгновений и это пятно исчезло в тумане, теперь на море больше ничего не было видно.

Старик-сардинец взялся за весла и начал грести, лодка поплыла в противоположную от баркаса сторону, то есть к берегу; старик греб с такой силой, какую никак нельзя было угадать в столь худом и тщедушном человеке.

– Ну вот, – сказал он шевалье, после того как в полном

---

[16] Прощай, хозяин! (*ит.*)

молчании греб минут десять, – ну вот, вы и свободны, господин д'Ангилем. Ведь все произошло именно так, как вам хотелось? Довольны ли вы нами?

– Да, – мрачно отозвался Роже, – да, я свободен, но ценой преступления!

– Ба! Преступления! – воскликнул старик. – Зачем так мрасно смотреть на весси! Это всего лишь ловкая сутка, и только. Ваша дама плывет теперь прямехонько в Тунис; у владельца тартаны был заказ от какого-то индийского князя, тот жаждал получить в жены француженку; вы устали от своей супруги, так что все устроилось как нельзя луссе.

Шевалье в последний раз взглянул на горизонт и при свете луны увидел, как в белесом тумане тартана быстро мчится по направлению к Тунису.

– А теперь нам впору подумать и о себе, – сказал старик, – ибо мы приближаемся к земле; расорвите-ка быстренько свою одежду, нырните несколько раз в море, а я тем временем расобью одну или две скамейки на нашем селноке.

Роже покорно выполнил все, что потребовал купец; ветер крепчал и стремительно гнал теперь челнок к берегу. Около часа ночи они достигли порта.

Еще издали, когда стала видна Круглая башня, сардинец принялся громко вопить, рыдать, стенать, и это вывело шевалье из того страшного оцепенения, в котором он все еще пребывал.

– O povero! О несчастный! O povero marito[17]! – отчаянно вопил старик. – Ohime! Ohime[18]!..

Эти истошные крики, повторявшиеся на все лады, переполошили таможенников; они вышли на берег из кордегардии, а вокруг столпилось несколько запоздалых прохожих.

– Что случилось? – крикнул старший таможенник.

– Что случилось? Что случилось? Ah! Che sciagure[19]! Подумать только, какая красивая женщина! O! Che peccato[20]!

Старик по-прежнему испускал дикие вопли, а лодка между тем приближалась к берегу.

– Ну что же все-таки произошло? – кричали столпившиеся там люди. Выбравшись на сушу, сардинец рассказал, что, когда они уже подплыли к тартане, куда супруги д'Ангилем и он сам направлялись, чтобы принять участие в ночной рыбной ловле, какая-то шлюпка, гонимая бурными волнами, врезалась в их лодку с такой силой, что сломала на нем скамейку и руль; все это произошло так неожиданно, что от сильного толчка госпожа д'Ангилем, стоявшая в лодке, покачнулась и упала в море.

– Господин д'Ангилем, – продолжал свой рассказ старик, – не раздумывая, кинулся в воду вслед за зеною, но все было напрасно. Бурные волны взлетали чуть не до самого неба, а оно было черное от туч… Несчастная зенщина так и не появилась на поверхности.

---

[17] О несчастный муж! (*ит.*)
[18] Горе мне! Горе мне!.. (*ит.*)
[19] Ах! Какая беда! (*ит.*)
[20] Ох! Какая жалость! (*ит.*)

Стоило поглядеть на исступленные жесты сардинца, на яростную мимику его лица! Стоило послушать, как он расцвечивал свой рассказ всеми красотами итальянского красноречия!

По его словам, шевалье д'Ангилем нырял в море шесть раз. Он всякий раз пытался удержать его за полы кафтана, но тщетно; наконец, когда несчастный муж уже собирался нырнуть в седьмой раз, он ухватил его поперек туловища, вцепился в него и силой удержал в лодке, крича ему в самое ухо, что госпожа д'Ангилем подобрана шлюпкой. В конце концов шевалье лишился чувств, а он, несчастный старик, с трудом привел лодку в порт. Ни шлюпку, ни людей, в ней находившихся, он больше не видел и не знает, кто они такие: бурные волны стремительно унесли их в море, и они тотчас же пропали из виду.

Все жалели шевалье д'Ангилема; самые чувствительные даже прослезились. Роже был мрачен, нем, неподвижен. Его подавленное состояние приписали отчаянию, граничившему с помешательством; в городе и прежде питали к нему симпатию, а теперь все глубоко сочувствовали несчастному молодому человеку – до такой степени его отчаяние казалось искренним, а горе беспредельным. Будь он человек бедный, для него стали бы собирать деньги.

Возвратившись в гостиницу, шевалье заперся у себя в комнате. Его отвел туда сам хозяин, он и рассказал всем об ужасном ночном происшествии. Роже попросил оставить его наедине с безысходным горем; поэтому к нему никто не входил, кроме негоцианта: тот явился наутро, в десять часов, чтобы осведомиться, как безутешный супруг провел ночь.

Шевалье запер дверь на задвижку и отсчитал сардинцу пятьсот пистолей, а тот в обмен вручил ему протокол, подписанный четырьмя именитыми горожанами; в этой бумаге во всех подробностях было рассказано об ужасных событиях минувшей ночи, которые привели к гибели госпожи д'Ангилем.

Роже отослал эту бумагу метру Буто, сопроводив ее письмом, полным мрачных размышлений о превратностях судьбы.

Он поставил также в известность о только что понесенной им утрате – о смерти своей обожаемой супруги – маркиза де Кретте, д'Эрбиньи, Кло-Рено, Шастелю.

Затем он отправился в Ангилем, куда и прибыл через двенадцать дней после исчезновения Сильвандир.

А теперь мы должны чистосердечно признаться в том, о чем наши читатели, без сомнения, уже догадались.

Шевалье Роже Танкред д'Ангилем просто-напросто продал свою жену тунисскому корсару, чьи интересы во Франции представлял сардинский купец.

И надо сказать, что для провинциала наш герой действовал весьма изобретательно.

XXVII

О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ УЗНАЛ, ЧТО ЕГО ОТЕЦ НЕ ПЕРЕДАЛ МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БЕЗРИ ПИСЬМО, КОТОРЫМ РОЖЕ ВОЗВРАЩАЛ ЕЙ СВОБОДУ, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Нетрудно понять, что барон д'Ангилем, любивший свое родовое гнездо и немало гордившийся им, сразу же после

получения богатого наследства пожелал обновить и улучшить свое владение. Как только сыграли свадьбу Роже, как только барон разделил вновь приобретенное состояние между собой и сыном и возвратился к себе в Ангилем, он тотчас же принялся за перестройку замка, о которой уже давно мечтал, но к которой не мог приступить ранее за недостатком средств.

Первым из новшеств была большая кленовая аллея: барон велел насадить ее перед своим жилищем, и за два с половиной года деревья окрепли и стали очень красивы; между стволами кленов росли бузина и орешник; и теперь в конце это аллеи длиною почти полкилометра возвышался родовой замок д'Ангилемов, над которым возвели еще один этаж, увенчав его открытой верандой; мода на такие веранды начала проникать к тому времени даже в окрестности Лоша.

Нечего и говорить, что, перестраивая замок, чтобы придать ему более внушительный вид и сделать его красивее, озаботились сохранить в неприкосновенности знаменитую сторожевую башню.

Когда строительные работы были закончены, барон решил, что теперь самое время округлить земельные владения: он прикупил соседнее болото, тянувшееся на два льё в длину, правда, оно не приносило никакой видимой пользы, но зато там можно было зимою вволю пострелять диких уток и болотных куликов; кроме того, после этой покупки владение барона приобретало те же размеры, какие были у него в лучшие времена; затем, совершая одну сделку за другой, барон д'Ангилем прибрал к рукам все окрестные рощи, которые так долго служили предметом

его вожделений, и теперь он мог с полным правом говорить: «мои леса», «мои болота», «моя равнина». Правда, надо отдать ему справедливость, он не злоупотреблял этим правом и потому не казался смешным.

Разросшееся имение потребовало большего числа слуг.

Теперь вместо одного арендатора у барона их стало два. В конюшне замка стояли уже три лошади и среди них знакомый нам Кристоф: возвращаясь из Парижа, барон захватил его с собой, и поэтому конюшня замка превратилась отныне в некое подобие Дома инвалидов, возведенного в столице для ветеранов, принимавших участие в битвах при Стенкеркене и Берген-оп-Зооме; наконец, к двум служанкам, девицам Мари и Готон, и к егерю Лаженесу прибавилось еще двое слуг мужского пола.

Мы еще не сказали об аббате Дюбюкуа; став ненужным в роли наставника, он был возведен в звание библиотекаря замка и теперь проводил все свое время у книготорговцев Лоша, пополняя книгохранилище поместья, дотоле состоявшее из двухсот сорока разрозненных томов.

Таковы были новшества и преобразования, которые успел пока осуществить барон д'Ангилем, но уже и теперь он слыл самым богатым землевладельцем в округе.

Триста тысяч ливров, которые он сохранил для себя из состояния, полученного после смерти виконта де Бузнуа, приносили ему миллион поклонов в год, и при этом поклонов самых почтительных, какие только отвешивали в его провинции.

Баронесса д'Ангилем осталась совсем такой же, какой была раньше, иначе говоря, она по-прежнему могла служить законченным образцом превосходной жены и пре-

восходной матери; правда, к шести платьям, составлявшим весь ее гардероб, прибавились еще два новых платья, заказанные в Париже; однако в особо торжественных случаях она и теперь сама месила тесто и пекла пироги, причем, надо сказать, пекла она их великолепно, и собственноручно вытирала красивые японские тарелки, которые в свое время так ловко и старательно вытирал Роже.

Мы недаром вспомнили о Роже: его превосходный отец и нежная мать ни на минуту не забывали о сыне, которому были обязаны своим благосостоянием и новым положением в обществе; когда они оставались вдвоем, а случалось это очень часто, то достаточно было одному из них упомянуть о своем возлюбленном сыне, и он тотчас же становился единственным предметом их беседы; и все же, надо прямо об этом сказать, бывали минуты, когда барон и баронесса упрекали Роже в неблагодарности.

Дело в том, что родители шевалье так и не узнали о том, что он так долго пробыл в заточении. Маркиз де Кретте справедливо полагал, что подобное известие убьет барона и баронессу, а так как они, постоянно живя в провинции и не имея никаких связей в Париже, ничем не могли помочь друзьям д'Ангилема, хлопотавшим за него, то маркиз решил избавить родителей Роже от бессмысленных тревог. Поэтому он сообщил им, что, облеченный секретною миссией, шевалье отбыл в Голландию, что никто не должен знать о его местопребывании, а потому они скорее всего долгое время не будут получать от сына никаких известий. Надо сказать, что уже в ту эпоху власти завели милый обычай, который столь счастливо сохранился и до наших дней, а именно обычай вскрывать частные письма с со-

вершенно невинной целью – узнать, что в них содержится. От Роже не было вестей целых пятнадцать месяцев, но благодаря письму Кретте родители шевалье полагали, что они понимают причину этого; одного только они никак не могли понять: как мог их сын, надолго уезжая из Парижа в Гаагу, не завернуть по дороге в Лош.

Выйдя на свободу, шевалье тотчас же написал в Ангилем, но, предупрежденный обо всем Кретте, он не стал выводить своих родителей из заблуждения. Легко догадаться, с какой радостью было встречено его письмо. Однако после столь долгой разлуки барону и баронессе не терпелось повидать сына. Движимая материнской нежностью, баронесса настойчиво приглашала шевалье приехать в Ангилем и пожить у них в замке хотя бы месяц; но, обремененный своими тяжкими заботами, Роже никак не мог найти для этого время и удовлетворить вполне понятное желание своих славных родителей.

Уезжая в Марсель, шевалье написал им, что он вместе с женою отправляется в поездку по Провансу, что на обратном пути он заедет в Ангилем и погостит там месяц или два.

С тех пор в замке готовились достойно принять будущего наследника, торжественно встретить блудного сына. В самом красивом из покоев работали мастеровые, из Лоша доставили новую мебель – словом, делали все, чтобы молодая жена шевалье д'Ангилема по приезде в замок ни в чем не нуждалась.

Вот почему, когда в кленовой аллее показалась почтовая карета, которая неслась с такой быстротою, какая неведома в провинции, во всех закоулках замка послышался

крик: «Шевалье! Шевалье!» И каждый занял свой боевой пост.

Карета стремительно приближалась и наконец остановилась у входа. Дверца экипажа распахнулась, и Роже упал в объятия родителей, плакавших от радости; затем он перешел в объятия бывшего своего наставника, аббата Дюбюкуа.

В нескольких шагах от них стояли старые слуги, которых привела сюда привязанность, и новые слуги, которых привело сюда любопытство.

И те и другие нашли, что их молодой господин – вельможа хоть куда. Между тем Кастор вылез из будки, он заливался лаем и метался так, что едва не порвал цепь.

После первых проявлений радости баронесса вдруг заметила отсутствие своей невестки. Она заглянула внутрь кареты, обнаружила, что там никого нет, и воскликнула:

– А где же твоя супруга? Где она?

Роже непроизвольно покраснел, и непритворная слеза выкатилась из его глаз.

Поспешим сказать, что выкатилась всего лишь одна слеза.

– Меня постигла большая беда, матушка! – сказал Роже. – Я потерял госпожу д'Ангилем… Но войдемте в дом, я вам все расскажу.

Мы не беремся поведать читателю, какими громкими возгласами и с каким горестным удивлением был встречен в гостиной рассказ шевалье о страшном происшествии, случившемся в Марселе. Баронесса едва не лишилась чувств и все время повторяла на манер Жеронта:

– Какой черт понес его на эту галеру[21]?!

Однако Роже довольно быстро утешил ее: для того чтобы совершить сие великое чудо, он просто отвел свою почтенную родительницу в сторонку и сказал ей всего несколько слов:

– Матушка, Господь Бог, которому ведомо все, знает, что госпожа д'Ангилем не принесла мне счастья; к сожалению, в обществе знают и то, что она не всегда выказывала то уважение к нашему имени, какое должна была выказывать; так что приключившаяся с нею беда всего лишь заслуженная кара.

Шевалье приходилось за последнее время немало лгать, но, по крайней мере, на сей раз он говорил правду.

Роже больше трех лет не был в Ангилеме; однако за время своего отсутствия он ничего не забыл, в его душе еще жили приятные воспоминания, и каждое из них было связано с его любовью к мадемуазель де Безри. Более ранних воспоминаний у него не сохранилось; ему даже казалось, что он и жить-то начал лишь с того дня, когда впервые увидел Констанс.

Баронесса, как мы уже говорили, приготовила для сына самые лучшие покои в замке, но Роже попросил, чтобы ему позволили жить в его прежней спаленке. Ведь именно там, как помнит читатель, ему явилась и приказала остаться в миру юная девушка, которую он считал умершей. И теперь

---

[21] *...повторяла на манер Жеронта...* – Жеронт – персонаж итальянской комедии. Со временем его стали изображать скупым, упрямым и крайне недоверчивым стариком. Таким он предстает в комедиях Мольера «Лекарь поневоле» и «Плутни Скапена». В «Плутнях Скапена» Жеронт повторяет фразу, относящуюся к его сыну: «Кой черт понес его на эту галеру?»

он снова подошел к картине, изображавшей Христа, опустился перед ней на колени, как часто делал в ту, уже давнюю, пору, и начал горячо молиться, как молился еще ребенком; но тогда он был еще совсем юн, чист, полон иллюзий и веры, а главное, не совершил еще того проступка, который, что ни говори, сильно смахивал на преступление.

Шевалье лег в постель, но долго не мог уснуть. В конце концов сон пришел, но вместе с ним пришли и сновидения: Роже мерещилось, будто картина вновь поворачивается вокруг своей оси, как тогда, в юности, но только на сей раз ему являлась не Констанс, а Сильвандир, она сходила с пьедестала, направлялась прямо к нему и, холодная, оледеневшая, ложилась рядом. Роже трижды пробуждался и трижды, засыпая, видел все тот же страшный сон.

Назавтра он поднялся с рассветом, пошел на конюшню и сам оседлал Кристофа; он испытывал потребность прогнать мысли о Сильвандир с помощью иных, более нежных воспоминаний и потому поехал по дороге к тому месту, где однажды, в пасхальный вечер, он обнаружил карету виконта де Безри, которая опрокинулась и увязла в болотистой почве; тогда, шесть лет назад, Роже с триумфом привез Констанс в свой замок, привез на том же самом Кристофе, на котором сидел и теперь.

Шевалье сразу узнал памятное для него место; ему казалось, что их встреча с Констанс произошла только накануне, а все то, что случилось с ним потом, – лишь сон.

В замок он вернулся уже в несколько более ровном и спокойном расположении духа. Воспоминания этого утра

вытеснили ночные кошмары, Констанс одержала верх над Сильвандир.

Во время завтрака шевалье стал расспрашивать родителей о соседях, но, как все люди, которые упорно думают лишь об одном человеке, он так и не решился произнести вслух милое имя. Роже все время надеялся, что его отец и мать сами заговорят о мадемуазель де Безри, однако ее имя так и не слетело с их уст.

По правде говоря, Роже ждал этого не только с нетерпением, но и с тревогой. Каждую минуту он ожидал услышать от барона, подробно рассказывавшего обо всем, что произошло в их провинции, роковую фразу о том, что мадемуазель Констанс де Безри вышла замуж за графа де Круазе или за кого-нибудь другого.

Но, к великому удивлению шевалье, барон и баронесса словно дали зарок, и ни тот, ни другая не заговаривали о Констанс.

После трапезы Роже вновь оседлал Кристофа. На сей раз конь двинулся в путь весьма неохотно; вспомнив своего всадника по многим его прежним привычкам, которых тот отнюдь не утратил, Кристоф начал думать, что любовные поездки, чего доброго, опять возобновятся. Ну а ведь Кристоф состарился, как и все другие персонажи нашей повести: ему, что ни говори, стало на целых шесть лет больше.

На этот раз шевалье направился к месту, которое его конь еще хорошо помнил. Мы говорим о селении Шапель-Сент-Ипполит, куда Роже и Констанс попали, убежав из замка; именно там достопочтенный пастырь так добродетельно их предал.

Роже надеялся, что священник, узнав его, непременно заговорит с ним о Констанс.

Увы! Оказалось, что тот уже умер и заменен другим служителем церкви, присланным из Лорьяна. Новый пастырь в глаза не видел Констанс, а потому было просто невероятно, если б он вдруг заговорил о ней.

Свою служанку новый священник привез с собою из того же Лорьяна, и поэтому не приходилось надеяться, что она более осведомлена, чем ее хозяин, к тому же она изъяснялась только на нижнебретонском наречии, в котором Роже упражнялся очень мало; кстати, ученые позднее установили, что это древнекельтское наречие.

Так что шевалье возвратился в замок, зная не больше, чем знал, уезжая оттуда.

За обедом по-прежнему никто не упоминал о Констанс. Роже хранил молчание и явно был чем-то озабочен; мысленно он подбирал, отбрасывал и вновь подбирал слова, чтобы приступить, наконец, к важному для него разговору. И только после множества попыток, не встретивших никакой поддержки со стороны родителей, он отважился и, силясь улыбнуться, спросил:

– А как… как наша былая вражда с семейством де Безри? Вы мне еще ничего об этом не рассказали, отец.

– Она поутихла, тем более что мы жестоко отомщены, – ответил барон.

– Как именно?! – воскликнул Роже, вздрогнув всем телом при мысли, что Констанс, быть может, умерла или неудачно вышла замуж.

– Представь себе, – продолжал барон, не замечая, что его жена с тревогою смотрит на сына, – представь себе,

Констанс так и не нашла себе мужа и до сих пор сидит в девицах.

Судорожная дрожь все еще пробегала по телу Роже. Он то краснел, то бледнел, попытался подняться с кресла и тотчас же вновь опустился в него. На глазах у шевалье выступили слезы, и он, испустив тяжкий вздох, уронил голову на грудь.

– Да, – заговорила баронесса, – вот уже год, как она уехала в монастырь в Лоше, и никто толком не знает, не подстрижется ли она в монахини вопреки уговорам родителей.

Итак, когда Роже думал, что потерял Констанс, он решил стать иезуитом. Итак, когда Констанс потеряла Роже, она решила стать монахиней.

Как видно, Господь Бог – единственное прибежище в несчастной любви.

– Она не замужем, – чуть слышно прошептал Роже, – она не замужем и, без сомнения, все еще любит меня.

– А ведь как она важничала в свое время! – воскликнул барон, не подозревая того, что творится в эти минуты в душе его сына.

– Вернее сказать, – подхватила баронесса, – как важничали в свое время ее родители, ибо сама Констанс, Бог тому свидетель, всегда была добрая девушка, просто ангел, я любила ее как родную дочь.

Шевалье быстро взглянул на баронессу, безмолвно благодаря ее.

– А что… что она сказала, услышав о моей женитьбе? – спросил Роже, немного поколебавшись.

– Право, мы ничего об этом толком не знаем, – с неко-

торым замешательством ответил барон. – Ведь после твоего отъезда мы ни разу не виделись с семейством Безри.

На этом разговор прекратился; однако шевалье стал еще задумчивее, чем прежде; все встали из-за стола, не прибавив больше ни единого слова.

После обеда Роже взял ружье, отвязал Кастора, который так обрадовался прогулке со старым хозяином, что, казалось, разом обрел прежнюю силу и резвость, и решил, как он это часто делал, побродить возле кроличьего заказника. Однако ведь прошло уже целых три года, прошло уже столько дней, а за это время случилось столько событий! На каждом шагу шевалье то вдруг обуревала тоска о былом, то начинали мучить укоры совести; за каждым кустом он страшился увидеть Сильвандир и горевал оттого, что там не будет Констанс.

Приезд шевалье д'Ангилема был радостно встречен во всей округе; сожаления по поводу внезапной гибели молодой баронессы длились недолго: ведь в этих местах ее почти никто не знал.

Впрочем, была еще одна веская причина, почему тягостное впечатление, оставленное несчастным случаем, о котором Роже поведал своей матери, а та – всем остальным, скоро изгладилось из памяти окружающих: сделавшись вдовцом, шевалье д'Ангилем вновь стал свободен, ему исполнилось всего лишь двадцать два года, он был еще красивее, чем прежде, в те времена, когда его называли «красавец Роже» или «красавец Танкред». И наконец, шевалье владел теперь огромным состоянием – не считая того, что должно было достаться ему после смерти родителей и что на низменном жаргоне, именуемом речью деловых

людей, зовется «радужными надеждами», – шевалье, повторяем, владел самолично состоянием, приносившим ему полновесных пятьдесят тысяч ливров дохода ежегодно.

Так что едва ли не каждая мать семейства мало-помалу вновь возвращалась к заветной мечте: женить Роже на своей дочери.

Вот почему он был теперь героем охот, балов и празднеств, но героем, увы, всегда печальным! Надо сказать, что на этих веселых сборищах он иногда встречал человека еще более печального, чем он сам: то был виконт де Безри. Всякий раз шевалье спешил отойти от него подальше, ибо вид старика, чья гордыня и кичливое упрямство были первопричиной всех бед, пережитых им, Роже, причинял ему душевную боль и будил множество горестных воспоминаний.

Однажды на охоте шевалье встретил виконта возле того самого заказника для кроликов, где почти три года назад они так бурно повздорили и где несколько позднее он, полный надежд и иллюзий, прощался перед своим отъездом с Констанс.

Роже поклонился старику и проводил его теплым взглядом, ибо, хотя виконт и был виноват перед ним, он все-таки был отцом Констанс.

Виконт де Безри шел прямо через луг, засеянный люцерной, стремясь избежать встречи с шевалье д'Ангилемом, он внезапно передумал и направился прямо к молодому человеку.

– Господин д'Ангилем, – сказал он ему, – ради Бога, скажите мне сами, ибо я хочу услышать это из ваших уст: женаты вы или нет?

– Я вдовец, милостивый государь, – вздрогнув, ответил Роже.

– Тогда прошу вас, сударь, поедемте со мною, – продолжал виконт, – и вы спасете все наше семейство от отчаяния. Моя дочь удалилась в монастырь Непорочного Зачатия и теперь глуха ко всем нашим просьбам, она утверждает, будто мы обманули ее, считает, что вы по-прежнему холостой, и прибавляет, что вы не освободили ее от данного вам слова, а посему она не может принадлежать никому, кроме вас; вот она и решила посвятить себя Господу Богу… Наша милая, наша бедная девочка теперь совсем как помешанная: уже целых два года виконтесса да и я сам не понимаем ее поступков.

Шевалье выронил из рук ружье, и виконту показалось, что молодой человек вот-вот лишится чувств.

– Увы! Увы! – проговорил виконт, и сам взволнованный до слез. – Все это тяжким бременем обрушилось на нас, господин д'Ангилем, мы и впрямь глубоко несчастны.

Роже почувствовал, что у него подкашиваются ноги.

– Простите меня, виконт, и простите Констанс! – воскликнул он. – Кажется, я догадываюсь об истине. Позвольте мне, прежде чем поехать с вами, ненадолго заглянуть в Ангилем: мне надо кое о чем спросить отца. А потом я весь к вашим услугам. В котором часу прикажете быть у вас завтра в Безри?

– Лучше уж ожидайте меня в Ангилеме, – отвечал виконт. – Завтра я сам заеду за вами по пути…

– Буду вас ждать.

– Но только помните, ваше сегодняшнее обещание не должно оказаться пустыми словами, господин д'Ангилем.

Стало быть, я рассчитываю на вас, не так ли? – продолжал виконт с ласковой настойчивостью, ибо он опасался, не живет ли до сих пор в душе его молодого соседа старая обида, которую он сам ему в свое время нанес.

Шевалье молча кивнул и дружески помахал рукою, потом повернулся и зашагал по дороге в Ангилем. Отойдя на сотню шагов, он оглянулся и увидел, что старик сидит прямо на траве, не шевелясь и уронив голову на грудь: виконт походил на статую Смирения.

Два часа спустя Роже возвратился в Ангилем.

– Батюшка, – сказал он барону, собиравшему абрикосы в саду, – батюшка, очевидно вы не передали мадемуазель де Безри письмо, которое я просил вас вручить ей: в нем я извещал ее о своей женитьбе…

Захваченный врасплох, барон д'Ангилем покраснел и не ответил ни слова. Замешательство отца, которого он глубоко почитал, отозвалось горьким упреком в душе шевалье. Поэтому он бережно взял руки барона в свои и воскликнул:

– Успокойтесь, дорогой отец! Ваш поступок обернулся для меня благом.

– Признаюсь, милый Роже, – сказал барон, – я действительно не отдал Констанс твоего письма; ведь ты не сообщил мне его содержания, и я опасался, что в весьма трудных обстоятельствах, в каких мы тогда оказались, злополучное это послание принесет больше вреда, нежели пользы.

– Итак, это письмо…

– Оно лежит у меня наверху.

И барон в сопровождении Роже направился в замок,

поднялся к себе в комнату, достал роковое письмо из дубового ларца, где оно, сильно пожелтевшее, но так и не распечатанное, хранилось до сих пор, и вручил его сыну.

– О, теперь я все понимаю! – вскричал шевалье. – Я ведь просил Констанс верить только моим собственным словам или тому, что написано моей рукою, вот она и не верила ничему, что не исходило прямо от меня, она терпеливо ждала, чтобы я освободил ее от данного мне слова. И она ждала бы этого до самой смерти! О, возвышенная душа! Как она меня любила!

Роже взял письмо и пошел к себе в комнату, чтобы в одиночестве, без помех поразмыслить над тем, что уже произошло, и над тем, что еще только могло произойти.

XXVIII

О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ РОЖЕ Д'АНГИЛЕМ И МАДЕМУАЗЕЛЬ КОНСТАНС ДЕ БЕЗРИ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ И ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ОНИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ, ВЛЮБЛЕНЫ ДРУГ В ДРУГА, И О ТОМ, В КАКОЕ СМЯТЕНИЕ ЭТА ЛЮБОВЬ ПОВЕРГЛА РОЖЕ

Шевалье провел очень тревожную ночь. Ему все время снилось, будто висевшая на стене картина поворачивается вокруг своей оси и на этот раз оттуда появлялась Констанс; однако когда она ступала на пол и приближалась к его постели, на ее пути внезапно возникала Сильвандир и с угрожающим видом вставала между Констанс и Роже, так что несчастные молодые люди, несмотря на все усилия, никак не могли взять друг друга за руки.

Хотя Роже никогда не верил в сны, этот сон настолько

соответствовал действительному положению вещей и казался таким пророческим, что тягостное ощущение, вызванное им, не прошло и утром.

Около восьми часов в замок прибыл верхом старый господин де Безри. Шевалье тотчас же приказал оседлать Кристофа, ибо еще накануне догадался, что они вместе с виконтом отправятся в Лош, где был расположен монастырь. Именно в этот город они и направились.

Всю дорогу Роже думал о том, что вскоре увидит Констанс, и временами у него мучительно сжималось сердце, и он невольно сдерживал коня и при этом так бледнел, что могло показаться, будто он сейчас упадет. И тогда виконт де Безри тоже останавливался и с тревогой глядел на своего спутника; однако шевалье тотчас же овладевал собой и продолжал путь.

Вскоре показался Лош. Роже никак не мог поверить, что среди этого нагромождения домов есть дом, где находится Констанс. Роже никак не мог поверить, что через полчаса, через четверть часа, через пять минут он снова встретится с той, которую не видел почти три года, причем все это время он думал, что они разлучены навеки.

Виконт и шевалье въехали в город, потом добрались до нужной им улицы и постучали в ворота монастыря. Привратница отворила калитку. Виконт де Безри сказал, что хочет повидать свою дочь, и привратница самым будничным тоном ответила:

– Пожалуйста, господин виконт, пройдите в приемную залу, вашу дочь сейчас предупредят.

Это был самый простой, самый обычный ответ, и тем не менее он заставил шевалье вздрогнуть: Роже невольно

ожидал, что им могут сказать, будто Констанс уже нет в монастыре или, того хуже, будто она умерла, как ему в свое время сказали в другом монастыре, в Шиноне.

Они вошли; какая-то монахиня проводила их в приемную и оставила вдвоем. Виконт и шевалье не обменялись ни единым словом; отец Констанс приблизился к решетке, а молодой человек остался на месте, его почти не было видно в полутемной зале.

Через несколько минут дверь отворилась и вошла Констанс в белом одеянии, она медленно и почти бесшумно направилась к решетке.

Девушка осунулась и похудела, но стала еще красивее и грациознее, чем прежде; казалось, все земное сгорело в пламени ее любви и она из страдающей женщины превратилась в неземное создание, в ангела, готового унестись к небесам, дабы вкушать там вечное блаженство.

Внезапно подняв глаза, Констанс встретилась взглядом с шевалье. Она замерла, пошатнулась, издала громкий вопль. Роже испугался, что она может упасть, он бросился к ней, просунул обе руки между прутьями решетки и воскликнул:

– О Констанс! Констанс! Вы сущий ангел, но сможете ли вы когда-нибудь простить меня?

– Это он! – вскрикнула девушка. – Да, конечно, это он! – Потом, молитвенно сложив ладони и возведя очи горе, она проговорила:

– Благодарю тебя, Господи! Стало быть, я не напрасно верила, не напрасно надеялась. Вот он и вернулся.

– И тем не менее он и в самом деле был женат, – вмешался виконт де Безри, хотевший доказать дочери, что он ее не обманывал.

– Женат?! – вырвалось у Констанс. – Женат? Это правда, Роже?

– Увы! – ответил шевалье. – Я был вынужден уступить и подчиниться необходимости; вот письмо, которое я написал в ту роковую пору: мой отец, без сомнения, по воле самого Неба, не передал его вам.

– Тогда зачем же вы пришли сюда, Роже?

– Сказать, что я… свободен… и низко поклониться вам за вашу самоотверженную преданность.

– Вы свободны, Роже? Вы сказали, что теперь свободны?

– Да, свободен, – чуть слышно прошептал шевалье.

– Батюшка! – воскликнула Констанс. – Батюшка, я хочу уехать отсюда! О Господи Боже, Господи Боже, я просила у тебя смерти! А теперь, о Господи, я так хочу жить: Роже свободен!..

Каждое слово девушки, точно кинжал, вонзалось в самое сердце шевалье. Он повернулся к виконту де Безри и попросил разрешения несколько минут побеседовать с Констанс.

Старик был бесконечно счастлив, что дочь, которую он уже считал навеки потерянной, будет ему возвращена; он тотчас же согласился на просьбу шевалье и даже вышел из приемной.

Едва только дверь за ним притворилась, Роже схватил руку Констанс и покрыл ее поцелуями.

– Верите ли вы, Констанс, что, женившись, я поступил так, лишь покоряясь крайней необходимости? – спросил он. – Скажите, вы и вправду меня прощаете?

– Я прощаю вас, Роже, и люблю еще больше, чем пре-

жде, – отвечала девушка. Потом она внезапно умолкла и воскликнула закрыв лицо руками: – Да что ж это я делаю?! Говорю вам о своем счастье и даже не вспоминаю о вашей умершей жене, этим я наношу оскорбление ее памяти, и бедняжка, должно быть, проклинает меня.

Шевалье затрепетал и только тяжко вздохнул.

– Вы жалеете о понесенной вами утрате, Роже, – продолжала Констанс, – потому что ваша жена, без сомнения, была хороша собою, была гораздо красивее меня! Впрочем, это и нетрудно: достаточно только взглянуть на меня… Но зато она не могла любить вас так, как люблю я, уж в этом-то я уверена.

– Вы не ошиблись, Констанс, – сказал шевалье. – И тем не менее я должен соблюсти приличия. Ведь существует общепринятый срок траура.

– Конечно, друг мой, конечно. Впрочем, ожидание, озаренное надеждой, не так уж тягостно, вот когда ждешь с отчаянием в душе, это поистине ужасно. Теперь, когда вы вернулись ко мне после трехлетней разлуки, я совершенно уверена в вас, Роже.

И Констанс протянула ему руку с такой ангельской доверчивостью, что, глядя на нее, всякий удивился бы тому, какой возвышенной может стать женщина в своем смирении и преданности.

В эту минуту в приемную возвратился виконт де Безри.

Молодые люди со светлой улыбкой смотрели друг на друга: они уже сказали все, что хотели сказать, а ведь они не виделись целых три года. Однако в трех словах «я люблю тебя» заключен целый мир, и если они произнесены, этим уже сказано все, а если человек хочет услышать

что-либо новое, надо, чтобы ему повторили эти слова еще раз.

– Ну что же, Констанс, едем? – спросил виконт. Девушка посмотрела на Роже, как будто спрашивая, должна ли она и впрямь покинуть монастырь.

– Да, сударь, – сказал шевалье виконту де Безри, – да, ваша дочь согласилась вернуть всем нам счастье, которого мы были лишены из-за разлуки с нею.

Констанс прижала руки к груди и глубоко вздохнула. Ее прекрасные глаза заблестели от волнения, порыв радости вернул румянец ее ланитам, и она в самом деле стала хороша, как ангел небесный.

Однако виконт де Безри и его дочь не могли сразу уехать из монастыря: это показалось бы весьма странным. Роже со своей стороны не мог там дольше оставаться. Поэтому он поклонился виконту и в последний раз поцеловал руку Констанс. Пока отец и дочь прощались с настоятельницей монастыря и готовились к отъезду, шевалье в одиночестве направился к себе в замок; его терзало беспокойство, и он тяжко вздыхал всю дорогу.

Когда он вернулся домой, на нем лица не было; баронесса тотчас же это заметила, она на цыпочках пошла вслед за сыном, остановилась у дверей его комнаты, прислушалась и услышала, что Роже разразился рыданиями.

Достопочтенная дама удалилась к себе, печально покачивая головой; бедная мать сердцем предчувствовала приближение какой-то беды, хотя не могла бы толком сказать, что это может быть за беда; но, так как сын ее плакал, она и сама расплакалась.

Вскоре в провинции распространился слух о том, что

виконт де Безри и шевалье д'Ангилем вместе ездили в монастырь повидать мадемуазель Констанс де Безри и после этого визита юная послушница отказалась от своего намерения постричься в монахини и возвратилась под родительский кров.

И все дружно решили: столь неожиданное возвращение девушки к мирской жизни свидетельствует, что несогласие, некогда существовавшее между двумя семействами и еще более усилившееся после женитьбы шевалье д'Ангилема, теперь внезапно преодолено.

Сама Констанс не сомневалась в своем будущем счастье; она продолжала верить Роже даже тогда, когда он так долго отсутствовал, как же могла она вдруг начать сомневаться теперь, когда он вернулся к ней после трех лет разлуки и был так же влюблен в нее, как прежде?

Действительно, самым ярким из всех его юношеских воспоминаний была любовь к Констанс, и теперь Роже возвратился к этой своей первой, своей единственной любви. Чувство, которое он испытывал к Сильвандир – он это особенно ясно понимал ныне, когда вновь обрел Констанс, – было всего лишь плотской любовью, опьяняющей страстью, он был, если можно так выразиться, околдован красотою жены; вот почему страсть эта, не подкрепленная высоким чувством, всегда была только страстью, исполненной тревоги и ревности, а любовь, которую он питал к Констанс, приносила ему подлинное счастье.

Однако счастье шевалье омрачалось мучительными воспоминаниями о том, что произошло в Марселе. Иногда ему удавалось ненадолго забыть об этой ужасной ночи, тогда лицо его озаряла несказанная радость, и улыбка, го-

ворившая о невыразимом счастье, расцветала на его губах; но потом роковая мысль неожиданно вспыхивала у него в голове, он бледнел как полотно, волосы у него вставали дыбом, на лбу, у самых корней волос, выступал холодный пот.

Несчастный Роже вновь видел, как в белесом тумане, заволакивавшем горизонт, исчезала тартана, уносившаяся к берегам Туниса…

Как мы уже говорили, Роже объявил Констанс, что намерен целый год носить траур по Сильвандир, и Констанс от души одобрила его решение неукоснительно соблюдать все требования приличий. Роже ни слова не сказал об их будущей свадьбе, но Констанс, остававшаяся верной своей любви, несмотря на неверность возлюбленного, теперь, когда он возвратился к ней, не считала нужным говорить об их брачном союзе, ибо полагала, что союз этот уже давно скреплен перед лицом Господа Бога. Вот почему, когда шевалье, уповавший на то, что шумная жизнь столицы немного развлечет его и, быть может, прогонит терзавшие его страхи, заговорил о том, что ему необходимо поехать в Париж, сославшись на свои запущенные дела, которые надобно привести в порядок, Констанс не стала перечить и только спросила, когда он рассчитывает вернуться назад.

– Так скоро, как только смогу, – ответил шевалье.

И этот неопределенный ответ вполне удовлетворил доверчивую девушку. Роже распрощался со своим родовым замком, он простился с бароном и баронессой, потом с аббатом Дюбюкуа и, наконец, с Кристофом и Кастором; сообщив маркизу де Кретте, что они через неделю вновь свидятся, шевалье не спеша отправился в путь.

Однако уже на третий день Роже был не в силах сносить столь медленную езду: она оставляла ему слишком много времени для раздумий о вещах, о которых он стремился забыть. Поэтому он нанял почтовых лошадей и уже на четвертую ночь после отъезда прибыл в Париж.

Шевалье ожидало там тяжкое испытание: он должен был один вернуться в особняк, откуда уехал вдвоем с Сильвандир. Бедняга едва решился поднять глаза из страха увидеть свет в покоях жены. Он боялся, что кто-либо из слуг вдруг выйдет навстречу ему и скажет:

– В ваше отсутствие, господин шевалье, возвратилась госпожа д'Ангилем, и она просит вас подняться к ней.

Но в запертых покоях его жены было темно, и никто из слуг не заговаривал о Сильвандир.

Бретон помогал своему хозяину переодеться с дороги; шевалье испытывал трепет в присутствии своего верного слуги, свидетеля его ревности. Ему казалось, что Бретон, знавший о том, как он был недоволен женою, теперь смотрит на него с понимающим видом, будто хочет сказать: «Ну что ж, стало быть, мы все-таки взяли реванш?»

Однако самое страшное из всех испытаний ждало шевалье тогда, когда он отправился с визитом к метру Буто. Тесть вперил в него испытующий взгляд: ведь недаром же старик был судьею! Но Роже, собравшись с силами, сохранил присутствие духа и выдержал этот инквизиторский взгляд, не опустил глаз. Хотя президент, в сущности, не любил свою дочь, ибо успел хорошо изучить ее нрав за те восемнадцать лет, что она прожила под его кровом, он привык подвергать людей допросам и, казалось, ничего не имел бы против, если б в его собственной семье обнару-

жилось небольшое уголовное преступление. Однако на сей раз ему не пришлось заняться судебным разбирательством, да и как было угадать даже столь опытному жрецу Фемиды, что задумал и совершил этот расторопный шевалье д'Ангилем, который к тому же не выказывал никаких притязаний на возможное наследство.

И потому метр Буто вместе с Роже скорбел по поводу постигшей их обоих утраты, но скорбел он, надо сказать, весьма умеренно; время от времени он по-прежнему обедал у своего зятя, и они сошлись теперь даже еще ближе. Это обстоятельство привело к тому, что окружающие восхищались силой супружеской любви шевалье, который и после смерти жены сохранил столь трогательную привязанность к ее отцу.

Такое дружество продолжалось месяца три, словно бы в назидание всем тем, кто мог его наблюдать. Но в одно прекрасное утро метр Буто вступил в яростный спор с каким-то ходатаем по делам, который посмел ему слишком уж дерзко перечить; достопочтенный президент легко впадал в гнев, шея у него была толстая и короткая, он упал, сраженный апоплексическим ударом, и скончался, даже не приходя в чувство; надо признаться, это событие не слишком огорчило Роже, не в обиду будь сказано лучшим зятьям на свете, ибо, окажись они хотя бы на сутки в шкуре шевалье д'Ангилема, они бы поняли, что и самый превосходный тесть может превратиться в надоедливого собеседника.

При первом же известии о несчастном случае горничная, прослужившая у метра Буто целых пятнадцать лет, кинулась к шевалье. Он тут же поехал к тестю, но, как мы

уже говорили, почтенный президент так и не пришел в себя.

Вскрыли завещание. Метр Буто оставил триста тысяч ливров своему зятю, пятьдесят тысяч ливров – своей горничной, мадемуазель Фаншон, и около ста тысяч ливров он отказал богоугодным заведениям и храмам на дела благочестия.

Что же касается наличных денег, то о них не было и речи: в доме не нашлось даже мелкой монеты. Мадемуазель Фаншон во всем любила порядок.

Метр Буто был погребен со всеми почестями, приличествующими его положению в обществе. Его похоронили на кладбище Пер-Лашез, которое уже в те времена стало престижным.

Сто тысяч экю, завещанные ему тестем, привели шевалье в замешательство: деньги эти тяготили его. Ведь наследство по праву принадлежало Сильвандир. Но как было вручить ей эту сумму? В том-то и заключалось вся трудность. К тому же, получив такие деньги, Сильвандир могла выкупить себя и возвратиться во Францию, а при одной этой мысли шевалье содрогался.

Тем не менее он решил постоянно держать при себе эту сумму в процентных бумагах.

Перейдем теперь от метра Буто, с которым мы решили покончить разом, к маркизу де Кретте, с которым мы, слава Богу, отнюдь еще не покончили.

Если у метра Буто подозрения были еще только в зародыше, то у Кретте они, можно сказать, расцвели пышным цветом; но он был, что встречается весьма редко, человеком одновременно и светским и деликатным; к тому

же он любил Роже как брата. Вот почему маркиз ни разу не спросил своего друга о жене, он только сказал ему, как бы невзначай и мимоходом:

– Кстати, мой дорогой, ты ведь знаешь, что я давно собирался свести счеты с этим Руаянкуром.

– Знаю, – ответил Роже.

– Так вот, памятуя о том, что ты далеко, я один отправился в Утрехт, дабы встретиться с ним; там, прямо на людях, я грубо наступил ему на ногу и таким образом принудил его наконец драться.

– А дальше?.. – спросил шевалье.

– А дальше я нанес этому щеголю легкий удар шпагой и пропорол ему живот.

– Стало быть, ты убил его?

– Нет, не совсем; он теперь в руках знаменитого хирурга, однако рана у него серьезная, и я не уверен, переживет ли он зиму; а посему не слишком огорчайся, ежели в один прекрасный день ты узнаешь, что он отправился в мир иной.

И действительно, однажды в «Голландской газете», в рубрике «Известий из Амстердама» от марта 1714 года появилось следующее сообщение:

«Маркиз де Руаянкур скончался нынешним утром от последствий раны, полученной им на охоте. Этот французский дворянин прибыл в нашу страну восемь месяцев назад: он был облечен по указу его христианнейшего величества чрезвычайной миссией».

– Выходит, есть все-таки Бог, защищающий порядоч-

ных людей, – прошептал Роже, – и этот милосердный Бог избавляет меня поочередно от всех моих гонителей. Но, как справедливо гласит пословица, «Помогай себе сам, и Бог поможет тебе».

Кретте сам принес своему другу газету с извещением о смерти маркиза де Руаянкура.

– Ну вот мы и рассчитались за твое заточение, – сказал он, когда шевалье прочитал приведенные выше строки. – Я занялся одним, а ты, ты занялся…

При этих словах Роже так побледнел, что Кретте разом умолк, потом протянул шевалье руку и сказал:

– Прости меня, Роже, но я не выпытываю твоих тайн, помни только одно: коли тайны эти таковы, что могут когда-нибудь навлечь на тебя беду, ты и в будущем найдешь у меня поддержку, как уже находил ее в прошлом.

Шевалье крепко пожал руку друга, тяжко вздохнул, но ничего не сказал.

И маркиз понял, что дело обстоит весьма серьезно.

Вот почему Кретте вновь прибегнул к своему излюбленному совету: прежде всего развлечься! Вот почему Кретте, считавший, что лучше всего мужчину может развлечь любовница, предложил Роже взять себе в подруги мадемуазель Пуссет. Это было тем более легко осуществить, что она в то время была с Шастелю, который перед тем из-за сердечной раны также нуждался в утешении.

Однако Роже ответил, что его рану таким способом не вылечить.

И Кретте понял, что надо все предоставить времени.

Между тем время шло, а меланхолия шевалье не только не проходила, но, напротив, усиливалась. Тогда Кретте и

его друзья решили, что надо время от времени, вопреки воле самого Роже, доставлять ему кое-какие развлечения; но это почти всегда приводило отнюдь не к тем результатам, на какие рассчитывал маркиз.

Однажды д'Эрбиньи пригласил д'Ангилема прокатиться верхом в Сен-Клу: виконт был уверен, что уныние, в котором пребывает шевалье, вызвано смертью жены, и увидя, что мимо них в коляске проехала красивая женщина, воскликнул:

– Взгляни-ка, эта дама удивительно похожа на бедняжку Сильвандир!

Повернувшись, чтобы поглядеть, какое впечатление произвели на Роже эти слова, д'Эрбиньи увидел, что шевалье обеими руками вцепился в луку седла, волосы у него встали дыбом, глаза чуть не вылезли из орбит и он побледнел как смерть.

«До чего ж он любил эту женщину! – подумал виконт, покачав головой. – Нет, его дело гиблое, он никогда не излечится».

И он поспешил отвезти шевалье домой; Роже вернулся к себе ни жив ни мертв.

В другой раз д'Ангилем, д'Эрбиньи, Кретте и Шастелю обедали вчетвером. Затем Шастелю пригласил своих друзей в театр «Комеди Франсез», где он часто бывал с тех пор, как вступил в связь с мадемуазель Пуссет. Кретте и д'Эрбиньи ухватились за это предложение, надеясь, что спектакль развлечет Роже, а тот принял его, не подозревая о том, что ждет его в театре.

В тот вечер давали «Федру», которая только еще входила в моду, и «Господина де Пурсоньяка[22]» – эта комедия, как и в наше время, вызывала уже и тогда необычайное веселье у публики. Шевалье, как обычно, был погружен в свои мысли, он слушал «Федру», но ничего не слышал; он слегка повеселел и заулыбался только во время представления комедии; но тут наступил черед сцены, где два адвоката поют свою песенку злосчастному супругу из Лимузена, обвиненному в том, что у него две жены:

Да, многоженство – грех ужасный,
И петлей наказуем он.

И вот эта сцена, которая неизменно вызывает у зрителей неудержимое веселье, произвела на шевалье д'Ангилема совсем обратное действие. Он издал несколько невнятных восклицаний, которые его друзья сперва приняли за смех, потом откинулся назад и упал без чувств на руки де Кретте.

Его отвезли домой, он был в жару и всю ночь бредил.

Кретте озаботился удалить всех из комнаты своего друга и сам бодрствовал у его ложа.

На следующий день маркиз, казалось, был столь же встревожен, как и сам шевалье. Роже вскоре оправился от перенесенного кризиса, но по-прежнему оставался печален, и печаль его с каждым днем все усиливалась.

---

[22] *«Господин де Пурсоньяк»* (1669) – комедия Мольера.

XXIX

О ТОМ, КАК ПЕРСИДСКИЙ ПОСОЛ МЕХМЕТ-РИЗА-БЕГ ПРИБЫЛ В ПАРИЖ, ДАБЫ ОТ ИМЕНИ СВОЕГО ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОЧАЙШЕЕ УВАЖЕНИЕ ЛЮДОВИКУ XIV, И О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМ ПОСЧИТАЛ НЕОБХОДИМЫМ НАНЕСТИ ВИЗИТ ЭТОМУ ИМЕНИТОМУ САНОВНИКУ

Шевалье день ото дня становился все печальнее, потому что время мчалось с ужасающей быстротою и от года, в течение которого соблюдается траур, оставалось уже всего три месяца.

Как помнит читатель, Роже, строго говоря, ничего не обещал Констанс; но было совершенно очевидно, что она и не нуждалась в его особых обещаниях, ибо полагала, что их брачный союз как бы уже предрешен. Когда Роже просил ее покинуть монастырь, девушка согласилась вернуться в мир при молчаливом условии, что она станет его женою; впрочем, все окружающие были того же мнения: так думали виконт де Безри и его супруга, барон и баронесса д'Ангилем, их соседи и соседки – словом, все те, кто знал о былой любви Роже и Констанс, а теперь услышал о новых обязательствах, принятых на себя молодыми людьми.

К тому же, и об этом уместно напомнить, Роже и сам любил Констанс еще сильнее, чем прежде. Через день он получал письма от дорогой ему девушки, каждое такое письмо было для него новой страницей из книги ее сердца и сулило ему невообразимое блаженство. Положение у шевалье было ужасное: страх сковывал его, а любовь властно толкала вперед. В брачном союзе с Констанс он видел как бы две ипостаси: одна обещала счастье, другая грозила гибелью.

Раз двадцать Роже уже готов был поехать в Ангилем и во всем признаться отцу и Констанс, но добрый гений удержал его от этого, подобно тому как у Гомера Минерва удерживала Ахилла.

Окружающие буквально осаждали его, и, доведенный до крайности, совсем потеряв голову, шевалье, протянув еще полгода, согласился на то, чтобы свадьба состоялась в декабре 1714 года; однако затем он сказался больным, уповая, что за это время, быть может, умрет, и наконец назначил последний срок – февраль 1715 года.

Констанс принимала все его доводы, даже не вникая в их истинную причину, она соглашалась на все отсрочки с ангельской кротостью. К тому же за это время она потеряла мать, и для нее тоже наступила пора годового траура.

Было решено, что свадьбу сыграют в Париже; за неделю до торжественной церемонии барон и баронесса поселились в особняке д'Ангилема, а виконт де Безри и его дочь остановились в доме по соседству, где Роже приготовил для них удобные апартаменты.

В особняке д'Ангилема все обновили: мебель, обивку, ковры, картины, все, вплоть до зеркал. Роже казалось кощунством допустить, чтобы Констанс пользовалась хотя бы каким-нибудь предметом, который прежде принадлежал Сильвандир.

Как помнит читатель, шевалье отдал матери большую часть драгоценностей, унаследованных им после виконта де Бузнуа. Теперь баронесса подарила их своей новой невестке.

Надо сказать, что предстоящая женитьба шевалье д'Ангилема вызвала шумный отклик в свете. Все только и

говорили что о ней да о прибытии персидского посла Мехмет-Риза-Бега, который как раз в это время приехал в столицу и привез дары, присланные его повелителем Людовику XIV. Дамы ездили посмотреть на заморского посла по вечерам, а мужчины – по утрам.

Скажем несколько слов об этом необычном персонаже: хотя он и появляется в самом конце нашего повествования, но тем не менее заслуживает особого упоминания.

Мехмет-Риза-Бег, как мы уже говорили, был в ту пору человеком, который наряду с шевалье д'Ангилемом привлекал к себе наибольший интерес в столице. Однако с присущей нам скромностью, каковую мы уже столько раз доказывали на протяжении этой как нельзя более достоверной истории, следует признать, что если шевалье вызывал интерес к своей особе только в определенных кругах парижского общества, то Мехмет-Риза-Бегом интересовались во всей Франции.

В самом деле, после того как в 807 году Абдаллах прибыл во главе посольства, которое повелитель Персии Аарон направил к Карлу Великому, императору Запада, и привез в дар от своего владыки королю франков живого слона, на коего все глазели как на великое чудо, последующие наши монархи ни разу еще не принимали послов из страны «Тысячи и одной ночи». И вот в середине 1714 года распространили слух, будто персидский шах Хусейн, внук великого Сефи и сын султана Сулеймана, побуждаемый докатившимися до его столицы Исфахана слухами о редких достоинствах великого короля Людовика XIV, решил направить к нему посла с дарами. Новость эта, поначалу еще не проверенная, судя по всему, необыкновенно

льстила гордости завоевателя Фландрии; можно было подумать, что Небо, напоминавшее французскому монарху о ничтожестве земного величия, вдруг захотело немного потешить его тщеславие: все вскоре узнали, что Мехмет-Риза-Бег высадился в Марселе.

Для Версаля прибытие заморского посла имело немаловажное значение. Старый король, которого постоянно донимали окружавшие его бастарды, которого Божья десница покарала, отняв у него детей и внуков, с каждым днем становился все мрачнее, так что сама госпожа де Ментенон, дама весьма изобретательная и ловкая, жаловалась своим приближенным на то, что она взвалила на свои плечи непосильное бремя, стараясь постоянно развлекать самого угрюмого человека не только во Франции и Наварре, но и во всей Европе.

Таким образом, как видит читатель, Мехмет-Риза-Бег прибыл как нельзя более кстати, дабы гальванизировать, по распространенному в наши дни выражению, великую гробницу, именуемую Версалем, и живого мертвеца, именуемого великим монархом Людовиком XIV.

Вот почему нашлись люди, потихоньку говорившие, будто Мехмет-Риза-Бег не столько посланник великого шаха Хусейна, сколько посланник некоронованной королевы Франции – госпожи де Ментенон.

Как бы то ни было и от чьего бы имени ни прибыл во Францию Мехмет-Риза-Бег, его принимали с самыми высокими почестями. Едва стало известно, что он высадился в Марселе, Людовик XIV послал ему навстречу г-на де Сент-Олона, своего посла при дворе короля Марокко; таким образом все почести, полагающиеся чрезвычайным

посланникам, были оказаны Мехмету-Риза-Бегу, который прибыл в Шарантон 26 января, въехал в столицу 7 февраля и 19-го числа того же месяца удостоился торжественной аудиенции у Людовика XIV.

Как мы уже упоминали, приезд персидского посла стал величайшим событием тех дней: в Париже только и разговора было что о его роскоши, о его странностях и о том беспокойстве, какое его причуды и прихоти приносили барону де Бретейлю: именно ему Людовик XIV поручил заботиться об этом чрезвычайном после и особо важном сановнике, которого направил к французскому королю его царственный собрат, шах персидский.

Вполне естественно, что, повидав Версаль и Париж, виконт де Безри и его дочь пожелали повидать и персидского посла.

Шевалье буквально расцветал по мере того, как приближался день свадьбы, суливший ему счастье, и он не счел возможным отказать своей невесте в столь скромной просьбе.

Венчание должно было происходить в полдень, а так как нет ничего более скучного для новобрачных, чем самый день свадьбы, когда они вынуждены принимать поздравления от родных и друзей, то было решено, что между брачной церемонией и свадебным обедом молодожены нанесут визит вышеозначенному послу.

Свадьба Констанс и Роже была назначена на 26 февраля. Шевалье столько размышлял об этом торжественном для всех и грозном для него дне, что в конце концов если не позабыл об опасности, связанной с его вторым браком, то нашел в себе силы некоторое время о ней не думать.

Одним словом, он вел себя как человек, который поставил свою жизнь на карту и понимает, что в любую минуту может погибнуть, но решил, пока суд да дело, как можно веселее прожить те дни, какие ему еще отпущены судьбою.

В тот знаменательный день Роже с самого утра не сводил глаз с Констанс: любуясь ею, он радовался и забывал о всех своих невзгодах.

После венчания, происходившего в церкви святого Рока, Констанс повезли домой переодеться, а шевалье и маркиз де Кретте направились в особняк, служивший резиденцией для посланников: там остановился Мехмет-Риза-Бег. Мужчины, как мы уже упоминали, приезжали туда с визитом по утрам, а женщины – во вторую половину дня.

Маркиз де Кретте был знаком с бароном де Бретейлем и получил у него пригласительные билеты.

Эти билеты открыли друзьям доступ к его превосходительству персидскому послу. В приемной уже толпились посетители; попадая в гостиную, они проходили по четыре человека в ряд перед послом, а он сидел на циновке посреди комнаты и с важным видом кивал шествовавшим мимо него визитерам. По мере того как посетители приближались, слуга возглашал их имена.

Маркиз де Кретте и шевалье д'Ангилем в свой черед вошли в гостиную.

В эту минуту Мехмет-Риза-Бег курил, вернее сказать, стоявшая перед ним на коленях рабыня подносила огонь к его трубке.

Роже обратил внимание на то, что рабыня эта, хотя он видел ее только со спины, прекрасно сложена.

Когда слуга произнес имена маркиза де Кретте и шевалье д'Ангилема, посол сделал невольное движение, а рабыня повернулась.

Оба дворянина, уже сделавшие четыре шага в гостиной, остановились как вкопанные и посмотрели друг на друга; смертельно побледнев, они застыли на месте, будто голова рабыни, подобно голове Медузы, превратила их в мраморные изваяния; затем, после мгновенного замешательства, они взялись за руки и, пятясь, вышли из залы, даже не успев толком разглядеть посла.

– Роже! Какое необыкновенное сходство! – пробормотал маркиз, когда они очутились в приемной.

– Кретте, тут вовсе не сходство, – ответил шевалье. – Это Сильвандир своею собственной персоной, и я погиб!

И Роже в нескольких словах рассказал маркизу о том, что произошло в Марселе. Впрочем, шевалье сообщил другу не слишком много нового: ночью в бреду он почти полностью выдал свою тайну.

– Ну тогда тебе надобно бежать, и немедля! – воскликнул Кретте. – Собери-ка побыстрее все золото и все бриллианты, какие найдутся дома, и уезжай во Фландрию, в Голландию, в Англию… Хоть на край света, но только уезжай!

Шевалье не трогался с места.

– Но как случилось, что она прибыла сюда с этой скотиной-послом? – спросил Кретте.

– Кто может постичь предначертания Господни? – мрачно отозвался д'Ангилем.

– Полно! Полно! – вскричал маркиз, увлекая шевалье за собою. – Обойдемся без богословия. Нельзя терять ни

минуты, пошли за почтовыми лошадьми, садись в карету и – в путь!

– Как? Уехать без Констанс? Никогда! Ни за что!

– Друг мой, знаешь ли ты, что тебе грозит?

– Знаю: смерть! Но что мне смерть, пусть только она придет не сегодня, а завтра!

– Позволь тебе заметить, что ты городишь чепуху. Завтра, мой милый, тебе еще меньше захочется умирать, чем сегодня. Надо жить, черт побери! И жить долго. А потому уезжай нынче же, сию минуту! Ты мне только скажи, куда поедешь, и завтра, нет, еще сегодня вечером я отправлю вслед за тобой Констанс; если понадобится, я сам привезу ее туда, где ты будешь, ну а оказавшись вместе, вы и думать забудете о персидском после, о Сильвандир, вы забудете обо всем на свете.

– Нет, Кретте, нет! Оставь меня! Ты теперь и сам видишь, что я приношу несчастье.

– Ну, коли ты теряешь голову, шевалье, это и на самом деле становится невыносимо! Неужели ты хочешь стать посмешищем для всей Франции? Ты этого хочешь?.. Черт побери! Вспомни-ка о виселице господина де Пурсоньяка. Кстати, вот, стало быть, почему…

– Увы, друг мой, да.

– Бедный Роже! Но повторяю, шевалье, тебе надо принять решение! Ведь король не любит шутить, когда дело касается нравов! Вспомни о Фор-л'Евеке, о Бастилии, о Шалоне-сюр-Сон! Ты пятнадцать месяцев пробыл в темнице только за то, что был недостаточно внимателен к жене. Что же тебя ожидает за то, что ты продал ее в рабство?

За разговором они не заметили, как очутились у особняка д'Ангилема. Констанс уже уехала со своими подругами и баронессой, чтобы, в свою очередь, увидеть посла.

Кретте воспользовался этим и опять принялся уговаривать своего друга поскорее уехать. У Роже нашлось дома около тридцати тысяч франков наличными и тысяч на двести бриллиантов: этого было более чем достаточно на первый случай. Он почти совсем уже согласился бежать, как вдруг дамы возвратились. Двери особняка, где остановился посол, по одному из многочисленных капризов Риза-Бега были внезапно заперты и прием посетителей отложен до пяти часов вечера.

Увидев Констанс, шевалье понял, что не в силах ни бежать, ни сознаться во всем. Между тем объявили, что обед подан. Роже машинально последовал за гостями и сел за стол; он был сильно озабочен, и все обратили на это внимание.

Однако в день свадьбы у новобрачного столько всевозможных забот, а голова его занята такими непривычными мыслями, что никто не проявляет нескромности и не допытывается, о чем именно он размышляет; однако только Констанс время от времени с тревогой поглядывала на мужа, а сам д'Ангилем и де Кретте при малейшем шуме вздрагивали и смотрели на дверь.

Но вот наконец подали десерт; шевалье и маркиз стали понемногу успокаиваться. Роже нежно улыбался жене, и его улыбка возвращала ее к жизни. Кретте с непринужденностью, свойственной лишь истинным аристократам, с очаровательной непринужденностью, которую в наши дни сохранили только немногие, рассказывал анекдоты, какие

ныне уже никто не отваживается рассказывать. Внезапно дверь в столовую отворилась, вошел какой-то негритенок и с мрачным видом спросил барона д'Ангилема.

Господин д'Ангилем-старший стал было подниматься с места, но Роже, поняв, что спрашивают его, знаком попросил отца оставаться на месте и, побледнев как смерть, последовал за негритенком.

Шевалье спустился по лестнице не решившись задать ни одного вопроса мальчику. Впрочем, если бы у него оставалось хоть малейшее сомнение, то оно тут же исчезло бы. Роже увидел посреди двора двухместный экипаж, в нем сидела молодая рабыня, которую он утром сразу узнал, что и произвело на него тогда ужасное впечатление.

Рабыня жестом пригласила шевалье подняться в карету и занять место напротив нее.

Роже безмолвно подчинился и сел на переднее сиденье. Негритенок закрыл за ним дверцу экипажа. Бывшие супруги остались с глазу на глаз.

– Наконец-то я снова вижу вас, дорогой Роже, – проговорила Сильвандир. – Клянусь Богом, мне удалось это не без труда!

Шевалье поклонился.

– Кажется вы меня нынче не ждали? – продолжала Сильвандир.

Она явно наслаждалась замешательством Роже и вела себя как кошка, которая играет с мышью, прежде чем проглотить ее.

– Признаюсь, не ждал, – с трудом проговорил шевалье.

– Вы, разумеется, полагали, что я в Константинополе, в Каире или, на худой конец, в Триполи; но я так люблю вас,

друг мой, что не могла дольше сносить разлуку и поспешно ухватилась за первую же представившуюся мне возможность возвратиться в Европу.

– Это очень мило с вашей стороны, – пролепетал Роже.

– И как я вознаграждена за свою любовь?! Я приезжаю в Париж, расспрашиваю о вас, и мне говорят, будто вы собираетесь жениться на другой, будто сегодня, именно сегодня, вы вступаете в новый брак. Но вы же знаете, неблагодарный, как я ревнива!

От каждого слова Сильвандир несчастного Роже бросало в холод; после минутного молчания, показавшегося ему вечностью, ибо молодая женщина неотступно сверлила его глазами, он спросил:

– Но чего вы от меня хотите?

– Прежде всего я хотела бы знать, сколько вы за меня получили, чтобы прибавить эту сумму к небольшому счету, который я собираюсь вам предъявить.

– Клянусь, я считал себя вправе продать особу, упрятавшую меня в тюрьму.

– Следовало поступить с вами еще хуже, негодный! – проговорила Сильвандир самым ласковым тоном.

– То есть убить меня? Не так ли? Ах, поверьте, сударыня, сделав это, вы оказали бы мне большую услугу.

– Ну, довольно, шутки в сторону, – сказала Сильвандир, – поговорим о делах.

– Извольте, – ответил шевалье. – Но только, клянусь вам, я вовсе не шучу и меньше всего на свете расположен шутить. Поэтому говорите и вы серьезно, я вас слушаю.

– Роже, вам, разумеется, невдомек, что вы, сами того не подозревая, составили мое счастье, – продолжала Силь-

вандир. – Я встретила Мехмет-Риза-Бега, понравилась ему, и он на мне женился.

– Как?! – вскричал Роже, перед которым блеснул луч надежды. – Стало быть, и вы вступили в брак?

– Да, но на магометанский лад; там подобный брак – дело обычное, но здесь, во Франции, он считается недействительным. Вот и получается, что у меня по-прежнему только один муж, в то время как у вас – две жены. Ну а ведь вы, мой дражайший супруг, конечно знаете, что многоженство…

– Да, да, знаю, – перебил ее шевалье.

– Стало быть, вы попались, теперь вы полностью в моей власти; недаром я, как понимаете, дождалась, пока совершится ваш новый брак, и при любых обстоятельствах, если бы вы даже не проявили учтивости и не нанесли мне визита нынче утром, я бы сама нанесла вам визит нынче вечером.

– Значит, вы решили меня погубить? – воскликнул Роже.

– Да вы с ума сошли! Чего ради мне вас губить? Нет, нет, милый Роже, прежде всего я хочу, чтобы вы вернули мне сто тысяч экю, которые вам достались после кончины моего несчастного отца.

– О, это вполне справедливо! – вскричал Роже. – Деньги эти у меня дома, они в процентных бумагах, и я готов тотчас же их вам вручить.

Шевалье приподнялся, собираясь выйти из экипажа и отправиться за бумажником.

Но Сильвандир остановила его.

– Погодите, погодите, – сказала она. – Это еще не все, так дешево вы не отделаетесь.

– Я жду, – сказал шевалье.

– Кроме того, мне следует получить еще сто тысяч экю – мое приданое.

– Ваше приданое?! Да вы же прекрасно знаете, что я этих денег в глаза не видал!

– Я знаю только одно: такая сумма упомянута в нашем брачном контракте, и я не могу ущемить интересы моего второго мужа, лишив его этих денег, тем более что его поведение, согласитесь сами, выгодно отличается от вашего, ибо вы меня продали, а он купил.

– Ну что ж, – проговорил Роже, – так и быть, я отдам вам и эти сто тысяч экю…

– Затем… – продолжала Сильвандир.

– Как?! Вы еще чего-то требуете? – вскричал Роже.

– Конечно! Я требую денег, которые вы получили, продав меня. Какого черта, дражайший Роже! Хоть я и не была совершеннолетней, но была уже достаточно самостоятельной и могла бы сама получить эту сумму. И не спорьте, пожалуйста, как-никак я дочь юриста.

– Даю вам честное слово, – сказал шевалье, – что я не получил за вас не единого су и даже… и даже, не в обиду вам будь сказано, сам еще приплатил пятьсот пистолей.

– То, что вы мне сейчас открыли сударь, не слишком-то любезно с вашей стороны, – жеманно проговорила Сильвандир, – но вы человек чести, и, раз уж вы даете мне слово, я вам верю; стало быть, с вашего позволения, всего с вас причитается шестьсот тысяч ливров.

– Когда вам угодно их получить? – осведомился шевалье.

– Мне очень хотелось бы, – вдруг объявила Сильван-

дир, оставив вопрос Роже без ответа, – мне очень хотелось бы не беседовать с вами во дворе, а войти в дом и попросить славного Бретона доложить обо мне в дверях гостиной… Кстати, он все еще служит у вас?..

Шевалье утвердительно кивнул головой.

– … и попросить славного Бретона доложить о приезде госпожи д'Ангилем. Я не прочь полюбоваться, какой у вас будет растерянный вид, когда вы окажетесь в обществе обеих своих жен, турок вы эдакий! Но я предпочла удовлетворение иного рода. Как я уже сказала, вы мне сперва дадите шестьсот тысяч ливров, а там поглядим.

– Куда я должен доставить эту сумму? – спросил Роже.

– В посольство, – ответила Сильвандир. – Спросите там любимую рабыню его превосходительства Мехмет-Риза-Бега, я сразу пойму, что это вы, и тотчас же выйду.

– А когда вы желаете получить деньги? – осведомился шевалье, повторяя вопрос, который так и остался без ответа.

– Через два часа.

– Через два часа! – воскликнул Роже. – Да вы уж лучше потребуйте, чтобы я пустил себе пулю в лоб! Как, по-вашему, могу я достать сто тысяч экю за два часа?

– У вас есть бриллианты, продайте их; у вас есть друзья, пошарьте у них в кошельках. Мне очень жаль, что приходится быть такой требовательной, мой милый Роже, но мы спешно уезжаем. Его превосходительство Мехмет-Риза-Бег и задержался-то лишь по моей настойчивой просьбе: я просила его дождаться, пока сыграют вашу свадьбу.

– Через два часа! Через два часа! – опять вскричал шевалье. – Но это невозможно! Подождите хотя бы до утра.

– Я не стану ждать ни одной лишней минуты.

– Тогда поступайте так, как вам будет угодно.

– Как мне будет угодно? Господи, чего уж проще! Я войду в наш особняк, поднимусь к нам в спальню, лягу в постель и стану ждать вас. Ангола, – продолжала Сильвандир, повернувшись к негритенку и делая вид, будто собирается выйти из экипажа, – откройте дверцу, я хочу сойти.

Негритенок протянул было руку к дверце, но Роже остановил Сильвандир.

– Вы только подумайте о последствиях!

– О последствиях следует думать вам. Мехмет купил меня на Востоке как рабыню. Так вот, полагаю, что во Франции такая сделка не имеет силы и тут у него нет никаких прав на меня. А потом, ведь продали-то меня вы, и вам не к лицу упрекать меня за то, что произошло, пока я была во власти купившего меня человека.

– Однако, сударыня…

– Послушайте, – перебила Сильвандир, – я сказала, что даю вам два часа, а я никогда не меняю своих решений и по-прежнему настаиваю на этом сроке. Но если через два часа… слушайте меня внимательно…

– О, я ловлю каждое ваше слово, – со вздохом пробормотал шевалье.

– Если через два часа шестьсот тысяч ливров не будут доставлены в особняк посла…

– Что тогда? – с тревогой спросил шевалье.

– Тогда, мой милый Роже, – ответила Сильвандир, –

ждите меня и приготовьтесь к тому, что ваш слуга доложит о приезде госпожи д'Ангилем, а вслед за тем появлюсь в гостиной и я сама.

Произнеся эти слова, Сильвандир с обворожительной улыбкой грациозно кивнула мужу, негритенок по знаку своей госпожи открыл дверцу экипажа и выпустил шевалье.

Карета тронулась и покатила к воротам; высунув голову из оконца, Сильвандир приветственно махала рукой д'Ангилему.

XXX

О ТОМ, КАК МАРКИЗ ДЕ КРЕТТЕ УЛАЖИВАЛ ДЕЛА ШЕВАЛЬЕ Д'АНГИЛЕМА, И О ТОМ, КАК НАША ПОВЕСТЬ ПРИШЛА К СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННОЙ РАЗВЯЗКЕ

Кретте ждал своего друга на нижней ступеньке лестницы.

– Ну что? – спросил маркиз.

– Друг мой, это она! – воскликнул шевалье.

– Я так и думал. Чего она хочет? Чего требует?

– Невозможного.

– И все же?

– Требует, чтобы ей доставили шестьсот тысяч ливров через два часа.

– Шестьсот тысяч ливров? Через два часа? – переспросил маркиз. – Прекрасно!

– Прекрасно? Что ты такое говоришь? Но ведь у меня дома всего триста тысяч, а если через два часа я не достану остальных трехсот тысяч, что никак невозможно…

– Если ты не достанешь остальных трехсот тысяч, что она сделает?

– Она явится сюда и потребует, чтобы доложили о приезде госпожи д'Ангилем.

– Она этого не сделает.

– Почему?

– Сам не знаю, но только, если бы она могла это сделать, то уже давно бы сделала.

– Ах, друг мой!

– Послушай, Роже, она требует у тебя денег, но не настаивает на своих правах, она прячется, и это неспроста.

– Да она вовсе не прячется, друг мой: она ведь сказала, что через два часа явится сюда и потребует доложить о ней как о моей жене.

– Знаю, и это весьма тревожно.

– Друг мой, лучше уж я пойду в свою комнату и пущу себе пулю в лоб!

– Ну это ты всегда успеешь, дай-ка я сперва попытаюсь что-нибудь предпринять.

– А что ты собираешься сделать?

– Пока еще толком не знаю, но попробую спасти тебя.

– Ах, друг мой, мой единственный друг, дорогой мой Кретте!.. – воскликнул Роже, бросаясь в объятия маркиза.

– Полно, полно, я все понимаю, – отвечал Кретте. – Но нам нельзя терять ни минуты, сейчас не время для излияний.

– Что я должен сделать? Я всецело полагаюсь на тебя, приказывай – я повинуюсь.

– Удержи приглашенных в гостиной: сейчас только половина девятого, и это не так трудно; приободрись не-

много, правда, я не хочу требовать от тебя невозможного, мой бедный Роже. И смотри, чтобы никто не вошел в гостиную, минуя Бретона.

– Я поставлю его на страже у дверей.

– А теперь давай сюда триста тысяч ливров, они ведь у тебя в процентных бумагах. Неси сюда все драгоценности и все наличные деньги. Я поеду к своему нотариусу и вытрясу его кошелек. Черт побери, мы наскребем нужную сумму!

– Да, да, Кретте, собери эту сумму, продай все, только спаси меня!

Шевалье поднялся к себе в комнату вместе с маркизом и отдал ему процентные бумаги, потом они прошли в комнату Констанс, и Роже взял там бриллианты, которые подарил жене. После этого Кретте сел в свой экипаж – его уже успели заложить – и умчался во весь опор.

Роже вернулся в гостиную, по совету маркиза он старался держать себя как можно спокойнее и веселее.

Тем временем Кретте заехал домой и взял все деньги, какие там нашлись, – двадцать пять тысяч ливров; оттуда он направился к своему нотариусу, и тот дал ему еще пятьдесят тысяч. Эти деньги вместе с процентными бумагами и тридцатью тысячами ливров наличными, которые ему вручил Роже, а также с бриллиантами, стоившими по описи около двухсот тысяч, составили требуемую сумму в шестьсот тысяч ливров.

На все это ушло более полутора часов. Времени терять было нельзя.

Выйдя от нотариуса, Кретте приказал везти себя в особняк, где остановился персидский посол.

Пять минут спустя он уже был у дверей особняка.

Маркиз поднялся по лестнице. Часы приема были изменены, и навстречу ему спускались женщины.

Он увидел мадемуазель Пуссет: она только что побывала у посла и теперь шла к своей карете, громко смеясь.

Кретте хотел было уклониться от встречи с нею, боясь потерять драгоценные минуты. Но это ему не удалось, мадемуазель Пуссет сама заметила маркиза и бросилась к нему в объятия, захлебываясь от смеха.

– Что с вами? Что произошло? – спросил Кретте. – Почему вы смеетесь, душенька?

– Ах, дорогой маркиз! – воскликнула актриса. – Произошло нечто неслыханное, невероятное, неправдоподобное, непостижимое, немыслимое!..

«Господи Боже! – прошептал Кретте. – Не узнала ли она, часом, Сильвандир?»

– Такое бывает только в романах, в волшебных сказках или же в сказках «Тысячи и одной ночи». Если вам рассказать, вы даже не поверите.

– Поверю, поверю! – вскричал Кретте. – Непременно поверю. Только говорите поскорее, прелестница, я очень тороплюсь.

– Вы тоже идете к послу?

– Да.

– Тогда хорошенько вглядитесь в его лицо, смотрите на него в упор, как я сейчас смотрю на вас! Мысленно представьте его себе без бороды и без усов, а завтра утром приходите ко мне, сегодня я вам больше ничего не скажу. А еще лучше, любезный маркиз, приходите нынче вечером, если это вам больше по душе, – прибавила молодая женщина, выразительно пожимая ему руку и ласково улыбаясь.

– Как! – воскликнул Кретте. – Я должен внимательно вглядеться в лицо посла, смотреть на него в упор, мысленно представить его себе без бороды и без усов… Пуссет, душенька, моя обожаемая крошка, вы, часом, не знаете персидского посла?

– Знаю ли я его?! Да так же хорошо, как вас, как д'Эрбиньи, как Шастелю… как могла бы знать вашего друга д'Ангилема, если бы он не был таким букой…

– Пуссет, дитя мое! – взмолился маркиз. – Ты можешь спасти мне жизнь!..

– Спасти вам жизнь, маркиз?

– Нет, вернее сказать, не мне, а моему лучшему другу, но это одно и то же… Речь идет о д'Ангилеме.

– А что я должна для этого сделать?

– Кто он, этот посол? Как его зовут, Пуссет, как его зовут? Скажи, и я обещаю тебе двадцать тысяч ливров и благосклонность самого красивого дворянина в Париже! Я обещаю это тебе от его имени, а если он не заплатит, я сам заплачу. Пуссет, дружочек, как имя посла?

– Ах, как не стыдно! Вы полагаете, что льщусь на интересы, маркиз? Нет, вы заслуживаете…

– Пуссет, его имя! И я буду у тебя нынче в полночь с двадцатью тысячами ливров, жди меня!

– Ну ладно, только… только вы мне все равно не поверите.

– Да говори же, говори! Я всегда верю тому, что говорят мне женщины.

– Это…

– Ты меня уморишь, Пуссет!

– Так вот, это – индиец.

– Какой еще индиец?

– Да вы его знаете: мой желтолицый любовник.

– Противник д'Ангилема? Тот, кто тягался с ним? Афгано?! – вскричал маркиз.

– Он самый.

– Пуссет, душенька, дай я тебя расцелую!

И маркиз сжал молодую женщину в своих объятиях, нимало не заботясь о том, что на них смотрят люди, которые продолжали выходить из покоев посла.

– А ты не ошибаешься? – спросил Кретте, ибо он все еще не мог поверить в такую удачу.

– Говорю вам, я сразу его узнала, хотя он отрастил бороду, покрасил зубы в черный цвет, а ногти – в красный и хоть он изо всех сил притворялся, будто не узнает меня… Вот чудовище!.. Ах, маркиз, маркиз, до чего ж все мужчины неблагодарны!

– Милая моя Пуссет, – отвечал Кретте. – Я докажу вам, что это не так. В полночь я буду у вас, так что, пожалуйста, не ужинайте без меня.

– А если приедет Шастелю?

– Скажите ему, что у вас разболелась голова.

– Как у вас все просто получается, любезный маркиз! – воскликнула мадемуазель Пуссет, изо всех сил стараясь покраснеть.

– Ну, не так ловко, как у вас, моя Венера! Я это отлично знаю и потому всецело полагаюсь на вашу сообразительность. До свидания, Пуссет, и если только вы сказали мне правду, то оказали такую услугу, о которой я в жизни не забуду.

Мадемуазель Пуссет села в свою карету, а маркиз стал

подниматься по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. У дверей в покои посла его остановил какой-то негритенок.

– Что вам угодно? – спросил он маркиза. – Его превосходительство сегодня больше не принимает посетителей.

– Да, но я хочу видеть вовсе не его превосходительство, – ответил Кретте, – мне нужна любимая рабыня посла.

– Стало быть вы пришли…

– По поручению шевалье д'Ангилема.

– В таком случае пожалуйте сюда.

И негритенок проводил Кретте в убранную в восточном вкусе комнату, потом он оставил маркиза одного, сказав, что пойдет предупредить особу, которую посетитель желает видеть.

И действительно, минут через пять в комнату вошла Сильвандир.

– Ах, это вы, маркиз, – проговорила она, – я как чувствовала, что буду иметь удовольствие снова вас увидеть. И предчувствие не обмануло меня. Шестьсот тысяч ливров с вами?

– Нет, – резко ответил маркиз.

– Тогда зачем вы сюда пожаловали?

– Чтобы побеседовать с вашим господином, его превосходительством Мехмет-Риза-Бегом.

– А могу ли я осведомиться, от чьего имени вы явились, милостивый государь? – насмешливо спросила Сильвандир.

– От имени господина Вуайе д'Аржансона, генерал-лейтенанта полиции Французского королевства.

Сильвандир побледнела; Кретте заметил, какое впечатление произвели на нее эти слова.

– Его превосходительство не может вас сейчас принять: он уже лег.

– Ну что ж, – продолжал Кретте, – пойду поищу кого-нибудь, кто заставит его подняться.

– Погодите, сударь! – воскликнула Сильвандир. – Я пойду узнаю, нельзя ли вам все же повидать его превосходительство.

– Прошу прощения, сударыня, – сказал маркиз, – но у меня есть веские резоны войти к послу вместе с вами. В противном случае…

И Кретте сделал шаг к двери.

– Пойдемте, – пригласила его Сильвандир. И она отворила дверь в коридор.

Маркиз последовал за молодой женщиной; они вошли в гостиную; посол с важным видом сидел на циновке, изображая вельможу, что выглядело весьма смехотворно.

– Обождите, – сказала Сильвандир, – я сейчас приглашу переводчика.

– Это ни к чему, – отрезал Кретте.

– Как, маркиз, неужели вы говорите по-персидски?

– Нет, но его превосходительство будет столь любезен, что побеседует со мною по-французски.

– Но он не знает нашего языка.

– Вы так полагаете? – усмехнулся маркиз.

Он подошел к послу и, ударив его по плечу, сказал:

– Дорогой господин Афгано, надеюсь, вы будете столь любезны и ради меня соблаговолите припомнить, что владеете французским языком.

Посол беспокойно заерзал на циновке, оперся на локоть и, побледнев, уставился на маркиза.

– О-ля-ля! – воскликнул Кретте. – Милостивый государь, когда бы я только мог предположить, что встреча со старым знакомым так на вас подействует, я бы попросил эту милую даму заранее вас предуведомить.

– Что вам угодно, сударь? – спросил индиец.

– Ну вот видите, – обратился Кретте к Сильвандир, – я же говорил вам, что его превосходительство сделает для меня исключение! Я хочу, дражайший господин Афгано, – продолжал маркиз, поворачиваясь к мнимому послу, – я хочу предупредить вас: его величество король, которого вы морочите, уже через час будет знать, что он обманут вами. Вот чего я хочу.

Индиец побледнел и схватился за кинжал.

– Полно, полно, драгоценнейший господин Афгано, – невозмутимо продолжал маркиз, – прошу вас, только без трагедий, это ни к чему не приведет. Предупреждаю вас, верный мне человек знает все, и если через час я не вернусь после свидания с вами, он тут же отправится в Версаль. Но пусть вас это не останавливает, любезный друг: если вам угодно, убейте меня! Ведь я так и не сумел прославиться, а такого рода гибель сулит мне бессмертие. Маркиз де Кретте заколот его превосходительством Мехмет-Риза-Бегом, чрезвычайным послом высокочтимого повелителя Персии!.. Черт побери! Да я буду просто счастлив! Ах, вот как! Вы, кажется, убираете свое оружие? И настроены теперь более мирно? Ну что ж, так и быть, я человек покладистый и всегда готов идти навстречу своему ближнему. Поговорим о делах.

Посол поднялся, подошел к двери и запер ее на задвижку.

– Да, я все хорошо понимаю, – продолжал маркиз, – вы купили эту прелестную особу и превосходно поступили, ибо она и в самом деле очаровательна; вы познакомились с нею ближе, что вполне естественно, и тогда обнаружилось, что у вас у обоих есть все основания быть недовольными нашим бедным шевалье д'Ангилемом. И тогда вы сказали друг другу: «Мы оба горим ненавистью к одному и тому же человеку, станем же мстить ему вместе». Тем временем вы прослышали, что во Франции просто не знают, чем бы еще позабавить короля, а так как вы человек с воображением, то вы и придумали это посольство. Браво, мой милый, браво! Ваша затея сулила множество выгод: вы получали возможность прикарманить те дары, какие его христианнейшее величество король Франции по доброте своей вручит вам в обмен на те безделки, которые вы привезли ему от имени своего повелителя, из-за чего тот по вашей милости прослывет скрягой. А наша прелестная дама подумала: «Я заставлю д'Ангилема вернуть мне наследство, доставшееся ему после смерти моего отца, и потребую у него свое приданое». Ваше первое желание вполне справедливо, а вот второе – уже вовсе несправедливо, ибо вы, сударыня, не принесли мужу никакого приданого. Порешив на этом, вы оба приехали в Париж, а случай помог вам даже сверх всяких ожиданий. Вы узнали, что шевалье д'Ангилем собирается жениться, и дождались, пока брак его был заключен. Когда все совершилось и уже ничего нельзя было изменить, вы тотчас принялись разрабатывать золотую жилу, оказавшуюся у вас под ногами. Прежде всего вы

решили вытянуть из д'Ангилема шестьсот тысяч ливров, играя на его страхе перед петлей, которая грозит всякому двоеженцу. Но это еще не все: после этого требования последовало бы другое, после первого вымогательства последовало бы второе, и вы бы припеваючи прожили всю свою жизнь под сенью сей благословенной виселицы, обирая шевалье, так что мало-помалу все наследство виконта де Бузнуа перешло бы в руки господина Афгано… Мне кажется, я попал в самую жилку, не так ли, сударь? Не так ли, сударыня? – продолжал маркиз, переводя свой взгляд, в котором светилась и насмешка и угроза, с Афгано на Сильвандир. – Какого черта! Ведь всякий француз себе на уме, как говаривал Буало-Депрео, которого вы, сударыня, должно быть, читали в юности!

Сильвандир и Афгано были совершенно раздавлены, они опустили головы, точно преступники перед судьей.

– А теперь, – снова заговорил Кретте, – посмотрим правде прямо в глаза: шевалье д'Ангилема могут повесить как двоеженца, господина Афгано могут четвертовать за неслыханный обман и мошенничество, а госпожу Сильвандир могут упрятать в Сен-Лазар как особу легкого поведения. И потому обсудим все спокойно. Вы, дражайший господин Афгано, получили от короля Франции миллион или около того. А для вас, драгоценнейшая Сильвандир, вот в этом бумажнике лежат триста тысяч ливров – наследство вашего отца. Кроме того, господин индиец, у вас, если не ошибаюсь, еще около двух миллионов собственных средств. Все вместе, коли я верно считаю, составляет три миллиона триста тысяч ливров; деньги это немалые, и, располагая такой круглой суммой, вы можете отправиться

в Триполи, Константинополь, Каир, Исфахан, Пекин – словом, куда угодно, и повсюду будете жить в роскоши. Я против этого ничего не имею.

– Господин маркиз, – сказал Афгано, – клянусь вам, я завтра же уеду.

– Минуту! Минуту! Разумеется, вы уедете, и это отвечает моему желанию. Однако уедете вы при соблюдении двух небольших условий, о которых я вам сейчас скажу.

– Говорите, милостивый государь, я вас слушаю.

– Вы, сударь, поклянетесь, что вашей ноги больше никогда не будет в Париже.

– Клянусь.

– Я вам верю: страх, который вы испытываете перед разоблачением, – верная порука тому, что вы не нарушите своей клятвы; вот почему я и не потребую иной гарантии, кроме вашего слова, я и так не сомневаюсь, что никогда больше вас не увижу.

Индиец поклонился.

– А вот с вами, сударыня, дело обстоит иначе, – продолжал Кретте. – Как только вы оба отсюда уедете, я буду лишен возможности доказать, что вы, сударь, – самозванец и обманщик, а вы, сударыня, – сообщница господина Афгано. А ведь может случиться, что в один прекрасный день вы расстанетесь друг с другом и вам, любезная Сильвандир, захочется возвратиться к своему супружескому очагу в доме шевалье д'Ангилема; для нас это было бы весьма стеснительно, ибо у этого очага есть место только для двоих. Вот почему я не могу положиться на одно ваше честное слово, сударыня; вам еще придется написать небольшое письмецо, которое я сам продиктую, и когда

письмецо это будет у меня в руках, вы, сударыня, сможете уехать хотя бы на край света.

У Сильвандир вырвался негодующий возглас.

– Это совершенно необходимо, – отрезал маркиз. – Согласен, что это весьма неприятно: ехать с тем, чтобы диктовать свои условия, а вместо того быть вынужденной принимать условия других; однако это conditio sine qua non[23].

– А если я откажусь? – спросила Сильвандир.

– Тогда, выйдя отсюда, я отправлюсь к начальнику полиции, расскажу ему о небольшом мошенничестве, затеянном вами обоими, и через полчаса вы окажетесь в Бастилии.

– Но мы ведь не беззащитны, маркиз, – сказала Сильвандир, – мы прибыли сюда, предварительно приняв свои меры предосторожности. И у нас есть могущественные покровители.

– Речь, видимо, идет не о маркизе де Руаянкуре, ибо я имел честь насквозь проткнуть его шпагой; а потому, полагаю, вы изволите говорить об иезуитах.

– Возможно.

– Увы, дражайшая госпожа д'Ангилем! Хоть вы и частенько посещали этих господ, но знаете их еще плохо. Вы бросите тень на иезуитов, коли сошлетесь на них. А они не такие простаки и, не задумываясь, принесут вас в жертву.

– Это правда, сущая правда! – пробормотал Афгано.

– В таком случае, – проговорила Сильвандир, – выходит, я должна согласиться…

---

[23] Непременное условие (*лат.*).

– …на то, чего требует господин де Кретте, моя дорогая, – подхватил индиец. – Поверьте мне, так будет благоразумнее.

– А если я напишу это письмо, поклянетесь ли вы, что позволите нам спокойно уехать из Франции, захватив с собою все наши деньги, и не станете чинить нам никаких помех?

– Я, маркиз Альфонс де Кретте, клянусь вам в этом своей честью.

– Я готова, сударь, – сказала Сильвандир, присаживаясь к столу, где лежали бумага и перья и стояла чернильница. – Диктуйте, я пишу.

«Из Туниса, 11 октября 1713 года.

Господин д'Ангилем!

До меня дошли слухи, что Вы все еще убиваетесь и горько оплакиваете мою гибель. Не стоит: я жива; когда я упала в море, то притворилась, будто тону, чтобы таким способом освободиться от власти супруга, которого, несмотря на все внимание с его стороны, я так и не смогла полюбить, и оказаться наконец в объятиях человека, которого боготворила. Теперь, милостивый государь, я стала его женой; наш союз освящен совсем иными божескими и человеческими законами, и Вы меня никогда больше не увидите. Я умерла для всех, и прежде всего для Вас. А потому считайте себя с этой минуты вдовцом, человеком, совершенно свободным от брачных уз.

Будьте же счастливы, как счастлива я сама, – вот чего желает Вам на прощание та, что звалась некогда

Сильвандир д'Ангилем.

P.S. Письмо это вручит Вам надежный человек, которого мой муж посылает во Францию».

– Какую службу сослужит вам это письмо? – спросила Сильвандир, надписав и запечатав конверт и протягивая его маркизу.

– Вы это узнаете, сударыня, если когда-либо нарушите свое обещание и тем самым принудите нас прибегнуть к нему.

Поклонившись Афгано и Сильвандир, маркиз направился к двери, отворил ее и с порога громко возгласил, чтобы его слышали слуги:

– Ваше превосходительство, соблаговолите принять мои уверения в совершенном почтении!

Афгано даже не пошевелился: он все еще не в силах был прийти в себя после того, что произошло. Но Сильвандир последовала за Кретте.

– Маркиз, – едва слышно спросила она, проходя вместе с ним через приемную, – скажите мне чистосердечно: его жена хороша собой?

– Не так хороша, как вы, сударыня, – отвечал Кретте, – но любит она его гораздо больше.

– Что поделаешь! – воскликнула Сильвандир. – Мне так хотелось стать принцессой.

– Еще одно такое замужество, сударыня, – откликнулся маркиз, – и вы достигнете своей цели: ведь вы уже супруга посла.

Сильвандир испустила глубокий вздох и медленно возвратилась во внутренние покои особняка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маркиз де Кретте сел в свою карету, пустил лошадей вскачь и поспешил в особняк д'Ангилема.

Он застал Констанс в маленькой гостиной: она сидела там одна и горько плакала оттого, что муж ее так озабочен и угрюм.

– Роже полагал долгом чести, – шептала она, – сдержать данное мне слово, но, без сомнения, он больше не любит меня.

Когда Кретте отворил дверь, она подумала, что это пришел за нею Роже, быстро поднялась и поспешила ему навстречу, но, увидев, что это маркиз, снова упала в кресло.

Кретте понял, что происходит в душе несчастной молодой женщины; он подошел ближе и принялся утешать ее.

– Полно, полно, – сказал он, – вытрите свои прелестные глазки, дорогая Констанс, и вернемся в гостиную. Вот увидите: через четверть часа Роже преобразится, и в будущем он вас никогда больше не огорчит.

Он подал ей руку, и они направились в большую гостиную.

Послушный приказу, у двери стоял Бретон.

Маркиз де Кретте сделал ему знак подойти, слуга подчинился.

– Друг мой, – сказал маркиз, – распахни настежь двери и самым торжественным голосом доложи о приходе госпожи д'Ангилем.

У Бретона не было никаких оснований мешать жене и ближайшему другу своего хозяина войти в гостиную, он послушался, распахнул дверь и, набрав побольше воздуха в

легкие, громогласно возгласил столь грозное для шевалье имя:

– Госпожа д'Ангилем!

Роже в это время с трудом поддерживал беседу с д'Эрбиньи и виконтом де Безри в самом укромном уголке гостиной; при этих словах он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, упал в кресло и закрыл лицо руками.

В гостиную, сияя улыбкой, вошла Констанс: маркиз де Кретте вел ее под руку.

Они подошли вплотную к шевалье; он слышал звук их шагов, но не решался поднять глаза, ему хотелось бы провалиться сквозь землю, и как можно глубже.

– Что с тобою, друг мой? – спросил Кретте, ударяя Роже по плечу, отчего тот задрожал всем телом. – Что с тобой? Ведь это же Констанс.

Шевалье поднял голову и с испугом посмотрел на маркиза.

– Кретте! Констанс! Это вы?! – вскричал он. – А я-то подумал… Простите меня!

– О чем ты подумал? Видишь, за тобой пришла госпожа д'Ангилем, а ты чего-то испугался, – проговорил Кретте, пожимая руку Роже и незаметно передавая ему при этом письмо Сильвандир. – Уже одиннадцать часов, шевалье, твоя жена устала, вам пора идти…

– Да, да! – воскликнул Роже. – Хоть на край света, если понадобится.

– Нет, зачем же так далеко, – возразил маркиз. – Теперь это уже ни к чему.

Пока молодожены шли через гостиную, направляясь в свои покои, Кретте сказал, обращаясь к гостям:

– Да, вы еще не знаете последние новости: персидский посол уезжает завтра утром со своею свитой. Господа и дамы, я приглашаю вас посмотреть на этот отъезд – кортеж тронется в путь из Шайо.

– Нет, мы не пойдем, – сказала Констанс, отворяя дверь в спальню.

– Мы не пойдем, – подхватил Роже, затворяя за собой дверь.

На следующий день маркиз де Кретте сообщил своему другу о двух обещаниях, которые он дал от его имени мадемуазель Пуссет, причем первое из них он уже скрупулезно выполнил накануне, вручив актрисе двадцать тысяч ливров.

Шевалье был человеком чести и не мог допустить, чтобы его друг прослыл лжецом, а потому мы не сомневаемся, что в подходящее время и в подходящем месте второе обещание было выполнено с такой же обязательностью.

Излишне говорить, что еще до сих пор на Констанс и на Роже указывают как на образцовую супружескую чету, – разумеется, не в Париже, где назидательные примеры быстро забываются, а в Лоше и его окрестностях.

САЛЬТЕАДОР

I. СЬЕРРА-НЕВАДА

Среди горных цепей, избороздивших Испанию от края до края, от Бильбао до Гибралтара и от Аликанте до мыса финистер, спору нет, самая поэтическая и по своему причудливому абрису, и по историческим преданиям – Сьерра-Невада, которая как бы продолжает Сьерру-де-Гуаро и отделена от нее лишь живописной долиной, где берет начало один из истоков Орхивы, небольшой реки, что низвергается в море между Амульнекаром и Мотрилем.

Еще и поныне арабский дух там жив во всем – в нравах, одежде, в названиях городов, в памятниках и пейзажах, хотя вот уже два с половиной столетия миновало с тех пор, как мавры[24] покинули королевство Альмохадов[25].

Надо сказать, что земля эта, которою сыны пророка завладели из-за предательства графа Хулиана[26], была для них землей обетованной. Андалусия, расположенная между Африкой и Европой, так сказать, край серединный, – она наделена красотами одной и богатствами другой, но лишена их неприятных, тягостных особенностей: тут растительность, пышную, как в Митидже[27], орошают про-

---

[24] *Мавры* – старинное название населения Северной Африки, берберов и арабов; в Испании так называли вторгшихся в начале VIII в. из Африки арабов, а также обращенных в ислам туземцев, образовавших в 755 г. самостоятельное мусульманское государство. К концу XV в. они были побеждены испанцами и частично переселились в Африку.

[25] *Альмохады* – берберская династия, правившая Северной Африкой и половиной Испании с 1146 г. по 1269 г.

[26] *...граф Хулиан* – легендарный правитель Андалусии.

[27] *Митиджа* – живописная плодородная долина в Алжире.

хладные воды Пиренеев; тут нет испепеляющего зноя Туниса, ни жестоких морозов России. Привет тебе, Андалусия, сестра Сицилии, соперница Канарских островов!

Живите, любите и умирайте беззаботно, будто вы в Неаполе, если вам повезло и вы – обитатель Севильи, Гранады, Малаги!

Кстати говоря, в Тунисе мне довелось встретить мавров, которые показывали мне ключ от их дома в Гранаде.

Ключ перешел к ним от предков, а они намеревались завещать его своим потомкам. И если когда-нибудь их дети вернутся в град Абн-аль-Хамар, то найдут дом, где жили их предки, и увидят, что за 244 года – с 1610 по 1854 год – тут почти ничего не изменилось, если не считать, что многолюдное полумиллионное население сократилось до восьмидесяти тысяч душ и заветный ключ откроет, по всей вероятности, двери пустого дома или же дома, в котором нерадивые преемники даже не потрудились переменить замок.

И в самом деле, ничего испанского не выросло на той земле, где пальмы, кактусы и алоэ – самая естественная растительность; да, ровно ничего, даже дворец, который начали возводить по повелению благочестивого Карла V[28], не пожелавшего жить в обиталище эмиров и халифов, но над дворцом высится Альгамбра[29], а он так и не поднялся выше первого этажа под насмешливым взором своей соперницы.

---

[28] *Карл V* (1500-1558) – Карлос I – король Испании с 1516 г. и германский император с 1519 г. по 1556 г., стоявший во главе громадной империи. Карл опирался на инквизицию и жестоко подавлял народные выступления, в 1556 г. отрекся от престола.

[29] *Альгамбра* – крепость-дворец мавританских властителей в Гренаде, построена в XIII–XIV вв.

Итак, край этот – чудесная сокровищница искусства и цивилизации, уровня которых никогда не достичь его нынешним обитателям, последний осколок и последний оплот арабской империи в Испании, – красуется на побережье Средиземного моря и тянется от Тарифы[30] до Альмасарона на протяжении приблизительно ста двадцати пяти лье и на тридцать пять – сорок лье вдается в глубь страны – от Мотриля до Хаена.

Сьерра-де-Гуаро и Сьерра-Невада пересекают две трети этих земель.

С вершины Муласена – самого высокого пика горной цепи – можно сразу охватить взглядом рубежи этого края.

На юге Средиземное море обширным синим покрывалом протянулось от Альмунекара до Алжира, на севере плодородная долина Гранады огромным зеленым ковром раскинулась от Уэльмы до Венты Карденьяса.

А на востоке и западе без конца и края протянулся необъятный горный хребет со снежными вершинами, и каждый гребень напоминает замерзшую волну, взметнувшуюся к небу.

И наконец, внизу справа и слева от этого моря льда – океан гор, постепенно переходящих в холмы с вершинами, покрытыми седым лишайником, а пониже – красноватым вереском, темной зеленью елей, еще ниже – зелеными дубами, желтым пробковым дубом, а затем видишь деревья разных пород, сочетания всевозможных оттенков; в просветах коврами раскинулись поляны, заросшие земляничником, мастиковым деревом и миртами.

---

[30] *Тарифа* – город-крепость в Андалусии, на Гибралтарском проливе, крайняя южная точка Испании.

Ныне три дороги – одна из Мотриля, другая из Велес-Малаги, а третья из Малаги – пересекают снеговую сьерру и приводят вас с морских берегов в Гранаду, причем первая проходит через Хаен, вторая через Алкаасин, последняя – через Кольменар.

Но в ту пору, когда началась наша история, а именно в июньские дни 1519 года, дорог еще не было, или, вернее, их только обозначили еле приметные тропинки, по которым шагали с дерзкой самоуверенностью arrieros да их мулы.

Тропинки эти нечасто пробегали по ровной местности, а вились по ущельям и горным кручам, то взлетая вверх, то сбегая вниз, словно кто-то нарочно проложил их так, чтобы испытать стойкость путешественника. Порой узкая спираль тропы поднималась вокруг скалистой вершины, вздымавшейся, как исполинская египетская пирамида, и путешественник буквально повисал вместе со своим беспечным мулом над бездной, в которой тонул его обезумевший от ужаса взгляд. И чем круче был подъем, тем раскаленнее становились скалы и тем опаснее становился путь, и человек вместе со своим мулом, казалось, вот-вот сорвется с каменистой дорожки, ибо путники, проходя по ней, сгладили все неровности и в конце концов она стала гладкой и скользкой, как мрамор.

Правда, миновав орлиное, гнездо по названию Альхама[31], дорога становилась легче и по довольно отлогому склону, если странник отправлялся в путь в Гранаду из Малаги, спускалась в долину Хаены, зато тут на смену опасности, так сказать, физической, приходила другая, не

---

[31] *...орлиное гнездо по названию Альхама...* – селение в провинции Гранада.

менее страшная: обе стороны дороги щетинились крестами, испещренными зловещими надписями.

Кресты эти были воздвигнуты над могилами убитых разбойниками путников, которые в те смутные времена[32] населяли горный край Кордовы и Гранады – Сьерру-Морену и Сьерру-Неваду.

Надписи на крестах не оставляли никакого сомнения в том, какой смертью пали те, кто покоился под их сенью.

Пересекая горные хребты три века спустя после тех путешественников, которых мы сейчас покажем нашим читателям, мы видели кресты, подобные тем, что мы описываем, видели на их перекладинах, навевающих уныние, такие слова, весьма мало утешительные для тех, кто их читает:

ЗДЕСЬ
БЫЛ УБИТ ПУТЕШЕСТВЕННИК.
МОЛИТЕСЬ ГОСПОДУ БОГУ ЗА ЕГО ДУШУ

Или:

ЗДЕСЬ
БЫЛИ УБИТЫ СЫН И ОТЕЦ.
ОНИ ПОКОЯТСЯ В ОДНОЙ МОГИЛЕ.
ДА БУДЕТ С НИМИ МИЛОСТЬ БОЖЬЯ!

Но чаще всего встречалась такая надпись:

AGUI MATARON UN HOMBRE

---

[32] *Смутные времена.* – Речь идет о народных восстаниях (в 1519–1521 гг.) против королевской власти.

А это просто-напросто означает – здесь убит человек.

Своеобразный список убиенных тянулся на протяжении полутора-двух лье, почти по всей долине, затем путники пересекали ручей, который, обогнув деревню Касен, впадает в Хениль, и попадали в другую часть горного края. Тут сьерра, надо признаться, была чуть ниже и легче было преодолеть подъемы. Тропинка терялась в огромном сосновом бору, позади оставались узкие ущелья и отвесные скалы. Вы словно попадали в более спокойные края, и после перехода в полтора лье по извилистой горной тропе, затемненной деревьями, перед вами открывались поистине райские места, куда вы и спускались по пологому склону, покрытому зеленым ковром травы. Там росли желтые душистые цветы, шиповник с алыми плодами, кусты, усыпанные ягодами, по виду схожими с земляникой, а по вкусу – с бананами, но не с теми отменными ягодами, которые они напоминают.

Добравшись до этих мест, странник мог с облегчением вздохнуть, ибо, очевидно, он избавился от двойственной опасности, которую избежал чудом, – опасности разбиться насмерть в пропасти или погибнуть от руки разбойников.

И в самом деле, слева от дороги, приблизительно в четверти лье, виднелось убежище – небольшое белое здание, стены которого, казалось, сделаны были из мела – не то постоялый двор, не то крепость. Над воротами висел портрет какого-то человека – смуглое лицо, черная борода, тюрбан на голове и скипетр в руке.

Надпись над портретом гласила:

AL REY MORO

Хотя ничто не указывало, что мавританский король, под защитой которого процветал постоялый двор, был последним властелином Гранады, тем не менее тот, кто не был совершенно чужд прекрасному искусству живописи, понял бы, что художник задумал изобразить сына Зорая, Абу Абала, по прозванию Аль-Закир – его-то Флориан[33] и вывел под именем Буабдила[34], сделав одним из главных персонажей своей поэмы «Гонсальво де Кордова[35]».

Мы поспешили поступить так, как поступали путешественники, – пустили лошадь галопом, торопясь добраться до постоялого двора, и поэтому даже не потрудились взглянуть мимоездом на одну особу – сначала она, пожалуй, показалась бы невзрачной, однако заслуживает особого описания.

Правда, она притаилась под сенью старого дуба, за холмом.

То была девушка шестнадцати – восемнадцати лет, по некоторым признакам она, казалось, принадлежит к мавританскому племени, по другим же признакам она имела право занять место в большой европейской семье; быть может, в ней соединились две расы, и она как бы являла собой промежуточное звено – в ней с удивительным своеобразием сочетались жгучая, чарующая обольстительность южанки и нежная пленительная красота невинной девушки-северянки.

---

[33] *Флориан* Жан-Пьер Кларис (1755–1794) – французский баснописец, автор поэм, новелл и пьес.

[34] *Буабдил,* Мохаммед XI, Абу-абд-Атла – мавританский правитель Гранады с 1482 г. по 1483 г. и с 1486 г. по 1492 г., год отвоевания Испании у мавров.

[35] *Гонсальво де Кордова* (1443–1515) – испанский полководец.

Иссиня-черные волосы цвета воронова крыла, ниспадая на грудь, обрамляли ее продолговатое, безупречно очерченное лицо, и было в нем что-то горделивое; огромные глаза, голубые, как подснежники, ресницы и брови под цвет волос, кожа матовая, молочно-белая, губы свежие, будто вишни, зубы краше жемчуга, шея грациозная и изящная, как у лебедя, руки, пожалуй, чуть длинноватые, зато безукоризненной формы, стан гибкий, словно лоза, глядящая в воды озера, или пальма, что покачивается в оазисе, хорошенькие босые ножки – вот такой была незнакомка, на которую мы позволили себе обратить внимание читателя.

Наряд у девушки был оригинальный и пестрый, голову украшал венок из пышных веток жасмина, сорванных с живой изгороди дома, который мы уже описали, темно-зеленые листья и алые ягоды чудесно сочетались с копной черных волос. Шею ее украшала цепь из плоских колец, величиной с золотую монету, нанизанных тесным рядом и отбрасывающих блики, рдевшие, как отсветы пламени. Платье ее причудливого покроя, сшитое из той шелковой ткани в две полоски – одну белую, другую цветную, – какую в те времена ткали в Гранаде и еще в наше время выделывают в Алжире, Тунисе и Смирне. Стан ее охватывал севильский пояс с золотой бахромой – такие пояса и ныне носит щеголь, что с гитарой под полой крадется к своей возлюбленной, чтобы пропеть ей серенаду. Если бы пояс и платье были новыми, в глазах бы, пожалуй, рябило от резкого сочетания ярких красок, до которых большие охотники арабы и испанцы, но все пообтерлось и выцвело от долгой носки, и наряд стал прелестен и в те

времена пленил бы взор Тициана, а позже привел бы в восторг Веронезе[36]. Но всего удивительнее было, – впрочем, такую странность встретишь чаще всего в Испании, а в те времена особенно, – так вот, всего своеобразнее было несоответствие богатого наряда с будничным занятием девушки. Она пряла пряжу, сидя на большом камне у подножия одного из тех крестов, о которых мы уже говорили, в тени громадного зеленого дуба, спустив ножки в ручей; искристая вода прикрыла их серебристой вуалью.

Поодаль по скалистым уступам скакала козочка, ощипывая листья с куста горького ракитника; по словам Вергилия, это неугомонное, бесстрашное существо – обычное достояние неимущего.

Девушка вращала прялку левой рукой, вытягивая нить правой, поглядывала на свои ножки, вокруг которых струилась и журчала вода, и напевала вполголоса какую-то песенку, – пожалуй, она не выражала ее мысли, а скорее вторила внутреннему голосу, шептавшему о чем-то в глубине ее сердца, неслышно для других.

То и дело девушка-певунья, перестав петь и работать, окликала козочку – нет, она не подзывала ее, а словно хотела дружески подбодрить и называла ее по-арабски «маза»; всякий раз козочка, услышав это слово, норовисто трясла головой, звенел ее серебряный колокольчик, и она продолжала щипать траву.

Вот слова песенки, которую напевала девушка с прялкой, песенки тягучей и монотонной, мотив которой с дав-

---

[36] *Веронезе* Паоло (1528–1588) – итальянский живописец венецианской школы, изображал в своих произведениях пышную и праздничную сторону жизни Венеции.

них пор сохранился и в долинах Танжера[37], и в горах Кабилии[38].

Заметим, что это был романс[39], известный в Испании под названием «Песнь короля дона Фернандо[40]».

О возлюбленная Гранада,
Восхищенных очей отрада,
Стань, Гранада, моей женой!
И прими от моих Кастилий
В дар три крепости в полной силе
И три города, что застыли
В пене каменной кружевной.
Ты пошарь своей ручкой узкой
В той шкатулочке андалусской,
Что мне господом вручена.
Выбирай все, что сердцу мило!
Коль Хиральда[41] тебя пленила -
У Севильи, что мне постыла,
Будет отнята вмиг она.
И пускай возропщет Севилья,
И пускай возропщет Кастилья,
Ты тревожиться не изволь.
Услужить тебе сердце радо,
Мне нужна лишь одна награда –

---

[37] *Танжер* – город на северо-западе Африки.

[38] *Кабилия* – область на севере Алжира, горный край.

[39] *Романсы* – древнейшая форма испанской поэзии на кастильском наречии.

[40] *Король дон Фернандо* – Имеется в виду Фердинанд V Католик (1452–1516), король Арагона, а затем и Кастилии (после женитьбы на Изабелле Кастильской).

[41] *Хиральда* – башня в Севилье, памятник мавританской архитектуры в Испании, воздвигнута в 1184–1196 гг.

Мне ворота открой, Гранада, –
Дон Фернандо я, твой король.

Тут она подняла голову, собираясь окликнуть козочку, но так и не успела произнести ни слова – голос ее осекся, а взгляд остановился на повороте дороги, идущей из Альхамы. Вдали появился всадник – он мчался галопом по горному склону, иссеченному широкими полосами света и тени, в зависимости от того, часто или редко росли там деревья.

Девушка посмотрела на него и снова принялась за работу, но, продолжая прясть, почему-то стала рассеянной и, чутко прислушиваясь к стуку копыт, который раздавался все ближе и ближе, запела песенку – «Ответ королю дону Фернандо»:

Дон Фернандо, и я не скрою,
Что люблю тебя всей душою,
Но, с учтивостью не знаком,
Мавр меня как рабыню держит,
Лишь цепями меня он нежит,
Лишь во сне мне свобода брезжит, –
Видно, век мне жить под замком!

II. ГОНЕЦ ЛЮБВИ

Когда девушка пела последний куплет, всадник был уже так близко, что она могла, подняв голову, разглядеть и его костюм, и его лицо.

Он был красив и молод, лет двадцати шести, в широ-

кополой шляпе с огненно-красным пером, которое реяло в плавном полете.

Поля шляпы отбрасывали тень на лицо, и в полусвете сверкали черные глаза – очевидно, они легко могли вспыхнуть и пламенем гнева, и пламенем любви. Нос у него был прямой, точеный, усы чуть подкручены кверху, и между ними и бородкой поблескивали зубы, белые и острые.

Несмотря на жару, а пожалуй, именно из-за жары, он был в кордуанском плаще – накидке, которая кроится на манер американского пончо с вырезом посредине и надевается через голову. Она прикрывала всадника от плеч до голенищ сапог. Накидка эта из шерстяной ткани того же огненно-красного цвета, что и перо на шляпе, затканная золотом по краям и вокруг выреза, как и весь его наряд, была необыкновенно изящна.

Ну а конь, которым он искусно управлял, великолепный скакун лет пяти-шести, с могучей шеей, развевающейся гривой, широкой спиной, хвостом до земли, был той редкостной масти, которую последняя королева Кастилии Изабелла[42] недавно ввела в моду. Кстати говоря, просто непостижимо, как в азарте, охватившем всадника и лошадь, они могли промчаться по крутым тропинкам, которые мы попытались описать, как не сверзлись они в пропасти Алькаасина или Альхамы.

Испанская поговорка гласит: у пьяных есть свой бог, у влюбленных – своя богиня. На пьяного наш всадник похож

---

[42] *Изабелла* (1451–1504) – королева Кастилии, с 1469 г. замужем за Фердинандом V Католиком. Поддерживала планы Христофора Колумба открыть новые земли. Способствовала введению инквизиции.

не был, зато, надо признаться, как две капли воды походил на влюбленного.

И это сходство становилось неоспоримым оттого, что он даже не взглянул на девушку, вероятно, и не заметил ее, ибо смотрел только вперед, и, видно, в такую высь воспарил он душой, что стрелой пролетел мимо девушки, перед которой, безусловно, даже король дон Карлос, такой благоразумный и сдержанный, несмотря на свои девятнадцать лет, пожалуй, остановился бы – так она была хороша собой в тот миг, когда, вскинув голову и посмотрев на гордеца, прошептала:

– Бедный юноша!.. Какая жалость!

Почему же девушка жалела его? На какую опасность – в настоящем ли, в будущем – она намекала?

Быть может, мы об этом узнаем, если последуем за изящным всадником до харчевни «У мавританского короля».

Чтобы добраться до этой харчевни, куда он, видно, так спешил, ему пришлось преодолеть еще два-три небольших ущелья – в глубине одного из них и стояла девушка, мимо которой он проехал, не видя ее или, вернее, не обратив на нее внимания. Дорога шла по узкой долине шириной в восемь – десять футов, не больше, прорезая густые заросли миртовых кустов; то там, то здесь возвышались два, а то и три креста, означавших, что близость харчевни отнюдь не предохраняла путешественников от печального удела, и у тех, кто проезжал по этим дорогам, где уже погибло столько странников, должно быть, сердце было защищено тою броней из непробиваемого металла, о котором говорил

Гораций[43], вспоминая первого мореплавателя. Приближаясь к этим зловещим местам, всадник удовлетворился лишь тем, что проверил, по-прежнему ли висит шпага на его боку, а пистолеты – на луке седла, скорее машинально, а не от тревоги, ощупал их и, удостоверившись, что все обстоит благополучно, продолжал мчаться с тем же спокойным выражением лица по гиблым этим местам – или, как говорят в тех краях: el malo sitio.

Взлетев на перевал, он поднялся на стременах и стал искать взглядом харчевню, затем дважды пришпорил лошадь, и она, словно горя желанием угодить всаднику и став от этого неутомимой, ринулась в неширокую долину, напоминая послушливую лодку, что, взлетев на гребень волны, вновь несется вниз в пучину.

И то, как мало внимания обращал путешественник на дорогу, по которой мчался, и то, что его явно обуревало желание поскорее добраться до постоялого двора, имело два последствия.

Во-первых, он не заметил людей, притаившихся в засаде по обеим сторонам дороги в зарослях кустарника на протяжении по меньшей мере четверти лье; было их человек десять, и ни как охотники на облаве, растянулись на земле и старательно следили, чтобы не потухли фитили аркебуз, лежавших рядом. Заслышав топот копыт, все они, как один, упираясь коленом левой ноги и рукой о землю, схватили правой рукой дымящиеся аркебузы и прижали приклады к плечу.

---

[43] *...говорил Гораций, вспоминая первого мореплавателя...* – Гораций Квинт Флакк (65–8 гг. до н. э.) – знаменитый римский поэт.

Вторым последствием было то, что, видя, как стремительно мчится всадник на своем неутомимом коне, злодеи в засаде повели негромкий разговор о том, что всадника, без сомнения, поджидают в харчевне, что он туда завернет и, следовательно, поднимать стрельбу на проезжей дороге, выдавать себя нечего, – может статься, пройдет какой-нибудь. большой караван, сулящий кусочек пожирнее, чем добыча, которую захватишь, ограбив путника, пусть даже богача и щеголя.

Люди, притаившиеся в засаде, и были «могильщиками», – как подобает добрым христианам, они возводили кресты над могилами, уложив туда путешественников, неосмотрительно защищавших свои кошельки, когда эти лихие сальтеадоры с аркебузами в руках встречали их сакраментальной фразой, что почти одинаково звучит на всех языках и у всех народов: «Кошелек или жизнь!»

Должно быть, девушка знала об этой опасности и подумала о ней, когда, глядя на красавца всадника, проскакавшего мимо нее, невольно обронила со вздохом:

– Какая жалость!

Но мы уже видели, что разбойники в засаде, по той или иной причине, ничем не выдали своего присутствия.

Однако ж, подобно охотникам на облаве, с которыми мы их сравнили, что снимаются с места, когда дичь уходит, они высунули головы из-за кустов, затем выбрались из зарослей, вышли на дорогу и зашагали вслед за путешественником к харчевне, во двор которой уже влетели конь и всадник.

Во дворе его встретил служитель и с готовностью схватил лошадь под уздцы.

– Меру ячменя коню! Мне – стакан хересу. А для тех, кто скоро будет здесь, – обед. Да получше!

Не успел путешественник произнести эти слова, как в окне показался хозяин харчевни, а в воротах появились разбойники из засады.

Разбойники и хозяин обменялись понимающим взглядом – они словно спрашивали: «Выходит, мы хорошо сделали, что не схватили его?» А он, должно быть, отвечал:

«Отлично!»

Всадник тем временем стряхивал пыль с плаща и сапог и до того был этим занят, что даже не заметил, как они переглядываются.

– Входите же, любезный кавалер, – сказал хозяин. – Хоть постоялый двор «У мавританского короля» и затерялся среди гор, но, благодарение богу, кое-что у нас найдется. Кладовая полна дичи, нет только кролика – ведь это нечистое животное. Сейчас у нас жарится ollapodrida, и со вчерашнего дня готовится gaspacho, ну а если угодно, подождите: один из наших приятелей, отменный охотник на крупного зверя, сейчас гонится за медведем; повадился косолапый лакомиться моим ячменем, с горы за ним спускается. Так что скоро мы сможем попотчевать вас свежей медвежатиной.

– Ждать твоего охотника некогда, хоть предложение и заманчиво.

– Воля ваша, а я уж постараюсь вам услужить, любезный кавалер.

– Вот и славно. Хоть я и уверен, что сеньора, гонцом которой я вызвался быть, настоящая богиня и вкушает лишь аромат цветов, а пьет лишь утреннюю росу, но все же

приготовь самые отменные кушанья и покажи комнату, в которой думаешь ее принять.

Хозяин распахнул дверь в большую комнату, выбеленную известкой, с белыми занавесками на окнах и дубовыми столами, и сказал:

– Здесь.

– Хорошо, – одобрил проезжий. – Подай-ка мне стакан хересу да узнай, дали ли меру ячменя моему коню. И срежь в саду самые лучшие цветы для букета.

– Слушаюсь, – ответил хозяин. – А сколько приборов ставить?

– Два: для отца и для дочери. Челядь, услужив господам, поест на кухне.

– Будьте спокойны, любезный кавалер. Когда гость щедро платит, все делается быстро и хорошо.

И хозяин, словно торопясь подтвердить сказанное, вышел из комнаты и крикнул:

– Эй, Хиль, два прибора! Педро, ячмень коню задали? Амапола – мигом в сад за цветами.

– Превосходно, – промолвил всадник с довольной улыбкой. – Теперь мой черед.

Он снял с цепочки, висевшей на шее, золотой медальон старинной работы, величиной с голубиное яйцо, открыл его, положил на стол, принес из кухни горящий уголек, положил в золотую коробочку и присыпал уголек щепоткой порошка, – дым тотчас же развеялся по горнице, наполнив ее тем нежным и стойким ароматом, который ласкает ваше обоняние, когда вы входите в спальню арабской дамы.

Тут появился хозяин, держа в одной руке тарелку, на

которой стоял стакан с хересом, а в другой только что откупоренную бутылку; следом за ним шел Хиль, неся скатерть, салфетки и стопку тарелок; позади Хиля выступала Амапола с огромной охапкой пламенеющих цветов – во Франции они не растут, но в Андалусии так обычны, что я даже не узнал их названия.

– Выберите самые лучшие, – приказал девушке проезжий. – А остальные дайте мне.

Амапола взяла самые красивые цветы и, составив букет, спросила:

– Так хорошо?

– Превосходно, – ответил он, – перевяжите его.

Девушка поискала глазами веревку, бечевку, шнурок. Тогда проезжий выхватил из кармана ленту, отливавшую золотом и пурпуром, как видно, заранее припасенную для букета, и отсек кинжалом кусок.

Он передал ленту Амаполе, она перевязала букет и положила его по указанию молодого человека на одну из тарелок, которые Хиль только что расставил на большом столе.

А проезжий собственноручно разложил остальные цветы на полу от двери, выходившей во двор, до стола, так что образовалась пестрая дорожка наподобие тех, что устраивают в день святого причастия.

Затем он кликнул хозяина харчевни и сказал ему:

– Приятель, вот золотой за то, что я ввел тебя в расход.

Хозяин отвесил поклон.

– Ну а теперь, – продолжал молодой человек, – если дон Иниго Веласко де Гаро спросит тебя, кто заказал для него обед, скажешь, что проезжий, имя которого тебе неведомо.

Если донья Флора спросит тебя, кто сделал для нее дорожку из цветов, кто преподносит ей букет, кто курил благовония, ответишь ей, что все это сделал гонец любви дон Рамиро д'Авила.

И, вскочив на своего прекрасного коня, которого держал под уздцы служитель, он вихрем вылетел со двора таверны и галопом продолжал путь по направлению к Гранаде.

III. ДОН ИНИГО ВЕЛАСКО ДЕ ГАРО

Певунья, пасущая козочку, так и застыла у подножия одного из холмов, уже упомянутых нами, и не могла видеть, как всадник попал на постоялый двор, как выехал оттуда, зато она, казалось, настороженно прислушивалась и все ждала, не донесутся ли до нее какие-нибудь звуки, не угадает ли она по ним, что же там происходит, и она не раз устремляла ввысь недоуменный взгляд своих прелестных глаз, будто удивляясь, почему появление такого нарядного и богатого дворянина обошлось без бурных происшествий.

Разумеется, не слыша здесь, за холмом, разговора путешественника с хозяином таверны, она даже не догадывалась, из-за каких злодейских замыслов поклоннику доньи Флоры суждено было остаться целым и невредимым.

Надо сказать, что в тот миг, когда дон Рамиро д'Авила, отдав все распоряжения и подготовив таверну «У мавританского короля» к достойной встрече дона Иниго Веласко и его дочери, стремглав выехал за ворота и помчался по пороге в Гранаду, перед взором девушки возник верховой в нарядной одежде, скакавший во главе отряда всадников.

Отряд этот состоял из трех групп, отличных друг от друга.

Первая, авангард, как мы сказали выше, уже вырисовывалась на западном склоне невысокой горы и состояла из одного-единственного человека – слуги дона Иниго Веласко, однако, наподобие сицилийских campieri – слуг в мирное время и воинов в часы опасности, – одет он был в ливрею-мундир, сбоку прикрыт длинным щитом и держал прямо, как копье, прикладом к колену, аркебузу с горящим фитилем, не оставляя сомнения в том, что отряд даст отпор, если на него нападут.

Главное звено отряда, старик лет шестидесяти – шестидесяти пяти и девушка лет шестнадцати – восемнадцати, двигалось шагах в тридцати позади авангарда.

Замыкал цепочку арьергард, который двигался на таком же расстоянии от них, что и верховой, указывавший дорогу, в него входили двое слуг со щитом на боку, вооруженные дымящимися аркебузами.

Итак, всего двое господ и трое слуг.

В повествовании слугам уготовано весьма скромное место, зато главные роли суждено играть их господам, поэтому да будет нам позволено обойти молчанием Нуньеса, Камахо и Торрибио и особое внимание уделить дону Иниго Веласко де Гаро и его дочке, донье Флоре.

Дон Иниго Веласко, как мы уже говорили, был старик шестидесяти – шестидесяти пяти лет, хотя слово «старик» вряд ли подходит человеку, пусть и преклонных лет, но моложавому.

В самом деле, и борода, едва тронутая сединой, и

длинные волосы во вкусе Филиппа Красивого[44] и Фердинанда Католика, чуть посеребренные инеем, подходили человеку пятидесяти – пятидесяти пяти лет, не больше.

Однако ж, на свою беду, как и все те, у кого была достославная молодость, он не мог скрыть своего возраста, ибо часто, в разные времена, оставлял глубокий след в истории своей страны. В тридцать лет дон Иниго Веласко, носивший одну из знаменитейших фамилий, наследник одной из богатейших семей Кастилии, воспылал страстью к приключениям, полюбив девушку, на которой не мог жениться, ибо отец доньи Мерседес де Мендо (так звалась эта королева красоты) был врагом его отца и оба поклялись в вечной ненависти; повторяем, в тридцать лет дон Иниго Веласко, – а наставником его был отец Марчена, первый пастырь королевства, который, невзирая на опасность, пошел наперекор Святому писанию и согласился с предположением Христофора Колумба о том, что земля круглая, так вот, дон Иниго тоже пришел к этой мысли и скорее от отчаяния, нежели из убежденности стал последователем теорий генуэзского мореплавателя, содействуя его замыслам.

Известно, сколько довелось выстрадать при дворе католических королей этому мученику, этому гению, которого даже самые незлобивые советники Изабеллы и Фердинанда считали мечтателем и безумцем; после того как он, не добившись успеха у себя на родине – в Генуе, где поведал всем о своем замысле, о том, что, направляясь на

---

[44] *Филипп Красивый* (1478–1506) – король Кастилии, эрц-герцог Австрийский, отец Карла V.

запад, можно достигнуть империи Катай, упомянутой его предшественником – Марко Поло[45], после того как Иоанн II[46], прогнав Колумба, предательски повелел одному лоцману попытаться осуществить план экспедиции, которую во всеуслышание называли бессмысленным предприятием, Колумб предстал перед королем Арагона Фердинандом и королевой Кастилии Изабеллой, посулив обогатить Испанию, одарив ее не городом, не провинцией, не королевством, а целым миром.

Восемь лет прошли в тщетных хлопотах и ходатайствах.

Но счастье прославленного генуэзца, – а мы уже не раз рассуждали о том, что в его жизни незначительные причины часто порождали значительные последствия, – так вот, на счастье прославленного генуэзца, по воле провидения в ту пору, когда он, Христофор Колумб, намеревался пуститься в путешествие, именно в ту пору, когда владычество калифов в Испании пало вместе со своим последним оплотом, – племянник одной из самых близких подруг королевы до безумия влюбился в девушку, жениться на которой у него не было никакой надежды.

Мы раболепно просим прощения у любви за то, что отнесли ее к числу причин незначительных. Так или иначе, причина эта, будь она незначительной или значительной, породила важные последствия.

Имя племянника нам уже известно – дон Иниго Веласко, князь де Гаро. Имя его тетки – Беатриса, маркиза де Мойя.

---

[45] *Поло Марко* (1254–1323) – итальянский путешественник, венецианец. В 1271–1295 гг. совершил путешествие в Китай.

[46] *Иоанн II* (1455–1495) – король Португалии с 1481 г.

Итак, самой любимой подругой, самой близкой поверенной королевы была маркиза де Мойя. Пока отмечаем это для памяти, чтобы возвратиться к этому немного погодя.

Веласко решил покончить счеты с жизнью и был бы убит, если бы смерть не отступала перед ним, как отступает перед людьми бесстрашными. В битвах, которые католические короли вели против мавров, он постоянно сражался в первых шеренгах: он был среди тех, кто брал приступом крепости Иллора и Моклина – эти укрепления столицы были так важны, что их называли глазами Гранады; участвовал в осаде Велеса, когда zagal Абу Абала попытался снять осаду с города и его войска были отброшены с огромными потерями; он участвовал в захвате Хибальфаро, когда город Ибрагима был захвачен с бою и разграблен; был он, наконец, под стенами столицы Буабдила, когда, как говорят испанцы, съев гранат зернышко за зернышком – другими словами, завоевав королевство город за городом, – католические короли обложили войсками старый город, возвели вокруг него новый с домами, церквами, крепостными укреплениями и назвали его Санта-Фе в знак того, что они выполнят обет и не снимут осады, покуда Гранада не сдастся.

Гранада сдалась 25 ноября 1491 года – в 897 году хиджры , 22 дня месяца Мохаррема.

Для Колумба, который выжидал целых восемь лет, наступило время действовать; король Фердинанд и королева Изабелла завершили дело, начатое Пелагием[47] семь веков тому назад: они расправились с неверными в Испании.

---

[47] *Пелагий* – король Астурии (718–737), основатель первой испанской монархии, усиленно боролся против арабского нашествия.

И Колумб предложил снарядить экспедицию, заявив, что главная ее цель – обращение неверных некоего Нового Света.

А чтобы достичь этой цели, просил дать в его распоряжение всего две каравеллы, экипаж в сто человек и три тысячи крон.

Говорил он не только о цели религиозной, но и о материальных благах, какие принесет экспедиция, о неисчислимых золотых россыпях, бесценных алмазных копях.

Что же мешало алчному Фердинанду и благочестивой Изабелле попытать счастья в предприятии, которое и с мирской, и с духовной точки зрения – во всех отношениях задумано было удачно?

Сейчас мы расскажем о том, что им мешало.

Христофор Колумб заранее добивался высокого вознаграждения, достойного его службы, а именно – чина адмирала испанского флота, титула вице-короля всех тех земель, которые он намеревался открыть, десятую часть тех доходов, которые принесет экспедиция, и сохранения за своими потомками по мужской линии всех титулов и почетных званий, какие ему будут пожалованы.

Требования эти казались непомерными, тем более что Христофор Колумб, хоть он и уверял, что является потомком одного из самых знатных родов Пьяченцы, хоть он и писал королеве Изабелле о том, что, если она назначит его адмиралом, он будет не первым адмиралом в его роде, но предъявить доказательства, подтверждающие его благородное происхождение, он не мог, и при дворе толковали, что он якобы просто-напросто сын бедного ткача не то из Когорзо, не то из Нерви.

В конце концов требования Колумба повергли в негодование гранадского архиепископа Фердинанда Талавеpу[48], которому их католические величества поручили изучить проект «генуэзского лоцмана» – так обычно называли при дворе Христофора Колумба.

Особенно же возмутили архиепископа требования десятой части всех доходов, что в точности совпадало с налогом взимаемым церковью и называемым «dixme», и уязвляло щепетильную, возвышенную душу дона Фердинанда Талаверы.

Итак, бедняге Колумбу не повезло, ибо остальные три его требования – и о получении высокого чина адмирала, и о получении титула вице-короля, и, наконец, о получении права наследования этого титула, как это принято в королевском или княжеском роде, оскорбили гордость Фердинанда и Изабеллы, ибо самодержцы тех времен еще не привыкли относиться к людям незначительным, как к себе подобным, а Колумб, человек неимущий и безродный, говорил с ними с такой самоуверенностью, будто голову его уже украшал золотой венец Гваканагари[49] или Монтесумы[50].

Вот почему после ожесточенного спора в совете, где у Христофора Колумба было только два сторонника – дон Луис де Сент-Анхель, сборщик церковных доходов Ара-

---

[48] *Талавера* Фердинанд (1428–1507) – прелат, духовник Изабеллы Кастильской, выступал против планов Колумба.

[49] *Гваканагари* (скорее Гваканагани) – индейское название Сан-Сальвадора – первой земли, открытой Христофором Колумбом.

[50] *Монтесума* (ок. 1466–1520) – последний верховный вождь ацтеков и глава союза индейских племен на территории Мексики. В период завоевания Мексики испанцами во главе с Кортесом был взят в плен и убит.

гона, и дон Алонсо де Кантанилья, управляющий финансами Кастилии, – предложение было окончательно отвергнуто, к немалому удовольствию короля Фердинанда и немалому огорчению королевы Изабеллы, сентиментальной особы.

Ну а недруги Колумба – при дворе их было великое множество – считали, что решение принято бесповоротно, и воображали, будто навсегда отделались от потешного чудака, который пытался убедить всех, что по сравнению с услугами, которые он сулил оказать, все прочие услуги ничтожны.

Но они упустили из виду дона Иниго Веласко, князя де Гаро, и его тетку Беатрису, маркизу де Мойя.

И в самом деле, на следующий день после того, как архиепископ дон Фердинанд де Талавера сообщил Колумбу о том, что их католические величества отказали ему, и хотя дон Луис де Сент-Анхель и дон Алонсо де Кантанилья пытались смягчить это решение, но никаких надежд у несчастного мореплавателя больше не оставалось, донья Беатриса вошла в молельню к королеве и с явным волнением попросила Изабеллу соблаговолить принять ее племянника.

Изабелла, удивленная печальным видом своей любимицы, взглянула на нее и, чуть помедлив, произнесла тем ласковым тоном, каким обычно говорила с людьми, ей близкими:

– Что ты сказала, дочь моя?

Королева Кастилии имела обыкновение нарекать в знак дружбы «дочерьми» своих самых близких подруг, впрочем, оказывала она эту милость нечасто.

– Я сказала, ваше величество, что племянник мой, дон Иниго Веласко, имеет честь просить вас о прощальной аудиенции.

– Дон Иниго Веласко? – повторила Изабелла, как видно, стараясь припомнить, знаком ли он ей. – Да не тот ли это молодой воин, который так отличился во время нашей последней войны при взятии Иллора и Моклина, при осаде Белеса, взятии Хибальфаро и в других ратных делах?

– Да, это он! – воскликнула донья Беатриса, вне себя от радости и гордости оттого, что имя ее племянника всколыхнуло воспоминания в душе королевы. – Да, да, государыня, это он и есть.

– Так ты говоришь, он уезжает? – спросила Изабелла.

– Да, государыня.

– В дальние края?

– Боюсь, что да.

– Что ж, он покидает Испанию?

– Очевидно.

– Вот как!

– Он, словно оправдываясь, говорит, что ныне уже не может быть полезным вашему величеству.

– Куда же он отправляется?

– Я надеюсь, – отвечала донья Беатриса, – что с соизволения королевы он сам ответит на этот вопрос.

– Хорошо, дочь моя, скажи ему, что он может войти.

И пока маркиза де Мойя, почитая своим долгом сопровождать племянника, шла к дверям, королева села и, скорее для видимости, нежели из желания заняться рукоделием, принялась вышивать хоругвь в честь богородицы, полагая, что благодаря ее заступничеству (так удачно

сложились обстоятельства) Гранада сдалась – как известно, она капитулировала без кровопролития.

Немного погодя дверь отворилась, и появился молодой человек в сопровождении доньи Беатрисы; он остановился в нескольких шагах от Изабеллы, почтительно держа в руках шляпу.

IV. ИЗАБЕЛЛА И ФЕРДИНАНД

Дон Иниго Веласко – мы только что показали его читателю красивым стариком лет шестидесяти – шестидесяти пяти – в пору взятия Гранады был молодым человеком лет тридцати – тридцати двух прекрасной наружности, с большими глазами и длинными черными волосами; на его бледном лице лежала печать затаенной грусти, что говорит о несчастной любви и, следовательно, всегда вызывает благосклонность женщины, будь она даже самой королевой.

Красноватая полоса, след едва зажившей раны, – рубец от нее позже слился с первыми старческими морщинами, – в те дни пересекала его чело и говорила о том, что он атаковал с близкого расстояния, грудью шел на мавров и кривая сабля врага оставила кровавую отметину на его лбу.

Королеве нередко доводилось слышать, что он умеет сражаться, умеет бить врага, но увидела она дона Иниго впервые и посмотрела на него с особенным участием – во-первых, это был племянник ее любимой подруги, а во-вторых, это был воин, который еще недавно доблестно сражался за дело господа бога и королей.

– Итак, вы – дон Иниго Веласко? – спросила Изабелла,

внимательно глядя на него; глубокая тишина царила в молельне, хотя там находилась целая дюжина придворных дам – одни сидели, другие стояли, в зависимости от того, какой близости к королеве они были удостоены или каким саном обладали.

– Да, ваше величество, – отвечал дон Иниго.

– А я полагала, что вы rico hombre .

– Так оно и есть, ваше величество.

– Почему же вы не оставляете на голове шляпу[51] в нашем присутствии?

– Потому что уважение к женщине не дозволяет мне пользоваться тем правом, о котором соизволила напомнить королева.

Королева улыбнулась и стала расспрашивать его, обращаясь к нему на ты, как обычно и поныне делают короли и королевы Кастилии, беседуя с теми, кого в наши дни называют испанскими грандами, а в те времена называли ricos hombres.

– Так, значит, дон Иниго, сын мой, ты надумал путешествовать?..

– Да, ваше величество, – отвечал молодой человек.

– Почему же?

Дон Иниго не проронил ни слова.

– А ведь, право, при моем дворе, – продолжала Изабелла, – найдется немало должностей, весьма подходящих для молодого человека твоего возраста и для победителя с такими заслугами, как у тебя.

---

[51] *...не надеваете шляпу...* – Согласно испанскому придворному этикету, гранды имели право не снимать шляпы в присутствии короля.

– Ваше величество заблуждается, говоря так о моем возрасте, – возразил дон Иниго, уныло покачав головой, – ведь я уже старик…

– Ты – старик? – удивленно воскликнула королева.

– Да, государыня, ибо стариком становишься, сколько бы лет тебе ни было, в тот день, когда все мечты твои разбиты. Ну а что до имени победителя, какое вы соблаговолили мне дать, как какому-нибудь Сиду[52], то я скоро утрачу его, ибо благодаря освобождению Гранады и свержению последнего мавританского короля Абу Абала в королевстве у вас нет врагов, побеждать больше некого.

В голосе молодого человека прозвучала такая глубокая скорбь, что королева с изумлением посмотрела на него, а донья Беатриса, которая, разумеется, знала о том, сколько мук принесла племяннику любовь, молча осушила слезу, скатившуюся по ее щеке.

– Куда же ты собираешься?

– Во Францию, ваше величество.

Изабелла чуть-чуть нахмурилась и спросила, обратившись к нему уже на вы:

– Не пригласил ли Карл Восьмой[53] вас на свою свадьбу с наследницей Британии или, быть может, он предложил вам должность в армии, которую, как говорят, набирает, дабы завоевать Италию?

– Государыня, короля Карла я не знаю, – отвечал дон

---

[52] *Сид Кампеадор* – «Победитель» – прозвание Родриго Диаса де Бивар (ок. 1040–1099), испанского рыцаря, прославившегося своими подвигами в борьбе с арабскими завоевателями.

[53] *Карл VIII* (1470–1498) – французский король. В 1491 г. женился на Анне Бретонской.

Иниго, – да и что бы он мне ни посулил, предложив драться в его армиях, я бы отринул его предложения, ибо служба у него означала бы, что я иду против моей обожаемой королевы.

– Так что же ты намерен делать во Франции, раз не думаешь там сыскать государя, который пришелся бы тебе больше по душе, чем мы?

– Я буду сопровождать туда друга, которого вы изгнали.

– Кто же это?

– Христофор Колумб, государыня!

Наступило недолгое молчание, и все услышали, как с легким скрипом приоткрылась дверь из кабинета короля.

– Мы и не думали, избави нас господь бог, изгонять вашего друга, дон Иниго, – снова заговорила Изабелла, и чувствовалось, что она не могла скрыть своего огорчения. – Но наши советники заявили, что условия, доставленные генуэзцем, неприемлемы и что, дав на них согласие, мы бы нанесли урон и себе, и нашей державе. Если бы ваш друг, дон Иниго, согласился на уступку, то благодаря доброй воле короля Фердинанда и тому сочувствию, которое я к нему питаю, его замысел легко бы осуществился, – значит, за неудачу он должен пенять на самого себя.

Изабелла умолкла, ожидая ответа дона Иниго, потом продолжила:

– К тому же, не говоря о том, что умозаключение генуэзца о шарообразности Земли идет вразрез со Священным писанием, все ученые в королевстве, как вам известно, считают Христофора Колумба фантазером.

– Вряд ли фантазер, государыня, отступится от своих

замыслов из чувства собственного достоинства. Колумб требует своего, он имеет в виду государство, в десять крат большее, чем Испания, потому так велики его требования. Они соответствуют величию самого предприятия. И я понимаю Колумба.

– Племянник! – шепотом предостерегла его донья Беатриса.

– Неужели я, сам того не желая, выказал королеве недостаточно почтения? Я был бы повергнут этим в отчаяние.

– О нет, нет, душа моя! – живо возразила Изабелла.

Затем, после недолгого раздумья, она спросила дона Иниго:

– Итак, ты считаешь, что в фантастических замыслах Колумба есть что-то реальное, осуществимое, надежное…

– Я так невежествен, что не могу ответить вашему величеству с точки зрения научной, – сказал дон Иниго. – Зато я отвечу вашему величеству с точки зрения человека, уверовавшего в Колумба: его убежденность убедила меня. И так же, как ваше величество в свое время дали обет не покидать Санта-Фе, пока не будет взята Гранада, я дал обет не оставлять Колумба до тех пор, пока он не ступит на берег той неведомой земли, которую он хотел преподнести вашему величеству в дар и отвергнутой вашим величеством.

– А почему же ты, – перебила Изабелла, стараясь обернуть все в шутку, хотя молодой человек говорил так серьезно, что шутливый тон прозвучал неуместно, – почему же ты, раз ты так уверовал в мудрость генуэзца и раз ему, чтобы осуществить свой замысел, надобны всего-навсего две каравеллы, сотня матросов и три тысячи

крон[54], да, почему же ты на свои средства, – а их у тебя втрое больше той суммы, которую требует твой друг, – не велишь построить две каравеллы, нанять сотню матросов и не вручишь ему три тысячи? Ведь тогда Колумб, свободный от всех обязательств, пожалуй, стал бы королем, а тебя назначил бы вице-королем своей сказочной державы.

– Я предлагал ему все это, ваше величество, – серьезно произнес дон Иниго, – совсем не думая о таком почетном воздаянии: я не честолюбив. Но Колумб отверг мое предложение.

– Итак, Колумб отказался осуществить замысел, который он вынашивает уже лет двадцать, отказался в тот час, когда ему предложили помощь! – воскликнула Изабелла. – Ну нет, в это я ни за что не поверю, душа моя…

– Все это истинная правда, ваше величество, – отвечал лон Иниго с почтительным поклоном.

– Чем же он объяснил свой отказ?

– Объяснил тем, что для такого предприятия надобны имя и покровительство всемогущего монарха, ну а раз ему не удалось осуществить задуманное с помощью морского флота Португалии или Испании, он намерен попытать счастья у Карла Восьмого. Быть может, король поддержит его, осенит его предприятие тремя лилиями Франции…

– Как? Генуэзец отправляется во Францию? Генуэзец передаст свой проект Карлу Восьмому, вы это наверняка знаете, сеньор дон Иниго? – спросил Фердинанд Арагонский, неожиданно входя в молельню и вмешиваясь в разговор, который он слушал вот уже несколько минут.

---

[54] *Крона* – распространенная в Европе монета, имевшая в различные периоды разное достоинство.

При его появлении все обернулись – кто негромко вскрикнул, кто невольно всплеснул руками от удивления.

Лишь дон Иниго, словно он, услышав, как скрипнула створка двери, угадал, кто ее отворил, выказал одно только почтение поклоном, как перед тем выказал его королеве.

Но, как видно, желая подтвердить свое право оставаться с покрытой головой перед королем Арагона, он надел шляпу. Впрочем, он почти тотчас же снял ее, когда повернулся к Изабелле, будто ожидая, что она, его единственная повелительница, вот-вот знаком даст ему понять, что прощальная аудиенция окончена.

А Изабелла вздрогнула от радости, заметив, с какой горячностью Фердинанд, обычно такой бесстрастный, воспринял известие, унизительное для Испании, – новость о том, что Колумб намерен искать поддержку у монарха другой страны.

Дон Иниго все не отвечал на вопрос короля Фердинанда, поэтому Изабелла сказала:

– Разве ты не слышал, о чем тебя спрашивает король Арагона? Он хочет знать, правда ли генуэзец отправляется во Францию и в самом ли деле собирается служить королю Карлу Восьмому?

– Нынче утром я расстался с Христофором Колумбом у городских ворот Бара, ваше величество: он поехал по дороге вдоль побережья, надеясь, что из Аликанте, Валенсии или Барселоны на каком-нибудь корабле доберется до Прованса.

– Ну а потом? – произнес Фердинанд.

– А потом, – отвечал дон Иниго, – потом я поспешил сюда просить королеву, чтобы она соблаговолила разре-

шить мне последовать за этим великим человеком, разрешила отплыть вместе с ним и разделить его удел – будь он счастливый или несчастливый…

– Так, значит, ты рассчитываешь его догнать?

– Догоню, как только получу соизволение милостивой своей властительницы.

– Без сомнения, он уезжает удрученный тем, что безуспешны были его ходатайства перед нами…

– Он уезжает, высоко подняв голову, с улыбкой на лице, государь, – пусть сожаление и разочарование удручают его сердце, но все же сердце его спокойно: он выдержит эту двойную тяжесть.

Фердинанд не вымолвил ни слова в ответ на эти надменные речи и после недолгого молчания провел рукой по нахмуренному лбу и пробормотал с невольным вздохом:

– Боюсь, что мои советники поспешили отказать ему!

Не правда ли, сударыня?

Не успел король договорить, как Изабелла поднялась с места и пошла к нему навстречу; она сказала, сжимая руки:

– О государь мой, я подчинилась решению Совета, ибо вообразила, что решение это исходит от вас! Но если я ошиблась и если у вас еще сохранилась хоть капля расположения к человеку, к которому можно питать такую преданность, которым можно так восторгаться, надо держать совет только с вами – мудрым и великим.

– Считаете ли вы, дон Иниго, – спросил Фердинанд таким тоном, что каждое его слово, будто капля ледяной воды, холодило сердце Изабеллы, – да, считаете ли вы, что Колумб, если он, предположим, обнаружит землю Катая и королевство Сипанго, добудет в странах Нового Света

достаточное количество пряностей, благовоний, драгоценных камней и золота, чтобы покрыть непомерные расходы, которые требуются для подобной экспедиции?

Изабелла почувствовала, как пот оросил ее лоб: она испытала то, что испытывают люди, наделенные душой поэтической, когда человек, который имеет право на их любовь или уважение, вдруг забывает, что речи его должны соответствовать и его высокому званию, и его положению.

Возразить она не решилась. А дон Иниго ответил:

– Как? Ваше величество называет непомерными расходы, необходимые для снаряжения двух каравелл с экипажем в сто человек?.. Сумму в три тысячи частенько за одну ночь проигрывают или прокучивают иные дворяне, состоящие на службе у вашего величества!

– И вот еще что, – поспешно подхватила Изабелла. – Деньги, необходимые для экспедиции, изыщу я сама.

– Вы? Ну а где же? – перебил Фердинанд.

– Полагаю, в сундуках Кастильского казнохранителя, – отвечала Изабелла. – Ну а если в них не наберется такой незначительной суммы, я готова отдать в заклад или продать свои драгоценности, только бы Колумб не передал другому монарху или другому государству свой проект, – ведь, осуществись он, и королевство, которое будет покровительствовать Колумбу, станет всех богаче, всех могущественнее в мире.

Фердинанд услышал негромкий гул голосов, выражавший то ли одобрение, то ли порицание; у маркизы де Мойя вырвалось невольное восклицание, а дон Иниго преклонил перед королевой колена.

– Что это значит, дон Иниго? – с улыбкой спросила Изабелла.

– Я боготворю мою повелительницу, и она заслуживает боготворения, – произнес молодой человек. – И я жду: если на то будет ее воля, я отправлюсь в путь, задержу Христофора Колумба и верну его в Санта-Фе.

Изабелла умоляюще посмотрела на короля Арагона.

Но бесстрастному многоопытному государственному мужу не свойственно было поддаваться подобным порывам – он терпеть не мог их проявления у молодых людей и у женщин, считая, что все увлечения надобно держать на почтительном расстоянии от рассудка министров и сердца монархов.

– Прикажите молодому человеку подняться, сударыня, – сказал он, – и подойдите ко мне – нам следует обсудить это важное дело.

Изабелла приблизилась к королю, и они, не выходя из молельни, рука об руку подошли к амбразуре окна, витражи которого изображали триумф святой девы.

Молодой человек с мольбой простер руки к образу мадонны:

– О пресвятая матерь божья, озари душу короля божественным светом, увенчавшим твое чело!

Надо полагать, молитва дона Иниго была услышана, ибо все увидели, как под натиском настойчивых уговоров Изабеллы бесстрастное лицо Фердинанда становилось все оживленнее; вот он кивнул головой в знак согласия и громко произнес:

– Ну что ж, да будет исполнена воля любезной нашей Изабеллы!

Придворные, ждавшие решения с тягостным чувством, облегченно вздохнули.

– На коня, молодой человек! – приказал Фердинанд. – Поспешите к упрямцу Колумбу да передайте ему, что короли вынуждены уступить, раз не уступает он.

– Так, значит, государыня?.. – вымолвил дон Иниго, которому не терпелось узнать о решении не только от короля, но и от королевы.

– Мы согласны на все условия, – отвечала Изабелла. – И пусть ваш друг Колумб возвращается спокойно: никаких помех больше не будет.

– В самом деле, государыня? Я не ослышался? – допытывался дон Иниго.

– Вот вам моя рука.

Молодой человек бросился к королеве, почтительно прикоснулся губами к ее руке и выбежал из покоев, крича:

– Коня мне! Коня!

Минут через пять с мощеного двора донесся топот копыт – то мчался галопом на своем коне дон Иниго; немного погодя шум затих.

V. ДОНЬЯ ФЛОРА

Дон Иниго догнал Колумба в десяти лье от Санта-Фе и уговорил его вернуться ко двору католических королей.

Мореплаватель вернулся, обуреваемый досадой и сомнениями, но вскоре добрую весть, которую сообщил ему дон Иниго, хоть он в нее и не поверил, подтвердили король и королева.

И вот, получив все надлежащие указания, Колумб от-

правился в порт Палос[55] – деревушку, стоящую в устье Тинто, невдалеке от города Уэльвы.

Фердинанд выбрал эту гавань отнюдь не потому, что она находится на берегу Атлантического океана и это значительно сокращало все переезды, а оттого, что по приговору суда, которому подвергся Палое, деревне этой надлежало поставить королевству две каравеллы с полным снаряжением.

Итак, все обошлось Фердинанду в три тысячи крон – других расходов ему не предстояло. Впрочем, справедливости ради заметим: к началу июня Колумба уведомили, что, по ходатайству Изабеллы, его заступницы, признанной всеми, ему дарован третий корабль.

Правда, перед этим Фердинанд узнал, что благодаря настоятельным хлопотам Бартоломея Колумба, брата знаменитого мореплавателя[56], Генрих VII[57] предложил Колумбу такие же выгодные условия, какие соблаговолили предоставить ему в Испании.

Меж тем дон Иниго, проводив своего друга в Палос и получив какое-то письмо, присланное ему с нарочным, вернулся в Кордову, причем Колумб дал слово, что без него не покинет Испанию и сообщит ему в Кордову, какого числа он уйдет в плавание.

Слишком многим был обязан Колумб своему верному другу и не мог отказать ему в этой просьбе. И вот 1 июля

---

[55] *Палос* – городок в испанской провинции Уэльва, откуда Колумб (3 августа 1492 г.) отправился в свое первое путешествие.

[56] *Бартелемей* (1437–1514) – брат Христофора Колумба, картограф, много помогал ему: ездил к Генриху VII с просьбой о помощи, приехав в Америку в 1494 г., подавлял восстание испанцев и индейцев, основал Сан-Доминго (Гаити).

[57] *Генрих VII* (1457–1509) – король Англии с 1485 г., первый из династии Тюдоров.

1492 года он уведомил дона Иниго, что выйдет в море 3 августа.

Молодой человек явился 2 августа – таким мрачным и в то же время таким решительным его еще не видывали.

Итак, дон Иниго был рядом с Колумбом во время первого плавания, делил с ним все опасности. Он стоял на палубе в ту ночь с 11 на 12 октября, когда вахтенный матрос на борту «Пинты[58]» крикнул: «Земля!» Он ступил на остров Сан-Сальвадор, где его окружили изумленные островитяне, молча взиравшие на чужеземцев – посланцев неведомых пределов. Первым сошел Колумб – он воспользовался почетным правом водрузить знамя Кастилии на земле, которую открыл. Дон Иниго сопровождал его на Кубу, в Сан-Доминго, вернулся вместе с ним в Испанию в марте 1493 года, снова вместе с ним ушел в плавание в сентябре того же года; его не удержали при дворе ни просьбы тетки, ни уговоры королевы Изабеллы, ни посулы короля Фердинанда; вместе с Колумбом он побывал на Малых Антильских островах, на острове Доминика, иными словами – на Гваделупе, островах Святого Христофора и Подветренных островах. Он сражался плечом к плечу с ним и против касиков[59], и против взбунтовавшихся моряков, сотоварищей Колумба; он воротился вместе с Колумбом и во второй раз, когда наветы врагов заставили достославного генуэзца оставить свои земли, дабы оправдаться перед теми, кто по его милости стали богатейшими властелинами мира. И вот 30 мая 1498 года он снова от-

---

[58] *«Пинта»* – каравелла Колумба, названная по имени владельца, принадлежавшего к семье Пинто.

[59] *Касик* (*исп.*) – вождь племени у американских индейцев.

правился вместе с Колумбом в третье путешествие, но в Испанию уже не вернулся и в заморском краю узнал, что Колумба и его брата Бартоломея постигла опала, узнал об их заточении и, наконец, о смерти.

В Испании же до тех, кто еще помнил, что на свете существует человек по имени дон Иниго Веласко, в 1504 или 1505 годах дошли слухи, будто он проник в глубь страны, остался при дворе какого-то касика, на дочери которого женился, что в приданое касик дал ему столько золота, сколько уместилось в спальне новобрачных; затем рассказывали, будто тесть умер, а дон Иниго отказался от короны, которую предлагали ему жители тех краев, позже молва сообщила, что он овдовел и живет вместе с красавицей дочкой – доньей Флорой.

И вот года за три до тех событий, о которых мы ведем рассказ, вскоре после смерти того самого короля Фердинанда который отплатил Колумбу за добро тюрьмой и нищетой вдруг пронесся слух, будто дон Иниго Веласко прибыл в Малагу вместе с дочерью и что балластом на его корабле служат слитки золота. Но королевы Изабеллы уже не было в живых, не было в живых и доньи Беатрисы; никто, без сомнения, не интересовался доном Иниго, да и сам он больше никем не интересовался. Только один из его друзей, дон Руис де Торрильяс, приехал в Малагу повидаться с ним. В былые времена, лет двадцать пять – двадцать шесть тому назад, они вместе бились с маврами, вместе участвовали в боях за эту самую Малагу, где ныне им довелось снова встретиться. Друг, живший в Гранаде, уговаривал дона Иниго переехать туда, но все было напрасно.

Надо сказать, что восьмидесятилетний кардинал Хименес[60], архиепископ Толедский, провозглашенный регентом после смерти Фердинанда, прослышав о богатстве и честности дона Иниго, которому двойная эта слава сопутствовала во всех странствиях и вместе с ним воротилась, предложил дону Иниго переехать в Толедо, дабы помогать ему в ведении государственных дел и, главное, в решении вопроса, как новому королю, дону Карлосу, установить отношения между Испанией и Западной Индией.

Дело касалось блага страны, и дон Иниго не колебался.

Он оставил Малагу, вместе с дочерью приехал в Толедо и там стал заниматься всеми государственными делами по заморским землям вместе с кардиналом Хименесом и Адрианом Утрехтским[61] – бывшим наставником дона Карлоса, – король и отправил его в Испанию.

Тройственное это регентство правило Испанией почти год. Но вот неожиданно стало известно, что король дон Карлос высадился в Вильявисьосе, небольшой гавани в Астурии, и отправился в Тордесильясский монастырь, где после смерти его отца, Филиппа Красивого, – а умер он в пятницу 25 сентября 1506 года, – пребывала его мать Хуана, прозванная Хуаной Безумной[62].

Когда дон Иниго узнал эту новость, ничто не могло

---

[60] *Хименес* Франсиско (1436–1517) – архиепископ Толедский, великий инквизитор Кастилии (1507–1516).

[61] *Адриан Утрехтский* (1459–1523) – учитель, затем министр Карла V. В 1522 г. избран папой римским под именем Адриана VI. Его деятельность была направлена на укрепление папской власти, преследование лютеран и примирение Карла V с Франциском I.

[62] *Хуана Безумная* (1479–1555) – королева Кастилии, дочь Изабеллы и Фердинанда, мать Карла V. После смерти своего мужа Филиппа Красивого сошла с ума.

удержать его в Толедо: он считал, что после приезда в Испанию короля дона Карлоса регентский совет будет не нужен, и как ни старались отговорить его два других члена совета, он с ними распростился и вернулся с дочерью в свой райский уголок – в Малагу.

Жилось ему безмятежно, и он вообразил, что никому нет до него дела, как вдруг, в начале июня 1519 года, к нему пожаловал гонец от короля дона Карлоса и сообщил, что король возжелал посетить города на юге Испании – Кордову, Севилью, Гранаду и повелевает ему ехать в Гранаду и там ждать его.

Гонец вручил ему пергаментный свиток с королевской печатью – не что иное, как указ о его назначении на должность верховного судьи.

Назначение это, как писал ему сам дон Карлос, было свидетельством почтительного признания кардиналом Хименесом, о чем он говорил в свой смертный час, а также Адрианом Утрехтским не только обширных познаний дона Иниго, но и его безукоризненной неподкупной честности, которая должна быть непреложным образцом для каждого испанца.

В глубине души дон Иниго пожалел, что придется оставить райский уголок в Малаге, но сборами занялся: наступил день отъезда, и он пустился в путь вместе с доньей Флорой, не подозревая, что впереди них мчится дон Рамиро д'Авила, страстно влюбленный в его прелестную дочь, – молодой человек, встречая взгляды, брошенные ему сквозь решетку жалюзи, надеялся, что он ей не совсем безразличен.

Дона Иниго сопровождали трое слуг – двигались они,

как мы уже говорили, вереницей; первый выполнял роль разведчика, а двое других прикрывали тыл.

Кстати, судя по слухам, в этих краях такая охрана, да и, пожалуй, охрана понадежнее, была отнюдь не бесполезной: говорили, будто дорога в руках разбойников, будто их новый главарь отличается удалью, неслыханной даже среди этих лихих людей, будто за год он превратил их в сущих головорезов, и не раз во главе десяти, а то и пятнадцати этих злодеев добирался в своих набегах до самой Малаги, спускаясь по одну сторону горной цепи, и до Гранады, спускаясь по другую.

Никто не ведал, откуда явился атаман разбойничьей вольницы, никто не мог сказать, кто он такой, никто не знал ни фамилии его, ни имени, он даже не придумал для себя никакого устрашающего прозвища, как обычно делают такие молодцы. Все звали его просто Сальтеадором, иначе говоря – Разбойником.

Все эти толки о неизвестном, о его налетах на проезжие дороги, как видно, все же заставили дона Иниго предпринять кое-какие предосторожности, и девушка-цыганка, увидев крошечный караван, поняла, что путешественники опасаются нападения и готовы обороняться.

Пожалуй, вы спросите, отчего же дон Иниго, зная, какие зловещие слухи ходят о дорогах через перевал, и нежно любя свою ненаглядную донью Флору, поехал по горным тропам напрямик, а не окольными путями и отчего не позаботился снарядить охрану помногочисленнее.

В ответ на это скажем, что незадолго до тех дней, о которых мы повествуем, дон Иниго и его дочка два раза проезжали по горному перевалу без всяких происшествий;

к тому же, а это истина бесспорная, человек привыкает к опасностям и, подвергаясь им часто, сживается с ними.

Всю свою жизнь, полную приключений, дон Иниго шел отважно навстречу разным опасностям. Его не страшили сражения с маврами; во время плавания он не боялся кораблекрушения или мятежа на борту, не опасался стать жертвой дикарей, населяющих неведомые земли. Нечего было и сравнивать эти злоключения с тем, что могло угрожать ему в самом сердце Испании, на клочке земли в каких-нибудь двадцать лье, что отделяют Малагу от Гранады.

Поэтому, слыша такие рассказы, дон Иниго только пожимал плечами.

И все же верховный судья поступил неосмотрительно, двинувшись в путь напрямик через ущелье вместе с дочкой, которая поистине была чудом молодости и красоты.

Молва о том, что донья Флора бесподобно хороша собой, еще до ее приезда донеслась из Нового Света в Старый и ничуть не была преувеличенной. Ей только что минуло шестнадцать лет, и бледны были бы все выспренные сравнения, которыми, вероятно, осыпали бы ее испанские, а пожалуй, даже и арабские поэты. В ней сочеталась прелесть яркого цветка и бархатистость нежного плода, грациозность смертной девушки и величавая горделивость богини; если в цыганке, которая смотрела на нее с искренним восхищением, чувствовалось смешение арабской и испанской крови, то в донье Флоре вы заметили бы не только черты, характерные для двух великолепных рас, но все самое утонченное, самое изысканное, что им свойственно. У этой дочери Мексики и Испании был чудесный

матовый цвет лица, божественные плечи, обворожительные руки, очаровательные ножки андалусок и черные брови, бархатистые глаза, длинные волосы, струящиеся по спине, гибкий стан индианок – дочерей солнца.

Да и наряд, казалось, был выбран, чтобы подчеркнуть дивные линии фигуры путешественницы, прелесть ее лица.

Небесно-голубое шелковое платье в серебристо-розовых переливах снизу доверху застегнуто было на жемчужные аграфы, и каждая жемчужина достойно украсила бы корону какой-нибудь княгини; платье облегало стан и плечи по тогдашней испанской моде, и только у локтя рукава расширялись и свободно ниспадали вниз, а сквозь разрез в волнах мурсийских кружев виднелись руки, обнаженные до локтя; рукам этим не страшны были лучи мексиканского солнца, тем более им нечего было бояться солнца испанского. Впрочем, сейчас им ничего не угрожало – их прикрывал широкий плащ из белой шерстяной ткани, тонкой и мягкой, как нынешний кашемир, снизу он был скроен наподобие мексиканской накидки, а капюшон, в жаркой полутени которого сияло личико девушки, напоминал арабский бурнус.

Дон Иниго и донья Флора пустили быстрой рысью мулов, и они бежали, встряхивая головами, на которых красовались султаны из пунцовой шерсти. Однако в этой поспешности не было ничего тревожного – очевидно, донья Флора, как и ее отец, привыкла к путешествиям по горным теснинам и к бурной жизни тех времен.

Впрочем, слуга, выполнявший роль разведчика, явно был не так спокоен, как его хозяева, ибо, увидев девушку-цыганку, он остановился и стал о чем-то ее расспра-

шивать, а когда отец с дочерью подъехали, предусмотрительный слуга как раз осведомлялся о том, надежное ли тут место, стоит ли дону Иниго и донье Флоре останавливаться на маленьком постоялом дворе, который сейчас исчез из виду за холмом, но путешественники приметили его раньше, вдали на горизонте, когда спускались с горы, оставшейся позади.

В тот миг, когда дон Иниго и донья Флора подъехали, тревога достопочтенного слуги не только не утихла, но усилилась – так туманно и даже с насмешкой отвечала ему юная цыганка, которая сидела и пряла шерсть, разговаривая со слугой. Но, увидев, что остановились и господа, она встала, положила на землю пряжу и веретено, перепрыгнула через ручей с легкостью газели или птички и остановилась у обочины дороги, а ее козочка – прелюбопытное создание – тут же сбежала с холма, где она щипала листья колючего кустарника, и теперь не сводила со всадника и всадницы своих больших умных глаз.

– Батюшка, посмотрите-ка, что за прелесть эта девушка, – сказала донья Флора, задерживая старика и глядя на юную цыганку с тем восхищением, которое всегда вызывала сама.

Дон Иниго согласно кивнул головой.

– Можно с ней поговорить, батюшка? – спросила донья Флора.

– Воля твоя, дочка, – отвечал отец.

– Как тебя зовут, душечка? – проговорила донья Флора.

– Христиане зовут Хинестой, а мавры – Аиссэ, ведь у меня два имени – одно перед лицом Магомета, другое – перед лицом Иисуса Христа.

И, произнося священное имя спасителя, девушка осенила себя крестным знамением, а это доказывало, что она христианка.

– Мы добрые католики, – с улыбкой промолвила донья Флора, – и будем звать тебя Хинестой.

– Как хотите, так и зовите. Мне всегда будет нравиться мое имя, когда вы будете произносить его своими прекрасными устами и своим нежным голоском.

– Вот видишь, Флора, – заметил дон Иниго, – того, кто предсказал тебе, что ты встретишь в этом глухом углу нимфу Лести, ты назвала выдумщиком, не правда ли? А ведь он не обманул.

– Я не льщу, я восхищаюсь, – возразила цыганка.

Донья Флора улыбнулась, заливаясь краской, и поспешила переменить разговор, чувствуя себя неловко от этих наивных восхвалений. Она спросила:

– Что же ты ответила Нуньесу, душечка?

– А не лучше ли вам сначала узнать, какой вопрос он задал?

– Ну, какой же?

– Он осведомлялся о дороге, спрашивал, надежные ли тут места, пригоден ли для вас постоялый двор.

– Что же ты ему ответила?

– Ответила песенкой странников.

– Что же это за песенка?

– А вот послушайте.

Цыганка звонко, словно птица, пропела куплет андалусской песни, и напев, казалось, был просто модуляцией ее мелодичного голоса:

Небосклон ясен –
Берегись!
Путь безопасен –
Торопись!
Пусть синеокая Дева
Хранит тебя!..
Прощайте, путники, прощайте,
С богом путь свой продолжайте…

– Ты так ответила Нуньесу, душечка? – спросила донья Флора. – Ну а что же ты скажешь нам?

– Вам-то, красавица сеньора, я скажу всю правду, – отвечала цыганка, – потому что впервые девушка-горожанка говорит со мной ласково, без высокомерия.

Тут она подошла поближе к донье Флоре, положила правую руку на шею мула и, поднеся указательный палец левой руки к губам, произнесла:

– Не ездите дальше.

– Как же так?..

– Возвращайтесь обратно.

– Ты что, смеешься над нами?! – воскликнул дон Иниго.

– Бог свидетель, я даю вам совет, какой дала бы отцу и сестрице.

– И правда, не вернуться ли тебе в Альхаму с двумя слугами, доченька? – спросил дон Иниго.

– А вы, отец? – возразила донья Флора.

– Я поеду дальше с третьим слугой. Король будет завтра в Гранаде. Он повелел мне быть там нынче же. И я не заставлю ждать себя.

– Ну так я еду с вами. Там, где вы проедете, батюшка, проеду и я.

– Вот и хорошо! Поезжай вперед, Нуньес.

Тут дон Иниго вынул из кармана кошелек и протянул его цыганке.

Но она величественным движением отстранила его руку и произнесла:

– Не найти на свете кошелька в награду за совет, который я дала тебе, сеньор путешественник. Спрячь кошелек – он понравится там, куда ты едешь.

Донья Флора отколола жемчужный аграф от своего платья и, знаком попросив девушку подойти еще ближе, молвила:

– Ну, а это ты примешь?

– От кого? – строго молвила цыганка.

– От подруги.

– Приму.

И она подошла к донье Флоре, встала рядом, закинув голову.

Донья Флора прикрепила аграф к вырезу платья цыганки, и пока дон Иниго, который был таким примерным христианином, что не потерпел бы дружеской близости дочки с полуневерной, давал последние распоряжения Нуньесу, донья Флора успела прикоснуться губами ко лбу прелестной девушки.

Нуньес уже отъехал шагов на тридцать.

– Едем! – крикнул дон Иниго.

– Едем, батюшка, – отвечала донья Флора.

И она заняла свое место справа от старика, который двинулся в путь, на прощание помахав рукой цыганке и

крикнув трем своим людям – и тому, кто ехал впереди, и тем, кто ехал сзади:

– Эй вы, будьте внимательнее!

А цыганка все стояла, следя глазами за девушкой, которая назвала ее подругой, и вполголоса напевала свою песенку:

Прощайте, путники, прощайте,
С богом путь свой продолжайте!..

Она смотрела на них с явной тревогой, и тревога ее все. росла; но вот все они – и господа, и слуги – исчезли за пригорком, заслонившим горизонт, и, потеряв их из виду, она опустила голову и стала прислушиваться.

Прошло минут пять, а девушка все продолжала повторять:

Прощайте, путники, прощайте,
С богом путь свой продолжайте!..

И вдруг послышались выстрелы из аркебуз, раздались угрожающие крики, вопли; на вершине холма появился один из слуг, еще недавно ехавших позади маленького каравана.

Он был ранен в плечо и весь залит кровью. Он прижался к шее мула, вонзая в его бока шпоры, и молнией промчался мимо девушки с отчаянным криком:

– На помощь! Помогите! Убивают!

Цыганка постояла, раздумывая, потом, как видно, приняв какое-то решение, она схватила веретено, привязала к нему свой пояс и, взбежав на пригорок с такой бы-

стротой, что козочка с трудом поспевала за ней, стала прыгать с камня на камень, пока не добралась до утеса, с вершины которого открывался вид на всю долину, и стала размахивать своим ярким поясом-шарфом и громко, изо всех сил крикнула три раза:

– Фернандо! Фернандо! Фернандо!

VI. В ХАРЧЕВНЕ «У МАВРИТАНСКОГО КОРОЛЯ»

Если бы мы помчались туда, где произошли события, о которых догадались по шуму, с такой же быстротой, с какой слуга дона Иниго мчался оттуда, если б взлетели на вершину невысокой горы, возвышавшейся над дорогой, с такой же стремительностью, с какой цыганка со своей козочкой взбежала на самый край скалистого обрыва, откуда она махала поясом, – мы все равно опоздали бы и не увидели страшной схватки, залившей кровью узкую тропинку, ведущую к харчевне.

Увидели бы мы только трупы Нуньеса и его мула, загородившего дорогу, увидели бы, как тяжело раненный Торрибио карабкается к могильному кресту и, полумертвый, прислоняется к нему.

Дон Иниго и его дочь скрылись в харчевне, дверь захлопнулась за ними и разбойниками, захватившими их в плен.

Мы романисты и можем, как Мефистофель, сделать стены прозрачными или, как Асмодей [63], приподнять кровлю, поэтому не позволим, чтобы в подвластном нам

---

[63] *Асмодей* – библейский персонаж, злой дух, демон. Французский писатель XVII в. Ален-Рене Лесаж сделал его главным действующим лицом романа «Хромой бес».

мире произошли события, утаенные от наших читателей, – так дотронемся же до дверей харчевни, и они распахнутся, будто по мановению волшебного жезла, и мы скажем читателям: «Смотрите».

На полу харчевни бросались в глаза следы борьбы, начавшейся на дороге и продолжавшейся в доме. Кровавая полоса, длиной шагов в двадцать, запятнала порог и тянулась до угла стены, туда, где лежал слуга из свиты дона Иниго, раненный выстрелом из аркебузы; его перевязывали уже знакомая нам Амапола, та самая девушка, которая принесла цветы для путешественников, и трактирный слуга, который недавно держал под уздцы коня дона Рамиро д'Авила.

Бархатный берет дона Иниго и лоскут от белого плаща доньи Флоры валялись на ступеньках, ведущих со двора в кухню, – значит, здесь возобновилась борьба, сюда тащили пленников, здесь-то и надо было их искать.

От входной двери, к которой и вели две эти ступени, тянулась дорожка из цветов, разложенных гонцом любви прекрасной доньи Флоры, но цветы были растоптаны, смяты грязными башмаками, запачканы пылью, и на розах, лилиях и анемонах, словно рубины, блестели капли крови.

Дверь, отделявшая кухню от комнаты, где заботами дона Рамиро был накрыт стол и приготовлены два прибора, где еще воздух был напоен ароматом недавно сожженных благовоний, дверь эта была растворена настежь, и на пороге сгрудились служители харчевни – переодетые разбойники, – они готовы были ринуться на помощь грабителям, орудовавшим на большой дороге; из раскрытой двери неслись крики ярости, вопли, угрозы, жалобные стоны, проклятия.

Там-то, за дверью, должно быть, все шло к развязке, там и происходила та жуткая сцена, которую представляла себе девушка-цыганка, когда советовала путешественникам вернуться.

И действительно, если бы можно было разрушить живую баррикаду, которая загораживала дверь, и пробиться в комнату, вот какая картина поразила бы зрителя: дон Иниго, распростертый на полу харчевни, все еще пытался защищаться, держа обломок своей уже бесполезной шпаги, – пока она не сломалась, он поразил двух разбойников, капли их крови и оросили дорожку из цветов.

Трое бандитов удерживали его с трудом, один упирался в его грудь коленом и уже занес над ним каталонский кинжал.

Двое других обыскивали старика, стараясь не только найти драгоценности, но и обнаружить потаенное оружие.

Поодаль прислонилась к стене, словно ища опоры, донья Флора с распущенными волосами, капюшон ее плаща был порван, с платья исчезли драгоценные камни. Впрочем, было видно, что, схватив прекрасную путешественницу, разбойники обращались с ней бережнее, чем со стариком.

Донья Флора, как мы уже говорили, была редкостной красавицей, а предводитель шайки, герой этой истории, Сальтеадор, славился учтивостью, что в данном случае, быть может, было еще ужаснее, чем самая безжалостная жестокость.

Да, девушка была прекрасна: она стояла у белой стены, откинув голову, и ее дивные глаза, осененные длинными бархатистыми ресницами, горя гневом и негодованием,

метали молнии, в них не было ни робости, ни страха. Ее обнаженные беломраморные руки были опущены – разбойники, срывая с нее драгоценные украшения, разодрали рукава, и теперь стали видны ее плечи, слово высеченные из камня искусным мастером. Ни единого слова, ни стона, ни жалобы не слетело с ее уст с той минуты, как она попала в неволю; жаловались и стонали два разбойника, раненные шпагой дона Иниго.

Конечно, прекрасная чистая девушка думала, что ей грозит только одно – смерть, и перед лицом этой опасности она считала, что для благородной испанки унизительны жалобы, стоны и мольбы.

Грабители, уверенные, что она не убежит от них, сорвав с нее почти все драгоценности, окружили ее тесным кольцом, разглядывали ее, хохотали, причем отпускали такие замечания, которые заставили бы ее опустить глаза, если б взгляд ее не был устремлен ввысь и, словно проникнув сквозь потолок и стены, сквозь небесную твердь, не терялся в пространстве, ища незримого бога, ибо только к нему одному могла сейчас взывать девушка, умоляя о помощи.

Быть может, донья Флора думала и о том прекрасном молодом человеке, которого не раз видела в этом году: он появлялся под окном ее спальни с наступлением сумерек, а по ночам забрасывал ее балкон самыми роскошными цветами Андалусии.

Итак, она молчала, зато вокруг нее, особенно же вокруг ее отца, не смолкал шум, раздавались вопли, проклятия, угрозы.

– Негодяи! – кричал дон Иниго. – Убейте, задушите

меня, но предупреждаю: в миле от Альгамы я встретил отряд королевских солдат, их начальник мне знаком. Он знает, что я выехал, знает, что я еду в Гранаду по велению короля дона Карлоса, а когда выяснится, что я не прибыл, он поймет, что меня убили. Тогда вам придется иметь дело не с шестидесятилетним стариком и пятнадцатилетней девушкой, а с целым отрядом. Тогда-то, злодеи, увидим, так ли вы храбры в бою с солдатами короля, как сейчас, когда двадцать свалили одного!

– Ну что ж, – сказал один из грабителей, – пусть приходят солдаты короля. Мы о них знаем, видели вчера, когда они шли мимо, да у нас есть надежная крепость, а подземные ходы из нее ведут в горы.

– Да ведь говорят тебе, – подхватил второй, – что мы не собираемся тебя убивать. Зря так думаешь, ошибаешься – мы убиваем только бедняков, с которых взять нечего. А благородных сеньоров окружаем заботой – ведь они могут принести большую выгоду, и вот доказательство: хоть ты, размахивая своей шпагой, ранил двоих из нас, тебя даже не царапнули, неблагодарный!

Тут раздались ангельские звуки – они прозвенели в гуле, и грубые, угрожающие голоса разбойников замолкли – то был голос девушки, которая заговорила впервые:

– Если речь идет о выкупе, то вы, сеньоры, получите поистине царскую плату – назовите цифру, и вас не обманут.

– Клянемся святым Яковом, мы на это и рассчитываем, красотка. Вот поэтому и хотим, чтобы достойный сеньор – ваш папаша – немного поуспокоился… Дело есть дело, черт возьми, его можно решить в споре, а драка только все испортит. Сами видите, ваш отец только мешает нам.

Тем временем дон Иниго решил защищаться по-иному: по-прежнему орудуя сломанной шпагой, которую бандитам так и не удалось вырвать из его руки, сжимавшей оружие, как в тисках, он ранил одного из разбойников.

– Клянусь телом Христовым, – завопил бандит, который приставил нож к горлу дона Иниго, – еще одна попытка, и тебе, благородный сеньор, придется договариваться о выкупе с господом богом, а не с нами.

– Отец! – закричала девушка в отчаянии и сделала шаг вперед.

– Да, лучше послушайтесь красотку, – рявкнул один из разбойников. – Ее слова – золото, а уста подобны устам той сказочной принцессы, которая, вымолвив слово, дарит вам жемчужины или алмазы. Угомонитесь же, достопочтенный сеньор, обещайте, что не попытаетесь бежать и вручите такую записку нашему достойному другу – хозяину харчевни, с которой он может отправиться без боязни в Малагу. А там ваш управитель выдаст ему две-три тысячи крон – сколько вам будет угодно; мы не назначаем цифру выкупа таким путешественникам, как вы. Когда же трактирщик вернется сюда, на постоялый двор, мы отпустим вас на свободу. Ну а если не вернется, вы будете в ответе – зуб за зуб, око за око, жизнь за жизнь!

– Отец мой, отец, послушайтесь этих людей, – настаивала дочь, – не подвергайте опасности свою драгоценную жизнь из-за каких-то мешков с деньгами.

– Вот, слышите, сеньор князь? Ведь только князь или вице-король, или сам король, даже император, может говорить с такой легкостью и простотой о земных благах, как говорит эта красотка. Верно она сказала.

– Ну так что же вы собираетесь с нами делать? – спросил старик; он в первый раз снизошел до разговора с бандитами, до сих пор он довольствовался тем, что осыпал их бранью и ударами. – Итак, что же вы будете с нами делать в этом разбойничьем притоне, когда отправите вашего достойного сообщника, хозяина постоялого двора, с письмом к моему управителю?

– Ого, что он говорит: разбойничий притон! Вы только послушайте, сеньор Калавасас, только послушайте, как оскорбляют харчевню «У мавританского короля»! Притон! Поди-ка сюда и докажи, как заблуждается достойный идальго.

– Что мы с тобой будем делать? – вмешался другой грабитель, не давая времени дону Калавасасу защитить честь харчевни – Что будем делать? Да проще простого! Поступим так: дашь нам честное слово дворянина, что не попытаешься бежать.

– Дворянин не дает честного слова разбойникам.

– Отец, дворянин дает честное слово господу богу! – произнесла донья Флора.

– Запомни раз и навсегда, что говорит тебе красотка, ибо мудрость господня глаголет ее устами.

– Хорошо, предположим, я даю слово, что же вы намерены делать дальше?

– Прежде всего мы не будем спускать с тебя глаз.

– Как? – воскликнул дон Иниго. – Я дам честное слово, а вы не позволите мне продолжать путь?

– Э, нет, – возразил разбойник, – не в те времена мы живем, когда ростовщики Бургоса одолжили Сиду тысячу золотых, взяв в залог ларь, наполненный песком. Мы не

поступим так, как поступили эти почтенные люди, – другими словами, они отсчитали тысячу золотых, не заглянув в ларь, а мы сначала заглянем.

– Ну и негодяи, – сквозь зубы процедил дон Иниго.

– Отец, – молила донья Флора, стараясь успокоить старика, – заклинаю вас именем неба!

– Ну хорошо, не будете спускать с меня глаз, а дальше?

– Привяжем тебя цепью к железному кольцу.

С этими словами разбойник указал на кольцо, вделанное в стену, словно подтверждая, что такие случаи уже бывали.

– Меня на цепь, как невольника-мавра! – вскипел старик.

При этой угрозе вся его гордость возмутилась, он попытался вскочить – рывок был так силен и стремителен, что старик шага на три отбросил разбойника, который упирался коленом в его грудь, и сам встал на одно колено.

Так скала отталкивает волну, но волна через миг снова налетает на нее, – нечто подобное случилось и сейчас: пятеро-шестеро разбойников кинулись на дона Иниго и сломали бы ему руку, если б он не отступил; они вырвали у него эфес шпаги с обломком лезвия, и тут же на него ринулся разбойник, униженный тем, что его отбросил какой-то старик, он клялся, угрожая ножом, что наступил последний час пленника.

Донья Флора, увидев, как блеснула сталь, с горестным криком метнулась к отцу.

Но один из разбойников схватил ее, а другой толкнул приятеля, занесшего нож.

– Висенте, Висенте, – закричал он, сжав его руку, хотя нож мог поразить и его, – что ты затеял, черт тебя возьми?

– Я убью этого бесноватого!

– Нет.

– Клянусь святым Яковом, мы еще посмотрим…

– Не убьешь. Послушай, ты что же, хочешь продырявить мешок – ведь из него вывалится весь выкуп. Эх, Висенте, у тебя мерзкий нрав, я всегда это твердил. Дай-ка мне побеседовать с достойным сеньором – увидишь, я-то его уговорю.

Разбойник, которого сообщники называли Висенте, разумеется, понял, как справедливы эти слова, и отступил с ворчанием.

Отступил – не значит, что он вышел из комнаты, нет, он сделал два-три шага назад, как раненый ягуар, готовый прыгнуть на добычу.

Грабитель, решивший стать посредником, занял его место и обратился к дону Иниго с такими словами:

– Сеньор кавалер, будьте же благоразумны! Вас не привяжут к железному кольцу, а поместят в погреб, где хранятся самые тонкие вина. Дверь туда так же крепка, как дверь в темницах Гранады, около нее поставят стражу.

– Негодяи! Так обходиться с человеком моего сана…

– Отец, ведь я буду с вами, я не покину вас, – воскликнула донья Флора. – А два-три дня промчатся быстро.

– Ну уж нет, красотка, этого мы вам обещать не можем, – сказал один из разбойников.

– Как? Не можете мне обещать…

– Что вы останетесь со своим отцом.

– Боже мой, что же со мной будет? – ужаснулась девушка.

– С вами? – повторил посредник. – Мы-то не такие

важные господа, поэтому девица вашего возраста, да еще из благородных, – добыча нашего атамана.

– Боже мой, – в отчаянии прошептала девушка, а ее отец закричал от ярости.

– Да вы не бойтесь, – продолжал, посмеиваясь, разбойник, – атаман у нас молод, атаман у нас красавец и, говорят, из дворян. Значит, в случае чего утешьтесь, достойный сеньор, даже если вы знатны, как сам король: неравный брак ей не грозит.

Только сейчас донья Флора поняла весь ужас своего положения, поняла, что ей уготовано судьбой, и, вскрикнув, с быстротой молнии выхватила из-за корсажа небольшой кинжал, острый как игла, – лезвие блеснуло у ее груди.

Разбойники отступили на шаг, и она снова осталась одна и стояла у стены со спокойным и решительным видом, подобно статуе, олицетворяющей твердость духа.

– Батюшка, я сделаю все, что вы прикажете, – обратилась она к старику. И взгляд невинной девушки говорил, что по первому его слову острое лезвие кинжала пронзит ее сердце.

Дон Иниго молчал, но неимоверное напряжение словно придало ему силу юноши – неожиданным и резким движением он отбросил двух разбойников, повисших на нем, и, рывком вскочив на ноги, крикнул:

– Сюда, дочь моя, ко мне!

Он раскрыл объятия, и донья Флора кинулась на грудь отца. Он схватил ее кинжал, а она вполголоса проговорила:

– Батюшка, вспомните об истории римлянина Виргиния[64], о котором вы мне рассказывали…

Еще не отзвучали эти слова, как один из разбойников – он намеревался схватить девушку – упал к ногам дона Иниго, пораженный прямо в сердце тоненьким кинжалом, казавшимся игрушкой, а не оружием защиты.

И тотчас же громкие яростные крики раздались в харчевне, в воздухе засверкали кинжалы и шпаги, выхваченные из ножен.

Пленники, видя, что наступил их смертный час, обменялись последними поцелуями, сотворили последнюю молитву и, воздев руки к небесам, воскликнули в один голос:

– Убивайте!

– Смерть, смерть обоим! – вопили грабители, направляя оружие на старика и девушку.

И вдруг раздался звон – вдребезги разлетелось оконное стекло, разбитое сильным ударом, и в комнате появился молодой человек с кинжалом на поясе. Он спросил – судя по тону, он привык повелевать:

– Эй, сеньоры, что тут у вас происходит?

Его голос звучал не громче обычного голоса, но все сразу умолкли; кинжалы и ножи исчезли, шпаги очутились в ножнах. Стало тихо; разбойники отступили на несколько шагов, и посреди образовавшегося круга перед неизвестным так и остались стоять, обняв друг друга, отец и дочь.

---

[64] *Виргиний* – римлянин, убивший свою дочь, чтобы избавить ее от рабства и позора (в 449 г. до н.э.).

VII. САЛЬТЕАДОР

Тот, кто так неожиданно появился и чей внезапный приход произвел ошеломляющее впечатление и на грабителей, угрожавших пленникам, и на самих пленников, без сомнения, заслуживает нашего внимания оттого, что его появление было необычно и что ему уготована важная роль в нашем повествовании, которое мы сейчас прервем, чтобы нарисовать его портрет и, так сказать, представить его нашим читателям.

Молодому человеку было лет двадцать семь – двадцать восемь. Его костюм, – такое одеяние носят андалусские горцы, – поражал изяществом: серая войлочная шляпа с широкими полями, украшенная двумя орлиными перьями, кожаная расшитая куртка, какие и поныне еще надевают охотники из Кордовы, отправляясь на охоту в горы Сьерры-Морены, пояс, расшитый шелком и золотом, пунцовые шаровары с точеными пуговицами, кожаные сапоги под цвет куртки со шнуровкой по бокам, у лодыжек и подколенок, так, чтобы можно было видеть чулки, облегавшие икры.

Простой кинжал – неразлучный спутник охотников на медведей в Пиренеях – с рукояткой из резного рога, украшенной серебряными гвоздиками, с лезвием шириной в два пальца и длиной в восемь вершков, остроконечный и отточенный, вложенный в кожаные ножны с серебряной насечкой, был, как мы уже говорили, единственным оружием молодого атамана.

Мы называем его так, ибо шайка грабителей и убийц тотчас подчинилась его властному голосу и мигом отступила от пленников.

На атамане был полосатый плащ, и он носил его с таким величием, с каким император носит пурпурную мантию.

Говоря о его внешности, заметим, что в словах разбойника, заявившего дону Иниго для успокоения его оскорбленного самолюбия, что их вожак молод, красив, изящен и вдобавок держится с таким достоинством, что его принимают за идальго, да, в этих словах не было ничего преувеличенного, пожалуй, он даже что-то и опустил, ничуть не польстив портрету.

Увидев молодого человека, донья Флора вскрикнула от удивления, впрочем, скорее от радости, словно появление незнакомца сулило ей и отцу спасение, ниспосланное небом.

Дон Иниго, казалось, понял, что отныне их судьба будет зависеть от этого молодого человека, а не от шайки разбойников.

Но дон Иниго был горд и первым не стал заводить разговор; он сжимал рукоятку окровавленного кинжала, приставив его к груди дочери, и, как видно, выжидал.

И Сальтеадор заговорил.

– В вашей храбрости я не сомневаюсь, сеньор, – начал он, – но, право, вы поступаете весьма самонадеянно, пытаясь защищаться иголкой, когда на вас нападают двадцать человек, вооруженных кинжалами и шпагами.

– Если б я защищал свою жизнь, это было бы действительно безумием, – отвечал дон Иниго. – Но я решил сначала убить ее, а потом себя. И, вероятно, так мне и придется сделать, а это нетрудно.

– А почему же вы хотите убить сеньору, а потом и себя?

– А потому, что нам угрожало насилие, и мы предпочли смерть.

– Сеньора ваша жена?

– Нет, дочь.

– Во сколько же вы оцениваете свою жизнь и честь вашей дочери?

– Свою жизнь я оцениваю в тысячу крон, а чести моей дочери нет цены.

– Сеньор, я вам дарую жизнь, – произнес Сальтеадор, – что же касается чести сеньоры, то здесь ваша дочь будет в такой же безопасности, как в доме своей матери, под ее опекой.

Раздался недовольный ропот разбойников.

– Прочь отсюда! – приказал Сальтеадор, протягивая руку.

И разбойники стали поспешно выходить из комнаты, а он все стоял с простертой рукой, пока последний не скрылся за дверью.

Сальтеадор затворил дверь, потом вернулся к дону Иниго и его дочери, которые следили за ним с удивлением и тревогой.

– Сеньор, их надобно извинить, – сказал он, – ведь они грубы, неучтивы, не дворяне, как мы с вами.

Дон Иниго и его дочь, казалось, немного успокоились, но они по-прежнему смотрели с удивлением на разбойника, заявившего, что он дворянин, впрочем, его манеры, достоинство, с которым он держался, его речи – словом, все говорило о том, что он не лжет.

– Сеньор, – произнесла девушка, – у моего отца, как видно, не хватило слов, чтобы поблагодарить вас. Позвольте же мне сделать это и от его имени, и от своего.

– Ваш отец прав, ибо благодарность, произнесенная

такими прекрасными устами, гораздо ценнее, чем благодарность самого короля. – Затем он повернулся к старику и продолжал:

– Мне известно, что вы спешите в путь, сеньор. Куда же вы направляетесь?

– В Гранаду, по велению короля.

– Ах, вот что! – с горестной усмешкой произнес молодой человек. – Весть о его прибытии дошла и до нас. Вчера мы видели солдат – они обстреляли горы: королю угодно, – так он сказал, – чтобы двенадцатилетний мальчишка прошел из Гранады до самой Малаги, держа в руках по мешку с золотыми монетами, слыша от всех встречных обычное напутствие: «С богом путь свой продолжай!»

– Да, действительно, такова его воля, – подтвердил дон Иниго. – И он отдал соответствующие приказы.

– За какой же срок повелел король дон Карлос покорить горы?

– Говорят – за две недели: такой наказ получил верховный судья.

– Жаль, что вам, сеньора, пришлось проехать горными тропами сегодня и вы не отложили свое путешествие на три недели, – заметил Сальтеадор, обращаясь к молодой девушке. – Тогда вы бы встретили на своем пути не разбойников, которые так напугали вас, а честных людей, и они сказали бы вам: «С богом путь свой продолжайте», – и даже, вероятно, сопровождали бы вас.

– Зато, сеньор, мы встретили, – ответила дочь дона Иниго, – дворянина, который вернул нам свободу.

– Не надо благодарить меня, – возразил Сальтеадор, – ибо я подчиняюсь власти более могучей, чем моя воля, власти, которая сильнее меня самого.

– Что же это за власть?

Сальтеадор пожал плечами:

– Право, не знаю: на свою беду, я подвластен первому впечатлению. Между сердцем и разумом, разумом и рукой, рукой и шпагой у меня полное согласие, и оно заставляет меня то свершать зло, то творить добро – чаще зло, нежели добро. Но как только я увидел вас, чувство симпатии к вам исторгло гнев из моего сердца и прогнало так далеко, что, клянусь честью дворянина, я поискал его взглядом, да так нигде и не обнаружил.

Пока молодой человек говорил, дон Иниго не сводил с него глаз, и, странное дело, чувство симпатии, в котором признался Сальтеадор, говоря шутливо, с теплотой и задушевностью, походило на то чувство, которым невольно полнилась душа старика.

Тем временем донья Флора еще теснее прижалась к плечу отца, дрожа не от страха, а от какого-то непостижимого волнения, которое девушка испытала, с упоением внимая речам молодого человека, – она прильнула к отцу, чтобы в его объятиях обрести защиту от неведомого ей, властно овладевшего ею чувства.

– Знаете ли, молодой человек, – сказал дон Иниго в ответ на последние слова Сальтеадора, – у меня тоже появилась какая-то симпатия к вам. И то, что мне довелось проехать по этим местам теперь, а не через три недели, я скорее сочту удачей, а не невезением, ибо через три недели, пожалуй, мне бы уже не удалось, в свою очередь, оказать вам услугу, равную той, что вы оказали мне сейчас.

– Мне – услугу? – переспросил атаман.

Горькая усмешка выдала сокровенную мысль Саль-

теадора: «Лишь всемогущий окажет мне услугу – ту, единственную, которую еще можно оказать».

А дон Иниго, словно понимая, что происходит в сердце молодого человека, говорил:

– Милосердный творец каждому предназначил место в этом мире: в государствах он создал королей, дворян, которые и являются, так сказать, естественной охраной королевской власти, города населил обывателями, торговцами, простым людом, по его воле отважные мореходы бороздят океаны, открывая неведомые, новые миры; горы же он заселил разбойниками, и там, в горах, он дал убежище хищным плотоядным зверям, как бы указуя нам, что, давая разбойникам и хищникам единое пристанище, разбойников он ставит на самую низкую ступень общества.

Сальтеадор взмахнул рукой.

– Дайте мне закончить, – остановил его дон Иниго.

Молодой человек молча и смиренно склонил голову.

– И вот, – продолжал старик, – вы можете встретить людей вне того круга, который господь бог им предназначил и где они обитают, подобно стаду особей одного и того же вида, хотя и различны по своей духовной ценности, – так вот, вы встретите их в другом кругу только в том случае, если произошло какое-либо общественное потрясение или в семье их случилась большая беда. И все это вырвало их из того круга, который был им близок, и перенесло в тот, который уготован был не для них. Так, мы с вами, например, родились дворянами, дабы состоять в свите короля, но наша судьба сложилась иначе. Я стал, по воле судьбы, мореплавателем, вы же…

Дон Иниго умолк.

– Кончайте, – усмехнулся молодой человек. – Ничего нового вы мне не скажете, да и от вас я готов все выслушать.

– ..стали разбойником.

– Да, но ведь вы знаете, это слово означает одинаково и бандита, и изгнанника.

– Да, знаю, и поверьте мне – я не смешиваю эти понятия. – И он спросил строго:

– Вы – изгнанник?

– А кто вы, сеньор?

– Я – дон Иниго Веласко де Гаро.

Молодой человек при этих словах снял шляпу и отбросил ее далеко в сторону.

– Прошу простить меня, я оставался с покрытой головой, а ведь я не испанский гранд.

– А я не король, – улыбнулся дон Иниго.

– Но вы благородны, как король.

– Вы что-нибудь знаете обо мне? – поинтересовался дон Иниго.

– Отец часто говорил о вас.

– Значит, меня знает ваш отец?

– Он не раз повторял, что ему выпало счастье быть знакомым с вами.

– Как зовут вашего отца, молодой человек?

– Да, как же его зовут? – негромко спросила донья Флора.

– Увы, сеньор, – отвечал атаман с удрученным видом, – отцу не доставит ни радости, ни счастья, если уста мои произнесут имя – имя старого испанца, в жилах которого нет ни капли мавританской крови! Не заставляйте же меня

произносить его имя и усугублять его бесчестие, муки, которые он терпит из-за меня.

– Он прав, отец, – взволнованно сказала молодая девушка.

Дон Иниго взглянул на дочь, она вспыхнула и опустила глаза.

– Мне кажется, вы согласны с прекрасной доньей Флорой, – заметил Сальтеадор.

– Пусть будет так, – ответил дон Иниго. – Храните же в тайне ваше имя, но, может быть, у вас нет повода скрывать от меня причину ваших бед. Скажите мне, почему вы ведете чуждый вам образ жизни, почему изгнаны из общества? Почему вы бежали сюда в горы? Думаю, что все это следствие безрассудства молодости. Но если вас иногда мучают угрызения совести, если вы хоть немного сожалеете, что ведете такую жизнь, то клянусь вам перед господом богом, даю слово стать вашим покровителем и даже поручителем.

– Благодарю вас, сеньор. Я верю вам, но вряд ли есть на свете человек, который мог бы помочь мне вернуться в общество и занять то место в свете, которое я прежде занимал, кроме одного – того, кто получил от господа бога наивысшую власть. В душе моей нет греховных помыслов, но сердце у меня пылкое, в горячности я совершаю ошибки, а от них часто приходишь к преступлениям. Итак, ошибки сделаны, преступления свершены – позади меня зияет бездонная пропасть. Выхода нет, и только сверхъестественная сила может вывести меня на прежнюю дорогу, по которой я когда-то шел. Порою я мечтаю о таком чуде, о таком счастье, и если б вы смогли сдержать свое слово, я

бы подобно Товию[65] возвратился в отчий дом и надо мной парил бы ангел-хранитель. Я буду ждать и надеяться, ибо надежда – единственный друг обездоленных. Правда, она обманчива, пожалуй, всего обманчивей на свете. Да, я уповаю, но я не верю. Я продолжаю жить и ухожу все дальше и дальше по глухой и крутой дороге, которая ведет меня против общества и закона, да, я иду, поднимаюсь вверх, а мне мерещится что я возвышаюсь над людьми, я повелеваю, а поскольку я повелеваю, мне мерещится, что я король. Только иногда, по ночам, когда я остаюсь совсем один, меня охватывает тоска, я погружаюсь в размышления, начинаю понимать, что я поднимаюсь не к трону, а к эшафоту.

Донья Флора негромко вскрикнула, задыхаясь от волнения.

Дон Иниго протянул руку Сальтеадору. Но он отказался от чести, которую ему оказал старый дворянин, и низко склонился, прижимая руку к сердцу, а другой рукой указывая ему на кресло.

– Итак, вы поведаете мне обо всем, – произнес дон Иниго, опускаясь в кресло.

– Расскажу обо всем, но скрою имя отца.

Старик идальго, в свою очередь, указал молодому человеку на стул, но тот, так и не сев, проговорил:

– Вы услышите не рассказ, а исповедь, перед священником я бы преклонил колена, но исповедоваться всякому

---

[65] *Товий* – библейский персонаж, сын обедневшего слепца. Он отправился в далекий город получить деньги от должника отца. Его сопровождал принявший человеческий облик ангел, который в награду за благочестие и доброту юноши излечил его отца от слепоты.

другому, будь это дон Иниго или сам король, я буду стоя.

Донья Флора оперлась о спинку кресла, в котором сидел отец, а Сальтеадор, храня смиренный вид, заговорил спокойным и печальным голосом.

VIII. ПРИЗНАНИЕ

– Уверяю вас, сеньор, – так начал Сальтеадор, – я вправе утверждать, что каждым человеком, ставшим преступником, какое бы преступление он ни совершил, движет сила, независимая от его воли, по ее наущению он и сбивается с правильного пути.

Чтобы совратить человека, нужна могучая рука, иногда это железная длань самой судьбы. Но чтобы заставить ребенка уклониться с прямого пути, ребенка, у которого еще неверный глаз, а походка еще нетверда, иной раз довольно и легкого дуновения.

И такое дуновение пронеслось над моей колыбелью: это было равнодушие, пожалуй, даже ненависть моего отца…

– Сеньор, не начинайте с обвинений, если хотите, чтобы господь бог простил вас, – негромко молвила донья Флора.

– А я и не обвиняю, да хранит меня бог от этого. Мои ошибки и преступления на моей совести, и в день грядущего суда я не переложу их на другого, но я должен рассказать обо всем истинную правду.

Мать моя некогда слыла одной из самых красивых девушек в Кордове, и сейчас еще она среди первых красавиц Гранады. Не знаю, что заставило ее выйти замуж за моего

отца, но я всегда замечал, что живут они как чужие, а не как супруги.

И вот я родился… Мне часто приходилось слышать, что общие друзья родителей думали, будто мое рождение сблизит их, но ничего подобного не произошло. Отец был холоден к моей матери, он стал холоден и к ребенку. И я почувствовал это, как только стал все сознавать. Я понял, что лишен покровителя, которого бог дарует нам при нашем рождении.

Правда, матушка, чтобы смягчить несправедливость судьбы, окружила меня горячей и нежной любовью, стараясь заменить ею все, чего мне недоставало, как видно, считая, что должна любить сына за двоих.

Да, она горячо любила меня, но любила по-женски; если бы в этом чувстве было немного меньше нежности и побольше отцовской строгости, это умерило бы капризы ребенка и укротило страсти юноши. Так бог сказал Океану:

«Ты не поднимешься выше, ты не разольешься дальше».

Капризы, усмиренные рукой отца, страсти, подавленные рукой мужчины, стали бы терпимы, приемлемы в обществе.

Но у юнца, воспитанного под снисходительным взором женщины и ведомого ее нежной рукой, нрав становится неистовым. Материнская снисходительность безгранична, как и материнская любовь. И вот я превратился в эдакого необузданного горячего коня и, увы, поддавшись мгновенному порыву, умчался в горы.

Правда, хотя мой характер в безудержной свободе испортился вконец, зато силы мои окрепли. Я знал – твердая

отцовская рука не захлопнет передо мной двери дома, и заранее посмеивался над робкими попреками, которыми встретят меня, когда я вернусь. Вместе с горцами я блуждал по Сьерре-Морене. Я научился охотиться на вепря с рогатиной, на медведя с кинжалом. Мне было всего пятнадцать лет а ведь эти дикие звери привели бы в ужас любого моего сверстника. Для меня же это были просто противники, с которыми я вступал в единоборство, в опасное сражение и всегда побеждал. Бывало, стоило мне заметить в горах звериный след, и животное было уже обречено – я преследовал его, настигал, нападал первый. Не раз я ужом вползал в звериное логово, и там мне светили только горящие глаза разъяренного врага, на которого я шел. И тогда-то, хотя только господь бог был свидетелем борьбы, происходившей в недрах гор, – схватки со зверем, тогда-то мое сердце учащенно билось от гордости и ликования и, подобно героям Гомера, которые насмехались над недругом, прежде чем напасть на него с мечом, дротиком или копьем, я дразнил, вызывая на единоборство волка, вепря, медведя. И начиналась борьба между мною и зверем. Борьба молчаливая, жестокая, и завершалась она предсмертным рычанием зверя и торжествующими криками победителя. И, как Геркулес, победитель чудовища, Геркулес, с которым я себя сравнивал, я, выбираясь из логова на свет божий и влача за собой труп побежденного, осыпал его оскорблениями в дикой своей радости и восхвалял свою победу песней, которую тут же слагал. Я называл бушующие горные потоки своими друзьями, орлов, что парили в вышине, – своими братьями.

Я возмужал, пришла пора любви. Новые страсти и

прежние увлечения соединились, и все это безудержно толкало меня на безумства. Я погряз в азартных играх, я предавался любовным похождениям. Матушка старалась образумить меня. Но, как всегда, все ее попытки были тщетны – она была слишком кротка. Тогда она призвала на помощь отца.

Было поздно – я не привык повиноваться и восстал против увещеваний отца. Да и его голос, звучавший в грохоте бури, был мне чужд. Ведь я вырос, возмужал в тлетворной среде; так юное деревце, быть может, и поддалось бы, но дерево устояло, не сгибаясь, и по-прежнему под его корой, грубой и шероховатой, словно у дуба, бурлили жгучие токи.

О нет, я не буду вспоминать обо всем – рассказ был бы слишком долог, да я и не могу этого сделать в присутствии вашей чистой, невинной дочери; чувство уважения замыкает мои уста. Нет, я не буду говорить о ночных оргиях, неистовых любовных страстях, обо всем, что в конце концов разорило моего отца и измучило страдалицу мать. Нет, нет… Я прохожу мимо бесконечных приключений, которые составляют суть всей моей жизни, – она пестрит поединками, серенадами под балконами дам, уличными встречами – так пестрит яркими красками мой плащ; повторяю, я умолчу о всех своих похождениях и перейду к рассказу о том, какой крутой поворот произошел в моей жизни, изменив ее навсегда.

Я полюбил.., или вообразил, что люблю одну женщину – сестру моего друга. Как я клялся ей, призывая в свидетели моей любви целый мир, – простите, сеньора, тогда я еще не видел вас и считал, что она всех красивее на свете… И вот

как-то ночью, а вернее утром, я встретил у дверей отчего дома брата своей любовницы. Он был верхом и держал за поводья вторую лошадь.

Я сразу заподозрил, что тайна моей любви открыта.

«Что ты здесь делаешь?» – спросил я.

«Жду тебя или не видишь? Шпага при тебе?»

«С ней я никогда не расстаюсь».

«Тогда садись на коня и следуй за мной».

«Я буду сопровождать тебя – скорее ты последуешь за мной».

«О нет! Я сам знаю, куда нам нужно попасть, и поскорее».

И он пустил коня галопом, я тоже, и так мы мчались бок о бок во весь опор и скоро очутились в горах.

Мы проскакали еще шагов пятьсот и оказались близ полянки, заросшей нежной травой, словно приглаженной рукой человека.

«Здесь и остановимся», – сказал Альваро: так звали моего друга.

«Пожалуй», – отвечал я.

«Сходите с лошади и готовьте шпагу, дон Фернандо. Вы, конечно, догадываетесь, зачем мы здесь – я вызываю вас на дуэль».

«Сначала я сомневался, – отвечал я, – а теперь теряюсь в догадках – что же могло произойти? Отчего наша любовь обернулась ненавистью; вчера еще братья, сегодня враги…»

«Враги именно потому, что братья, – оборвал меня дон Альваро, вынимая шпагу. – Братья по моей сестре. Вперед, вперед, дон Фернандо, со шпагой в руке!»

«Я готов, – ответил я. – Вы-то хорошо знаете, что дважды повторять приглашение мне не нужно. Но я жду – скажите о причине нашего приезда сюда, на эту поляну. Что настроило вас против меня? В чем я виноват?»

«Обвинений столько, что я предпочитаю молчать. И одно напоминание о них заставляет меня еще и еще раз поклясться, что я смою твоей кровью все оскорбления. Живо шпагу из ножен, Фернандо!»

Я просто не узнавал себя – до того спокойно я выслушал его гневные слова, его вызов.

«Драться я не буду, пока не узнаю, в чем моя вина», – сказал я.

Он выхватил из кармана пачку писем.

«Узнаете эти бумажонки?»

Я вздрогнул.

«Бросьте их на землю, может быть, и узнаю».

«Ну что же, соберите их и прочтите».

Он швырнул письма на землю. Я их подобрал, пробежал глазами – да, то были мои письма.

Отрицать это было невозможно; я стоял перед лицом оскорбленного брата.

«О я глупец! – воскликнул я. – Горе безумцу, доверившему бумаге свои сердечные тайны и честь женщины! Ведь письмо – это летящая стрела: известно, откуда она направлена, откуда она пущена, но неведомо, где она упадет и кого настигнет».

«Так что же, узнали вы письма, дон Фернандо?»

«Они написаны моей рукой, дон Альваро».

«Живо обнажайте шпагу, и пусть один из нас падет во искупление попранной чести моей сестры».

«Я зол на вас – ваш поступок, ваши угрозы, дон Альваро, мешают мне просить у вас руки вашей сестры».

«Ну и трус! – крикнул дон Альваро. – Увидел шпагу у брата опозоренной им женщины и обещает жениться»!

«Вы-то знаете, что я не трус, дон Альваро. Я хочу поговорить с вами, выслушайте меня».

«Шпагу наголо! Там, где должен говорить клинок, язык молчит».

«Я люблю вашу сестру, дон Альваро, и она любит меня. Почему же мне не назвать вас братом?»

«Да потому, что отец сказал вчера, что он, вовеки не назовет сыном человека, погрязшего в долгах, пороках, распутстве».

Хладнокровие покинуло меня при таком потоке оскорблений.

«Так сказал ваш отец, дон Альваро?» – переспросил я и заскрежетал зубами от гнева.

«Да, и я повторяю его слова. И добавлю: обнажайте шпагу, дон Фернандо!»

«Итак, ты хочешь драться!» – воскликнул я.

«Обнажайте шпагу! – настаивал дон Альваро. – Иначе я просто изобью вас шпагой, как палкой».

Я противился, поверьте, дон Иниго, говорю вам сущую правду. Противился, пока позволяла честь. Я выхватил шпагу. Прошло минут пять, и дон Альваро был мертв. Он умер без покаяния, проклиная меня. Отсюда все мои несчастья…

Сальтеадор умолк в раздумье, склонив на грудь голову.

И тут вдруг появилась юная цыганка – в окне, через которое недавно вошел атаман, – и торопливо, так спешат,

принося важные известия, трижды произнесла имя Фернандо.

Не сразу, очевидно, он ее услышал – обернулся, когда она окликнула его в третий раз.

Но как ни спешила Хинеста сообщить какую-то весть, Сальтеадор сделал ей знак рукой, приказав подождать, и она умолкла.

– Я вернулся в город, – продолжал он. – По дороге я встретил двух монахов и указал им место, где лежало тело дона Альваро.

Казалось бы, ничего особенного в этой истории – поединок двух молодых людей и смерть от раны, нанесенной шпагой. Но наша дуэль была необычна: отец дона Альваро был вне себя – он утратил единственного сына и объявил меня убийцей.

Признаюсь, моя репутация не могла меня защитить: я был обвинен в убийстве, суд подтвердил гнусное обвинение. Алькальд предъявил мне это обвинение, и трое альгвасилов[66] явились за мной, собираясь взять под стражу.

Я заявил, что отправлюсь в тюрьму один. Они мне отказали. Я дал им слово дворянина, что не убегу, если пойду впереди или позади их. И в этом они мне отказали, решив вести меня в острог силой.

Двоих я убил, третьего ранил. Я вскочил на своего неоседланного коня, захватив из дома одну-единственную вещь: ключ.

Я не успел повидаться с матушкой и решил вернуться и обнять ее в последний раз.

---

[66] *Алькальд* (*исп.*) – судья, городской голова. *Альгвасил* (*исп.*) – полицейский.

Часа через два я был в безопасности в горах.

Горы кишели разбойниками всех мастей, как и я, – изгнанниками, вступившими в распрю с правосудием, поскольку ждать от общества им было нечего, они горели желанием отомстить за то зло, которое оно им причинило. Всем этим отверженным недоставало лишь атамана, который сплотил бы их, превратил в грозную силу.

Я вызвался стать главарем. Они согласились. Остальное вы уже знаете.

– А вам удалось повидаться с матушкой? – спросила донья Флора.

– Благодарю вас, сеньора. Вы еще считаете меня человеком.

Девушка опустила глаза.

– Да, удалось, – продолжал Сальтеадор, – я виделся с ней не один, а десять, двадцать раз. Только она одна – моя мать связывает меня с этим миром. Раз в месяц, не намечая определенного дня, ибо все зависит от бдительного надзора, который установлен за мной, итак, раз в месяц с наступлением ночи я спускаюсь с вершин и в одеянии горца, закутавшись в широкий плащ, пробираюсь в город, невидимкой, никем не узнаваемый, пересекаю площадь и проникаю в отчий дом: ведь он для меня особенно дорог с той поры, когда я стал изгнанником. Я поднимаюсь по лестнице, отворяю дверь в спальню матушки, крадучись приближаюсь к ней и бужу ее, поцеловав в лоб. Я сажусь на ее постель и всю ночь, как во времена детства, держу ее за руку, прильнув головой к ее груди.

Так проходит ночь; мы говорим о прошлом, о тех временах, когда я был невинен и счастлив. Она целует меня, и

тогда мне кажется, что ее поцелуй примиряет меня с жизнью, людьми и богом.

– О отец! – воскликнула донья Флора, вытирая слезы со щек.

– Ну что ж, – проговорил старик, – вы увидите свою мать не только ночью украдкой, но при свете дня, на глазах у всех. Ручаюсь вам честью дворянина.

– О, как вы добры! Вы безмерно добры, батюшка! – повторяла донья Флора, целуя отца.

– Дон Фернандо, – вдруг с тревогой молвила цыганка, – я должна сообщить вам важную весть. Выслушайте же, бога ради!

Но и на этот раз он повелительным жестом приказал ей подождать.

– Итак, мы вас покидаем, – произнес дон Иниго, – и увезем самые лучшие воспоминания о вас.

– Значит, вы меня прощаете? – сказал Сальтеадор, охваченный каким-то неизъяснимым, теплым чувством к дону Иниго.

– Не только прощаем, но почитаем себя обязанными вам, и я надеюсь, что с божьей помощью докажу вам свою признательность.

– А вы, сеньора, – смиренно спросил Сальтеадор донью Флору, – разделяете ли вы мнение своего отца?

– О да! – воскликнула донья Флора. – Не знаю только, как выразить вам…

Она осмотрелась, словно ища, что бы подарить молодому человеку в знак благодарности.

Сальтеадор понял ее намерение и, увидев букет, составленный Амаполой по велению дона Рамиро, взял его и подал донье Флоре.

Она обменялась взглядом с отцом, словно советуясь с ним, и, когда он кивнул ей в знак согласия, вынула из букета цветок. То был анемон – символ печали.

Донья Флора протянула его Сальтеадору.

– Отец обещал отплатить вам добром, а это от меня.

Сальтеадор с благоговением взял цветок, поднес его к губам и спрятал на груди, прикрыв курткой.

– До свидания, – промолвил дон Иниго. – Смею вас уверить заранее – до скорого свидания.

– Поступайте, как подскажет ваше доброе сердце, сеньор. И да поможет вам бог!

Затем он повысил голос и произнес:

– Вы свободны. Идите, и пусть всякий, кто встретится на вашем пути, отойдет на десять шагов от вас. Не то будет убит.

Дон Иниго и его дочь покинули харчевню, а он следил за ними из окна, выходящего во двор, увидел, как они сели на своих мулов и пустились в путь.

И тогда молодой человек взял цветок, спрятанный на груди, и еще раз поцеловал, поцеловал с чувством, которое не вызывало сомнений!

И тут кто-то положил ему руку на плечо.

Это была Хинеста. Девушка легко, словно птица, впорхнула в комнату, когда уехали дон Иниго и донья Флора, – она понимала, что при них Сальтеадор не желал слушать ее сообщений. Она была бледна как смерть.

– Что тебе нужно? – сказал, взглянув на нее, Сальтеадор.

– Слушай же: вот-вот появятся королевские солдаты. Они уже в четверти мили отсюда. Не пройдет и десяти минут, как они нападут на тебя.

– Ты в этом уверена, Хинеста? – спросил Сальтеадор, хмуря брови. Не успел он договорить, как раздался грохот выстрелов.

– Вот ты и сам слышишь, – отвечала Хинеста.

– К оружию! – крикнул Сальтеадор, выбегая во двор. – К оружию!

IX. ДУБ ДОНЬИ МЕРСЕДЕС

Вот что произошло.

Дон Иниго рассказывал, что недалеко от Альхамы они повстречали отряд королевских войск – с начальником он был хорошо знаком.

Разбойники, как мы уже говорили, с хохотом вспоминали, что отряд прошел здесь накануне.

Отряду из сорока человек было приказано очистить от разбойничьей вольницы, наводящей ужас на путешественников, все дороги и тропы в горах. Назначена была награда – сто золотых за каждого захваченного, живого или мертвого, бандита и тысяча – за главаря.

Король дон Карлос поклялся, что уничтожит разбой в Испании, будет гнать бандитов с горы на гору, пока не столкнет в море. За два с половиной года, с того дня, как он вступил в Испанию, он упрямо преследовал свою цель, а упрямство, как известно, являлось отличительной чертой его характера, – и загнал последних бандитов в непроходимые места – в горы Сьерры-Невады, нависшей над морем.

Накануне дело было почти сделано, начальник отряда был вполне удовлетворен осмотром дороги, ему не попа-

лось ничего подозрительного, ничто не привлекло его внимания, кроме харчевни: их встретили хозяин и слуги, у хозяина было открытое лицо, сговорчивый и приветливый нрав, – он был сговорчивее хозяев других харчевен, и ничто не указывало, что здесь – разбойничий притон, поэтому начальник дал приказ продолжать путь, и отряд отправился дальше.

До самой Альхамы не было обнаружено ничего приметного, кроме крестов, стоявших у обочины дороги, но кресты такая обычная вещь в Испании, что солдаты не обратили на них ровно никакого внимания.

Однако в Альхаме начальник отряда кое-что разведал, и ему предписали немедля заняться харчевней «У мавританского короля», поскольку именно в ней находятся главные, силы разбойников, их гнездо, их убежище. И начальник карательного отряда, не теряя времени, приказал своим людям повернуть обратно и следовать за ним.

От Альхамы до харчевни было шесть лье; солдаты уже проделали полпути, когда увидели, что к ним приближается раненый и истекающий кровью слуга дона Иниго. Взывая о помощи, он мчался бешеным галопом.

Он-то и рассказал обо всем, что только что произошло.

Итак, мы знаем, что дон Иниго был знаком с командиром отряда, поэтому начальник, услышав, в каком безвыходном положении знаменитый идальго и его дочь, донья Флора, как с ними расправились разбойники, приказал продолжать путь ускоренным маршем.

Хинеста, стоявшая на высоком утесе, издалека увидела головной отряд колонны – она сейчас же поняла, почему отряд возвращается, и, дрожа от страха за жизнь Фернандо,

бросилась в харчевню, распахнула садовую калитку, ту самую, через которую он недавно прошел, подбежала к разбитому им окошку, остановилась там по приказу Фернандо, стала по его воле ждать, смотрела через окно, слышала разговор молодого человека с пленниками и поняла, что произошло между Фернандо и доньей Флорой.

Хинеста была бледна, сердце ее то колотилось, то замирало от ужаса. Она прыгнула в комнату и сообщила Фернандо о приближении королевской рати.

Сальтеадор выбежал из харчевни с криком: «К оружию!»

Он думал, что все собрались в кухне, но там было пусто. Во дворе тоже никого не было. В два прыжка он очутился у входа в харчевню.

У дверей он обнаружил аркебузу, валявшуюся на земле, и старинный патронташ с зарядами. Он схватил аркебузу, повесил патронташ на шею, выпрямился во весь рост и стал искать глазами сообщников, недоумевая, куда они подевались.

Выстрелы прекратились – значит, те, против кого они были направлены, перестали сопротивляться.

И тут Сальтеадор увидел на вершине холма авангард отряда королевских солдат.

Он оглянулся – да, все его бросили, предали. Только Хинеста стояла позади него, бледная, с судорожно сжатыми руками. Дрожа от ужаса, она умоляла его бежать, бежать скорее.

– Что ж, придется так и сделать, – пробормотал он. – Презренные твари изменили!

– А может быть, они присоединятся к тебе там, в горах?! – робко предположила Хинеста.

Ее слова вселили в Фернандо надежду.

– Пожалуй, так оно и будет.

Они бросились во двор, и Фернандо закрыл тяжелые ворота, задвинув железный засов.

Затем вместе с Хинестой он вошел в кухню, потом в чулан и, приподняв подъемную дверь, пропустил девушку вперед. Потом он запер дверь на замок и, освещая путь фитилем аркебузы, вместе со своей спутницей спустился по лестнице в подземелье – именно туда собирались бандиты поместить дона Иниго, чтобы предотвратить его побег.

Минут через пять Сальтеадор и цыганка уже оказались на другом конце подземелья. Сальтеадор поднял своими могучими плечами вторую потайную дверь, заложенную снаружи землей, поросшей мхом.

И вот беглецы очутились в горном ущелье. Сальтеадор вздохнул полной грудью.

– Теперь мы на свободе! – воскликнул он.

– Да, конечно, но времени терять нельзя, – ответила Хинеста.

– Куда же мы пойдем?

– К дубу святой Мерседес.

Фернандо вздрогнул.

– Тогда скорее вперед, – сказал он. – Быть может, святая дева, моя покровительница, принесет мне счастье.

Вдвоем, а вернее втроем, ибо за ними бежала козочка, они пошли дальше, в заросли кустарника, по тропам, протоптанным зверями.

Только двигаясь по этим дорогам, они должны были, как это делают и дикие звери, опускать голову почти до

земли, иногда ползти на четвереньках, особенно в тех местах, где сплетались ветки кустов и под ногами лежали скользкие камни; но чем труднее была дорога в этой естественной крепости, тем надежнее она была для атамана и цыганки.

Так продолжалось почти час. Они шагали все медленнее и прошли меньше полулье.

Людям, не знакомым с горами, с тропами, проложенными оленями, медведями и кабанами, пришлось бы потратить целый день, чтобы проделать этот путь.

Чем дальше продвигались беглецы, тем непроходимее становились заросли. Однако ни Фернандо, ни Хинеста не проявляли признаков тревоги. Они шли вперед, намеченная цель была скрыта в зарослях ежевики, вереска, исполинских мирт; им было труднее, чем мореплавателям: те плывут в своих утлых суденышках по бескрайним морям, зато у них есть верные проводники – компас и небесные светила.

Но вот они пробились через буковые заросли, казалось, непроходимые и непроглядные, и очутились на полянке шагов в двадцать шириной; посреди высился дуб – к его стволу в позолоченной деревянной раме была прикреплена статуэтка святой Мерседес, покровительницы матери Фернандо, чье имя она носила.

Дерево посадил Фернандо; он часто приходил сюда и, сидя в тени ветвей, дремал или размышлял. Это место он называл своим летним пристанищем, считая, что здесь он в безопасности, под защитой святой его матери, а вернее – самой матери, которую он любил и уважал больше, чем ее покровительницу.

Беглецы дошли до заветной цели, и было ясно, что здесь, если только их не предадут, им ничто не угрожает.

Мы сказали «если только их не предадут», ибо бандитам был известен любимый уголок атамана, хотя сами они никогда не приходили сюда без его приказа. Тут был приют для Фернандо, тут он в часы печали, часто одолевавшей его, вспоминал прошлое и, лежа на земле, смотрел ввысь, видел сквозь листву дуба кусочки синего неба, легкого, как крылья его надежды[67]; и грезил о своем беззаботном детстве, и эти воспоминания являли собой разительный контраст с теми кровавыми и страшными видениями, которые молодой человек уготовил себе к старости.

Когда он хотел дать приказание или получить какие-нибудь сведения, он вынимал из дупла серебряный рожок с чудесным мавританским орнаментом, прикладывал к губам, и раздавался резкий, пронзительный свист, если ему нужен был один из его сотоварищей; созывая десять человек, он свистел два раза, и три – когда собирал всю свою вольницу.

Сейчас, добравшись до поляны, он подошел к дубу и припал к ногам статуи святой Мерседес, потом встал на колени и шепотом произнес короткую молитву, а Хинеста, полуязычница, словно застыв, смотрела на него; поднявшись с колен, он обошел дерево и вынул из дупла серебряный рожок, о котором мы только что рассказали. Прижав его к губам, он свистнул резко и пронзительно. Такие звуки, вероятно, раздавались из долины Ронсеваля, и, ус-

---

[67] *...синего… как крылья его надежды...* – В средние века надежду изображали в виде крылатой женщины; она сидела, опершись на якорь, устремив глаза к небу.

лышав их, Карл Великий, который вел свои войска, вздрогнул, остановился и произнес: «Господи, да это мой племянник Роланд призывает меня на помощь».

Свист повторился три раза, но втуне – никто не явился.

Вряд ли разбойники не слышали – звуки рожка эхом отозвались далеко в горах.

Может быть, бандитов захватили в плен, а может быть, они предали атамана или, сочтя, что нападающих так много, что сопротивление бесполезно, решили, что благоразумнее исчезнуть, и разбежались в разные стороны.

Около четверти часа Фернандо стоял и ждал, опершись о ствол дуба, но вокруг по-прежнему царила тишина, все было спокойно, и он, бросив плащ на землю, лег на него.

Подошла Хинеста и присела рядом.

Фернандо смотрел на нее с бесконечной нежностью, ведь только она, цыганка, осталась верна ему. Хинеста кротко улыбалась, и в ее улыбке таилось обещание вечной преданности.

Фернандо протянул руки, обхватил голову девушки и поцеловал ее в лоб. И когда губы Сальтеадора прикоснулись ко лбу Хинесты, она негромко вскрикнула – в этом крике звучали и радость, и печаль: Фернандо впервые приласкал ее.

На миг она замерла, смежив веки, закинув голову, потом прильнула к стволу дерева, полуоткрыв губы. Казалось, она не дышит, словно в обмороке. Молодой человек посмотрел на нее сначала с удивлением, затем взгляд его выразил тревогу. Он тихонько окликнул ее:

– Хинеста!

Цыганка вскинула голову – так ребенок, услышав голос

матери, просыпается и открывает глаза. Она взглянула на Сальтеадора и негромко сказала:

– Боже мой!

– Что с тобой, душа моя? – спросил он.

– Право, сама не знаю, – отвечала девушка, – только мне показалось, будто я умираю…

Она поднялась, медленно, неверной походкой отошла от дуба и спряталась в кустарнике, закрыв лицо руками, – казалось, она вот-вот разрыдается, хотя еще никогда не испытывала такой радости, такого счастья.

Сальтеадор следил за ней глазами, пока она не исчезла из виду; но козочка спокойно лежала близ него, не побежала за своей хозяйкой, и он рассудил, что девушка не уйдет далеко.

Он вздохнул, завернулся в плащ и прилег с закрытыми глазами, намереваясь заснуть. Он спал, вернее, дремал около часа и вдруг услышал, что его зовут, – голос звучал ласково, но тревожно.

Уже спустились сумерки, около него стояла цыганка, указывая рукой на заходящее солнце.

– Что случилось? – спросил Фернандо.

– Взгляни, – ответила она.

– О да, сегодня закат багрово-красный, – заметил беглец, стремительно вскочив. – Он предвещает нам завтра кровавую схватку.

– Ты ошибаешься, – возразила Хинеста, – это не отблески солнца, а зарево пожара в горах.

– Вот оно что, – произнес он, вдыхая запах гари и прислушиваясь к отдаленному потрескиванию огня.

И тут мимо них молнией пронесся испуганный олень, а за ним самка с детенышем: они мчались с запада на восток.

– Пойдем скорее, Фернандо, – молвила девушка. – Чутье животных вернее подсказывает выход, чем разум человека. И оно указывает нам, куда надо бежать, и призывает нас не терять ни мгновения.

Фернандо согласился с ней и, повесив рожок через плечо, завернулся в плащ, взял аркебузу, и они отправились в путь в том же направлении, куда умчались олень с самкой и детенышем. Хинеста и козочка шли впереди.

X. ОГОНЬ В ГОРАХ

Сальтеадор, Хинеста и козочка прошли шагов пятьсот, как вдруг козочка остановилась, попятилась назад и, понюхав воздух, застыла на месте.

– Что с тобой, Маза? – спросил молодой человек.

Козочка замотала головой, затихла, словно прислушиваясь к чему-то, а потом заблеяла, будто отвечая.

Сальтеадор молчал, вдыхая ночной воздух, насыщенный запахом смолы.

Царил непроглядный мрак – такой мрак опускается на Испанию в летние ночи.

– Мне кажется, – произнес Сальтеадор, – до нас доносится потрескивание огня и запах дыма. Мы ошиблись, мы не бежим от пожара, а идем прямо на него.

– Пожар вспыхнул там, – возразила Хинеста, указывая рукой прямо на запад.

– Ты уверена?

– Вот смотри, звезда Альдебаран была справа, как сейчас. Может быть, огонь идет с двух сторон.

– Пожар разгорелся там, где подожгли лес, – пробормотал молодой человек, начиная подозревать истину.

– Постой-ка, – проговорила Хинеста, – сейчас я все узнаю и скажу тебе.

Скалы и ущелья, пики и чащи, ложбины и пещеры были так же знакомы этой дочери гор, как ребенку парк возле замка, и она побежала вперед, мигом добралась до подножия высокой горы и, взбираясь по гранитной круче, остановилась на верхушке скалы, словно статуя на пьедестале.

Она поднялась за пять секунд, а спустилась за секунду.

– Ну, что же там? – спросил Фернандо.

– Ты прав, – ответила она.

– Пожар?

– Пожар, – подтвердила она, указывая на юг. – Нам нужно пробраться туда, и надо успеть, пока очаги пламени не соединились.

Чем дальше двигались они на юг, тем гуще становилась растительность, стеной вставали заросли колючего кустарника, где обычно водятся кабаны, волки, вепри; звери послабее – лани, козули – не осмеливаются заходить на землю, занятую их грозными врагами, однако сейчас то и дело, подобно молнии, мелькали стайки этих животных, – пожар застал их врасплох, и они бежали, ища выхода, в ту сторону, куда их влекло чутье.

– Сюда, сюда, – твердила Хинеста, – не бойся, Фернандо. Вот он, наш вожатый. – И она указала на яркую звезду, сверяя по ней путь:

– Видишь, теперь звезда слева от нас.

Если она будет оставаться слева – сначала она была от нас справа, – значит, мы идем правильно.

Минут через десять звезда затуманилась.

– О, да сейчас разразится гроза, – воскликнул Фернандо, – и мы увидим великолепное зрелище – борьбу огня с водой в горах.

Но Хинеста остановилась и, схватив Фернандо за руку, промолвила:

– Нет, заволокло звезду не облако, а…

– Что?

– Дым.

– Быть не может, ведь ветер дует с юга.

И тут, рыча и сверкая глазами в темноте, мимо них промчался волк; не заметив ни людей, ни козочки, он стремглав бежал на север. Козочка тоже не обратила внимания на волка – ее страшила другая опасность.

– Всюду огонь, всюду огонь! – крикнул Фернандо. – Мы опоздали – перед нами стена пламени. Подожди-ка, сейчас мы все увидим.

И он стал взбираться на сосну, цепляясь за ее ветки.

Но тут над его головой раздалось грозное рычание.

Хинеста с ужасом потянула его к себе и показала рукой вверх – футах в пятнадцати, выделяясь на фоне неба, темнела какая-то огромная туша.

– Да ты напрасно рычишь, старый медведь с Муласена, – заметил Фернандо, – пожар перед тобой не отступит, а я тем более; будь у меня время…

– На север! На север! – твердила Хинеста. – Иного пути нет.

И в самом деле, все обитатели гор: олени, козули, лани, вепри – вихрем мчались туда, где еще не было огня. Стаи тетеревов и куропаток летели торопливо, натыкались на

ветки и, оглушенные, падали к ногам беглецов, а ночные птицы – властелины тьмы, зловещими и недоуменными криками встречали необычайное наступление дня, восход солнца, которое поднималось из земли, а не из-за горизонта.

– Идем скорее, Фернандо! – кричала Хинеста.

– Но куда, в какую сторону? – все спрашивал Фернандо, страшась не столько за себя, сколько за молодую девушку, не бросавшую его и разделившую с ним опасность, которой она могла бы избежать, если б осталась в харчевне.

– Сюда! Сюда! Вот она, путеводная звезда, перед нами.

Знаешь, пойдем за козочкой – ее чутье выведет нас на верный путь.

И они бросились бежать в том направлении, которое им будто указывала козочка, и не только она, но и дикие звери, что мчались, словно гонимые знойным дыханием сирокко[68].

И вдруг козочка остановилась.

– Все кончено, – проговорил Фернандо. – Мы попали в огненное кольцо.

И он опустился на выступ скалы, очевидно, поняв, что дальше идти бесполезно.

Девушка сделала еще шагов сто, пока не убедилась, что Фернандо прав, да и козочка отстала; Хинеста вернулась, подошла к Фернандо, который сидел, опустив голову, и, казалось, решил ждать ужасного конца, не трогаясь с места.

Надежды на спасение не оставалось – вокруг, сквозь

---

[68] *Сирокко* – ветер, несущий массы горячего и сухого воздуха из пустынь Северной Африки в бассейн Средиземного моря.

облако дыма, вздымавшегося на расстоянии одного лье, виднелось кроваво-красное небо.

Слышался жуткий гул, он все нарастал, значит, пожар ширился.

Девушка постояла около Сальтеадора, не сводя с него глаз, полных любви. Если бы кто-нибудь мог постичь ее сокровенные думы, то понял бы, что хотя страх, внушенный безысходностью, и владел ее душой, но в то же время она втайне мечтала обнять молодого человека и умереть вместе с ним, вот тут, на этом месте, даже не помышляя о своем спасении.

Однако, казалось, она поборола искушение и, вздохнув, тихо окликнула спутника:

– Фернандо!

Сальтеадор поднял голову.

– Бедняжка Хинеста, – проговорил он, – ты так молода, так красива, так добра – и погибнешь по моей вине… Да, поистине надо мной тяготеет проклятие!

– Тебе жаль расстаться с жизнью, Фернандо? – спросила девушка, тоном своим давая понять, что сама она этого не боится.

– О да, да, – воскликнул молодой человек, – да, признаюсь, жаль!

– Почему? – молвила она.

И только тут Фернандо понял, что происходит в душе девушки.

– Я люблю матушку, – отвечал он.

У Хинесты вырвался крик радости.

– Благодарю тебя, Фернандо! Иди же, иди за мной…

– Куда?

– Иди за мной! – повторила она.

– Да разве ты не видишь, что мы погибли? – произнес Фернандо, пожимая плечами.

– Мы спасены, Фернандо, ручаюсь тебе, – проговорила цыганка.

Он поднялся, полный сомнения.

– Иди, иди, – все повторяла она. – Раз ты жалеешь только свою матушку, я не допущу, чтобы она оплакивала тебя.

И, сжав руку молодого человека, Хинеста потянула его за собой и пошла в новом направлении. Фернандо безумно двинулся за ней: им владело одно желание – сохранить жизнь.

Козочка, увидев, что беглецы тронулись в путь, побежала вперед, словно в ней тоже проснулась надежда на спасение и она решила стать проводником, меж тем как другие звери, попав в кольцо огня, словно потерянные, кружили на месте.

Пожар надвигался на них, воздух раскалился. Вдруг шум стал еще сильнее, казалось, он стремительно приближается.

Фернандо остановил девушку.

– Да ведь огонь там, впереди, или ты не слышишь? Не слышишь? – говорил он, указывая рукой туда, откуда раздавался гул.

– Да неужели же, Фернандо, – засмеялась цыганка, – ты еще так плохо разбираешься в горных звуках, что шум водопада принял за гул пожара?

– Ах, вот оно что! – воскликнул Фернандо. – Так и есть, ты права. Пожалуй, мы избежим огня, если пойдем вдоль

берега, между двумя стенами пламени. Но ты думаешь, что водопад не охраняется?

– Идем же, идем! – настаивала девушка. – Ведь я сказала, что ручаюсь за все.

И она снова потянула его за руку и вывела на плоскогорье, оттуда прозрачным покрывалом, будто наброшенным на склон горы, низвергался могучий водопад: днем он переливался радугой, а ночью сверкал под лучами луны. Он бился о скалы, и этот грохот напоминал раскаты грома; взбивая тучи пены, он срывался в пропасть с огромной высоты, превращаясь на ее дне в ревущий поток, что, пробежав три лье, впадал в Хениль между Армиллой и Санта-Фе.

Прошло еще несколько минут, и беглецы добрались до края скалы, откуда поток устремлялся в бездну.

Хинеста немедля хотела начать спуск, но Фернандо задержал ее. Уверовав, что его жизнь и жизнь его спутницы спасены, он, как истинный поэт, не мог устоять перед желанием оценить ту опасность, которой они только что избежали.

Некоторые люди испытывают непостижимое наслаждение от подобных ощущений.

Правда, надо согласиться, зрелище было поистине великолепным. Пламенеющий круг то сжимался, то раздавался вширь. Бесконечная огненная лента обвивала горы, и чудилось, что она стремительно приближается к беглецам.

Кое-где огонь лизал подножие огромной сосны, змеился вокруг ствола, пробегал по веткам, освещая ее, – казалось, это высокая подставка, увешанная светящимися плошками и приспособленная для иллюминации на коро-

левских праздниках. Искры сверкали в воздухе, и вдруг огненный столб рушился, исполинский костер вздымал клубы до самого неба, напоминая извержение вулкана.

Местами пламя охватывало фисташковые деревья и летело, образуя огненную дорожку, словно прокладывая ее пылающим мечом по темно-зеленому ковру, покрывавшему склоны гор. Или внезапно на скале вспыхивали пробковые деревья, и казалось, вниз низвергался огненный водопад, останавливаясь в ущелье, сжигая все живое, и тогда то тут, то там появлялись новые очаги пожара.

Молодой человек стоял в каком-то исступлении восторга, глядя на море огня, пожиравшего зеленые островки, наблюдая за пламенем, которое скоро должно было поглотить все вокруг.

Со склонов, еще не тронутых пламенем, несся разноголосый звериный крик – трубили олени, выли волки, визжали дикие кошки, ревели кабаны, лаяли лисицы, и если б все происходило днем, то, вероятно, было бы видно, как животные, забыв о вражде, объединенные общей опасностью, сгрудились на узкой прогалине среди зарослей, а по земле уже стелился горячий пар, предвестник наступающего на них пожара.

Но вот Хинеста, словно страшась за Фернандо больше, чем он страшился за нее, напомнила ему о том, что им угрожает, и, когда самозабвенная отрешенность, владевшая им, прошла, девушка знаком пригласила его следовать за ней и первая решительно начала спускаться в бездну.

XI. ГНЕЗДО ГОРЛИНКИ

Спуск, казавшийся Хинесте спасением, был опасен даже для Фернандо, а для любого другого просто невозможен.

Белый пар, гонимый ветром, вился по склонам гор, и чудилось, что он легок и воздушен, как цыганка, которая ступала босиком по едва заметным выступам почти отвесной скалы.

К счастью, местами из расщелин гранитного ущелья торчали кустики мирт, вереска и мастикового дерева – Фернандо ступал на них, а руками цеплялся за лианы, что расползались по горе гигантскими сороконожками. Порою даже козочка не решалась тронуться с места и, робея, останавливалась, и тогда Хинеста, идущая вслед за ней, словно указывала ей путь; было просто непостижимо, как это ей удавалось.

Девушка то и дело оборачивалась, подбадривая Фернандо жестами – кричать было бесполезно, стоял невероятный шум; ревел водопад, пламя гудело и посвистывало, в отчаянии вопили дикие звери. Бедных животных все теснее сжимало кольцо пожара.

Порой девушка, дрожа от ужаса, останавливалась, увидев, что Фернандо повис над пропастью, над которой сама она словно парила на крыльях, перелетая с утеса на утес. Не раз она протягивала Фернандо руки, взбегая вверх, и, склоняясь над ним, поддерживала его.

Ему было стыдно, что женщина опередила его, – казалось, для нее все это забавная игра, а вот его уже столько раз подстерегала смертельная опасность, и он призывал на

помощь все свои силы, всю решительность и хладнокровие и шел вслед за козочкой и девушкой по гибельному спуску.

Цыганка спустилась футов на двадцать пять, к самому утесу, где водопад бьется о скалы, и прекратила спуск, а затем стала пересекать гору наискось, все ближе и ближе к водопаду, от которого раньше она держалась подальше из предосторожности, ибо камни, забрызганные водяной пылью, были скользкими и еще более опасными.

Пожар отбрасывал яркие блики, освещавшие крутую дорогу, и почти такие же ослепительные, как лучи солнца.

Но, пожалуй, свет не уменьшал опасности – она становилась еще заметнее.

Фернандо начал понимать, что задумала Хинеста.

Козочка в два-три прыжка долетела до скалы, о крайний выступ которой разбивался водопад; цыганка добралась туда почти одновременно с ней и тотчас же обернулась, спеша помочь Фернандо.

Она наклонилась, протянула ему руки; с одной стороны вздымалась темная стена утеса, с другой – стена водопада, в струях которого отражалось зарево пожара, и чудилось, что это бриллиантовая арка моста, перекинутого с земли на небо, а Хинеста казалась духом гор и феей вод.

Разделяло их небольшое пространство, но Фернандо с трудом преодолел его. Цыганка своей босой ножкой нащупывала все неровности, а беглец то и дело оступался. И вот, почти добравшись до гранитной площадки, он вдруг поскользнулся, и Хинеста с силой, какую нельзя было и предположить в тоненькой девушке, схватила его за плащ и удерживала над самой пропастью, пока он не нашел точку опоры.

Через секунду он очутился рядом с цыганкой и ее козочкой.

Но тут, на утесе, почувствовав себя в безопасности, он вдруг ослабел, ноги его подкосились, лоб покрылся испариной, и он упал бы, если бы рука его, искавшая опоры, не нашла ее – то было плечо цыганки, дрожавшей от тревоги.

Он на миг закрыл глаза, чтобы дать время этому злому духу – головокружению оставить его.

Когда он открыл их, то невольно откинулся назад, ошеломленный волшебным зрелищем, представшим его взору.

Через пелену водопада, прозрачную, как хрусталь, пламя пожара переливалось всеми цветами радуги, и казалось, перед ними – какая-то сказочная иллюминация.

– О, до чего же это великолепно! – невольно воскликнул он. – Как это прекрасно!

Душа поэта, подобно орлу, что кружит над Этной, воспарила над горой, словно превращенной в вулкан.

Увидев, что Фернандо больше не нужна поддержка, Хинеста высвободилась из его судорожного объятия, а он продолжал созерцать величественную картину. Девушка вошла в какую-то пещеру, и вскоре там затеплился светильник, ласкавший взгляд, уставший от кровавых отблесков пожара, пылавшего в горах. Фернандо от созерцания перешел к размышлению. Он уже не сомневался: лесной пожар вовсе не случайность – это западня, придуманная преследователями, которым приказано схватить его.

Звуки его серебряного рожка, когда он трижды свистнул, призывая свою вольницу, позволили солдатам, по-

сланным для поимки разбойников, приблизительно определить то место на горе, где прячется атаман. Пожалуй, больше двух сотен солдат двинулись в горы с зажженными факелами в руках, они образовали огромный круг, и каждый бросил горящий факел – кто в чащу смолистых деревьев, кто на поляну, заросшую травой, и огонь стремительно разгорелся, все сразу вспыхнуло после засухи, стоявшей уже несколько дней.

Только чудо могло спасти Фернандо – этим чудом стала преданность Хинесты, и она спасла его.

Он оглянулся, преисполненный благодарности к девушке, – ведь только сейчас он понял, чем обязан ей. И только сейчас он с изумлением заметил слабый свет, струившийся из пещеры, о существовании которой он, исходивший эти горы, до сих пор не подозревал.

Фернандо медленно шел к пещере, и его удивление все росло: через узкое отверстие, ведущее в грот, он увидел цыганку. Она приподняла одну из плит, устилавших пол, вынула из тайника перстень, надела его на палец, затем достала оттуда же пергамент и спрятала на груди.

Грот был выдолблен в горе, местами стеной служила гранитная скала, местами – пласты земли, вернее, сухого и рыхлого песка, который повсюду встретишь в Испании, если снимешь тонкий слой перегноя и старой листвы, покрывающей почву.

В углу виднелось ложе из мха, покрытое свежим папоротником, а над ним висел чей-то портрет в дубовой рамке, написанный грубовато, – вернее, не портрет, а изо-

бражение мадонны с темным ликом, восходившее к XIII веку; такие мадонны, по мнению ученых-католиков, принадлежали кисти святого Луки[69].

На противоположной стене висели еще две картины в более современном вкусе и, пожалуй, выполненные тоньше; они были оправлены в золоченые рамы, но позолота стерлась от времени. На одной был изображен мужчина, на другой женщина, оба с коронами на голове, а поверх корон были начертаны их титулы и имена.

У женщины – портрет был поясной – корона была какая-то фантастическая, словно у восточной царицы, а цвет лица смуглый, как у южанки. Взглянув на картину, всякий, кто видел Хинесту, вспомнил бы о юной цыганке, а если 6 эта прекрасная девушка была тут же, рядом, то зритель невольно обернулся бы и посмотрел на нее, сравнивая произведение художника с творением божьим, и нашел бы между ними разительное сходство, хотя сразу было видно, что Хинеста еще не достигла возраста оригинала.

Над короной было начертано: «La reina Topacia la Hermosa», что в переводе означает: «Королева Топаз Прекрасная».

На голове мужчины, одетого в великолепный костюм, был черный бархатный берет, а поверх – королевская корона; длинные светлые волосы, прямыми прядями обрамлявшие щеки, и бело-розовый цвет его лица контрастировали со смуглым лицом женщины, а голубые глаза, ласково смотревшие на вас с портрета, говорили о том, что он уроженец Севера, причем он был так же прекрасен, как и

---

[69] *Лука* – один из евангелистов.

женщина, – каждый был хорош по-своему. И он, и она заслуживали лестных эпитетов, неотделимых от их имен, – прозвища были почти одинаковы.

И тут была надпись: «El rey Filippo el Hermoso», что означает: «Король Филипп Красивый».

Фернандо осмотрел пещеру, взгляд его на миг остановился на ложе из мха, на мадонне и застыл на двух портретах.

Молодая девушка почувствовала, что Фернандо рядом, даже не услышав его шагов; она обернулась в тот миг, когда надевала перстень и прятала пергамент на груди.

И вот с улыбкой, достойной принцессы, предлагающей гостеприимство в своем дворце, она сказала:

– Входи, Фернандо, и ты превратишь гнездышко горлинки в гнездо орла.

– Но скажи скорее, горлинка, что же это за гнездышко? – спросил Фернандо.

– Здесь я родилась, – отвечала она, – здесь меня вскормили, здесь я выросла. Сюда прихожу порадоваться или поплакать всякий раз, когда счастлива или в горе… Ты ведь знаешь, что всякое существо хранит беспредельную любовь к своей колыбели.

– О, мне это хорошо известно. Ведь я два раза в месяц с опасностью для жизни навещаю мать и провожу с ней час-другой в той комнате, где я родился. – Фернандо прошел в глубь грота. – Хинеста охотно ответила на мой первый вопрос, быть может, она ответит и на второй?

– Спрашивай, я отвечу, – согласилась цыганка.

– Чьи это портреты?

– А я-то думала, Фернандо, что ты горожанин… Значит, я ошиблась?

– Не понимаю.

– Разве Фернандо неграмотен?

– Разумеется, грамотен.

– Так читай же.

– Я уже прочел: «Королева Топаз Прекрасная».

– Дальше.

– Мне неизвестна королева с таким именем.

– А если она королева цыган?

– Да, верно, я и забыл, что у цыган есть короли.

– И королевы, – добавила Хинеста.

– Но почему же ты так похожа на портрет? – спросил он.

– Потому что это портрет моей матери, – с гордостью отвечала девушка.

Молодой человек сравнил лица, и сходство поразило его.

– А второй портрет? – спросил он.

– Сделай то же, что ты сейчас сделал: читай!

– Пусть так, читаю: «Король Филипп Красивый».

– Разве ты не знаешь, что в Испании был такой король?

– Знаю. Я даже видел его в детстве.

– Я тоже.

– Ведь ты тогда была совсем маленькой…

– Да. Но есть воспоминания, которые сохраняются у нас в глубине сердца на всю жизнь, в каком бы возрасте они ни запечатлелись.

– Да, верно, – отвечал Фернандо со вздохом. – Мне-то знакомы такие воспоминания. Но почему портреты висят рядом?

Хинеста усмехнулась:

– Да ведь это портреты короля и королевы, не правда ли?

– Разумеется. Но…

Все так же усмехаясь, она продолжала:

– Ты, вероятно, хотел заметить, что один из них король настоящего государства, а на другом портрете – королева государства воображаемого.

– Признаюсь, милая моя Хинеста, я об этом подумал.

– Прежде всего, кто тебе сказал, что Египет был воображаемым государством, кто сказал, что та, которую прозвали Николис Прекрасной – царица Савская[70], – не была настоящей королевой, равной королю, ведущему род от Максимилиана[71], императора Австрийского?

– Да кем же приходится тебе Филипп Красивый? – спросил Фернандо.

Хинеста перебила его:

– Филипп Красивый – отец короля дона Карлоса, который завтра должен прибыть в Гранаду. Нельзя терять время на разговоры – я спешу. Я буду умолять короля о том, в чем он, пожалуй, откажет дону Иниго.

– Как, ты отправляешься в Гранаду? – ужаснулся Фернандо.

– И сейчас же!.. Жди меня здесь.

– Да ты с ума сошла, Хинеста!

– Вот здесь, в уголке, запас фиников. Я вернусь скоро, тебе хватит. А воды предостаточно за пещерой – сам видишь.

---

[70] *...Царица Савская* – библейский персонаж; царица Савы, страны Южной Аравии, известной своими богатствами.

[71] *Максимилиан* (1459–1519) – император так называемой Священной Римской империи в 1493–1519 гг.

– Хинеста, Хинеста, я не потерплю, чтобы ты ради меня…

– Послушай, Фернандо, если ты меня задержишь хоть на минуту, огонь помешает мне добраться до потока.

– Но ведь преследователи, которые опоясали огнем горы, зная, что там мое убежище, вряд ли позволят тебе пройти. Вдруг они обидят тебя, вдруг убьют!

– Нет, они ничего не сделают девушке, захваченной пожаром в горах, – ведь она спасается бегством со своей козочкой вдоль русла.

– Да, это верно, ты права, Хинеста, – воскликнул Фернандо. – Ну, а если тебя схватят, пусть это будет вдали от меня.

– Фернандо, – промолвила девушка взволнованным голосом, – если бы я сомневалась в том, что спасу тебя, я бы осталась, умерла бы вместе с тобой, но я уверена, что добьюсь своего. Идем, Маза…

И, не дожидаясь его ответа, она выскользнула из пещеры, легкая, как сновидение, и побежала вниз по склону горы, перебирая ножками, совсем как ее козочка, и мигом, словно горный дух, спустилась в пропасть.

Фернандо склонился над тесниной и все следил глазами за девушкой, пока она не добежала до воды; он видел, как она перескакивает с камня на камень. И вот она скрылась меж двух огненных скал, вздымавшихся по обеим сторонам ущелья.

XII. КОРОЛЬ ДОН КАРЛОС

Пока попрощаемся с Фернандо, пусть он отдохнет, избежав опасности, – ведь ему угрожает другая, пожалуй, еще более страшная; а мы пойдем вслед за Хинестой и, соскользнув, как она, по склону скалы, раскаленной от пламени пожара, охватившего горы, добежим до ручья, вдоль русла которого она пошла, исчезнув за его излучиной.

Ручей этот, как мы говорили, течет на протяжении трех-четырех миль, затем становится небольшой речкой и впадает в Хениль между Армиллой и Санта-Фе.

Впрочем, мы, как сделала и Хинеста, покинем его берега и свернем приблизительно за одно лье до Армиллы, в том самом месте, где поток проносится под каменным мостом, по которому проходит дорога из Гранады в Малагу.

Тут уже нечего бояться, что мы заблудимся: дорога эта заслуживает названия дороги только на том отрезке, что ведет от Малаги до Касабермехи, а дальше она превращается в тропу, местами еле заметную, пересекает сьерру, сбежав по восточному склону горы, расширяется и снова от Гравиа-ла-Гранде становится дорогой.

В Гранаде сегодня – великий праздник: на тысячах ее башен вывесили знамена Кастилии и Арагона, Испании и Австрии, семьдесят тысяч ее домов приукрасились, а триста пятьдесят тысяч горожан – ведь за двадцать семь лет, с тех пор как Гранада вышла из-под власти мавританских

королей[72] и попала под власть королей христианских, она потеряла почти пятьдесят тысяч жителей, – так вот, триста пятьдесят тысяч горожан выстроились на улицах, что ведут от ворот Хаена, через которые въехал король дон Карлос, до дворцовых ворот Альгамбры, где для него приготовлены апартаменты в покоях, которые четверть века тому назад, сокрушаясь, покинул король Буабдил.

По затененному склону, прорезанному пологой дорогой, что поднимается на вершину Солнечной горы, где высится крепость и красуется Альгамбра – дворец, выстроенный мастерами Востока, – теснилась такая многочисленная толпа, что ее с трудом сдерживали солдаты стражи, стоявшие цепью, – они то и дело угрожали алебардами, заставляя зевак вернуться на место, ибо все увещевания были тщетны.

В те времена по обеим сторонам дороги, журча, протекали по каменистому ложу прохладные ручьи, и чем погода была жарче, тем становились они многоводнее, ибо еще накануне их воды белой снежной мантией лежали на плечах Муласена, в те времена, повторяем мы, этот склон еще не был застроен, и только позже дон Луис, маркиз Мендоса – глава рода Мондехар, – соорудил у самой дороги в честь властелина с рыжими волосами и русой бородой[73] водомет, украшенный гербами, извергающий исполинский сноп воды, что вздымался вверх, рассыпаясь

---

[72] *...Гранада вышла* из-под *власти мавританских королей...* – Гранада была последним мавританским государством в Испании.

[73] *...властелина с рыжими волосами и русой бородой...* – То есть дона Карлоса, будущего императора Карла V.

алмазной пылью, и низвергался ледяным дождем; капли воды сверкали огнем в листве молодых буков, ветви которых переплелись шатром и не пропускали света.

Разумеется, жители Гранады из учтивости выбрали для молодого короля из двадцати – тридцати дворцов своего города именно этот чертог, куда идет такая тенистая дорога – от ворот Гранады, где начинаются владения Альгамбры, до Ворот правосудия, что ведут в крепость, и позаботились о том, чтобы солнечные лучи не слепили его, и если б не трескучая песенка цикад и не резкое стрекотание сверчков, король, пребывая здесь, всего в шестидесяти лье от Африки, пожалуй, вообразил бы, что очутился в прохладных, тенистых рощах любезной его сердцу Фландрии[74].

Правда, он тщетно искал бы по всей Фландрии такие врата, какие в конце 1348 года христианского летосчисления были возведены по повелению короля Юзефа-Абдулы Хаджара и обязаны своим названием – а зовутся они Вратами правосудия – обычаю, принятому у мавританских властителей творить суд на дворцовом крыльце.

Мы говорим «врата», а правильнее было бы назвать их «башня», ибо это настоящая башня – четырехгранная, высокая, прорезанная большой аркой в форме сердца; над аркой король дон Карлос мог бы созерцать как бы пример изменчивости житейских судеб – мавританские изображения ключа и руки, и если б возле дона Карлоса был его мудрый наставник Адриан Утрехтский, то наставник объяснил бы ему, что ключ должен напоминать изречение из

---

[74] *...любезной его сердцу Фландрии.* – Карл V родился во Фландрии.

Корана, которое начинается такими словами: «Он отворил», – протянутая же длань заклинает от «дурного глаза», принесшего немало бед арабам и неаполитанцам. Но если б король обратился не к кардиналу Адриану, а к любому мальчишке, причем по оливково-смуглому цвету его лица, огромным бархатистым глазам и гортанному голосу он бы догадался, что малыш принадлежит к мавританскому племени, которое вскоре он, дон Карлос, начнет преследовать, а его преемник – Филипп II[75] – окончательно изгонит из Испании, то мальчуган, потупившись и вспыхнув от застенчивости, ответил бы, что и рука, и ключ вырезаны в память о словах пророка древности, предсказавшего, что Гранада попадет во власть христиан лишь тогда, когда рука возьмет ключ.

И набожный король Карлос, осенив себя крестным знамением, презрительно усмехнулся бы, услышав о всех этих лжепророках, которых господь бог христиан беспощадно опроверг благодаря блистательной победе Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской – его деда и бабки.

Проехав через эти – можно было бы сказать – небесные ворота, ибо снизу кажется, будто они ведут прямо в небеса, король дон Карлос очутился бы на обширной площади Лос-Альхибес и, сидя верхом на лошади, приблизился к невысокой стене, чтобы взглянуть на мавританский город, утонувший в море зелени, чуждый ему город, в котором он пробыл лишь несколько дней; на дне долины он увидел бы реку Дарро, пересекающую Гранаду, и Хениль, огибаю-

---

[75] *Филипп II* (1527–1598) – испанский король с 1556 г.

щую город, – Хениль, что отливает серебром, и Дарро, что сверкает золотом; король проследил бы взглядом, куда бегут дальше обе реки по обширной долине, хранящей старое название «Вега», пробиваясь через заросли кактусов, фисташковых деревьев и олеандров; то здесь, то там реки исчезают и вновь появляются, извиваясь тонкими, блестящими нитями, будто те шелковистые паутинки, что осенние ветры срывают с веретена божьей матери.

А пока по широкой площади вокруг водомета, обнесенного мраморной оградой, прохаживается знать, – все ждут въезда короля Карлоса, что произойдет в тот миг, когда на башне Вела пробьет ровно два часа. Есть тут обладатели титула rico hombre – титула, который король дон Карлос заменит званием грандов Испании, как он заменит «величеством» менее звучное «высочество», которым до той поры довольствовались короли Кастилии и Арагона, есть тут и «доны», и «сеньоры», да только пращуры этих донов были друзьями Сида Кампеадора, а предки сеньоров были приятелями Пелагия, причем самый незначительный из них – разумеется, речь идет о богатстве, ибо все считаются равными по происхождению, – так вот, самый незначительный из них почитает себя, без сомнения, таким же знатным, как этот австрийский князек, который в их глазах испанец – иными словами, идальго – только по матери, Хуане Безумной, дочери Изабеллы Католической.

Да, все эти старые кастильцы не ждут ничего хорошего от молодого короля, немецкое происхождение которого сказалось в его внешности – рыжих волосах, русой бороде и выдающемся подбородке, характерных чертах принцев Австрийского дома. Они не забыли, что его дед, Макси-

милиан, не очень-то заботился о том, чтобы трон Испании достался внуку, зато очень пекся об императорской короне и заставил беременную мать дона Карлоса явиться из Вальядолида в Гент, где она и разрешилась сыном, который стал, таким образом, не только кастильским инфантом, но и фламандским уроженцем. Им твердили, что счастливые предзнаменования сопутствовали рождению чудо-ребенка, явившегося на свет в воскресенье 22 февраля 1500 года, в день святого Матвея, что Рутильо Бениказа, величайший астролог века, предсказал ему удивительную судьбу по тем дарам, которые поднесли астрологу крестный отец и крестная мать – принц Шимей и принцесса Маргарита Австрийская, в тот день, когда они (причем впереди них двигались шестьсот оруженосцев, двести всадников и тысяча пятьсот факельщиков) прошли по коврам, разостланным от замка до кафедрального собора, принесли новорожденного для обряда крещения и нарекли его Карлом в честь его деда со стороны матери, Карла Бургундского, прозванного Смелым[76]. Кастильцам твердили, что по тем дарам, которые крестные отец и мать в тот день преподнесли младенцу (Маргарита Австрийская – вазу из золоченого серебра, полную драгоценных камней, а принц Шимей – золотой шлем, увенчанный фениксом), Рутильо Бениказа предсказал, что младенцу, получившему эти богатые дары, суждено стать владыкой стран, где добывают золото и алмазы, и что, подобно птице, которая украшает его шлем, ему суждено стать фениксом среди королей и императоров;

---

[76] *...Карла Бургундского, прозванного Смелым.* – Герцог Бургундский (1433–147?), во владении которого находились Бургундия и Фландрия.

напрасно все это им твердили, – сейчас они качают головой, вспоминая все беды, которые совпали с юностью Карла и начались с самого его появления на свет и как бы решительно опровергали тот блистательный удел, который, по их мнению, сулили ему угодливые льстецы, но отнюдь не люди, умеющие постигать будущее.

Испанцы имели некоторое основание сомневаться, ибо в тот год, когда родился молодой принц, у его матери еще во время беременности начались первые проявления болезни, с которой она безуспешно боролась девятнадцать лет, – из-за этого недуга история сохранила за ней скорбное прозвище Хуаны Безумной, ибо почти через шесть лет после рождения инфанта, тоже 22-го числа и тоже в воскресенье, когда, казалось бы, все должно было бы Карлу благоприятствовать, его отец, Филипп Красивый, любовные похождения которого свели с ума ревнивую и несчастную Хуану, так вот, Филипп Красивый отправился на завтрак в замок близ Бургоса, замок, который он подарил одному из своих фаворитов по имени Хуан Мануэль, а после завтрака, встав из-за стола, принялся играть в мяч и, разгоряченный игрой, попросил стакан воды, который ему и подал какой-то незнакомец, не принадлежавший ни к свите короля, ни к челяди дона Мануэля; итак, король осушил стакан воды и тотчас же почувствовал боли в животе, что не помешало ему вернуться в тот же вечер в Бургос, а на следующий день выйти, ибо он старался превозмочь недуг, но не он одолел недуг, а недуг одолел его, да так, что во вторник он слег в постель, в среду тщетно пытался подняться, в четверг утратил дар речи, а в пятницу, в одиннадцать часов утра, отдал богу душу.

Нечего и говорить, что все было сделано, чтобы разыскать незнакомца, подавшего стакан воды королю. Но незнакомец так и не появился, и во всем, что в ту пору рассказывали, казалось, было больше выдумки, чем правды. Так, например, говорили, будто бы среди множества любовниц Филиппа Красивого была цыганка по имени Топаз, которую все ее сородичи считали продолжательницей рода царицы Савской, будто бы цыганка была помолвлена с цыганским князем, но, полюбив короля Филиппа Красивого, – а он, как явствует его прозвище, был одним из первых красавцев не только в Испании, но и во всем свете, – отвергла любовь знатного цыгана, и тот отомстил за себя, дав королю Филиппу стакан ледяной воды, что и стало причиной его смерти.

Так или иначе, был ли он умерщвлен или умер естественной смертью, но его кончина нанесла роковой удар несчастной Хуане: на нее уж не раз находили приступы безумия, а теперь ее рассудок совсем помутился. Она не желала верить в смерть супруга; вообразив, что он заснул, – очевидно, окружающие решили не выводить ее из заблуждения, – она сама надела на него нарядные одежды, выбрав то, что, казалось ей, больше всего ему к лицу, облачила в камзол из златотканой парчи, натянула пунцовые шаровары, накинула пурпурную мантию, подбитую горностаем, обула в черные бархатные сапожки, голову, поверх берета, увенчала короной, приказала перенести его тело на пышно убранное ложе и повелела сутки держать дворцовые двери отворенными, дабы каждый мог удостовериться, что король жив, и приложиться к его руке.

В конце концов ее удалось увести, набальзамировать

усопшего, положить в свинцовый гроб, после чего Хуана, вообразив, что сопровождает спящего супруга, проводила гроб до Тордесильяса, в королевство Леон, где его и установили в монастыре Санта-Клара.

Так исполнилось предсказание ведуньи, которая в час прибытия сына Максимилиана из Фландрии в Испанию, покачав головой, изрекла: «Король Филипп Красивый, предсказываю тебе, что ты мертвым свершишь более долгий путь по дорогам Кастилии, нежели живым».

Однако Хуана, не теряя надежды, что муж ее в один прекрасный день встанет со смертного одра, не позволила опустить гроб в склеп, а повелела поместить его посреди клироса, на возвышении, и четыре алебардиста денно и нощно стояли на страже возле него, а четыре францисканских монаха, сидя у четырех углов помоста, беспрерывно читали молитвы.

Сюда, за два года до тех событий, о которых мы повествуем, король дон Карлос – он прибыл в Испанию из Флесинга, переплыв океан с тридцатью шестью кораблями, и высадился на берег в Вильявисиосе, – повторяем, сюда-то и явился король дон Карлос и увидел безумную мать и почившего отца.

И тогда благочестивый сын повелел открыть гроб, закрытый одиннадцать лет назад, и, склонившись над трупом, облаченным в пурпурную мантию и превосходно сохранившимся, поцеловал его в лоб с важным и бесстрастным видом, а затем, дав клятвенное обещание матери, что до конца ее жизни не будет зваться королем Испании, отправился в Вальядолид и повелел венчать себя на царство. В честь коронования были устроены пышные празднества

и турниры, в конных боях на копьях участвовал сам король, но в побоище после конных боев было ранено восемь сеньоров, причем двое смертельно, и король поклялся больше никогда не дозволять турниры.

Впрочем, вскоре появился повод для настоящего сражения, а не для потешного боя на копьях: Сарагоса объявила, что хочет иметь королем испанского принца и не откроет ворота для въезда фламандского экс-герцога.

Дон Карлос узнал о новости, не выказав ни малейшего волнения. Только лишь на миг затуманились его голубые глаза и дрогнули веки, и тут же своим обычным ровным голосом он дал приказ двинуть войска на Сарагосу.

Молодой король повелел разнести ворота пушечными выстрелами и вступил в город с обнаженной шпагой, а за ним тянулась вереница пушек с пылающими фитилями, тех пушек, которые с самого дня своего появления заслужили название: «Последний довод королей».

Оттуда, из Сарагосы, и понеслись его беспощадные указы об искоренении разбойничества – они, подобно молниям Юпитера Олимпийского, исполосовали Испанию во всех направлениях.

Разумеется, тот, кому суждено было стать императором Карлом V, под словом «разбойничество» прежде всего подразумевал мятеж. Потому-то угрюмый молодой человек, девятнадцатилетний Тиберий[77], и не прощал тех, кто не выполнял его повелений.

Так, в каждодневной борьбе, миновало почти два года;

---

[77] *Тиберий* (42 г. до н. э.–37 г. н. э.) – римский император с 14 г. н. э., известен своей жестокостью.

время шло в празднествах, в сражениях, но вот 9 февраля в Сарагосу прибыл гонец. Из-за морозов и оттепелей он целых двадцать восемь дней добирался из Фландрии, дабы возвестить, что император Максимилиан умер 12 января 1519 года.

Император Максимилиан, личность неприметная, возвысился благодаря своим современникам. Он старался быть вровень с Франциском I и Александром VI[78].

Папа Юлий II[79] говорил так: «Кардиналы и курфюрсты допустили оплошность: кардиналы нарекли меня папой, а курфюрсты нарекли Максимилиана императором, а надо было меня наречь императором, а Максимилиана – папой».

Смерть императора ввергла молодого короля в несказанное смятение. Если б он присутствовал при его кончине, если б оба дальновидных политика, причем верховодил бы младший, да если бы по мосту, перекинутому с земли на небеса, они прошли рядом хоть несколько шагов – и младший поддержал бы старшего, если б сделали остановку на полпути к смерти, то им удалось бы наметить план действий того, кому надлежало вернуться к жизни, и тогда-то Карла, без сомнения, избрали бы императором. Но ничего предусмотреть не удалось – смерть была внезапной и неожиданной, и дон Карлос, лишенный поддержки кардинала Хименеса, почившего недавно, окруженный алчными и хищными фламандцами, которые за три года умудрились выжать из многострадальной Испании миллион сто тысяч дукатов, король дон Карлос, вызвавший

---

[78] *Александр VI* (Борджа) (1431–1503) – папа римский с 1492 г.

[79] *Юлий II* (1443–1513) – папа римский, восстановил власть папства в Италии, был организатором войн против Венецианской республики и против Франции.

неприязнь всей Испании, которую ему было суждено обогатить в будущем, но которую он пока разорял, не решался уехать, опасаясь за свое положение, ибо недовольство, вызванное его поведением, все нарастало. Он бы и отправился в Германию, но не был убежден, что там его нарекут императором, зато был уверен, что, оставив Испанию, он уже не будет королем.

Многие ему советовали без промедления сесть на корабль и покинуть Испанию. Однако его наставник, Адриан Утрехтский, придерживался иного мнения. Борьба шла между Карлосом и Франциском I, королем Франции.

И король дон Карлос так и не уехал, зато уехали самые рьяные его сторонники, облеченные королевскими полномочиями.

Втайне отправили гонца к папе Льву X[80]. Какие же наказы получил этот гонец? Быть может, об этом мы узнаем позже. Тем временем, дабы нарочному, которому приказано было привезти королю известия о выборах императора, не пришлось бы потратить двадцать восемь дней на дорогу, дон Карлос объявил, что намерен проехать по южным провинциям, посетить Севилью, Кордову и Гранаду.

Нарочному предстояло только пересечь Швейцарию, сесть на корабль в Генуе и доплыть до Валенсии или Малаги. Через двенадцать дней после выборов дон Карлос уже знал бы о решении.

И вот тут ему сообщили, что в горах Сьерры-Невады и Сьерры-Морены бесчинствуют разбойники.

---

[80] *Лев X* (Джованни Медичи, 1475–1521) – папа римский с 1513 г.

Он пожелал дознаться, разбойники это или бунтовщики. Поэтому он повелел очистить от них сьерру, и вот в тех местах, где властвовал Сальтеадор, повеление это выполнили безотлагательно: разожгли в горах пожар.

XIII. ДОН РУИС ДЕ ТОРРИЛЬЯС

Пока в горах пылал огонь, Гранада ждала приезда короля дона Карлоса.

Как мы уже упоминали, торжество было назначено на два часа пополудни, за несколько минут до этого с башни Вела должны были подать сигнал, а пока внук Изабеллы и Фердинанда не показался, подобно конной статуе, в обрамлении мавританских ворот, сеньоры из знатных семей Андалусии прогуливались по площади Лос-Альхибес.

Вельможи прохаживались кто в одиночку, кто по двое, а собираясь вместе, громко разговаривали или, уединяясь, перешептывались; среди них выделялся человек с необыкновенно гордым и в то же время грустным выражением лица.

Он сидел на краю беломраморной ограды, окружающей водомет, посреди площади, и, чуть откинув голову, смотрел в лазурное небо; на нем была одна из тех войлочных шляп с широкими полями, у которых современные шляпы, совершенно иной формы, заимствовали название «сомбреро».

Седые кудри ниспадали на его плечи, седеющая борода была подстрижена четырехугольником, а на шее висел орден в форме креста – такими крестами Изабелла и Фердинанд после взятия Гранады собственноручно награждали доблестных участников победы над маврами.

Сосредоточенный вид человека, погруженного в тягостное раздумье, отпугивал нескромных зевак и беззаботных болтунов, но все же какой-то мужчина, приблизительно тех же лет – его мы тоже собираемся описать, – всматривался с минуту в него, стараясь убедиться, что не обознался.

Но вот старик снял шляпу и тряхнул головой, как бы желая отогнать тоску, из-за которой никнут даже сильные духом, и это движение развеяло все сомнения того, кто наблюдал за ним.

Незнакомец приблизился к старику, держа шляпу в руке, и сказал:

– С детских лет я считаю себя вашим другом, и, право, было бы дурно с моей стороны, если бы, видя вашу печаль, я не протянул вам руку и не спросил: «Дон Руис де Торрильяс, чем я могу быть вам полезен? Приказывайте!»

При первых же его словах дон Руис поднял голову, узнал его и произнес:

– Очень вам признателен, дон Лопес д'Авила. Да, в самом деле, мы с вами старые знакомые. И ваше предложение доказывает, что вы истинный друг! А вы по-прежнему живете в Малаге?

– Да, по-прежнему. И знайте, что и вблизи, и вдали – в Малаге ли, в Гранаде ли – вы всегда можете располагать мною.

Дон Руис поклонился.

– Давно ли вы уехали из Малаги и когда видели моего старого друга, конечно, и вашего – дона Иниго?

– Вижусь с ним каждый день. И слышал от своего сына, дона Рамиро, будто вчера вечером дон Иниго с дочерью

благополучно приехал сюда, избежав большой опасности в горах, где его захватил Сальтеадор.

Дон Руис побледнел и закрыл глаза.

– Так, значит, им удалось спастись? – спросил он немного погодя, поборов слабость огромным усилием воли.

– Надо сказать, что этот разбойник – он нагло называет себя дворянином – вел себя по отношению к ним, как настоящий принц; мой сын рассказал, что он отпустил их без выкупа и даже без всяких обязательств, а это тем более удивительно, что в Андалусии дон Иниго самый богатый дворянин, а донья Флора – самая красивая девушка.

Дон Руис вздохнул с облегчением.

– Вот, значит, как он поступил! Тем лучше!

– Да, я вам все говорю о своем сыне, доне Рамиро, и никак не спрошу о вашем сыне, доне Фернандо? Он все еще путешествует?

– Да, – еле слышно отвечал дон Руис.

– Вот хороший случай устроить его при дворе нового короля, дон Руис. Вы – один из самых знатных дворян Андалусии, и если бы вы попросили милости у короля дона Карлоса, то хоть он и окружен фламандцами, но из политических соображений, право, согласился бы.

– Я действительно хочу попросить короля дона Карлоса об одной милости, но сомневаюсь, что он согласится, – отвечал дон Руис.

В это время на башне Вела пробило два часа. Два удара, зазвеневшие в воздухе, обычно возвещали о том, что вода пущена в городские каналы. Но на этот раз они означали и другое. Как только вода ринулась в каналы, забила из водометов, забурлила во всех бассейнах, звуки труб возвести-

ли, что король дон Карлос поднимается по склону холма Альгамбры, и все поспешили к воротам Юзефа, чтобы быть там в тот миг, когда король сойдет с коня.

Дон Руис остался на площади один, только теперь он стоял. Дон Лопес пошел вслед за другими.

Звуки фанфар усилились, возвещая, что король уже поднялся на холм и приближается. Наконец король появился на высоком боевом коне, закованном в латы, словно для битвы. Сам же Карл был в доспехах, украшенных золоченой насечкой. Только голова его была не покрыта, словно он хотел поразить испанцев тем, как мало в нем испанского.

И правда, как мы уже говорили, у сына Филиппа Красивого и Хуаны Безумной не было ни единой кастильской черты, весь его облик целиком состоял, если можно так выразиться, из черт Австрийского дома. Был он невысок, коренаст, голова словно ушла в плечи; у него были рыжие, коротко остриженные волосы, русая борода, голубые, чуть прищуренные глаза, орлиный нос, красные губы, выдающийся подбородок; он всегда старался держать голову высоко и прямо, – казалось, ее подпирает стальной ошейник. Когда он шел пешком, чудилось, будто он несет тяжкую ношу, зато облик его тотчас же менялся, стоило ему сесть верхом, – он был отличным наездником и ловко управлял конем, и чем горячее был конь, тем превосходнее держался всадник.

Понятно, что властелин, внешне ничем не напоминавший дона Педро[81], или дона Генриха, или дона Ферди-

---

[81] *Дон Педро* – видимо, имеется в виду Педро Жестокий (1334–1360), король Кастилии и Леона.

нанда, хотя внутренне на них похожий, ибо он был жесток, как первый, двуличен, как второй, и властолюбив, как третий, но казавшийся истинным Габсбургом, не мог вызвать бурных восторгов у испанцев, особенно у дворян Андалусии.

Поэтому, когда он появился, фанфары запели еще громче, быть может, не в честь внука Изабеллы и Фердинанда, а для того, чтобы трубным гулом скрыть молчание толпы.

Король бросил холодный, равнодушный взгляд на людей и на площадь, не выразив ни малейшего изумления, хотя и люди, и пейзаж были ему неведомы, затем он остановил лошадь и спешился, вовсе не из желания побыть со своим народом, а лишь потому, что так требовал церемониал – наступило намеченное заранее время, когда он должен был сойти с лошади.

Он даже не поднял головы, не потрудился взглянуть на прекрасные мавританские ворота, под которыми проходил, не повернул головы, не прочел в боковой часовне надпись, гласившую, что 6 января 1492 года его дед Фердинанд и бабка Изабелла прошли под этими воротами, в сердце Испании, опьяненной триумфом своих королей, прошли, как бы торжественно проложив путь, по которому двадцать семь лет спустя пройдет он сам – важный и угрюмый, окруженный тем безмолвным почтением, каким сопровождается шествие королей, о достоинствах которых еще никто не знает, зато всем уже известно о недостатках.

Им владела лишь одна мысль, она неотступно сверлила его мозг, клокотала подобно воде, что кипит в бронзовом сосуде, не вырываясь наружу, – его обуревало исступленное желание стать императором, и думал он только об этом.

Да и что мог увидеть взгляд честолюбца, устремленный сквозь пространство туда, в город Франкфурт, где в зале выборов собрались курфюрсты и куда устремили свои взоры и помыслы папа, короли, принцы и все власть имущие мира сего, заодно с королем Карлосом.

«Станешь ли ты императором, а это значит таким же великим, как папа, и более великим, чем короли?» – непрестанно звучал глас честолюбия в душе дона Карлоса. Какое значение имели для него человеческие голоса, когда внутри его беспрерывно звучали эти слова?

Как мы уже сказали, только подчиняясь этикету, а не по велению сердца, король дон Карлос сошел с коня и приблизился к дворянам, окружившим его. И тотчас же фламандская свита последовала его примеру.

Свита состояла, в частности, из кардинала Адриана Утрехтского, королевского наставника, графа Шиевра, первого министра, графа Лашау, графа Порсиана, сеньора де Фурнеса, сеньора де Борена и голландца Амерсдорфа.

Но, еще сидя верхом на коне, дон Карлос заметил, хоть и говорили, что глаза у него мутные и пустые, группу дворян, которые стояли с шляпами на голове, все же остальные были с непокрытыми головами. Казалось, только эти люди и привлекали его внимание.

– Ricos hombres! – произнес он, обращаясь к ним и жестом приказывая занять место в его свите – следом за фламандской знатью.

Андалусские сеньоры поклонились и заняли места, указанные королем, с видом людей, вынужденных беспрекословно подчиняться повелению.

Король, шагая впереди всех, направился к Альгамбре, – если посмотреть на нее с площади Лос-Альхибес, то уви-

дишь огромное четырехгранное здание с одной дверью и без окон.

Дон Карлос шел с непокрытой головой, сзади следовал паж и нес шлем.

Дорога впереди была свободной, каждый занял место в свите в зависимости от своего звания. Только один человек оставался здесь, на дороге, не сняв шляпы.

Король, делая вид, будто ничего не замечает, не выпускал его из виду и, пожалуй, прошел бы мимо, так и не повернув головы в его сторону и не останавливаясь, если б человек со шляпой на голове не преклонил колена, когда король приблизился.

Король остановился.

– Вы rico hombre? – спросил он.

– Да, государь.

– Из Арагона или Кастилии?

– Из Андалусии.

– Мавританской крови нет?

– Я – древней и чистой христианской крови.

– Имя?

– Дон Руис де Торрильяс.

– Поднимитесь и говорите.

– Лишь один король должен услышать то, что мне надобно сказать ему.

– Отойдите все! – приказал король, делая повелительный знак рукой.

И все удалились на такое расстояние, чтобы не слышно было голосов; образовался полукруг, перед которым находились король дон Карлос и rico hombre – дон Руис де Торрильяс.

– Говорите, – произнес король.

XIV. ВЕРХОВНЫЙ СУДЬЯ

– Ваше величество, – начал дон Руис, поднимаясь, – простите, голос мой дрожит, но я растерян и удручен оттого, что мне приходится умолять вас о милости, это и привело меня к вам…

– Говорите медленнее, – прервал его король, – тогда мне легче будет понимать вас, сеньор!

– Вы правы, – отвечал дон Руис скорее с гордостью, а не с учтивостью, – я и забыл, что ваше величество еще с трудом говорит по-испански.

– Я научусь, сеньор, – возразил дон Карлос холодным тоном и, помолчав, он повторил:

– Говорите.

– Ваше величество, у меня есть двадцатисемилетний сын. Он был влюблен в одну даму, но, страшась моего гнева, – да, я виню себя в том, что был одновременно и безразличен, и слишком строг к злосчастному юноше, – так вот, страшась моего гнева, он связал себя словом с этой дамой без моего согласия, и хотя она признала за ним супружеские права, он все откладывал день бракосочетания. Она пожаловалась на него старику отцу, дону Диего. Тот, чувствуя, что рука у него может дрогнуть от слабости в поединке с двадцатилетним юношей, повелел своему сыну, дону Альваро, отомстить. Дон Альваро не пожелал принять извинения моего сына, и я должен признаться, сын вел себя в этих обстоятельствах с благоразумием, чего нельзя было ожидать при его характере; дон Альваро не стал его слушать, молодые люди сразились, и дон Альваро был убит.

– Дуэль, – перебил его дон Карлос, – я не люблю дуэлей.

– При некоторых обстоятельствах, ваше величество, честный человек не может от нее отказаться, особенно когда знает, что после смерти своего отца он должен будет дать отчет обо всех своих деяниях королю и просить у него милости с покрытой головой.

– Да, знаю, – такое право дано всем вам – ricos hombres. Все это я упорядочу… Продолжайте.

– Дуэль произошла без свидетелей. Отец дона Альваро обвинил моего сына в убийстве и добился приказа об его аресте. Три стражника пришли за ним и хотели увести силой средь бела дня в тюрьму. Сын убил двоих, третьего ранил и бежал в горы.

– Вот как, значит, ты, – сказал дон Карлос, в первый раз обращаясь к дону Руису на ты, причем тон у него был угрожающим, а не доброжелательным. – Значит, ты – rico hombre, а сын у тебя – разбойник!

– Государь! Отец дона Альваро умер, а с ним умерла и ненависть, молодая дама ушла в монастырь, и я уплатил за нее взнос, словно за сеньору королевской крови; я обеспечил семьи раненого и убитых стражников – на это я потратил все состояние. Хорошо, что в наследство после отца у меня остался дом на площади Виварамбла, где я ныне и живу. Но все это не важно, цена крови уплачена, и одного слова вашего величества будет достаточно, чтобы восстановить в чистоте наше имя после всех превратностей судьбы.

Дон Руис помолчал, но король молчал тоже, и он заговорил снова:

– Итак, государь, я умоляю об одном, простираясь у ног ваших, заклинаю ваше величество несчетное число раз, ведь противника нет на свете и жизнь моего сына отныне в ваших руках. Поэтому я умоляю, заклинаю вас, государь, помиловать сына.

Король хранил молчание. Дон Руис говорил:

– Он заслуживает прощения, мой государь, осмеливаюсь утверждать это. Я повторяю: ваше величество, он стал таким отчасти по моей оплошности, но прошу во имя моих благородных предков, которые вопиют вместе со мной: помилуйте его, помилуйте!

Дон Карлос безмолвствовал. Пожалуй, он даже перестал слушать, а дон Руис проникновенным голосом, склонившись почти к самым ногам короля, продолжал:

– Государь, бросьте взгляд на нашу историю, и пред вами выстроится целая вереница героев из моего рода. Короли Испании обязаны им своей честью и славой. Государь, сжальтесь над моими сединами и внемлите моим мольбам, моим слезам! Если это не трогает ваше сердце, государь, сжальтесь над благородной дамой, его несчастной матерью! Во имя счастливого восшествия на престол Испании, во имя вашей матери Хуаны, во имя ваших предков – Изабеллы и Фердинанда, которым я честно и отважно служил, чему доказательство вот этот крест на моей груди, государь, окажите милость, о которой я вас умоляю!

Король поднял голову, казалось, туман, застилавший его взор, рассеялся, и он сказал бесстрастно:

– Это не мое дело, обратитесь к верховному судье Андалусии.

И он двинулся дальше.

За ним последовали фламандские и испанские сеньоры и вскоре исчезли, войдя вслед за ним во дворец.

Дон Руис, сраженный горем, остался один на площади Лос-Альхибес.

Впрочем, мы ошибаемся, говоря, что дон Руис остался один: некий сеньор из свиты дона Карлоса заметил, как подавлен старик королевским отказом; незаметно отстав, он не вошел со всеми в покои мавританского дворца, а поспешил к дону Торрильясу и, сняв шляпу, остановился перед стариком, который был так поглощен горестными думами, что ничего не заметил.

– Вероятно, сеньор считает делом чести помнить старых друзей, – сказал незнакомец, – так позвольте же, любезный дон Руис, одному из тех, кто сердечно привязан к вам, приветствовать вас.

Дон Руис медленно обратил к нему свое удрученное лицо, посмотрел на того, кто его приветствовал с такой задушевностью, и его глаза радостно сверкнули. Он воскликнул:

– Ах, это вы, дон Иниго! Я счастлив протянуть вам руку, впрочем, при одном условии…

– Каком же? Скажите!

– А вот каком: во время своего пребывания в Гранаде – никаких отговорок не принимаю, предупреждаю заранее – вы будете моим гостем.

Дон Иниго улыбнулся:

– А мне и не надо было ждать вашего приглашения, дон Руис, дочка моя донья Флора уже нашла приют у доньи Мерседес и хоть мы просили ее не утруждать себя, она все же отдала дочке свою спальню.

– Жена сделала в отсутствие мужа то, что муж сделал в отсутствие жены. Значит, там все хорошо…

И, вздыхая, дон Руис негромко добавил:

– Как бы мне хотелось сказать, что все хорошо и здесь!

Говорил он тихо, но дон Иниго услышал его слова. Вдобавок, как и все другие сеньоры, дон Иниго видел, как дон Руис преклонил колена перед королем доном Карлосом, вероятно, прося о милости, и нетрудно было догадаться, что в этой милости ему отказано.

– Судя по всему, разговор с нашим молодым королем не принес вам удачи, любезный дон Руис.

– Что поделаешь, сеньор! Король признался, что еще не знает испанского языка, я же признался, что не знаю фламандского… Но вернемся к вашим делам и, главное, дон Иниго, поговорим о вашей обворожительной дочери. – После минутного колебания он продолжал:

– Я надеюсь, – тут его голос дрогнул, – злосчастная встреча в горах не отразилась на ее здоровье?

– Вы даже об этом знаете? – удивился дон Иниго.

– Разумеется, сеньор. Все, что происходит с таким известным человеком, как вы, – целое событие, и слухи разлетаются быстро. Дон Лопес рассказал мне… – тут голос дона Руиса задрожал еще сильнее, – да, дон Лопес рассказал, что вас захватил в плен Сальтеадор.

– А говорил ли он о том, что Сальтеадор держался как истинный дворянин, а не как разбойник, что атаман, наводящий на всех ужас, этот лев, этот тигр для всех превратился в щенка, в ягненка для нас.

– Кое-что говорил. Но я рад, что все это подтверждаете вы сами.

– Да, подтверждаю и добавляю: я буду в долгу перед этим бесстрашным молодым человеком, пока не выполню обещание, которое ему дал.

– Позвольте узнать, какое? – нерешительно спросил дон Руис.

– Я искренне расположен к нему и поклялся ему святым – моим заступником, что не успокоюсь, пока не добьюсь у дона Карлоса помилования.

– Король вам откажет, – произнес дон Руис, поникнув головой.

– Почему же?

– Вы сейчас спрашивали, о чем я коленопреклоненно просил короля?

– О чем?

– О помиловании.

– Вы?

– Да, я.

– Какое отношение вы имеете к этому молодому человеку? Отвечайте, сеньор дон Руис, ибо я возьмусь за дело, удвоив усилия, если буду знать, что стараюсь я и ради нового друга, и ради друга старого – тридцатилетней давности.

– Дайте вашу руку, Иниго.

– Вот моя рука!

– Человек, о котором вы говорите, – мой сын!

Дон Руис почувствовал, что рука дона Иниго дрогнула.

– Ваш и доньи Мерседес? – спросил он сдавленным голосом.

– Разумеется, – ответил дон Руис с горькой и печальной усмешкой, – ведь донья Мерседес моя жена.

– А что вам ответил король?

– Ничего!

– Как это – ничего?

– Вернее, он ответил отказом.

– Передайте все – слово в слово.

– Он послал меня к верховному судье Андалусии.

– Так что же?

– То, что верховным судьей Андалусии был Родриго де Кальменар, а дон Родриго скончался.

– Дон Родриго скончался, а неделю назад король назначил преемника, и вчера этот преемник приехал в Гранаду.

– В Гранаду?

– Да, и поверьте мне, дон Руис, прошу вас, поверьте мне, в этом человеке вы можете быть уверены больше, чем в самом себе.

Дон Руис собирался подробно расспросить обо всем своего старого, испытанного в боях друга, который так уповал на провидение и на верховного судью Андалусии, что это немного успокоило старика, но тут из дворцовых дверей появился глашатай; он приблизился к ним и громогласно возвестил:

– Дон Иниго Веласко де Гаро, верховный судья Андалусии, вас призывает король.

– Так, значит, вы – верховный судья Андалусии, сеньор дон Иниго! – воскликнул дон Руис, вне себя от изумления.

– Ведь я вам говорил, – произнес дон Иниго, крепко пожимая на прощание руку дона Руиса, – что вы можете рассчитывать на верховного судью Андалусии, как на самого себя. Я бы даже сказал – больше, чем на самого себя, ибо я преемник дона Родриго.

И, решив, что не следует заставлять ждать короля, раз придется просить его о милости, дон Иниго поспешил выполнить повеление дона Карлоса и пошел ко дворцу, ускорив шаг, насколько ему дозволяло достоинство испанца – rico hombre.

XV. ДВОР ЛЬВОВ

Последуем и мы за верховным судьей во дворец мавританских королей, куда недавно вошел король дон Карлос, вступив туда впервые, – нашим же читателям, быть может, не доведется побывать там.

Шагая за посланцем короля, дон Иниго пересек первый двор, называемый попросту Двором мирт, ибо там росло множество миртовых кустов в цвету, затем прошел через Двор водоема с большим бассейном округлой формы, потом через Зал бань, ибо там во времена мавританских халифов были женские купальни.

Несмотря на душевное смятение, несмотря на то что в скитальческой своей жизни ему довелось познакомиться со многими памятниками Старого и Нового Света, дон Иниго постоял у входа в первый двор – там и в наши дни останавливаются путешественники, изумленные, пораженные, предчувствуя, что входят в таинственный, незнакомый мир Востока.

Дон Иниго поднял голову и увидел огромную великолепную вазу, стоявшую на возвышении, – испанская нерадивость виной тому, что в наши дни ее упрятали в какой-то музей, куда никто не ходит, а в те времена она была лучшим украшением двора, над которым высилась башня

Комарес, вздымаясь над стенами из кедрового дерева и кровлями, крытыми позолоченной черепицей, пурпурные и оранжевые зубцы башни вырисовывались на синем прозрачном небе.

Из Двора водоема дон Иниго вошел в переднюю, прозванную Залом де ла Барка – или проще – Лодкой, из Лодки – в Зал послов, но ни своеобразие формы, благодаря которой передняя и получила название Лодки, ни переплетение арабесок на стенах, ни великолепный узорчатый свод, расписанный зеленью, лазурью, багрянцем, ни чудесные, тончайшие лепные работы, подобные тем, над которыми тысячелетиями терпеливо трудится природа, создавая сталактиты, – словом, ничто не могло ни на миг отвлечь дона Иниго от мысли, не дававшей ему покоя. Стремительно, в молчаливом раздумье он миновал восхитительный павильон, называемый ныне Мирадором королевы, – из окон виден Хенералифе[82], похожий на необъятный олеандровый куст, на котором красуются павлины, подобные золотым и сапфировым птицам; он ступал по плитам из белого мрамора, испещренным крошечными отверстиями – по огромным курильницам, из которых окуривали благовониями султанов, когда они выходили из бань; затем, уже не останавливаясь, он прошел через сад Линдараха – ныне там пустырь, поросший кустарником, а прежде был роскошный цветник, – оставил по левую сторону Зал бань, тогда еще хранивший дыхание гордой Зобеиды – красавицы, прозванной Цепью Сердец, и вот, наконец, он очутился во Дворе львов, где его и ждал король.

---

[82] *Хенералифе* – одно из «чудес света», система садов и парков вокруг дворца мавританских королей в Альгамбре.

Двор львов описывали так часто, что нам нет надобности вновь проделывать это, ограничимся лишь кратким очерком, рассказом о некоторых достопримечательностях, набросаем эскиз, что необходимо для нашего повествования.

Двор львов – прямоугольник в сто двадцать шагов в длину и семьдесят три в ширину, окруженный ста двадцатью колоннами из белого мрамора с капителями из золота с ляпис-лазурью.

Галерея на высоте двадцати восьми метров нависает над обширным внутренним двором, посреди которого красуется знаменитый фонтан Львов.

Дон Иниго, войдя во Двор львов, увидел, что он превращен в шатер: натянутые над двором широкие полосы ткани национальных цветов Испании и Австрии – красных, черных и желтых – служили также и защитой от горячих солнечных лучей. Вода выбивалась из всех отверстий фонтана Львов, освежая воздух в этом огромном шатре, где был накрыт стол для обеда, устроенного в честь молодого короля городом Гранадой и высшей знатью Андалусии.

Гости прохаживались по Двору львов, по Залу двух сестер, рядом со двором, по галерее, что возвышается над ним.

Прислонившись головой к одному из львов фонтана, дон Карлос рассеянно слушал своего главного министра графа Шиевра и поглядывал на кровавые пятна, что испещряют гранит, – говорят, это следы крови обезглавленных – тридцати шести Абенсерагов, которых заманил сюда,

как в западню, Зегрис[83].

О чем же раздумывал дон Карлос, почему его блуждающие глаза не меняли выражения, когда он внимал речам министра? Да просто он забыл, что находится во Дворе львов, в Гранаде, и мысленно перенесся во Франкфурт, в зал, где происходят выборы, забыл о мавританских междоусобных войнах, он ничего не видел и только задавал себе один вопрос: «Кто же будет императором Германии – я или Франциск Первый?»

Но вот царедворец, приблизившись к королю, оповестил, что верховный судья следует за ним.

Дон Карлос поднял голову. Глаза его сверкнули, когда он посмотрел на дона Иниго, и, очевидно, решив отделаться от своих фаворитов – фламандцев, теснившихся вокруг, и подойти к испанским дворянам, собравшимся на другом конце, он направился к тому, кого велел позвать.

Дон Иниго, заметив, что король идет ему навстречу, и поняв его намерение, остановился и стал ждать, когда король заговорит с ним.

– Ты знаешь дона Руиса де Торрильяса? – спросил дон Карлос у верховного судьи.

– Да, ваше величество, – это один из самых достойных дворян Андалусии. Мы вместе сражались с маврами в царствование ваших достославных предков – Фердинанда и Изабеллы.

– Ты знаешь, о чем он меня просил?

– Он просил о пощаде у вашего величества – о помиловании сына, дона Фернандо.

---

[83] *Абенсераги* – испано-мавританский род. Все его представители около 1460 г. были предательски убиты в Альгамбре по приказу халифа Абу-Гассана. Их имя было синонимом благородства. *Зегрисы* – клан мавров, враждебный Абенсерагам.

– Ты знаешь, что сделал его сын?

– Он убил на дуэли брата одной дамы, своей возлюбленной.

– Дальше!

– Он убил двух стражников, которые пришли его арестовать, и ранил третьего.

– Дальше!

– Он убежал в горы.

– Дальше!

Король, в третий раз произнеся «дальше», посмотрел на дона Иниго; его глаза, обычно мутные и ничего не выражавшие, с таким непреклонным упорством и такой проницательностью следили за ним, что дон Иниго даже отступил на шаг; он не представлял себе, что взгляд земножителя может сверкать таким ослепительным огнем.

– Дальше? – пробормотал он.

– Да, я спрашиваю тебя, что он делал в горах?

– Ваше величество, должен признаться, что, увлеченный юношескими страстями…

– Он стал разбойником. Он убивает и грабит путешественников, и тот, кто задумал поехать из моего города Гранады в мой город Малагу или, наоборот, из моего города Малаги в мой город Гранаду, должен сделать завещание перед отъездом, как перед смертью.

– Государь…

– Хорошо… Так вот, верховный судья, говори, что ты намерен сделать с душегубом?

Дон Иниго содрогнулся, ибо в голосе девятнадцатилетнего юнца он почувствовал такую непреклонность, что ему стало страшно за будущее своего подопечного.

– Я думаю, ваше величество, что нужно многое простить молодости.

– Сколько же лет дону Фернандо де Торрильясу? – спросил король.

Дон Иниго, подавив вздох, отвечал:

– Двадцать семь, ваше величество.

– На восемь лет старше меня, – заметил король.

В его голосе словно слышалось: «Какая же это молодость в двадцать семь лет? Вот мне девятнадцать, а я уже чувствую себя стариком».

– Гениальность сделала вас старше, ваше величество, вам не должно сравнивать себя с простыми смертными, судить о них по своей мерке.

– Итак, твое мнение, верховный судья?

– Вот мое мнение, государь: бывают различные обстоятельства – дон Фернандо виноват, но есть и оправдательные причины. Он принадлежит к одной из самых знатных семей Андалусии, отец его, достойный и уважаемый человек, сделал все, чтобы обеспечить семьи убитых; и было бы хорошо, если б король дон Карлос ознаменовал свое путешествие по Андалусии актом милосердия, а не актом жестокости.

– Таково твое мнение?

– Да, – смиренно выговорил дон Иниго, опустив глаза перед орлиным взглядом молодого короля.

– В таком случае сожалею, что отослал к тебе дона Руиса. Я сам займусь этим делом… И думаю, что решу его по совести. – Затем, обернувшись к группе гостей, стоявших рядом, он сказал:

– К столу, сеньоры! И не будем задерживаться! Вот мой

верховный судья дон Иниго де Веласко считает, что я слишком строгий судья, и я хочу поскорее доказать ему, что я – само правосудие. – И, снова обращаясь к дону Иниго, ошеломленному проявлением могучей воли у девятнадцатилетнего юноши, едва вышедшего из детского возраста, он приказал:

– Садись справа от меня, дон Иниго. Когда выйдем из-за стола, вместе посетим тюрьмы Гранады, и там мы найдем, без сомнения, людей, более заслуживающих помилования, чем тот, за кого ты меня просишь.

Он подошел к месту, предназначенному для него, и, положив руку на корону, которая венчала спинку кресла, прошептал:

– Король, король! Да и стоит ли быть королем! На свете существуют только две вожделенные короны: корона папы и корона императора.

И дон Карлос сел за стол, по правую его сторону сел дон Иниго, а по левую – кардинал Адриан; гости заняли места по своему рангу и званию.

Четверть часа спустя – а это доказывало, как королю некогда, ибо он слыл большим гурманом и просиживал за обедом больше двух часов, – итак, четверть часа спустя дон Карлос поднялся из-за стола и, отказавшись от свиты, от своих фаворитов – фламандских дворян, в сопровождении одного лишь дона Иниго собрался посетить тюрьмы Гранады.

Но у входа в сад Линдараха его ждала молоденькая девушка, – стража не пропустила ее во дворец, но ей разрешили остаться здесь. Девушка, несколько странно одетая, была удивительно хороша собой. Она опустилась на

колено, заметив приближение короля, и протянула ему одной рукой золотой перстень, а другой – пергамент.

Увидя их, дон Карлос вздрогнул. Золотой перстень был перстнем герцогов Бургундских, а на пергаменте, под строчками, написанными по-немецки, стояла подпись, хорошо известная всем, а особенно королю дону Карлосу, ибо была подписью его отца: «Der Koenig Philipp».

Дон Карлос с удивлением смотрел то на перстень, то на пергамент, то на девушку в странном одеянии:

– Прочтите, государь! – сказала она на чистом саксонском наречии.

Она нашла наилучший способ угодить дону Карлосу, – он любил, когда с ним говорили на языке Германии, в которой был воспитан, которая была так любезна его сердцу.

И король принялся читать строки, написанные таким знакомым почерком, то и дело переводя взгляд с пергамента на молодую девушку и с девушки – на пергамент. Закончив чтение, он произнес:

– Дон Иниго, так случилось, что я вынужден отложить посещение тюрьмы на другое время. Если у вас есть дела, располагайте своим временем, как вам угодно, если нет, подождите меня здесь.

– Я подожду, ваше величество, – ответил дон Иниго, узнав в девушке с золотым перстнем и пергаментом цыганку из харчевни «У мавританского короля» и догадываясь, что существует какая-то связь между появлением Хинесты и судьбой Сальтеадора, о помиловании которого тщетно просили короля и дон Руис, и он сам.

Король дон Карлос ограничился тем, что обратился к девушке на том же языке, на каком она заговорила с ним:

– Следуйте за мной! – И он показал ей на дорожку, ведущую в небольшой павильон – Мирадор королевы, названный так потому, что Изабелла Католическая любила в нем останавливаться, когда бывала в Альгамбре.

XVI. КОРОЛЕВА ТОПАЗ

Нам уже известно, что король дон Карлос не обращал внимания на окружающее, когда сосредоточенно и самоуглубленно размышлял о чем-то. Так было и сейчас. Он поднялся на несколько ступеней, ведущих в старинные покои – покои султанши, превращенные после победы над Гранадой в молельню кастильских королей, и не обратил ровно никакого внимания на чудесные скульптуры, украшавшие стены и потолок, на изящную колоннаду такой тонкой работы, что король должен был бы ее заметить.

Но мы уже упоминали, что молодой король – так причудлив был его характер, – из-за какого-то каприза, казалось, нарочно закрывал глаза на все чудесные творения искусства, которые представали перед ним на каждом шагу, словно равнодушием своим он бросал вызов Востоку.

Он вошел в Мирадор и остановился, даже не взглянув на чудесную панораму, которую искусство и природа развернули перед его глазами, затем обернулся к Хинесте, стоявшей поодаль, и сказал:

– Я узнаю перстень, узнаю пергамент, но каким образом они очутились в ваших руках?

– Передала мне их матушка перед смертью, – промолвила девушка. – Только это я получила от нее в наследство, и вы сами видите, государь, что получено оно от короля.

– Значит, ваша мать знала короля Филиппа Красивого?

Как это произошло? А письмо, которое мой отец написал ей по-немецки… Как случилось, что вы знаете немецкий язык?

– Матушка познакомилась с королем Филиппом Красивым в Богемии, когда он еще был эрцгерцогом Австрии. Много было у него любовных увлечений, но его чувства к моей матери, быть может, никогда не остывали. И вот в тысяча пятьсот шестом году король отправился в Испанию, и перед тем как его провозгласили королем, он велел моей матери следовать за ним. И матушка согласилась, при одном условии – чтобы король признал своей дочерью девочку, родившуюся два года назад. Вот тогда-то он и вручил ей пергамент, который вы держите, государь.

– Ну, а его дочь?.. – спросил дон Карлос, бросая косой взгляд на девушку.

– Его дочь перед вами, ваше величество, – отвечала цыганка, не опуская глаз, с горделивым видом.

– Так, – произнес дон Карлос. – Вы рассказали о пергаменте, ну а перстень?

– Матушка не раз просила своего возлюбленного – короля, подарить ей перстень – символ их союза не только перед людьми, но и перед богом. И король обещал ей подарить не простое кольцо, а перстень с его печатью, говоря, что в будущем это, быть может, ей пригодится, ибо, взглянув на перстень, законный сын короля признает его незаконную дочь. И она успокоилась, поверив обещанию, не торопила короля, не утруждала его просьбами. Зачем ей было торопить его, зачем взывать к его сыну – ведь король признал свою дочь. Матушке было тогда двадцать лет, а ее

возлюбленному – двадцать восемь… Но, увы, однажды мы увидели, что какой-то человек скачет во весь опор на лошади по дороге, ведущей от Бургоса к Севилье. Матушка стояла на пороге дома, а я играла в саду, собирала цветы, гонялась за бабочками и пчелками.

«Королева Топаз, – крикнул проезжий, – если хочешь увидеть своего возлюбленного, пока он не умер, торопись».

Матушка на миг онемела, окаменев от ужаса. Она узнала князя-цыгана; он любил ее без памяти уже лет пять и домогался ее руки, она же с презрением отвергала его.

Но вот она собралась с силами и вымолвила, обращаясь ко мне: «Пойдем скорее, доченька». Она взяла меня на руки и пошла, вернее, побежала в Бургос. Очутились мы там в тот час, когда король вернулся во дворец, и мы издали увидели, как закрылись ворота за его свитой. Матушка попыталась войти во дворец, но стражнику было приказано никого не пускать. Она села, держа меня в объятиях, на край рва, окружавшего дворец и крепость, составлявших одно целое.

Немного погодя какой-то человек пробежал мимо нас.

Матушка окликнула его:

«Куда ты спешишь?»

То был один из приближенных короля. Он узнал ее.

«Бегу за лекарем», – ответил он.

«Мне нужно поговорить с лекарем, – промолвила матушка. – Слышишь? Это вопрос жизни и смерти короля».

Мы стоя ждали прихода врача. Не прошло и четверти часа, как царедворец появился снова – вместе с лекарем.

«Вот она, эта женщина, ей нужно поговорить с вами», – произнес царедворец, обращаясь к врачу.

«Кто она такая? – спросил лекарь. И, взглянув на мою мать, он воскликнул: – Да это королева Топаз! – Потом он добавил негромко, но мы услышали его слова: – Одна из наперсниц короля, но ее он любит больше всех».

Затем лекарь обратился к моей матери:

«Что же ты хочешь сказать? Говори, да поскорее – король ждет».

«Вот что, – отвечала матушка. – Нашего короля или отравили, или смертельно ранили. Да, он умирает не своей смертью».

«Как? Король умирает?» – воскликнул лекарь.

«Умирает», – подтвердила мать, и я никогда не забуду выражение ее лица.

«Кто же тебе сказал об этом?»

«Его убийца!»

«Куда же он делся?»

«Спроси у вихря, куда исчезли листья, которые он унес… Конь умчал его по дороге в Астурию. Теперь он уже далеко от нас».

«Бегу к королю», – крикнул лекарь.

«Ступай. – И, обращаясь к царедворцу, мать добавила: – Скажи ему, что я здесь. Пусть знает, что я рядом».

«Хорошо, передам», – обещал царедворец.

Оба скрылись в крепости. Матушка снова села на край рва. Мы просидели там весь вечер, всю ночь, все утро следующего дня.

Меж тем о недуге короля толковали повсюду; еще накануне вокруг нас собралась целая толпа, не расходилась она до темноты и снова появилась с самого утра; народу стало еще больше, все были встревожены и удручены.

Носились всякие слухи, но всего сильнее поразил мою мать, очевидно, самый правдоподобный рассказ о том, что король, играя в мяч, разгорячился и попросил холодной воды; стакан ему подал какой-то неизвестный человек, который тотчас же исчез. Судя по описанию, это и был цыган, который накануне промчался на коне мимо матери, на скаку сообщив ей ужасную весть, которая заставила ее поспешить сюда, – теперь мать больше не сомневалась: короля отравили.

Больше никаких новостей не было. Лекарь не появлялся, он не оставлял короля, а люди, выходившие из дворца, ничего толком не знали о состоянии больного, и полагаться на их слова было нельзя. Все ждали вестей с волнением, а матушка – с мучительной тревогой.

Часов в одиннадцать ворота отворились, и глашатай сообщил, что король чувствует себя лучше и сейчас появится, чтобы успокоить народ. И вскоре действительно король выехал верхом на лошади, в сопровождении лекаря и двух-трех офицеров из свиты.

Я не раз видела своего отца-короля, но прежде была несмышленым ребенком, а теперь уже вступила в тот возраст, когда кое-что понимала, и навсегда запомнила его образ таким, каким я его видела в то утро. Да, я хорошо его помню: как он был прекрасен! Правда, был он очень бледен, глаза его, окруженные синими тенями, ввалились от бессонницы, он тяжело дышал, ноздри судорожно подергивались, бледные губы были крепко сжаты и словно прилипли к зубам.

Конь его шел шагом, и всадник был так слаб, что держался за луку седла, иначе он, пожалуй, упал бы, он все оглядывался, словно искал кого-то глазами.

Матушка поняла, что он ищет нас, вскочила, взяла меня на руки.

Лекарь приметил нас, тронул короля за плечо и показал в нашу сторону. Зрение короля было помутнено, и он, вероятно, не узнал бы нас, но лекарь остановил коня и подозвал нас – увидев женщину с трехлетним ребенком на руках, несколько человек из его свиты отошли в сторону. В толпе догадались, что произошло что-то важное, тем более матушку знали, и люди расступились. И вот король и мы очутились в середине большого круга. Только врач был близко и мог слышать, о чем говорил король с моей матерью.

Впрочем, мать не могла вымолвить ни слова, грудь ее разрывали заглушенные рыдания, неудержимые слезы заливали ее щеки. Она поднесла меня к королю, он взял меня, прижал к груди, поцеловал, посадил на луку седла. Затем он положил слабеющую руку на голову матери, легонько откинул ее назад и сказал по-немецки:

«Да это ты, бедная моя Топаз!»

Матушка не в силах была отвечать. Она припала головой к ноге короля и, целуя его колено, громко разрыдалась.

«Только ради тебя я здесь, – прошептал король, – ради тебя одной…»

«О государь, красавец мой, дорогой, обожаемый властелин», – твердила мать.

«О отец, добрый мой отец», – вымолвила я по-немецки.

Король впервые услышал мой голос, слова, произнесенные мной на языке, который он так любил.

«Ну вот, теперь я могу спокойно умереть, – сказал он, – меня назвали самым дорогим на свете именем, какое

только произносят уста человеческие, да еще на языке моей родины!»

«Умереть! Как – умереть!.. – воскликнула матушка. – О мой любимый король, какое ты выговорил слово!»

«Да, сам господь бог, который соизволил ниспослать мне смерть христианина, со вчерашнего дня нашептывает мне это слово; впрочем, еще тогда, осушив стакан ледяной воды, я почувствовал, как смертельная дрожь проникла мне в самое сердце».

«О мой король, любимый мой», – шептала матушка.

«Всю ночь я думал о тебе, бедная моя Топаз. Увы, немногое я сделал для тебя при жизни. Чем же я помогу тебе после смерти? Так пусть же перстень будет твоим покровителем с соизволения господа бога».

«О отец, добрый мой отец», – повторила я, заливаясь слезами.

«Да, да, дитя мое, – отозвался король, – я подумал и о тебе. – И он добавил, надевая мне на шею небольшой кожаный мешочек на шелковом шнурке, затканном золотом: – Кто знает, что будет с тобой, когда я умру? В живых останется ревнивая вдова, и твоей матери, быть может, придется бежать. Ночью я собрал все эти алмазы, тут их около двухсот штук, – вот оно, твое приданое, милая моя дочь. И если твой брат, став королем Арагона и Кастилии, не признает тебя, невзирая на пергамент, который я дал твоей матери, и на перстень, который я ей подарил, ты проживешь жизнь в богатстве, как дворянка, если тебе не суждено жить как подобает принцессе…»

Матушка приняла перстень, но отказалась взять мешочек с алмазами; однако король тихонько отвел ее руку. Итак, она получила в дар перстень, а я – алмазы.

Но тут от усталости и волнения королю стало хуже. Он побледнел еще больше, хоть, казалось, это и невозможно, и, совсем ослабев, чуть не теряя сознание, склонился к моей матери. Она крепко обняла его, прижалась губами к холодному челу; но вот матушка позвала на помощь: она вся сникла, поддерживая неподвижное тело, ибо королю уже недоставало сил приподняться. Появился лекарь и царедворцы.

«Уходите! – крикнул ей лекарь. – Уходите!»

Матушка не двинулась с места.

«Вы что же, хотите, чтобы он умер здесь, на ваших глазах?»

«Неужели вы думаете, что мое присутствие для него губительно?»

«Ваше присутствие для него убийственно».

Тогда она крикнула мне:

«Идем скорее, дочка».

А я продолжала повторять:

«Отец, мой добрый отец!»

Мать обхватила меня, взяла на руки, а я все твердила:

«Нет, нет, я не хочу уходить!»

И тут раздался громкий горестный вопль, он несся со стороны города. То кричала королева Хуана: она бежала, рыдая и ломая руки, волосы ее были растрепаны, лицо перекошено, она была бледнее, чем ее умирающий супруг:

«Он умер, умер, мне сказали, что он умер!»

Мне стало страшно, я прильнула к материнской груди, меж тем толпа расступилась, круг сомкнулся, выпустив беглянок – нас с матушкой, – а в другом месте он разомкнулся, впустив королеву Хуану; мать пробежала шагов сто,

но силы ей изменили, и она опустилась на землю у подножия дерева, прижала меня к груди и, словно пряча от всех, склонила надо мной голову, так что ее длинные волосы окутали меня будто покрывалом.

Но вот она вскинула голову, волосы ее рассыпались прядями, и я стала искать глазами короля – дона Филиппа Красивого, но дворцовые ворота уже закрылись за ним и за королевой Хуаной…

Хинеста рассказывала, а молодой король слушал, не выказывая никакого волнения, не произнося ни единого слова. Но когда, задыхаясь от слез, молодая девушка умолкла, он протянул ей руку и, указав на кресло, сказал:

– Садитесь же, вы имеете право сидеть в моем присутствии: я еще не император.

Но она, покачав головой, возразила:

– Нет, нет, позвольте мне кончить… Ведь я пришла не к брату, а к королю. Пришла не ради того, чтобы требовать признания, а умолять о милости… И если силы мне изменят, я паду к стопам вашим, государь, но не сяду перед сыном Филиппа Красивого и королевы Хуаны. О боже мой!..

И девушка умолкла, словно сраженная воспоминанием.

Потом она почтительно поцеловала руку, протянутую королем, и, отступив на шаг, продолжала.

XVII. КОРОЛЕВСКОЕ ЛОЖЕ

– Мать моя так и осталась на том месте, где мы сидели, или, вернее, там, где она упала.

День прошел без всяких новостей – говорили, будто король слег, вернувшись во дворец.

Назавтра утром стало известно, что король пытался заговорить, но тщетно. А еще через день сообщили, что в два часа пополудни король лишился дара речи. На следующее утро – в одиннадцать часов – из замка донесся громкий вопль, он вырывался из окон и дверей, и его подхватила толпа, и он пронесся над городом, над всей Испанией: «Король умер».

Увы, государь, в ту пору я еще не представляла себе, что такое жизнь и смерть, однако ж, услышав крик: «Король умер» – и чувствуя, как от рыданий надрывается грудь моей матери, видя, как слезы заливают ее лицо, я поняла впервые, что на свете существует горе.

Целых четыре дня мы провели у дворцовых ворот. Матушка неустанно пеклась обо мне, приносила мне еду, только я не помню, чтобы она сама что-нибудь пила или ела.

Прошли еще сутки.

В то утро дворцовые ворота распахнулись, и оттуда на лошади выехал герольд в сопровождении трубача; раздались скорбные звуки трубы, и когда они затихли, герольд заговорил. Я не поняла его слов, но вот он кончил свою речь и двинулся дальше, чтобы объявить скорбную новость на площадях и перекрестках города. Тут толпа хлынула в отворенные ворота – казалось, в замок прорвались многоводные потоки.

Матушка встала, взяла меня на руки и, целуя, шепнула на ухо: «Пойдем, доченька, и мы. В последний раз полюбуемся твоим дорогим отцом».

Я не поняла, почему она плачет, говоря, что мы полюбуемся моим дорогим отцом.

Мы двигались вслед за толпой, ринувшейся в дворцовые ворота. Когда мы вошли, дворец уже был заполнен народом; у дверей стояла стража. Люди проходили по двое.

Ждали мы долго; мать все держала меня на руках, иначе толпа смяла бы меня. Наконец настал и наш черед, и мы вошли, как все остальные. Тут мать спустила меня на пол, крепко держа за руку.

Все, кто был впереди нас, плакали, плакали и те, кто следовал за нами.

Мы медленно двигались по роскошным покоям. У дверей каждого зала стояло по два стражника, следивших за порядком.

Вот мы приблизились к залу, где, очевидно, и кончался наш скорбный путь, и переступили порог.

О государь, я была еще совсем мала, но вся обстановка, узорчатые ковры, занавеси в королевских покоях, – все это могла бы подробно описать: они запомнились до мельчайших подробностей, ибо каждая мелочь произвела на меня неизгладимое впечатление. Но больше всего меня поразило ложе – и мрачное, и пышное, покрытое черным бархатом и парчой, – там покоился он; одет он был в мантию багряного цвета, подбитую горностаем, в камзол, расшитый золотом, обут в черные сапожки и лежал неподвижно, объятый сном смерти.

То был мой отец.

Смерть вернула его облику спокойствие, которого не было четыре дня тому назад, когда мы встретились, – так он страдал от боли. Опочив, он, казалось, стал еще красивее, если только это возможно.

У самого ложа стояла женщина в мантии из пурпурного

бархата, отороченного горностаем, с королевской короной на голове, в длинном белом платье, ее распущенные волосы спускались по плечам, глаза были расширены и неподвижны, лицо застыло, губы и щеки были так бледны, что, чудилось, она воплощает собой саму смерть; она стояла, прижав палец к губам, и все твердила почти беззвучным голосом:

«Осторожнее, не разбудите его, ведь он спит!»

То была королева Хуана – ваша мать, государь.

Матушка, увидя ее, остановилась, но, вероятно, сейчас же поняла, что королева ничего не видит и не слышит, и тихо сказала:

«Она счастлива, ибо безумна».

Мы медленно продвигались к ложу. Рука короля свисала с постели, и было дозволено целовать ее всем, кто подходил.

Когда мы подошли к ложу, мать пошатнулась. Потом она часто говорила мне, что ей хотелось прижаться губами к руке его, хотелось обнять почившего, в последний раз приласкать, заставить открыть глаза, хотелось согреть теплом своих губ его холодные губы… Ей достало силы воли сдержать себя. Она даже не плакала, без слез, криков, всхлипываний опустилась она на колени, сжала руку короля, велела мне первой поцеловать ее, сказав:

«О дочь моя, никогда не забывай того, кого ты увидела в этот час и больше не увидишь».

«Мой добрый отец спит, правда?» – допытывалась я.

«Да, спит отец всего народа, дитя мое», – отвечала мать, знаками заставляя меня замолчать.

И она нежно и долго целовала неподвижную руку усопшего.

Вышли мы в двери с противоположной стороны, покинув зал, где стояло королевское ложе. И вдруг, уже в соседних покоях, мать пошатнулась и, негромко вскрикнув, упала без чувств. Двое придворных, проходившие мимо, поспешили к нам.

«Встань, мама, – кричала я, – пожалуйста, встань. Или ты заснула, как мой добрый отец?»

«Постой-ка, да ведь это она», – сказал один из придворных.

«Да кто же?»

«Цыганка, возлюбленная короля, та, что называется королевой Топаз».

«Давай отнесем ее отсюда и девочку тоже», – предложил второй.

Один взял мать на руки, другой повел меня.

Мы вышли из покоев. Тот, кто держал на руках мою мать, положил ее на землю под дерево, на то место, где мы уже провели три ночи и три дня. Второй усадил меня подле матери, и оба удалились. Я крепко обняла матушку и, покрывая поцелуями ее лицо, все повторяла: «О мама, мама, не спи, как спит мой добрый отец…»

То ли подействовал свежий воздух, то ли слезы и ласки дочери оживили материнское сердце, то ли пришло время, и она очнулась сама, но вот мать открыла глаза и сразу вспомнила все. Я с детской наивностью говорила ей о том, как она упала, как ее донесли сюда, а ей все казалось, что она видела дурной сон.

«Пойдем, дитя мое, здесь нам делать больше нечего».

И мы пошли по дороге к дому.

В тот же вечер мать сняла со стены изображение ма-

донны – ее она любила особенно, – сняла свой портрет, портрет короля Филиппа, и когда стало совсем темно, мы покинули дом и отправились в путь.

Шли мы много дней. Теперь, когда я научилась отмечать время, я бы сказала, что, вероятно, мы шли с месяц, останавливаясь лишь на отдых. И наконец очутились в горах Сьерры-Невады. Там мою мать встретило племя цыган.

Они отвели ей домик, который позже и стал харчевней «У мавританского короля». Вокруг табором расположились цыгане, – они подчинялись ей, как королеве.

Так прошло несколько лет; но вот я стала замечать какую-то перемену в облике матери. По-прежнему она была прекрасна, только красота ее как-то менялась – мать стала такой бледной, что казалась скорее призраком, чем живым существом. Я уверена, что она, пожалуй, уже давно покинула бы землю, как туман, что по утрам отрывается от гор и летит к небу, если бы я не удерживала ее.

Как-то я обратила внимание, что в ее спальне больше не видно ни мадонны, ни ее портретов, ни портрета короля, и спросила, где же они.

«Пойдем со мной, дочка», – сказала она вместо ответа.

Мы отправились в горы, и по тропинке, известной лишь ей одной, она привела меня к гроту, укрытому от чужих глаз, затерянному, незаметному среди скал. В глубине его, над ложем из мха и папоротника, висело изображение мадонны, а чуть в стороне – оба портрета.

«Дитя мое, – начала мать, – может случиться, придет день, и ты попросишь у гор убежища, – место это надежное.

Никому на свете не говори о нем. Кто знает, быть может, тебя будут преследовать. И этот грот сохранит тебе жизнь, нет, больше, чем жизнь, – сохранит свободу!»

Мы провели там ночь, а наутро вернулись в дом, где теперь харчевня. Когда мы возвращались, я заметила, что мать идет медленно, неуверенной походкой. Она не раз садилась на землю и прижимала меня к сердцу. И когда она обнимала меня и целовала, я не могла сдержать слез, ибо, помимо воли мысленно переносилась к прошлому и словно видела отца, когда он, бледный и ослабевший, выехал верхом из Бургоса, когда он прижал меня к сердцу и назвал своей дочерью.

Предчувствие не обмануло меня. На следующий день мать слегла. С этого часа я поняла, что она на пути к вечности, и не покидала ее ни на миг.

Она понимала, что для нее наступает этот час, начало того бесконечного пути, что удаляет нас от всего, что нам мило, и говорила она со мной только о моем отце. И ее слова врезались навечно мне в память.

Никогда я не забуду того, что произошло со мной в детстве, того, о чем я вам уже рассказала, государь. И вот она дала мне перстень, дала мне пергамент; она сказала, что у меня есть брат, – простите меня, ваше величество, – брат, который станет королем, и что я сама должна решить, знакомиться ли мне с моим братом или жить в неизвестности, но в богатстве, жить там, где мне нравится, что я ни в чем не буду нуждаться, владея алмазами – подарком отца.

Я выслушала ее, рыдая, преклонив колена перед ее ложем. Она больше не поднималась, и с каждым днем ее глаза блестели все ярче, лицо становилось все бледнее, голос слабее.

И когда я спрашивала лекаря из нашего племени, который изучил науку исцелять у лекарей Востока, чем больна моя мать, он отвечал:

«Она не больна. Она уходит к богу».

И вот день, когда бог открыл ей врата в вечность, наступил.

Как всегда, я стояла на коленях у ее ложа, и она, как всегда, говорила не о себе, а обо мне. Казалось, очи ее, перед тем как закрыться навек, очи матери, пытались проникнуть взором в будущее. Слабая улыбка блуждала на ее губах. И вдруг она подняла руку, указывая на чью-то фигуру, словно тень, мелькнувшую вдали, и прошептала два слова, – я приняла их за бред, ибо они не имели никакого отношения к нам, к нашим воспоминаниям. Я даже подумала, что ослышалась, подняла голову, вникая в ее слова. И она еще дважды слабеющим голосом невнятно повторила:

«Дон Фернандо, дон Фернандо…»

Она возложила руки на мою голову, и я склонилась под последним благословением. Я ждала, что она поднимет руки, но ждала напрасно, – она благословляла меня, умирая. Она будто хотела на веки вечные прикрыть меня щитом своей нежной любви.

Если вам, ваше величество, когда-нибудь доведется проехать из Гранады в Малагу, вы увидите могилу матери в небольшой долине за милю от харчевни «У мавританского короля». Вы сразу узнаете ее – рядом вьется ручей, а над ней возвышается крест, ибо моя мать, благодарение Иисусу Христу, была христианкой; и вы прочтете надпись, высеченную кинжалом на могильном камне:

«Королева Топаз Прекрасная».

И знайте, ваше величество, что та, которая покоится под этим камнем, не совсем чужая вам, ибо она так любила короля Филиппа, нашего отца, что не могла пережить его… О матушка, матушка, – твердила молодая девушка, задыхаясь от рыданий и прижимая руки к глазам, чтобы скрыть слезы.

– Я прикажу перенести ее прах в священную обитель, – сказал своим обычным невозмутимым тоном молодой король. – Я закажу заупокойную мессу, и монахи будут петь ее каждый день, во спасение души ее… Ну, продолжайте же.

XVIII. БРАТ И СЕСТРА

– Спустя некоторое время после смерти моей матери цыгане надумали перекочевать в другие места. Матери не стало, и они постановили избрать меня своей королевой.

Они пришли сообщить о решении старейшин и просить моего согласия. Согласие я им дала, но заявила, что табор свободен, как птица небесная, и может кочевать где угодно.

Но я никуда отсюда не тронусь и не покину могильного камня, под которым покоится мать.

Собрался совет старейшин; я узнала, что они собираются захватить меня силой. Накануне, перед уходом цыган, я перенесла в грот запасы фиников и скрылась. А вечером, когда цыгане собрались осуществить свой замысел – увезти меня силой, – их поиски оказались тщетными. Вот как помогла мне предусмотрительность матери, у меня было надежное неприступное убежище, скрытое от чужих глаз.

Цыгане не хотели уходить без меня, я же решила оставаться в своем тайнике, пока они не уйдут. Они задержались на целый месяц. И все это время я выходила из пещеры только по ночам. Я собирала дикие плоды и со скалистой вершины смотрела, горят ли еще огни в таборе, там ли еще цыгане.

Как-то ночью огни померкли. Может быть, это была хитрость, – цыгане надеялись заманить меня на какое-нибудь открытое место и там поймать. Я спряталась в густом кустарнике и оттуда смотрела на дорогу, – так продолжалось до рассвета.

Утром я увидела, что палаток уже нет, дорога пуста. Но я все еще боялась спуститься и отложила все до ночи.

Пришла ночь, темная, безлунная, лишь звезды мерцали на почти черном небе. Но мы, цыгане, дети ночи, и взор наш пронизывает самую непроницаемую тьму.

Я спустилась к тропинке – по другую сторону стоял могильный камень матери. Я подошла, преклонила колена. Пока я молилась, раздался конский топот. Вряд ли это был цыган. Я спокойно ждала. Ведь в горах ночью я не боялась даже цыган.

Вот человек выехал на тропу, и в этот миг я, кончив молитву, поднялась. Всадник, вероятно, принял меня за привидение, вставшее из могилы, он закричал, осенив себя крестным знамением, пустил коня галопом и скрылся.

Это был просто путешественник. Топот копыт затих.

Ночь снова объяла меня своим молчанием. Раздавались самые обычные звуки, как это бывает в горах, – трещит дерево, катятся камни, воет дикий зверь, ухает ночная птица. Я была уверена, что вокруг меня нет ни единого человеческого существа.

Итак, цыгане ушли. Когда стало светло, я в этом убедилась, и словно груз упал с моих плеч, Я была свободна. Горы принадлежали мне, Сьерра-Невада стала моим царством.

Так я жила несколько лет спокойно, без нужды, питаясь, как птица небесная, дикими плодами, родниковой водой, свежим ночным воздухом, утренней росой, лучами солнца. Ростом я была с мать и носила ее одежду, драгоценностей у меня было предостаточно, и все же мне чего-то недоставало – недоставало подруги, спутницы.

И вот как-то я дошла до Альгамы и купила козочку. Вместе с ней я вернулась в горы. Пока меня не было, мой дом заняли под харчевню. Хозяин все расспрашивал, кто я, и я рассказала ему о себе, но умолчала о том, где я живу. Он все допытывался, часто ли проезжают тут путешественники.

Мало-помалу благодаря харчевне в горах снова появились люди. Грубые завсегдатаи харчевни были сущими дикарями.

Они внушали мне страх, и я ушла в убежище в чаще леса, среди гор. Находилось оно не очень далеко от того недоступного места, откуда я следила за харчевней и за дорогой.

Странные звуки порой раздавались в горах – то выстрелы, то яростные возгласы, то призывы на помощь. Вместо цыган в горах появились разбойники.

Я не знала законов общества, не имела понятия о том, что хорошо, что плохо. Но видела, что в природе сила преобладает над слабостью, и воображала, что люди, живущие ныне в горах, поступают так же, как люди в городе.

Однако разбойники все больше и больше внушали мне страх, и я старалась держаться от них подальше.

Однажды я, как всегда, бродила по диким уголкам сьерры; козочка перескакивала с утеса на утес, а я пробиралась следом за ней, но поодаль, то и дело останавливаясь, чтобы сорвать плод или какую-нибудь травинку. Вдруг я услышала жалобное блеяние моей милой и верной спутницы. Оно становилось все глуше, все отдаленнее. Казалось, что кто-то уносит ее, что ее подхватил какой-то вихрь, что у нее не хватает сил противиться и она зовет меня на помощь.

Я поспешила в ту сторону, откуда доносился ее жалобный крик. Но вот в полумиле от меня раздался выстрел, над зарослями кустарника взвился дымок, и, увидев его, услышав грохот выстрела, я бросилась туда, не думая о том, что и мне грозит опасность.

Подбежав к тому месту, откуда раздался выстрел из аркебузы и где еще синел дымок, я увидела козочку: она брела мне навстречу, прихрамывая, вся в крови, – видно, была ранена в плечо и шею. Но вот она заметила меня, но не подошла ко мне, а повернула назад, словно прося следовать за ней. Я поверила в чутье бедняжки, поняла, что мне не грозит ничего плохого, и пошла вслед за ней.

Посреди поляны стоял красивый молодой человек – ему было лет двадцать пять – и, опираясь на аркебузу, смотрел на огромную волчицу, – лежа на земле, она содрогалась от конвульсий. Тут мне все стало ясно: волчица схватила мою козочку и поволокла ее прочь, вероятно, относила добычу своим детенышам. Молодой охотник, увидев дикого зверя, выстрелил. Раненый хищник выпустил козочку, и она по-

бежала ко мне, а потом повела меня к тому, кто спас ей жизнь.

И чем ближе я подходила к молодому человеку, тем непреодолимее становилось странное волнение, охватившее меня.

Мне казалось, что произошло что-то сверхъестественное: незнакомец был так же хорош собой, как мой отец. Он тоже с удивлением смотрел на меня, словно сомневался в том, что я из плоти и крови, вероятно, принял меня за духа вод, цветов и снегов, о которых повествуют предания, бытующие в наших горах.

Он, видимо, ждал, что я заговорю с ним первая, хотел понять по моим словам, по звуку голоса, по жестам, кто я такая. И вдруг меня что-то осенило, хотя никакой связи между настоящим и прошлым как будто и не было. Казалось, ничто мне сейчас не могло напомнить прошлого, и все же я внезапно вспомнила то, что случилось лет пять тому назад: перед моими глазами предстала одна картина – то, что сказала умирающая мать, когда, озаренная предчувствием смерти, она приподнялась на своем ложе и, указывая мне на фигуру, мелькнувшую в полутьме, произнесла два слова. Я будто услышала ее голос, ясный и отчетливый, и слова, те самые слова, которые она тогда произнесла. И я громко повторила дважды: «Дон Фернандо, дон Фернандо», – будто поддаваясь какому-то порыву, какому-то движению души, даже не думая о том, что я говорю.

«Как? – удивился молодой человек, – Откуда вам известно мое имя? Ведь я-то вас вижу впервые».

И он смотрел на меня, как мне показалось, с каким-то

гневом, словно был убежден, что я существо сверхъестественное.

«Так что же, вас и в самом деле зовут Фернандо?» – спросила я.

«Вы-то знаете, раз произнесли мое имя, приветствуя меня».

«Я по какому-то наитию произнесла ваше имя, как только увидела вас. Но, право, о вас я ничего не знаю».

И тут я поведала ему, как моя умирающая мать произнесла это имя, как оно запало мне в память и теперь неожиданно сорвалось с моих губ.

Не пойму, было ли это внезапное влечение или действительно какая-то тайная связь существует между прошлым и будущим, а может, сама судьба подсказала мне его имя, но с этого мгновения я полюбила его, полюбила не так, как любят случайного встречного, который вдруг на время овладевает твоими думами, а как человека, живущего своей, обособленной от тебя жизнью, но рано или поздно круг смыкается, и ваши жизни соединяются, сливаются, как соединяются и сливаются воды ручьев, питаемых источниками; низвергаясь с гор, они текут по разным склонам, но вдруг словно бросаются друг другу в объятия.

Не знаю, что испытал он, но с того дня я стала жить его жизнью.

Так прошло два года, и вот Фернандо стал жертвой жестоких преследований – тогда-то я и услышала о вашем приезде в Андалусию. Поверьте, если его жизнь оборвется, то легко и почти без страданий оборвется и моя.

Позавчера дон Иниго и его дочь проехали по горам

Сьерры. Вам известно, ваше величество, что с ними произошло.

Дон Карлос, как всегда, смотрел какими-то невидящими глазами, но утвердительно кивнул головой.

– Следом за ними явились солдаты, – продолжала девушка, – они разогнали людей Фернандо и, чтобы не терять времени в погоне за ними с горы на гору, разожгли пожар в Сьерре и окружили нас огненным кольцом.

– Ты говоришь «нас», девушка?

– Да, говорю «нас», ваше величество, ибо я была с ним: я уже сказала вам, что я живу его жизнью.

– Так что же произошло? – спросил король. – Ведь атаман разбойников сдался, его захватили и заточили в тюрьму.

– Дон Фернандо в надежном месте, в пещере, которую мне завещала мать.

– Но нельзя же вечно жить в лесу. Голод выгонит его из убежища, и он попадет в руки моих солдат.

– Я тоже подумала об этом, ваше величество, – промолвила Хинеста, – потому-то, захватив с собой перстень и пергамент, я и пришла, чтобы добиться встречи с вами:

– А когда пришла, то узнала, что я отказал в помиловании Сальтеадора, отказал сначала его отцу, дону Руису де Торрильясу, а затем верховному судье – дону Иниго, не правда ли?

– Да, узнала, и это еще больше утвердило меня в решении проникнуть к королю. Я говорила себе: «Дон Карлос может отказать чужому, кто заклинает его о помиловании во имя человеколюбия или из милости, но дон Карлос не откажет сестре, ибо она заклинает его отчей моги-

лой!» Король дон Карлос, сестра твоя заклинает тебя именем Филиппа – нашего отца – помиловать дона Фернандо де Торрильяса.

Хинеста произнесла эти слова с чувством собственного достоинства, хоть и преклонив колена перед королем.

А он смотрел на нее, пока она стояла в этой почтительной позе, и на его лице нельзя было прочесть, что же творится в его душе.

– Так знай же, – после минутного молчания произнес он, – помилование, о котором ты меня просишь, у меня в руках, хотя я и поклялся никому не давать помилования. Но оно требует выполнения двух условий.

– Значит, ты дашь мне бумагу о его помиловании? – обрадовалась девушка, пытаясь схватить руку короля и прильнуть к ней губами.

– Подожди, не благодари, пока не узнаешь об условиях.

– Я слушаю, о мой государь! Я жду, о брат мой! – воскликнула Хинеста, поднимая голову и смотря на Карлоса с неизъяснимой улыбкой радости и преданности.

– Итак, первое условие. Ты возвращаешь мне перстень, уничтожаешь пергамент и даешь страшную клятву никому не говорить о своем царственном происхождении, единственным доказательством которого они являются.

– Государь, – отвечала девушка, – перстень на вашем пальце, храните его, пергамент в ваших руках – разорвите его, произнесите слова клятвы, и я повторю ее. Ну, а второе условие?

Глаза короля сверкнули, но тотчас же померкли.

– У нас, людей, стоящих во главе церкви, существует такой обычай, – продолжал дон Карлос. – Если мы даруем

помилование какому-нибудь великому грешнику, то требуем одного: чистая непорочная девушка может добиться его духовного очищения, если будет молиться у подножия алтаря, прося милосердного бога спасти его. Можешь ли ты указать мне на такое невинное, непорочное создание, девицу, которая постриглась бы в монастырь, отказалась от суетного мира и стала бы молиться денно и нощно за спасение души того, телесную оболочку которого я спасу.

– Могу, – отвечала Хинеста. – Укажите только монастырь, в котором я должна буду дать обет, и я постригусь в монахини.

– Да, но для этого в монастырь еще нужно внесли вклад, – негромко сказал дон Карлос, словно ему было стыдно сообщать Хинесте о последнем условии.

Хинеста горько усмехнулась и, вынув из-за пазухи небольшой кожаный мешочек с гербом Филиппа Красивого, развязала его и высыпала к ногам короля горевшие огнем камни.

– Вот мой вклад, – промолвила она. – Вероятно, этого достаточно. Мать не раз говорила, будто эти алмазы стоят миллионы.

– Так, значит, вы отрекаетесь от всего? – спросил дон Карлос. – Отрекаетесь от своего положения, от будущего счастья, от мирских благ ради того, чтобы добиться прощения разбойнику?

– Отрекаюсь, – отвечала Хинеста, – и прошу лишь об одной милости – позвольте мне отнести ему бумагу о помиловании.

– Хорошо, – согласился дон Карлос. – Ваше желание будет исполнено.

И, подойдя к столу, он написал несколько слов и скрепил их печатью. Затем он приблизился к Хинесте своей медлительной и степенной походкой и сказал:

– Вот оно, помилование Фернандо де Торрильясу, вручите ему сами. Читая его, он увидит, что по вашей просьбе ему дарована жизнь, дарована честь. А когда вернетесь, мы выберем с обоюдного согласия монастырь, в который вы вступите.

– О государь! – воскликнула девушка, припадая к руке короля. – Как вы добры и как я вам благодарна!

И легко, словно на крыльях, она сбежала с лестницы, промчалась через сад, миновав королевские покои. Уже затворились за ней Ворота водомета, и она очутилась на площади. Ей казалось, что она не идет, а парит в воздухе, как это бывает во сне.

Когда она ушла, дон Карлос бережно собрал алмазы и положил их в кожаную сумку, драгоценный перстень и пергамент он замкнул в потайном ларце, спрятал ключ и, о чем-то раздумывая, медленно, шаг за шагом, спустился по ступеням лестницы.

Внизу он встретил дона Иниго и посмотрел на него с изумлением, словно забыв, что должен с ним встретиться.

– Ваше величество, – сказал верховный судья, – я нахожусь здесь, потому что вы приказали ждать вас. Вашему величеству угодно что-нибудь сообщить мне?

Казалось, дон Карлос сделал над собой усилие, стараясь вспомнить, о каких делах шла речь, – ведь он вечно, неотступно был занят государственными заботами, которые словно захлестывали все его другие помыслы, подобно непрестанному, неуемному прибою, заливающему берег.

– Да, да, вы правы, – отвечал он. – Объявите дону Руису де Торрильясу, что я только что подписал помилование его сыну.

И дон Иниго вышел на площадь Лос-Альхибес, спеша сообщить своему другу, дону Руису, о радостной новости.

Король же отправился во Двор львов.

XIX. ОСАДА

Хинеста в это время уже шла по горной дороге. Посмотрим, что же происходило в гроте.

Фернандо неотрывно следил глазами за девушкой, пока она спускалась по тропинке. Когда же она скрылась из виду, он невольно перевел взгляд на пожар; пламя разбушевалось и огненной пеленой покрыло всю гору.

Треск огня и клубы дыма заглушали звериный вой, слышался лишь беспрерывный гул исполинского костра, вторивший шуму водопада.

Зрелище, хотя и было оно величественно, подавляло. Так Нерон, давно лелеявший мечту о дивном дворце, увидев Рим, объятый пламенем, отвел ослепленные глаза от пылающего города и бросился в свое невзрачное убежище на Палатинском холме.

Дон Фернандо вернулся в грот, лег на ложе из папоротника и погрузился в мечты.

О чем же он грезил?

Он затруднился бы ответить даже самому себе. Может быть, вспоминал о прекрасной, спасенной им донье Флоре, – она, как метеор, мелькнула перед ним.

Может быть, он думал о такой доброй Хинесте. Ведь,

дрогнув духом, на миг потеряв силу воли, он пошел вслед за ней по неведомым ему лесным тропам в грот, – так моряк на утлом челне следует за путеводной звездой, и она спасает его.

Через некоторое время он заснул спокойным сном, как будто вокруг него, в пяти-шести метрах, не было гор, охваченных огнем, будто не он – причина пожара.

Незадолго до рассвета его разбудил какой-то странный шум, казалось, доносившийся из недр горы. Открыв глаза, он стал прислушиваться. Продолжительный, непрерывный скрежет слышался за его спиной, будто минер-подкопщик с остервенением работал под землей.

У Фернандо не было сомнений: враги обнаружили пещеру, но, не зная, как подступиться, роют ход в горе, чтобы заложить мину.

Фернандо вскочил, осмотрел аркебузу: фитиль был в хорошем состоянии, он зарядил аркебузу, и у него осталось еще штук двадцать – двадцать пять патронов, а если запас иссякнет, он пустит в ход пиренейский охотничий нож – на него он рассчитывал не меньше, чем на все огнестрельное оружие на свете. На всякий случай он взял аркебузу и приложил ухо к стене грота.

Казалось, подкопщик продолжает работу с успехом, не быстро, но беспрерывно; было ясно – несколько часов такой упорной работы, и он пробьется сюда, в грот. Наступил день, и шум прекратился.

Очевидно, минер отдыхал. Но почему сотоварищи не помогают ему в работе? Фернандо не мог этого понять.

Как всякий логично мыслящий человек, он не упорствовал, отыскивая решение задачи, которую не мог постичь,

говоря себе, что наступит миг – и тайна обнаружится, а пока ему остается одно – ждать.

У него были все основания ждать терпеливо. Голод его не страшил, на пять-шесть дней Хинеста, как мы знаем, снабдила его пропитанием, и он атаковал запасы часа через два после восхода солнца, а это красноречиво говорило о том, что опасность, грозившая ему, не лишила его аппетита.

К тому же теперь у него было не одно, а два основания надеяться, что он выйдет из трудного положения: первое – поддержка дона Иниго, второе – обещание Хинесты.

Откровенно говоря, молодой человек почти не рассчитывал на успех девушки-цыганки; несмотря на все, что узнал о жизни ее матери, он больше надеялся на отца доньи Флоры.

К тому же сердце человеческое неблагодарно: вероятно, Фернандо хотелось узнать о помиловании от дона Иниго, а не от Хинесты, – в таком он был душевном состоянии.

Испытывая расположение к дону Иниго, он понял, что внушает симпатию благородному сеньору. Удивительное, подобное голосу крови, чувство роднило их.

Снова раздался шум и отвлек дона Фернандо от размышлений. Он приложил ухо к стене и сразу понял, как это бывает по утрам, когда мысль ясна, – во тьме она, подобно самой природе, затуманена, – понял, что минер ловко и упорно делает подкоп, стараясь до него добраться.

Если он довершит работу, а это значит – установит ход сообщения, говоря военным языком, чтобы вторгнуться в грот, ему придется выдержать неравную борьбу: надеяться на спасение нечего.

Не лучше ли, когда наступит ночь, выйти наудачу и, призвав на помощь темноту и знание местности, сделать попытку выбраться на другой склон горы?

Только беглецу не за что было зацепиться, – пожар, вылизавший почти до самой макушки огромную часть горы, уничтожил мастиковые деревья, кусты мирты и лианы, стелившиеся по отвесным склонам.

Фернандо высунулся из грота: надо было выяснить, можно ли пробраться по тропке, по которой спускалась Хинеста до пожара. Он был поглощен этим исследованием и забыл об опасности, как вдруг раздался выстрел – и пуля расплющилась о гранит на расстоянии полуфута от того места, где он ухватился за выступ.

Дон Фернандо поднял голову: три солдата, стоящие на утесе, указывали на него пальцем, и белое облачко порохового дыма поднялось в воздух над их головами, – они-то и стреляли из аркебузы. Сальтеадора обнаружили. Но он был не из тех, кто не отвечает на вызов.

Он, в свою очередь, схватил аркебузу, прицелился в одного из солдат, который готовился снова разрядить оружие, – следовательно, это и был стрелок.

Прогремел выстрел, и солдат, раскинув руки, выпустил аркебузу, оказавшую ему дурную услугу, и покатился вниз головой по крутому склону. Раздались громкие возгласы – не оставалось сомнений: тот, кого искали, найден.

Фернандо вернулся в грот, перезарядил аркебузу и вновь приблизился к отверстию пещеры.

Но сотоварищи убитого исчезли, и на всем видимом пространстве, в огромном полукруге перед гротом, никого не было видно. Только камни катились с вершины горы,

перескакивая через утесы, а это означало, что солдаты устроили засаду наверху.

Подкоп продолжался.

Было ясно, что теперь, когда Сальтеадора обнаружили, атаковать его будут любыми средствами.

Он тоже готовился и, решив защищаться всеми способами, проверил оружие: рукоятка ножа свободно выходила из ножен, аркебуза легко приводилась в действие и, сидя на ложе из папоротника, он мог и слушать, как идет подкоп позади него, и видеть, что происходит впереди.

Полчаса прошло в ожидании, в напряженном раздумье и в мечтах, и вдруг ему показалось, что какая-то тень появилась между ним и отверстием в пещеру – у входа на конце веревки качалось что-то темное.

Солдатам не удалось добраться до грота, и один из них попытался спуститься до пещеры в скалах: он был в полном обмундировании, спрятался за большим щитом и висел на веревке: его соблазнила тысяча золотых монет – награда, обещанная тому, кто захватит Сальтеадора, живым или мертвым.

Солдат уже миновал водопад и только собрался опереться ногой о скалу, как вход в пещеру заволокло дымом. Пуля не прострелила щит, не пронзила доспехи, но перебила веревку над головой того, кто за нее держался. И бездна поглотила солдата.

Трижды солдаты пытались спуститься в грот, но все попытки кончались одинаково. И трижды душераздирающий вопль вылетал из бездны и такой же вопль вторил ему с вершины горы.

Очевидно, после этого, после гибели солдат, осаждающие решили прибегнуть к иному способу, потому что крики стихли и никто больше не появился.

Зато подкопщик продолжал долбить скалу; было ясно, что дело движется.

Дон Фернандо, припав ухом к стене, дождался сумерек.

Ночь грозила ему двоякой опасностью.

Солдаты едва ли решились бы осаждать пещеру, зато приближался человек, пробивавший скалу, правда, он кончит подкоп не раньше, чем через час. Изощренный слух подсказывал Сальтеадору, что подкоп ведет один человек, отделенный от него всего лишь тонким пластом земли, – было слышно, как он отгребает землю.

Сальтеадор недоумевал – шум, доходивший до него, не походил на стук лопаты или мотыги, казалось, что кто-то беспрерывно роет землю руками.

Шум нарастал. Сальтеадор в третий раз припал к стене грота. Подкопщик был уже совсем рядом, слышалось его прерывистое, хриплое дыхание.

Фернандо стал прислушиваться еще напряженнее, и вдруг глаза его блеснули, осветив все лицо, и озорная улыбка тронула губы. Он выскочил из грота, подошел к самому краю отвесной кручи, наклонился над бездной, спеша убедиться, что извне ему ничто не угрожает.

Вокруг царила тишина, ночь выдалась темная и безмолвная. Видно, солдаты решили больше не нападать, а взять Сальтеадора измором.

– О, мне надо всего полчаса, – прошептал Фернандо, – и тогда королю дону Карлосу не придется оказывать мне милость, о чем его так упрашивают…

Он вернулся в грот и, зажав нож в руке, стал копать землю, пробиваясь навстречу тому, кто двигался на него.

Землекопы быстро сближались. Минут через двадцать хрупкая преграда, еще разделявшая их, рухнула, и, как ожидал Фернандо, в отверстии показались огромные лапы и голова медведя-исполина.

Зверь тяжело дышал. Его дыхание походило на рев. Этот рев был знаком Фернандо – по нему бесстрашный охотник не раз находил грозного хищника.

Слушая дыхание зверя, Фернандо составил план бегства.

Он рассудил, что берлога медведя, вероятно, примыкает к гроту, что берлога никем не охраняется и, следовательно, послужит для него выходом.

Все складывалось так, как он предполагал, и, с усмешкой посмотрев на зверя, Фернандо сказал вполголоса:

– А ведь я всегда узнавал тебя, старый приятель; ведь по твоему следу шел я в тот день, когда меня окликнула Хинеста, ведь это ты зарычал, когда я хотел взобраться на дерево и посмотреть на пожар, а теперь ты наконец волей-неволей поможешь мне спастись. Прочь с дороги!

С этими словами он полоснул острием кинжала медвежью морду.

Брызнула кровь, зверь взревел от боли и попятился в берлогу. Сальтеадор скользнул в отверстие с быстротой змеи, очутился рядом с медведем и увидел, что зверь загородил проход.

– Да, – заметил Фернандо, – все ясно: один из нас выйдет отсюда; остается узнать, кто же?

Зверь ответил угрожающим рычанием, будто поняв его слова.

Воцарилась тишина, противники мерили друг друга взглядом.

Глаза медведя горели словно раскаленные уголья. Враги замерли. Каждый выжидал, собираясь воспользоваться неверным движением противника.

Человек первым потерял терпение.

Фернандо искал глазами камень. И случай помог ему: рядом валялся увесистый обломок скалы.

Горящие глаза зверя послужили ему мишенью, и обломок, словно брошенный метательной машиной, с глухим треском ударился о голову зверя. Такой удар размозжил бы лоб быку.

Медведь покачнулся, и его глаза, сверкавшие молнией, закрылись. Но немного погодя зверь, как видно, собираясь напасть на человека, с рычанием поднялся на задние лапы.

– Ага, – произнес Фернандо, шагнув вперед, – наконец-то осмелился!

И, упираясь грудью в рукоятку ножа, он направил лезвие на врага.

– Ну, приятель, давай обнимемся.

Объятие было гибельным, поцелуй смертельным. Фернандо почувствовал, что когти медведя вонзаются в его плечо, а острие кинжала тем временем углублялось в медвежье сердце. Человек и зверь вцепились друг в друга и катались по берлоге, залитой кровью раненого хищника.

XX. ГОСТЕПРИИМСТВО

Уже стемнело, когда Хинеста углубилась в горы.

Но мы пока не будем догонять ее, а войдем в дом Руиса де Торрильяса вслед за верховным судьей Андалусии.

Вероятно, читатель помнит, что сказал король дону Иниго, возвращаясь с Хинестой из Мирадора королевы.

Дона Иниго нисколько не тревожила мысль о том, по какому же праву Хинеста добилась от короля помилования, в котором он отказал и дону Руису, и ему самому, и тотчас же направился к дому дона Руиса, расположенному на площади Виварамбла, близ городских ворот.

Читатель, верно, также запомнил, что верховному судье, пока дон Карлос будет находиться в столице древних мавританских королей, надлежало жить в Гранаде, и дон Иниго решил, что нарушит слово, данное старому другу дону Руису, если не пойдет к нему и не попросит гостеприимства, которое его бывший соратник однажды предложил ему еще в Малаге. Поэтому на другой же день после приезда он и отправился, вместе с дочерью, в дом старого друга с просьбой приютить их, как пообещал дону Руису, встретившись с ним на площади Лос-Альхибес.

Донья Мерседес была дома одна, ибо дон Руис, как известно, с утра ждал короля на площади Лос-Альхибес.

Донья Мерседес была еще хороша собой, хотя ей было далеко за сорок; ее называли античной матроной, почитая за безукоризненный, безупречный образ жизни, и никому в Гранаде не приходило в голову запятнать подозрением супругу дона Руиса.

Увидев дона Иниго, донья Мерседес негромко вскрикнула и поднялась с места; румянец залил ее бледные щеки и сразу же исчез, подобно зарнице, ее прекрасное лицо стало еще бледнее, и странное дело: волнение, овладевшее ею, как бы передалось и дону Иниго, и только после недолгого молчания, пока донья Флора с изумлением пе-

реводила взгляд с отца на донью Мерседес, повторяем, после недолгого молчания он обрел дар слова и сказал:

– Сеньора, я должен провести несколько дней в Гранаде – в первый раз после возвращения из Америки. И я бы нанес обиду своему старинному другу, если бы остановился в гостинице или у знакомого, ибо мой друг приезжал в Малагу, чтобы пригласить меня к себе.

– Сеньор, – заговорила донья Мерседес, опустив долу глаза и тщетно стараясь сдержать волнение, хотя голос ее дрожал, что поразило донью Флору, – вы правы, и если 6 вы поступили так, то дон Руис наверняка сказал бы, что сам он или его жена, очевидно, утратили ваше уважение: конечно, он был бы уверен, что это не его вина, и спросил бы, как судья спрашивает обвиняемого, не я ли тому виновница.

– Да, сеньора, – отвечал дон Иниго, в свою очередь, опустив глаза, – кроме вполне понятного желания повидаться с другом, которого знаешь тридцать лет, это и есть истинная причина… (и он сделал ударение на последних словах) истинная причина моего прихода.

– Вот и хорошо, сеньор, – улыбнулась донья Мерседес, – оставайтесь у нас вместе с доньей Флорой; для меня будет счастьем окружить ее материнской любовью, если она хоть на мгновение позволит мне вообразить, будто она моя дочь. Я постараюсь, чтобы гостеприимство, оказанное в доме моего супруга, оказалось достойным вас, если это возможно при той нужде, в которую впало наше семейство из-за великодушия дона Руиса.

И, поклонившись дону Иниго и его дочке, донья Мерседес вышла.

Говоря о великодушии мужа, донья Мерседес намекала на то, о чем сказал королю дон Руис, заметив, что разорился, уплатив цену крови семьям двух стражников, убитых его сыном, и внеся в монастырь вклад за сестру дона Альваро. Великодушие это было тем более удивительно и тем более похвально, что дон Руис, как мы уже упоминали, никогда не проявлял к сыну горячей отеческой любви.

После ухода доньи Мерседес в комнату вошел слуга, давно живший в доме; он принес медное позолоченное блюдо, разрисованное в арабском вкусе, с фруктами, сладостями и вином.

Верховный судья отстранил блюдо рукой, зато донья Флора с непосредственностью, присущей птицам и детям, всегда готовым полакомиться угощением, разломила алый сочный гранат и омочила губы, еще более свежие и алые, если это возможно, чем сок граната, в жидком золоте, что называется хересом.

Спустя четверть часа донья Мерседес вернулась, вернее, приоткрыла дверь, пригласив гостей следовать за ней. Ее спальня превратилась в спальню доньи Флоры, а дона Иниго устроили в спальне ее мужа.

Ни дон Иниго, ни донья Флора и не подумали извиняться за то беспокойство, которое они причинили в доме дона Руиса: у гостеприимства были свои законы, и уважали их и те, кому его оказывали, и те, кто его оказывал. Дон Иниго и донья Флора поступили бы так же, если б им пришлось принимать у себя дона Руиса и донью Мерседес.

Пока донья Флора устраивалась в комнате хозяйки, дон Иниго вошел в комнату дона Руиса, сбросил дорожные одежды и переоделся, торопясь к королю.

Мы уже видели, как он шел в свите дона Карлоса по площади Лос-Альхибес, видели, как он подошел к дону Руису, чтобы сообщить о своем приезде.

Нам уже известно, что глашатай там, на площади, призывал верховного судью от имени короля и что только тогда дон Руис узнал о назначении своего друга, еще неизвестном остальным.

Дон Руис вернулся домой в таком мрачном расположении духа, что жена, издали увидев его, не посмела показаться ему на глаза, она удалилась к себе в комнату, что находилась над ее прежней спальней, наказав старику слуге Висенте подождать господина, сообщить ему о переменах в доме и проводить в комнату, предназначенную для него.

Король был беспощаден, отослав его к верховному судье, и дон Руис считал, что даже влияние самого дона Иниго не поможет добиться помилования сыну.

Только посмотрев на застывшее, холодное лицо молодого короля, можно было понять, что за его мраморным лбом – вместилище своеволия и упорства; поэтому запоздание дона Иниго ничуть не удивило хозяина дома, зато он был изумлен, когда появилась донья Флора – сияя от радости, она распахнула двери в его комнату и комнату его жены и закричала, то обращаясь к донье Мерседес, то к нему – дону Руису:

– О, скорей сюда! Пришел отец и возвестил от имени короля дона Карлоса о помиловании дону Фернандо!

Все собрались в зале.

– Добрая весть! Добрая весть! – воскликнул дон Иниго, увидев хозяев. – Отворите же дверь счастью, ибо счастье следует за мной.

– Оно будет особенно желанным гостем, поскольку уже давно не посещало этот дом, – отвечал дон Руис.

– Велико милосердие господне, – с благоговением промолвила донья Мерседес, – и даже, сеньор, если б я была на смертном одре, не видя гостя, о котором вы возвещаете, я все же надеялась бы, что он явится вовремя и будет со мной при моем последнем вздохе.

Вот тогда-то дон Иниго и рассказал о необычайном происшествии во всех подробностях – и о том, как король сурово отказал ему, и о том, как, очевидно, ответил согласием на такую же просьбу девушке-цыганке, которая, упав на колени, подала ему перстень и пергамент.

Донья Мерседес, для которой, как для матери, была полна значения каждая мелочь, касающаяся ее сына, да, донья Мерседес, не ведая о том, что рассказал дону Руису дон Иниго, – о том, как накануне Сальтеадор захватил в плен дона Иниго и его дочь, – стала допытываться, что это за цыганка.

В этот момент донья Флора, взяв ее за руку, произнесла то слово, которое донье Мерседес было так отрадно слышать:

– Пойдемте, мама!

И женщины ушли в комнату доньи Мерседес.

Чтобы смягчить тягостный рассказ, донья Флора опустилась на колени перед матерью Фернандо, прильнула к ней и, глядя ей в глаза и сжав руки, поведала со своей обычной чуткостью и сердечностью обо всем, что приключилось с ними в харчевне «У мавританского короля».

Донья Мерседес слушала, затаив дыхание, с полуоткрытым ртом, вздрагивая при каждом слове, то ужасаясь,

то радуясь, то радуясь, то ужасаясь, воздавала богу благодарность, когда узнала, что грозный Сальтеадор, о котором ей так часто говорили, не зная, что это ее сын, как о кровожадном, безжалостном убийце, оказался добрым и милосердным по отношению к дону Иниго и его дочери.

С этого мгновения в сердце доньи Мерседес зародилась нежная любовь к донье Флоре, ведь любовь матери – это неистощимая сокровищница, ибо, отдав сыну всю свою любовь, она готова любить и тех, кто его любит. И донья Флора, радостная, полная нежности к матери Фернандо, провела вечер, склонив голову на плечо доньи Мерседес, словно на плечо родной матери, а в это время два старых друга прохаживались по аллее, разбитой перед домом, и вели серьезную беседу о том, что принесет Испании юный король с рыжими волосами и русой бородой, столь мало похожий на своих предшественников – королей кастильских и арагонских.

XXI. ПОЛЕ БИТВЫ

Пока старые друзья вели беседу, а донья Мерседес и донья Флора молча улыбались друг другу, что было выразительнее самых нежных слов, Хинеста, как мы уже упомянули в предыдущих главах, шла по горным кручам.

В четверти мили от харчевни «У мавританского короля» путь ей преградили солдаты. Впрочем, на этот раз она скорее искала их, а не избегала.

– Э, да ведь это красотка с козочкой! – закричали солдаты, увидев ее.

Девушка подошла к офицеру и сказала:

– Сеньор, прочтите-ка эту бумагу.

То был приказ, подписанный доном Карлосом, за его печатью, – о свободе передвижения Сальтеадора.

– Ну и дела! – буркнул офицер. – Чего ради тогда сожгли лес на семи-восьми милях и погубили четырех моих парней!

Затем офицер снова прочитал приказ, будто не поверив своим глазам, и обратился к девушке, которую принимал за обычную цыганку:

– Ты что же, берешься отнести бумагу туда, в его убежище?

– Берусь, – отвечала она.

– Что ж, ступай!

И Хинеста быстро пошла прочь.

– Вот тебе мой совет, – крикнул он ей вдогонку, – сразу скажи ему, кто ты и с какой пришла вестью, а то, пожалуй, он встретит тебя так же, как встретил моих солдат!

– О, мне бояться нечего, он меня знает, – ответила Хинеста.

– Клянусь святым Яковом, вряд ли стоит хвастаться таким знакомством, красотка!

И офицер, махнув рукой, разрешил ей продолжать путь.

Хинеста была уже далеко. Она шла к пожарищу, окутанному дымом, той же дорогой, которая вывела ее из пылающего леса, держась русла бурлящего потока. Вскоре она оказалась у водопада.

Козочка, бежавшая впереди, вдруг испугалась чего-то и попятилась. Хинеста подошла ближе. Ее глаза, привыкшие к темноте, почти так же хорошо видели ночью, как и днем, и теперь она различала во мраке чей-то труп. То было тело первого солдата, упавшего в пропасть.

Девушка метнулась вправо, но споткнулась о труп второго солдата. Она бросилась вперед, и ей пришлось перешагнуть через труп третьего. Само молчание смерти говорило о том, что здесь произошла схватка, и схватка жестокая.

Неужели с Фернандо что-нибудь случилось?

Она чуть было не позвала его, но рассудила, что шум водопада заглушит ее голос, а если услышит Сальтеадор, то, пожалуй, услышат и те, кто его осаждает. Молча и стремительно подбежала она к отвесной скале – взберешься на нее, тогда попадешь в грот.

Лишь фея или ангел могли одолеть такой подъем. Но Хинеста взлетела по нему, словно быстрокрылая птица. Вот она коснулась ногой уступа у самой пещеры и прижала руку к сердцу. Казалось, оно сейчас выпрыгнет из груди. И тут она позвала Фернандо.

Хинеста почувствовала, что от тревоги капельки пота увлажнили ее волосы. Свежий ветерок – так сквозит из полуоткрытой двери – леденил ей лоб.

Она позвала еще раз. Даже эхо не откликнулось.

Ей показалось, что в глубине грота виднеется отверстие – прежде его не было. Хинеста зажгла светильник. Из зияющего отверстия доносились какие-то звуки; жутко становилось не от дыхания живого существа, не от безмолвия смерти, а от какого-то непонятного шороха.

Она поднесла светильник к темной дыре. Пламя задуло ветром. Хинеста снова зажгла светильник, и, заслоняя огонь ладонью, пошла из первого грота во второй. Козочка осталась у входа в грот, дрожа и блея от страха.

Огромная глыба земли лежала во втором гроте, и было

похоже, что здесь кто-то трудился, чтобы соединить пещеры, и, вероятно, все довершил Фернандо.

Она стала тщательно осматривать стены.

Вдруг девушка поскользнулась, ступив в жидкую грязь.

Она чуть не уронила светильник, но, собравшись с духом, подняла его повыше, чтобы осветить весь грот. Какая-то мохнатая громада чернела в углу. До девушки донесся острый запах, свойственный хищному зверю. Видно, этот запах и напугал козочку.

Хинеста подошла к мохнатой громадине – она лежала без движения. Девушка узнала большого черного медведя – обитателя гор. Она наклонилась над ним и осветила его: медведь был мертв. Кровь еще текла из глубокой раны в груди – как раз на месте сердца.

Цыганка расхрабрилась и дотронулась до медведя; он еще был теплым. Значит, сражение произошло не больше часа назад. Она начала понимать, что случилось, пока ее не было.

В судорожно сжатых когтях зверя остался клок ткани, вырванной из плаща Фернандо. Значит, Фернандо боролся с ним. Да и кто, кроме Фернандо, мог бы одолеть такого противника?

Теперь все становилось понятно: на Фернандо напали солдаты, он убил троих, на их трупы она и натолкнулась по пути. Опасаясь, что его захватят в плен, Фернандо прорыл это отверстие и попал в берлогу медведя. Медведь защищал вход; тогда Фернандо убил медведя. Затем он выбежал – выход заслоняли кусты, охваченные огнем, преследователи его не заметили.

Все так, конечно, и было, тем более что по всей берлоге, до самого выхода, тянулись кровавые следы ног Фернандо.

Подземелье было длиной шагов в двадцать. Войдя в него, Хинеста вышла на другой стороне горы.

Группа солдат расположилась на вершине горы, – значит, они думают, что Фернандо все еще в пещере.

То здесь, то там вспыхивало пламя, когда огонь добирался до купы смолистых деревьев. Кругом белели клубы дыма – они, словно призраки в саванах, вросшие ногами в землю, раскачивались под порывами ветра. Хинеста, сама легкая, как облачко, затерялась меж ними.

На рассвете девушка в накидке, скрывавшей ее лицо от прохожих, появилась на площади Виварамбла, постучала в дверь дома дона Руиса и попросила проводить ее к донье Флоре. Донья Флора, обрадованная добрыми вестями, которые вечером принес дон Иниго, встретила молодую девушку, как принимают даже незнакомых, когда на сердце радость.

А когда на сердце радость, то лица подобны окнам дома, освещенного изнутри; как бы плотно ни были задернуты занавески и затворены ставни, свет пробивается наружу. И прохожие, заметив этот свет, останавливаются и говорят:

«В этом доме живут счастливцы».

Увидев, что лицо доньи Флоры сияет радостью и стало еще прекраснее, девушка чуть слышно вздохнула, но все же донья Флора услышала ее тихий вздох. Она решила, что незнакомка пришла с какой-нибудь просьбой.

– Вы хотели поговорить со мной? – спросила она.

– Да, – прошептала Хинеста.

– Подойдите ко мне и скажите, что я могу сделать для вас?

Хинеста покачала головой.

– Я пришла, сеньора, оказать вам услугу, а не просить о ней.

– Мне? – удивилась донья Флора.

– Да, – проговорила Хинеста. – Вы говорите себе: какую услугу можно оказать дочери богатого и всесильного дона Иниго, – ведь она молода, прекрасна и любима доном Фернандо?

Донья Флора вспыхнула, но не стала отрицать.

– Так вот, – продолжала Хинеста, – эту девушку можно осчастливить бесценным даром, без которого все другие ничего не стоят: даровать ему бумагу о помиловании того, кто ее любит.

– Я думала, – промолвила донья Флора, – что бумагу о помиловании отнесли дону Фернандо в горы, где он скрывается.

– Дона Фернандо уже нет там, где я с ним рассталась, – грустно ответила Хинеста.

– Боже мой! – воскликнула, вся дрожа, донья Флора.

– Однако я знаю, что он вне опасности, – добавила Хинеста.

– Ах, вот как, – радостно отозвалась донья Флора, и улыбка снова засияла на ее губах, а лицо покрылось румянцем.

– Вам я принесла это помилование: передайте ему сами.

– Помилование? – вымолвила донья Флора – Да ведь я не знаю, где дон Фернандо. Где я его найду?

– Вы его любите, а он вас любит! – сказала Хинеста.

– Не знаю, право… Верю, надеюсь, – прошептала донья Флора.

– Тогда вы наверняка найдете его, ибо он будет вас искать.

И Хинеста подала донье Флоре бумагу – помилование дону Фернандо. Она старалась скрыть свое лицо, но покрывало сбилось, когда она протянула бумагу, и донья Флора увидела ее.

– Ах, да ведь вы – цыганочка из харчевни «У мавританского короля»! – воскликнула она.

– Нет, – ответила Хинеста, и одному богу известно, сколько скорби звучало в ее голосе. – Нет, перед вами сестра Филиппа из Анунциаты.

Так назывался монастырь, который выбрал дон Карлос для девушки-цыганки, – там ей надлежало выполнить обет послушания и стать монахиней.

XXII. КЛЮЧ

Около полуночи донья Флора ушла с балкона в спальню, отведенную ей в доме дона Руиса. То была, как вы помните, спальня доньи Мерседес; хозяева предоставили гостям все самое лучшее.

Почему донья Флора так поздно ушла с балкона? Почему так поздно, так небрежно закрыла жалюзи? Что ее удерживало там до полуночи, отчего она всматривалась в темноту и прислушивалась?

Может быть, она ждала появления прекрасной звезды Гесперус[84], что зажигается на западе? Или прислушивалась к трелям соловья, что пел гимн ночи в зарослях олеандров, цветущих на берегах Дорра?

---

[84] *Гесперус,* Веспер – вечерняя звезда, Венера.

А может быть, глаза ее ничего не видели, уши ничего не слышали, а душа парила в той сладостной мечте, что в шестнадцать лет называется любовью?

Хинеста в это время, вероятно, плакала и молилась в монастыре Анунциаты. Донья Флора вздыхала и улыбалась.

Донья Флора, пожалуй, еще не любила, но так же, как небесная благодать возвестила деве Марии появление архангела Гавриила, какое-то неясное сладостное дуновение возвестило донье Флоре о появлении божества, имя которого – любовь. И как ни странно, но сердце девушки испытывало влечение сразу к двум молодым людям.

Тот, кого она боялась, тот, кого старалась избегать, ибо чувствовала бессознательно, что ее целомудрие в опасности, и был красавец всадник, изысканно одетый гонец любви, как он назвал себя, который мчался впереди нее по дороге от Малаги до Гранады, – дон Рамиро.

Тот же, к кому ее невольно влекло, припав к плечу которого она могла бы безмятежно заснуть, тот, на кого она могла бы долго смотреть, не смущаясь, не опуская глаз, был Сальтеадор – разбойник с большой дороги, грабитель из харчевни «У мавританского короля» – дон Фернандо.

Она чувствовала и душевный подъем, и истому и, подойдя к зеркалу – последнему дамскому угоднику по вечерам и первому льстецу по утрам, – кивком головы подозвала служанку.

Служанка поняла сразу, в каком расположении духа ее хозяйка, поняла, что ответа на расспросы не дождешься, и, не произнося ни слова, принялась за ночной туалет красавицы.

Никогда еще, пожалуй, глаза доньи Флоры, опушенные длинными бархатистыми ресницами, трепещущие ноздри, полуоткрытые губы с белоснежной полоской зубов так красноречиво не говорили ночи: «Мне шестнадцать лет, я хочу любить и быть любимой».

Служанка все поняла безошибочно. Женщины обладают удивительным свойством угадывать присутствие любви или ее приближение. Она надушила свою госпожу не как юную девушку, отходящую ко сну, а как новобрачную, ожидающую супруга.

И донья Флора неверной походкой, чувствуя, как тревожно бьется ее сердце, дошла до постели и легла, положив прелестную темноволосую головку на точеную белоснежную руку. Она не спешила уйти с балкона, а теперь ей хотелось поскорее остаться одной. Она молчала, углубившись в себя, но этого было недостаточно – она ждала полного уединения.

Донья Флора приподнялась, прислушиваясь к шагам удалявшейся служанки, которая перед тем все ходила по комнате, словно что-то искала, медлила, чтобы подольше побыть с девушкой, и в конце концов решила уйти, не сомневаясь, что выполняет горячее желание своей госпожи, но раздумывая о том, не извиниться ли ей, что она оставляет ее одну.

Служанка унесла светильник, и комнату озарял неяркий волшебный свет ночника, прикрытого алебастровым абажуром.

Но и этот приятный свет был слишком ярок для глаз молодой девушки – она снова приподнялась и, устало вздохнув, задернула занавес постели, служивший как бы

преградой между нею и ночником; теперь почти весь низ ее ложа заливал рассеянный свет, подобный сиянию луны, верх же оставался в темноте.

Каждой девушке было в свое время шестнадцать лет, каждому юноше – восемнадцать, и каждый мужчина, каждая женщина сохранили в тайнике памяти воспоминание о том, что они видели через врата молодости, отворенные в райские кущи. Однако не будем и пытаться овеществлять сны доньи Флоры; цвет розы – это сочетание белого и алого; сон молодой девушки – сочетание надежды и любви.

Прекрасная, нежная девушка грезила наяву, теперь она грезила во сне. Ее полузакрытые веки смежились, губы приоткрылись, и, словно какое-то облако встало между миром и ее душой, два-три раза она вздохнула, и, казалось, это не вздохи, а жалобы любви, потом ее дыхание стало ровным и неслышным, как у птицы. Ангел-хранитель раздвинул занавес постели и, внимая, склонился над ней. Она спала.

Прошло минут десять. Ни единого шороха не нарушало глубокую тишину; но вдруг раздался скрежет ключа; дверь медленно отворилась, и человек, закутанный в длинный темный плащ, появился в полусвете, на всякий случай он опустил задвижку, осторожно подошел к постели, присел на край и поцеловал в лоб спящую, прошептав: «Мама».

Спящая вздрогнула, открыла глаза и вскрикнула; изумленный молодой человек вскочил, уронив плащ, – в свете ночника было видно, что одет он изысканно, в костюм для верховой езды.

– Дон Фернандо! – удивилась молодая девушка и натянула покрывало до подбородка.

– Донья Флора! – прошептал пораженный молодой человек.

– Как вы тут очутились в такой поздний час? Что вам надобно, сеньор? – спрашивала девушка.

Не отвечая, Сальтеадор задернул тяжелые занавески, свисавшие над постелью, они соединились, и донья Флора словно очутилась в парчовом шатре. Затем он отступил на шаг, и, встав на колено, произнес:

– Да, сеньора, я пришел сюда, и это так же верно, как и то, что вы прекрасны, что я люблю вас, пришел сказать прости, последнее прости моей матери и навсегда покинуть Испанию.

– А зачем же вам навсегда покидать Испанию, дон Фернандо? – спросила девушка из своей парчовой темницы.

– Потому что я беглец, отверженный, преследуемый, потому что я остался жив чудом, потому что я не хочу, чтобы мои родители, и особенно мать, в спальню которой каким-то образом попали вы, были опозорены, увидев, как их сын поднимается на эшафот.

Стало тихо, казалось, слышно только, как колотится сердце девушки, но вот не прошло и минуты, как занавеси постели тихонько колыхнулись, раздвинулись и белая рука протянула ему какую-то бумагу.

– Читайте! – раздался взволнованный голос.

Дон Фернандо, не осмеливаясь прикоснуться к девичьей руке, схватил бумагу и развернул ее, рука доньи Флоры спряталась, оставляя между занавесями щелку.

Молодой человек, по-прежнему преклонив колена, нагнулся к ночнику и прочитал: «Да будет известно всем,

что мы, король Карл, милостью божьей владыка Испании, Неаполя и Иерусалима, даруем дону Фернандо де Торрильясу полное, безусловное прощение всех прегрешений и проступков, совершенных им…»

– О, благодарю! – воскликнул дон Фернандо, на этот раз поцеловав руку доньи Флоры. – Дон Иниго сдержал свое обещание, а вам, подобно голубке из ковчега, поручил протянуть жалкому пленнику оливковую ветвь.

Донья Флора покраснела, тихонько высвободив руку, и со вздохом произнесла:

– Увы, читайте дальше!

Удивленный, дон Фернандо устремил глаза на бумагу и продолжал читать: «Дабы тот, кто получил помилование, знал, кому он должен хранить благодарность, скажем, что ходатайствовала о нем цыганка Хинеста, которая завтра удаляется в монастырь Анунциаты и после окончания послушничества примет монашеский обет.

Дело сие в нашем дворце Альгамбре 9-го дня июня 1519 года летосчисления Христова».

– О Хинеста, душа моя, – пробормотал Сальтеадор, – ведь она обещала это.

– Вы жалеете ее? – спросила донья Флора.

– Не только жалею: я не приму ее жертвы.

– А если б эту жертву принесла я, приняли бы вы ее, дон Фернандо?

– Конечно, нет. Если измерять жертву тем, что человек теряет, вы – богатая, благородная, почитаемая, – теряете гораздо больше, чем скромная девушка-цыганка – без положения, без родных, без будущего.

– Вот она, право, и будет довольна, что вступает в монастырь, – быстро сказала донья Флора.

– Довольна? – переспросил дон Фернандо, покачав головой. – Вы уверены?

– Она сама говорила, что для бедной девушки без дома, без рода и племени, которая просит милостыню на проезжих дорогах, монастырь – просто дворец.

– Вы ошибаетесь, донья Флора, – возразил молодой человек, опечаленный мыслью, что дочь дона Иниго, несмотря на свою душевную чистоту, унизила его верную Хинесту, которую, очевидно, считала своей соперницей. – Вы ошибаетесь: Хинеста не нищая, быть может, после вас она одна из самых богатых наследниц Испании, Хинеста не без рода и племени, она дочь, и дочь признанная, короля Филиппа Красивого. Да и для простой цыганки, дочери вольных просторов и солнца, феи гор, этого ангела больших дорог, даже дворец был бы темницей. Судите же сами, чем для нее станет монастырь… О донья Флора, донья Флора, вы так прекрасны, вас так любят, зачем же унижать любящую, преданную девушку!

Донья Флора, вздохнув, промолвила:

– Значит, вы отказываетесь от помилования, дарованного вам благодаря жертве преданной девушки?

– Человек может совершить низкий поступок, когда чего-нибудь страстно хочет, – отвечал дон Фернандо, – вот и я боюсь, что свершаю низость, оставаясь с вами, донья Флора.

Молодой человек услышал, что девушка облегченно вздохнула.

– Значит, я могу известить о вашем возвращении донью Мерседес?

– Я приехал сообщить ей о своем отъезде, донья Флора,

а теперь скажите матушке, что мы увидимся завтра, вернее, уже нынче. Вы – ангел, приносящий счастливые вести.

– Итак, до новой встречи, – промолвила донья Флора, и во второй раз ее белоснежная рука показалась между занавесями.

– До новой встречи, – ответил Сальтеадор, вставая и прикасаясь губами к ее руке с таким благоговением, будто то была рука королевы.

Он поднял свой длинный плащ, закутался в него и, склонясь в низком поклоне перед ложем с задернутыми занавесками, будто перед троном, вынул из кармана ключ, открыл дверь, постоял, чтобы еще раз взглянуть на донью Флору, следившую за ним через щелку, затворил дверь и словно тень исчез во мраке.

XXIII. БЛУДНЫЙ СЫН

Наступил день, и в доме дона Руиса де Торрильяса воцарилось праздничное ликование, все дышало радостью.

Донья Мерседес объявила старым слугам – не многие с ними остались после разорения дона Руиса и были так же привязаны к дому, как и в дни его процветания, – донья Мерседес объявила, что есть вести от дона Фернандо, что молодой господин нынче возвратится после долгих странствий, пробыв вдали от Испании почти три года.

Ну а донья Флора стала вестницей счастья, поэтому донья Мерседес с утра обходилась с дочерью дона Иниго как со своей родной дочкой и осыпала ее поцелуями, предназначенными для дона Фернандо.

Часов в девять утра дон Руис, его жена и Беатриса –

старая служанка доньи Мерседес и кормилица дона Фернандо – собрались в нижней зале, где временно устроились хозяева дома.

Донья Флора спустилась сюда с утра, спеша сообщить о возвращении дона Фернандо, умолчав о том, каким образом она узнала о новости, и осталась словно член семьи.

Донья Флора и донья Мерседес сидели рядом. Донья Флора держала руку доньи Мерседес, припав головой к ее плечу. Обе тихо разговаривали. Однако какой-то холодок появлялся в тоне доньи Мерседес каждый раз, когда голос девушки при имени Фернандо выражал не сочувствие, не Дружеские чувства, а нечто большее.

Дон Руис прохаживался по комнате, склонив голову на грудь; его длинная седая борода выделялась на черном бархатном камзоле, расшитом золотом; время от времени, когда на мостовой раздавался звук подков, он поднимал голову и прислушивался: брови его были нахмурены, взгляд мрачен. Его лицо составляло удивительный контраст с лицом доньи Мерседес – оно словно расцветало от прилива материнской любви, этого всесильного чувства, – и даже с лицом старой Беатрисы, примостившейся в углу залы; старушка предвкушала радость встречи, мечтая увидеть дона Фернандо как можно скорее, но из скромности держалась на расстоянии ото всех. Лицо дона Руиса не выражало радости, радости отца, который для блага любимого сына пожертвовал всем своим состоянием.

Чем же объяснялась суровость дона Руиса? Может быть, он укорял, имея на это право, молодого человека, вопреки настойчивости, которую проявил, добиваясь помилования сына? Была ли тут иная причина, тайну которой он никогда и никому не открывал?

Всякий раз, когда дон Руис, заслышав топот копыт, доносившийся с улицы, поднимал голову, женщины умолкали, прислушивались с бьющимся сердцем, не сводя глаз с дверей, а Беатриса бежала к окну, надеясь быть первой и крикнуть госпоже: «А вот и он!»

Всадник проезжал, топот копыт удалялся. Дон Руис снова и снова шагал по комнате, уронив голову на грудь и вздыхая. Беатриса отступила от окна, покачивая головой, и весь ее вид говорил: «Нет, это не он», – а обе женщины возобновляли свой негромкий разговор.

Мимо проехали пять или шесть всадников; пять или шесть раз раздавался топот копыт и стихал, отдавшись болью в сердцах тех, кто внимал ему с тщетной надеждой. Но вот снова раздался стук копыт – конь скакал со стороны Сакатина.

Сцена, которая каждый раз возникала при топоте копыт, возобновилась; только на этот раз Беатриса громко закричала от радости, хлопая в ладоши:

– Это он, мой мальчик, узнаю его!

Донья Мерседес живо вскочила, охваченная порывом материнской любви. Дон Руис посмотрел на нее странным взглядом, и она замерла на месте, не садясь, но и не делая шага вперед. Донья Флора то краснела, то бледнела – она встала, как и донья Мерседес, но силы ей изменили, и она упала в кресло.

И вот мимо окон проехал всадник – на этот раз лошадь не умчалась дальше: раздались удары бронзового молотка в дверь.

Однако все, кто ждал с различными чувствами появления того, чья рука только что подняла дверной молоток,

так и не тронулись с места, только лица выдавали мысли трех женщин и мужчины – все они держались с испанской чопорностью, не глядя друг на друга, соблюдая правила этикета, который в XVI веке еще был принят не только при дворе, но и во всех знатных дворянских семьях.

Слышно было, как входная дверь открылась, шаги приблизились, появился дон Фернандо, но, словно разделяя общее смятение, остановился на пороге. Он был одет в великолепный дорожный костюм, и вид у него был такой, словно он вернулся из долгого путешествия.

Он бросил беглый взгляд на низкий зал и на всех, кто ждал его: дон Руис был первый, кого он увидел; налево от дона Руиса на переднем плане две женщины – его мать и донья Флора – стояли, обняв друг друга, а в глубине, словно застыв после суеты и волнения, пряталась старая Беатриса.

Быстрые глаза все подметили – холодный, чопорный вид дона Руиса, кроткое выражение лица доньи Мерседес и нежный взор доньи Флоры, взор, полный воспоминаний, и преданную улыбку Беатрисы.

И вот, склонившись перед отцом, будто и в самом деле после долгих странствий, дон Фернандо сказал:

– Сеньор, да будет благословен тот день, когда вы дозволите сыновней любви прийти и простереться у ваших ног, ибо этот день – самый счастливый день в моей жизни.

И молодой человек с явным недовольством, как бы выполняя необходимый обряд, встал на одно колено.

Дон Руис мельком посмотрел на сына и заговорил тоном, который совсем не подходил к его словам, ибо слова были ласковые, а голос звучал сурово:

– Встаньте, дон Фернандо, добро пожаловать в тот дом, где родители уже давно с тоской ждут вас.

– Сеньор, – отвечал молодой человек, – сердце мне подсказывает, что я должен стоять на коленях перед отцом, ибо он не протянул мне руку, не дал поцеловать ее.

Старик сделал шага четыре вперед и обратился к сыну:

– Вот моя рука, и да образумит вас господь бог, о чем я молю его всем сердцем.

Молодой человек поднялся, поклонился дону Руису и приблизился к матери с такими словами:

– Сеньора, со страхом в сердце, преисполненном стыда, я предстаю перед вашими очами, которые пролили столько слез из-за меня. Да простит мне бог, а главное, простите вы, сеньора!

И на этот раз он преклонил колена и, простирая руки к донье Мерседес, стал ждать. Она же приблизилась к нему и с тем нежным выражением, которое и материнский упрек превращает в ласку, протянула сыну руки, поднесла к его губам, говоря:

– Ты сказал о моих слезах, из-за тебя я плачу и сейчас, но верь мне, любимый сын мой, то были слезы горестные, зато ныне они мне сладостны.

Она посмотрела на него с кроткой материнской улыбкой.

– Будь желанным для всех нас, душа моя! – произнесла она.

Донья Флора стояла позади доньи Мерседес.

– Сеньора, – сказал ей дон Фернандо, – я знаю, что знаменитый дон Иниго, ваш отец, намеревался сделать для меня; намерение выполнено, примите же и вы мою благодарность.

Он не просил у нее позволения поцеловать руку, как просил у родителей, а взял завядший цветок, спрятанный у него на груди, и с благоговением приложился к нему губами.

Девушка вспыхнула и отступила на шаг; то был анемон, который она дала Сальтеадору в харчевне «У мавританского короля».

Но тут старая кормилица потеряла терпение и приблизилась к донье Мерседес со словами:

– О госпожа, ведь я тоже отчасти мать нашего ненаглядного сына!

– Сеньор, – сказал молодой человек, обернувшись к дону Руису и в то же время с какой-то детской улыбкой протягивая руки к кормилице, – соизвольте разрешить мне в вашем присутствии обнять эту добрую женщину!

Дон Руис кивнул головой в знак согласия. И Беатриса бросилась в объятия того, кого она называла своим мальчиком, осыпая его звонкими поцелуями, которым народ дал священное название – поцелуи кормилицы.

– Ах, да она счастливее всех нас! – прошептала донья Мерседес, когда кормилица обняла ее сына, которому подобало в присутствии дона Руиса поцеловать только руку матери. Две горестные слезинки скатились по ее щеке.

Дон Руис ни на миг не отводил мрачного взгляда от картины, которую мы наблюдали. Когда по щекам доньи Мерседес покатились слезы, лицо его передернулось, и он зажмурился, словно ядовитая змея ужалила его в сердце.

Он сделал невероятное усилие, сдерживая себя, его рот открылся и тут же закрылся, губы дрогнули, но он хранил молчание. Казалось, он тщетно старается избавиться от яда, которым полнится его грудь.

Да, ни единая подробность не ускользнула от взгляда дона Руиса, но и глаза доньи Мерседес все замечали.

– Дон Фернандо, – произнесла она, – по-моему, дон Руис желает говорить с вами.

Молодой человек повернулся к нему и, опустив глаза, жестом показал, что он слушает. Чувствовалось, что под этим кажущимся смирением скрыта досада, и тот, кто мог бы постичь, какие мысли подсказаны ему душевным смятением, сказал бы, что он ждал нравоучения, что это было ему неприятно, особенно в присутствии доньи Флоры.

Она же заметила это с тою чуткостью, что свойственна только женщинам, и промолвила:

– Прошу простить меня, но мне показалось, что хлопнула дверь, вероятно, пришел батюшка, и я хочу сообщить ему добрую весть – сказать о возвращении дона Фернандо.

Сжав руку донье Мерседес и поклонившись дону Руису, она ушла, не взглянув на молодого человека, который, опустив голову, ожидал наставлений отца, пожалуй, с покорностью, а не с уважением.

Однако после ухода доньи Флоры Сальтеадор почувствовал себя свободнее, ему стало легче дышать. Дон Руис тоже испытал, облегчение, когда слушателями и зрителями стали только члены семьи.

– Дон Фернандо, – обратился он к сыну, – вы, наверное, заметили, какие перемены произошли в доме, пока вас не было. Кончилось наше благоденствие; наше имущество, и об этом я сожалею меньше всего, заложено или продано. Сестра дона Альваро согласилась пойти в монастырь: я внес за нее вклад; родителям стражников я уплатил некоторую сумму и выхлопотал им ренту. Вашей матери и мне

пришлось сократить расходы, мы дошли чуть ли не до нищеты.

Дон Фернандо покачал головой, выражая скорее сожаление, нежели раскаяние, при этом он не терял достоинства и горько усмехался.

– Впрочем, довольно говорить об этом, – продолжал дон Руис, – все забыто, раз вы помилованы, сын мой, и за это помилование я смиренно приношу благодарность королю дону Карлосу. И отныне я говорю: прощай, горе; впрочем, это горе для меня словно никогда и не существовало. Но вот о чем я хочу просить вас, дон Фернандо, просить со слезами на глазах, о чем хочу просить вас с нежностью, о чем я был бы готов просить вас коленопреклоненно, если б сама природа не отвернулась бы от отца, преклонившего колена перед сыном, от старика, склонившегося перед молодым человеком, от седовласого старца, умоляющего черноволосого юношу, так вот, умоляю вас, сын мой, перемените нрав, измените жизнь свою, примитесь за работу. Я приду к вам на помощь, воспользуюсь всеми своими связями, чтобы восстановить уважение к вам в обществе – пусть даже ваши недруги признают, что тяжкие уроки, полученные в дни бедствий, никогда не бывают бесплодны для человека благородного и умного. До нынешнего дня я был для вас только отцом, вы для меня только сыном, но этого недостаточно, дон Фернандо. Будем же отныне друзьями! Может быть, между нами стеной встают неприятные воспоминания? Исторгните же их из своего сердца, как я исторгну их из своего; будем жить в мире, делать друг для друга все, что в силах сделать. Я постараюсь одарить вас тремя чувствами – так обязан по-

ступать каждый отец по отношению к своему сыну: любовью, нежностью, преданностью. От вас я приму в обмен лишь одно: в вашем возрасте, возрасте пылких увлечений, вам не дано иметь над собой той власти, какой обладаю я, старик, и я прошу у вас лишь послушания, обещаю никогда ничего не требовать от вас, будьте только честны и справедливы. Извините меня, речь моя оказалась пространнее, чем мне бы хотелось, дон Фернандо, ведь старость болтлива.

– Сеньор! Все это я вам обещаю, – проговорил с поклоном дон Фернандо, – клянусь честью дворянина, что с нынешнего дня вам уже не придется упрекать меня: из своих бед я извлеку полезный урок – вас даже порадует, что мне довелось испытать беду.

– Вот и хорошо, Фернандо, – отвечал дон Руис, – теперь я позволяю вам поцеловать вашу матушку.

Донья Мерседес радостно вскрикнула и открыла объятия сыну.

XXIV. ДОН РАМИРО

Образ матери, со слезами обнимающей любимого сына, трогает и посторонних людей, но на дона Руиса эта картина, как видно, навела печаль, ибо он ушел в угрюмом молчании, и заметила это только старая Беатриса.

Один на один со своей матерью и кормилицей молодой человек рассказал все, что произошло с ним накануне, – о странном чувстве к донье Флоре он умолчал; рассказал, что ночью явился навестить мать, как обычно, а в спальне застал красавицу гостью.

Донья Мерседес увела его к себе в спальню. Спальня матери для Фернандо была подобна святилищу в храме для людей верующих. Там, в комнате матери, он ребенком, отроком и молодым человеком проводил самые счастливые часы своей жизни; и только там его сумасбродное сердце билось спокойно, и только там его мечты воспаряли высоко, в беспредельность, подобно тем птицам, что рождены в полусфере и что взлетают в определенные времена года к своим никому не ведомым соплеменникам.

Припав к ногам матери, как бывало в дни невинного детства и юности, целуя ее колени, чувствуя такой прилив счастья, какого давно не испытывал, Фернандо, пожалуй, с гордостью, а не со смирением рассказывал матери о своей жизни, полной приключений, с того дня, когда бежал из дому, и до того дня, когда вернулся.

Прежде, беседуя с матерью, он всегда сокращал рассказ – человек не может рассказать о тягостном сне, пока его видит; но вот он проснулся, и чем сон был страшнее, тем с большим удовольствием, даже смеясь, описывает он ночное видение, которое наводило на него такой ужас.

Донья Мерседес слушала сына, не сводя с него глаз, а когда дон Фернандо поведал о том, как встретился с доном Иниго и доньей Флорой, донья Мерседес, казалось, стала слушать еще внимательнее, причем она то бледнела, то краснела.

Дон Фернандо, припав головой к груди матери, почувствовал, как забилось ее сердце, а когда он признался в том удивительном душевном расположении, которое испытывал, увидев дона Иниго, о чувстве, которое словно бросило его к ногам доньи Флоры, она зажала его рот рукой, как бы прося о передышке: силы ей изменили, она изнемогала.

А дальше, когда она позволила сыну продолжать, он рассказал об опасности, которую избежал, о побеге в горы, пожаре, убежище в гроте цыганки, об осаде, которую устроили беглецу солдаты, наконец, о единоборстве с медведем.

Не успели отзвучать последние слова дона Фернандо, как донья Мерседес поднялась без кровинки в лице. Шаткой походкой она пошла в тот угол комнаты, что был превращен в молельню, и преклонила колена.

Дон Фернандо тоже встал и с благоговением смотрел на нее; вдруг он почувствовал, как чья-то рука коснулась его плеча, и обернулся. То была кормилица. Старушка пришла сказать, что один из его лучших друзей – дон Рамиро – узнал о возвращении Фернандо, ждет его в зале и хочет поговорить с ним.

Молодой человек оставил донью Мерседес, которая продолжала молиться, – он хорошо знал, что мать молится за него.

Дон Рамиро, в великолепном утреннем одеянии, сидел, небрежно развалившись в большом кресле.

Действительно, прежде они были закадычными друзьями, не виделись уже года три и теперь бросились в объятия друг друга. Потом начались расспросы.

Дон Рамиро слышал о любовных похождениях дона Фернандо, о его страсти к донье Эстефании, о его дуэли с доном Альваро и бегстве после смерти противника, но на этом и кончалось все, что он о нем знал.

Впрочем, говорили, будто дон Фернандо после дуэли уехал – не то во Францию, не то в Италию, его будто бы встречали и при дворе Франциска I, и при дворе Лоренцо II,

который прославился тем, что был отцом Екатерины Медичи[85] и что его бюст изваял Микеланджело.

Тогда, на площади, никто не мог слышать, о чем беседовали дон Руис и король, однако даже те, кто в тот день видел старика, стоявшего на коленях перед доном Карлосом, думали, что он просил об одном: помиловать убийцу дона Альваро.

Фернандо не стал разубеждать приятеля.

Потом, и любопытства ради, и из желания переменить тему разговора, он решил, в свою очередь, расспросить дона Рамиро.

– Я очень рад вас видеть, – начал он, – и собирался известить вас о приезде.

Дон Рамиро уныло покачал головой:

– А я радоваться не могу, ибо душа моя изнемогает от любви, пока она доставляет мне больше страданий, нежели радости.

Фернандо понял, что сердце дона Рамиро переполнено и он жаждет поделиться своими чувствами.

Он улыбнулся и протянул ему руку:

– Любезный друг, наши с вами сердца, наши чувства просятся на вольный воздух, здесь, в зале, так душно, пройдемся по чудесной аллее перед нашим домом, и вы мне поведаете обо всех своих приключениях, согласны?

– Согласен, – ответил дон Рамиро, – тем более что, беседуя с вами, быть может, я увижу ее.

– Вот оно что! – рассмеялся дон Фернандо. – Значит, она живет на этой площади?

---

[85] *Лоренцо II* (1492–1519) – Лоренцо Медичи, герцог Урбинский. *Екатерина Медичи* (1519–1589) – жена французского короля Генриха II, мать Карла IX и Генриха III, одна из главных вдохновительниц резни протестантов в Варфоломеевскую ночь 1572 г.

– Пойдемте же, – сказал дон Рамиро, – через минуту вы узнаете обо всем, что со мной произошло, а также и о том, какую услугу вы можете мне оказать.

Они вышли рука об руку и стали прохаживаться по аллее; словно по обоюдному согласию, они ходили только вдоль фасада.

Кроме того, каждый из них то и дело поднимал голову, посматривая на окна второго этажа. Но ни тот, ни другой не спрашивал и не объяснял, что заставляет каждого так поступать, – оба молчали.

В конце концов дон Рамиро не выдержал:

– Друг Фернандо, ведь вы пришли сюда, чтобы выслушать мою исповедь, а я – чтобы излить вам душу.

– Ну, что ж, любезный дон Рамиро, – отвечал дон Фернандо, – я вам внимаю.

– Ах, милый друг, – начал дон Рамиро, – любовь – жестокий тиран, порабощающий сердца, над которыми властвует.

Дон Фернандо усмехнулся, словно говоря, что он того же мнения.

– Однако, – заметил он, – когда ты любим…

– Да, – подхватил дон Рамиро, – но хоть по всем признакам меня любят, я все же сомневаюсь…

– Вы – и сомневаетесь, дон Рамиро? Но если память мне не изменяет, в ту пору, когда мы расстались, женщины, упрекая вас, не относили к числу ваших недостатков скромность в делах любви.

– Да ведь, любезный Фернандо, до встречи с ней я не любил!

– Ну, хорошо, – прервал его дон Фернандо, – расска-

жите же скорее о бесподобной красавице, превратившей гордеца дона Рамиро в покорного раба, – такого не найти во всей Андалусии.

– Ах, любезный друг, она ж – цветок среди листвы.., она звезда среди облаков… Как-то вечером я ехал верхом на коне по улицам Толедо и сквозь полураскрытые жалюзи приметил такую красавицу, каких не видел свет. Я остановился, словно завороженный. Разумеется, мое восхищение она сочла за дерзость, закрыла жалюзи, хотя я умоляюще сложил руки, без слов заклиная ее не скрываться.

– О, жестокая, – засмеялся дон Фернандо.

– Больше часа я провел под ее окном, все надеясь, что она отворит его, но напрасно! Я стал искать дверь, но оказалось, что на фасаде, вдоль которого я ходил, не было ничего похожего.

– Что же, дом был заколдованный?

– Да нет; очевидно, улица, по которой я проезжал, была пустынной и глухой, двери в дом, должно быть, выходили на другую улицу. Так охранялись и дом, стоявший на отшибе, и прекрасная незнакомка. В конце концов я решил, все взвесив, что ни ее отец, ни бдительный соглядатай не следят за ней неустанно, ибо окна были в двенадцати – пятнадцати футах от земли. Я даже подумал, замужем ли она, – ведь ей было всего лет пятнадцать.

– Не узнаю вас, дон Рамиро, – заметил дон Фернандо, – по-моему, под влиянием любви вы очень изменились – ведь вы никогда долго не раздумывали в таких случаях. Всякая молодая девушка – так предопределено природой – приманка; всякая девушка имеет дуэнью, а у каждой дуэньи есть свои слабости, надо только подобрать к ней ключ – из злата.

– Я тоже так думал, любезный дон Фернандо, – проговорил молодой человек, – но на этот раз я ошибся.

– Бедняга, вам не повезло! Даже не удалось узнать, кто она!

– Итак, мне не пришлось подкупать ни дуэнью, ни слугу, я объехал квартал и очутился на широкой и красивой улице – улице Рыцарей – по другую сторону особняка. Оказалось, это настоящий дворец; я расспросил соседей и узнал, что принадлежит…

– Девушка или дом?

– Черт возьми, и то и другое… Что они принадлежат одному знатному и богатому иностранцу. Он прибыл из Индии год или два тому назад и за свои заслуги и ум был вызван из Малаги кардиналом Хименесом и стал советником регента. Вы догадываетесь, дон Фернандо, о ком идет речь?

– Клянусь честью, нет.

– Не может быть!

– Вы забываете, любезный друг, что года два меня не было в Испании и мне совсем или почти совсем неизвестно, что произошло здесь за это время.

– Да, верно. Ваше неведение, признаюсь в этом, в конце рассказа мне очень поможет. У меня были две возможности познакомиться: воспользоваться своим происхождением и положением в свете, чтобы представиться отцу и проникнуть к красавице дочери. Или, скорее, подобно узнику, что ждет, не засияет ли солнце за решеткой его окна, ждать, когда откроются жалюзи и все озарит ее красота. Я воспользовался первым способом. Мой отец в молодости был знаком с вельможей, к которому я надеялся проникнуть. Я

ему написал, мне ответили, и я был принят; я хотел видеть дочь, а не отца, но она, по приказанию отца или из любви к уединению, оставалась у себя; я прибег ко второму способу, решил украдкой перехватить ее взгляд, когда вечером, в одиночестве, она будет вдыхать, стоя у окна, свежий и благоуханный воздух – ветерок с Тахо, хотя этот способ не всегда приносит удачу. Но все же молодую девушку, пожалуй, больше заинтересует всадник, остановившийся под ее балконом звездной прекрасной ночью или во тьме, когда разразится гроза, чем кавалер, представленный ей в гостиной?

– Вы всегда были очень находчивы, добиваясь внимания женщины, дон Рамиро. Продолжайте же, я вас слушаю и убежден в вашем успехе.

Дон Рамиро поник головой.

– Я не добился успеха, но и не потерпел полной неудачи, – сказал он. – Два-три раза, стоя за углом, я ловко укрывался от ее взгляда, но сам видел ее, зато стоило ей заметить меня, и жалюзи закрывались.

– А разве через жалюзи вы не могли проследить, смотрит ли она на вас?

– Признаюсь, надежда меня долго поддерживала, но однажды, когда после вынужденного недельного отсутствия я снова явился, то оказалось, что дом заперт, двери и окна наглухо закрыты. Никто днем так и не появился – ни девушка, ни отец, ни дуэнья, и ночью в доме, темном, как могила, свет не зажигался. Я навел справки – совет регента был распущен из-за приезда в Испанию короля дона Карлоса, и когда он подъезжал к Толедо, отец владычицы моего сердца вернулся в Малагу. Я устремился в Малагу,

готовый следовать за ними на край света. Я возобновил свои попытки, и кажется, с большим успехом. Теперь она скрывалась не так поспешно, и я смог заговорить с ней, сказать ей словечко; тогда я стал бросать цветы на ее балкон; сначала она отталкивала их ножкой, потом словно не обращала на них внимания, потом, наконец, начала их принимать, один или даже два раза она ответила на мои вопросы, но будто смущенная своей снисходительностью, испуганная звуками своего голоса, она почти сейчас же удалялась, и слова ее скорее походили на молнию, что прорезает тьму, чем на зарю, что предшествует дню.

– Итак, дело продвигалось? – спросил дон Фернандо.

– До тех пор, пока король не повелел ее отцу приехать в Гранаду.

– Ого! Бедный дон Рамиро! – воскликнул, смеясь, дон Фернандо. – Значит, вы обнаружили, что дом в Малаге закрыт, как и в Толедо?

– Нет, не так. На этот раз она благосклонно предупредила меня о часе отъезда и о том, по какой дороге они отправятся; я все разузнал и решил их сопровождать; кроме того, путешествие давало немало преимуществ – ведь каждая остановка напоминала ей обо мне; каждая комната на постоялом дворе говорила ей обо мне. Я стал гонцом, гонцом любви.

– Вот оно что, – вздохнул дон Фернандо, но дон Рамиро был поглощен своим рассказом и не заметил, как тон его друга вдруг переменился.

– Да, в наших придорожных гостиницах ничего не найти, однако я заказывал угощение. Я узнал, какие духи она любит, – я ношу эти духи на шее в золотой коробочке, я

наполнял их ароматом коридоры, по которым она проходила, комнаты, в которых она останавливалась. Я узнал ее любимые цветы, и в каждом пристанище, от Малаги до Гранады, ее ноги ступали по ним.

– А зачем же такому галантному кавалеру, как дон Рамиро, – произнес дон Фернандо с волнением в голосе, – понадобилась моя помощь, раз у него в распоряжении столько возможностей?

– Ах, любезный друг, случай, я бы сказал, провидение соединило два обстоятельства, которые должны, если не разразится беда на моем пути, привести меня к счастью.

– Какие же это обстоятельства? – спросил дон Фернандо, проводя рукой по лбу и вытирая выступивший пот.

– Отец той, которую я люблю, друг вашего отца, а вы мой друг, вы мой ангел-хранитель и приехали сегодня…

– Ну а дальше?

– Ваш отец предложил ему гостеприимство, поэтому…

– Значит, та, которую вы любите… – вымолвил дон Фернандо, стиснув зубы от ревности.

– Да неужели вы не догадываетесь, любезный друг?

Дон Фернандо оттолкнул того, кто так неудачно выбрал время, чтобы назвать его другом.

– Ни о чем я не догадываюсь, – оборвал он дона Рамиро с мрачным видом. – Как ее зовут?

– Неужели надо называть имя солнца, когда вы чувствуете его теплоту и ослеплены его лучами? Поднимите глаза, дон Фернандо. Да сможете ли и вы выдержать пламя, испепеляющее мое сердце!

Дон Фернандо поднял глаза и увидел донью Флору – она, чуть наклонившись, стояла у окна и смотрела на него с

ласковой улыбкой. Они обменялись быстрым взглядом, она откинулась назад, и окно со стуком захлопнулось: девушка скрылась.

Но хоть окно и закрылось очень быстро, из него успел вылететь цветок. То был анемон.

XXV. АНЕМОН

Молодые люди кинулись поднимать случайно оброненный или брошенный намеренно цветок. Дон Фернандо был ближе к окошку и взял его.

Дон Рамиро протянул руку и сказал своему другу:

– Благодарю, любезный Фернандо! Отдайте-ка мне цветок.

– Почему же? – удивился Фернандо.

– Да ведь его бросили мне.

– Кто вам сказал?

– Никто, но кто скажет иное?

– Тот, кто не побоится прямо сказать вам об этом.

– Кто же?

– Да я.

Дон Рамиро с изумлением взглянул на дона Фернандо и только сейчас заметил, как он бледен, как судорожно сжаты его губы.

– Вы? – переспросил он, отступая на шаг. – Почему же вы?

– Потому что ту, кого вы любите, люблю я.

– Как, вы любите донью Флору? – воскликнул дон Рамиро.

– Да, люблю, – ответил дон Фернандо.

– Где вы ее видели прежде и давно ли узнали? – спросил, тоже побледнев, дон Рамиро.

– Вас это не касается!

– Но ведь я люблю ее уже больше двух лет!

– А я, быть может, люблю ее только два дня, но за это время достиг большего, чем вы за два года!

– Докажите это, дон Фернандо, или я во всеуслышание заявлю, что вы – хвастун и пятнаете имя молодой девушки.

– Вы говорили, что скакали от Малаги до Гранады впереди нее, не правда ли?

– Да, говорил.

– Вы проехали мимо харчевни «У мавританского короля»?

– Даже останавливался в ней.

– Там вы заказали обед для дона Иниго и его дочери, воскурили благовония в прихожей и приготовили букет для доньи Флоры.

– Да.

– В букете был цветок анемона.

– Ну а дальше?

– Цветок она подарила мне.

– Вам?

– Да, мне. И вот он здесь, на моем сердце, он уже увял, как увянет и этот…

– Вы сами взяли цветок из букета без ее ведома или подняли на дороге – вероятно, она уронила его нечаянно, признайтесь же в этом, и я вас прощу.

– Прощение я принимаю только от бога и от короля, – гордо ответил дон Фернандо, – и повторяю: цветок она мне подарила.

– Лжете, дон Фернандо, вы украли первый цветок, как украли и второй.

Дон Фернандо с яростным возгласом выхватил шпагу, швырнул к ногам дона Рамиро анемоны – увядший и свежий.

– Что ж, все равно – подаренный или украденный. Тот, кто через пять минут останется жив, поднимет оба.

– Хорошо! – крикнул дон Рамиро, отступая на шаг и, в свою очередь, выхватив шпагу. – Такой уговор мне по душе.

Затем он обратился к толпе, собравшейся на площади: обнаженные шпаги, блеск лезвий привлекли всеобщее любопытство.

– Послушайте, сеньоры! Подойдите ближе, нельзя сражаться без свидетелей. Если дон Фернандо убьет меня, пусть все знают, что он убил меня в поединке, а не так, как, по слухам, убил дона Альваро.

– Пусть подойдут, – согласился дон Фернандо. – Клянусь богом, они увидят нечто, заслуживающее внимания.

И молодые люди, стоя в пяти шагах друг от друга, опустили к земле шпаги и ждали, когда их окружат зрители.

Круг образовался, и кто-то сказал:

– Начинайте же, сеньоры.

Вода устремляется вперед, прорывая плотину, не с такой быстротой, с какою молодые люди с обнаженными шпагами бросились навстречу друг другу. И тут раздался крик – он несся из окна, закрытого жалюзи; крик этот заставил противников поднять головы, но не остановил их, а придал им силы.

Дон Фернандо и дон Рамиро слыли одними из самых храбрых и ловких дуэлянтов, ни тот, ни другой не имели равных себе соперников во всей Андалусии. И вот теперь каждому попался опасный противник – им пришлось сражаться друг с другом.

Итак, как и обещал дон Фернандо, зрелище заслуживало внимания.

В самом деле, шпаги скрестились так стремительно, так яростно, что, чудилось, металл исторгает искры, будто обуреваемый такими же страстями, что и люди, державшие шпаги.

Искусство фехтования, ловкость, сила проявились во всем блеске за несколько мгновений первой схватки, причем ни тот, ни другой противник не отступил ни на шаг, стоя неподвижно, как те деревья, в тени которых они сражались; казалось, опасность миновала, и зрители наблюдают не ожесточенный поединок, а как бы присутствуют в оружейном зале, где молодые люди упражняются в фехтовании на рапирах. Кроме того, говоря правду, такие поединки были в духе того времени, и редко вечера проходили без представлений, подобных тому, что сейчас давали дон Фернандо и дон Рамиро. Перерыв был кратким. Соперникам надо было перевести дух, но, несмотря на выкрики зрителей: «Не нужно торопиться! Отдохните», – они еще яростнее бросились друг на друга. Но только шпаги скрестились, как раздался взволнованный голос:

– Перестаньте, дон Фернандо, дон Рамиро!

Все обернулись в ту сторону, откуда прозвучали эти слова.

– Дон Руис де Торрильяс! – закричали, расступаясь, зрители.

И дон Руис очутился посреди круга, как раз там, где стоял его сын. Разумеется, его предупредила донья Флора, и он прибежал, чтобы разнять сражавшихся.

– Перестаньте! – властно повторил он.

– Отец!.. – возразил дон Фернандо нетерпеливо.

– Сеньор!.. – произнес дон Рамиро почтительно.

– Я не могу приказать дону Рамиро, – сказал старик, – но вам, дон Фернандо, могу, – вы мой сын, и я вам приказываю: перестаньте.

– Перестаньте, сеньоры, – поддержали зрители.

– Защищайтесь, дон Рамиро! – бросил дон Фернандо.

– Вот как, негодяй! – крикнул дон Руис, ломая руки. – Не можешь побороть свои роковые страсти! Вчера помилованный за дуэль, сегодня совершаешь то же преступление!

– Отец, отец, – бормотал дон Фернандо, – прошу вас, не мешайте.

– И это происходит здесь, посреди улицы, при свете солнца! – продолжал дон Руис.

– Почему же не подраться здесь, посреди улицы, при свете солнца, если тебя унизили? Они были свидетелями оскорбления, нанесенного мне, пусть станут и свидетелями отмщения.

– Вложите шпагу в ножны, дон Фернандо!

– Защищайтесь, дон Рамиро!

– Значит, ты отказываешься повиноваться?

– Уж не думаете ли вы, будто я позволю, чтобы меня лишили чести, той чести, которую вы сами вручили мне, как ваш отец унаследовал ее от своих предков?

– О, если б ты сберег хоть каплю того, что я передал тебе! – воскликнул дон Руис.

И, обратясь к дону Рамиро, проговорил:

– Почему у моего сына, дон Рамиро, нет ни малейшего уважения к моим сединам, к моим дрожащим рукам, ведь я – его отец и обращаюсь к нему с мольбой; так послушайтесь же меня вы и покажите пример тем, кто нас окружает, что чужой оказывает мне больше уважения, чем сын.

– Верно, верно, дон Рамиро, послушайтесь, – поддержали старика зрители.

Дон Рамиро отступил на шаг и опустил шпагу.

– Вы хорошо сделали, дон Руис, обратившись ко мне, – сказал дон Рамиро, – и вы хорошо поступили, оказав мне доверие, сеньоры. Земля велика, горы безлюдны, и я встречу своего противника в другом месте.

– Эге, да вы ловко скрываете трусость, – громко заявил дон Фернандо.

Дон Рамиро, уже вложивший шпагу в ножны и отступивший на два шага, обернулся, и шпага снова сверкнула у него в руке.

– Скрываю трусость? – воскликнул он.

Раздался ропот, зрители осуждали дона Фернандо, и двое из них – или всех старше, или всех благоразумнее – бросились к противникам, чтобы прекратить схватку, но дон Руис жестом попросил их отступить.

Они молча подчинились. Снова раздался звон стали.

Дон Руис приблизился к сыну на шаг.

Дон Фернандо стиснул зубы, побледнел от гнева, его глаза сверкали, и он напал на своего противника, словно обезумев от ярости, которая могла бы, пожалуй, подвести менее искусного фехтовальщика.

– Нечестивец, – вздохнул старик отец, – чужие слуша-

ются меня и мне повинуются, а ты продолжаешь идти наперекор моей воле, ты ни с чем не считаешься.

С этими словами дон Руис взмахнул палкой и гневно воскликнул, причем глаза его сверкнули, как у юноши:

– Видит бог, я при всех научу тебя покорности!

Не отводя шпагу от шпаги противника, дон Фернандо полуобернулся и увидел, что отец поднял палку; его бледные щеки вспыхнули, казалось, вся кровь бросилась ему в голову.

Лицо старика выражало ненависть; не меньшую ненависть выражало и лицо сына. Казалось, попади неосторожный прохожий под двойную молнию их взглядов, он был бы испепелен.

– Берегитесь, отец, – крикнул молодой человек дрогнувшим голосом, качнув головой.

– Шпагу в ножны! – повторил дон Руис.

– Сначала опустите палку, отец!

– Повинуйся, злодей, я приказываю тебе!

– Отец, – пробормотал сын, покрываясь смертельной бледностью, – уберите палку, иначе, клянусь богом, я дойду до крайности.

Затем, обернувшись к дону Рамиро, он добавил:

– Э, стойте на месте, дон Рамиро: я могу одновременно иметь дело с палкой старика и со шпагой повесы.

– Вот видите, сеньоры? – спросил дон Рамиро. – Как же мне быть?

– Делайте то, что велит вам отвага и оскорбление, нанесенное вам, сеньор Рамиро, – отвечали, отходя, зрители, явно не желая дольше присутствовать при поединке.

– Неблагодарный! Негодяй! – проговорил дон Руис,

занося палку над головой сына. – Неужели и твой соперник не может научить тебя, как должно сыну держать себя перед отцом?

– Ну, нет, – оборвал его дон Фернандо, – ибо мой соперник отступил из-за трусости, а трусость я не ставлю в число добродетелей.

– Тот, кто воображает и говорит, что я трус…

– Он лжет, дон Рамиро, – перебил старик.

– Да скоро ли мы с этим покончим? – прорычал дон Фернандо, так он рычал, сражаясь с дикими зверями.

– В последний раз повторяю, негодяй, повинуйся, вложи шпагу в ножны! – повторил дон Руис с угрозой.

Было ясно: если дон Фернандо не послушается тотчас же, позора не избежать – палка опустится на его голову.

С молниеносной быстротой дон Фернандо оттолкнул дона Руиса и, сделав искусный выпад левой рукой, правой пронзил руку дона Рамиро, медлившего с защитой.

Дон Рамиро удержался на ногах, зато старик упал: такой сильный удар был нанесен ему прямо в лицо.

Зрители исступленно закричали:

– О, сын дал пощечину отцу!

– Расступитесь, расступитесь, – рявкнул дон Фернандо и бросился поднимать цветы, лежавшие на земле. Он подобрал их и спрятал на груди.

– Да разверзнутся над тобой небеса, нечестивый сын! – простонал дон Руис, приподнимаясь, – пусть господь бог, а не люди покарает тебя, ибо за оскорбление, нанесенное отцу, он ниспосылает возмездие – Смерть ему! Смерть ему! – в один голос возгласила толпа. – Смерть нечестивому сыну, ударившему отца!

И все, выхватив шпаги, окружили дона Фернандо. Раздался лязг – одна шпага отражала натиск целого десятка, а немного погодя Сальтеадор с горящими глазами и пеной на губах, подобно загнанному вепрю, что проскакивает сквозь свору разъяренных собак, проскочил сквозь толпу. Пробежав мимо дона Руиса, все еще лежавшего на земле, он окинул его взглядом, исполненным ненависти, а отнюдь не раскаяния, свернул в одну из улочек, ведущих на Сакатин, и скрылся из виду.

XXVI. ПРОКЛЯТИЕ

Зрители, наблюдавшие эту сцену – причем каждый в конце концов как бы стал действующим лицом, – словно застыли.

Только дон Рамиро, завернув правую окровавленную руку в плащ, приблизился к старику и протянул ему левую руку, сказав:

– Сеньор! Окажите мне честь, позвольте помочь вам подняться.

Дон Руис согласился и с трудом встал.

– О неблагодарный, нечестивый сын! – воскликнул он, поворачиваясь в ту сторону, куда скрылся дон Фернандо. – Да подвергнет тебя каре господь всюду, где бы ты ни скрывался, пусть рука твоя, оскорбившая мои седины и окровавившая лицо мое, не сможет защитить тебя от шпаги тех, кто поднимет ее, дабы защищать меня от надругательства. И пусть бог, видя твое кощунство, отторгнет от тебя воздух, которым ты дышишь, землю, которая тебя носит, и свет, который тебе светит.

– Сеньор, – сказал почтительно один из зрителей, приближаясь к нему, – вот ваша шляпа.

– Сеньор, – обратился к нему с таким же почтением второй, – не угодно ли, я застегну ваш плащ.

– А вот ваша палка, сеньор, – произнес третий, приближаясь к нему.

– Палка! – повторил старик. – Зачем мне палка? Мне нужна шпага. О Сид, о Сид Кампеадор! Видишь, как все изменилось с тех пор, как ты отдал душу, свою великую душу богу. В твои времена сыны мстили за оскорбления, нанесенные их отцам чужими, ныне же, напротив, чужие мстят за оскорбление, нанесенное отцам сыновьями.

Потом, обратившись к молодому человеку, подавшему ему палку, проговорил:

– Да, подайте мне ее, за оскорбление, нанесенное рукою, должно мстить палкой.., этой самой палкой я и отомщу тебе, дон Фернандо… Но это только самообольщение! Как я смогу отомстить за себя ударом палки, ведь она мне служит не для защиты, а для опоры! Да как же я смогу отомстить за себя, ведь не догнать мне того, кого я преследую, только по земле я смогу ударить палкой. Пусть при этом она молвит: «Земля, земля, разверзнись, дай старику, моему хозяину, войти в могилу!»

– Сеньор! Сеньор! Успокойтесь, – перебил кто-то, – вот ваша супруга донья Мерседес спешит сюда, а рядом с ней молодая девушка, прекрасная, как ангел!

Дон Руис обернулся и бросил на донью Мерседес такой взгляд, что она остановилась и замерла, опираясь на руку доньи Флоры, действительно прекрасной, словно ангел, но бледной, словно смерть.

– Что же случилось, сударь, – спросила донья Мерседес, – что произошло?

– А произошло, сударыня, вот что, – крикнул дон Руис, будто появление жены вызвало у него новый приступ гнева, – ваш сын ударил меня по лицу! Произошло вот что: пролилась кровь от руки того, кто называл меня своим отцом, а когда я упал от сыновнего удара, помог мне подняться не он, а дон Рамиро. Поблагодарите же дона Рамиро, протянувшего руку вашему супругу, которого сбил с ног ваш сын.

– О, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, господин мой, – умоляла донья Мерседес. – Взгляните, сколько народа вокруг нас.

– Пусть все подойдут! Пусть приблизятся! Ведь люди сбежались мне на помощь! Сюда, все сюда! – звал дон Руис. – Внемлите мне, пусть каждый услышит то, что произнесут мои уста: я обесчещен, ибо получил пощечину. Так вот вы, мужчины, смотрите на меня и бойтесь иметь сыновей. А вы, женщины, смотрите на меня и бойтесь производить на свет детей, которые в награду за многолетние заботы, жертвы и страдания будут давать пощечины вашим мужьям, значит, своим отцам! Я просил о правосудии у всевышнего, теперь я требую правосудия от вас, но если вы не согласны, я буду требовать его у короля.

Толпа молчала, пораженная его несказанным отчаянием, и он воскликнул:

– Ах, вы тоже, вы тоже отказываете мне в правосудии!.. Ну, что же! Я взываю к королю дону Карлосу! Король дон Карлос, король дон Карлос, правосудия! Правосудия!

– Кто призывает короля дона Карлоса? – раздался чей-то голос. – Кто требует правосудия? Король здесь!

Толпа тут же расступилась, и все увидели молодого человека в простом одеянии – прищуренные глаза, бледное лицо были в тени, отбрасываемой широкими полями войлочной шляпы, а темный плащ скрывал его фигуру. Вслед за ним шел верховный судья в такой же простой одежде.

– Король! – кричала толпа.

– Король! – прошептала, побледнев, донья Мерседес.

– Король! – повторил дон Руис с торжеством.

Образовался большой круг, в центре которого остались король и дон Иниго, дон Руис и донья Мерседес рука об руку с доньей Флорой.

– Кто ищет правосудия? – спросил король.

– Я, государь, – отвечал дон Руис.

Король взглянул на него.

– А, да это ты? Вчера ты просил о помиловании, сегодня просишь о правосудии! Что же, ты всегда о чем-нибудь просишь?

– Да, государь… И на этот раз я не отступлюсь, ваше величество, до тех пор, пока вы не дадите мне согласия.

– Ты без труда его добьешься, если то, о чем ты просишь, справедливо, – отвечал король.

– Ваше величество, сейчас вы сами рассудите, – произнес дон Руис.

Дон Иниго сделал знак, приказывая толпе отступить, чтобы слова просителя услышал только король.

– Нет, нет, – произнес дон Руис, – пусть все слышат, что я скажу вам, пусть, когда я кончу, каждый подтвердит, что я сказал правду.

– Хорошо, слушайте все, – согласился король.

– Ваше величество! Правда ли, что вы запретили поединки в вашем государстве?

– Правда, и еще нынче утром я повелел дону Иниго наказывать дуэлянтов без промедления и жалости.

– Так вот, ваше величество, только что здесь, на площади, под окнами моего дома, вели поединок два молодых человека и их окружали зрители.

– Ого! А я-то до сих пор думал, – заметил король, – что люди, непослушные указам короля, ищут какое-нибудь глухое место, надеясь, что уединенность поможет скрыть преступление.

– Так вот, ваше величество, эти молодые люди, дабы свести счеты, выбрали яркий солнечный день и самую оживленную площадь в Гранаде.

– Дон Иниго, слышите? – сказал король, полуобернувшись.

– Боже мой! Боже мой! – прошептала донья Мерседес.

– Сударыня, – спросила донья Флора, – неужели он оговорит своего сына?

– Причина их размолвки меня не касается, – продолжал дон Руис, бросив на верховного судью взгляд, словно заверяя его, что во имя чести семьи он сохранит тайну, – я и знать о ней не хочу, известно только одно: перед дверями моего дома два молодых человека ожесточенно дрались на шпагах.

Дон Карлос нахмурился:

– Почему же вы не вышли? Почему не запретили сумасбродам скрестить шпаги, ведь ваше имя и возраст должны были повлиять на них.

– Я вышел, сударь, и повелел им вложить шпаги в ножны. Один из них послушался.

– Вот и хорошо, покараем его не так строго. Ну а что же второй?

– Второй, ваше величество, отказался повиноваться, продолжал подстрекать к дуэли своего противника, оскорбил его, вынудил выхватить шпагу из ножен, и поединок возобновился.

– Дон Иниго, слышите? Невзирая на увещания, они продолжали драться.

Король обратился к старику:

– Как же вы поступили, дон Руис?

– Ваше величество, сначала я уговаривал, потом стал угрожать, потом поднял палку.

– Ну а дальше?

– Тот, кто уже раз отказался от дуэли, отказался снова.

– Ну, а другой?

– Другой, ваше величество.., дал мне пощечину.

– Как, молодой повеса дал пощечину старику, rico hombre дону Руису?

И глаза дона Карлоса вопрошали толпу, словно он выжидал, что кто-нибудь из зрителей изобличит дона Руиса во лжи.

Но все молчали, и в тишине только слышалось, как вздыхает донья Флора и плачет донья Мерседес.

– Продолжайте, – приказал король дону Руису.

– Ваше величество! Какое наказание полагается молодому человеку, давшему пощечину старику?

– Если он простолюдин – наказание кнутом на людной площади и лишение свободы на галерах в обществе разбойников – алжирских турок и грабителей из Туниса, если же он дворянин – пожизненное заключение в тюрьме и публичное лишение всех званий и почестей.

– А что, если тот, кто дал пощечину, – сын, а тот, кто получил ее, – отец? – суровым тоном спросил дон Руис.

– Что ты говоришь, старик? Я плохо знаю испанский язык и, видно, не так понял тебя?

Дон Руис медленно повторил вопрос, каждое его слово вызывало тоскливый отзвук в сердцах двух женщин:

– А что, если тот, кто дал пощечину, – сын, а тот, кто ее получил, – отец?

По толпе пробежал ропот.

Король, отступив на шаг, недоверчиво взглянул на старика.

– Невероятно! – проговорил он.

– Ваше величество! – произнес дон Руис, вставая на колени. – Я вас просил помиловать моего сына – убийцу и грабителя! Теперь я требую справедливого наказания сыну, поднявшему руку на отца.

– О дон Руис, дон Руис! – воскликнул дон Карлос, сбрасывая с себя на миг личину беспристрастности и холодного спокойствия, свойственную ему обычно. – Да знаете ли вы, чего вы требуете, – смерти сыну!

– Не знаю, какому наказанию в Испании подвергается подобное преступление, ибо в древности подобных преступлений не бывало, и у нас нет законов для подражания; но вот что я говорю моему королю: поправ священные обычаи, которые стоят на первом месте после законов церкви, мой сын Фернандо осмелился ударить меня по лицу, я же не могу ответить на оскорбление, нанесенное мне, поэтому приношу вам жалобу на преступника. Если же вы откажете мне – государь, внемлите словам несчастного отца, – я буду взывать к всевышнему, жалуясь на дона Карлоса. – И, поднимаясь с колен, он добавил:

– Государь, вы слышите мои слова? Отныне это дело касается вас, а не меня…

И он пошел прочь; толпа молча расступилась перед ним, каждый пропускал его, сняв шляпу и склоняясь перед оскорбленным отцом.

Донья Мерседес, увидя, что дон Руис проходит мимо, даже не взглянув на нее и не вымолвив ни слова, потеряла сознание и упала на руки доньи Флоры.

Король бросил на невеселую эту сцену косой взгляд, свойственный ему, и сказал, обернувшись к дону Иниго, который был так бледен и встревожен, будто обвиняли его самого:

– Дон Иниго…

– Да, ваше величество, – отозвался он.

– А кто эта женщина – не мать ли? – И он через плечо указал на донью Мерседес.

– Да, государь, мать, – запинаясь, произнес дон Иниго.

– Хорошо. – И, помолчав, король продолжал:

– Вы – мой верховный судья, и все это в вашем ведении. Располагайте всеми средствами, которыми вы владеете, и не смейте являться ко мне до тех пор, пока виновный не будет взят под стражу.

– Ваше величество, – отвечал дон Иниго, – уверяю вас, я сделаю все возможное.

– Действуйте без промедления, ибо это дело занимает меня гораздо больше, чем вы полагаете.

– Отчего же, государь? – спросил дон Иниго, и голос его дрогнул.

– Да оттого, что, поразмыслив надо всем, что сейчас стряслось, я так и не припомнил подобного случая в истории – никогда еще к королю не обращались с подобной жалобой.

И он удалился, важный, погруженный в раздумье, и все повторяя про себя:

– Господи, да что же это такое? Сын дал пощечину отцу!

Король взывал к всевышнему, прося раскрыть тайну, объяснить которую никто не мог. А дон Иниго все стоял, словно застыв на месте.

XXVII. РЕКА И ПОТОК

Есть люди, жизнь которых предопределена: у иных она течет плавно и величаво, подобно таким многоводным рекам, как Миссисипи и Амазонка, что пересекают равнины от истока своего до самого моря и несут на себе суда величиной с целый город, вместилища такого множества пассажиров, что их хватило бы для устройства целого поселения Другие, что берут начало на вершинах гор, каскадами низвергаются с высоты, мчатся водопадами, скачут потоками и, пробежав всего лишь десять – пятнадцать лье, впадают в речку, в реку или озеро, но еще некоторое время они будут волновать и вспенивать воды, с которыми смешали свои струи, – только одно это им и остается.

Путешественнику потребуются недели, месяцы, годы, чтобы подробно изучить некоторые из них, описать берега и окрестности, зато страннику нужно всего несколько дней, чтобы познакомиться с бурным течением иных; ручей, ставший каскадом, каскад, ставший водопадом, водопад, ставший потоком, рождается и умирает на пространстве в десять лье за одну неделю.

Однако за эту неделю странник, идущий по берегу

вдоль потока, пожалуй, получит больше ярких впечатлений, нежели путешественник, который целый год знакомился с берегами большой реки.

Историю, о которой мы рассказываем читателю, можно сравнить с каскадами, водопадами, потоками; с первой же страницы события стремительно несутся вперед, бурлят, с ревом докатываются они до последней.

Когда же тот, кого ведет длань божия, вопреки законам движения, достигает цели, ему кажется, что он совершил свой путь не пешком, не верхом на лошади, не в экипаже, а в какой-то волшебной машине, что проносится по равнинам, селениям, городам, подобно паровозу, исторгающему грохот и пламя, или же на воздушном шаре, летящем с такой быстротой, что долины, селения, города, превращаясь в точки, исчезают из глаз, теряясь в пространстве, так что и у сильных кружится голова, и всем тяжело дышать.

Мы уже оставили позади, так сказать, две трети страшного путешествия, и каждый из его участников, – исключение сделаем лишь для бесстрастного лоцмана, что зовется доном Карлосом, которому – под именем Карла V – предназначено вникать в бедствия, потрясающие общество, как ныне он вникает в несчастья, потрясшие семьи, – так вот, каждый покинул или собирался покинуть площадь, где разыгрались события, о которых мы только что рассказывали, и у каждого тяжело было на душе и голова шла кругом.

Мы уже видели, что дон Фернандо бежал первым, вторым ушел дон Руис, проклиная сына, жалуясь на короля, взывая к богу, и, наконец, король, как всегда, спокойный, но, как никогда, мрачный, ибо его тревожила мысль о

том, что в дни его владычества сын совершил неслыханное преступление – дал пощечину отцу, – удалился медленной и размеренной походкой во дворец – в Альгамбру, куда он и держал путь после посещения острога, где побывал вместе с верховным судьей, доном Иниго.

И только те действующие лица, которых глубоко взволновала недавняя сцена, стояли, словно окаменев, среди толпы, и люди смотрели на них и сочувственно, и удивленно, – то были донья Мерседес, которая, теряя сознание, опиралась на плечо доньи Флоры, и дон Иниго, будто громом пораженный словами короля: «Не смейте являться ко мне до тех пор, пока виновный не будет взят под стражу».

И вот теперь ему придется взять под стражу человека, к которому он питает такое теплое чувство; человека, о помиловании которого он так настойчиво хлопотал, не добившись успеха, когда его обвиняли в преступлениях, свершенных против людей, ныне же ему грозит еще более тяжкая кара за святотатство – преступление, свершенное против господа бога, и теперь он сам, пожалуй, готов стать мятежником, сообщником неслыханного преступления, поправшего нравственные устои человеческого общества, готов был никогда больше не являться к королю.

Да, быть может, в глубине души он уже и склонялся ко второму решению, ибо, отложив на более поздний час выполнение приказа об аресте дона Фернандо, он торопливо пошел к дому, чтобы дать кое-какие распоряжения: надо было оказать помощь донье Мерседес, которой стало дурно.

Следовало бы сейчас же проводить ее домой, но

странное дело: едва только дон Иниго, сильный и крепкий, словно юноша, подошел к матери дона Фернандо, собираясь перенести ее на руках, донья Мерседес, заслышав его шаги, вздрогнула и, открыв глаза, крикнула, словно страшась чего-то:

– Нет, нет, только не вы, не вы!

И дон Иниго, услышав ее слова, опустил голову и поспешил за кормилицей дона Фернандо и стариком слугой, бывшим оруженосцем дона Руиса во время войны с маврами; меж тем донья Флора в полном недоумении тихо повторяла:

– Отчего же моему отцу не помочь вам, сеньора?

Но донья Мерседес снова закрыла глаза, а немного погодя, собрав все силы, превозмогая слабость, она с помощью доньи Флоры пошла, с трудом ступая, к дому и почти дошла до него, когда двое слуг выбежали из дверей и поддержали ее…

Донья Флора уже собиралась войти в дом вместе с доньей Мерседес, но на пороге ее остановил отец.

– В последний раз вы входите в этот дом, – сказал дон Иниго, обращаясь к дочери, – проститесь с доньей Мерседес и возвращайтесь сюда.

– Проститься? В последний раз в этот дом? Что это значит, отец?

– Я не могу жить в доме матери, сына которой должен предать смерти.

– Смерти? Дона Фернандо? – крикнула молодая девушка, бледнея. – Неужели король осуждает его на смерть?

– Существовало бы наказание более тяжкое, чем смертная казнь, дон Фернандо был бы к нему приговорен.

– Отец! Разве вы не можете пойти к дону Руису, своему другу, и уговорить его?..

– Нет, не могу.

– Неужели донья Мерседес не может пойти к своему супругу и упросить его взять жалобу назад?

Дон Иниго покачал головой.

– Нет, не может.

– Боже мой, боже мой, – твердила донья Флора, – я буду взывать к сердцу матери, и, право же, сердце ее найдет способ спасти сына!

С этими словами она вбежала в дом.

Донья Мерседес сидела в том самом зале, где совсем недавно она стояла рядом с сыном, – тогда сердце ее билось от радости, теперь же оно разрывалось от горя.

– Мама, мама, – воскликнула донья Флора, – неужели же нельзя спасти дона Фернандо?

– Твой отец не говорил, что надеется спасти его, дитя мое?

– Нет.

– Верь своему отцу, дитя мое.

И она разрыдалась.

– Но, по-моему, – настаивала донья Флора, – после двадцати лет супружества вы сможете уговорить дона Руиса…

– Он откажет мне.

– Но ведь отец всегда остается отцом, сеньора.

– Да, отец… – промолвила донья Мерседес.

И она закрыла лицо руками.

– И все же попытайтесь, сеньора, умоляю вас.

Донья Мерседес раздумывала недолго.

– Пожалуй, верно, – проговорила она, – это не только мое право, это мой долг. – И она обратилась к оруженосцу:

– Висенте, где ваш господин?

– Он заперся у себя в комнате, госпожа.

– Вот видите, – сказала донья Мерседес, словно цепляясь за этот предлог.

– Попросите его ласковым голосом открыть дверь, и он откроет, – повторяла донья Флора.

Донья Мерседес попробовала подняться, но снова упала в кресло.

– Не могу, вы же видите, – жалобно произнесла она.

– Я вам помогу, сударыня, – предложила девушка и, обняв ее, подняла с силой, удивительной для такого хрупкого создания.

Донья Мерседес вздохнула и пошла за доньей Флорой.

Минут через пять мать и любящая, неутешная девушка постучали в дверь к дону Руису.

– Кто там? – произнес он угрюмо.

– Я, – отвечала донья Мерседес едва слышно.

– Кто это?

– Его мать!

Из комнаты донесся стон, потом шум шагов – кто-то приближался медленно, тяжело ступая, и вот дверь отворилась.

Появился дон Руис, взгляд его блуждал, борода и волосы были всклокочены. Казалось, за полчаса он постарел на десять лет.

– Вы тут? – спросил он. Заметив донью Флору, он продолжал: – Да вы не одна. Я бы удивился, если бы вы отважились прийти одна.

– Ради спасения сына я бы на все отважилась, – отвечала донья Мерседес.

– Входите же, но одна.

– Дон Руис, – тихо промолвила донья Флора, – не позволите ли вы дочери вашего друга присоединить свою просьбу к просьбе матери?

– Если донья Мерседес согласна говорить со мной в вашем присутствии и сообщить мне что-то, тогда входите.

– О нет, нет, я войду одна или уйду прочь, – крикнула донья Мерседес.

– Что ж, идите без меня, – проговорила донья Флора, подчиняясь воле несчастной матери и отступая перед доном Руисом, который повелительным жестом остановил ее.

Дверь закрылась за доньей Мерседес.

Донья Флора застыла на месте, пораженная всем, что видела; перед ней словно начинала раскрываться какая-то затаенная душевная драма, но действие, которое перед ней развертывалось, было ей непонятно. Могло показаться, будто она подслушивает, но она ничего не слышала. Все заглушало биение ее сердца.

И, однако, ей чудился то умоляющий, робкий голос доньи Мерседес, то мрачный, угрожающий голос дона Руиса.

Вдруг она услышала странный шум, бросилась к двери и распахнула ее: на полу лежала донья Мерседес.

Девушка подбежала, попыталась приподнять несчастную, но дон Руис знаком остановил донью Флору. Было ясно, что донья Мерседес упала, подкошенная мучительным волнением.

Дон Руис стоял в десяти шагах от доньи Мерседес, и

если бы она упала по его вине, он бы не успел отойти на такое расстояние.

Он с жалостью посмотрел на нее, поднял, перенес из комнаты в прихожую и положил на кушетку.

– Бедная, бедная мать, – пробормотал он.

Потом он вернулся в комнату и снова заперся, не сказав ни слова молодой девушке, будто ее и не было.

Немного погодя донья Мерседес открыла глаза, собралась с мыслями, пытаясь понять, что с ней, где она находится, припоминая, как она очутилась здесь, затем встала, качая головой.

– Я так и знала, так и знала! – прошептала она.

Донья Мерседес вернулась к себе в комнату в сопровождении молодой девушки и упала в кресло.

В эту минуту дон Иниго крикнул из-за двери – переступить порог он не решился:

– Дочка, дочка, пора, нам нельзя здесь оставаться.

– Да, да, – подтвердила донья Мерседес, – ступайте!

Девушка опустилась на колени.

– Сеньора, благословите меня, я постараюсь добиться того, чего не удалось добиться вам.

Мерседес протянула руки к донье Флоре, коснулась губами ее лба и произнесла слабым голосом:

– Да благословит тебя бог, как я благословляю.

Девушка поднялась, вышла неверной походкой, и, опираясь на руку отца, вместе с ним покинула дом. Но, сделав несколько шагов по улице, она остановилась и спросила:

– Куда мы идем, батюшка?

– В покои, которые король велел отвести для нас в Альгамбре, – я их предпочел покоям в доме дона Руиса.

– Что ж, батюшка, пусть будет по-вашему, но позвольте мне зайти в монастырь Анунциаты.

– Пожалуй, зайди, – отвечал отец, – это наша последняя надежда.

И когда они подошли к монастырю, послушница впустила донью Флору, а дон Иниго прислонился к стене и стал ее ждать.

XXVIII. ВЕПРЬ, ОКРУЖЕННЫЙ СОБАКАМИ

Дон Иниго простоял там несколько минут и вдруг заметил, что народ сбегается к воротам Гранады.

Сначала он следил за толпой рассеянным взглядом человека, занятого более важными раздумьями; затем он внимательнее пригляделся к шумной ватаге и спросил, что означает вся эта суматоха. И тут он узнал, что некий молодой человек, о поимке которого был оглашен указ, не сдался страже, а убежал и скрылся в башне Вела, где яростно защищается от нападающих.

Дон Иниго сразу решил, что это дон Фернандо. Не теряя ни минуты, он бросился к башне.

Чем выше поднималась толпа к Альгамбре, тем становилась все многолюднее, все шумнее. Наконец дон Иниго вышел на площадь Лос-Альхибес. Там-то и происходило главное; точно взбаламученное, разбушевавшееся море, народ осаждал башню Вела. Порою люди расступались и пропускали раненого, зажимавшего рану рукой, а то выносили и убитого.

Верховный судья узнал то, о чем мы уже сообщили.

Беглеца с криками преследовали пять-шесть молодых

дворян; изнемогая, он укрылся в башне и стал ждать преследователей. И тут завязалась ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. Быть может, он расправился бы с пятью-шестью противниками, но на крики преследователей, звон шпаг, угрозы осаждающих поспешили солдаты дворцовой стражи, и узнав, что это тот самый дворянин, которого повелел арестовать король, они присоединились к нападающим.

Дон Фернандо – ибо это был он – встал на узкой винтовой лестнице, которая вела на плоскую крышу, – там ему было легко обороняться, он бился, продвигаясь со ступени на ступень, и на каждую падал еще один раненый.

Когда подошел дон Иниго, сражение длилось уже час.

Он был встревожен, хоть и надеялся, что это не Фернандо, а кто-то другой, однако быстро понял, что обманулся в своей надежде.

Не успел он войти в башню, как среди шума раздался зычный голос:

– А ну, трусы, вперед! Я один против всех вас! Я знаю, что расстанусь с жизнью. Но плата за нее велика, а убивал я еще мало!

Конечно, это был он!

Предоставить событиям идти своим ходом – значило обречь Фернандо на верную смерть, как сказал он сам.

Конец был близок и неизбежен. Но если бы дону Иниго удалось арестовать его, то осталась бы последняя надежда на помилование, надежда, которую поддерживает в осужденном любовь матери и снисхождение короля.

Итак, дон Иниго решил прекратить побоище.

– Остановитесь! – крикнул он, обращаясь к преследователям. – Я дон Иниго, верховный судья Андалусии, и я пришел от имени короля дона Карлоса.

Но не так-то легко было усмирить ярость двадцати воинов, которые не смогли одолеть одного.

– Смерть ему! Смерть! – повторяли несколько человек, и тут же раздался отчаянный вопль и послышался шум – по ступеням катилось тело убитого: шпага Фернандо поразила новую жертву.

– Слышите меня? – еще громче закричал дон Иниго. – Повторяю: я – верховный судья и пришел сюда от имени короля.

– Ну, нет! – возразил один из нападающих. – Пусть уж король предоставит нам самим творить суд, – суд наш будет правым.

– Сеньоры, сеньоры! Опомнитесь! – взывал дон Иниго, который хотел одного – отвести опасность от беглеца.

– Да что вам в конце концов от нас нужно? – спросили нападающие.

– Чтобы мне дали возможность подняться в башню!

– Для чего?

– Чтобы отобрать у мятежника шпагу.

– Пусть будет по-вашему! Любопытное будет зрелище! Давайте пропустим его.

– Ну, что же? Вы колеблетесь, отступаете? Эх вы, мерзавцы, трусы! – неистовствовал дон Фернандо.

И снова раздался вопль – значит, его шпага снова вонзилась в живую человеческую плоть.

И снова толпа пришла в волнение, снова раздался лязг клинков.

– Не убивайте его! Не убивайте! – твердил дон Иниго в отчаянии. – Мне надобно взять его живым.

– Живым? – прогремел голос дона Фернандо. – Кто это сказал, что возьмет меня живым?

– Я сказал, – ответил верховный судья с нижней ступени лестницы.

– Вы?.. Кто это? – удивился дон Фернандо.

– Я – дон Иниго.

Дон Фернандо почувствовал, как дрожь пробежала по его телу, и он прошептал:

– О, я узнал твой голос, прежде чем ты произнес свое имя.

Затем он негромко спросил:

– Что вам нужно? Поднимитесь, только один.

– Сеньоры, пропустите меня! – приказал дон Иниго. И голос его звучал так повелительно, что все посторонились, прижимаясь к стене на узкой лестнице.

Дон Иниго медленно поднимался все выше, и на каждой ступени стонал раненый или лежал убитый. Перешагнув через десяток трупов, он наконец добрался до второго этажа, где его ждал дон Фернандо.

Левую руку он обмотал обрывками плаща, сделав что-то вроде перевязки, одежда была в лохмотьях, из ран сочилась кровь.

– Итак, – обратился он к дону Иниго, – что вы от меня хотите? Одно ваше слово устрашило меня больше, чем вся эта свора вместе со своим оружием.

– Хочу, чтобы вы отдали мне шпагу.

– Отдать шпагу? – повторил дон Фернандо и расхохотался.

– И еще я хочу, чтобы вы прекратили сопротивление и признали себя моим пленником.

– А кому вы обещали сотворить это чудо?

– Королю.

– Так вот, воротитесь к королю и скажите ему, что он дал вам непосильную задачу.

– Но на что же ты надеешься? Чего ты хочешь, безумец?

– Умереть, убивая.

– Тогда убивай! – проговорил дон Иниго, приближаясь к Фернандо.

Молодой человек сделал угрожающий жест, но тотчас опустил шпагу.

– Послушайте, – проговорил он, – не вмешивайтесь вы в это дело; предоставьте все мне и тем, кто его затеял. Вы ничего не добьетесь, клянусь вам, но, право, даю честное слово дворянина, я буду в отчаянии, если с вами случится беда.

Дон Иниго сделал шаг вперед.

– Вашу шпагу! – приказал он.

– Я уже сказал, бесполезно ее добиваться, и вы сами видели, как опасно даже желание отнять ее у меня.

– Вашу шпагу! – настаивал дон Иниго, делая еще шаг вперед.

– Тогда выньте свою! – воскликнул дон Фернандо.

– Да хранит меня бог! Угрожать вам! Я хочу убедить вас. Прошу вас, шпагу!

– Никогда!

– Умоляю, дон Фернандо!

– Ваше влияние на меня просто непостижимо! Но нет! Шпаги я не отдам.

Дон Иниго протянул руку:

– Шпагу!

Наступило молчание, и дон Фернандо снова, как при первой их встрече, почувствовал, что он подчиняется старику, силе его убеждения. Он негромко сказал:

– О да, родной отец не мог заставить меня вложить шпагу в ножны. Двадцать человек не могли вырвать ее из моих рук, и сейчас, когда я чувствую прилив сил, готов перебить целый полк, как разъяренный израненный бык, вдребезги разнести любую преграду, а вам, безоружному, стоило произнести слово, и я подчинился.

– Дайте же, – повторил дон Иниго.

– Но знайте, что я сдаюсь только вам, что вы один внушаете мне не только страх, но и уважение, и только к вашим ногам, а не к ногам короля я кладу свою шпагу, окровавленную от эфеса до кончика клинка.

И он смиренно положил шпагу к ногам дона Иниго. Верховный судья поднял ее.

– Вот и хорошо! – сказал он. – И пусть небо мне будет свидетелем, я с радостью обменялся бы с тобой ролями, хоть ты и обвиняемый, а я – судья; будь я на твоем месте, я бы меньше страдал от опасности, чем страдаю теперь от тревоги за тебя.

– Как же вы намерены поступить со мной? – спросил дон Фернандо, хмуря брови.

– Даешь мне слово, что не убежишь, а пойдешь в тюрьму и будешь ждать там милости короля?

– Хорошо. Даю слово.

– Следуй за мной.

Обращаясь к толпе, дон Иниго произнес:

– Дорогу! И пусть никто не оскорбляет пленника, отныне он под охраной честного слова.

Все расступились – верховный судья, а за ним дон Фернандо сошли по лестнице, залитой кровью.

Выходя из дверей, молодой человек окинул всех презрительным взглядом, и тут, вопреки повелению дона Иниго, раздались угрожающие выкрики, послышались проклятия; дон Фернандо, смертельно побледнев, бросился к шпаге, выпавшей из рук убитого. Но дон Иниго сделал предостерегающий жест и произнес:

– Вы дали честное слово!

И пленник с поклоном ответил:

– Можете на него рассчитывать.

И один из них пошел по дороге к городу – в тюрьму, а другой пересек площадь Лос-Альхибес и направился ко дворцу Альгамбра – к дону Карлосу.

Король ждал, в мрачном молчании прохаживаясь по Залу двух сестер, когда ему доложили о приходе верховного судьи. Он остановился, поднял голову и устремил взгляд на дверь. Появился дон Иниго.

– Да позволит государь поцеловать его руку, – сказал верховный судья.

– Вы явились, значит, виновный взят под стражу?

– Да, ваше величество.

– Где же он?

– Должно быть, уже в остроге.

– Вы отправили его под надежной охраной?

– Надежней я не мог бы найти – под охраной его честного слова, ваше величество.

– Вы уверены в его слове?

– Ваше величество, не забывайте, что нет цепей крепче слова дворянина.

– Что ж, хорошо. Вечером будете сопровождать меня в тюрьму. Я выслушал жалобы отца, остается услышать, что скажет в свое оправдание сын.

Дон Иниго поклонился.

– Впрочем, что может сказать в свое оправдание сын, ударивший отца! – негромко произнес король.

XXIX. В КАНУН РАЗВЯЗКИ

День, и так уже переполненный событиями, сулил любопытным еще немало нового до того часа, когда солнце, вставшее поутру из-за ослепительных вершин Сьерры-Невады, скроется за мрачными отрогами Сьерры-Морены.

Как мы уже сказали, дон Иниго пошел во дворец, а дон Фернандо, пленник своего слова, направился в тюрьму; он шел, высоко и гордо подняв голову, не как побежденный, а как победитель, ибо считал, что он не сдался, а покорился чувству, которое хоть и повелело ему сдержать гнев и, быть может, пожертвовать жизнью, но таило в себе нечто отрадное.

Он спускался по дороге к городу; вслед за ним шли многие из тех, кто следил за ожесточенной борьбой, которую он только что вел; дон Иниго запретил оскорблять пленника, однако не только запрет верховного судьи владел сейчас благородными сердцами испанцев, но и то восторженное изумление, которое всегда вызывает безумная отвага у отважного народа, и люди, сопровождавшие

его, толковали между собой о том, как ловко он наносил и отражал удары, и скорее напоминали почетную свиту, а не позорный эскорт.

На повороте дороги из Альгамбры дон Фернандо встретился с двумя женщинами в покрывалах; обе остановились, раздались возгласы удивления и радости. Он застыл на месте, – то ли его остановили эти возгласы, то ли предчувствие, которое нами владеет, когда мы встречаем любимое существо или спешим на свидание.

Но он еще не успел отдать себе в этом отчета, решить, кто же эти женщины, к которым помимо воли так влекло его сердце, когда одна из них припала к его руке, а другая, простирая объятия, тихо повторила его имя.

– Хинеста! Донья Флора! – негромко сказал дон Фернандо, а люди, что шли за ним от площади Лос-Альхибес и намеревались довести до тюрьмы, тоже остановились поодаль, чтобы не стеснять узника и молодых женщин, проявив сочувствие, которое толпа питает к обреченному.

Стояли они недолго, но Фернандо успел обменяться с Хинестой несколькими словами, а с доньей Флорой – взглядами. Девушки продолжали путь в Альгамбру, а дон Фернандо – в тюрьму.

Понятно, зачем Хинеста торопилась во дворец: узнав от доньи Флоры, какая опасность грозит Фернандо, она решила еще раз испытать свою власть над доном Карлосом. Только теперь у нее не было ни пергамента, удостоверяющего ее происхождение, ни миллиона, который она внесла в монастырь.

Предполагая, что у ее брата такая же короткая память, как у всех королей Испании, она решила, что для него, как

и для всего света, она теперь простая девушка, бедная цыганка Хинеста.

Но она надеялась, что слезы и мольбы, ее искренность смягчат холодное, неприступное сердце дона Карлоса.

Одно обстоятельство пугало ее: вдруг ей не удастся добраться до короля. К ее великой радости, дверь перед ней распахнулась, стоило ей произнести свое имя.

Донья Флора, дрожа от волнения, боясь утратить последнюю надежду, осталась ждать Хинесту у ворот.

Хинеста пошла за царедворцем. Он отворил дверь в покой, превращенный в кабинет, отступил, пропуская молодую девушку, и, не доложив, затворил за ней дверь.

Дон Карлос ходил взад и вперед большими шагами, опустив голову на грудь, устремив глаза в землю, словно тяжкий груз – полмира – лежал на плечах этого девятнадцатилетнего исполина.

Хинеста преклонила колена и застыла в этой позе. Так прошло несколько минут – король, казалось, не замечал ее.

Но вот Карлос поднял глаза, остановил на ней взгляд – из рассеянного он постепенно превратился в вопрошающий – и осведомился:

– Кто вы такая?

– Вы забыли меня, ваше величество? Как же я несчастна! – отвечала цыганка.

Тогда дон Карлос, сделав над собой усилие, постарался припомнить ее: его взор порою как будто яснее видел будущее, нежели картины прошлого.

– Хинеста? – спросил он.

– Да, да, Хинеста, – прошептала девушка, радуясь, что он узнал ее.

– Послушай, – сказал он, останавливаясь перед ней, – ведь нынче или завтра, если ничто не помешает, прибудет гонец из Франкфурта!

– Какой гонец? – не поняла Хинеста.

– Тот, что должен возвестить, кому, мне или Франциску Первому, будет принадлежать отныне империя.

– Бог даст, вам, государь, – отвечала Хинеста.

– О, если я стану императором, – воскликнул король, – я начну с того, что снова захвачу Неаполь, как я обещал папе, Италию, которую я уступил Франции, Сардинию, которую я…

Дон Карлос умолк, вспомнив, что он не один, что разглашает свои замыслы.

Он провел рукой по лбу.

Хинеста воспользовалась его молчанием.

– Если вы станете императором, вы помилуете его, государь?

– Кого?

– Фернандо – того, кого я люблю, за кого буду молиться до конца своих дней.

– За сына, давшего пощечину отцу? – с расстановкой проговорил дон Карлос и нахмурился, казалось, слова ему даются с трудом, – Хинеста поникла головой.

Что оставалось ей, бедняжке, делать после такого обвинения, да еще перед таким обвинителем? Одно – пасть ниц и плакать! И она упала к ногам короля и разрыдалась.

Дон Карлос несколько секунд смотрел на нее, а она не смела поднять глаз, – разумеется, она была бы поражена, заметив, как в его взгляде промелькнула искра сочувствия.

– Завтра, – произнес король, – ты узнаешь вместе со

всей Гранадой о моем решении. А пока оставайся во дворце, ибо все равно – жить или не жить преступнику – ты не вернешься в монастырь.

Хинеста поняла, что все просьбы тщетны, и, поднимаясь, прошептала:

– О государь! Не забывай, что я, чужая тебе перед людьми, – твоя сестра перед богом.

Дон Карлос сделал знак рукой, и Хинеста удалилась.

Донья Флора ждала ее у ворот. Хинеста рассказала о встрече с королем.

Мимо прошел придворный, по велению короля он искал верховного судью. Девушки двинулись вслед за ним, надеясь узнать новости у дона Иниго.

Меж тем донья Мерседес, преклонив колена, молилась у себя в комнате и ждала с тревожной тоской, как ждали Хинеста и донья Флора. Она была в своей прежней спальне – ведь тут дон Фернандо, ее отверженный, но еще свободный сын, навещал ее. Счастливая была пора!

Бедная мать! Она дошла до того, что называла счастливыми те дни, когда изнывала от страха, тоски, тревоги… Да, но тогда она находила утешение в мечтах. Теперь все мечты рухнули, надежды почти не осталось.

Она послала Беатрису и Висенте разузнать что-нибудь о сыне.

Новости становились все страшнее и страшнее. Сначала она надеялась, что дон Фернандо скроется в горах. Он уйдет в горы, убеждала она себя, а оттуда спустится в какой-нибудь порт, сядет на корабль и отправится в Африку или Италию.

Ей не доведется больше увидеть сына, зато он будет жить!

Но в первом часу пополудни она узнала, что он раздумал бежать и, преследуемый ревущей толпой, бросился на площадь Лос-Альхибес. В два часа ей стало известно, что он сражается в башне Вела, убил и ранил восемь или десять человек.

В три часа сообщили, что Фернандо сдался дону Иниго и, дав честное слово не бежать, без стражи отправился в тюрьму.

В четыре часа слуги доложили, что король обещал верховному судье не выносить приговор, пока сам не допросит обвиняемого.

В пять часов она узнала о словах короля, сказавшего Хинесте, что завтра она вместе со всей Гранадой узнает его решение. Итак, значит, завтра будет вынесен приговор. Какой же?

А вечером до нее дошли какие-то смутные, страшные слухи. В городе говорили, – правда, пока никаких доказательств не было, – так вот, в городе говорили, будто король приказал верховному судье ночью воздвигнуть эшафот на площади Лос-Альхибес.

Эшафот, – но для кого?

Король посетил с доном Иниго тюрьмы, но там он раздавал помилования.

Для кого же эшафот, неужели для дона Фернандо? Но был ли такой приказ?

Висенте вызвался все разузнать, обещав всю ночь провести на площади Лос-Альхибес, выяснить, что там произойдет, и рассказать обо всем своей госпоже.

В девятом часу вечера он вышел из дома, но не прошло и часа, как вернулся, говоря, что добраться до площади

Лос-Альхибес невозможно, ибо все подступы к ней заняты стражей. Оставалось одно: ждать и молиться.

И донья Мерседес решила провести ночь в молитве. Она стояла на коленях и слышала, как ночные сторожа выкрикивают час за часом. Едва отзвучал заунывный голос, возвестивший полночь и призывавший жителей Гранады ко сну, как раздался громкий скрежет ключа в замочной скважине, – в эту дверь обычно входил дон Фернандо.

Стоя на коленях, она быстро обернулась и увидела, как дверь отворилась и перед ней появился человек в широкополой шляпе, скрывавшей его лицо, и длинном плаще. Ключ от этой двери был только у ее сына.

– Фернандо! Фернандо! – крикнула она и бросилась навстречу ночному гостю. Но тут же остановилась: тот, кто вошел в комнату и запер за собой дверь, был на голову ниже Фернандо.

Незнакомец снял шляпу и сбросил плащ.

– Я не Фернандо, – проговорил он.

Донья Мерседес отступила на шаг.

– Король! – прошептала она.

Он покачал головой и сказал:

– Нет, сеньора, не король.., по крайней мере здесь.

– Кто же вы? – вымолвила донья Мерседес.

– Исповедник… На колени, женщина! Сознайтесь, что вы обманули своего супруга. Не может быть, чтобы сын дал пощечину отцу!

Донья Мерседес упала на колени и, простирая к королю дрожащие руки, воскликнула:

– О государь, государь, вас послал сам господь бог! Слушайте же, вам я поведаю обо всем.

XXX. ИСПОВЕДЬ

Услышав первое признание доньи Мерседес, король вздохнул с облегчением.

– Начинайте, – произнес он, как всегда, отрывистым и властным тоном.

– Государь, – тихо сказала донья Мерседес, – то, о чем я вам поведаю, женщине говорить трудно, хотя, право, я не так уж виновата, как это кажется с первого взгляда. Но будьте снисходительны хоть на словах, умоляю вас, иначе я не смогу продолжать.

– Говорите, донья Мерседес, – отвечал дон Карлос чуть мягче, – и знайте: тайна, вверенная священнику, не будет так свято хранима, как та, которую вы сейчас доверите своему королю.

– Да будет с вами милость божья, государь, – промолвила донья Мерседес.

И она провела рукой по лбу, но не для того, чтобы сосредоточиться и все вспомнить, ибо легко заметить, что она жила воспоминаниями, – нет, лоб доньи Мерседес увлажнился от волнения, охватившего ее.

– Ваше величество, я воспитывалась вместе с сыном друга моего отца – так воспитываются брат с сестрой, и не подозревала о существовании иных чувств, чем чувство братской нежности, но вот наши родители, которых все считали неразлучными друзьями, рассорились, что-то не поделив.

Это еще не все: ссора повлекла за собой денежную тяжбу.

Кто был прав, кто не прав? Не знаю; известно одно –

отец выплатил требуемую сумму, покинул Севилью, где мы жили, и переехал в Кордову – подальше от бывшего друга, а ныне смертельного врага. Разрыв между отцами разлучил и детей.

Мне было в ту пору лет тринадцать, тому, кого я звала братом, было семнадцать: прежде мы никогда не говорили друг другу о любви, пожалуй, и не думали об этом, пока из-за нежданной внезапной разлуки мы не поняли, что происходит в наших душах.

Мы изнывали от тоски, наши сердца обливались кровью – дружба, разбитая рукой наших родителей, превращалась в любовь.

Тревожило ли их это? Думали ли они о том зле, которое причинили нам? Вероятно, они и не подозревали о нашем чувстве, а если бы даже и знали, ненависть их была так сильна, что им было безразлично, как все это отразится на нас, на нашей любви.

Итак, обе семьи были разделены ненавистью и расстоянием. Но при последнем свидании мы поклялись друг другу, что ничто не сможет нас разлучить. И правда, какое нам было дело, – нам, бедным детям, выросшим рядом, – какое нам было дело до ненависти наших родителей! Ведь целых десять лет нам повторяли неустанно: любите друг друга. И так ли велика была наша вина, когда мы ослушались приказа: «Возненавидьте друг друга».

Донья Мерседес помолчала – казалось, она ждала, что скажет король, – и он вдруг произнес:

– Я не знаю, что такое любовь, ибо никогда не любил, сударыня!

– Значит, ваше величество, – горестно отвечала донья

Мерседес, – судьба против меня, – вам не понять того, о чем я должна вам поведать.

– Простите, сеньора, зато я судья, ибо я – король с детских лет, и мне ведомо, что такое справедливость.

Донья Мерседес продолжала:

– Мы сдержали слово, данное друг другу; разлука усиливала наше чувство, о котором не подозревали наши родители.

Дом моего отца в Кордове стоял на берегу Гвадалквивира; комната моя была самая дальняя, окно с решеткой выходило прямо на реку. Юноша, которого я любила, три раза в неделю исчезал из Севильи, якобы отправляясь на охоту в горы. Он купил лодку и, переодевшись рыбаком, приходил ко мне, чтобы сказать, что по-прежнему любит меня, и услышать из моих уст, что я еще люблю его.

Сначала мы надеялись, что придет конец ненависти между нашими семьями; но ненависть росла.

Возлюбленный умолял бежать вместе с ним. Я противилась. Тогда его охватило глубокое отчаяние, ночные свидания, единственная его отрада, уже не радовали его.

В те дни война между христианами и маврами разгоралась все сильнее.

Однажды вечером он объявил мне, что жизнь ему опостылела и ему остается одно: искать смерти в бою. Я плакала, но все не соглашалась. И он уехал. Мы не виделись целый год, но за этот год до меня доходили слухи о его подвигах, если б я могла полюбить его еще больше, то полюбила бы за смелость и доблесть.

Известия о нем почти всегда приносил нам один молодой человек – ему довелось сражаться рядом с моим

возлюбленным, делить с ним опасности, – то был сын друга моего отца, и звали его Руис де Торрильяс.

Король слушал молча, угрюмо насупив брови, неподвижный, словно мраморное изваяние. Донья Мерседес решилась посмотреть на него, пытаясь догадаться по его взгляду, надо ли продолжать рассказ. Дон Карлос понял ее немой вопрос и сказал:

– Продолжайте!

Донья Мерседес снова заговорила:

– Я так внимательно слушала дона Руиса, так спешила к нему, когда докладывали о его появлении, что он, вероятно, решил, будто нравится мне, а ведь думала я не о нем, а о том, кого не было со мной. Дон Руис стал приходить все чаще, и то, как он говорил, как смотрел на меня, выдало мне тайну его сердца, и с тех пор, хоть мне было и нелегко отказаться от его рассказов о том, кто владел всеми моими помыслами, кто отнял все мои радости, я уже не выходила к дону Руису. Да вскоре и он исчез: армия, в которой он служил, была брошена на осаду Гранады.

Однажды мы узнали, что Гранада взята. Большая это была радость для нас, христиан, отныне столица мавров – в руках католических королей. Но я по-прежнему тосковала, радость мне была не в радость, да и у отца в те дни снова были неприятности.

Дело в том, что наше состояние перешло к нам от первой жены отца, а унаследовать все должен был ее сын, искатель приключений, которого считали мертвым, я почти не знала его, хоть и приходилась ему сестрой.

И вот он появился и потребовал свое богатство.

Отец попросил дать ему время, чтобы привести в по-

рядок все дела; сделав подсчеты, он предупредил меня, что мы совершенно разорены. Я решила, что настал благоприятный час, и осмелилась заговорить о старинном друге, с которым он порвал. Но стоило мне произнести первое слово, как глаза отца вспыхнули от гнева. Я умолкла.

Ненависть словно оживала в нем при каждой новой беде.

Снова заводить разговор не стоило.

В ту ночь я не могла уснуть, сидела на балконе, который выходил прямо на реку; жалюзи были открыты: от железных перекладин мне становилось душно.

В горах таяли снега, Гвадалквивир разлился и нес свои воды почти у моих ног. Я смотрела на небо, следила за облаками, их очертания то и дело менял своевольный ветер, как вдруг сквозь тьму я заметила лодку, а в ней человека. Я откинулась назад, чтобы он не увидел меня, – пусть себе плывет дальше. Но тут, заслонив звездное небо, промелькнула какая-то тень, кто-то шагнул на балкон; я вскрикнула от страха и вдруг услышала такой знакомый голос: «Это я, Мерседес, тише!»

Да, это был он. Мне следовало бежать, а я даже не подумала о бегстве; почти потеряв сознание, я упала в его объятия А когда я очнулась.., увы, государь, я уже не принадлежала себе.

Нет, мой несчастный возлюбленный явился вовсе не для того, чтобы совершить прегрешение, он пришел взглянуть на меня в последний раз и проститься навеки. Вместе с генуэзцем Колумбом он отправлялся в неведомые страны. Он издали заметил меня на балконе, я была одна, и он без помех проник в дом. Решетка жалюзи никогда

прежде не открывалась, и он впервые очутился у меня в спальне.

Он умолял меня бежать; если бы я согласилась отправиться с ним в опасное плавание, он бы добился от Колумба согласия, чтобы я последовала за ним, переодевшись в мужскую одежду, если б я предпочла бежать с ним в чужие края, то ему было бы хорошо в любом уголке земли, лишь бы я была рядом. Он был богат, независим, мы любили друг друга и повсюду были бы счастливы. Я отказалась.

Перед рассветом он ушел. Мы простились навсегда, по крайней мере так мы думали. Он отправился к Колумбу в Палос, Колумб собирался отплыть через месяц.

Вскоре выяснилось, что мы гораздо несчастнее, чем полагали: я ждала ребенка Я написала ему об этом; я и хотела, чтобы он уже уехал, и страшилась отъезда, и вот, проливая слезы в одиночестве, предалась воле божьей.

В ту памятную ночь, не получив ответа, я вообразила, что он уже плывет к тому неведомому Новому Свету, который обессмертил Колумба, но вдруг услышала под окном свист, всегда возвещающий о его появлении.

Я решила, что ослышалась, и вся дрожа, стала ждать.

Свист раздался снова.

О, признаюсь вам, я с несказанной радостью бросилась к окну, распахнула его.

Он стоял в лодке, протягивая руки; отплытие Колумба задержалось, и он пересек пол-Испании, чтобы в последний раз увидеть меня или увезти с собой.

Увы! Сама беда вселила в него надежду, что я соглашусь бежать. Я продолжала противиться – ведь я была

последним утешением, единственным близким человеком отца, потерявшего все, я решила во всем ему признаться – пусть гневается, но я его не покину.

О, то была ужасная ночь, государь, но она была последней.

Отплытие Колумба было назначено на 3 августа. Каким-то чудом мой любимый успел повидать меня, каким-то чудом успел вернуться к сроку.

О государь, у меня нет сил описать его мольбы, убеждения и уговоры. Много раз он спускался в лодку и снова поднимался на балкон; наконец он схватил меня, поднял, решив увезти силой. Я закричала, позвала на помощь. Шум услышали, кто-то проснулся, кто-то спешил в мою комнату, нужно было бежать или открыться.

Он прыгнул в лодку; я же, чувствуя, что навеки теряю его, замертво упала на пол. Меня нашла Беатриса…

И сейчас донья Мерседес была почти так же взволнована, как в ту роковую ночь; рыдая, она ломала руки и, по-прежнему стоя на коленях, так обессилела, что прислонилась к креслу.

– Передохните, сеньора, – суровым, холодным тоном произнес дон Карлос, – можете говорить всю ночь.

Наступило молчание, слышались лишь стенания доньи Мерседес. Дон Карлос не шевелился – его можно было принять за изваяние, он так владел собой, что даже дыхание было беззвучным.

– И вот любимый уехал, – продолжала донья Мерседес. Казалось, что с этими словами душа ее отлетела.

– Через три дня к отцу пришел его друг – Франциско де Торрильяс. Он сказал, что ему нужно наедине поговорить с отцом о важном деле. Старики уединились в кабинете.

Оказалось, дон Франциско пришел к отцу просить моей руки от своего имени и от имени своего сына. Его сын страстно любил меня и заявил, что не может без меня жить.

Ничего не могло так осчастливить отца, как это предложение, но одна мысль смущала его.

«А известны тебе, – спросил он своего друга, – мои денежные дела?»

«Нет. Но мне это безразлично».

«Я ведь разорен», – произнес отец.

«Ну так что же?»

«Разорен вконец!»

«Тем лучше», – ответил друг.

«Как же так – тем лучше?»

«Я богат, моего богатства хватит нам обоим, и как бы высоко ты ни оценил сокровище, которое ты отдаешь нам, я смогу заплатить за него».

Отец протянул руку дону Франциско.

«Я разрешаю дону Руису сделать предложение моей дочери, – произнес он, – если Мерседес даст согласие, то будет его женой».

Я провела три ужасных дня. Отец, не подозревавший о причинах моего недуга, навещал меня каждый день.

Через десять минут после ухода дона Франциско он уже был у меня и рассказал обо всем, что произошло. Всего четверть часа тому назад я не могла себе представить, что стану еще несчастнее; оказалось, я ошиблась. Отец ушел от меня, объявив, что завтра ко мне придет дон Руис.

У меня не хватило сил отвечать ему, когда же он ушел, я почувствовала невыносимую подавленность. Однако мало-помалу оцепенение стало проходить, и я начала раз-

думывать о своем положении – мне чудилось, что передо мной не страшные тени прошлого, а призрак будущего.

О, если б я могла кому-нибудь довериться, я бы, право, не страдала так.

Наступила ночь. Беатриса хотела остаться около меня, но я отослала ее, чтобы выплакаться в уединении. Слезы лились рекой, государь, и уже давно пора бы им иссякнуть, но их источники бездонны.

Постепенно все затихло, и я вышла на балкон, где я была так счастлива и так несчастна. Мне казалось, что любимый снова должен приехать. О, я еще никогда не призывала его так горячо, от всего сердца. Если 6 он вернулся – о, прости меня, отец, – я бы не сопротивлялась и бежала. Я бы всюду следовала за ним, куда бы он ни пожелал.

Появилась лодка, кто-то плыл вверх по Гвадалквивиру и пел. Нет, это был не его голос: да ведь он всегда плыл молча, но я поддалась игре воображения и, протягивая руки к призраку, стала звать:

– Приди, приди, приди!

Лодка проплыла мимо. Разумеется, рыбак не обратил внимания на слова, раздавшиеся в темноте, на женщину около перил. Но, видимо, он почувствовал, что крик в ночи исполнен страдания, и, проплывая мимо, умолк, запел снова, когда лодка была уже далеко.

Вот она исчезла из виду; я осталась одна. Наступила тишина, когда, как говорят, словно слышится дыхание природы.

Звездное небо отражалось в воде; я будто повисла в воздухе; пустота притягивала меня, хоть от нее кружилась

голова. Я была так несчастна, что мне хотелось умереть. От мысли о смерти до самой смерти был всего один шаг… Сделать его было совсем просто: внизу, в трех футах от меня, могила открывала мне объятия.

Я чувствовала, что голова моя склоняется, тело перевешивается через перила балкона, а ноги вот-вот оторвутся от пола.

И вдруг я вспомнила о ребенке. Ведь, кончая с собой, я не только совершала самоубийство, но совершила бы и убийство.

Я отпрянула от перил, закрыла решетку, а ключ швырнула в воду, чтобы не поддаваться горькому искушению, и побежав в комнату, бросилась на постель.

Время текло медленно, на душе было тоскливо. Но вот разгорелась заря, послышался шум дня. Беатриса отворила дверь и вошла ко мне. Начиналась обычная жизнь. В одиннадцать часов пополудни Беатриса сказала, что пришел дон Руис, что его прислал мой отец.

Я уже приняла решение и велела ему войти.

Он держался робко, но сиял от счастья, потому что отец сказал, что нисколько не сомневается в моем согласии. Но, бросив взгляд на меня и увидев, что я бледна и холодна, он вздрогнул и тоже побледнел.

Я подняла на него глаза и стала ждать.

Голос изменил ему, раз десять он пытался сказать о том, что его привело ко мне… Он говорил, и ему, должно быть, казалось, что его слова разбиваются о непроницаемую стену, заслонившую мое сердце.

Вот наконец он признался, что уже давно любит меня и что наша свадьба дело решенное, – так решили наши отцы,

и что недостает лишь моего согласия, чтобы он стал самым счастливым человеком на свете.

«Сеньор, – ответила я твердым голосом, ибо ответ я обдумала заранее, – я не могу принять предложение, оказывающее мне честь».

Мертвенная бледность покрыла его и без того бледное лицо.

«Боже мой! Да почему же?» – спросил он.

«Потому что я люблю другого и через семь месяцев стану матерью».

Он пошатнулся и чуть не упал.

Это признание, сделанное человеку, которого я видела нечасто, с которым была так мало знакома, говорило о моем безнадежном отчаянии, – ведь я даже не просила сохранить тайну, я доверилась его благородству.

Он склонился передо мной, поцеловал подол моего платья и вышел, проговорив лишь такие слова:

«Да хранит вас господь!»

Я осталась одна. Я все ждала, что вот-вот явится отец, и дрожала, думая о том, что надо будет во всем признаться; но, к моему великому изумлению, он даже не заговорил об этом.

Перед обедом я попросила передать, что мне нездоровится и что я прошу разрешения не выходить к столу. Отец согласился без возражений и расспросов.

Пролетело три дня. На третий день Беатриса, как и в прошлый раз, объявила о приходе дона Руиса.

Как и тогда, я велела его принять, он так держал себя при расставании, что несказанно тронул меня: было что-то необычайное в том уважении, которое он проявил к бедной девушке.

Он вошел и остановился близ двери.

«Подойдите ко мне, сеньор», – сказала я.

«Мой приход вас удивляет и стесняет, не правда ли?» – спросил он.

«Удивляет, но не стесняет, – ответила я, – ибо я чувствую в вас друга».

«И вы не ошибаетесь, – проговорил он. – Однако я не стал бы вам докучать, если б это не было необходимо для вашего спокойствия».

«Объясните же мне все, дон Руис».

«Я не мог сказать вашему отцу, что вы отказались быть моей супругой, ибо он велел бы все объяснить, а ведь вы не посмели бы признаться ему во всем, как мне, не правда ли?»

«Предпочла бы умереть!»

«Видите, я поступил правильно».

«А что вы сказали?»

«Я сказал, что вы просите несколько дней для размышления и хотите провести эти дни в одиночестве».

«Так, значит, вам я обязана своим спокойствием?»

Он поклонился.

«Теперь, – продолжал он, – всей душой поверьте мне, что я ваш друг, это очень важно».

Я протянула ему руку.

«О да! Друг, искренний друг, я верю», – произнесла я.

«Тогда ответьте мне прямо, без колебаний, как вы сделали в первый раз».

«Спрашивайте!»

«Надеетесь ли вы выйти замуж за человека, которого вы любите?»

«Нет, это невозможно».

«Разве он умер?» – воскликнул дон Руис.

«Он жив».

Искра радости, блеснувшая в его глазах, погасла.

«Вот и все, что я хотел узнать», – и, поклонившись мне снова, он вышел со вздохом.

Прошло еще три дня. Я не покидала свою комнату, и, кроме Беатрисы, никто ко мне не входил, даже отец.

На четвертый день дон Руис появился снова. Я почти ждала его; я перестала дичиться; это был мой единственный поверенный, и я понимала, что он сказал правду – он был настоящий друг.

Как всегда, он вошел очень почтительно и только по знаку, который я подала ему, приблизился ко мне.

Я протянула ему руку, он взял ее и слегка коснулся губами. А после недолгого молчания, глядя на меня с глубоким сочувствием, он произнес:

«Я все время размышлял о вашем положении: оно ужасно».

Я вздохнула.

«Несмотря на все мои старания, нельзя вечно откладывать ваш ответ».

«Увы, это так», – согласилась я.

«Я бы мог сказать, что отказываюсь от своего предложения; сказать, что разорение вашего отца охладило мои чувства. Но что даст вам мой отказ? Отсрочку – в два-три месяца».

Я залилась слезами – ведь он был прав.

«Не сегодня-завтра ваш отец все узнает, узнают люди, и тогда… – он понизил голос, – тогда вы будете обесчещены».

«Как же мне быть?» – воскликнула я.

«Выйти замуж за человека, преданного вам, готового стать вашим супругом перед светом, а для вас только братом».

Я покачала головой и прошептала:

«Да; но где найти такого человека?»

«Вот он – представляю его вам, Мерседес, ведь я говорил, что давно люблю вас».

«Вы любите, но…»

«Люблю страстно, всем сердцем, всей душой, и преданность – одно из тех чувств, которые я питаю к вам».

Я подняла голову, почти испуганная его словами.

Я не думала, что преданность всесильна!

«Я буду вашим братом, – повторил он, – а ваше дитя станет и моим и клянусь честью дворянина, никогда, ни единым словом мы не обмолвимся об этом».

Я смотрела на него, полная сомнения и колебаний.

«Пожалуй, поступить так все же лучше, чем броситься из окна в реку, протекающую под окнами вашего дома…»

Я промолчала, а потом упала перед ним на колени.

«Брат мой, – умоляла я, – сжальтесь над своей супругой и пощадите честь моего отца».

Он поднял меня, поцеловал мне руку и удалился.

Через две недели я вышла за него замуж.

Как подобает человеку благородному, дон Руис выполнил обещание, но сама природа восстала против обмана, и хотя дон Руис всегда по-отцовски заботился о Фернандо, Фернандо не питал к нему сыновних чувств.

Вот, ваше величество, теперь вы знаете все!..

– Кроме имени отца, – возразил король, – но вы сейчас его назовете.

Опустив глаза, донья Мерседес прошептала:

– Дон Иниго Веласко.

– Хорошо, – сказал король. – Я узнал все, что хотел.

И он вышел с важным и мрачным видом, а она так и осталась стоять на коленях. Перед уходом он негромко произнес:

– Я так и думал: не может быть, чтобы сын дал пощечину родному отцу.

XXXI. ЭПИЛОГ

На рассвете несметная толпа заполнила площадь Лос-Альхибес, теснясь около эшафота, воздвигнутого посреди площади. У подножия стоял палач со скрещенными руками. Все, что предстояло, держали в строгой тайне, но люди говорили, что будет приведен в исполнение первый смертный приговор, вынесенный королем доном Карлосом.

В многолюдной толпе попадались мавры. Их сразу можно было узнать по восточному одеянию и горящим глазам.

Глаза эти блестели от радости – ведь им доведется увидеть казнь дворянина, rico hombre и христианина.

На башне Вела пробило девять часов утра, и в тот же миг врата Альгамбры распахнулись, стража построилась двойным рядом, потеснила толпу, образовавшую огромный круг, в центре которого возвышался эшафот.

Немного погодя появился король дон Карлос, он щурился и с тревожным нетерпением поглядывал по сторонам. Казалось, он, по обыкновению, ищет глазами гонца,

которого ждет уже давным-давно. Но гонца не было, и взгляд короля вдруг стал, как всегда, бесстрастным.

Рядом с королем шла девушка, ее лица не было видно под покрывалом, но, судя по богатому и вместе с тем строгому наряду, легко было догадаться, что она принадлежит к знатному роду.

Дон Карлос прошел через расступившуюся толпу и встал около эшафота. Вслед за ним появился верховный судья с доньей Флорой. Она опиралась на руку отца. Увидев эшафот, они остановились, и трудно было сказать, кто из них – отец или дочь – был бледнее.

Король обернулся, чтобы удостовериться, идет ли за ним верховный судья, увидел, что тот рядом, что поддерживает дочь, чуть не потерявшую сознание, что сам вот-вот упадет без чувств, и послал за ним офицера.

В то же время с противоположной стороны появились еще двое – то были дон Руис и донья Мерседес. Как отличны были выражения лиц у каждого из них, когда они взглянули на эшафот!

Через пять минут, в сопровождении стражи, показались соперники – дон Фернандо и дон Рамиро. Дон Фернандо, как мы уже говорили, был взят под стражу накануне, дон Рамиро пришел в тюрьму по повелению короля.

Собрались все действующие лица драмы, четыре акта которой уже завершились, оставалась только заключительная сцена. Наступила тишина, все ждали развязки – присутствие палача делало картину еще более зловещей.

Король дон Карлос поднял голову, взглянул в сторону Ворот правосудия и, по-прежнему не обнаружив гонца, посмотрел на дона Иниго, который вздрогнул всем телом под его леденящим взглядом.

– Дон Иниго Веласко де Гаро, – произнес король каким-то звенящим голосом, и хоть он был негромок, все его услышали. – Дважды, не приводя никаких доводов, вы просили меня помиловать человека, дважды заслужившего смертный приговор. Отныне вы больше не верховный судья Андалусии.

Ропот пробежал по толпе, дон Иниго хотел было приблизиться к королю, как видно, оправдаться. Но король не дал ему заговорить:

– Итак, отныне вы больше не верховный судья Андалусии. Назначаю вас военачальником. Человек, не совладавший с весами правосудия, может крепко держать в руках боевое оружие.

– Ваше величество!.. – негромко сказал дон Иниго.

– Молчите, сеньор, – прервал его дон Карлос. – Я еще не закончил.

И он продолжал:

– Дон Руис, мне было известно, что вы один из самых знатных дворян в моем испанском королевстве, а со вчерашнего дня я узнал, что вы обладаете благороднейшим сердцем на свете.

Дон Руис поклонился.

– Отныне вы – верховный судья Андалусии вместо дона Иниго. Вчера вы просили меня совершить правосудие за оскорбление, нанесенное вам, сейчас вы совершите правосудие сами.

Дон Руис вздрогнул. Лицо доньи Мерседес покрылось смертельной бледностью.

– Дон Фернандо, – говорил король, – вы виновны дважды. В первый раз вы восстали против законов общества, и

я простил вас. Во второй раз вы восстали против закона природы, и на этот раз я понял, что не в силах судить за такое великое преступление, и поэтому предоставляю право тому, кого вы оскорбили, покарать или помиловать вас. Так или иначе я исключаю вас из числа дворян, я лишаю вас звания rico hombre и делаю вас, к сожалению, не таким чистым, но таким же бедным, одиноким и нагим, каким вы явились на свет божий. А вы, Хинеста, – обратился король к девушке, – отныне больше не цыганка из харчевни «У мавританского короля». Вы не монахиня из монастыря Анунциаты. Вы – герцогиня де Кармона, маркиза де Монтефрио, княгиня де Пулгар. Вы – дама высшего общества, и ваше знатное положение дает вам право передать и ваше имя, и ваше богатство супругу, даже если он будет простолюдином, мавром или будет стоять у подножия эшафота.

Затем король обернулся к дону Рамиро:

– Вас вызвали на дуэль, и вы, человек чести, не могли не ответить на вызов, но и сражаясь, вы сохранили уважение к старости, а старость после господа бога должно почитать больше всего на свете. Я не сделаю вас богаче, ибо вы в этом не нуждаетесь, но в память обо мне вы добавите к своему имени имя Карлоса, а к своему гербу – бургундского льва. Ну а теперь пусть всем воздается по заслугам, начинайте, дон Руис, верховный судья королевства.

Воцарилась мертвая тишина. Все не сводили глаз с дона Руиса, все напряженно слушали. И вот донья Мерседес, до сих пор остававшаяся неподвижной, как изваяние, сделала шаг вперед и медленной, торжественной походкой, словно

с трудом, словно пересиливая себя, подошла к мужу, который по-прежнему стоял, скрестив руки, и произнесла:

– Сеньор, ради всего святого на земле и в небесах, мать заклинает вас помиловать ее сына.

Казалось, в сердце дона Руиса шла молчаливая борьба, и это отразилось на его лице. Но он протянул руку, возложив ее на голову доньи Мерседес, и молвил, причем и во взгляде его, и в голосе чувствовалась бесконечная нежность:

– Я прощаю его.

Толпа заволновалась, зашумела.

Дон Фернандо побледнел. Он стал искать оружие, и если бы обнаружил свой баскский кинжал, то, вероятно, пронзил бы себе сердце, так тяготила его милость старика – дона Руиса. Но кинжал отняла стража.

– Теперь ваш черед, герцогиня де Кармона, – проговорил король.

Хинеста подошла к Фернандо, откинула покрывало и громко сказала:

– Дон Фернандо, я люблю тебя.

Молодой человек вздрогнул и, бросив долгий взгляд на донью Флору, простер руки к Хинесте, и она, охваченная несказанной радостью, бросилась к нему на грудь.

– Герцогиня де Кармона, маркиза де Монтефрио, княгиня де Пулгар, значит, вы берете в мужья осужденного Фернандо, лишенного всего – имени, титула, состояния? – спросил дон Карлос.

– Я люблю его, государь, – твердила Хинеста.

И, заставив Фернандо преклонить колена, она тоже опустилась рядом с ним перед королем.

– Ну что ж, – отвечал дон Карлос. – Долг короля держать свое слово. Поднимитесь же, герцог де Кармон, маркиз де Монтефрио, граф де Пулгар, гранд Испании по своей супруге, сестре короля и дочери короля.

Затем, не давая действующим лицам и зрителям опомниться от удивления, он обратился к дону Рамиро:

– Теперь ваш черед.

Дон Рамиро неверной походкой подошел к донье Флоре. Ему казалось, что в глазах его стоит какая-то пурпурно-золотистая дымка, а в ушах звенит ангельское пение.

Он склонился перед доньей Флорой.

– Я люблю вас давно, – сказал он. – Дон Рамиро д'Авила не смел признаться вам в своей любви, теперь же, в присутствии короля, своего крестного отца, дон Карлос д'Авила смиренно просит вашей руки, сеньора.

– Сеньор, обратитесь к моему отцу, – еле слышно молвила донья Флора.

– Сегодня – я ваш отец, и я отдаю вашу руку гонцу любви, – произнес король.

Все еще так и стояли – тремя группами, когда со стороны Ворот правосудия раздался топот копыт, и появился всадник, покрытый пылью, – дон Карлос по его одеянию тотчас же узнал германского дворянина. Всадник размахивал пергаментом и кричал:

– Где король? Где же король?

Тут сам дон Карлос смертельно побледнел, словно из судьи превратился в подсудимого.

Всадник продолжал спрашивать:

– Где король, где же король?

Толпа расступилась перед ним.

Король сделал несколько шагов вперед и твердым голосом, хотя его побледневшее лицо выражало мучительную тревогу, заявил:

– Король перед вами!

Конь встал как вкопанный, дрожа всем телом, его сильные ноги подгибались от напряжения. Все ждали, затаив дыхание.

Всадник поднялся на стременах и провозгласил:

– Слушайте все, все, кто здесь присутствует! Слушай, Гранада! Слушай, Бургос! Слушай, Вальядолид! Слушай, вся Испания! Слушай, вся Европа! Весь мир, слушай! Слава Карлу Пятому, только что избранному императором. Слава царствованию его! Слава его сыну и сынам его сынов!

Он спешился, пал на колени и протянул королю пергамент, гласивший, что дон Карлос избран на императорский престол Германии.

Дон Карлос взял пергамент дрожащей рукой и заговорил, но в голосе его не чувствовалось никакого волнения – как всегда, он был бесстрастен:

– Благодарю вас, герцог Баварский! Я не забуду, что именно вы сообщили мне эту великую новость.

А когда толпа стала громко повторять: «Слава Карлу Пятому! Слава его сыну! Слава сынам его сынов!» – император изрек, воздевая руки к небу:

– Сеньоры, слава господу богу, ибо велик только он!